„НАГИМ ПРИШЕЛ Я...“

Дэвид Вейс

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Нагим пришел я…» – это биографический роман о жизни и творчестве великого французского скульптора Огюста Родена. Дэвид Вейс (хорошо известен его роман о жизни В. А. Моцарта «Возвышенное и земное») – большой мастер биографического жанра сумел создать в романе «нагим пришел я…» художественный образ Родена, нарисовать живо и интересно эпоху, в которую он жил и творил, его окружение.

- Дэвид Вейс
  - Часть первая. Семья
    - Глава I
      - 1
      - 2
      - 3
    - Глава II
    - Глава III
      - 1
      - 2
      - 3
    - Глава IV
    - Глава V
      - 1
      - 2
      - 3
      - 4
      - 5
      - 6
    - Глава VI
      - 1
      - 2
      - 3
      - 4
    - Глава VII
      - 1
      - 2
      - 3
      - 4
  - Часть вторая. Художники
    - Глава VIII
      - 1
      - 2

- 3
- 4
- 5

- Глава IX
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
- Глава X
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
- Глава XI
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
- Глава XII
  - 1
  - 2
- Глава XIII
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

○ Часть третья. Путешествия

- Глава XIV
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
- Глава XV
  - 1
  - 2
  - 3
- Глава XVI
  - 1
  - 2

- 3
- Глава XVII
  - 1
  - 2
- Глава XVIII
  - 1
  - 2
  - 3
- Глава XIX
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

○ Часть четвертая. Возвращение.
- Глава XX
- Глава XXI
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
- Глава XXII
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
- Глава XXIII
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
- Глава XXIV
  - 1
  - 2
- Глава XXV
  - 1
  - 2
  - 3

- 4
- 5
- 6
- Глава XXVI
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
- Глава XXVII
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

○ Часть пятая. Страсть
- Глава XXVIII
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
- Глава XXIX
  - 1
  - 2
- Глава XXX
  - 1
  - 2
  - 3
- Глава XXXI
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
- Глава XXXII
- Г лава XXXIII
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
- Глава XXXIV

- 1
- 2
- 3
- 4

- Глава XXXV
  - 1
  - 2
- Глава XXXVI
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
- Глава XXXVII
  - 1
  - 2
- Глава XXXVIII
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
- Глава XXXIX
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
- Глава XL
  - 1
  - 2
- Глава XLI
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6

○ Часть шестая. „Мыслитель"

- Глава XLII
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
- Глава XLIII
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
- Глава XLIV
  - 1
  - 2
  - 3
- Глава XLV
  - 1
  - 2
- Глава XLVI
- Глава XLVII
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
- Глава XLVIII
- Глава XLIX
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
- ГЛАВА L
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
- Эпилог
- Завещание

- notes

- ○ 1
- ○ 2
- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44

- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88

- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132

- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143

Дэвид Вейс
Нагим пришел я …

Моей жене – Стаймин Карлен

Часть первая. Семья

«Нагим пришел я в этот мир и нагим уйду из него»

Сервантес. «Дон-Кихот»

Глава I

1

Отцом младенца был крестьянин родом из Нормандии. Жан-Батист Роден не ожидал, что в тридцать восемь лет он снова станет отцом. У него было две дочери – Клотильда и Мари, но они в счет не шли, и он был вне себя от радости. Он мечтал иметь свою землю, но знал, что такая мечта неосуществима, и поэтому переселился в Париж. Однако сын – это хорошо. Сын позаботится о нем в старости, продолжит род Роденов. В Нормандии Роден значило «красный», и вся семья была рыжеволосой.

В мэрии района Папа оказался в затруднительном положении. Чтобы зарегистрировать младенца, надо было заполнить бланк, но ни он сам, ни его жена Мари, тридцатичетырехлетняя крестьянка из Лотарингии, писать не умели, и ему пришлось обратиться к сестре жены, тете Терезе. Тетя Тереза умела писать; она была экономкой, натурщицей, а иногда и любовницей художника Дроллинга, и он научил ее грамоте.

Папа сказал:

– Мы назовем его Франсуа-Огюст. Тетя Тереза написала: «Франсуа-Огюст Роден, рожден 12 ноября 1840 года, в доме 3 по улице Арбалет, в двенадцатом районе Парижа».

– Я отложу луидор, чтобы отпраздновать это событие и заказать мессу, – сказал Папа.

– А мальчик здоровенький, – заметила тетя Тереза.

– Все Родены на здоровье не жалуются, – веско подтвердил Папа.

Тетя Тереза при всем своем очаровании и трезвости ума вечно витала в облаках, но Папа отличался практичностью. Его крупное, массивное лицо, словно грубо высеченное из гранита, омрачилось. Он запустил короткопалую квадратную лапу в роскошную темно-рыжую шевелюру – предмет его постоянной гордости – и, по-прежнему озабоченный, почесывал бакенбарды, подстриженные на манер Луи-Филиппа[1]. Он был сторонником монархии Бурбонов, но, как знать, много ли от нее будет прока для сына? Этот Париж-город мелких буржуа, думал он, и с каждым днем буржуа становятся все сильнее, влиятельнее, а он простой крестьянин, и жена из крестьян, и их предки были крестьянами; правда, сам он добился немалого чина в полиции: служил посыльным.

Ну а район, где они жили! Господи, да это почти настоящая трущоба, и кругом одни проститутки – они жили в соседних квартирах, населяли все вокруг. Средневековый лабиринт извилистых, узких проходов и улочек – только это и было ему по карману. Улица Арбалет крутая, мощенная камнем, булыжник грубый, острый, идешь, что по скалам в горах. Чуть ли не самый отвратительный и бедный из всех парижских районов. Одно утешало, что отсюда было рукой подать до Сорбонны и Нотр-Дам, а из окон их дома видны серые купола Пантеона; в их районе есть и другие прекрасные старинные храмы: Сен-Северен, Сен-Женевьев и Валь-де-Грас. Папа надеялся, что набожность его семейства послужит надежной защитой от непотребного соседства. При мысли о доме, в котором они обитали, сердце у него упало. Перед домом не было даже тротуара, а сам дом – грязно-желтый, в трещинах, с отвалившейся штукатуркой, с ложно-готическими башенками и желтой черепичной крышей. Они снимали пятый этаж, самый верхний, самый дешевый. Сто одна стертая ступенька винтовой лестницы. Просто чудо, что жена доносила младенца. Да, видно, сын его – настоящий крепыш. Тетя Тереза сказала:

– Мне нравится имя Огюст. Я рада, что назвала так моего первенца.

«Бедняжка», – подумал Папа. Он любил тетю Терезу, ее все любили, хорошенькая, веселая, живая, а вот что ожидает трех ее незаконных сыновей? Но когда он пытался пристыдить ее, тетя Тереза и не думала смущаться. Просто она не желала связывать себя брачными формальностями; у нее было доброе сердце, и у трех ее сыновей разные отцы.

Ну нет, он-то по крайней мере не оставит сына без имени.

Тетя Тереза поздравила и поцеловала Папу Роденом, а он помолился, чтобы Франсуа-Огюст вырос благочестивым, сильным и добился хотя бы небольшого чина, только буржуа занимали крупные полицейские должности, но ведь они умели читать и писать.

И вдруг Папу осенило. Если уж Тереза осилила грамоту, то чем хуже его сын? Может, Мама скажет, что он не в своем уме, но ведь он-то только потому и оставался в полиции простым посыльным с жалованьем всего восемьсот франков в год, что не умел писать. Он не пошлет сына сразу работать, а отправит его в школу. Франсуа-Огюст получит приличное образование и не подвергнется влиянию соседок-простигуток. И Папа хвастливо заявил:

Я не сторонник республики, но сыну не повредит, если он научится читать и писать.

2

Когда Огюсту – его всегда звали только одним именем – исполнилось пять лет и он готовился поступить в школу ордена иезуитов неподалеку от дома, тетя Тереза подарила ему пастельные карандаши, позаимствованные у Дроллинга без ведома владельца.

Семья Роденов жила теперь неподалеку от улицы Сен-Жак, в переулке поприличнее, и мальчик надеялся, что когда-нибудь они переедут на большую улицу. Дом тоже был получше, и они занимали первый этаж. В тот день его оставили под присмотром тети Терезы. Рыжеволосый, приземистый, застенчивый, близорукий мальчик был заворожен подарком – этими черными карандашами. Стоило нажать покрепче, и они оставляли на столе такие ясные, четкие линии – он мог видеть их без труда! Он остановился – кухонный стол был весь испачкан. Но тетя Тереза поощрительно улыбнулась, сказала: – Рисуй на полу.

Огюст кивнул. Ему захотелось нарисовать тетю Терезу – у нее такое тонкое лицо, не то что у Мамы, но сначала надо заняться Папой. Папа ведь самый главный. Он присел на корточки на неровном каменном полу кухни, которая служила столовой и гостиной, и набросал Папин силуэт. Ему нравилось рисовать на камне, хотя для черной пастели он был чересчур твердым и карандаш крошился. Все же рисунок вышел вполне отчетливо. На глаза попался обрывок коричневой оберточной бумаги от картофеля. Мама приберегла его на растопку. Теперь карандаш не крошился. Скрестив ноги, он уселся у кухонного стола, позабыв обо всем, наморщив лоб от напряжения. Прочертил карандашом толстую линию, совсем как Папин рот. Губы сердито поджаты, брови насуплены, точно как в жизни. Но, может, лучше его не рисовать? Огюст сделал линию рта пошире, но все равно было ясно, что это Папа. Он облачил Папу в мятые брюки, жеваный мундир, подпоясал широким ремнем. Тут ему стало стыдно – Папа рассердится.

Но тетя Тереза сказала:

– Хорошо получилось. В следующий раз я постараюсь принести тебе краски.

Огюст молчал. Папа очень рассердится.

На следующей неделе, когда Мама купила капусту и картофель, он стащил бумагу из-под овощей и снова стал рисовать. Рыба была завернута в несколько газетных листов, и он срисовал с них картинки. Но больше всего он обрадовался, когда Мама купила масло, сыр и яйца. Мало того, что это были лакомства для воскресенья и пикника, они, кроме того, Пыли

завернуты в белую бумагу, а на белом так чудесно рисовать – все получалось так отчетливо, даже его слабые глаза видели каждую черточку.

Он рисовал всех подряд: всегда возбужденного и красного Папу, терпеливую и тихую Маму, веселую и улыбающуюся тетю Терезу, милую и добрую сестренку Мари, хорошенькую, с идеально правильными чертами лица сводную сестру Клотильду. Он не мог остановиться. Если бы и в школе было так же интересно! Он рисовал только тогда, когда оставался один, – опасался, что Папе это не понравится.

Он слышал, как ворчала Мама:

– Огюст, куда девалась бумага? Ты не выбрасывал? Нечем разжечь плиту.

Огюст молча помотал головой, боясь, что у него слипнутся губы, если он солжет.

Несколько дней подряд Огюст брал только небольшие куски оберточной бумаги и рисовал на обеих сторонах, но рисование так захватило его, что он не мог думать ни о чем другом. Тогда Мама стала прятать бумагу. За дрова и уголь приходилось платить, а бумага ничего не стоила, в нее бесплатно завертывали еду. Огюст боялся рисовать на полу, так, пожалуй, попадешься.

Сегодня кухни была печальной и пустой, и он уселся в мамину качалку и принялся раскачиваться изо всех сил, как что делала Мама. Но вот спустились таинственные сумерки, которые он так любил, и мальчик застыл в неподвижности. Изменчивая игра света ни небе была чудом, но не хуже были и контрасты тени и света и кухне, где постепенно становилось все темней и темней. Все вокруг менялось, и этот процесс творожил ею. Он снова принялся раскачиваться, но вдруг остановился, вспомнив слова Мамы:

– Папа, почему мальчик любит сидеть в темноте?

Мама странная. Разве она сама не знает, почему? Не чувствует, какие удивительные перемены совершающей вокруг в сумерках?

Мама с силой стукнула корзинкой в дверь, и Огюст вздрогнул от неожиданности.

– Дорогой мой, почему ты сидишь в темноте? – Спросила Мама.

Он улыбнулся – разве объяснишь…

Мама быстро зажгла керосиновую лампу. Огюст прикрыл было глаза рукой, но тут увидел, что Мама соскребывает сыр с совсем белой оберточной бумаги. Она занялась другими покупками – капустой, картофелем, репой, перцем – и не заметила, как бумага соскользнула со стола. Бумага лежала на

полу, и Огюст не мог удержаться от соблазна. Когда Мама повернулась спиной и занялась стряпней, он схватил блюдечко, чашку с цветочками и улегся на полу, прямо на бумаге.

В одной руке он держал карандаш, другой крепко прижал блюдечко к бумаге и обвел его контур. Затем то же самое проделал с чашкой. Он положил на бумагу левую руку, широко раздвинул пальцы и обвел их. На мгновение он задумался: вести карандаш до локтя или ограничиться кистью? Необходимо было принять решение, и он принял его – остановил карандаш у запястья. Он рассматривал линии, пересекающие ладонь, и переносил их на бумагу. Снова хлопнула дверь, и на пороге появился Папа.

– Огюст, встань с полу! – Папа поднял бумагу, смял ее и швырнул к плите.

– Сейчас, Папа. – Он не мог оторвать глаз от бумаги, которая не попала в огонь и упала у плиты.

– Зачем тебе чашка и блюдце? Что за игры? Ты что, девчонка?

Огюст хотел было объяснить ему все, но не мог. Он смотрел на карандаш в руке и улыбался. Папа снял темно-синий мундир, стащил тяжелые ботинки и устало вздохнул.

Огюст схватил ботинок, расправил смятую бумагу, поставил ботинок на бумагу и, склонившись, принялся обводить ботинок. Папа, усталый, голодный, приступил к еде, не обращая на Огюста внимания. Мальчик снова расположился на полу и когда приметил, что одна из ножек стола не совсем касается пола, просунул под нее бумагу и обвел.

Это обеспокоило Папу. Тарелка с картофельным супом накренилась. Папа чуть не пронес ложку мимо рта и немного обрызгал супом бакенбарды. Недовольный, он уставился на сына, но тот все рисовал и рисовал. Огюст смотрел на картофель в папиной тарелке и срисовывал его. Папа отодвинул тарелку в сторону и прикрыл сверху второй тарелкой поменьше, чтобы Огюст не мог больше рисовать, но Огюст уже рисовал маленькую тарелку, которая скрыла картофель.

Папа повысил голос:

– Дай-ка бумагу. – В рыжей шевелюре Папы уже замелькали седые пряди, а на лице появилось много новых морщин.

Огюст еще ни разу открыто не перечил Папе, но тут он решительно замотал головой. – Мать, дай-ка ремень! Огюст заколебался. Кулак, сжимавший бумагу, раскрылся.

Брось в печку. Папа держал наготове ремень, толстый, тяжелый. Мама мрачнела, но с Папой не поспоришь.

– Господи, тебе сто раз надо повторять? Выбора не было. Папа потянулся к бумаге, и Огюст сдался. Сам не свой от страха, он

сунул бумагу в огонь.

– И карандаш тоже. Быстро!

– Пожалуйста, папочка!

– Без разговоров! – Господи, дьявол, что ли, вселился в его сына?

Мальчик так крепко сжимал карандаши, что оставил на них отпечатки пальцев, но и карандаши тоже полетели в огонь.

– Огюст, ложись спать!

– Без ужина? – забеспокоилась Мама. Она подбежала к Папе и стала молить: – Жан, он может заболеть.

– Подожди, и следующий раз мы найдем карандаши в супе. Укладывай его спать. И не смей кормить у меня за спиной. Мама крикнула:

– Он и так худой! Придется заказать для него еще одну мессу.

– Нет! – отрезал Папа не своим голосом. Он повернулся к бледному, испуганному мальчику. – Теперь ты больше не будешь переводить бумагу. – Папа, который никак не мог понять тяги Огюста к рисованию – просто непостижимо, ведь его собственная плоть и кровь, – решил употребить власть, чтобы скрыть свою растерянность: – Если я где-нибудь вновь увижу твои рисунки, я из тебя душу выбью. Надо тебе поскорее в школу, не то станешь совсем дурачком.

– Мне больше нельзя рисовать? – прошептал Огюст.

– Нет! – Папа был неумолим. – И ты немедленно пойдешь в школу.

Огюст сжался в комок. У него разболелся живот. Папа вышел, и Мама налила мальчику тарелку супа, но он не мог ни есть, ни спать.

Когда Папы не было дома, он потихоньку брал несколько кусочков угля для плиты – всего два или три, чтобы не заметили, – и рисовал на стенах домов в узком закопченном тупике, хотя там не хватало света. Он надеялся, что в школе ему будет лучше.

3

Небольшая начальная школа ордена иезуитов была неподалеку от дома, и сначала Огюст бежал туда чуть ли не бегом. Церковь Валь-де-Грас находилась на улице Валь-де-Грас, в старинном здании, где когда-то размещался военный госпиталь, это был угол бульвара Сен-Мишель, близко от респектабельного квартала Сен-Жермен.

Радостное возбуждение Огюста тут же погасло при виде серого мрачного фасада и после знакомства со строгими отцами-

наставниками. Это были люди средних лет, придирчивые, резкие и не терпящие возражений. Он сразу почувствовал себя великим грешником. Задавать вопросы воспрещалось, следовало только отвечать.

Школа Валь-де-Грас состояла при семинарии, и обучение закону божьему составляло основу программы. Огюст с трудом усваивал Священное писание. Кроме того, в школе преподавали арифметику, которую Огюст не понимал, латынь, которую он ненавидел, а также чтение и чистописание. У Огюста получались одни каракули, он был неспособен написать хоть одно слово правильно. Преподавали также географию и историю, которые ему нравились, но в которых он не преуспевал из-за своей близорукости.

И грамматику, казавшуюся ему невообразимым хаосом. Это была школа для бедняков, где презирали развлечение и всякую подобную чепуху и ставили целью воспитывать людей трудолюбивых, довольных своим местом под солнцем и глубоко преданных власти.

Искусство почиталось делом греховным. Когда на уроке географии Огюст нарисовал карту Священной Римской империи, учитель разорвал ее. Когда его опять поймали за рисованием, учитель с размаху ударил его линейкой по пальцам. Пальцы болели так сильно, что неделю он не мог взять в руку карандаш. Но он не мог не рисовать; для него это стало самым важным делом на свете. В следующий раз его подвергли телесному наказанию. Но, несмотря на свою застенчивость, он был упрям. Рисование стало смыслом жизни. Учителя превратились в бездушные, грубые маски, которые он рисовал с еретической радостью нечестивца, Он рисовал на них карикатуры потихоньку, чтобы не поймали.

И еще одно событие было для него источником преклонения – революция 1848 года. Восстание смело императора Луи-Филиппа с престола, и вдруг совсем неожиданно и ко всеобщей радости школу закрыли. Сначала Огюст ликовал. Но революция очень скоро утратила свою праздничность даже для мальчика; народ требовал свободы и республики, и парижские рабочие полнили восстание против временного правительства.

Район, в котором жила семья Роденов, оказался в самой гуще боев. Восставшие строили баррикады на бульваре Сен-Мишель, неподалеку от школы. Рабочие, которых рассчитали хозяева, вооруженные пиками и ружьями, кричали: «Свобода или смерть!». «Марсельезу» пели повсюду – по обе стороны баррикад.

Папа не ходил на работу. Даже Мама не ходила за покупками. Никому в доме не разрешалось выходить на улицу,

жили словно в осаде. Четыре дня сидели на одной картошке, по картофелине в день на брата, а совсем рядом шла кровавая, жестокая битва.

Бодлер сражался за республику на баррикадах; Бальзак тоже рвался в бой, но ненасытное любопытство неугомонного исследователя влекло его в покинутый императорский дворец и залитые кровью рабочие кварталы – он должен был видеть все своими глазами. Гюго чувствовал себя чуть ли не богом и предполагал, что станет одним из руководителей, возможно даже вождем, – он считал, что в нем идеально сочетался сторонник империи и республиканец, и он славил патриотизм, именно то, чего от него ждали и читатели и толпа на улице. Гюго был глубоко разочарован, когда президентом избрали Луи-Наполеона[2]. Хуже не придумаешь, считал Гюго: Луи-Наполеон, болезненный, худой заморыш, его совсем недавно держали в тюрьме, год назад был парией, которого, кроме любовницы, камердинера да собаки, никто и знать не желал: но когда ой подписывал свои обращения и воззвания «Луи-Наполеон Бонапарт», то перед магией этого имени все остальное меркло.

Даже Папа, чьи роялистские взгляды были поколеблены расстрелами рабочих, испытал чувство облегчения, когда в конце года Луи-Наполеон был избран президентом. Он сказал домашним, что Франции повезло.

Школа вновь открылась, но уроки стали еще более невыносимыми. Огюст думал: что нам до мертвых королей, когда есть живые, с которыми надо бороться? А зрение все ухудшалось. Теперь он был так близорук, что с трудом читал, и чем помочь, было неизвестно; когда он рисовал, все у него получалось увеличенного размера. В Валь-де-Грас он прочно занял место самого плохого ученика.

Теперь семья Роденов жила на улице Сен-Жак, неподалеку от бульвара Сен-Мишель, центра художников Левого берега. Перед домом красовалась скульптура, считалось, что она должна изображать купидона. Папу это оскорбляло, статуя святой девы была бы куда уместней, думал он. Огюста же раздражало, что купидон покрыт щербинами, искалечен, но когда он попытался почистить фигуру, Папа рассердился:

– Ты что, хочешь стать нищим, бродягой без всякого будущего?

Мальчик стал набрасывать купидона прямо в школьной тетради, но Папа вырвал тетрадь из рук и закричал:

– Огюст, ты невыносим! Мы живем теперь в приличном доме. И у тебя может быть дом не хуже, когда вырастешь. Я ведь из-за тебя и переехал поближе к Университетскому кварталу. Но ты так

плохо учишься, я просто не знаю, что с тобой делать.

Это был крик души, но и Огюст тоже испытывал отчаяние. Комнаты в новой квартире были лучше, чем в прежней, в каждой по два окна, до половины закрытые декоративными коваными решетками, и на окнах чистые занавески. Но и здесь мусор выкидывали прямо на улицу, а потом смывали его водой, чтобы избежать эпидемии. И в доме и на улице всегда царила пронизывающая сырость, и даже здесь стоял тот самый запах, который у Огюста имел одно название– запах бедности. Огюсту и дом и улица казались мрачными, нищими, жалкими. Но Папа был горд: теперь он зарабатывал в год тысячу двести франков.

Следующие неделю-две Огюст старался быть послушным, но, рисуя, он вырывался на волю, оказывался на свободе, в заповедной стране. Тетя Тереза подарила ему старую коробку с красками, и он раскрашивал все, что попадалось ему под руку, и особенно иллюстрированные журналы, которые обожал Папа. Забросив уроки, он без конца делал наброски и раскрашивал. Он завидовал сверстникам, которые выше его ростом. Сам он был приземист, широкоплеч – настоящей крестьянской породы, как говорил Папа, и поэтому все фигуры на его рисунках были крупными, большими.

Он начал пропускать занятия, и в конце концов это дошло до Папы. Когда на следующий день Огюст вернулся, как он заявил, из школы – на самом деле он ходил в Нотр-Дам, чтобы получше разглядеть собор: ему нравились шпили, легкие, высокие контрфорсы и великолепный западный фасад с башнями: все в соборе говорило о величии – и попытался объяснить свои чувства Папе, Папа не стал его слушать. Папа сказал:

– Вот как! Значит, у меня не сын, а идиот! Он даже позабыл, что ему сегодня идти в школу. Он не умеет слагать и вычитать! – И без долгих слов выдрал Огюста своим тяжелым ремнем.

Огюст дрожал как лист, но сдерживал слезы.

Мама стояла рядом и тихонько плакала, а Папа, выбившись из сил, рухнул на стул и простонал:

– Ты неисправим.

Мама горевала из-за равнодушия Огюста к Священному писанию, хорошо еще, что Мари преуспела в этом. Или Клотильда, – господи, еще забота: у Клотильды на уме одни кавалеры. А Огюст четыре года проходил в Валь-де-Грас и не выучил ни строки Священного писания. Мама сомневалась, удостоится ли он когда-нибудь первого причастия. И вдруг она сказала Огюсту, который стоял перед ней, весь дрожа, но без единой слезинки в глазах:

– Огюст, ты меня не любишь.

– Мама… – Он не мог говорить. Конечно, любит. Но не знал, как выразить это. Сейчас не мог сказать. Он ее нарисует, когда придет в себя. Когда невыплаканные слезы не будут застилать глаза. Все вдруг потемнело, словно страшная черная стена отчуждения выросла между ним и Папой.

Папа снова было взялся за ремень. Нет, Огюст тут ни при чем, подумал он, виновата школа. Он пошлет этого олуха в Бовэ, в школу своего брата Александра.

Дядя Александр был умелым, способным и строгим учителем, с нормандской настойчивостью принялся он за воспитание племянника. Крупный нос Огюста, его высокий умный лоб, твердая линия губ, большая голова – все это, по мнению дяди, говорило о восприимчивости. Одно только беспокоило – глаза мальчика, хотя и живые, но очень маленькие.

– Не надо терять надежду, – заверил Папу дядя Александр. – Это иезуиты опозорились, а не Огюст.

Дядя Александр сделал основной упор на своих любимых предметах – латыни и арифметике: это дисциплинирует и развивает ум. И Огюст учился прилежно, стал спокойнее, прибавил в весе, раздался в груди и плечах и стал очень сильным. Его бледная кожа порозовела, обветрилась, и от свежего деревенского воздуха он стал настоящим крепышом. Но ума так и не набрался, как ни бился с ним дядя Александр.

Прошло четыре года, и дядя Александр признал свое поражение – отцы иезуиты были правы.

– Мальчишка считай что неграмотный, только читать и научился, а латынь для него лес темный, он не знает и спряжений, а уж орфография – ничего подобного я в жизни не видал, ну а о сочинениях и говорить не приходится… – Дядя Александр безнадежно махнул рукой. – Просто уму непостижимо.

Огюст попытался было объяснить, что у него болят глаза и он не видит, что написано на доске. Но дядя не стал и слушать. А страсть к рисованию все росла. Когда он рисовал, все становилось ясным, большим. Вот уйти бы совсем в этот мир штрихов и линий – там бы он обрел свое счастье.

Дядя Александр сознавал, что потерпел полное поражение. Он был рад избавиться от этого тупицы и отослать Огюста домой. Он сообщил Папе:

– Эту каменную башку ничем не прошибешь. Его ничему не научишь. Чем скорее приставить его к делу, тем лучше. Сомневаюсь только, сумеет ли он заработать себе на жизнь.

Глава II

Для Папы это было страшной угрозой, ведь самое главное – это уметь зарабатывать себе на жизнь, а он боялся, что брат окажется прав и от парня не жди толку. Огюсту уже четырнадцать, а он еще не научился никакому ремеслу; в семье каждый су на учете, и надо, чтобы сын мог хотя бы содержать самого себя.

Папа немедленно объяснил Огюсту, что ему надо устраиваться на работу.

Стояло чудесное июньское воскресенье, самое подходящее время для пикника, какие они устраивали до того, как его заслали в эту тюрьму, в Бовэ, но сегодня обедали дома. Так пожелал Папа, и все были дома, за исключением Клотильды.

– Вот только где тебе работать? – спросил Папа.

– Я хочу рисовать, – сказал Огюст.

Папа взялся было за ремень, но вовремя спохватился: сегодня воскресенье. Мама шила, чтобы как-то справиться с волнением, и думала: лучше бы отправились на пикник. Огюст уперся на своем, и Папа решил сорвать свой гнев на чем-нибудь более податливом. Он вспомнил о Клотильде, которая отсутствовала за столом, и это без его разрешения. Обед был важнейшим моментом, когда вся семья собиралась за столом. Он закричал на Маму:

– Где Клотильда? Вечно ее нет дома. Разве у нас теперь плохо?

Мама ответила:

– Не знаю, где она.

– Должна знать! Совсем отбилась от рук! – еще громче закричал Папа, чувствуя, что всюду терпит поражение. – Дочь шляется неизвестно где, а тут еще сын задумал в художники. Только этого недоставало. Я сделал все, чтобы переехать сюда, поближе к Сорбонне, где живут самые образованные люди в Париже, а сын у меня оболтус, рыжий оболтус. Умел бы хоть писать, устроил бы тебя клерком в префектуру, а теперь… – Он в бешенстве развел руками, но в этом жесте сквозило и бессилие.

Огюст подумал: «Верно, никогда еще мы не жили в таком приличном районе». Они переехали в дом получше на той же улице Сен-Жак, отсюда была видна Сорбонна, но будь он даже хорошим учеником, все равно ему не поступить в университет – ведь у Папы ни положения, ни денег. Огюст взглянул на Папу, сидевшего во главе стола, – Папа считал его просто избалованным ребенком.

Папа гордился, что в этой квартире у Огюста была своя

комната, и у Марии, у Клотильды тоже; так пусть Огюст отрабатывает свою. Днем комната Огюста служила кухней, сестры распоряжались столовой, родители – гостиной.

Пока Папа перебирал ремесла, которыми может овладеть сын, Огюст с волнением (живя в Бовэ, он очень скучал по своим, даже по Папе) всматривался в родные лица. У Папы были все те же широкие плечи, могучая грудь, мускулистые руки, тяжелые квадратные кулаки, пальцы покрыты рыжими волосами. А вот лицо избороздили преждевременные морщины. Голос был густым, трубным, когда Папа был в хорошем настроении, и хриплым – когда сердился.

Мама была блондинка с серыми глазами, с простым, невыразительным лицом. Глубоко религиозная, она и на лице хранила печать вечной скорби, словно раз и навсегда решила, что в этой грешной жизни одни заботы и тяготы. Огюст заметил, что платье на ней все то же, что и до его отъезда в Бовэ, от бесконечных перекрасок материя просвечивала чуть не насквозь.

Мари что-то слишком уж тоненькая, слабая, подумал Огюст: светло-рыжие волосы, бледность – совсем как средневековая статуэтка, и на милом лице ее какая-то отрешенность, как у матери. Но стоило ей развеселиться, как бывало в обществе Огюста, она становилась хорошенькой. Тогда ее небольшое продолговатое лицо и синие глаза так и сияли и вся она словно светилась, несмотря на ее всегда строгий наряд. Он обратил внимание на простое черное платье с высоким скромным белым воротником – совсем как у монашенки.

Вот кто красавица, так это Клотильда. Дочь Папы от первой жены, она резко выделялась из всей семьи. Веселая, яркая, смуглокожая, с зелеными глазами и черными волосами.

Все уселись за стол, Мама и Мари подали суп.

Папа снова стал ворчать по случаю отсутствия Клотильды, как вдруг заметил, что Огюст сидит неподвижно, словно окаменевший, не ест, не говорит ни слова.

– И не стыдно тебе, что ты такой неуч?

– Я не хочу работать в полиции.

– Идиот, в префектуре нужны мозги!

– Я знаю, что мог бы стать художником.

– Ты что, думаешь, деньги с неба сыплются? Поработай-ка– узнаешь, что почем. За эту вот клеенку я заплатил пять луидоров. – Клеенка была старой, засаленной, но ее постилали только к воскресному обеду.

– Я должен поступить в художественную школу. – Огюст сказал это почти про себя.

Папа принялся издеваться:

– Вам, конечно, подай Большую школу изящных искусств[3], мосье Роден?

– Нет, Папа, туда мне рано. Надо подготовиться.

– Как же, как же. Ты далеко пойдешь.

– В Большую школу я поступлю, если хорошо подготовлюсь.

– Один-единственный сын, – причитал Папа, – и тот идиот.

Мари рассматривала своего серьезного брата: безбородое, совсем еще детское лицо, высокий лоб, квадратные скулы, длинный тонкий нос, решительный рот. «Он считает, что выглядит слабым из-за своего тихого голоса, невысокого роста, но наружность обманчива, – думала она, – и ведь воля, упорство у него просто на диво». Она заговорила впервые за весь день:

– Папа, может, ему и верно пойти в художественную школу?

– Нет, – сказал Папа. – Парень, конечно, с норовом – вон какой нос, да и ручищи сильные, но того и гляди вообразит себя важным господином – и подавай ему фрак и цилиндр.

– А вдруг он поступит в Школу изящных искусств…

Папа с презрением выдохнул воздух, его красное лицо стало злым и насмешливым:

– Ну а если, мосье, вы вдруг не поступите в Большую школу?

– Поступлю, – сказал Огюст с уверенностью четырнадцатилетнего юнца, готового бросить вызов всей вселенной.

– Да ты и писать-то не умеешь толком, – продолжал неграмотный Папа. – Александр говорит, что ты словечка не напишешь правильно.

Огюст ответил:

– Ошибки в словах – это все равно что ошибки в рисовании. А я, Папа, не придираюсь к тому, как ты рисуешь.

– Идиот! – Папа занес руку, но тут Мама поставила перед ним тарелку с мясом, что было непривычной роскошью, и устоять перед заманчивым запахом было свыше его сил. Набив рот телятиной, он объявил:– Только в одном Париже полным-полно художников, да разве они едят вот так досыта?

– Париж – это город художников, – ответил Огюст. – Поэтому они и живут здесь. А Школа изящных искусств совсем рядом с нами.

– Я сказал: забудь о Школе!

– Да я все равно в нее не поступлю.

– Это почему еще? – Папа вдруг почувствовал себя задетым.

– Я еще не подготовился. Пока нет. – Он опустил руки в холодную воду, осторожно вымыл. Руки теперь надо беречь.

И тут вошла Клотильда.

– Да нет, я не обедать, – сказала она. – Меня пригласили на

обед.

– И это в воскресенье? – Папа разъярился вконец. – Тебе еще всего девятнадцать! Куда ты направляешься? С кем? – Его гордость была оскорблена.

«Как она хороша сегодня, – подумал Огюст. – Высокая, гибкая, округлые формы, теплые тона кожи, приятная осанка».

На ней была шляпа со страусовыми перьями.

– У тебя все по моде, – усмехнулся Папа. А Клотильда упрекнула его, что он скряга. Папа взорвался:

– Слишком уж ты разряжена для честной девушки! И что это за роскошный экипаж, на котором ты подкатила? Он все еще поджидает тебя на углу Сен-Жермен?

Клотильда превратилась в прелестную молодую женщину, слишком хорошенькую, чтобы быть его дочерью. Папа чувствовал себя с ней неловко. Она не хотела стать швеей или хотя бы модисткой. Она перестала носить простые скромные платья. А теперь еще дерзит, отказывается отвечать, где была. Он веско сказал:

– Если так пойдет дальше, ты мне больше не дочь. – Он надел свой грубый темно-коричневый сюртук. – А теперь садись обедай, не заставляй Маму ждать.

– Мама, я же тебе сказала, что меня пригласили на обед.

– Да ты с ума сошла!

– Экипаж ждет.

– А ты что за Жозефина[4]?

– Папа, я заехала за накидкой. – Кто же у тебя за Наполеона?

– Бедный папочка, все ему нужно знать.

– Твои родители обвенчаны в церкви. Ты достаточно красива, ты можешь выйти замуж и без приданого.

Клотильда насмехалась:

– Это что, семейная исповедальня?

– Да ты совсем обнаглела! – Папа свирепо уставился на нее, ожидая, что она попросит прощения и займет наконец свое место за воскресным столом.

Клотильде не хотелось ссоры, но она не могла заставить себя просить прощения. Она понимала, что зашла слишком далеко, но, если сейчас отступить, ей никогда не видать свободы. А Гастон ждет. Им не стоит бросаться: он достаточно богат и без ума от нее. Всего несколько минут назад он уверял, что лишь ангелы могут сравниться с ее красотой, которой приличествует соответствующая оправа. И все же хотя она и не хотела уступать, не стоило слишком сердить Папу. Мало ли что еще ей обещали, а что толку? Она заколебалась, не зная, как поступить.

Папа тоже не хотел сцен, но боялся, что, прояви он слабость,

остальные воспользуются этим, Огюст в первую очередь. Клотильда еще пойдет на попятный, уверял он себя, это не впервые. Папа сказал:

– Садитесь все, потом решим, как ее наказать.

– А как быть с моим другом? – спросила Клотильда.

– А ты пригласи его к нам, – сказал Папа. – Лишний человек не объест, заодно и познакомимся.

Но это невозможно, подумала Клотильда. Гастон из хорошей семьи, чуть ли не самой богатой в Руане; если он тут побывает, то уже никогда не захочет с ней знаться. И так еле-еле уговорила подождать ее на бульваре Сен-Жермен.

– Прости меня, Папа, – сказала она, – но мы уже договорились пообедать в другом месте. – Теперь она даже гордилась своим неповиновением.

– Значит, мы для него недостаточно хороши, – заключил Папа.

– Я этого не говорила, – сказала Клотильда.

– А и не надо говорить. Это так же ясно видно, как страусовые перья на твоей шляпе.

– Ему они нравятся.

– А мне нет. – Папа протянул руку, чтобы схватить их, но она уклонилась.

На минуту воцарилось молчание. Остальные застыли на месте будто статуи. Терпению Папы пришел конец. Когда Клотильда вышла за накидкой, он бросил ей вслед:

– Если ты сейчас уйдешь, можешь не возвращаться.

– Это серьезно?

– Да, – подтвердил Папа. Слова Папы явно произвели впечатление. Клотильда приостановилась, и решимость Папы еще больше возросла. – Ты должна подчиниться.

– А если я не подчинюсь?

– Тогда собирай вещи, уходи.

– Но почему?

– А потому, что иначе тебе одна дорога в Сен-Лазар, в женскую тюрьму. – Папа явно не шутил, и она испугалась.

– Мадемуазель, знаете ли вы, что в Сен-Лазаре тысяча окошечек, ужасных, маленьких и все с решетками. А сколько там проституток, и все больные, а некоторые даже сумасшедшие. Я-то знаю – доставлял письма в тамошнюю префектуру. И не хочу, чтобы моя дочь туда попала.

Выражение ужаса в глазах Клотильды сменилось гневом:

– Как вы можете так поступать со своей дочерью!

– Тогда ты уже больше не будешь моей дочерью. Мама сказала:

– Жан, она молода, упряма, надо ее простить.

– После того как она меня оскорбила?

– О Жан, и все из-за того, что она с тобой не согласна?

– Она не слушается. Только то и делает. Все мои дети от рук отбились, – сказал он удрученно, но исполненный решимости положить этому конец, поставить на своем, доказать сыну свою силу, пока не поздно. – Даже тихоня Мари.

– Жан, ты не можешь выгнать ее на улицу. Папа с трудом сдерживал себя. Как смеет Мама защищать ее? Что она ей, родная мать? Теперь все против него! Отступать поздно: он зашел слишком далеко.

– Если ты ее любишь, – говорила Мама, – ты ее простишь.

Папа молчал. Сидел словно каменный. Клотильда, которая все время стояла, словно застыв на месте, теперь пошла за накидкой. Папа бросил ей вслед:

– И не возвращайся.

Мама снова принялась умолять Папу смягчиться, к ней присоединилась Мари, а потом и Огюст, но их сопротивление только укрепило его решимость доказать свою власть. Клотильда схватила накидку и бросилась к дверям. Мама в растерянности замерла у плиты.

Клотильда задержалась в дверях. Она и Папа надеялись, что кто-то уступит, но ни один не мог побороть себя. Она побледнела, выбежала из комнаты. Мари и Огюст бросились за сестрой, но та уже села в экипаж, ждавший на углу.

Папа пробормотал:

– Шлюха, как есть шлюха! Помяните мое слово! Мама воскликнула:

– Жан, как ты можешь так говорить? Ты же знаешь, что ей не на что жить!

Папа стукнул кулаком по столу:

– Хватит!

Огюст был потрясен: Папа назвал Клотильду шлюхой.

Он не вернулся за стол к неоконченному обеду, а так и остался у дверей после того, как бросился за Клотильдой, и Папа прорычал:

– Иди на место, не валяй дурака. Ешь!

– Не хочу.

– Так не дергайся, стой спокойно.

– Я и стою.

– Садись, я тебе сказал! Господи!

Огюст знал, разумней всего подчиниться, но не мог. А вдруг Папа выгонит и его? Куда денешься? Но он должен рисовать.

Папа жег взглядом сына, а тот упрямо застыл на месте,

недвижимый, что скала. С Клотильдой все нехорошо получилось, а тут еще сын… Не может же он лишиться своего единственного сына, слишком уж будет унизительно. Так они и взирали друг на друга, пока Мари не предложила компромисс. Она негромко сказала:

– Я знаю бесплатную школу. Малую школу[5].

– А кто будет платить за квартиру и еду?

– Я ему помогу, – сказала Мари. – Я могу продавать образки и медали.

– Ну и ну. – Папа был поражен. Уж от Мари-то неповиновения он совсем не ожидал.

Мари почувствовала, что сопротивление Папы слабеет, и сказала:

– В этой школе готовят больше чертежников, чем художников, чтобы юноши из бедных семей могли получить ремесло.

Папа спросил:

– А ты откуда обо всем этом знаешь? Мари покраснела.

– Я познакомилась с одним молодым человеком, его звать Барнувен, он там учится.

– Почему ты не пригласила его сюда? Она растерянно развела руками.

– Да я говорила с ним всего один или два раза.

– Он тебе нравится?

– Папа, ведь он художник. – Не сбивай меня.

– Но ты говорил, что не любишь художников.

– Пригласи его. Я сам во всем разберусь.

– Но я не настолько его знаю.

«А Мари не столь уж, оказывается, смиренна, – думал Огюст, – и куда девался весь ее аскетизм? Даже в своем черном строгом платье она выглядит оживленной и хорошенькой. Интересно, близко ли они знакомы с Барнувеном?»

Мари поспешно добавила:

– Если Огюст окончит эту школу, то сможет работать у ювелира на улице Дофин, или стать гравировальщиком на улице Овернь, или краснодеревщиком где угодно в Париже. Папа, он там выучится ремеслу.

Папа проворчал: – Где уж ему. Мама сказала:

– Бедняжка Огюст, весь дрожит как лист. Хороший мой, неужели это для тебя так много значит?

Огюст кивнул.

– Одного желания мало, – ледяным тоном сказал Папа.

– Сколько мне за него платить тебе, Папа? – спросила Мари.

– Я не ростовщик, – ответил Папа.

– Десять франков в неделю? Папа молчал.

– Двенадцать франков?

– Сказано тебе, что я не ростовщик и не лихоимец. Плати сколько можешь.

– Я буду платить сколько надо.

– Надо? – Папа пожал плечами. – Надо всегда много. Щедрость ему не по карману. Давно бы уехал из Парижа, знать бы, что в Нормандии найдется место подоходней.

– Значит, ему можно поступить в эту школу? – спросила Мари.

– Откуда ты знаешь, что его примут?

– Обязательно примут, – уверенно сказала Мари.

Огюст подумал, что никогда еще не видел ее такой красивой. Он бросился к сестре и поцеловал в щеку, потом обнял Маму которая подарила ему одну из своих редких улыбок. Он хотел поцеловать и Папу или хотя бы пожать ему руку, но только смущенно пробормотал:

– Спасибо, Папа. А Папа все ворчал:

– Одна дочь шлюха, другая святоша, а сынок болван.

Папа чувствовал себя Иовом.

Глава III

1

Несколько дней спустя Барнувен повел Огюста в Малую школу. Он делал это для Мари, видимо, желая блеснуть перед ней.

Барнувен был высоким, худым семнадцатилетним юношей; розовощекий, горячий, самоуверенный, он был рад показать этому мальчишке, с кем тот имеет дело. Себя он считал выдающимся талантом, законным преемником Делакруа, в Малой школе он учился второй год и рассматривал ее лишь как ступень к Большой школе изящных искусств.

Огюст завидовал чуть заметному пушку, покрывавшему подбородок Барнувена, этой будущей бородке Ван-Дейка, завидовал его очаровательным глазам, тонким чертам, завидовал, что у Барнувена такой выразительный, насмешливый рот. Барнувен мог говорить на любые темы, а ему приходилось подыскивать слова. Барнувен уже одевался по последней моде – фрак, брюки со штрипками, мягкая шляпа– и курил трубку; длинные вьющиеся волосы падали на отложной по моде Латинского квартала, ворот рубашки.

Школа находилась на улице Эколь Медисен, в районе, центром которого были Высшая школа медицины, Сорбонна, Высшая школа права, Школа изящных искусств и Обсерватория.

– Вот они, столпы французской науки, – указывая, гордо объявил Барнувен, когда они быстро шли по широкому людному бульвару Сен-Мишель и затем по узенькой живописной улице Расин.

Барнувен (ему нравилось, чтобы его звали просто Барнувен) так и сыпал словами. Он рассказывал изумленному Огюсту, который смотрел ему в рот:

– Малая школа была основана в 1765 году Жан-Жаком Башелье, любимым художником мадам Помпадур, это была школа прикладных искусств, а не изящных, как Большая школа. Она называется Малой в отличие от Большой школы изящных искусств. Но официально мы носим пышный титул. – Барнувен произнес его, словно это был титул целой империи:– Вы будете посещать Специальную имперскую школу рисования и математических наук.

Огюст не засмеялся, как тот от него ожидал.

– Друг мой! – воскликнул Барнувен. – Да ты не из болтливых?

– Верно, – согласился Огюст. Что ему было еще сказать?

– А Лекок[6], когда у него настроение, умеет говорить. – Он не пояснил Огюсту, кто такой Лекок, но ясно было, что это необыкновенно важная личность. – Какому ремеслу ты обучаешься? Малая школа готовит чертежников, а не художников. Между прочим, студенты Большой школы говорят, что здесь учатся бездари, которые к ним не попали. Но от меня они так просто не отделаются. Ты-то чем хочешь заниматься?

– Я хочу стать художником.

– А ты когда-нибудь писал красками?

– Нет.

– А я – да. У меня уже неплохая техника – Барнувен сказал это так, словно уже завоевал Салон. – А акварелью работал?

– Немного.

– Немного! Что значит немного? У тебя на уме, верно, не учеба, а развлечения?

Огюст столь яростно замотал головой, что Барнувен изумился.

– Ты точно решил поступить в Большую школу?

– Я попробую. Сначала подготовлюсь в Малой.

– Все пробуют. А там того гляди вообразишь себя и Микеланджело.

– Я никогда не видел его работ.

– А ты знаешь, кто он такой?

– Кое-что знаю. Мало. Меня все латыни учили.

– А теперь надумал стать художником? Огюст пожал плечами.

– Если на то будет божья воля. И если буду стараться.

Барнувен уставился на него, словно увидел впервые, но они уже дошли до Малой школы, надо было входить.

Школа размещалась в замечательном здании семнадцатого века. Перед домом был сад. Они прошли во двор в большие кованые ворота под аркой. Над входом была латинская надпись «Utilitas – Firmitas». Барнувен перевел растерянному Огюсту:

– «Практичность – Надежность». Видно, ты попусту долбил латынь. Тут здорово, правда?

Огюст кивнул и принялся рассматривать Геркулеса и Минерву, установленных по обе стороны входа. Около каждой статуи стояло по две ионические колонны. «Тут какое-то противоречие, – подумал он, – скульптура греческая, а фасад в замысловато-декоративном стиле барокко». Само здание было круглое и завершалось куполом, который ему не понравился: слишком велик, да и дурного вкуса – скорее уж для церкви, а не для художественной школы.

Барнувен ввел его в главный зал – некогда просторный салон,

теперь превращенный в студию. Высокий потолок, большие продолговатые окна, самый лучший свет на северной стороне. Стены увешаны многочисленными рисунками, выполненными углем, белой, красной и черной пастелью, а также несколькими картинами, преимущественно копиями. В конце зала возвышалась платформа с широкой доской для рисования, за ней стоял человек. Перед доской находился станок для модели, несколько табуреток и примерно штук сорок тяжелых, с прямыми спинками стульев с мольбертами перед каждым, на многих из них стояли рисунки.

Студенты – все молодежь, что-нибудь от четырнадцати до восемнадцати лет. Огюст отметил это с облегчением – значит, он не будет слишком выделяться. Не было слышно ни шуток, ни разговоров. Он почувствовал, что здесь к делу относятся серьезно, что это не для безответственных или ленивых; здесь учатся зарабатывать на жизнь, чтобы избегнуть нищеты и не окончить свои дни безвестным бродягой в морге или в Сене, чтобы не оказаться без работы или чтобы не идти по стопам отцов.

У него бешено забилось сердце, когда Барнувен представил его Горацию Лекоку де Буабодрану, человеку, стоявшему на возвышении.

– Мэтр, это Огюст Роден, он хочет поступить в Малую школу.

Лекок внимательно посмотрел на Огюста. Это был темноволосый мужчина средних лет, с резкими чертами лица, потухшим взглядом, но когда что-то интересовало его, как сейчас Огюст, карие глаза его блестели, светились жизнью, ведь каждый новый ученик – это новый мир, новый вызов, рождение чего-то нового или – тут лицо его вновь помрачнело – новое разочарование. «Удивительное лицо, – подумал Огюст, – длинное, худое, высокие выдающиеся скулы, умный лоб и глаза, видящие все насквозь». Огюсту казалось, что взгляд Лекока гипнотизирует его. Мэтр его спрашивал:

– Вас интересуют изящные искусства?

– Да. – И как тот догадался? Барнувен сказал ему, что Малая школа готовит ремесленников.

– Где-нибудь учились раньше?

– Нет.

– Откуда вы знаете, что сможете стать художником?

– Я рисую с пяти лет.

– На полотне? – Лекок усмехнулся.

– На оберточной бумаге.

Лекок изумился, и Барнувен, который знал обо всем от Мари, поспешил объяснить.

– А, – сказал Лекок, – еще один бедный студент. Огюст

кивнул.

– Почему вы не пришли к нам раньше?

– Я ходил в обычную школу, учил латынь и арифметику.

– Понапрасну теряли время?

Огюст с благодарностью взглянул на него. – Вы принесли какие-нибудь рисунки?

– Нет. Значит, меня не примут?

Ученик отвлек Лекока, и он не ответил, а Барнувен прошептал:

– Осел, конечно, примут. Тут нет экзаменов и за обучение не платят. Ему надо знать только, в какую группу тебя поместить.

Лекок вновь обратился к Огюсту – тот стоял напуганный и одновременно завороженный – и резко сказал:

– Всех моих студентов можно разбить на две группы. Одни – прирожденные служаки, которые хотят изображать только прямые линии, хотя таковых и в природе не существует. Хотят рисовать в соответствии с правилами, хотя в жизни нет правил. Эти обычно добираются до Большой школы, где занимаются тем, что подражают классикам. Их следовало бы передушить еще при рождении. Но мне приходится учить их в этой свободной республике искусств. Вторые– их немного, и нельзя предсказать, откуда они появятся, – пытаются смотреть на вещи своими глазами, иметь свое мнение, на манер Рембрандта. Большинство художников смотрит на мир глазами своей семьи, своих учителей, своих хозяев, глазами общества, в котором они живут. А вторые, те, что идут по стопам Рембрандта, учатся игнорировать их мнение и смотреть на все своими собственными глазами.

Огюст был в отчаянии. Он видел так мало, так плохо. Никогда ему не попасть в Большую школу, никогда не будет он выставляться в Салоне, единственном месте, где можно продать картины, никогда ему не подняться до уровня Малой школы, которую сейчас олицетворял Лекок.

– Но вы, конечно, считаете, что в искусстве должна быть тишь и благодать, – сказал Лекок.

– Почему же? Я ведь не имею о нем никакого представления.

– Значит, вы сами определите свой уровень, – равнодушно сказал Лекок. – Научитесь подражательству, станете поклонником прямых линий.

Лекок уже было отвернулся от него, когда Огюст воскликнул:

– Мой отец считает меня идиотом, потому что я хочу попасть сюда! Но мне надо попасть! Я не знаю, почему, но надо. И я могу рисовать. Я знаю, что могу.

Лекок улыбнулся: что ж, мальчик хотя бы умеет сердиться.

– Так рисуйте, – сказал он.

Огюст повернулся за советом к Барнувену, но тот с таким превосходством и высокомерием пожал плечами, что Огюст не мог этого стерпеть. Он сел на свободный стул и взял черный пастельный карандаш. И хотя все было незнакомым, непривычным, растерянность его прошла, как только лицо Барнувена стало вырисовываться на бумаге. Огюст не мог думать ни о чем другом, и, когда Лекок неожиданно остановил его, он разочарованно сказал:

– Но я же еще не кончил.

– Достаточно. – Лекок рассмотрел рисунок, затем взглянул на Барнувена: – А ваш друг не из льстецов.

Барнувен посмотрел на свой рот на рисунке, привлекательный и одновременно несколько хитроватый, и объявил:

– Примитивно. Мазня. Совсем не похоже. Лекок сказал:

– Но он вас таким видит.

– Это шутка неудачная, – ответил Барнувен.

– Прости меня, – негромко сказал Огюст. – Я вовсе не хотел нарисовать карикатуру.

Барнувен великодушно махнул рукой в знак прощения, а Лекок сказал:

– Это не карикатура. Как ваше имя, юноша? – Роден. Огюст Роден.

– В следующий раз, Роден, когда будете изображать столь элегантного молодого франта, пользуйтесь пером для тонких линий. А то тут слишком много размазанных пятен.

– Я никогда не рисовал пером. У меня нет денег.

– Потом купите. У вас дело пойдет, даже без единого су. Отлично.

– Благодарю вас, мэтр.

– Вы будете заниматься в утреннем классе вместе с начинающими.

– Я думал… – Огюст остановился, не в силах продолжать; он хотел что-то сказать, но ему было неловко.

– Вы думали, дорогой друг, что принадлежите к ученикам второго типа, к Рембрандтам. Это еще надо доказать. Времени у вас хоть отбавляй. А пока будем учиться рисовать, и только рисовать. Этого умения нам всем недостает. И вам тоже, Барнувен, – добавил Лекок, заметив недовольство на его лице.

Барнувен сказал:

– Я стараюсь изо всех сил.

– Все мои ученики стараются, – назидательно сказал Лекок. – Стараться каждый может.

2

Огюст решил с первого же занятия взяться за дело, не щадя себя, и все же чувствовал неуверенность. Занятия шли с восьми утра до полудня, в классе было сорок учеников. Лекок объявил, что прежде чем присоединиться к другим, занятым копированием рисунков Буше, он обязан доказать, что может рисовать по памяти. Это было испытанием для всех начинающих, которые мечтали стать художниками. Учитель сказал: «Это развивает наблюдательность», – и, казалось, позабыл о нем, но Огюст чувствовал, что он проверяет его и скорее проверяет настойчивость, чем умение.

Огюст сидел перед чистым листом белой бумаги, и его мутило от этой чистой белизны. Он чувствовал себя в пустоте, Барнувен дал ему белые, красные и черные карандаши, больше у него ничего не было. Огюст не знал, с чего начинать. Он чувствовал себя еще хуже, чем вчера. Никто им не интересовался.

Барнувен делал копию с рисунка Буше сепией, что было обычным для Малой школы, потому что Буше, олицетворявший французское рококо восемнадцатого века, считался здесь чуть ли не богом, ведь он учил рисовать Помпадур. Барнувен заметил, что Огюст сидит бледный, неподвижный, и прошептал:

– Да нарисуй ты что-нибудь самое обычное, что видишь. Видеть – это так же естественно, как дышать.

«А что тут видеть, – думал Огюст. – Интересно, так ли уж много знает Лекок, как думает Барнувен. А что значит видеть? Копировать куда проще». Он посмотрел на Барнувена, но тот помотал головой. Лекок остановился за его спиной.

– Нарисуйте что-нибудь знакомое.

– Лицо?

– Можно и лицо.

– Можно я нарисую отца?

– Как хотите. – Лекок положил рядом перо, твердые и мягкие карандаши, угольный карандаш и сказал: – Всякий художник должен уметь подбирать наиболее подходящие для работы материалы. И вы тоже выберите, – улыбнулся и отошел в сторону.

Огюст решительно повернулся к чистому листу бумаги. Взялся было за пера, но не умел им пользоваться, и остановил выбор на черном и угольном карандашах, с которыми был знаком. Сначала он набросал голову в целом, затем занялся отдельными чертами, тени он наложил так резко, что лицо казалось почти скульптурным – благообразное и одновременно суровое. Потом Огюст вспомнил, как выглядел Папа, когда нехотя согласился отпустить его в Малую школу, и сжатые губы теперь

выражали отвращение, челюсть стала тяжелой и упрямой, шея толстой.

Снова подошел Лекок.

– Это ваш отец? – спросил он, пораженный рисунком.

– Да. – Внезапно его охватил страх, что рисунок могут разорвать. Сделан он был грубо, и Папа выглядел ужасно, но он готов был поклясться, что это Папа.

Лекок почувствовал беспокойство мальчика, но не мог удержаться от замечания, ведь мальчик был абсолютно серьезен:

– Мосье Роден, вы слишком злы.

– Но ведь он такой и есть! – в отчаянии воскликнул Огюст.

– Вы хотите сказать, что таким вы его видите, мосье Роден.

– Да, таким, – решительно заявил Огюст, внезапно заупрямившись.

– Таким вот отвратительным?

Огюст вздрогнул, но все же кивнул утвердительно, Лекок с удивлением покачал головой.

– Я очень сожалею, мэтр, что он вам не нравится, но…

– Неужели, – настаивал учитель, – вы не раскаиваетесь, что изобразили его таким?

Выбора не было. Огюст хотел солгать, но не мог.

– Не раскаиваетесь? – повторил Лекок.

Огюст принялся собирать свои карандаши, он был уверен, что его выгоняют, хоть Малая школа и бесплатная.

Лекок сказал:

– Я рад, что вы такой злой. Условности – самый страшный враг молодых художников.

– Вам нравится мой рисунок? – Огюст был поражен.

– Мне нравится, что вы не стали лгать и не стали льстить. Рисунок не должен быть гладеньким, он должен быть живым.

3

Следующие несколько недель Огюст старался научиться у Лекока всему, чему только мог. Барнувен утверждал, что Лекок был самым лучшим учителем вне стен Большой школы, может быть, даже самым лучшим учителем во всем Париже, хотя Лекок часто и яростно выражал свою нелюбовь к Академии. Лекок гордился своей нелюбовью и не скрывал ее от учеников. Обычно он высказывался следующим образом:

– Я знаю, что большинство из вас ходит сюда, только чтобы подготовиться к Большой школе, к ее сухим лекциям, бездарной программе, что вы надеетесь получить Римскую премию, выставляться в Салоне, завоевать почетные дипломы или медали,

ждете, что ваши картины будет покупать правительство и что в конце концов вас засыпят государственными заказами и выберут в Академию. Но разве есть там жизнь, воображение? Там все должно быть прилизанным н благопристойным.

И тем не менее Барнувен и Огюст не отказались от своего решения поступить в Большую школу, но теперь Огюст соглашался с мнением Барнувена: Лекок – действительно выдающийся человек.

А Лекок неустанно повторял: «Только трое или четверо из всех вас когда-либо чего-нибудь добьются». Но при этом он умел дать почувствовать каждому ученику, что именно он является одним из этих трех-четырех избранников.

Огюст не считал себя таким счастливчиком. Он все еще не верил тем чудесным превращениям, которые совершились в нем после нескольких месяцев занятий с Лекоком. Если раньше он с трудом мог сосредоточиться, то теперь это не стоило ему никаких усилий. И он больше не отвлекался, знал, что если не сосредоточится, то упустит что-нибудь очень важное.

Лекок подчеркивал необходимость зрительной памяти; требовал, чтобы ученики впитывали в себя все, что видели, и чтобы они умели целиком по памяти рисовать увиденное. Но он учил и технике рисования, как пользоваться пером и карандашом, а также мелом и пастелью и угольным карандашом, применять мягкий, средний и твердый карандаш, размазывать контуры кончиками пальцев, использовать различные цвета. Мэтр особенно любил двойную пастель – красную и черную, а также тройную – красную, черную и белую.

Он говорил:

– Рисунок неотделим от живописи. Линия определяет замысел, форму, цвет, текстуру. Есть линия мягкая, линия лирическая, линия остроумная, линия декоративная, как у Буше. Великие декораторы Буше и Фрагонар рисовали непрерывно; они превратили рисунок в одну из самостоятельных форм искусства – рисунок красным или черным мелком, карандашом, пером и акварелью. Что касается своеобразия, но тут никто не сравнится с Рембрандтом и Микеланджело. Это бесспорно! Вы это сами поймете.

Огюст был столь захвачен энтузиазмом Лекока, что боялся задать вопрос: это могло нарушить ход мыслей учителя. По этой же причине редко кто из учеников задавал ему вопросы.

– Рисунок– это не только то, что запечатлено на бумаге, но и то, что не передано. Перо скользит по бумаге и навеки запечатлевает на бумаге всю сущность художника.

Впервые Огюст сталкивался с таким проявлением сильных

эмоций. «Как могут из них выйти всего-навсего простые ремесленники, если они прошли через такое горнило чувств», – думал он.

А когда Лекок сказал: «Превыше всего мы должны ставить тело человека, которое воплощает в себе все его достоинство и совершенство», Огюст загорелся желанием рисовать человеческие фигуры. Он не знал, рисовать ему мужчин или женщин, обнаженных или в одежде. Сначала он набрасывал один бесполый торс, потом, ноги, тоже неизвестного пола, потом руки, голову – и тут-то и происходила заминка. Голова не могла принадлежать одновременно и мужчине и женщине, да и тело тоже. На рисунок упала тень Лекока. И он ждал, что учитель скажет ему: «Воздержитесь». А вместо этого услышал:

– Продолжайте.

– Но я мало знаком с анатомией, – ответил Огюст.

– Вы ведь знаете человеческое тело, правда? Ну свое собственное тело? Вы рассматривали свое собственное тело?

Огюст покраснел. Нет, не рассматривал, конечно, он знал кое-что о себе, но только в общих чертах, и стеснялся обсуждать подобные вопросы.

– Художник, который сам себе не служит моделью, попросту слеп.

Огюст принялся было точить карандаши, но Лекок настаивал:

– Все видят предметы по-разному. Для меня это синее, а для вас, может быть, зеленое. Для меня это деревья, а для вас – человеческие тела. Рисуйте то, что видите.

– Но я не могу рисовать по памяти. Я не знаю как!

Углубиться в подробности значило бы проявить свою полную неискушенность, а этого он почему-то боялся.

– Вы младенец. Для вас каждая часть тела существует независимо, вне связи. Вам следует быть чертежником, поклонником прямых линий.

– Я не хочу быть чертежником. И не буду им! – Огюст так стремительно вскочил с места, что опрокинул рисовальную доску и порвал рисунок. Ему стало обидно, но еще более обижали его эти намеки Лекока: он всегда так верил учителю.

Лекок выглядел усталым, ему хотелось скорее прекратить этот спор, который стал бессмысленным, но гут он заметил слезы на глазах юноши; ведь Огюст умел рисовать, в этом не было сомнения, и тогда мэтр спокойно добавил:

– Приходите в вечерний класс, там будут рисовать с натуры. Только приходите пораньше. Народу очень много.

Лекок был прав. Вечерний класс оказался переполненным – в

этот вечер рисовали обнаженную женскую натуру. Студентов было раза в два больше, чем на дневных классах; они были старше и вели себя свободнее и шумнее. Огюсту только что исполнилось пятнадцать, и он робел среди восемнадцатилетних и девятнадцатилетних, а иным было и за двадцать. Это были художники, которые уже работали ремесленниками днем и могли посещать классы только по вечерам.

Студенты немедленно тесным кругом окружили модель и принялись делать с нее наброски. Огюст оказался позади и сначала мог видеть лишь спину натурщицы. Он пришел с опозданием: пришлось поспорить с Папой, чтобы добиться разрешения посещать Малую школу вечерами.

Огюст нервничал, в студии было прохладно – стоял декабрь, и он дрожал. Но не от холода. Он не был уверен, что решится при всех взглянуть на обнаженную натурщицу.

Барнувен, который расположился рядом, торжествующе сказал:

– В Большой школе у них только натурщики-мужчины, а женское тело копируют лишь с классических нимф на картинах. Но Лекок передовой человек, такому нет цены.

Огюст кивнул, ему было стыдно сознаться в своих настоящих чувствах: Папа был бы потрясен, если бы увидел его сейчас. Мама произнесла бы, наверное, несчетное число молитв, а что касается Мари, то трудно представить, что бы подумала его застенчивая сестра.

Однако все остальные держались равнодушно. Лекок говорил о натурщице, словно о трупе на анатомическом столе, он рассказывал о частях ее тела, методически перечислял их: торс, рука, кисть руки, голова, нижние конечности, ступня, таз. Но самым большим разочарованием оказалась сама натурщица.

– Прислуга из дома напротив, – с раздражением пояснил Барнувен. – Лекок выбирал какую потолще.

– Да, толстовата, – согласился Огюст, ему хотелось казаться таким же искушенным, как и Барнувен. Тем не менее сердце забилось у него сильнее, когда он наконец решился присмотреться к ней.

Лекок сухо пояснял:

– Это типичное женское тело. Огюст придвинулся поближе.

– Вы должны изобразить его таким, каким сами его видите.

Огюст не провел еще и линии.

– Начинайте с бедер. Это поможет вам правильно расположить ее в пространстве.

Огюст начал рисовать, потом остановился. Обнаженные тела он видел только в иллюстрациях к книгам, описывающим

героические события древности. То были весьма романтичные, приукрашенные, идеализированные фигуры, а эта натурщица всего-навсего обыкновенная женщина средних лет из трудовой среды, даже не хорошенькая дамочка полусвета, которая по крайней мере была бы привлекательной. И все же Огюст не мог отвести взгляда от обольстительной линии ее спины. Ему хотелось передать движение, ритм, и он попробовал набросать стремительные, выгнутые линии, тело в движении.

Затем натурщица повернулась, чтобы студенты могли рассмотреть ее со всех сторон. Лекок считал, что модель не должна до бесконечности сохранять одну и ту же позу, а должна двигаться свободно, чтобы рисунок приобретал естественность и движение, – и Огюст был потрясен. Спереди она выглядела еще более тяжелой, чем он себе представлял. Обвислые, увядающие груди; живот выпирал многочисленными складками; бедра широкие, мясистые. Но самым большим разочарованием была кожа. Не та мраморно белая кожа, что он привык видеть на полотнах Энгра, нечто необычайно великолепное, в молочных тонах, – кожа у натурщицы была покрыта бесчисленными веснушками.

Огюст смотрел и ничего не видел. Он разглядывал ее напряженно и одновременно испытывал какое-то детское смущение, которое хотелось скрыть. Изучить тело он может только в одиночестве, здесь это невозможно. Теперь натурщица стояла, прикрываясь руками, в позе, предполагающей наивную чистоту, но эффект был обратным. Огюст почувствовал грусть. Это было безобразной пародией на женское тело, существующее в его воображении.

Он принялся старательно рисовать, и Лекок сказал:

– Примитивно. Верно, но безжизненно.

– Я еще не закончил.

– Время! Время! Время! Разве дело во времени?

– Значит, я что-то делаю не так, мэтр?

– Длинные или короткие мазки – все равно. Главное, чтобы ваши глаза не теряли чувствительности. Глаза должны быть посредником между вами и натурой.

– Я рисую то, что вижу.

– То, что чувствую. Чувствуете-то вы, дорогой друг, вполне достаточно, да видите мало.

Лекоку нравился этот юноша, но разве знаешь, кто из них добьется успеха, а кто нет? Когда он был студентом Большой школы, все считали, что Гораций Лекок де Буабодран станет вторым Давидом или Энгром, а он всего-навсего хотел остаться де Буабодраном, самим собой. Теперь он редко писал, и

говорили, что он прирожденный педагог, а это значило, что картин от него больше не ждут.

– Рисуйте свободней, непринужденней, Роден, все эти условности не имеют значения. Присматривайтесь. Это ведь целое искусство – уметь видеть. Уметь видеть – труднее всего, тут нужен гений. Огюст очень хотел сказать Лекоку, что у него болят глаза, что когда он так далеко от модели, то видит лишь расплывчатые контуры; пока он слушал мэтра, более напористые из учеников протолкнулись поближе к натурщице. Огюст почти не видел ее за чужими спинами. А рисунок еще не закончен. Шея, плечи, руки еще не нарисованы. Да он никогда и не закончит, вдруг испугался Огюст, потому что Лекок направился к натурщице, разрешил ей отдохнуть и та присела на стул, накинув на пухлые плечи толстую шерстяную накидку, чтобы согреться.

В перерыве Барнувен представил Огюста небольшой группе его знакомых студентов. Анри Фантен-Латур[7], на четыре года старше Огюста, был оратором группы, у него были такие же рыжие волосы, как у Огюста, усы и реденькая бородка – типичный молодой художник. Альфонс Легро[8], смуглый, невысокий, тихий, но полный скрытого огня. Жюль Далу[9], ученик класса ваяния, энергичный, не скрывающий своих мнений, с узким нервным лицом. Но центром кружка был Эдгар Дега, он даже не рисовал, а просто сидел и наблюдал за всем; ему было двадцать два, и никто не сомневался в широте его познаний. Дега был изящным, с продолговатым худым лицом и полными губами, а таких насмешливых и пытливых глаз Огюст еще никогда не видал. Барнувен сказал:

– Ну и здоровая же натурщица, меня от нее прямо тошнит.

– Напрасная трата времени, – отозвался Фантен-Латур. – И чего все эти идиоты сгрудились вокруг нее? Нам надо рисовать только по памяти и обязательно в Лувре. Лувр – самая лучшая школа.

– Фантен во всем следует великим мастерам, – сказал Барнувен Огюсту.

– Это лучше, чем сидеть здесь, – возразил Фантен-Латур. – Мы рассчитываем увидеть нимфу, а нам подсовывают служанку. Даже у Делакруа и Давида куда больше вкуса.

– Да, – вздохнул Барнувен. – Фантен у нас школяр.

Внезапно раздался насмешливый голос Дега:

– Вы оба не правы. Рисуйте, что хотите, только рисуйте – по памяти, с натуры, откуда хотите, А что касается всяких там теорий, так они для простых смертных.

– Рисуйте, что хотите? – столь же насмешливо передразнил Фантен. – Наш друг Дега почерпнул это у Энгра и уже ходит у

него в последователях.

– Ничей я не последователь, – вскипел Дега. – Но я не из идиотов, это точно.

– Значит, по-твоему, я идиот? – горячился Фантен.

На мгновение Огюсту показалось, что дело дойдет до драки, с такой непримиримостью они взирали друг на друга; но тут Дега пожал плечами. Он не отвечает за глупость Фантена, говорил его вид, и Фантен принялся спорить с Легро.

Огюст уже пришел в себя от неожиданности и начал понимать, что друзья просто обожали спорить, им было скучно без споров и стычек – эта черта свойственна всем им. И еще бунт, бунт против всех признанных истин мира искусства, за исключением того, чему их учил Лекок. Их связывало подлинное чувство товарищества, и когда конфликт разрастался, они уступали друг другу; Они звали друг друга по фамилиям, подчеркивая, что признают друг друга, пусть их еще и не признали другие.

Огюст завидовал свободной, непринужденной беседе своих новых друзей. Теперь они хвастали друг перед другом девушками, прошлыми, настоящими и будущими победами. Барнувен пустился в подробности, и все согласились, что натурщица ужасна. Как сказал Дега, «просто деревенщина». Почти все, кто не имел счастья понравиться хрупкому длиннолицему Дега, а к таковым можно было причислить чуть ли не весь род человеческий, попадали в категорию «деревенщин».

Огюст пытался сосредоточиться на модели, но разговоры отвлекали. Далу рисовал методично, старательно; Легро без конца смачивал карандаш слюной и работал, не останавливаясь ни на секунду; Фантен-Латур рассматривал натурщицу, словно та была классической нимфой из Лувра; Барнувен рисовал, улыбаясь легкой, иронической улыбкой; даже Дега, наблюдатель, и тот был погружен в работу. Удивительно! Серьезно ли они все это говорили? Или просто хотели показать себя, особенно перед ним? Лекок все так же сухо продолжал:

– Поторопитесь, натурщица устала.

Огюст вернулся к своему рисунку, но опять оказался позади всех. А когда наконец освободилось место впереди и он мог хорошо рассмотреть натурщицу, было слишком поздно заканчивать рисунок: класс окончился.

Лекок заметил его огорчение и сказал:

– Закончите дома, по памяти.

На следующий вечер дома Огюст не стал ложиться спать, а устроился за кухонным столом, чтобы попытаться закончить рисунок. Натурщица теперь представлялась ему огромной, прямо-

таки необъятной. Он думал о друзьях Барнувена, об этом собрании чудаков, но с ними было интересно, и он чувствовал себя с ними заодно, когда был в их компании. Он вспоминал картины, посвященные любви Эрота и Психеи, и предупреждающий голос Лекока звучал у него в ушах: «Мягче карандаш-это не железный лом».

– Ты меня слышишь? Господи, да что с тобой? – Это был Папа, он стоял за его спиной и изумленными глазами взирал на еще не законченный рисунок.

– Что это такое?

– Фигура, Папа.

– Женская?

– Нам задали в школе.

– Рисовать голую?

Огюст передернул плечами и попытался было разъяснить, что таким путем учатся рисовать, но Пана не слушал.

– Господи, и подумать только, что это мой сын! – заорал он. – Яйца и масло стоят теперь франк десять, а ты рисуешь голых женщин!

Мама, разбуженная криками Папы, спустилась вниз в ночной сорочке, за ней – Мари. Папа был в растерянности: не обсуждать же этот вопрос перед ними.

– Мари, – проворчал он, – Огюст попусту тратит твои деньги. – Он попытался было отнять криминальный рисунок у сына, но тот сунул его за пазуху и отступил в сторону.

– Огюст, можно мне посмотреть рисунок? – спросила Мари.

– Он еще не закончен. И женщина немного толстовата, – краснея, ответил Огюст.

– Я не дитя.

Он видел мягкие очертания ее груди под тонкой ночной рубашкой, то что обычно скрывала строгая одежда Мари.

– Ты ведь хочешь стать художником, правда? – тихо спросила Мари.

Ее прямота испугала его. Папа насупился, Мама шептала молитвы, но Мари была совершенно спокойна.

– Да, – ответил он, – художником, будь у меня только краски.

Папа закричал:

– У меня нет денег на такую ерунду! – Конечно, нет, – согласился Огюст.

– Конечно, нет, – передразнил Папа. – И это все, что ты можешь сказать?

Огюст покорно пожал плечами. Он знал, что денег на такую роскошь не было. Тетя Тереза попыталась «одолжить» краски у Дроллинга, но пока ей не везло: Дроллинг их прятал. И все же

Мари удалось отвлечь их внимание от обнаженной фигуры. Если бы они пошли спать, он бы закончил рисунок. Не будь Мари его сестрой… Нет, это нехорошо, да, кроме того, она слишком худенькая, слишком молодая, чтобы заменить ему натурщицу.

– Уж поздно. Пора ложиться. Спокойной ночи, милый, – сказала Мама.

Огюст погасил керосиновую лампу, подождал, пока не раздался Папин храп, зажег свечу и вновь принялся за работу. Пламя свечи прыгало, и воск капал на бумагу, но в конце концов ему удалось дорисовать шею и плечи. Он принялся было за руки, как услышал рядом:

– Ш-ш… – Это была Мари, она улыбнулась и прошептала:-А, Венера Милосская[10], – и показала на безрукую фигуру.

Огюст, пойманный на месте преступления, уже не пытался спрятать рисунок.

Мари внимательно изучила его и сказала:

– Совсем как в жизни. Кто это?

– Натурщица из вечернего класса. А вообще работает прислугой.

– Она была совсем без одежды? – Голос Мари чуть заметно дрогнул.

– Да, обнаженная. Все художники обязаны изучать человеческую фигуру.

– А Барнувен в твоем классе?

– Да. Сегодня вечером он сидел со мной рядом.

– И ему это нравится?

– Всем студентам нравится. Когда привыкают. Мари, теперь прошла мода рисовать мадонн.

– Сколько тебе нужно на краски?

– Пять франков. На коробку с основными цветами. Мари, тебе нравится Барнувен?

Неуверенная улыбка промельнула на ее губах.

– Как ты думаешь, я ему нравлюсь?

– Он влюблен в искусство. Как и все мы, – сказал Огюст, вдруг почувствовав неизвестную ему дотоле гордость.

– Да, конечно.

Уж не смеется ли над ним Мари?

– Как хорошо, что ты не нарисовал ее с прямой спиной, ведь ни у кого нет прямой спины. Мне ее спина нравится.

– Она у нее такая и была.

– Ты не смущайся.

– Но я еще не закончил.

– Успеешь. И, пожалуйста, не спорь ни с кем, особенно с Барнувеном.

– Мы с ним друзья. Он познакомил меня со своими товарищами, настоящими художниками.

Мари заговорщически улыбнулась, теперь у них была общая тайна, и когда Огюст вновь принялся за рисование, сунула ему пятифранковую монету и сказала, что пора спать, уже за полночь. Папа обнаружит, что он еще не в кровати, и сильно рассердится. Огюст кивнул, и Мари быстро поцеловала его и ушла, а он продолжал работать с таким рвением, словно это была его последняя возможность.

Глава IV

Следующие несколько месяцев все шло по заведенному распорядку: по утрам классы в Малой школе. Во второй половине дня поощрялось посещение Лувра, чтобы изучать и копировать рисунки и гравюры Микеланджело и Рембрандта, знакомиться с другими мастерами. Два вечера в неделю посвящалось рисованию обнаженной натуры.

Огюст был очарован Лувром – новый мир открывался перед его жадным взором. Фантен-Латур говорил:

«Лувр – величайшая из всех школ». И завороженный Огюст соглашался, потому что впервые видел подлинники Леонардо, Тициана, Рафаэля, Рубенса, Рембрандта и Микеланджело и был в восторге оттого, что мог выбирать мастеров на свой собственный вкус. Обширные галереи были полны картин, которые ему нравились. У Огюста глаза, разбегались. Привлекали и «Данте и Вергилий» Делакруа[11], и «Мадонна в скалах» Леонардо, и «Прекрасная садовница» Рафаэля, но ближе всего ему были Микеланджело и Рембрандт. Слезы набегали на глаза – так он напрягал зрение, чтобы лучше видеть.

Он простаивал часами перед их рисунками и гравюрами, чтобы запомнить навсегда, на всю жизнь. Произведения Микеланджело были для него олицетворением энергии, мощи и силы, а Рембрандт волновал своей прямотой и изобилием человеческих чувств. Он заметил, что рисунок Микеланджело был ярок, выразителен, что флорентиец часто прибегал к преувеличению и намеренному искажению, в то время как Рембрандт с помощью пера, карандаша и пастели с необычайной силой создавал свой собственный реальный мир без драпировок, сложных деталей и приукрашиваний, мир знакомых лиц и всем понятной любви. Огюсту хотелось пальцами ощупать их работы, но это было невозможно, никто так не поступал, и все же это желание не давало ему покоя.

День за днем он копировал или рисовал по памяти, не делая больше разницы между копированием и рисованием по памяти, и то и другое ему теперь давалось одинаково легко. По-прежнему не расставался с альбомом для зарисовок, делал сотни рисунков.

Он полюбил акварель и масляные краски, когда увидел, как умели работать с ними великие мастера. Все, что он видел в Лувре, вызывало в нем бурю чувств. Он и не представлял, что на свете существует такое великолепие. И галереи музея и студенты и художники, которые изучали картины в Лувре, наблюдали, копировали, их постоянные разговоры об искусстве разжигали в

Огюсте желание рисовать и писать красками. Жажда учиться и открывать для себя новое была неутолимой.

День ото дня его рисунки становились все лучше. Огюст понял, что нет предела изучению человеческого тела. Особое внимание он уделял торсу и голове. Тут он отдавал предпочтение мужскому телу; он считал, что оно обладает большими преимуществами, чем женское: сильное, с более мускулистой спиной, плечами и торсом. А руки, какие они разные, какие выразительные, сколько жизни в каждом жесте, движении!

Огюст делал вид, будто ему безразлично, что он не пишет красками, но когда как-то одним весенним утром Лекок остановился возле него и спросил: «А почему вы не посещаете класс живописи? Вы уже достаточно подготовлены, Роден», – он почувствовал новый прилив энергии и торопливо ответил:

– Вы говорили нам, что все силы мы должны отдать рисунку, что рисунок никогда не изучишь до конца.

– Все это верно, но вам пора начинать серьезно работать акварелью и маслом. Если не хотите остаться просто гравером.

– Нет, я… – Огюст замолчал.

– У вас нет денег на краски. Печально. – Что вы думаете о моих рисунках?

– Пожалуй, вы слишком следуете за Рембрандтом, и еще от них так и разит Лувром.

– Но вы сами послали меня туда.

– Я послал вас в Лувр, чтобы вы научились видеть и работать, приобрели самостоятельность и полагались бы только на самого себя.

– Но что мне делать? – Это был крик сердца;

– Что делать? Ведь у вас нет красок. У нас бесплатная школа, но у Наполеона III не хватит средств, чтобы снабжать всех красками. Значит, впереди один путь – вы станете ремесленником, орнаментщиком. Печально. Вы хорошо рисуете.

– Я могу рисовать по памяти фигуры Микеланджело.

– Знаю, – вздохнул Лекок. – Это видно, стоит взглянуть на ваши рисунки. Попробуйте добыть краски, и я запишу вас в класс живописи, тогда посмотрим, на что вы способны.

Огюста перевели в класс живописи, где он мог работать пастелью, масляными красками, акварелью, рисуя с натуры или то, что приходило в голову (ученикам предоставлялась полная свобода в выборе метода и в экспериментировании), но у него не было на это денег. Он сказал тете Терезе, что его перевели в класс живописи, и она обещала достать краски у Дроллинга, чего бы это ей ни стоило, даже если придется просто украсть. Через несколько дней она принесла начатую коробку красок.

«Какие прекрасные краски», – думал Огюст. В самом радужном настроении он принялся смешивать разные цвета на палитре, у него захватывало дыхание от восторга, он чувствовал себя изумительно! Его умению нет предела! Сегодня утром он измерил свой рост – пять с половиной футов, за год он вырос на два дюйма; пожалуй, ему стоит приняться за свой автопортрет, многие художники рисовали автопортреты. Он отправился искать свободный холст и обнаружил один, который можно было почистить. Вернувшись на место с этим жалким холстом, он застыл как вкопанный. Его краски исчезли! Легро, работавший рядом, сказал, что не видел их; Барнувен просил оставить его в покое. Огюст знал, что Барнувен их взять не мог: родители давали ему достаточно денег. Огюст заглянул под стул, за мольберт, но нигде не было и следов драгоценной кjробки. Кто-то стащил ее. Он моргал, стараясь скрыть слезы. Радости его как не бывало.

Так он просидел весь вечер, не нарисовав ни черточки.

Тетя Тереза посочувствовала, но сказала, что Дроллинг обнаружил пропажу красок и теперь держит все под замком.

В следующие вечера Огюст писал время от времени, когда ему удавалось подобрать тюбик краски, выброшенный каким-либо более состоятельным учеником. Но нужный цвет находил редко; ходовые цвета всегда выжимали до последней капли. Он был в отчаянии. Оставалось просто сидеть сложа руки, но уйти не было сил. Он пытался делать наброски, но продолжать бессмысленно. Папа был прав, он просто нищий, и у него одна дорога – стать рабочим, может, краснодеревщиком или скульптором-орнаментщиком. Другого выбора нет. Огюст не мог рисовать, какой теперь в этом смысл? Он решил разорвать свои рисунки и уже взял их в руки, когда Лекок остановил его.

Лекок хотел их видеть.

– Зачем?

– Чего вы спрашиваете, глупец! – Никогда прежде не замечал он у Лекока такого раздражения. – Это мне решать, что делать с вашими рисунками! – Лекок уставился на них и сказал! – Я возьму их себе.

– Зачем?

– Это все, что вы можете сказать? Зачем!

Огюст встал.

– Я не обязан здесь оставаться.

– Нет, мой друг, не обязаны. Вы вообще не обязаны что-либо делать. Даже рисовать, есть, спать. Но вы не можете просиживать здесь целые вечера, ничего не делая.

– Я могу уйти.

– И отказаться от искусства вообще?

– У меня нет денег на краски и холст.

– Знаю. – Лекок смотрел на юношу. Лишенный всего, он готов погубить жизнь из-за того, что у него не было нескольких су, да нет, совсем не су, а франков, которые негде добыть, – общий бич всех студентов и художников, столь обычный, что никто не придавал этому значения. Но Роден – один из его лучших учеников. Любые чувства находили глубокий отклик в душе этого юноши. Улыбнись ему счастье, он мог бы стать выдающимся человеком, а если не станет, что ж, он не будет ни первым, ни последним из тех, кому не повезло. И все же Роден далеко шагнул вперед. Будет потерей, если он теперь уйдет, – у него такая тяга к учению.

Вдруг Лекок коротко, отрывисто сказал:

– Я что-нибудь придумаю, Роден. Вам незачем сидеть здесь без дела. Отправляйтесь в класс ваяния. По крайней мере будете чем-то заняты.

– Мэтр, я ничего не знаю о скульптуре.

– Научитесь. Вы быстро схватываете, когда заинтересованы.

– Я устал. – Он хотел сказать: устал от борьбы, потерпел поражение.

– А вы думаете, я не устал! – воскликнул Лекок. – Думаете, вы первый талантливый студент, которого я лишился, и все из-за нескольких франков? Ведь я научил вас тому, что знаю, вы теперь умеете прилично рисовать, умеете сами во всем разбираться! Уходите, я вас не держу!

Огюст, потрясенный этим взрывом чувств, не знал, как поступить.

– Микеланджело был также и великим скульптором. Вам не повредит еще немного поучиться. Это поможет вам усовершенствовать технику рисования человеческой фигуры, а тем временем мы придумаем, как вас оставить в классе живописи. Идемте, я вас туда отведу.

Нерешительно вошел Огюст в класс ваяния. Он разглядывал мокрую глину, тяжелые груды гипса, терракоту и мрамор, лестницы, станки для.модели, инструменты, которым не было счета. Это быя совершенно незнакомый ему мир.

Лекок сказал:

– Вы сильный, и у вас гибкие пальцы. Не выйдет скульптора – сможете стать приличным формовщиком или литейщиком.

Лекок ушел, словно испугавшись, не слишком ли он расчувствовался.

В комнате было всего несколько студентов, но Огюст вдруг обрадовался, что Лекок привел его сюда. Неведомая сила влекла его к камню. Кругом стояли законченные статуи и копии со

знаменитых произведений, и они излучали такую красоту и силу, что ему хотелось прикоснуться к ним. Крепкими пальцами он смял глину, и новые чувства охватили его. Хотелось закричать: «Мне это нравится!» – но боялся, что это прозвучит сентиментально. Здесь он чувствовал себя равноправным, не надо было напрягать близорукие глаза, чтобы рассмотреть детали картин. Какое преимущество! Ему не надо было видеть, он мог ощущать, и чем ближе к глине, тем лучше.

Под разными предлогами Огюст день за днем отдавал работе в классе ваяния. Он забыл о красках и о холсте. Все его тело жило этой работой, и не только один ум, как при рисовании. Камень был твердым и холодным, но в нем была своя мягкость и влекущая теплота. У него появилась новая любовь – он мечтал о Венере Милосской. Когда никто на него не смотрел, он ласкал ее тело. Новое, непреодолимое желание завладело им – прикасаться к камню, резать его, придавать ему форму.

Лекок обнаружил Огюста в классе ваяния и сказал, что он должен вернуться в рисовальный и живописный классы – он даст ему краски.

– Я не могу, – ответил Огюст. – Я должен работать здесь.

– Хорошо. Но скульптору нужно уметь и рисовать.

Огюст словно прирос к полу.

– Роден, вы хотите быть скульптором? Огюст энергично кивнул.

– Скульптура – дело не доходное. Тут надо иметь огромную поддержку. Единственно, кто в наши дни покупает скульптуру, – так это государственные учреждения и музеи. Нет больше великих монархов, нет больших состояний и великих покровителей искусств, как это было при Микеланджело. Да и сами материалы теперь стоят куда дороже.

– Пусть так, – сказал Огюст, – но я должен здесь работать. – Он посмотрел на копии Венеры, Ники Самофракийской[12], Давида[13]. – Я должен работать с камнем. Это самый подходящий материал для человеческой фигуры.

– Вот как!

– Можно мне здесь остаться, мэтр? Это дело я никогда не брошу. Можно?

– Что ж, я не бессердечный человек.

– Я поступлю учеником в литейную, научусь литью.

– В этом нет необходимости, по крайней мере сейчас. Оставайтесь здесь и посещайте классы живой натуры. Вам теперь особенно понадобится умение рисовать.

Огюсту хотелось поблагодарить Лекока. Но как это сделать? Чувства благодарности, изумления и восхищения переполняли

его.

Секунду они молчали, затем Лекок сказал:

– Работайте, Роден. Сколько вы уже сделали рисунков?

– Кажется, пятьсот или шестьсот. Не считал.

– Мало, если вы хотите стать скульптором. Очень мало, мой друг.

– Вы будете меня учить?

– Кое-чему. А сейчас отправляйтесь к отцу и расскажите обо всем, чтобы не возникло затруднений.

Огюст шагал под холодным дождем. На мостовой стояли лужи, и ноги скользили по булыжнику. Меньше года прошло с тех пор, как Папа отпустил его в Малую школу, но Огюст теперь чувствовал себя совсем иным – он стал старше, опытнее. Пламя служения искусству охватило его – Папа, конечно, назовет это чумой, но Папа не должен удивляться, время неожиданностей прошло.

Дома еще не ложились, посреди кухонного стола тускло светилась керосиновая лампа. В комнате было холодновато, хотя топилась плита; дом был каменный, а Папа всегда говорил, что камень не нагреешь по-настоящему, камень – он бесчувственный.

Огюст тут же выпалил:

– Извини меня, Папа, прости, но я хочу быть скульптором.

– Скульптором! – Папа в растерянности пожал плечами, возвел глаза к нему и объявил: – Ты даже не идиот. Ты сумасшедший!

– Лекок говорит, что у меня для этого подходящие руки.

– Лекок говорит! – возопил Папа. – Да у тебя руки рабочего! Такие сильные руки, а он хочет стать скульптором! Какая глупость!

– Прости, Папа, но я должен.

– Папа, прости? А зарабатываешь ты на жизнь?

– Нет.

– И сколько еще надо времени? Год? Пять лет?

– Пять. Как самое малое. Если все пойдет хорошо.

– А если нет?

– Этого не предскажешь, Папа. У меня не будет ни работы, ни заработка. Только бесплатное обучение, как теперь.

Мари решила вмешаться:

– У него будет ремесло.

– Резчика по камню? – Папа скептически улыбнулся. – Ничего он не добьется, ручаюсь. – Он махнул рукой. – Моего разрешения ты не получишь.

Огюст приготовился, что его выставят на улицу, но Папа оказался более, практичным.

– Ты останешься, только если будешь платить. Я буду платить, как и прежде, – сказала Мари.

– Еше бы. Такая же дура, как и он, Ничего, кроме Барнувена, видеть не хочешь, да вот он-то тебя видит ли?

Мари вспыхнула. Мама принялась читать молитву. Огюст сказал:

– Барнувен у нас один из самых многообещающих студентов.

– Спасибо за сообщение, – оборвал его Папа. – Ты теперь все знаешь. А вот как зарабатывать себе на жизнь, не знаешь, ты умрешь еще более нищим, чем я. Постарайся хотя бы научиться ремеслу резчика, хоть но будешь голодать. – Тяжело передвигая ноги, он вышел из комнаты и увел за собой:Маму.

Мари подождала, когда затихли шаги, и спросила:

– Значит, Барнувен такой хороший студент?

– Выдающийся. Но он любит девушек. – Огюсту не хотелось огорчать сестру, но пусть лучше узнает сейчас, чем потом.

– Я видела его в воскресенье, в церкви. Он хочет, чтобы я ему позировала.

– Из тебя выйдет прекрасная модель.

– Ты уверен, что хочешь стать скульптором?

– Я в этом не сомневаюсь.

Нежное лицо Мари оживилось, и Огюст решил набросать ее портрет. На ней было строгое черное платье, черное потому, вдруг пришло ему в голову, что на нем не видно грязи, легче чистить, да и изнашивается не так заметно. Огюст облачил ее в более красивую одежду. Он рисовал быстро. Через несколько минут рисунок был готов. Глаза ему особенно удались – глубоко посаженные и такие выразительные. Он отдал рисунок и сказал:

– И Барнувен так не нарисует.

Мари осторожно взяла рисунок.

– Мне нравится, – сказала она, – и рисунок Барнувена мне бы тоже понравился.

Огюст не слушал. Он выхватил рисунок, он хотел сделать ее более женственной.

– Когда у меня будет своя мастерская, я сделаю твой портрет в бронзе, – объявил он. – Вот увидишь, он будет куда более выразительным.

Огюст долго не мог заснуть. Далеко за полночь сидел на своей старей кровати, делая наброски головы Мари, которую собирался вылепить при первой же возможности.

Глава V

1

Но представилась такая возможность не скоро. Огюст решил, что должен попытаться попасть в Школу изящных искусств и в то же время продолжать занятия с Лекоком, и отложил все, что могло помешать подготовке, даже работу над бюстом Мари.

Стремление попасть в Большую школу изящных искусств – просто идиотство, – сказал Лекок, – его там просто затрут.

Барнувен сказал, что ему туда никогда не попасть; Дега не посчитался с такими предсказаниями, сам сделал попытку и был принят; Фантен-Латур был принят со второго раза и тут же разочаровался; Далу и Легро прилагали все усилия и в конце концов, воспользовавшись протекцией, были приняты. Поэтому Огюст с головой погрузился в работу.

Следующие несколько лет Огюст усердно готовился к экзаменам в Школу изящных искусств. Вставал до рассвета, чтобы начать восемнадцатичасовой рабочий день. С первыми лучами солнца спешил в студию к Лекоку. Лекок, довольный его рвением, отводил один час на рисование с натуры или копирование, помогал спланировать день. Второй час Огюст рисовал по памяти. С девяти до двенадцати лепил в Малой школе. Точно в полдень он перебегал через Сену по мосту Искусств и оказывался в Лувре, где с жадным вниманием изучал рисунки Микеланджело и его скульптуры[14]. Два дня в неделю Огюст проводил в Имперской библиотеке, изучая рисунки Пуссена, Лоррена, Ватто, Буше и Фрагонара. Он не присаживался, даже чтобы поесть. По пути он наскоро съедал хлеб и шоколад; редко ходил шагом, чаще бежал из класса в класс. На еду оставались сущие гроши, и он делал вид, что это ему безразлично.

Вечно голодный, часто усталый, он не мог замедлить этого лихорадочного ритма. Он знал: если приостановиться, нарушится его связь с великими произведениями искусства, иссякнет их вдохновляющая сила и его жадность к работе – и останется одно лишь отчаяние.

Когда запирали двери Лувра и библиотеки, сторожам приходилось выгонять его. И снова он носился по городу; лишь изредка, когда Мари совала ему пару лишних су, он позволял себе тарелку лукового или чечевичного супа. Времени у него всегда было в обрез. С пяти до восьми – класс рисования на фабрике гобеленов. Это было далеко и от Лувра и от Имперской

библиотеки, а ему приходилось ходить туда пешком. После восьми наступало время его любимых классов: два вечера в неделю обнаженная натура у Лекока; три вечера работал со скульптором-анималистом Бари[15], которому его рекомендовал Лекок.

Огюст упорствовал в своем желании изучать скульптуру, и Лекок особенно подчеркивал необхо: димость знания анатомии. Он говорил:

– Микеланджело был великим знатоком анатомии. Учитесь у Бари. Он знает анатомию, как никто из современных скульпторов.

2

Бари сам мог бы служить пособием для изучения анатомии – тощее, стареющее сплетение ноющих костей и мускулов. Он был знаменит своими скульптурами животных, особенно львов. Бари вынужден был преподавать ради заработка, и это было ему ненавистно. Но раз уж приходилось учить, то он учил как положено; в классе он был раздраженным, усталым и невнимательным и тем не менее всегда подчеркивал, что «анатомия – основа скульптуры».

Самые горячие, бесконечные споры разражались среди студентов именно по вопросу о пользе знания анатомии для скульптора, хорошего скульптора, скульптора-практика, который надеялся продавать свои произведения. Огюст наслаждался анатомией, когда они занимались в Ботаническом саду, этой любимой мастерской Бари, где в зверинце он мог наблюдать грацию и изящество львов; он любовался их свободными, мягкими движениями. Но когда занятия проводились в больнице и студенты из рук в руки передавали зеленовато-желтую ногу трупа, тут он чуть не падал в обморок, после его долго тошнило. Но пропускать этот класс было нельзя. Лекок бы не позволил.

Лекок требовал, чтобы Огюст работал столько, сколько сам он работать уже не мог, как сам он работал в молодости.

Огюст был столь глубоко благодарен Лекоку за интерес к нему, что соглашался со всем. Постепенно его стали все больше и больше привлекать животные. У Огюста не было денег на глину, гипс и терракоту, но он мог рисовать и любил рисовать животных, потому что они находились почти в беспрерывном движении.

В отличие от большинства соучеников он предпочитал, чтобы его модели двигались. Тогда он мог рассмотреть их со всех сторон. Он открыл для себя, что скульптура, в противоположность картине, должна смотреться с любой возможной точки, что было

самым замечательным достоинством произведений Бари.

Огюст впитывал все это, и у него складывалось новое отношение к окружающим предметам, природе, анатомии. Но он больше не стал ходить в больницу смотреть, как анатомируют труп, хотя Бари подчеркивал важность такого опыта, а Лекок говорил, что почти все великие художники и скульпторы Возрождения не жалели времени на работу в анатомичке. Огюст же любил тело живым. Для него тело человека было чудом совершенства, и любовь к нему все продолжала расти, даже когда он впоследствии позабыл названия мускулов и скульптура стала его профессией.

3

А ко всему прочему Огюст вдруг влюбился в Париж. Лекок по-прежнему оставался непререкаемым авторитетом, но учитель не разделял его поклонения. У него город вызывал только раздражение. Лекок считал, что с Парижем слишком уж носятся, особенно художники. Нет в нем красоты, одна сентиментальность, утверждал он. Париж непригляден, и нечего тут притворяться, будто это не так. А огорчение Огюста лишь распаляло Лекока.

Из своей мастерской на набережной Вольтер Лекок мог видеть башни Нотр-Дам, но, в отличие от Огюста, не приходил от них в восхищение. Когда как-то весенним утром Огюст опоздал на урок, потому что хотел зарисовать собор, Лекок заявил:

– Готическая архитектура впечатляет, но никто теперь не строит таких церквей. И Нотр-Дам еще не Париж. Париж – это лабиринт грязных, узких, мрачных улиц, а прекрасное сердце Парижа – всего лишь крохотный оазис. Париж – это облупленная штукатурка, буржуа, лавочники, чиновники, содержатели подозрительных меблирашек! Париж для проныр и интриганов, приспособленцев и мастеров пускать пыль в глаза. Хорошо в нем только тем, кому повезло, а таких не так уж много.

Огюст молчал, слушал, спорить не хотелось, но он и не мог согласиться. Ему нравилось слушать, потому что в такие минуты учитель становился простым смертным. Он продолжал поклоняться Лекоку, но уже не столь слепо, как прежде. Он вдруг начал сознавать, что, знай он Лекока лучше, он, пожалуй, мог бы просто любить его как человека.

Ничто не могло охладить его увлечения Парижем. Зимой, когда он шел на занятия, город был темным и холодным, часто мокрым и туманным. В теплую погоду, когда все окна домов открывали настежь, чтобы проветрить квартиры, результат часто

был обратным – воздух сам пропитывался их запахами, да и тяжело было в жару ходить по булыжникам. Но он любил набережные вдоль Сены и просторы Тюильри. Как раз в те дни средневековый Париж узких улочек и перенаселенных домов на глазах приобретал новый облик под руками Османа[16] – в городе появлялись новые улицы, новые сады, новые мосты. Огюст гордился новой улицей Риволи, новыми постройками Лувра, а когда снесли домишки, заслонявшие Нотр-Дам, даже Лекок пришел в восторг. Рождался новый город широких просторов и дальних горизонтов. Нет, никогда не расстанется он с этим городом. Он создан для художника, и художник не может не боготворить его.

Ему хотелось рассказать Папе о прекрасных быстрорастущих каштанах на новых бульварах, но Папа, хотя он по-прежнему не считал себя сторонником республики, теперь беспрестанно ворчал по поводу Второй империи Луи-Наполеона, который объявил, что «империя – это мир». Папа говорил: «Какой это мир, когда одна война следует за другой». Папа сердился на императора, потому что уже несколько лет служащим в префектуре полиции не повышали жалованья.

Огюст любил и недавно законченную церковь Мадлен, она была построена скорее по античным образцам, чем в стиле готики или барокко. А он как раз переживал увлечение классикой. В прошлом году его кумиром была готика и ее венец Нотр-Дам. По временам он казался себе птицей, летающей по Парижу, – клюнет здесь, там, а все голодная. Часто ему чудилось, что его вовлекли в какую-то неведомую игру, которую ему никогда не выиграть, и конца ей не видно. Иногда это чувство постоянного одиночества разрасталось до того, что нужна была огромная воля, чтобы продолжать борьбу.

В такие минуты единственным спасением был альбом для зарисовок. Он таскал его с собой повсюду. Это был своего рода дневник, который он заполнял сотнями рисунков. Он вечно приходил домой с руками, вымазанными тушью, пастелью и углем, и Мама пыталась их отмыть. Он старался рисовать так, как учил его Лекок: ярко, живо и одновременно тщательно отрабатывая каждую деталь.

К семнадцати годам он знал почти весь Париж как свои пять пальцев. Он не разрешал себе даже думать о девушках, времени и так не хватало. Субботними вечерами он делал по памяти эскизы будущих скульптур. По воскресеньям пытался отдохнуть, но это было невозможно: чем больше он узнавал, тем сильнее тянуло его лепить, а чем больше он работал, тем меньше оставалось у него сил. И все же и по воскресеньям, когда никого не было дома, он

принимался лепить. Он прятал глину в шкафу, под старым сюртуком. Даже Мама запротестовала бы, если бы обнаружила ее там.

После года этого каторжного труда Огюст решил, что к поступлению в Школу изящных искусств еще не готов; после второго года – не был уверен в себе; в конце третьего решил, что почти готов.

4

Лекок лишь печально поглядел на него, когда Огюст попросил учителя дать ему рекомендацию к вступительным экзаменам в Школу изящных искусств, но тем не менее сказал:

– Подготовьте бюст для экзаменационного комитета, и я подумаю, что можно сделать.

– Вы согласны дать мне рекомендацию?

– Нет.

Огюст остолбенел.

– Вас и на порог тогда не пустят. Мое имя предано анафеме. Надо подыскать кого-то более подходящего, но вы занимайтесь бюстом, а тем временем я подумаю, кто тут может помочь.

Огюст поспешил домой, к Мари, но та не могла позировать, по воскресеньям, в единственный свободный от работы день, она была занята. Каждое воскресенье она ходила в церковь; там она виделась с Барнувеном. Как Огюст ее ни упрашивал, она не вняла уговорам, впервые проявив твердость. Она не в силах отказаться от этих воскресных встреч. В конце концов, увидев его отчаяние, она посоветовала:

– Попроси Папу. Он только напускает на себя суровость, ему будет приятно.

Огюст, правда, усомнился в ее словах, но в ближайшее воскресенье, когда Папа оказался в хорошем настроении, он попросил его позировать. На улице шел дождь, Папа сидел на кухне и скучал: делать было нечего, идти некуда, погода отвратительная. Есть не хотелось, он уже дважды поел, а весь день еще впереди и прилечь вздремнуть рановато. Но он испугался и даже несколько оскорбился, когда Огюст прибавил:

– Лекок говорит, что если я вылеплю бюст, то он подыщет кого-нибудь, кто сможет рекомендовать меня в Школу изящных искусств. Но мне нужна модель, Папа.

– Модель? – переспросил Папа. – Нет уж. Ты что, меня совсем за дурака считаешь?

– Мы можем работать дома. Начнем сегодня же.

– Мне некогда.

– Некогда? – повторил Огюст. И вдруг замолчал.

Сын стоял перед ним в унынии, усталый, бледный, и Папе стало грустно. Он не хотел обижать единственного сына. Но кто разжег в нем этот пожар? Господи, ведь мальчишка совсем потерял голову, носится как угорелый по всему Парижу. Папа видел, как Огюст совсем измотался, работая по восемнадцать часов в сутки. Совсем исхудал и утомился. Зимой не нашлось денег на теплое пальто и крепкие ботинки, и все равно мальчик бегал по городу днем и вечером, в дождь и туман, гололед и снег и все учился, учился, учился. Он редко возвращался домой раньше полуночи, редко нормально обедал. Словно мотылек к огню тянулся он к знаниям, хоть этот огонь и сжигал его. Даже за едой не оставлял работы, вечно неудовлетворенный собой, он мог переделывать скульптуру по многу раз, начинать все сначала и никогда не мог ее закончить. Папа вздрогнул. Ну как тут откажешь сыну? Ведь у него не каменное сердце, он все-таки ему отец, и с каким нетерпением сын ждет его решения. Но так сразу согласиться он не мог. Пусть Огюст помнит, что он не одобряет его деятельности, что рабочий человек есть рабочий человек, и нечего стараться прыгнуть выше своей головы. Вот если бы можно было выместить на ком-нибудь свое раздражение! Папа опять заколебался, но, увидев, с каким безнадежным видом опустился Огюст на стул, спросил:

– А ты сумеешь поступить в Школу?

– Лекок считает, что надежда есть.

– Надежда? Значит, точно не известно? Огюст пожал плечами.

– А откуда мне знать, что ты сделаешь все как надо?

– Я уже скопировал много бюстов Гудона[17] в Лувре.

– Гудона? А кто такой Гудон?

– Он был самым лучшим портретным скульптором Франции. Сделал бюсты Франклина[18], Мирабо, Вольтера.

– Это того Вольтера, который безбожник?

– Папа, Гудон был великим скульптором.

– Теперь ясно, почему скульптура такое ненадежное дело, – проворчал Папа.

– Это будет моя первая самостоятельная работа, – сказал Огюст.

– Ладно, но ты должен все сделать за один раз.

– За один раз? – Немыслимо, за один сеанс только и успеешь сделать набросок головы. Но Огюст пообещал, что попробует, чтобы Папа не отказывался наотрез.

5

В следующее воскресенье Папа облачился в свой самый яркий синий шерстяной жилет, чтобы глаза его стали совсем голубыми. Он глубоко огорчился, когда Огюст даже не прикоснулся к глине, а полдня употребил на то, чтобы черным и красным мелом набросать Папину голову на энгровской бумаге.

Папа отказался позировать дальше, но в следующее воскресенье Огюст пообещал начать лепку, и он позволил уговорить себя. И хотя он явно сердился, тем не менее был явно польщен. Он сидел прямо и неподвижно, подобно тем памятникам Наполеону Бонапарту, которые он так обожал, пока, наконец, Огюст не сказал:

– Папа, ты держишься неестественно. Так ничего не получится.

Папа восхищался проворством и стремительностью, с каким сын раскатывал на столе шары глины и затем быстро начинал лепить. Руки Огюста словно жили сами по себе, в одно мгновение кусок глины оказывался у него между ладонями и пальцы тут же разминали ее. Это было похоже на трюки фокусника. Но Папа был не дурак, он знал, что ему следует держаться солидно.

Похоже было, что из этой затеи с позированием Папы ничего не выйдет. Чем больше Огюст уговаривал отца держаться посвободней, тем больше тот деревенел. Наконец, когда, казалось, всякая надежда,,была потеряна, Огюст приказал отцу сидеть смирно.

Папа был потрясен: как смеет его плоть и кровь говорить с ним, таким тоном! Но в голосе этого мальчишки была такая властность, что он притих.

И тогда Огюст всунул Папе в рот раскуренную трубку. Папа обожал свою трубку. Попыхивая трубкой, Папа расслабился, и лицо его приняло естественное выражение.

Огюст немедленно принялся за дело, и Папа был уверен, что пройдет час-другой, и его портрет будет готов. Огюст, казалось, уже совсем закончил нос и губы, но вдруг остановился и сказал:

– Все не то. Они слишком аристократичны.

Папа оскорбился: он предпочел бы, чтобы они остались именно такими.

Но Огюст, не обращая внимания на Папины протесты, быстро уничтожил и нос и губы, с тем чтобы начать лепить все заново в следующее воскресенье.

Папа понимал, что лучше бы отказаться, так может продолжаться без конца, а Огюст за работой становился чересчур властным. Но хотелось узнать, каким его представляет сын, да и мысль, что его голову увидят в Школе изящных искусств – а он ведь всего-навсего низший чин в полиции, – наполняла его

гордостью.

Только через месяц Огюст признал голову почти законченной. Но теперь начались сомнения у Папы. Он сказал Огюсту:

– Скажи мне правду, не льсти мне. Я ведь совсем не такой. – Ему нравился длинный прямой нос и твердый подбородок, но голова была слишком круглой.

– Ты, Папа, чересчур нервничаешь.

– Но ты сделал меня слишком старым.

– Чуть-чуть, – согласился Огюст.

– Это не мое лицо, – заявил Папа, его уверенность росла по мере того, как Огюст терял свою.

Огюст опять принялся лепить.

– И помни, не делай меня старше, чем я есть. Огюст отступил в сторону и застыл в неподвижности.

Папа испуганно спросил:

– Что-нибудь случилось, Огюст?

– Рот слишком тяжелый.

– Ты хочешь, чтобы я тебя похвалил.

– Нет, Папа! Совсем нет!

– Ты боишься испортить работу. Нам надо остановиться, пока еще не все погублено. – И Папа неохотно приподнялся со стула.

«Папа! Ведь я вложил в эту работу всю свою душу!» – готов был закричать Огюст, но вместо этого воскликнул:

– Пожалуйста, не двигайся! Прошу тебя!

– Да ты не беспокойся, – ответил Папа. – Тебе за этот бюст не заплатят и ста франков. – И довольный Папа с облегчением снова опустился на стул.

– Папа, я почти закончил.

– Ты закончил? А где же мои бакенбарды? – Где же его замечательные, густые, мужественные бакенбарды по моде Луи-Филиппа? Какое безобразие! Голова и лицо бюста были голыми, словно начисто выбритыми. – Ты скульптор. От тебя все зависит.

– Это голова в античном стиле, в стиле классических римских и греческих образцов. Это стиль Большой школы.

– Но это совсем не я! Меня никто не узнает.

– А я так тебя вижу. – Огюст сжал губы.

– Да ты просто ребенок, – сказал Папа.

– Я скульптор, – ответил Огюст.

Огюст не двигался с места, и Папа сам было хотел сделать исправления. Но лицо Огюста исказилось такой острой болью, что он остановился. Да и что он может, только все испортит. Внезапно Огюст стал между бюстом и Папой, чтобы не позволить Папе притронуться к работе. Папина рука поднялась сама собой,

чтобы ударить сына. Юноша побледнел, но не отступил, не сдвинулся с места. Папина рука упала, он был в растерянности. Но надо было проявить волю, спасти авторитет.

– Надо переделать.

– Папа, я не могу, не могу! – Это был крик сердца, просьба понять его.

– Ты считаешь, что закончил?

– Нет! Конечно, нет! Я никогда не могу ничего закончить! – он произнес это почти с отчаянием, как будто эта невозможность достичь конечного совершенства была для него невыносимо мучительна. – Но сейчас на большее я не способен.

Папа помолчал, чувствуя, что надо уступить, но не знал, как это сделать. Огюст сказал:

– Папа, я должен делать все по-своему. Не знаю, прав ли я, но Лекок говорит, что я должен изображать вещи такими, какими их вижу.

– Лекок? Ты говоришь, Лекок? – Господи, наконец-то выход найден. – Интересно, что он скажет об этом бюсте. Он, говорят, знаток.

– Кто тебе это говорил?

– У меня есть друзья. И не только в префектуре полиции. Пригласи Лекока, если он так тебя любит, он придет.

Огюст не верил, что Лекок согласится прийти к ним, но не хотел в этом признаться, тем более Папе. Он сказал:

– Спасибо, Папа. Как-нибудь при удобном случае.

– Это и есть удобный случай. Мой бюст. – Теперь Папа начал к нему привыкать, он ему уже даже нравился. – Или, по-твоему, мы ему не компания?

– Лекок очень занятой человек.

– Но у него хватает времени хлопотать за тебя.

– Когда я закончу бюст, он попросит об этом кого-нибудь другого.

Папа уперся на своем:

– Бюст закончен. Зови и Лекока и этого второго.

– Да я даже не знаю, кто это.

– Ничего, придут, если они в тебя верят.

6

Лекок пришел. А с ним – Ипполит Мендрон[19] и Барнувен.

Мендрон, друг Лекока и Делакруа, был известным скульптором. Его работы украшали Пантеон и Люксембургский сад; он был выпускником Школы изящных искусств, участником Салона, и его одобрение послужило бы гарантией, что Огюста

допустят к вступительным экзаменам. Барнувена пригласила Мари.

Для всей семьи это было необычайное событие. Папа гордился, Мари трепетала, Огюст был полон страха, а Мама радовалась. Мама считала, что голова Папы такая ужасная, что вряд ли может кому понравиться, но она была в восторге от того, что Барнувен принял приглашение Мари хотя бы под предлогом воскресного обеда в честь первой самостоятельной работы Огюста. Самой заветной мечтой Мамы было выдать Мари замуж, и хотя она предпочла бы другого жениха, не художника, но Мари была так счастлива, что она радовалась вместе с ней.

Мама одолжила у тети Терезы скатерть с салфетками и приличную посуду, та в свою очередь одолжила их без спроса у Дроллинга, который уехал на этюды в Экс, и тетя Тереза готовила и подавала обед.

Бюст установили на почетном месте в гостиной, но Огюст закутал его в мокрую тряпку и сказал, что откроет, когда наступит подходящий момент. Он надеялся, что при помощи такой уловки ему удастся пробудить к бюсту особый интерес, но все приняли его слова к сведению и не обращали на его творение никакого внимания.

Ипполит Мендрон пришел вместе с Лекоком, и его, как самого почетного гостя, усадили во главе стола, а Лекока и Барнувена по левую и по правую руку от него, чтобы ему было с кем разговаривать. Коньком Мендрона были огромные, монументальные фигуры, а сам он был похож на воробья – тонкие, слабые ноги, клювик-нос, мелкие черты лица и вдобавок непрерывный кашель и жалобы на здоровье. Он носил длинные волосы и завивал усы. На нем был красивый бархатный пиджак, под цвет глаз, и темные, почти в обтяжку панталоны, подчеркивающие худобу.

Лекок был в синем сюртуке, белом галстуке и светлом жилете, который он ухитрился тут же запачкать. Но всех затмил Барнувен. Он нарядился в черный бархатный пиджак, батистовую рубашку, широкие серые брюки и красные кожаные ботинки. Огюст заметил, как Мама вздрогнула при виде этого великолепия, словно Барнувен был невесть какой богач и не пара Мари.

А Мари оделась просто, но со вкусом, она сумела подчеркнуть нежные черты лица белым кружевным воротником, и от темно-синего платья ее щеки казались еще более розовыми. «Мари прямо хорошенькая», – думал Огюст, она была оживленной, привлекательной и ловила каждое произнесенное

слово, будто это были перлы мудрости, особенно когда говорил Барнувен.

Мари сидела рядом с Барнувеном. Огюст – напротив Мари, а Папа – на другом конце стола; Мама же, хотя для нее был накрыт прибор, настояла, что будет помогать тете Терезе. Так Мама чувствовала себя уверенней, по крайней мере не скажет чего не так.

Папа был в васильковом сюртуке, и бакенбарды его были аккуратно подстрижены. Он старался не упустить ни единого слова в беседе, хотя многое было ему непонятно. Он гордился вольтеровскими креслами, которые одолжил по случаю прихода гостей, и копиями пастелей Буше и небольшими итальянскими пейзажами на стенах, тоже взятыми напрокат, – все это должно было свидетельствовать о его любви к искусству. Одно его беспокоило: во сколько все это обойдется. На обед уйдет недельное жалованье. К тому же у Барнувена был огромный аппетит и ярко выраженные республиканские воззрения. Но Барнувен любит его сына, вот и сейчас он шутливо, как всегда, посмеивается над ним:

– Наш Огюст рисует с таким пылом, будто его за это наградят орденом Почетного легиона.

Папа похвалил красивую ван-дейковскую бородку Барнувена, его отличные серые панталоны, и Мари подумала про себя, что лучше бы Папе помалкивать, – его хорошие манеры были куда хуже его самых плохих. Но Папа гордился своим пышным гостеприимством, даже если в душе он и содрогался при мысли о расходах: аппетит Мендрона не уступал аппетиту Барнувена. Папе даже пришло в голову, не явился ли этот скульптор сюда только в надежде на даровое угощение.

На Мендрона стоило посмотреть. Чем больше ему предлагали, тем больше он ел. Его голод казался неутолимым. И чем больше ел, тем больше говорил, но только не об Огюсте, а о своей работе и о Большой школе.

Мендрон без конца распространялся о тяжелой жизни скульптора, так что у Огюста разболелась голова. Мендрон говорил Лекоку:

– Скульпторы умирают с голоду. Тебе, Гораций, повезло, ты преподаешь. Как бы я хотел тоже учить, а не зависеть от всяких там покровителей, от правительств, которые без конца меняются.

– Удивительное дело, – ответил Лекок. – Я совсем не считаю себя учителем. Меня интересуют мои ученики, те, что талантливы, но я не чувствую себя их наставником. Просто я стараюсь передать им то, что знаю. Для меня это необходимость, но я не верю, что кого-то можно чему-то научить.

– А я не верю в скульптуру, – сказал Мендрон.

– Дорогой мэтр, – вмешался Барнувен, – а во что же вы верите?

Мендрон сказал:

– Справедливый вопрос, – но, вместо того чтобы ответить, обратился к Лекоку: – Гораций, а все-таки ты живешь лучше, потому что ты художник.

– О да, конечно, ведь я Рембрандт, – усмехнулся Лекок.

– Рембрандт слишком свободно высказывал свое мнение. Он был глупцом, – заявил Мендрон.

– Да, конечно, – ответил Лекок. – Все художники глупцы.

Воцарилось молчание. И тогда Огюст, у которого голова разламывалась от боли и который был теперь уверен, что Лекок и Мендрон пришли сюда, только чтобы посмеяться над ним, выпалил:

– Значит, я сумасшедший, раз хочу стать скульптором? Неужели это такая безумная идея?

– Даже если ты вложишь в камень всю жизнь и всего себя, неизвестно, добьешься ли ты чего, – ответил Лекок.

Мендрон подхватил:

– Ваяние – это самый дорогой способ зарабатывать себе на хлеб. Небо или там стог сена не могут служить вам моделью, как, к примеру, Милле. Нужны люди, а им надо платить. Ни в одном виде искусства не вкладываешь так много, а получаешь так мало.

– Вы женаты, мэтр Мендрон? – спросила Мама.

– У меня есть мать. – Впервые голос его смягчился.

Лекок сказал:

– Она совсем старенькая. И очень добрая.

– И терпеливая, – добавил Мендрон. – В теплые дни она сидит в нашем саду, полном «надежд», так я называю скульптуры, которым я отдал годы и которые так и не сумел продать. На одну глину, гипс и мрамор ушли тысячи франков, и этих денег мне никогда не вернуть. Но уж лучше ей сидеть в саду, чем в моей мастерской среди глины, гипса, отливок и инструментов. Эта моя мастерская, что кладбище. Я ведь только прикидываюсь скульптором, так же как делаю вид, что не вылезать из долгов – достоинство. Нет ничего достойного в том, чтобы быть скульптором.

Огюст онемел. Папа, наверное, думает: ну, что я тебе говорил? Значит, они считают, что у него совсем нет способностей?

Барнувен сказал:

– Мэтр, ведь вы один из наших самых уважаемых скульпторов.

– Как Карпо[20] и Бари, и им тоже приходится преподавать ради хлеба насущного, – ответил Мендрон.

– Значит, я сумасшедший, – сказал Огюст. – Но это я умею делать лучше всего другого.

Мендрон снисходительно улыбнулся.

– Это мне дороже всего! – воскликнул Огюст. – Дороже всего на свете!

– Вовсе не все мужчины женятся на девушках, в которых влюбляются, – сказал Мендрон.

Огюст выглядел совсем отчаявшимся, и тогда заговорил Лекок:

– Если вы хотите спокойной жизни, то будьте служакой, чиновником в царстве прямых линий. Но если вы хотите служить искусству, то мало одного юношеского энтузиазма, одного вдохновения, это вам не первая детская любовь. Вы готовы служить ему потому, что иначе не можете. Никто не становится художником потому, что это проще всего, а потому что иного пути для вас нет.

– Верно, – вздохнул Мендрон. Он поднялся с места. – Где же бюст?

Огюст снял влажную тряпку. Вылитый Папа! Он увидел подтверждение этому в глазах Мари, и тетя Тереза улыбалась, заранее торжествуя победу.

Мендрон и Лекок никак не выражали своих чувств. «Они созерцают, и только», – подумал Огюст.

Мендрон спросил:

– Это ваш отец?

– Да.

– Вы не вылепили бакенбардов.

– Они сюда не подходят.

– Куда-сюда? – Голос Мендрона был таким же холодным, как и его лицо.

– К античности, – сказал Огюст.

– Разве задача скульптора в том, чтобы подражать?

– Я ученик.

– Но ведь предполагается, что это ваш отец, не правда ли?

– Да.

– Тогда вам не надо было подражать. Надо было только копировать вашего отца.

– Мэтр, ну а все-таки это на него похоже? Мендрон молчал.

– Сумею я поступить в Школу? – Терять было уже нечего.

Мендрон взглянул на Лекока, затем на Барнувена. Их лица ничего не выражали. Он сказал:

– Вы работаете в манере Гудона. Вы придали голове

выражение той самой хитрости, которую мы видим в бюсте Руссо. – Мендрон посмотрел на Папу. – И это до некоторой степени оправдано.

– Значит, я поступлю? – спросил Огюст и впервые за весь день улыбнулся.

– Я получил самую лучшую академическую подготовку, – сказал Мендрон. – А что толку?

– Мой дорогой мэтр, я тоже надеюсь поступить в Школу изящных искусств, – сказал Барнувен.

– Ну конечно. Все мои ученики пытаются туда поступить, – сказал Лекок. – Но некоторые все же приходят к выводу, что я прав. Дега ушел оттуда, и Фантен-Латур, Далу и Легро поступили, но продолжают оставаться и моими учениками.

Огюст заколебался. Ему страшно хотелось угодить Лекоку, но еще больше хотелось поставить на своем. Он сказал:

– Мне бы все же хотелось попытаться. Простите меня, мэтр, но я должен это сделать.

Снова наступила долгая и мучительная пауза. Огюст чувствовал, что Папе хочется что-то сказать, и он изо всех сил сдерживается. У него самого комок стоял в горле, он с трудом дышал.

Мендрон обошел вокруг бюста и заметил:

– Вы лепили объемно. Чувствуется глубина. И вы не сделали обычной ошибки скульптора-академика, для вас это не картина с обратной стороной, которую никто не видит, а скульптура. Но что касается Школы изящных искусств… – Он пренебрежительно покачал головой.

– Говорят, это самая лучшая художественная школа в Европе, – сказал Огюст.

– Да, но это школа восемнадцатого века, – пояснил Лекок, – полная всяких классических штучек.

– Мэтр Мендрон, вы порекомендуете меня туда?

– И почему это студенты задают такие трудные вопросы? – ответил Мендрон. – Если я вас порекомендую, вы, пожалуй, вообразите себя талантом, но ведь одного таланта недостаточно. Я не император, чтобы решать вашу судьбу.

– Вы объективный человек.

– Справедливый, но не объективный. Кто будет за вас платить, если вы туда поступите?

Мари уже хотела что-то сказать, когда неожиданно вмешался Папа:

– Если вы считаете, что дело того стоит, то платить буду я.

Мендрон рассмеялся:

– Я не могу, мосье, достаточно красноречиво восхвалять

достоинства вашего сына. Или пообещать, что он добьется успеха. Но если он считает, что у него не меньше сил, чем у Геркулеса, тогда в Школе он получит хорошую общую подготовку.

– Значит, вы согласны меня рекомендовать?! – воскликнул Огюст.

Мендрон взглянул на Лекока – тот был в нерешительности – и затем кивнул.

– Напишите прошение о приеме, – сказал Мендрон, – а я подпишу. И уж постарайтесь написать свое имя без ошибок. Я знаю случаи, когда кандидатуры отвергали за меньший проступок.

Огюст, полный благодарности, пытался было объяснить Лекоку, что он по-прежнему ценит его наставничество, но Лекок его оборвал:

– Можете продолжать заниматься у меня, если, конечно, хотите.

– Ну конечно, хочу, мэтр, очень хочу.

– Тогда старайтесь. Работайте еще настойчивей.

– И ты мне поможешь, Папа? Папа сказал с оскорбленным видом:

– Разве я когда нарушал свое слово?

Но какие же обязательства он взвалил себе на плечи из-за этих вот прекрасных господ! Он и не представлял себе, что художники могут быть вот такими господами. Если Мари выйдет замуж за художника, то не так уж и плохо. И похоже, Мари и правда нравится этому Барнувену. Барнувен пригласил Мари покататься в экипаже в Булонском лесу, и Лекок ценит Барнувена, а стало быть, Лекок считает, что у молодого человека есть будущее.

Мама с улыбкой смотрела вслед уходящей парочке, благословляла их в душе, а тетя Тереза поблагодарила Мендрона и Лекока за их доброту и любезность. Мендрон ответил:

– Мы сочли это за честь.

А Лекок, уходя вместе с ним, впервые внимательно посмотрел на бюст и сказал:

– Очень уж античный, но по крайней мере чувствуется жизнь.

Глава VI

1

Огюст спешил на экзамен в Школу изящных искусств, полный радужных надежд, но эти надежды очень быстро растаяли. Экзамен для поступающих на скульптурное отделение проводился в огромном холодном зале амфитеатра, уставленном рядом однообразных и безжизненных римских статуй. Посередине поместили средних лет натурщика, а экзаменующихся рассадили возле него строгим аккуратным полукругом.

Огюсту не разрешили представить бюст Папы: по правилам Школы изящных искусств поступающие не имели права представлять оригинальные работы, а должны были лепить с натуры, которую назначат. Это первое разочарование показалось Огюсту дурным предзнаменованием. Испугало его также и большое число экзаменующихся: он ощущал себя затерянным в этой толпе. Да и времени отвели мало. Они должны были работать по два часа в день и полностью закончить фигуру в шесть сеансов. Но ведь так не успеть справиться и с головой, думал Огюст. Он почувствовал, что попал в ловушку. Не экзамен, а состязание в быстроте.

В конце второго дня Огюст все еще делал наброски фигуры, прикидывал, обдумывал, стирал, а большинство уже выполнили работу почти наполовину. Статуи, окружавшие амфитеатр, были гладкими, хорошо отполированными, и работы экзаменующихся имели тот же лоск.

«Но ведь это неверно», – думал Огюст. У натурщика мускулы грубо выпирали, и лепить их гладкими, зализанными значило противоречить истине. Натурщик совсем не отличался красотой, а экзаменующиеся старались перещеголять один другого в приукрашивании модели.

И еще Огюсту хотелось прикоснуться к плоти. Их рассадили в алфавитном порядке, и он оказался позади. Ему было плохо видно натурщика, осязание могло бы возместить слабость зрения. Но когда он сделал такую попытку, все ужаснулись. Экзаменаторы предупредили: еще одно нарушение правил – и его лишат права участвовать в экзамене. Он пытался было работать в своем собственном темпе, но скоро был захвачен общим стремлением закончить работу побыстрее, не отстать от других – это было важнее всего.

В последний день экзамена, когда он все еще заканчивал фигуру, хотя все остальные уже завершили работу, к нему подошел один из экзаменаторов, маститый член профессорского клана Школы изящных искусств. Человек преклонных лет, он нетвердо держался на старческих слабых ногах и был облачен в длинный черный сюртук, как у гробовщика; очки в серебряной оправе повисли на кончике носа. Экзаменатор уставился на Огюста – не на его работу – с уничтожающей строгостью, но Огюст все продолжал лихорадочно работать – два часа уже истекли, а ему еще надо было немного изменить лоб. И тогда экзаменатор сказал:

– Разрешите.

Огюст отступил в сторону чуть ли не со вздохом облегчения, и экзаменатор написал в списке ясными крупными буквами: «Не принят».

Все в Огюсте взбунтовалось против этого приговора. Это была лучшая из его работ, в ней была глубина, и содержание, и перспектива, и движение, но экзаменатор одним мановением руки остановил его протесты. Он может попытаться поступить на следующий год. Это должно было служить ему единственным утешением. Он с раздражением заметил, какие у экзаменатора мягкие, вялые руки, длинные, выхоленные ногти, – разве можно вылепить что-нибудь такими слабыми руками? Это его совсем опечалило. Немощь экзаменатора словно подрывала авторитет самого искусства ваяния.

Барнувен подбежал к Огюсту, он был страшно доволен собой, так и сиял и хвастался:

– Я сделал фигуру в стиле Буше. Все получилось прекрасно, я такой паинька. Они от меня в восторге.

– Тебя приняли?

– Еще бы! Друг мой, скоро я тут все стены завешаю своими картинами.

– Мари будет довольна. Барнувен промолчал.

Может, Барнувен не расслышал? Барнувен махал нескольким приятелям, которые тоже были приняты.

2

На следующий год Огюст сделал фигуру, как все остальные. Он подражал римским образцам, окружавшим амфитеатр. Постарался закончить в срок. Отполировал до блеска. Она точно соответствовала натуре. А экзаменатор лишь улыбнулся и написал: «Не принят».

Огюст был потрясен, и никто не мог пояснить ему толком, в

чем дело.

Одни говорили, дело в ракурсе; другие – ему не дается стиль восемнадцатого века, столь почитаемый Школой. Некоторые заключали: просто не повезло. Но ни одно из этих объяснений не казалось ему убедительным. Лекок отказался обсуждать этот вопрос, а Папа заявил, что оно и к лучшему, что все совсем не так легко и просто. Зато уж когда примут, то будешь и ценить по-настоящему.

3

На третий год Огюст сосредоточил все внимание на фигуре, не думая ни о каких образцах. Несколько месяцев кряду он обдумывал, как будет лепить; он сделал все наброски заранее, по памяти. Как и предполагал, натурщиком оказался непривлекательный мужчина средних лет, и Огюст быстро принялся за дело.

К концу второго дня он уже приступил к торсу. Вылепил его в классическом греческом стиле – греки создавали образцы, красота которых осталась непревзойденной. Школа изящных искусств преклонялась перед греками. Он считал, что лепить на этот раз приходится слишком поспешно; некогда было поразмыслить, вникнуть в суть модели, но работа спорилась. Закончив фигуру, он остался вполне доволен ею, никогда он не создавал ничего лучше. Огюст видел, с какой завистью смотрели на фигуру другие. Это был лучший признак. Он чувствовал, что наконец добился победы, которой так страстно желал.

Экзаменатор, самый древний и дряхлый из всех тех, что были у Огюста, видимо, не мог разглядеть фигуру. Его глаза совсем ослепли от старости, и он еле нашел экзаменационный лист, на котором дрожащим карандашом написал: «Не принят».

– Опять не принят?! – воскликнул Роден. Он знал, что это бунт – подвергать сомнению решение экзаменатора, но оно было таким нелепым. – Почему? – спросил он.

И тогда экзаменатор дописал несколько фраз в экзаменационном листе рядом с именем «Огюст Роден»: «Принять невозможно. Совершенно лишен способностей. Не имеет представления о том, что от него требуется. Дальнейшие экзамены будут потерей времени. По способности сорок первый в экзаменационном списке».

Всего экзаменующихся было сорок четыре. Ошеломленный Роден спросил:

– Когда я смогу экзаменоваться вновь? – Как могли они поставить его на сорок первое место? Неужели он такая

посредственность?

– Никаких экзаменов больше не будет. Вас больше не допустят.

Огюст похолодел:

– Вы хотите сказать, что у меня неправильная техника?

– У вас нет никакой техники. Вы подражали грекам. И подражали плохо.

Огюст ухватился за фигуру, чтобы удержаться на ногах. Это было уже свыше сил. Глаза покраснели и слезились, он и сам видел теперь свою работу будто в тумане. Обида разрывала душу. Он не мог понять, как это могло случиться. Все пропало, никогда ему не стать теперь скульптором. Он действительно идиот. Нечего было и приниматься за изучение скульптуры.

4

У выхода он встретил Фантен-Латура. В лице Огюста было столько отчаяния, что тот сразу понял все без слов. Он сказал:

– Считаешь себя неудачником, а зря.

– Но это так! – воскликнул Огюст. – Французское искусство и Школа изящных искусств неотделимы друг от друга.

– Не совсем так. Вот, например, нас с Дега только что отверг Салон[21], так какой нам толк от Школы?

– Но вы оба ее не закончили. И потом Дега добился успеха в Италии. – Как сильно завидовал он Дега и его заработкам! Италия казалась за тридевять земель, недосягаемой, он никогда не увидит ее, никогда.

– Нас все равно считают выпускниками Школы изящных искусств, а Салон не принимает.

Огюст посмотрел на Фантен-Латура – ему нравились его светло-рыжая борода, лохматая шевелюра, здоровенный нос, – и спросил:

– Ты меня ждал?

Фантен-Латур с напускным равнодушием пожал плечами и не признался.

– Чтобы меня утешить? Зачем?

– Ты сейчас расстроен, а расстраиваться нечего, ты – настоящий талант.

– Но ты был уверен, что я провалюсь.

– У тебя была неподходящая рекомендация. Я знал об этом с самого начала.

– Мендрон? Но ведь он знаменитость. Участник Салона.

– Да, ты еще к тому же любимый ученик Лекока. Они в жизни тебя не примут. Это значило бы признать Лекока, а они на это

никогда не пойдут.

Огюст пришел в ужас. Он воскликнул:

– Так что же ты молчал!

– А что толку? Ты расстался бы с Лекоком?

– Ни за что!

Фантен-Латур пошел с Огюстом и, когда они повернули на набережную Сены, спросил:

– Что теперь собираешься делать? С болью в сердце Огюст ответил:

– Брошу скульптуру.

– Значит, признаешь, что они правы?

– А что еще? Жить-то надо. Без диплома Школы мне не получить заказов.

– Сначала поговори с Лекоком. Может, он предложит какую работу, чтобы ты мог продолжать лепить. Обещаешь мне?

– Почему тебя это волнует?

– Я ведь пережил то же самое, когда меня отверг Салон. Но теперь понимаю, как глупо делать на это ставку. Да нет, конечно, это все важно, но пусть уж лучше отвергнут, чем делать то, что не по душе. Нелегко, конечно, но все-таки лучше, чем работать над тем, к чему не лежит душа. Обещаешь мне, что посоветуешься с Лекоком?

– Нашим знаменитым мэтром, – с горечью произнес Огюст.

– Нашим любимым мэтром, – с неожиданным чувством поправил Фантен-Латур. – Всем, что я знаю, я обязан ему, да еще Лувру.

Огюст дал обещание, но сдержать его было нелегко. Он сразу же пошел к Лекоку, но сомневался, что у Лекока действительно верная точка зрения. Школа не приняла его, и он чувствовал себя отвергнутым любовником, а учитель не считал это трагедией.

Лекок привык к скорби и словоизлияниям разочарованных студентов и давно пришел к выводу, что люди легче подчиняются обстоятельствам, чем обстоятельства им. Если юноша на деле познает, что такое жизнь художника, это ему не повредит. Он сказал Огюсту:

– Все к лучшему. Школа изящных искусств превратилась в классическую школу, где только и знают, что сосущих волчицу Ромулов и Ремов да Гекторов и Андромах, которые никак не могут разомкнуть прощальные объятия, и от всей этой мертвечины с души воротит. Пестуют пигмеев, которые лопаются от чванства. – Он заметил, что Огюст не слушает, и спросил: – Как вы думаете, стоило бы Микеланджело учиться в Школе?

– Я не Микеланджело.

– Вы скульптор. И весьма многообещающий.

– Я у них был сорок первым. Из сорока четырех. Неужели я так бездарен? – Он опустил голову, казалось, он никогда не оправится от этого удара.

– Уж не собираетесь ли вы топиться? – Все это становится опасным, нельзя сердцем привязываться к ученику. Ему столько лет удавалось избегать этого. – Видимо, я был не прав, обнадеживая вас.

– Не могли бы вы порекомендовать меня на работу?

– Можно попытаться.

– Я был бы так благодарен вам за это, мэтр.

– А не за науку?

Огюст сглотнул, с трудом пробормотал:

– Я восхищаюсь вами, мэтр. Я…

– Восхищаетесь? Вы художник или не художник, все остальное не имеет значения.

Огюст вздрогнул, как от боли.

– Я не предлагал вам учиться у меня. Я никого никогда не приглашаю. Еще раз хочу напомнить вам, что это свободная школа, можете заниматься, можете уйти.

Огюст бросился к двери и остановился на полпути, когда Лекок крикнул ему вслед:

– А теперь вы вините меня за то, что вас не приняли в Школу только потому, что ваше имя связывали с моим. – Лекок издал горький смешок. – Я один из так называемых семи отверженных учителей – тех, кому мы покровительствуем, Школа изящных искусств безоговорочно отвергает.

Огюст было запнулся, но потом уверенно ответил:

– Ваших учеников принимали – Далу, Легро, Дега, Фантена, Барнувена…

– И еще многих других, – насмешливо прервал Лекок. – Но они не были моими протеже или запасались достаточной поддержкой, чтобы смыть ту печать позора, которую налагает общение со мной. Желаю удачи, Роден, прощайте.

– Я хочу продолжать заниматься у вас.

– Вы уже научились у меня всему, чему могли. Но, – Лекок сделал великодушный жест рукой, – я порекомендую вас на подходящую работу, если такой случай представится.

– Благодарю вас, мэтр.

– Каждый обязан выполнять свой долг.

– Да, – согласился Огюст, это было понятно. – Я все хотел переделать бюст Папы, но…

– Если вы задумали бросить скульптуру, то не стоит.

– И все же мне кажется, что теперь я мог бы сделать его лучше.

– Даже если в Школе вы были только сорок первым?

Лекок улыбался, и Огюст улыбнулся в ответ.

– Переделайте его, Роден, это пойдет вам на пользу.

В глубокой задумчивости Огюст направился домой через улицу Вожирар и Люксембургский сад, где бродили, рассматривая статуи, студенты, гризетки и пожилые джентльмены в париках – обломки старых времен. Сад был большой галереей на открытом воздухе, где выпускники Школы изящных искусств выставляли свои произведения. Он остановился около «Валледы» Мендрона. Раньше Огюст думал, что ни одного современного скульптора нельзя считать по-настоящему великим, пока тот не создаст нечто монументальное, подобное этой статуе, этой дани классицизма и героики. Но теперь, когда взгляды его столь изменились, он решил, что величие это показное. Сейчас ему хотелось чего-то грубого, обыденного, будоражащего.

Дома Папа сказал:

– Надо устраиваться на работу. Я дал тебе возможность, о которой ты мечтал, но раз не приняли, значит, скульптурой тебе не прожить. Даже тетя Тереза и Мари это говорят.

– Я подыщу работу, вот только закончу твой бюст.

– Мой бюст? Да ты закончил его три года назад.

– Нет, я так и не закончил.

– Я не стану позировать. Это блажь.

– Буду копировать с первого.

– Копировать? Это не дело! Мендрон говорил, что копировать нельзя!

– Но раз ты не хочешь позировать.

– Боже милостивый, как же с тобой тяжело! Ну что толку от нового бюста? Они и на старый-то не взглянули. А ведь это был мой портрет. Вылитый я.

– Папа, я должен сделать новый бюст, если даже тебе это кажется бессмысленным. – Последнее мое произведение, подумал он печально. А там работа, и он никогда больше не будет скульптором. – Хочешь– позируй, хочешь – нет, тебе видней.

Поспорив, пришли к компромиссу. Папа сказал, что будет позировать с одним условием: Огюст немедленно пойдет работать, сразу же, как только закончит бюст. Огюст согласился и тут же уничтожил старый бюст, чтобы Папа не передумал и чтобы самому не попасть под влияние прежних идей. И когда он взял в руки кусок глины, ему стало немного легче.

Папа был сварливым натурщиком и без конца причитал, что это ему наказание свыше за грехи, но позировал охотно, терпеливо и старательно. Он пришел в восхищение от бюста,

когда тот был закончен. Правда, он не высказал этого, так как это значило признать свою неправоту; он просто заметил, что в бронзе бюст выглядел бы лучше. Бронза прочнее, и к тому же она придала бы его чертам подобающую твердость.

– О бронзе и думать нечего, – сказал Огюст. – У нас нет денег на бронзу. – Но он был доволен. Папа прав. Этот бюст заслуживает, чтобы его отлили в бронзе.

– Может, кто-нибудь купит, – предположил Папа.

– Никто не купит, – уверенно сказал Огюст. – У меня нет ни имени, ни положения, ни покровителей.

– А мне бы и не хотелось, чтобы купили, – сказал Папа. – Я хочу оставить его себе. – Заметив улыбку Огюста, он проворчал: – Кто-то должен о нем позаботиться. Ты такой непрактичный, у тебя он скоро растрескается.

Тем временем Лекок порекомендовал Огюста декоратору мосье Крюше, и Огюст начал работать за пять франков в день.

Нищенская плата, но декоратор особенно не докучал ему, и Огюст был благодарен за это. Работа преимущественно заключалась в лепке орнаментов, и Огюст понял, сколь разумной была рекомендация Лекока. Хоть и не скульптура, но лучшее, что можно себе представить[22].

Чтобы руки не отвыкли от лепки, Огюст продолжал время от времени брать уроки у Лекока и Бари. Но чувствовал себя изгнанником. Он сомневался в том, что ему когда-нибудь удастся стать профессиональным скульптором. И все же не мог не лепить. Если он не посвящал часа два в день напряженной лепке, его грызла совесть, он считал себя ни на что не годным, бездарным. Он привык лепить вечерами, когда возвращался домой после работы, и лепил далеко за полночь.

Огюст по-прежнему считал, что Папин бюст будет последней в его жизни скульптурой.

Глава VII

1

Как-то вечером Огюст застал Мари в слезах. Прошло несколько месяцев после окончательного провала в Школе изящных искусств. Было уже поздно, родители спали, и Мари думала, что ее никто не услышит. Огюст обнял сестру, и она, всхлипывая, призналась:

– Барнувен женится.

– Ты это точно знаешь? – Ему не верилось: вот уже два года, как Барнувен и Мари встречались почти каждое воскресенье.

– Он мне сам сказал. У меня нет приданого, а у нее двадцать тысяч франков. Этого им хватит надолго. Она высокая, здоровая, он говорит, у нее полная грудь, сильные ноги, а талия, как у натурщицы. И двадцать тысяч франков в придачу.

Огюст пытался утешить сестру, но безрезультатно. Мари была уверена, что ее жизнь кончена. Огюст предложил:

– Я с ним поговорю.

Но Мари пришла в ужас.

– Нет-нет, – шептала она. – Он никогда мне этого не простит.

– Но если он тебя больше не любит?

– Нет, любит. Это все из-за приданого.

– Может быть, он любит ее. – Пусть лучше Мари поверит в это и смирится.

– Он любит меня. Он сказал.

– А ты?… – Огюст умолк, нелегко было спрашивать об этом собственную сестру.

– Не поддалась ли я на его уговоры? – прошептала она. – Он упрашивал, раз сто, наверное. Но одно дело, если бы он сделал предложение… Послушай, Огюст, я знаю, что Барнувен об этом думал, но он не может жить в бедности.

– Что же делать? – спросил Огюст.

– Я пойду в монахини, – вдруг решительно заявила Мари.

– Мари! – Мысль о разлуке с сестрой даже на время была невыносима.

– Ну а ты? – спросила она. – Тебе кто-нибудь нравится?

Ему было не до любви, слишком он беден для этого.

– Я слишком занят, – ответил он.

– Мама будет рада, если я стану монахиней. Она отдаст дочь богу. И я замолю грехи Клотильды.

– Ты этого хочешь?

– Но раз мне не дано того, что хочу! – всхлипывала она. – Куда еще деваться?

– Может быть, ты и права, Мари, – сказал он покорно. – Нелегко жить по-прежнему и делать вид, что не больно, когда лишишься того, что дорого.

Мари не ответила. Она опустилась на колени и молилась со всей страстью своей набожной души. Слезы слепили ей глаза, губы дрожали, но теперь голос ее был тверд. Сомнения оставили ее, и она почти совсем успокоилась. Может быть, это только к лучшему, как сказал Огюст, может быть, в душе бог всегда был ее единственным избранником.

2

Через месяц Мари поступила послушницей в монастырь святой Ефимии.

Мари казалась спокойной, когда пришло время прощаться с семьей, но Огюст почувствовал, что она дрожит, когда он ее обнял на прощание. Но что было делать? Дома она плакала, глаз не осушая, измучилась и похудела.

– Да-да, я буду о себе заботиться, – уверяла она обеспокоенную Маму.

Маму не радовало решение Мари. Она считала, что Мари недостаточно крепка здоровьем для предстоящих испытаний. Однако Мама, которая за последние несколько недель совсем поседела, узнав плохую новость о Барнувене, крепилась изо всех сил.

Из тебя выйдет хорошая монахиня. Тебя научили отличать добро от зла. – Но лицо у Мамы было несчастное.

Папа был глубоко опечален. Он не сомневался, что дочь его чиста, но все оборачивалось так, словно случилось самое худшее. Разве ищут убежища в стенах монастыря, если совесть чиста, а Мари его ищет. И все же он должен был поддержать ее, как мог. Когда они расставались. Папа сунул ей в руку маленький серебряный крестик.

Мари твердо решила стать достойной монахиней. Она была чистоплотной, старательной, покорной, готовой принести себя в жертву богу, но не могла забыть Барнувена. Она все бледнела, худела, стала часто болеть и совсем захирела.

Так прошло два года. Огюст – он совсем забросил скульптуру, словно искусство предало его, как Барнувен – Мари, – с трудом зарабатывал себе на жизнь, работая лепщиком. Но он оставил работу, когда Мари вернулась домой, тяжело больная перитонитом.

Огюст не отходил от сестры, он старался вдохнуть в нее свою силу и волю к жизни, но у Мари не было ни сил, ни воли к жизни. Она не хотела жить. Чаще всего она бредила, представляла себе, как они с Барнувеном гуляют по Булонскому лесу или как в детстве играет она на пикнике с Огюстом и Клотильдой. И тогда Огюст нежно гладил ее по щеке, Мама без конца молилась, а Папа никак не мог поверить тому, что происходит. Все Родены доживали до глубокой старости.

В тот вечер, который навсегда остался у Огюста в памяти, Мари вдруг пришла в себя. Они сидели у ее кровати, и Огюст почувствовал, что она хочет что-то сказать.

Удивительно, думала Мари. Почему у них такие озабоченные лица, разве она им так уж дорога? Вот Огюст, он станет их великой гордостью. Они должны простить ее, она такая слабая и усталая, что не может рукой шевельнуть, а ноги словно свинцом налиты. И в боге она не обрела утешения. Два года старалась изо всех сил и все равно чувствовала себя несчастной.

Она попыталась приподняться, чтобы попросить у них прощения, и почувствовала руку Огюста в своей руке. Она не видела, но знала, что это его рука, работа сделала ее такой сильной и гибкой, рука скульптора, как бы он в этом ни сомневался.

Она попыталась сказать ему, но он был так далеко, не мог ее услышать, и все-таки он, казалось, понимал.

Огюст почувствовал, как вздрогнула рука Мари в его руке, и внезапно, совсем неожиданно она с силой, больно сжала его пальцы – это было совсем непохоже на нее, затем пожатие ослабло. Он застыл на месте, не понимая, что случилось, не в силах понять. Затем понял. Упал на колени, прижался лицом к лицу сестры, стараясь вдохнуть в нее жизнь, но было уже поздно. Папа тоже не двигался, не в силах поверить. Мама негромко застонала и повалилась на пол у кровати. Огюст рыдал, такого горя он еще не знал никогда.

3

Огюст овладел техникой лепки и научился преодолевать любые трудности, но со смертью любимой сестры он не мог примириться. Они были как близнецы, его чувства всегда находили у нее отклик, она была другом и утешителем, его поверенным, она всегда была преданной и справедливой, единственным человеком, на которого он мог во всем положиться. Он был безутешен. Не мог думать ни о работе, ни о скульптуре. Ему стало казаться, что именно его увлечение

скульптурой и стало причиной ее смерти, – да-да, не реши он стать скульптором, она бы не встретила Барнувена и была бы жива. В своем горе он позабыл, что Мари познакомилась с Барнувеном раньше него, одна лихорадочная мысль не давала ему покоя: «Все из-за меня, я виноват, я должен заплатить».

Огюст решил уйти в монахи, чтобы заменить ее. Он не посоветовался ни с кем – ни с семьей, ни с тетей Терезой, ни с друзьями. Не спросил даже Лекока, хотя совесть и мучила его.

Он знал, что Лекок выйдет из себя, узнав о его решении, и в лучшем случае сочтет это малодушием, а в худшем-предательством, но пойти к Лекоку и объясниться не было сил. Лекок заставил бы изменить решение. Пришлось бы выслушать горькие истины. Как бы там ни было, он не скульптор, и никогда не станет им после того, как его отвергла Школа.

И вот однажды, в дождливый зимний день, Огюст стал послушником, братом Августином в монастыре ордена Святых тайн.

Монастырь находился на улице Сен-Жак, недалеко от дома, что было некоторым утешением, хотя он твердо решил не покидать святого ордена и постараться обрести там покой. Если все пойдет обычным путем – а он был уверен, что это так и будет, – то через два года послушничества его посвятят в монашеский сан. Он не сказал о своем намерении никому, только родным, а они были слишком потрясены смертью Мари, чтобы пытаться уговорить его изменить решение.

Смерть Мари страшно состарила Маму. Теперь она ходила только в черном и вся словно усохла; этот удар она приняла как неизбежный и заслуженный. Папа тоже совсем сдал. Он видел, что Огюст упорствует и его не переупрямишь. Папа почитал церковь, как и всех власть предержащих, но разве там обретешь счастье? И тем не менее спорить было бесполезно. Огюст совсем утратил веру в себя.

«Не нужно мне счастья, – думал Огюст, – найти бы хоть утешение. Что бы ни говорил врач, а ведь Мари умерла с тоски от „меланхолии девственниц“.

Главой ордена Святых тайн был отец Эймар, почтенный пожилой священник, известный своей ученостью, его переводы из Данте и Петрарки высоко ценились. Лицо отца Эймара со вдумчивыми глазами, широкими скулами и твердым подбородком носило печать романтической грубоватости, но когда он улыбался, оно словно освещалось изнутри. Он кротко приветствовал Огюста и сказал ему:

– Надеюсь, всевышний не почтет тщеславием мою уверенность, что вы обретете здесь свое призвание.

– Я попытаюсь, отец мой, сделаю все, что в моих силах, – ответил Огюст, поправляя на плечах тяжелую и неудобную коричневую сутану.

– Вы ведь были скульптором, брат Августин?

– Всего-навсего учеником, отец мой.

– И простились с искусством?

– Оно для меня больше не существует. Карие глаза отца Эймара изумленно расширились:

– Такое уничижение, сын мой, уже паче гордости. Талант – благословение божие, этим не бросаются. Служение красоте совмещается со служением всевышнему. Фра Филиппо и фра Бартоломео с честью служили им, не делая различий между ними.

Огюст склонил голову, а про себя думал: «Я навсегда охладел к искусству».

– Время терпит, брат Августин. Обретете вы здесь покой или нет – все в руках божьих. Но не считайте наш орден убежищем, откройте в нем свое призвание.

– Постараюсь.

– И не печальтесь. У вас есть возможность выбора.

Время шло, и брат Августин старался привыкнуть к дисциплине монашеского ордена. Как самый младший из послушников, он выполнял самую тяжелую работу, сидел в конце стола, держался в тени. Он пытался освободиться от таких чувств, как тщеславие, честолюбие, гордость, от плотских желаний. Он хотел душой слиться с богом. Он искал утешения в молчании и размышлениях, в строгости и повиновении, в уединении и молитве. Дни, полные молитв, трудов, учения, размышлений, проходили. Но труднее всего было сносить длинные бессонные ночи.

Каждую ночь он метался без сна на соломенном тюфяке. Неудобства не беспокоили его – он привык к ним дома, – но он не мог забыть об искусстве, этот огонь сжигал его по-прежнему, и не было от него спасения. Конечно, он мог и заблуждаться, но ему казалось, что если бы только вылепить голову Мари, как он помнил ее, боль утраты перестала бы так мучить. И еще ему не хватало женского общества. Дома были Мари, тетя Тереза, Мама, всегда готовые поддержать и утешить, но для брата Августина уже сама мысль о подобной поддержке была непростительной слабостью: Сон не приходил.

В часовне он просил бога направить его на верный путь, даровать забвение. Но как только образ Мари тускнел перед его мысленным взором, тут же возникали другие: распятый Христос, Магдалина с лицом Клотильды, Иоанн Креститель в пустыне,

святой Петр, похожий на «Моисея» Микеланджело, их было множество и каждого из них мучительно хотелось вылепить.

Он стал мрачным и вялым, даже когда выполнял работы, которые ему поручали. Отец Эймар с беспокойством наблюдал за тем, как он становится все печальней, и, наконец, спросил:

– Вы что-нибудь знаете о Данте?

– Немного. – Вопрос удивил Огюста.

– Брат Августин, мы не враги искусства. И Данте не был врагом церкви. Он презирал ее грехи, подобно святому Франциску, но «Божественная комедия» – это книга верующего человека. У меня есть новое издание «Божественной комедии» с гравюрами Густава Доре, это самые необыкновенные иллюстрации, какие я видел когда-либо. Хотите посмотреть?

Огюст не мог лгать. Он признался:

– Я буду очень рад.

Резкость, жестокость, горечь гравюр Доре поразили его. Они хватали за душу. Он сидел в монастырской библиотеке и думал, вот если бы научиться у Доре мощи бога-отца, творца, грозно стучащего во все двери.

Но Огюст боялся вновь приняться за рисование, он наверняка утратил технику, а если все-таки попробовать… Отец Эймар понял его и протянул бумагу и перо. Огюст передавал свое собственное впечатление от «Божественной комедии», более мягкое и более чувственное, чем у Доре. Впервые за долгое время он был почти счастлив. Первый его рисунок после смерти Мари. Он ощущал, как к нему возвращается прежняя энергия. Монастырское затворничество больше не мучило. Оно даже имело свои положительные стороны, здесь он мог работать более сосредоточенно.

Отец Эймар посмотрел на рисунок и сказал:

– Прекрасно, это настоящая работа.

Огюст думал, что, если бы ему разрешили рисовать, лепить, он бы довольствовался самой скромной пищей, презрел бы все мирские блага и даже принял бы обет воздержания, несмотря на изредка вспыхивающий огонь страсти.

Он стал лучше спать. Темнота перестала быть врагом – ночью он представлял себе все то, что мог нарисовать.

После того как он закончил рисунки к «Божественной комедии», отец Эймар назначил его работать в саду. Теперь отец Эймар отлично сознавал, что у Огюста должны быть заняты руки, а в сарае, где хранился инвентарь, дел было более чем достаточно.

Огюст уверил себя, что на то воля божья, и постарался смириться.

Но однажды, уже месяц работая в саду, он нашел за сараем кусок дерева и сам не заметил, как вырезал из него фигуру. Он уже заканчивал ее, когда подошел отец Эймар.

Огюст был уверен, что его подвергнут тяжелому наказанию.

Отец Эймар спокойно сказал:

– Древесина теперь стала непрочной, это ненадежный материал, брат Августин. Хотите попробовать глину?

Огюст покраснел и, запинаясь, признался:

– Да. – И тут же почувствовал раскаяние. Отец Эймар словно ничего не замечал. Он сказал:

– Вы можете работать в сарае.

– Благодарю вас. Я вам очень признателен.

– Тяжело, должно быть, брат Августин, не заниматься любимым искусством.

– Нет-нет, отец! – Он молил бога простить ему эту ложь.

– У нас здесь не художественная академия, – вздохнул отец Эймар. – Но ваш талант заслуживает поощрения.

– Я хочу сделать ваш портрет, отец! Вы согласны позировать, отец? – спросил он и опустился на колени у ног отца Эймара.

– Вы не можете жить без этого, правда?

– Да, да.

– Какая жалость! Но против природы не пойдешь. Поднимитесь, сын мой. Вы не сумеете лепить в таком положении.

Отец Эймар мог позировать лишь изредка, но, когда его не было, Огюст работал по памяти. Сделал углем первоначальный набросок на грубой бумаге, потом вылепил небольшую фигурку, эскиз будущей статуи. Он старался уйти от того подражания античным образцам, которое сказалось на бюсте Папы, не идеализировать модель, а передать, схватить сущность лица и характера отца Эймара.

Когда голова была закончена, отец Эймар внимательно осмотрел ее и задумчиво произнес:

– Вульгарной идеализацией вы, во всяком случае, не грешите.

Огюст покорно сложил руки, как его учили в монастыре, но не мог сдержать их нервной дрожи.

– Брат Августин, а у вас действительно умелые руки.

– Я в чем-то ошибся, отец?

– Брат Августин, я могу быть судьей лишь в вопросах морали, а не искусства.

– Я надеялся, что он вам понравится.

– Понимаю. – Отец Эймар обошел вокруг бюста, изучая его со всех сторон. – И я действительно так выгляжу?

– Да. По-моему, так.

Отец Эймар осторожно прикоснулся к бюсту и сказал:

– Вы скульптор, а я нет. Подчиняюсь вашему суждению. Бюст отличный. – Его тон стал веселее. – Вы не сделали из меня красавца, дабы я не возгордился, но я и не урод, и вы придали мне столько чувства, что я вышел человечным. Очень человечным. – Он повторил эти слова, словно стараясь их запомнить.

– Благодарю вас, отец мой.

– Благодарю вас, брат Августин. – Он мгновение постоял в молчании, будто ожидая указаний свыше, потом сказал: – Пожалуй, вы нуждаетесь в иной среде. Мы тут слишком монашески ограниченны, чтобы способствовать развитию ваших талантов, к тому же век мадонн минул.

Огюст застыл на месте. Значит, его опять отвергают, в какую бы вежливую форму отец Эймар ни облек свои слова.

Наступило долгое молчание. Наконец отец Эймар сказал:

– Вы должны это понять и вернуться в мир, к скульптуре, а тут вы задохнетесь.

– Служа богу!

– Служить богу можно по-разному, – сказал отец Эймар. – Вы насилуете себя, оставаясь здесь, и добром это не кончится. Вы лишь озлобитесь. Вам будет казаться, что у вас связаны руки.

– Но тот мир, – Огюст махнул рукой, показывая туда, за стены монастыря, – разве есть в нем что настоящее?

– А искусство ваяния?

– Ему нельзя доверяться.

– Это у вас сейчас такое настроение. Оно пройдет. В жизни бывают и взлеты и падения, но главное в ней – это хорошее, а не плохое. Для вас – это ваяние, а для меня – монастырь.

– Но быть скульптором очень трудно.

– А братом Августином легче?

– Но я сам выбрал такой путь. Дал обет. Обет богу.

– Глубока ли ваша вера, решать только всевышнему, а не нам, грешным. Монастырь не тюрьма. Двери его всегда открыты и для тех, кто приходит, и для тех, кто уходит. И может, в миру вы еще лучше послужите всевышнему. Не падайте духом. Будет большая потеря, если вы здесь останетесь.

– Вы считаете меня безнадежным.

– Не безнадежным, а просто избравшим не тот путь. Я верю, что вы способны на жертвы, на самоотречение, на уступки, но только во имя искусства, а не бога.

– Но почему же тогда я пришел к вам?

– Вы искали утешения, которого не обрели в миру, а вам нужно другое: вера, надежда. – Отец Эймар повернулся к бюсту и спросил: – Вы сделаете для меня копию, когда он будет отлит в

бронзе?

– В бронзе?

– Хотелось бы, чтобы он надолго сохранился в этом мире, где все бренно. Я не слишком тщеславен?

Огюст сдался. Этот гипсовый бюст будет куда лучше в бронзе – отец Эймар прав. Он улыбнулся и сказал:

– Благодарю вас, отец мой.

– За что? – Отец Эймар был удивлен.

– За то, что позировали мне. Вы очень хорошая модель.

– Я рад этому. Да благословит вас бог, Огюст Роден – И отец Эймар прикрыл бюст, чтобы обеспечить ему сохранность.

4

Через несколько дней Огюст покинул монастырь. Он провел в нем почти год, был уже январь 1863 года, ему уже шел двадцать третий год, и он решил не возвращаться домой. Хотелось увидеться с родителями и с тетей Терезой, но жизнь с ними вместе его не прельщала. Поэтому он направился сначала в Малую школу.

Как он и думал, Лекок все так же преподавал, но Огюста поразила его резкость. Учитель даже не поздоровался, а отрывисто спросил:

– Что вам надо?

Огюст и сам не знал, чего ищет здесь. Ушедшее детство? Захотелось поблагодарить Лекока, попросить прощения, попытаться объяснить. Детство давно миновало, а просить прощения он не мог. И ученики-совсем мальчишки. Неужели и он был таким же, когда поступил сюда? Лекок спросил:

– Что вы думаете тут найти?

Трудно ответить на этот вопрос. Лекок всегда был для него путеводной звездой. Огюст попытался объяснить, но Лекок его оборвал:

– И вы решили отблагодарить меня тем, что ушли в монастырь?

– Но я покинул его.

– Что ж, спасибо за это. Как мне вас благодарить?

– Простите меня, мэтр. Я думал, вы будете рады. – Огюст повернулся, чтобы уйти.

– Я радуюсь, когда мои ученики трудятся от души. А вы что сделали за последнее время?

Огюст было двинулся к учителю, потом остановился под его сердитым взглядом. И все же решился спросить:

– Можно работать у вас?

– Нет!

Огюст побледнел и прошептал:

– Я не хотел вас обидеть.

– А вы меня и не обидели. Вы больше не студент, и вам здесь не место.

– Мне нигде не место. Я не могу работать дома, а на мастерскую нет денег.

– Не разыгрывайте трагедий, никто не поверит. – Но заметив, что Огюст закрыл глаза, чтобы сдержать слезы, Лекок уже спокойнее добавил: – Мне очень жаль вашу сестру. Это была для вас большая потеря.

– Да.

Лекок подошел к своему столу, который, как и прежде, возвышался над всей комнатой, вытащил из ящика кипу рисунков и протянул Огюсту. Огюст с изумлением узнал свои рисунки, сделанные много лет назад, когда он только пришел к Лекоку. Теперь они казались такими ученическими, но Лекок сказал:

– У меня есть еще, но и этих достаточно, чтобы преподать вам урок.

– Урок? Какой урок?

– Когда вы впадете в отчаяние, посмотрите на эти рисунки, и вы поймете, как далеко вперед вы ушли.

– Недостаточно далеко.

– Огюст Роден, вы никогда не станете взрослым, – сказал вдруг Лекок с обычной ворчливостью. – У вас молодость, вы полны сил, и физических и моральных. Но вы это оцените, только когда их не будет.

– Можно работать у вас? Частным образом. Я буду делать все, что скажете.

Лекок хотел было опять взорваться, но униженность Огюста обезоруживала. Он так привязался к ученику, что не переставал думать о нем, хотя никогда в том не признавался даже самому себе. И вот теперь Огюст просит у него о помощи, которую он не способен ему оказать. Он внимательно посмотрел на Огюста. Молодой человек окреп, раздался в груди и плечах, возмужал. И все же в нем есть что-то мальчишеское, думал Лекок. В нем заложен огромный талант, пожалуй, никто из его учеников таким не обладал. Но сколько еще борьбы, мук потребуется, чтобы развить этот талант.

Огюст сказал:

– Я должен заниматься скульптурой. Это-то я по крайней мере понял.

– Мне нечему вас учить.

– Но, мэтр…

– Я ведь тоже когда-то был художником. И для меня мастерская была самым главным на свете. Ее двери открыты для моих друзей.

Огюст еле сдерживал слезы.

– Если меня нет дома, то ключ под ковриком. – Он заметил, что Огюст все еще не может оправиться от изумления, и пояснил: – Мне шестьдесят. – Словно это означал конец его жизни. – Я перестал выставлять свои работы. И если меня не признали до сих пор, то уж никогда больше не признают.

– Все признают вас, мэтр.

– Как педагога. По крайней мере теперь моя мастерская не будет пустовать.

– Не знаю, как и благодарить вас.

Лекок посмотрел на Огюста, словно тот сказал непристойность.

– Работайте, работайте, работайте, – закричал он, – пока не свалитесь с ног!

Огюст медленно вышел из здания Малой школы, прошел мимо статуй Геркулеса и Минервы, под латинской надписью над входом. Он прочел ее всего один раз, в тот день, когда поступил сюда, и теперь задумчиво повторил слова: «Utilitas – Firmitas». «Практичность – Надежность», как перевел Барнувен. Он до сих пор не мог полагаться на свое знание латыни. На этот раз мысль о Барнувене оставила его равнодушным. Отец Эймар был прав: время сглаживает все. Но в этих стенах он оставляет частицу жизни. Он крепче прижал к себе пачку рисунков, которые дал Лекок. Они теперь ни к чему ему, но дороги сердцу, как старые детские игрушки.

Вечером Огюст зашел к родителям и сообщил об уходе из монастыря и о том, что снял себе комнату.

Он чувствовал, что родителей огорчил этот его шаг, но дома он не мог больше оставаться. Слишком многое тут мучительно напоминало о Мари, да к тому же желание быть самостоятельным превозмогало все остальное… Были и другие причины.

Когда Огюст ушел, Папа закрыл все окна. Дул сильный северный ветер, огонь в кухне почти погас, и в доме вдруг стало очень холодно. Папа и Мама чувствовали себя одинокими. Им было трудно понять Огюста. Теперь все дети покинули родительский кров.

Часть вторая. Художники

Глава VIII

1

Следующие несколько месяцев кафе Гербуа[23] заменяло Огюсту дом. Комната на улице Эрмель была крошечной и мрачной, работа лепщика – серой и скучной, и ему не о чем было говорить с другими рабочими. Он пользовался теперь мастерской Лекока и вечерами по нескольку раз в неделю занимался у Бари, но, несмотря на это, чувствовал себя по-прежнему начинающим студентом.

А в кафе Гербуа он чувствовал себя художником. Оно находилось на широкой улице Батиньоль, от него пешком можно было добраться до его комнаты и до мастерских друзей. Это был захудалый рабочий район неподалеку от Монмартра, и здесь начали селиться многие художники. Квартиры тут были дешевыми, улицы живописными, почти что деревенскими, да это и была почти деревня, и на художников тут никто не обращал внимания. После года монастырского затворничества Огюста особенно привлекали дружеская обстановка и оживленные беседы в этом парижском кафе.

Кафе Гербуа было подлинно парижским. В теплую погоду столики выставляли наружу, под навес, для дождливых же, холодных дней в кафе был уютный просторный зал. Ярко горели газовые рожки, и художники располагались в одной половине зала, а рабочие – в другой. Массивная печка в центре одинаково хорошо обогревала и тех и других. Аперитивы стоили дешево, еда подавалась обильными порциями, а великодушие хозяина простиралось и дальше: тут можно было просидеть весь вечер, ничего не заказывая, и можно было высказывать любые мнения. Хозяин считал, что от разговоров вреда не будет ни художникам, ни их школам, ни тем более императору, даже такому псевдоимператору, каким был Наполеон III, а художники, особенно те, что поговорливее, привлекали сюда других художников, кое у кого водились деньги, и они их тут тратили.

Хозяин с первого взгляда понял, что от этих художников толку не жди. Вот, например, Фантен-Латур, самый шумливый из всех, одевается аккуратно, но сразу видно, практичностью не отличается. А этот Эдгар Дега. Никогда никого не склонить ему на свою сторону, даже, торговца картинами, слишком уж много гонора, и чего ему не сиделось в адвокатах? Надо отдать должное мосье Мане[24], – всегда платит за себя и обходителен, но уж

слишком обидчив. Самый младший из компании, Огюст Ренуар, был полной противоположностью мосье Мане, который по крайней мере был джентльменом. По разговору Ренуара не отличишь от простого рабочего, а на уме, видно, только одна забота: как бы просуществовать. А эти серьезные типы, Альфонс Легро и Жюль Далу, которые воображают, что будущее французского искусства покоится на их плечах, просто смешны. И вот теперь этот новичок Роден, молчаливый, все больше сидит неподвижно, как каменный, такой независимый, словно уж он-то мог позволить себе быть независимым. Господи, ну и глупцы, ведь ни один из них, ни один не мог позволить себе такой роскоши! Но дело прежде всего, напоминал себе хозяин, он-то не из глупцов. Пусть сидят хоть всю ночь напролет, только бы оставили здесь пару франков; иначе все равно угол будет пустовать.

Чаще всего художники собирались по вторникам и четвергам, как правило, хорошенько потрудившись за день. Огюст стал завсегдатаем кафе, он приходил сюда после долгого рабочего дня, но заказывал что-нибудь редко. Приходилось экономить. Ему нравились свет газовых рожков, запах табака, круглые мраморные столики, сосиски, вино и булочки. И что кафе было самым дешевым в округе и самым теплым – у себя в комнате он никогда не мог согреться – и то, что он мог держаться в тени или, наоборот, при желании вступить в разговор. Больше всего его привлекала сюда компания художников, все они были примерно его возраста, и жизнь их тоже не баловала, но каждый был полон надежд.

В тот промозглый темный зимний вечер на город падал мокрый снег, и улицы стали серыми от слякоти. Огюст запоздал, он долго добирался пешком. Когда вошел, кафе было полно, и Дега пришлось вплотную подвинуться к Фантен-Латуру, чтобы освободить для него место.

Длинное лицо Дега вытянулось еще сильнее, он поежился, словно даже соприкосновение с бархатным пиджаком было ему мучительно. Он разозлился и набросился на Огюста:

– Роден, ты не видишь, что для тебя нет места?

Заметив огорчение Огюста, Фантен сказал:

– Он не виноват, что опоздал. Он работает, зарабатывает на семью.

– А ты, конечно, рад стараться, чтобы оповестить об этом весь свет, – сказал Дега. – Прелестно. – Отвращение еще явственнее отразилось у него на лице.

– Если я вас стесняю… – Огюст приподнялся.

– Не выдумывай, – сказал Фантен и толкнул Родена обратно на место. – Дега не в духе. Салон его тоже отверг.

– Неправда, – вспыхнул Дега. – Я даже не предлагал своих работ.

– Сам знаешь, что хотел представить, – сказал Фантен. – А не представил потому, что боялся – отвергнут. А это то же самое.

Дега бросил на него пренебрежительный взгляд, но промолчал.

Легро недоверчиво спросил:

– Роден, а правда, что ты помогаешь родителям?

– Да, – подтвердил Огюст.

Это ужаснуло Легро. Сам он был из Бургундии, из-под Дижона, и был радехонек, что живет далеко от семьи, – никаких обязанностей. Он уже начал продавать свои работы, а вот Родену, ясно, не пробиться, семья будет вечно мешать. Легро спросил:

– А когда же успеваешь делать что-то для себя?

– Я и не успеваю, – ответил Огюст. Но он не мог не помогать семье, как ни тяжела была для него эта ноша. Папа работал теперь только половину дня. Мама часто болела, и они нуждались в поддержке.

– Неудивительно, что ты пошел в монахи, – сказал Легро. – Я бы тоже пошел, взвали на меня такую обузу.

– Почему ты решил пойти в монастырь? – спросил Далу.

Огюст ответил медленно и неохотно:

– Я был одинок. На распутье.

– И подумал, что со скульптурой покончено, – сочувственно подхватил Фантен, – и церковь разрешит все твои сомнения.

– Не разрешила! – с неожиданной горячностью воскликнул Огюст. – Я заучивал молитвы, хотел проникнуться братской любовью ко всему на свете, и ничего не вышло. Хотелось одного – лепить. А всех, кто мне препятствовал, я возненавидел. Это было неразумно, но во мне не было милосердия. Все остальные послушники казались мне неживыми, и все потому, что их не интересовала скульптура. Это они были еретиками, а не я. И тогда монастырь стал для меня тюрьмой, а не спасением.

– Это я понимаю, – сказал Ренуар. – Ненавижу всех, кто хочет помешать мне рисовать. Мне кажется, я возненавидел бы даже бога, попытайся он остановить меня.

Огюста поразила горячность Ренуара. Обычно Ренуар был спокойным и веселым. Огюст сказал:

– Нет, я не возненавидел бога, не я отверг его, а он меня. После я понял, что он не хотел, чтобы я ему служил.

– И очень расстроился, когда понял? – спросил Ренуар.

– Удивился, не расстроился, – ответил Огюст. – Я вдруг понял, что сам бог – великий скульптор, весь мир его мастерская и Микеланджело – его пророк. И я понял, что должен

руководствоваться этим чувством, чувством любви, а не ненависти.

– Ну и ну! – поразился Дега. – Прекрасно испытывать столь возвышенные чувства, но одними ими, к сожалению, не проживешь.

– Ходите в церковь, любите ближних, трудитесь в поте лица своего, – перечислял Далу. – Как ни печально, но Дега прав, все это – потеря времени. Вот женщины – это да. Ты что об этом думаешь, Роден? Мы что-то еще не видели тебя ни с одной.

Огюст всегда был скрытным, а теперь больше, чем когда-либо, предпочитал не обсуждать подобных вопросов. А Далу подначивал:

– Друг мой, ты что же это, не веришь в «ночь любви»?

Огюст только пожал плечами.

– Жаль-жаль, – сказал Далу. – Значит, не хочешь говорить. – Для Далу, который был единственным, кроме Огюста, скульптором в этой компании, молчание Огюста казалось трагическим: женщины были для него всем, и с этой его страстью могла поспорить только его жажда официального признания. – Из тебя никогда не выйдет толк.

Огюст подумал: «Кто знает? Может, талант – это тот же айсберг, который скрыт от чужих глаз». И пока Далу расписывал женщин, которых знал за последнее время, Огюст приглядывался к своим новым знакомым– Эдуарду Мане и Огюсту Ренуару-и старался в них разобраться.

Они были прямой противоположностью друг другу. Мане – самый старший из компании, ему уже тридцать один, Ренуару двадцать два – самый младший. Все в Париже, кто хоть сколько-нибудь разбирался в живописи, считали, что Мане – блестящий талант, что он может писать в любом стиле – в стиле Давида, Энгра, Делакруа, Курбе. Но никто не принимал всерьез Ренуара. Ренуар был всего-навсего студентом. Мане был на пороге признания, не сегодня – завтра, он был необычайно одаренным, привлекательным, элегантным, изысканным, состоятельным завсегдатаем бульваров. Мане уже создал не одно прекрасное полотно и тем не менее был несчастен: Салон пока не признавал его; но надежда не покидала его, хотя часто им и овладевала меланхолия.

А щуплый светловолосый Ренуар, при всем своем жалком виде, вечно в холоде и голоде, сын нищего портного, разве мог он тягаться с Дега и Мане, которые сменили по нескольку не пришедшихся им по вкусу профессий, этот самый Ренуар всегда был доволен жизнью, была бы кисть в руках. Он мог бы писать даже грязью, если в том возникла бы необходимость; он твердо

знал одно: жить без того, чтобы не писать, он не может.

Огюсту было легко с Ренуаром. Они происходили примерно из одной среды, и оба редко вступали в споры. А вот другие… Огюст улыбнулся про себя.

Фантен старался перекричать всех:

– Семеро отверженных. Прекрасно. Прекрасно. – Он склонился над списком отвергнутых Салоном. – Легро, Далу, Мане, Дега, Барнувен, Ренуар и я[25]. – Он весь сиял от удовольствия. – Значит, я был прав, когда говорил всем, что Салону нужны только слащавые подделки под искусство.

– И тем не менее, – прервал его Мане, – Салон пользуется авторитетом. Я бы выставлялся в Салоне, если бы приняли.

Ренуар подтвердил:

– И я. – Далу и Легро тоже согласились, но Дега не проявил интереса, и Огюст тоже помалкивал.

– Как бы там ни было, – сказал Фантен, – никого из нас они не выставляют.

– Что ж, дело привычное, – сказал Мане. – Меня отвергали и раньше.

– Но не имели права. Подумать только, тебя! – сказал Фантен. – Да ты на голову выше всех нас!

– Как ни странно, – отозвался Мане, – возможно, ты и прав. Что вы предлагаете?

– По-моему, дело не в том, выставляет ли нас Салон, – объявил Фантен. – Важно, чтобы мы где-то выставлялись, чтобы наши работы видели.

– Может, основать собственную Академию художеств? – сказал Дега.

– Это ни к чему, – сказал Фантен, – но ты бы хоть высказался, какие картины выставлять.

– Это бесполезно, – ответил Дега. – Мы не можем руководствоваться мнением художников. Художники не ставят друг друга ни во что.

Фантен спросил:

– Разве ты не хочешь, чтобы публика увидела твои картины?

– Не уверен, что хочу, – ответил Дега. – В живописи нельзя полагаться на случай. А при такой выставке все будет зависеть только от случая.

Фантен повернулся к молчавшему Огюсту:

– А ты что скажешь, Роден? Ты хочешь, чтобы тебя увидела публика?

– Да, – сказал Огюст, – когда у меня будет что-нибудь закончено.

– Закончено. – Ренуар пожал плечами. – У меня всегда есть

что-нибудь законченное. – Он сидел, облокотившись на мраморный столик, и, пока остальные спорили, рисовал что-то на старой газете.

Огюст пояснил:

– Но я хочу, когда закончу, быть действительно довольным работой.

– Господи! – воскликнул Дега. – Чего еще захотел! Да он сошел с ума!

– Ничего подобного. Я почти всегда недоволен своей работой, – ответил Огюст. – А стоит ли выставлять, если сам недоволен?

– А публика, – сказал Дега, – все равно только тогда и воздает должное художнику, когда он уже на том свете.

– Значит, выход у нас один – забиться в угол и молчать? – спросил Фантен.

Дега ответил:

– Что ж, ты лучше всех изучил Лувр. Должен бы уразуметь, что живопись – это не скачки с препятствиями.

Фантен покраснел, но, увидев, что все остальные напряженно ждут ответа, решительно заявил:

– Надо устроить собственную выставку.

– Самим? – Дега был потрясен. У него был такой вид, словно кто-то потребовал от него повторить подвиги Геркулеса.

– Да нет, не самим, – сказал Фантен. Теперь он обращался к остальным: – Но если мы поднимем какой следует шум, то может дойти и до Наполеона.

– До новоиспеченного императора, до этого нувориша? – издевался Дега.

– Я не собираюсь выступать в его защиту, но он наша единственная надежда, – крикнул Фантен.

– Единственная надежда, – повторил Дега. – Это наша выдающаяся личность, он превратил нашу империю в земной рай. Империю, которую породил революционный дух, это диктаторство, одобренное голосами народа, эту республиканскую монархию, как называет ее император, а можно называть и наоборот – монархическую республику, да только это ни то и ни другое. Это империя, преданная наполеоновскому духу, и наступит день, когда от нас потребуют отдать за нее жизнь. Но он, этот император, он-то согласен отдать за нас жизнь?

Все иронически улыбались: в этом они были единодушны.

Но Фантен отказался признать себя побежденным. Он вскочил и заявил:

– Тем более мы должны обратиться к Наполеону. Он в нас нуждается.

– Это не здравый смысл, а одни эмоции, – заметил Дега.

– Черт возьми! – воскликнул Фантен. – Да ведь это лучше, чем корчить из себя интеллектуалов, лучше, чем сдать позиции, ничего не предприняв! – Он передохнул и продолжал: – У меня есть план. Главное, чтобы люди увидели наши работы. А если мы будем протестовать достаточно громко, так что нас услышат наши друзья, влиятельные знакомые, газеты, то мы пристыдим Салон. Они вынуждены будут устроить нашу выставку. – Фантен воспламенялся все сильнее. Он говорил столь убедительно, что идея стала казаться реальной. Мысль о выставке, противоречащей всем академическим установкам Салона, захватила всех, даже Дега. Фантен продолжал:

– Нужно только упорство. Мы возьмем их измором. Мы расшевелим их. Равнодушие – вот наш главный враг. Мы разбудим Париж. В конце концов они увидят наши работы.

2

Ко всеобщему удивлению, их протесты были не только услышаны и приняты всерьез, но в апреле Наполеон III официально заявил: «Императору стало известно о многочисленных протестах в связи с тем, что жюри Салона отвергает различные художественные работы. В целях проверки обоснованности этих протестов Его величество решило выставить эти отвергнутые работы на суд публики во Дворце промышленности. Выставка откроется в мае».

Фантен объявил, что «Салон отверженных», как его стал называть весь Париж, как раз то, что им нужно, хотя многие относились к такой выставке весьма иронически, и он убедил Мане, Легро, Далу и Барнувена выставить свои работы вместе с ним. Дега в последний момент отказался; а у Ренуара, к его сожалению, не было ничего готового, так как он вдруг переменил манеру, в которой прежде работал.

Огюст, узнав, что «Салон отверженных» – официальное мероприятие, решил подготовить бюст-это было быстрее всего и легче. У него по-прежнему не было мастерской и денег на материал, и он не мог позволить себе нанять натурщика, а до представления работы оставалось всего несколько недель. Но мысль о возможности сделать бюст, чтобы показать его публике, пусть даже в таком ненадежном и несерьезном месте, как «Салон отверженных», вселила в него новые надежды и придала сил.

Огюст искал человека с красивым характерным лицом, с внушительной осанкой отца Эймара – хотелось поразить светский Париж, но пришлось остановиться на единственной доступной

модели, а она была очень трудной.

Биби был бродягой, который время от времени забредал в мастерскую Лекока попросить поесть и спал внизу во дворе, когда не было дождя. Биби всегда был под рукой, он согласился позировать за тарелку супа и стакан вина. Огюсту совсем не хотелось лепить этого опустившегося мужика, но это была единственная модель ему по карману[26].

Сначала Биби, со своим сломанным расплющенным носом, занимавшим чуть не все лицо, слезящимися глазами, грязной седой бородой, чертами, изуродованными нищетой, страданиями и старостью, внушал Огюсту одно отвращение, и он никак не мог по-настоящему приняться за работу. Но когда были сделаны десятки набросков, лицо Биби начало оживать – Огюст не раз видел таких Биби на улицах, где вырос. А когда дошло до лепки, он увлекся по-настоящему. И чем дальше, тем неотступней преследовало его лицо Биби; ему казалось, что Биби послан ему самой судьбой.

«Какая выразительность, – думал он, – в крупной голове этого бродяги, а в лице – словно вся человеческая жизнь». Сломанный нос особенно привлекал. Чтобы ощутить форму носа, он сдавливал его, не обращая внимания на вопли Биби. Никогда прежде не касался он такого сломанного носа. Был ли и у Микеланджело такой же?

Он работал по вечерам, забыв обо всем, только работой и жил. Глина была его стихией. Она была такая мягкая и податливая, но бюст оставался холодной и неодушевленной глыбой.

Оставалась всего неделя до представления работ в «Салон отверженных», а он был недоволен бюстом больше, чем когда начинал. Он не мог показать эту голову никому; он сам не мог на нее смотреть.

И вот в тот вечер, когда Биби был ему особенно нужен, бродяга исчез. Никто не знал, куда девался Биби, а Огюст не мог работать по памяти, боясь фальши и сентиментальности.

Но все же сделал попытку, хотя знал, что выбрал неверный путь.

Когда через несколько дней совершенно пьяный Биби ввалился в мастерскую и потребовал еще вина, Огюст понял, что его сомнения были оправданными. Лицо Биби – сама необузданность, а в скульптуре не было и намека на это. Огюст уничтожил все, кроме подбородка, подбородок был почти таким, как надо.

Он усадил Биби в углу, у стены, подпер его мольбертом, но Биби сползал на пол. Он дал Биби вина, которое отливал в

маленькую бутылку, когда бывал в кафе, в расчете на такие случаи. Биби жадно выпил, ожил, выпрямился.

«Его хватит всего на несколько минут», – подумал Огюст и торопливо принялся лепить. Он нажал костяшками пальцев на переносицу Биби. Но вконец упившийся Биби не испытывал боли и сидел неподвижно. Огюст буквально физически почувствовал под рукой и кровеносные сосуды, и сломанную переносицу, и расплющенную плоть. «Хрящ должен быть мягким, но упругим», – прошептал он про себя. Пройдут недели, а может быть, и месяцы, прежде чем он сможет передать фактуру кожи, изгиб носа, выпуклость век. Сколько неизведанного таится в человеческом лице! Он должен уподобиться анатому. Огюст глубоко вздохнул и опять взялся за работу, но Биби снова сполз на пол, стало ясно, что сегодня уже не добиться от него толку.

Закончился прием работ для «Салона отверженных», а Огюст все еще возился с бюстом и так и не представил работу. Он терзался сомнениями о том, стоит ли вообще заканчивать этот портрет, и, хотя знал, что лучше не показывать его незаконченным никому, все же попросил Лекока взглянуть.

Лекок твердо соблюдал основной закон ваяния: не смотреть незаконченную вещь. Ни разу не заглянул он под мокрую тряпку, которая прикрывала голову между сеансами. Ему было любопытно, и тем не менее просьба Родена его удивила: Роден был не из тех, кто напрасно растрачивает чужое время. Лекок сказал:

– Голова не закончена.

– Знаю-знаю. Но стоит ли продолжать?

– Вы, наверное, никогда ее не продадите. Он очень уродлив.

– Но он такой и есть.

– Таким вы его видите. Боже мой, ну и урод! У Огюста сжалось сердце, и он готов был разбить голову на тысячу кусков, но Лекок остановил.

– Постойте!

– А что?

– Я хочу посмотреть на него еще раз. – Лекок внимательно осмотрел бюст и заметил: – Вы явно отошли от академических образцов.

– А как отнесется к этому Салон?

– С Салоном у вас тоже будут нелады, как и со Школой изящных искусств. Для вас это имеет значение?

Огюст смутился.

– В мире и так слишком много красивости, и красивости ложной. – Лекок прикоснулся к лицу Биби, пораженный грубым реализмом бюста. – Закончите его, если сможете.

– Вы думаете, что я не смогу?

– Не знаю, – сказал Лекок. – Модель очень трудная.

Огюст изучал голову. Нос выглядел эффектно, но не определял характера всего лица. Сколько он ни раздумывал над этим носом, но решение пока не было найдено.

– Вам нужна была не моя критика, – сказал Лекок, – а мое одобрение.

Огюст ответил:

– Я не уверен в себе.

– Это естественно. Вы из тех, кто вечно не уверен в себе, потому что всегда не удовлетворен своей работой. Вы и рады бы успокоиться, да что-то внутри не дает. А вам не кажется, что нос должен быть совсем без переносицы?

– Без переносицы? – Может быть, это и есть выход. – Я попробую.

– Не сомневаюсь, что вы не отступите. Будете искать, пока не отыщете верный путь. – Лекок улыбнулся. – И тогда пойдете им до конца.

Огюст с новой энергией принялся за работу. Он понял, что главное – не отступать, и примирился с тем, что не попадет в «Салон отверженных».

3

Французская поговорка гласит: «Только в Школе изящных искусств и есть настоящее искусство». Поэтому публика с самого начала с пренебрежением отнеслась к «Салону отверженных»[27]

В день открытия Огюст отправился в галерею отвергнутых Салоном и, когда услышал взрывы хохота, решил, что это полный провал. Он готов был бежать оттуда, хотя там и не было его работ, но остался. Дега схватил его за руку со словами «хорошо, что мы не выставлялись» и потянул к картине, которая вызывала наибольшие насмешки.

Огюст раздумывал: «С кем же тогда Дега?» Это была картина Мане «Завтрак на траве». Два хорошо одетых художника сидели на земле рядом с обнаженной женщиной, что и было причиной сенсации. На заднем плане – еще одна женская фигура; женщина была одета, но явно готовилась к купанию. Но именно соседство обнаженной женщины и двух одетых мужчин потрясало публику и вызывало насмешки и крики «Позор!».

Огюсту показалось маловероятным, чтобы два столь элегантных джентльмена сидели бы на траве рядом с обнаженной женщиной, пусть даже и такой привлекательной. Правда, у Мане она была действительно очаровательной, трепетно живой, и уж

никак нельзя было назвать ее неприличной, как утверждали разъяренные зрители.

Дега рассердило, что картина так неудачно повешена:

– Слишком высоко, свет плохой, и окружение неподходящее. Явно месть со стороны жюри Салона. Даже дворник проявил бы больше вкуса.

– Мне нравится обнаженная, – сказал Огюст. – Она сама по себе уже целая картина.

– Я бы написал ее в более глубоких розовых тонах, – ответил Дега. – Но почему все так шокированы? Джорджоне сочетал обнаженную натуру с одетыми джентльменами триста пятьдесят лет тому назад, и тогда ее сочли шедевром.

Огюст сказал:

– Я предпочитаю Мане. У него обнаженная натура более проста и индивидуальна.

– Да, Мане умеет писать, – согласился Дега. – Беда только, что талант его столь многообразен, что он до сих пор не избрал для себя определенной манеры.

– Пожалуй, слишком много черного, как у Курбе, – сказал Огюст, движимый внезапным желанием показать, что и он умеет быть критичным и в то же время сохранять объективность. – Но композиция отличная, и замысел прекрасный. И мне нравится обнаженная.

Дега сказал:

– Подожди, пока сам станешь лепить обнаженное женское тело. Вот увидишь, кончишь тем, что будешь лепить его более изысканным, чем в жизни. Этакие классические Венеры в стиле Кабанеля[28]. А вот мне это не грозит.

– Мне и того меньше, – сказал Огюст.

К ним приближался Барнувен. В модном жилете, узких панталонах и перчатках канареечного цвета он выглядел франтом, словно решил затмить картины.

Огюст сдержанно поздоровался. Барнувен начал было объясняться насчет Мари:

– Меня глубоко потрясла весть о ее смерти. Я очень дорожил…

Огюст оборвал его:

– Тебе нравится эта картина? Барнувен ответил:

– На выставке только о ней и говорят. Это несправедливо. Тут есть и куда лучше.

– Ты имеешь в виду свои? – спросил Дега.

– А ты хочешь, чтобы я сказал, что твои? Дега развеселился:

– Барнувен, да ты, оказывается, тщеславен.

– По крайней мере я не побоялся выставить свои картины, –

вспыхнул Барнувен.

– Верно, – кивнул Дега. – Да разве мог бы я соперничать с твоими работами, они у тебя такие сладенькие, гладкие, очаровательные, что от них тошнит.

Огюст думал, что дойдет до драки или по крайней мере будет назначена дуэль, потому что оба противника были столь аристократичны, что не унизились бы до рукоприкладства. Но Барнувен расхохотался и сказал:

– А ты, Дега, специалист. Ты подражаешь Энгру со старанием, достойным лучшего применения.

Но Дега уже повернулся к Барнувену спиной. К ним шел Фантен-Латур, а с ним – красный и раздраженный Мане и усмехающийся Ренуар. Ренуар наслаждался поднятым шумом, а у Мане сжимались кулаки. Толпа перед картиной растаяла, словно почуяв, что это и есть автор.

Чтобы успокоить Мане, Фантен сказал:

– Дега нравится картина и Родену тоже. Правда? – обратился он к ним, когда они задержались с ответом.

Мане с горечью ответил за них: – Рады, что меня поносят.

– Чепуха, – отозвался Фантен. – Курбе поносят, и Делакруа тоже, а им хоть бы что.

Дега сказал:

– Мне кое-что не нравится в картине, но в общем ты добился прекрасных результатов. Этот контраст темного фона и обнаженного тела придал ему особую сияющую белизну.

– И она живая, – добавил Огюст. – Совсем живая.

– Ну, доволен? – спросил несколько успокоенный Фантен.

– Нет! – крикнул Мане. – Зачем только ты, Фантен, уговорил меня тут выставляться! Я погиб.

– Да не погиб, а просто о тебе говорят, – сказал Фантен.

– А выставят меня на следующий год или вообще когда-нибудь?

– Ты невыносим, – сказал Дега. – Хочешь, чтобы все было по-твоему, да еще чтобы тебя же и хвалили. Так не бывает. Публика безжалостна. Все они подлецы.

– А Салон, – сказал Фантен, – есть Салон.

– И тем не менее в нем живые истоки французского искусства, – воскликнул Мане, – и без них мы пропали!

– Постараешься угодить им в следующем году? – спросил Дега.

Мане пожал плечами: почему над ним так измываются? Ведь он хотел только одного, чтобы Салон его признал. Салон был его миром, он родился и вырос здесь, рядом, на бульварах, этот мир ему близок и понятен, не то что большинству его друзей. Но и с

ним самим творилось что-то неладное. Под броней элегантности скрывалось заветное «я», которое требовало собственного языка. И не просто ради правдивости-он презирал правдивость, он считал, что из-за нее художники путали категории морали и качества, но он больше не мог только развлекать и очаровывать. В нем словно жили два разных человека и вели борьбу. И не изображать того, что он действительно видел и чувствовал, было для него мукой.

Дега посоветовал:

– Может быть, тебе не стоит выставляться в следующем году.

– Нет! – воскликнул Мане. Им не понять его. – Я буду участвовать в следующем году, всегда, когда у меня будет что-то достойное для показа.

– Тогда чего ж ты так переживаешь? – спросил Дега с неожиданной горячностью. – Какова бы ни была слава, от нее не скроешься, – добавил он таким тоном, будто именно такой славы он и хотел избегнуть. – К тому же, мы ведь для тебя не трибунал. Мне, например, нравится, как ты пишешь. Иногда, когда тебя нет поблизости, я говорю нашим общим друзьям: «Ну и талант у этого Мане!» Но что толку? Эль Греко, к примеру, считал, что Микеланджело не умеет писать. Твой идол Веласкес пренебрежительно отзывался о Рафаэле, а ты Рафаэлю поклоняешься, подражаешь. Значит, какие из нас судьи? Мы не можем судить без предубеждения. А может, у нас мало веры в себя? – вздохнул Дега, – Мы лихорадочно ищем совершенства, которого никогда не обретем. Если когда-нибудь тебе надоест эта картина, отдай ее мне. Но, – прибавил он, не в силах побороть сарказма, – я все же внесу в нее кое-какие поправки.

Все молчали, пораженные тем, как верно Дега высказал их мысли. Огюсту вдруг почудилось, что крыша галереи давит его; наступит ли наконец время, когда он сам будет распоряжаться своими работами, независимо от Института[29] и Салона или от кого-нибудь еще? Дега прав: кто может быть судьей, когда большинство произведений искусства – это воплощение души и веры художника? Рядом с картиной Мане было столько посредственных и традиционных работ, но она одна мгновенно привлекала внимание своими чистыми тонами, серебристым светом, великолепной композицией. Никому не отнять этого у Мане, и все же его друг чувствовал себя несчастным.

Они постояли молча еще минуту, и Мане сказал:

– Возможно, ты и прав, Дега, только тяжело сносить все эти оскорбления.

Фантен сказал веселым тоном:

– Скоро оскорбления сменятся восторгами. Такими

картинами, как твоя, мы разрушим Салон.

– А я не хочу разрушать Салон! – закричал Мане. – Я хочу выставляться там, где меня увидит как можно больше народа!

– Ты прав, – подтвердил Ренуар, не проронивший до этого ни слова. – Я бы не стал терзаться из-за брани, главное для меня – продать картины. – Ренуар, редко кому завидовавший, завидовал Дега и Мане, которые могли прожить и без покупателей. – Оглянитесь-ка вокруг! Где вы еще заставите покупателя просмотреть пятьсот картин? Значит, надо выставляться в Салоне.

Мане изумился:

– Неужели их тут столько?

– В Париже хватит плохих картин, друг мой, – ответил Дега и прибавил:– И сколько угодно ужасных скульпторов, – при этом он бросил лукавый взгляд на Родена.

Огюст вдруг решительно заявил:

– Ренуар прав. Мы должны выставляться в Салоне, нравится нам это или нет.

– А я прав, что нам плевать на то, как к нам относятся, – сказал Дега.

– И прав и не прав, – ответил Огюст. – Я не стану навязывать другим свои взгляды. Но пусть их уважают. – Огюст твердо сжал губы. – Мы все говорим да говорим. В этом есть смысл, но в работе его куда больше.

– Браво! – воскликнул Дега. – Оказывается, среди нас есть поденщики.

Огюст заметил:

– А ты говоришь с такой злостью, будто всю ночь промучился от поноса.

Даже Мане не мог удержаться от улыбки: плохой желудок Дега был предметом вечных шуток. Огюст продолжал:

– Одно я хорошо усвоил. Наша работа – это наша жизнь, и мы должны оставить в мире свой след, даже если мир и не подозревает о нашем существовании.

– Как бы там ни было, – страдальчески воскликнул Мане, – нашу выставку могут закрыть из-за всего этого шума.

Но остальные считали «Салон отверженных» удачей. Им надо было убедить себя в этом, чтобы продолжать работу.

Дега ушел с Мане, Фантен – с Барнувеном, Огюст – с Ренуаром.

Огюст и Ренуар пошли пешком по Елисейским полям, к Триумфальной арке. Они могли позволить себе лишь самую дешевую бутылку вина на двоих и не хотели возвращаться сейчас в свои нищенские комнаты. Сегодня они чувствовали себя победителями, на равной ноге с покорителем народов

Наполеоном, ведь они тоже хотели покорить этот город, Париж.

4

Его величество император Наполеон III не закрыл выставку, как того опасалась компания в кафе Гер-буа, но, посетив «Салон отверженных», объявил художественный уровень выставки скандально низким; вульгарным, неприличным и оскорбительным. Причиной этих его обличений была в первую очередь картина Мане, Большинство художников, участвовавших в «Салоне отверженных», заявило, что впредь будут выставляться только здесь. Наполеон III, который был широко известен непостоянством своих мнений, по-прежнему гордился «Салоном отверженных» – этим актом собственного великодушия. Но он считал, что никогда не мешает проявить твердость, и он проявил ее, заклеймив художников. Он дал разрешение открыть Салон, уверенный, что его сочтут великим и справедливым властителем, а на него посыпались упреки. Его величество сокрушалось по поводу изменчивости человеческой натуры. Стоит ли тогда вообще поощрять искусство?

5

Следующие несколько месяцев Огюст был особенно занят; он работал лепщиком, подрабатывал столярными заказами, чтобы поддержать себя, помочь семье, закупить глину и изредка угостить Биби бутылкой вина. Он лепил урывками, когда выпадала свободная минута. А это бывало вечером, когда он падал с ног от усталости.

Ваяние, каким он теперь его мыслил, требовало огромного физического напряжения, и он чувствовал, что необходимо лепить ежедневно. Иначе его умение, техника, энергия пойдут на убыль, но у него не было возможности лепить каждый день. Биби совсем отбился от рук, он редко в нужный момент оказывался на месте. Часто ночью, когда Огюст пытался работать по памяти, сон одолевал его, усталость валила с ног, и он решал прилечь отдохнуть минутку, но тут же засыпал до утра мертвым сном не раздеваясь. По утрам он был полон энергии и желания взяться за дело, но приходилось спешить на работу, которую он ненавидел.

В моменты передышки его постоянные раздумья и размышления о Биби порождали новые идеи. Теперь им целиком завладела мысль, что голова Биби должна в какой-то степени олицетворять Микеланд-жело. Он изучил все портреты Микеланджело в старости. У Биби была более крупная голова, что

смешило Огюста, но выражение лица у обоих было одинаковым: страдания, старость и тяжелый труд наложили на них печать. И чем больше проникался он новой идеей, тем ближе становился ему Микеланджело. Он прочел несколько биографий флорентийца, включая и Вазари, рассматривал скульптуры Микеланджело в Лувре и в Люксембургском саду. Он не мог почерпнуть ничего нового в скульптурах готического периода, не помогли ему ничем и строгие римские профили и плавные линии греков. Он вынужден был отказаться почти от всего, чему научился в студиях, музеях, соборах и библиотеках. Нигде, ни у одного скульптора не встречал он прежде такого лица.

Нос определял характерность всего лица. Изуродованное лицо, олицетворение страдания. Черты, смятые жизненным ураганом. Лоб в морщинах, растрепанная борода, жалкое подобие носа.

Наконец он увидел, что самое главное удалось. Он не пошел на работу, хотя хозяин мог его рассчитать. Он заставил Биби позировать четыре часа подряд – вещь для Биби неслыханная. Он работал сорок восемь часов без отдыха. И вот – закончил. В «Человека со сломанным носом» он вложил всю душу.

Огюст чувствовал себя опустошенным, измученным; глаза потухли, он еле шевелил губами.

Никто не захочет купить бюст, думал он, но необходимо выставить его в Салоне. Целый год работал он над Биби. Это слишком долгий срок. Теперь бы найти модель получше. Такую, на которую всегда можно рассчитывать. Он вырезал на основании бюста, первой подписной вещи, имя «О. Роден».

Глава IX

1

«Человек со сломанным носом» был отвергнут Салоном 1864 года из-за гротескности. Удар был тяжелым. Это был первый бюст, которым он остался доволен, и он решил больше не делать бюстов.

Как-то раз, когда Огюст занимался лепкой орнамента на фасаде театра мануфактуры Гобеленов, на авеню Гобеленов, уделяя особое внимание кариатидам и лиственному орнаменту, – он надеялся, что они не будут служить одной только цели декоративного украшательства, хотя архитектор был ярым поклонником завитушек и замысловатости, мечтая затмить славу Бернини, – Огюст обратил внимание па проходившую мимо привлекательную девушку. Стояло чудесное весеннее утро, когда Париж особенно красив. Огюст отвлекся от работы и загляделся на незнакомку. Она была непохожа на француженку – француженки были невысокие, с болезненным цветом лица. Девушка была высокая, розовощекая и очень чистенькая. Ему понравилась ее непринужденная, свободная походка. На ней было темно-синее платье и шляпка, и Огюст понял, что она простая работница, но держалась девушка с достоинством. В ней не было приниженности прислуги. Какая у нее удивительная осанка, и как прямо и гордо держит она голову! Вот бы вылепить ее!

– Мадемуазель, – обратился он к ней, когда девушка поравнялась с ним, – вы мне позволите… – И запнулся, не зная, как лучше выразить свою мысль.

Она приостановилась. Мольба, прозвучавшая в его голосе, была совсем не похожа на обычные заигрывания.

Огюст торопливо добавил:

– Мадемуазель, какая у вас чудесная походка! Это другое дело, подумала она, походкой она гордилась. Девушка с достоинством ответила:

– Я из Лотарингии, Жанна д'Арк[30] была оттуда родом. – Вдруг в ней заговорила подозрительность крестьянки: – А вам что до моей походки?

– Я художник. – Он показал на фигуры, которые лепил. Надо надеяться, она догадается, что не он их автор. – Понимаете?

– Художник? Непохожи. – На нем была синяя блуза рабочего и мешковатые штаны, и он, скорее, походил на поденщика.

– Я скульптор.

– О! – Она уставилась на него, как на диковинку. Скульптора она в жизни не видела. – У вас ведь интересная жизнь, верно?

– Пожалуй. А вы чем занимаетесь?

– Швея. Но со временем буду модисткой на улице Ришелье. Я хорошо шью.

Он вздохнул:

– Это замечательно.

– Что замечательно? Что я умею шить?

Он думал о ее фигуре. Одежда не могла скрыть, что сложена она, как Венера, пышногрудая крестьянская Венера.

Она решила, что он потешается над ней, и двинулась дальше. Но он бросился за девушкой, преградил путь. Какой настойчивый и смелый, подумала она, и какая у него мускулистая грудь и широкие плечи, этакий молодой бычок, хоть и не выше ее ростом. И еще ей понравились его резкие орлиные черты лица, высокие скулы, пронизывающий взгляд серо-голубых глаз, густые длинные рыжеватые волосы, выразительный нос, несколько тяжелый подбородок чем-то напомнил ей скалу, на которую она мечтала взобраться в детстве, но побоялась. Вот это мужчина, смущенно подумала она, и надеялась, что бог простит ей такие грешные мысли.

– Что вам надо? – спросила она.

– Мадемуазель, вы не согласились бы мне позировать?

– Позировать? Как?

– Да вот как вы есть сейчас. Я хочу вылепить вашу голову. – Он вдруг уверился, что она девушка. Но как сказать ей, что он не сможет заплатить? – А потом мы выпьем кофе с булочками или, если хотите, вина.

– Где?

– В моей мастерской, на набережной Вольтер. – Как он и надеялся, это произвело должное впечатление, и он прибавил: – Только голову. У вас очень красивая голова. – Теперь, стоя лицом к лицу с ней, он проверял свое первое впечатление. Длинный тонкий нос, округлые скулы, твердый подбородок, большие карие глаза, которые сияли, когда она говорила, густые темные шелковистые волосы, заплетенные в длинную косу. Он представил себе, как она бежит через поле или переходит вброд деревенский ручей. – Вам нравится набережная Вольтер?

– Это приличный район.

– Я могу прийти за вами после работы. Если хотите, мы можем сначала пообедать.

Будь на его месте другой, она бы просто ушла. Она была добропорядочной деревенской девушкой и приехала в Париж всего несколько месяцев назад, но он заинтересовал ее, как никто

другой, к тому же не важничал, как большинство парижан, в нем чувствовалась застенчивость, от которой он явно выигрывал.

Он спросил:

– Когда за вами зайти?

– Нет, ни в коем случае! – Так можно лишиться работы. – Ждите меня здесь.

– В семь?

– В восемь. – Господи, ведь ей понадобится целый час, чтобы вернуться к себе, в комнату на улице Жанны д'Арк, неподалеку отсюда, и привести себя в порядок.

– Как ваше имя?

– Мари Роза Бере, но все зовут просто Розой.

– Я тоже предпочитаю Розу, – решительно сказал он. – Меня зовут Огюст Роден. Я буду ждать вас здесь.

2

Огюст пришел вовремя, но когда Роза не появилась в восемь, он решил, что она не придет. А когда она все-таки пришла через полчаса, повел ее прямо в мастерскую. Розе очень хотелось есть, она сильно проголодалась и к тому же была недовольна, что Огюст и словом не похвалил ее наряд. Он стал нетерпеливым и властным, схватил ее под руку и так решительно повел на набережную Вольтер в мастерскую, что она не могла сопротивляться.

Мастерская находилась в красивом старинном каменном доме, и из окон Роза увидела Сену и Нотр-Дам. Но у нее не было времени полюбоваться видом; Огюст немедленно затопил печь, зажег газовую лампу и велел ей сесть.

Розу поразили беспорядок в мастерской и грязь. Только одно место было чистым и прибранным – где он работал. Во всей просторной мастерской находилась всего одна скульптура – она стояла в углу– голова старого отвратительного бродяги, такая отвратительная, что Роза невольно вздрогнула; все остальное место занимали мольберты, краски, станки для модели, палитры, кисти, картины. Ее обеспокоило отсутствие скульптур. Она почувствовала себя обманутой, стремительно поднялась и воскликнула:

– Это не ваша мастерская!

– Я ею пользуюсь. – Он заставил ее снова сесть.

– Я не могу оставаться. Вы меня обманули.

– Нет, не обманул. Лекок разрешает мне пользоваться этой студией, когда хочу.

– Кто это Лекок?

– Художник, только он больше не пишет.

– Почему?

Неужели она не может посидеть спокойно!

– Он преподает. Говорит, что слишком трудно продать свою работу.

– Он известный?

– Да-да! Послушайте, не могли бы вы посидеть спокойно?

– А вы почему не бросите это дело? Говорите, он известный, а все равно ничего не может продать.

– Из вас не выйдет хорошая натурщица, – набросился он на нее с внезапным раздражением.

– Я хочу есть.

– Прекрасно. Это придаст особую выразительность вашему лицу. Пообедаете потом с большим аппетитом.

Прежде всего надо было выяснить, годится ли Роза в натурщицы. Но ей не сиделось на месте, и он предложил ей вина и кусок плохо пропеченного хлеба, оставшиеся от Биби, которые держал на всякий случай.

Роза взглянула на вино, но наотрез отказалась от хлеба. Тут он стал расспрашивать о воскресных прогулках ее семьи и, притворяясь, что слушает внимательно, делал один набросок за другим; девушка постепенно стала осваиваться. Разговор о семейных трапезах, воспоминания детства-у него их явно тоже было немало, потому что время от времени он вставлял несколько слов о семейных пикниках Роденов, – примирили ее с окружающей обстановкой. Теперь она держалась со спокойным достоинством, чем-то напоминая Мари.

Огюсту стало вдруг совестно. Нельзя же так резко. Он постарался усадить ее поудобней, подсунул за спину подушку. Сказал, что она хорошенькая и очень напоминает Жанну д'Арк.

Дело пошло на лад. Роза перестала бояться и держалась непринужденно. Потом он повел ее обедать. Было уже совсем поздно. Он ел мало, и она из приличия тоже, хотя была очень голодна. Потом Огюст смутился, что она заказала так мало, и все же был благодарен ей, что она помнила о его тощем кошельке.

3

Следующие несколько недель она регулярно позировала ему. В их отношениях не было и намека на ухаживание. Они не могли найти общего языка в перерывах, когда она отдыхала. Но Огюст был доволен, что постепенно Роза вырабатывала в себе дисциплину и выдержку.

Поэтому он испугался, когда как-то вечером Роза сказала, что

больше не станет позировать. Как быть с этой девушкой? Она обманула его. Правда, он только что вышел из себя, потому что она пошевелилась, но она должна его понять и более серьезно относиться к делу, ведь он почти схватил выражение ее губ. И вот теперь он чувствовал себя грубияном. Но если он хочет, чтобы бюст получился, тут не до церемоний. Хоть бы она села! Когда Роза позировала как положено, все шло отлично.

Огюст пришел в отчаяние, увидев, что она направляется к двери. С ней одни только хлопоты, пусть уж уходит. Ну, а дальше что? И он пробормотал:

– Простите меня. – Роза остановилась, но не вернулась на место, и он поспешно добавил: – Прошу вас, мой дорогой друг.

Роза понимала, что это только вынужденная уступка, но была довольна, хотя по-прежнему несколько обеспокоена. Удивительно, что у него в мыслях только бюст, а не она сама. И как она ни расхваливала его работу, ответ всегда был одинаков:

– Кое-что еще надо доработать.

Однажды вечером, не в силах больше выносить его равнодушие, Роза предложила:

– Огюст, вам надо отдохнуть. Вы говорили, что любите пикники. Почему бы нам не поехать в воскресенье на пикник, а если будет тепло, то и искупаться?

Он посмотрел на нее, словно она не в своем уме, и сказал:

– Я не умею плавать.

– Почему? – В деревне все умели плавать.

– Разве у бедняков есть время плавать? – спросил он угрюмо.

– И все же я хочу отдохнуть в это воскресенье. – Он должен хоть раз отнестись к ней, как к женщине, иначе она больше этого не вынесет.

– Мы поедем на пикник, когда я закончу.

– Вы никогда не закончите.

– Нет, скоро закончу.

– Никогда вы не закончите, – простонала она и расплакалась.

– Ну как вы не понимаете, что в законченном виде вы будете выглядеть королевой?

– Нет, не буду, – сквозь слезы пробормотала Роза. – Я швея и швеей останусь.

– Роза, милая, да посмотрите на голову. Она почти закончена.

Это были первые ласковые слова, которые она услыхала от Огюста. Кончиками пальцев он стер ее слезы, сильные пальцы с нежностью касались ее щек, она и не подозревала, что он может быть таким нежным.

– Я вам нравлюсь, Огюст?

– Да-да, конечно, нравитесь. – Внезапно ему захотелось ее

поцеловать. Но он не мог разобраться в своих чувствах к этой девушке. Он не влюблен в нее, и все же, когда ее нет рядом, он испытывает одиночество. Роза ждет от него ласки – это ясно.

У нее такое прекрасное тело, прекраснее он еще не видел, его не скрывали даже строгие платья, которые она носила, но если он решится на большее, она подчинит его себе. Для нее страсть и любовь одно и то же.

– Огюст, мы пойдем куда-нибудь в воскресенье?

– Да. – Он решил, что расстанется с ней, как только закончит голову.

4

В следующее воскресенье Огюст повел Розу в Люксембургский сад. Она была довольна, хотя предпочла бы Фонтенбло или Версаль, где никогда не бывала, но он настаивал именно на Люксембургском саде. Сказал, что хочет показать ей парковую скульптуру, самую лучшую в Париже. Ему не хотелось уходить далеко от мастерской: вдруг вздумается поработать. Но Розе было достаточно и того, что Огюст видит в ней женщину, а не только натурщицу.

Она старалась быть веселой. Стоял чудесный июньский день, небо было чистым, ярко-синим. Самое подходящее небо для художника, говорил Огюст. Теплое, но не жаркое солнце располагало к медленной прогулке. Розе нравился Люксембургский сад, такой спокойный и тихий. Она восхищалась величавыми вязами, крепкими развесистыми каштанами, аккуратными дорожками и клумбами. Все тут напоминало о любви. И парочки, которые сидели на скамейках, прижавшись друг к другу, и нежная грусть тех, кто был в одиночестве, и многочисленные матери и няньки с детьми.

Он отказался сесть и насладиться всем этим очарованием. Ему хотелось показать ей все до единой скульптуры в этом обширном саду, а ей казалось, что здесь их тысячи: Нептуны, Дианы, французские королевы, поэты, художники. Он восхищался фонтаном Медичи, а она зевала. Никогда не слыхала Роза о Марии Медичи[31], для которой был построен Люксембургский дворец.

Сколько тут всякой ерунды, думала она, но разумно молчала.

В конце концов ее веселость растаяла. Он рассказывал ей о Парфеноне, о том, что когда-нибудь он его увидит, а она не понимала, о чем это он говорит. Они остановились перед клумбой лилий, и тут Роза сделала отчаянную попытку вернуться к предметам, понятным ей:

– А ваши родители живы? Вы никогда о них не говорите.

– А что говорить?

– Разве вы их не любите? Я своих люблю, – Розе только что исполнился двадцать один год, и она очень скучала по родителям и по родной Лотарингии.

– Люблю ли я их? – Огюст пожал плечами. Он указал на статую Венеры поблизости. – Правда, она прекрасна?

Роза угадала, что обнаженная мраморная фигура пробуждает в нем какие-то сильные чувства. Но если бы она призналась, что от бесстыдства фигуры ей не по себе, его бы это оскорбило. Ей захотелось очутиться где-нибудь на улице Риволи или на Елисейских полях, где нет голых фигур и где она не стала бы стыдиться своего невежества.

Он сердито спросил:

– Вам не нравятся скульптуры?

Солнце сияло вовсю, согревая ее, а ей было холодно. Она попыталась сделать ответный шаг:

– А вашему отцу они нравятся? Он расхохотался:

– Папе нравится, когда я зарабатываю франки.

– Разве он не гордится тем, что вы скульптор?

– Гордится? Он считает себя самым моим советчиком. Говорит, что я никогда и франка не заработаю, если стану скульптором.

– А мама?

– Мама? Мама в трауре, живет одними молитвами. Для нее не существует ничего, кроме гипсовых мадонн. – Он с раздражением отшвыривал камешки носком башмака.

– Но вы их все-таки навещаете?

– Конечно, захожу раз в неделю. Они живут поблизости.

Ей не терпелось спросить, почему он не познакомит ее с ними, но она не решалась.

– У Папы болят глаза, у нас в семье у всех плохое зрение, он работает только полдня. Он любит все критиковать. Говорит, что дела во Франции идут неважно, Наполеон III затевает одну военную авантюру за другой; а потом успокаивает себя тем, что всюду дела идут неважно. «Вот, к примеру, Россия, – говорит он мне, – они там, глупцы, освободили крестьян, и теперь им грозит революция, а Соединенные Штаты из-за гражданской войны разделены на два лагеря. Такие же глупцы, как и русские, думают, что могут покончить с рабством». Но Папа считает, что у нас, молодых, есть силы все это пережить.

– Значит, ему совсем не нравится ваша работа?

– Папе-то? Да он не имеет никакого представления об искусстве.

Как и я, подумала Роза, и переменила тему.

– Вы ведь парижанин, значит, у вас много знакомых женщин.

– Несчетное число!

– И все кокотки?

Он насмешливо отозвался:

– Знаете сколько у меня было любовных приключений? Сотни любовниц, милочка!

– Сотни?

– И даже больше. – Он хвастливо махнул рукой– Все фигуры, которые я лепил, какими любовался, – это мои возлюбленные.

– О! – Она с облегчением расхохоталась.

Он внимательно посмотрел на нее и вдруг сорвал ее широкополую, украшенную цветами шляпу.

– Зачем вы прячете лицо? Вам незачем прятать лицо.

– Оно вам нравится?

– У вас хорошие черты, отличный цвет лица.

Она взяла его за руку, и он на мгновение подчинился ей. Но тут же, устыдившись своей слабости, отошел в сторону. Обиженная, она уже хотела было уйти, но он сказал:

– Вот сейчас у вас очень выразительное лицо, потому что вы огорчены. Почему вы не можете сохранить это выражение, когда позируете?

– Да вы просто невозможны! – закричала она.

– Милая Роза! Ведь и Ева была всего-навсего статуей, пока бог не вдохнул в нее жизнь.

Ее воспитали глубоко религиозной, преданной католичкой, но чувственное выражение на лице Огюста взволновало Розу: он смотрел на нее так, словно ее красота была внезапным даром всевышнего.

– Милая Роза, неудивительно, что я не мог закончить вашу голову. Я ведь никогда не видел настоящего выражения вашего лица. Идем, мастерская рядом. Успеем засветло, пока еще хороший свет. Надо, чтобы солнце освещало лицо. – Он взял ее под руку, решительно и бережно, словно боясь обидеть, и быстро повел к набережной.

Удивительное воодушевление овладело Огюстом. Солнце все еще заливало мастерскую, и он усадил ее на самом светлом месте, хотя это противоречило его привычкам. Она настоящая Миньон. Какая нежная кожа! Как играют краски на лице! Она будет прекрасной обнаженной натурой. Даже платье не могло скрыть ее полную грудь и бедра, тело, созданное для наслаждения. Он лепил легко и быстро; пальцы сами так и летали. Наконец-то он обнаружил ее подлинное «я» – он чувствовал себя Наполеоном, которому удался государственный

переворот. И она так хорошо позировала, сидела спокойно и в то же время с одухотворенным видом, будто сознавая всю ответственность момента. Она достойна похвалы. Какой у нее благородный вид. Эта девушка наивна и невежественна, но какая прекрасная модель! Волна радости захватила Огюста.

А Роза раздумывала над тем, уж не является ли позирование и лепка единственной формой страсти, на какую он способен. Она попыталась откликнуться на его подъем и еще сильнее потянулась к нему.

Когда наконец он передал выражение ее лица, уже стемнело. Тени наполнили мастерскую, солнце скрылось, он едва мог рассмотреть свою модель, но она уже была перед ним в глине, совсем как живая. Он постиг ускользающий дух Миньон. Он наклонился, чтобы поцеловать Розу, поблагодарить, и вдруг вспомнил, что еще не закончил шею.

«Какой у нее дурной вкус, – сердито подумал Огюст, – носит закрытые платья, даже в такой теплый день». Вместо поцелуя он рванул от ворота вниз ее темно-синюю кофту. Она поспешила застегнуться, но он остановил ее. Какая прекрасная грудь! Чего она стесняется показывать ее? Вот теперь шея удалась. Вдруг он заметил, что Роза смотрит на его обнаженные до локтя мускулистые руки, на грудь, – он расстегнул рубашку, чтобы не стеснять движений. Кровь прилила у нее к лицу. Это чудесно! Шея еще не совсем закончена, но все-таки лучше, чем прежде. Он протянул руку, чтобы дальше расстегнуть кофту, чтобы видеть ее всю, и тут они бросились в объятия друг другу.

Она отдавалась ему неумело, но была такой пылкой, что он позабыл о ее неопытности. И его догадки о ее груди и бедрах тоже подтвердились – полные, упругие, необыкновенные, совсем необыкновенные.

После Розой овладел сильнейший стыд. Она опустилась на колени, моля бога о прощении. Хорошо, что было темно и он не видел ее голой. Она не позволила зажечь газовый рожок, он не должен видеть ее обнаженного тела, ни один мужчина еще не видел его, хотя сильные руки Огюста обнимали ее всю.

И тут она сообразила, что они в чужой мастерской.

Она напомнила ему, и он ответил:

– Лекок никогда не заходит сюда вечером.

– Все равно, мне больше нельзя сюда приходить.

– Но и ко мне ты не можешь прийти. У меня маленькая комнатенка и совсем убогая.

– Я больше сюда не приду.

– Но мы должны закончить голову.

Она вдруг почувствовала себя одураченной. Он не любил ее,

он только хотел ее лепить. Он художник, а все художники помешанные. Роза торопливо оделась, отказываясь от его помощи. Слезы душили ее, но она сдерживалась, не хотела доставить ему удовольствия. Она запретила ему провожать себя, не захотела и слушать о следующем сеансе или о встрече. Оделась и тут же убежала.

Глава X

1

Огюст убеждал себя, что ему все равно, но, попытавшись в течение нескольких вечеров по памяти работать над бюстом Розы, разочаровался и почувствовал, что не может без нее. Желая отвлечься, он пошел в кафе Гербуа, он не посещал его почти месяц и нашел там Фантена и Ренуара. Они, как обычно, обсуждали Салон.

– Куда же ты пропал? – спросил Фантен.

– Я работал. Лепил.

– Вечно он работает, – сказал Ренуар. – Я работаю как вол и все же нахожу время выйти поесть.

– Я был очень занят.

– С девушкой? – Ренуар понимающе улыбнулся. Огюст изо всех сил отрицал это, он не показал бы Розу даже Ренуару, хотя тот вырос в простой среде.

Ренуар заметил:

– Тебе, верно, дали отставку, ишь, какой колючий.

– Это все из-за бюста, все никак не закончу. Фантен спросил:

– Для Салона?

– Конечно. А где еще я могу его выставить? – рассердился Огюст, готовый начать ссору с Фантеном, всегда поносившим Салон.

– Роден прав, – сказал Ренуар. – Больше нам некуда податься.

– Салон тебя признал, и ты обо всем позабыл, – заметил Фантен.

– Кому охота сводить счеты? – миролюбиво спросил Ренуар.

– Но ты уничтожил картину, которую они одобрили, – сказал Фантен.

– Да, было дело, – признался Ренуар. – Она мне не понравилась. Академична, лишена естественности, слишком темная. Я хотел, чтобы Салон меня признал, и написал ее в стиле Школы изящных искусств. Я еще жил прошлым, когда ее писал, и поэтому она мне не понравилась.

Огюст мрачно заметил:

– Что бы я ни делал теперь, мне все не нравится.

– Значит, дело в девушке, – рассмеялся Ренуар. – Мне всегда не работается, когда я несчастлив.

– Ну какое это имеет значение, счастлив или несчастлив, – сказал Огюст.

– А все-таки, – сказал Ренуар, – для таких людей, как мы, имеет.

– А для меня? – спросил Фантен.

– Ты – другое дело, – ответил Ренуар. – У тебя, у Дега, у Мане – у вас еще старая закваска.

Фантен возмутился:

– Как же это так, ведь я самый ярый противник Салона!

– Вот именно поэтому, – сказал Ренуар. – Надо еще доказать, что ты против них.

Огюст вздохнул:

– Ты тоже чувствуешь себя ужасно, когда все не ладится?

– Хуже некуда, – ответил Ренуар. – Я знаю, что тебе нужно: девушка, которая от тебя ничего не станет требовать. Тогда и чувствовать будешь себя лучше, и работа пойдет на лад, и ты даже сможешь попасть в Салон.

Огюст, благодарный Ренуару за совет, вскоре ушел и отправился в «приют любви» на бульваре Батиньоль, очень неплохой дом этого рода, который ему рекомендовал Далу. Но, уже подходя к этому модному публичному дому, повернул обратно. И откуда только у Розы взялась смелость? Какой гордой и неприступной она казалась, когда шла по улице!

На следующий день Огюст поджидал Розу на месте их первой встречи. Был конец рабочего дня, она всегда возвращалась домой этим путем. Он надел чистую блузу и панталоны. Длинные волосы были аккуратно подстрижены. Никогда еще он так не волновался.

Рабочий день кончился, а Роза не появлялась. Может быть, так обиделась, что избегает его? Уже окончательно потеряв всякую надежду, он вдруг увидел ее.

Роза тоже его заметила. Она заколебалась, хотела было повернуть обратно, но Огюст поспешил к ней навстречу, и она бросилась к нему. Они встретились на середине улицы и чуть было не попали под проезжавший экипаж. Огюст схватил ее протянутые руки, его радость была неподдельной. Но он не мог повести ее в мастерскую Лекока или к себе в комнату. Запинаясь от смущения, он попытался объяснить ей это.

– А почему ты не снимешь себе мастерскую? – спросила она.

– У меня нет денег.

– Я живу одна и могла бы тебе помочь.

– Это невозможно.

– А если… продашь мой бюст, и вернешь долг?

– Нет-нет. – Тут дело не в деньгах, не в задетой гордости, просто если они поселятся вместе, возникнут новые обязанности, а это опасно.

Роза словно прочитала его мысли.

– Я побуду с тобой, пока ты не закончишь голову, и ты будешь работать над ней сколько хочешь. – Она молила пресвятую деву простить ей эту ложь, но она так сильно его любила. – Я уйду, как только ты закончишь. Если ты захочешь.

– Тебе незачем будет уходить, – сказал он. Прежде чем их роман завершится, он вылепит ее в полный рост. – Пока мы оба не решим расстаться.

– Да-да, Огюст. Даже если у нас с тобой ничего не выйдет, но у тебя будет своя мастерская, и ты закончишь голову.

«Действительно ли она такая бескорыстная?» – думал он.

– У тебя должна быть своя мастерская. Тогда ты будешь настоящим скульптором.

– А ты откуда знаешь? – подозрительно спросил он.

– Но ты сам без конца твердишь, что мастерская нужна каждому скульптору.

Она права. И можно будет порвать с ней, когда захочется. Он мужчина, а она идет на это по собственной воле. И все же он сомневался, подсчитывая, чего это все будет стоить.

– Я скопила сто двадцать франков. Ничего не тратила с тех пор, как мы познакомились. – Для него при его теперешних обстоятельствах это было целым состоянием. – Вот! – Роза вытащила из-за корсажа связанный в узел носовой платок. – Сто двадцать франков. Можешь пересчитать.

Огюст был потрясен. Никогда он не видел таких денег. Ведь она зарабатывает гроши, и, чтобы скопить эту сумму, ей пришлось не раз отказывать себе даже в еде.

Роза сунула узелок в его дрожащую руку.

– Как раз тебе по руке! – воскликнула она. – Добрая примета. Ты подыщешь хорошую мастерскую.

– За сто двадцать франков? Да это будет конюшня! – Но увидев обиду на ее лице, он поспешно прибавил: – Ты очень добрая.

– Это ты будешь добрым, если согласишься их взять.

Огюст знал, что следует отказаться, но иметь свое место для работы – какое блаженство! Он сам себе будет хозяином, работа пойдет успешней, а когда она наконец позабудет о своей застенчивости, все улучшится, даже ее позирование. – Но помни, я беру это только в долг, – сказал он.

– Только в долг, – повторила она с веселой улыбкой, а сердце у нее упало.

Огюст пошел было прочь, всецело захваченный мечтами о собственной мастерской, которую хотел снять немедленно. Роза, пораженная, молча застыла на месте, и тут он вдруг вспомнил о

ней. Резко остановился, сообразив, что слишком занят своими мыслями, невнимателен, и промолвил:

– Спасибо тебе, Роза.

– Не за что.

– Ты обиделась.

– Нет, неправда. – Если он это заметит, все будет испорчено. – Чего мне обижаться?

– Ты обедала? – Он был так возбужден, что не чувствовал голода, но она, должно быть, проголодалась.

– Нет.

– Пойдем пообедаем. Да нет, не на эти деньги, – сказал он и спрятал в карман узелок с ее деньгами. – У меня есть несколько франков. Мы отпразднуем это событие. Закажем сосиски, вино. – Огюст взял Розу под руку – впервые за все время их знакомства – и повел в недорогой, но приличный ресторан.

2

Огюст не стал советоваться с Розой о мастерской. Подыскав для себя старую конюшню на улице Брюн, поблизости от мастерской Лекока, где работал над бюстом Розы, он обратился за советом к друзьям. Улочка соединяла авеню Гобеленов и бульвар Сен-Марсель и была по соседству от того места, где он родился и вырос.

Огюст стоял у входа в бывшую конюшню, – он уже решил ее снять, хотя видел все ее недостатки, – а Фантен, Дега, Ренуар, Далу и новый знакомый, неуклюжий широколицый, но привлекательный Клод Моне, осматривали помещение. Он ждал от них замечаний, они могли посоветовать что-нибудь дельное.

Дега осмотрел древнюю дырявую крышу, покрытые плесенью стены, разбитые оконные стекла, перекосившиеся двери, пол, наполовину земляной, наполовину цементный, – все помещение, где гуляли сквозняки и стоял промозглый холод, и тем не менее просторное и светлое, и сказал:

– Места достаточно, если ты тут не схватишь воспаления легких.

Фантен сказал:

– Перестань издеваться, Дега. Ведь это опасно. Ты, Роден, умрешь здесь от холода. У тебя сразу отмерзнут пальцы.

– Я поставлю печку. До самого потолка, – сказал Огюст.

– Одной тут не обойдешься, – ответил Фантен. – И все равно будет страшно холодно. Ты что, собираешься ее снять?

– Мне бы свою мастерскую, – сказал Моне.

– Но ты же все советуешь писать на открытом воздухе, –

заметил Фантен.

– Я потому так говорю, что мы стали пленниками наших мастерских, – ответил Моне. – Ведь мы лишены живых красок света, когда пишем в закрытом помещении. Цвет – главное, а цвета меняются, переходят один в другой, приобретают новые оттенки в зависимости от силы и качества освещения. Но, конечно, какую-то работу надо делать и в мастерской.

Дега сказал:

– Моне, пора бы тебе уже усвоить эту истину. Даже наши лучшие пейзажисты Милле, Диаз, Коро редко пишут на пленэре. Если и делают какие-то наброски и рисунки на открытом воздухе, то завершают работу над пейзажами всегда в мастерской. – Дега повернулся к Родену, словно с Моне было покончено. – Роден, ты считаешь, что действительно сможешь здесь работать?

– Выбора нет. Я уже перебрался сюда.

– А чего же тогда ты спрашиваешь нашего совета? – сердито спросил Дега.

– Вы можете сказать, не обманывают ли меня.

– Сколько бы ты ни платил, все равно много.

– Удобств здесь никаких, но работать можно, – добавил Моне.

Дега разозлился:

– Ему придется работать в перчатках, он тут задохнется от печного дыма и все равно отморозит ноги. Да это прямо могила! Он сошел с ума!

– Тут не так уж плохо, – сказал Моне. – Потолок высокий, и хороший свет.

– Но пленэр, – сказал Ренуар. – Что в нем хорошего, как можно в него верить?

Моне ответил:

– Никто не обязан восхищаться тем, что видит. Самое главное – правдиво отображать то, что мы видим, как мы это видим.

– Черт возьми, да если писать, что не нравится, так я бы и не писал, – возмутился Ренуар. – Я не могу заставить себя писать, что мне не нравится.

– Как бы там ни было, – сказал Дега, – а я считаю, что Роден поступает правильно.

– По крайней мере будет собственная мастерская, – упрямо повторил Моне.

– Ну, конечно, – сказал Дега. – Это главное. А добьется ли он успеха – дело второе.

– И все-таки он будет независим, – заявил Моне. Сам Моне, как ни старался, не мог позволить себе снять мастерскую. Родену повезло. Все несчастье Дега в том, что он считает, будто остается художником, даже если не пишет. Огюст сказал:

– И незачем мне ждать какого-то чуда, лишь бы было помещение для работы, а рядом я снял комнату. Это удобно.

Далу немедленно расследовал это обстоятельство и доложил:

– Там двуспальная кровать. И маленькая кухня. Признавайся, кто она?

– Это все входит в мою мастерскую, – сердито ответил Огюст.

– Входит-то входит, – продолжал Далу, – а все-таки кто она? Какая-нибудь провинциалочка?

Огюст молчал.

– Разве ты не хочешь познакомить нас с ней? – спросил Далу.

– Не твое дело, – сказал Ренуар. Далу пропустил замечание мимо ушей:

– Посмотрели бы вы на эту комнату. Там никакой мебели, кроме старой двуспальной кровати, комода и двух деревянных стульев. Все такое неудобное, некрасивое. Может, ты, Роден, аскет? От такой обстановки всякая любовь завянет.

Огюст коротко ответил:

– Я не люблю мягкой мебели, особенно мягких кресел, чтобы в них валяться. Недолго и разлениться.

– Уж не завелась ли у тебя какая «Дама с камелиями»? – поддразнивал Далу.

– Нет, – отрезал Огюст. – Мне не нравится эта пьеса. Сентиментальная чепуха.

– Верно, – подхватил Ренуар. – Глупейшая вещь. Надо обладать талантом Дюма, чтобы заставить поверить в эту историю. Роден, ты все еще работаешь лепщиком?

Огюст кивнул.

– Черт возьми! – воскликнул Далу. – Какой же ты скрытный.

Огюст сердито заметил:

– А о чем тут рассказывать?

– О работе, – ответил Далу.

– Подумаешь, работа декоратора! – взорвался Огюст. – Все такое красивенькое, гладенькое.

– И тошнотворное, – прибавил Дега.

– Вот именно, – сказал Огюст. – Я не верю в то, что делаю, меня эта работа не трогает. Я все делаю в алебастре, и в этом-то и несчастье. Мне надоела зализанность, эти аккуратненькие элегантные фигуры. Я понимаю, почему Микеланджело предпочитал мужское тело. Его куда трудней сделать красивеньким, утонченным, элегантным. А для меня главное – сделать их побольше и хорошо отполировать. Я превратился в последователя самой бездарной школы Фонтенбло[32]. Все должно быть маленьким, округлым. И чтобы никакой индивидуальности, разнообразия, выдумки, никакой души. Мое

дело – украшательство. Чтобы все было чинно, благородно, без искры вдохновения. Обнаженные красотки, годные только для евнухов.

Ренуар грустно улыбнулся и сказал:

– Я тебя понимаю. Друг мой, я прошел ту же школу. В четырнадцать лет я десятками расписывал чашки и блюда в манере Буше. В шестнадцать, когда мое обучение было закончено, приказали расписывать фарфор в стиле Шардена. Затем веера в стиле мадам Помпадур[33]. В двадцать мне прочили большое будущее, я умел расписывать ширмы в какой угодно манере – под Пуссена, Буше или Фрагонара. Никто не мог соперничать со мной. Если бы вы только видели, какие это были прекрасные ширмы! Когда подкопил на Школу изящных искусств и бросил работу, хозяин чуть не обалдел. Сказал мне, что я идиот, что эти ширмы покупают теперь для самых раскошных будуаров в Париже. Говорил, если я начну писать на полотне, то я пропал, я разучусь расписывать все эти ширмы. Но я должен был бросить работу, хотел научиться писать обнаженное женское тело – вот что мне нравится.

Хотя в Школе я этому никогда по-настоящему не научусь.

Огюст сказал уже спокойнее:

– Вот почему мне нужна мастерская, пусть даже и неудобная.

Дега горько расхохотался.

– И к тому же кому какое дело, что мы делаем? Да имеет ли значение то, что мы делаем…

– Конечно, имеет, – ответил Фантен. – Вот Моне, например, скоро выставит новую картину – «Олимпия». Я видел ее у него в мастерской. Это новое слово в изображении обнаженного тела.

Дега спросил:

– Она что, без ног и без рук?

– Нет, эта картина понятна каждому. Даже тебе, Дега. Прекрасная обнаженная натура.

– Тебе нравятся вся и все, – съязвил Дега.

– Неправда, – настаивал Фантен. – Мне не нравится Бугеро, Кутюр, Жером, Кабанель, Шассерио[34].

– И все равно ты малокритичен для хорошего художника, – сказал Дега.

– И еще мне иногда не нравится Дега, – добавил Фантен.

– От этого ты не станешь знатоком, – отозвался Дега. – Иногда мне самому не нравится Дега.

Огюст вывел их из конюшни. Ему надоели споры, и к тому же он точно знал теперь, что ему надо. Споры внесли ясность в его мысли. Лучше хоть эта мастерская, чем никакой. И еще ему не хотелось, чтобы они встретились с Розой, которая должна была

скоро прийти.

Моне сказал Огюсту:

– Хотя я и вырос в Гавре, но родился неподалеку отсюда.

Огюст заинтересовался.

– И я тоже.

Они сравнили даты и обрадовались, обнаружив, что не только родились неподалеку друг от друга, но и с разницей всего в два дня. Удивило и такое совпадение, что их отцы пошли регистрировать их в ту же мэрию того же района и в один и тот же день. Огюст и Клод Моне отправились проверить, стоит ли мэрия на прежнем месте.

3

Лекок был недоволен, когда Огюст сообщил ему о новой мастерской. Он посмотрел на незаконченную женскую голову, над которой трудился Огюст, и сказал:

– Это несерьезная причина.

– Разве вам не нравится голова?

– Голова ни при чем. Все дело в девушке. Огюст смутился.

– Я все знаю об этой мадемуазель, – сказал Лекок. – Какие уж тут секреты. Разве можно скрыть что-нибудь от привратника?

– Что же вы молчали?

– А что я мог сказать? Разве это остановило бы вас?

Кровь бросилась Огюсту в лицо, когда он понял, что Лекок его не одобряет. И Лекок был прав.

– Я совсем не против того, что вы переезжаете, – продолжал Лекок, хотя это не совсем соответствовало действительности: он был очень против, но не хотел подать виду. – Все дело в том, как вы переезжаете. Вы будете обязаны ей, а это может плохо кончиться.

– Я сам себе хозяин, – настаивал Огюст.

– Но вы живете ведь не только рассудком. А чувство ответственности, совесть? Об этом не думаете до поры, до времени, но вы ведь не такой, как большинство людей искусства. Конечно, для вас ваяние превыше всего, но у вас есть еще чувство долга.

– Мэтр, мне нужна девушка.

– Девушка, но не ответственность за нее. Она вам не подходит.

– Я не собираюсь на ней жениться.

– Тем не менее вы не из тех, кто способен поступиться своими обязанностями.

– Она хорошая натурщица.

– И еще она хорошо готовит, хорошая хозяйка и даже, возможно, хорошая любовница. Но вы ей задолжали, и со временем проценты на занятую сумму будут расти. Постепенно ваши плотские чувства будут удовлетворены, погаснут, а она останется, и, как бы вы.ни пытались от нее избавиться, вы все равно будете помнить, какую помощь она вам оказала. И тогда обнаружите, что благодарность бывает подчас очень тяжелым бременем.

– Благодарю вас за совет.

– Запомните, – строго продолжал Лекок, – это опасно. – Он выступал в роли доброжелателя, и Огюст из благодарности неохотно уступил. – Но мне, Роден, вы ничем не обязаны. Ничем!

– Нет, многим. Но я… – Огюст запнулся и умолк.

– Ведь вам и сейчас приходится туго, верно? – резко произнес Лекок. – А будет еще труднее, когда вы захотите ее оставить.

– А если я не захочу ее оставить?

– Захотите. Вы познакомили ее с друзьями? С семьей? Со мной?

– Вы обижены.

– Нет, я только тогда чувствую обиду, когда вы говорите неправду, как сейчас.

– Она из деревни.

– А ваша семья откуда?

– И я не люблю посвящать других в свои дела.

– Отлично.

Огюст не двинулся с места, и Лекок закричал:

– Уходите, уходите немедленно! Я вам больше не нужен.

– Я думал, вы останетесь мне другом.

– Хорошо, что вам надо?

– Вы очень рассержены.

– Было бы куда хуже, если бы не был рассержен.

– Я не хочу терять с вами связь, мэтр.

– Я не собираюсь переезжать. Ключ от двери будет на прежнем месте.

4

На следующий день Огюст привел Розу в мастерскую-конюшню. Она пришла в ужас от грязи, беспорядка и сквозняка, и на мгновение ей показалось, что их любовь – какое-то проклятие. Огюст не спрашивал, понравилась ли ей мастерская, он решил, что она удовлетворена. Показал ей, где будет работать, где ее место, и она не решилась протестовать. Один только вид Огюста, его движения, мужественный голос лишали ее всякой воли к

сопротивлению.

Она перебралась к нему с маленьким сундучком, привезенным из Лотарингии. Аккуратно прибрала спальню. Привратник знает, что они неженаты, в этом она была уверена, и это отравляло ей радость пребывания с Огюстом. Он стоял у окна и с гордостью осматривал свои владения, а она чувствовала себя такой усталой, слабой, подавленной его требованиями. Нити, связывавшие их, казалось, вот-вот готовы разорваться. Нервы ее были на пределе. Но мысль о разрыве казалась ей еще страшней, Огюст сказал:

– Мы тут все переделаем.

И Роза заставила себя улыбнуться и ответила:

– Да, у нас будет уютно.

Он подозрительно взглянул на Розу, но, вспомнив, что это ей он обязан мастерской, с благодарностью поцеловал. Роза уже не замечала неприглядности конюшни, решив, что превратит ее в их дом, чего бы ей это ни стоило.

5

Огюст не сбавил изнуряющего темпа работы. Он продолжал лепить орнаменты для фасадов зданий, для фонтанов и садов. Он делал небольшие, высотой в шесть, восемь, десять дюймов, копии статуй Челлини и Клодиона, Донателло и Микеланджело. Гладко отполированные, красивенькие, утратившие первозданность оригиналов, они предназначались для украшения квартир парижан. Чтобы заработать несколько лишних франков, он вырезал фигуры в готическом стиле и украшал орнаментом комоды и горки. Его руки приобрели еще большую гибкость. Он достиг такого искусства в лепке, что ему был доступен теперь орнамент любой трудности. Но чувство постоянной неудовлетворенности терзало Огюста, и он стал нервным, раздражительным. Чем больше делал он работ для других, тем сильнее росло его желание сделать что-то для себя, а это становилось все более трудновыполнимым.

Для Розы не существовало ничего на свете, кроме домашнего хозяйства. Она делала все, чтобы превратить их новое жилище в настоящий семейный очаг. Готовила, прибирала и смотрела за тем, чтобы все его инструменты были всегда на месте – без нее он вечно их терял, – следила, чтобы тряпки на незаконченных глиняных слепках были всегда влажными. Она узнала, что ему нравится суп с капустой, свининой и рыбой, и старалась как можно чаще готовить его, тем более что это было дешево. Она поставила своей целью сделать Огюста счастливым. Улыбалась,

даже когда на душе было невесело, и пела, когда он не работал; когда Огюст лепил, он не выносил никакого шума. Она была довольна, когда бывал доволен он.

Его раздражало ее хорошее настроение, оно напоминало ему, что и он должен быть счастлив, а он не был счастлив. Он был по-прежнему неудовлетворен бюстом, который делал с нее. Роза плохая, неумная модель, решил он, у него все валилось из рук.

В одно воскресное утро в отвратительном настроении Огюст слонялся по мастерской. Он поднялся с солнцем, не мог больше спать, и его возмущало, что Роза даже и не пошевельнулась, ей до него нет дела. А он хочет есть! Он понимал, что несправедлив, но ему хотелось быть несправедливым, как к нему его судьба, и, наконец, не в силах сдерживаться, ворвался в спальню.

Роза как раз снимала ночную рубашку и, увидев его, инстинктивно прикрылась из чувства девичьей стыдливости. В моменты близости она всегда гасила свет, не хотела, чтобы он видел ее обнаженной. Но ведь сейчас был день!

В гневе Огюст оторвал ее руки от груди. И вдруг остановился. Он уже собирался с ней расстаться, и только теперь понял, почему у него никак не получалась ее голова. Надо было лепить ее с распущенными волосами, вот так естественно, как сейчас. Он схватил ее за руку и потащил к станку. Она ничего не понимала, расплакалась – уж не сошел ли он с ума? Разве прилично ей показываться в таком виде?

– Стой на месте! – крикнул он, когда она хотела убежать.

– Никогда в жизни…

– Стой и не прикасайся к волосам, а иначе можешь убираться!

Роза была в ужасе, готова была бежать без оглядки, ей было очень жалко себя, но Огюст работал так, как не работал уже много недель. И она успокоилась, захваченная тем новым образом, что рождался под его руками.

Огюст был полон решимости довести «Миньон» до полного совершенства.

Роза весь день просидела на месте без еды и отдыха, не двигаясь, не меняя позы. Когда она уже начала подумывать о том, что быть послушной женой – тяжелая обязанность, он перестал работать и впервые за долгое время улыбнулся теплой искренней улыбкой.

– Милая Роза, все. Я закончил «Миньон», – сказал он.

Она не поверила. Она не двигалась с места.

– Не веришь?

– Я тебе верю. – Но по-прежнему продолжала сидеть словно каменная.

– А! – набросился он на нее. – Значит, тебе не нравится бюст!

Он тебе никогда не нравился!

– Огюст, я этого не говорила. Разве что глаза. Но это не имеет значения. Мне нравится позировать для тебя. – Она хотела сказать, что пока она позирует, он не станет искать других натурщиц.

– Как насчет обеда? У тебя есть что-нибудь?

– Суп из капусты. Рыба. Немного «Контро», я припасла к празднику. Огюст, мне нравится бюст. Почему ты не отольешь его в бронзе?

– Бронза стоит дорого. А мрамор еще дороже. – Поэтому ты ничего не делаешь из мрамора?

– Никто теперь не делает ничего сразу в бронзе или мраморе. Любой подмастерье может перенести в бронзу и мрамор то, что сделано в глине и гипсе, но для выполнения замысла нужен талант скульптора. Когда я леплю в глине, достаточно одного прикосновения, чтобы добавить, изменить, переделать, а вырубленное в мраморе уже не переделаешь. Но если когда-нибудь мои вещи будут делать в мраморе, я сам буду следить за работой, все подправлять, это будет мое собственное творение.

– Может быть, когда-нибудь и «Миньон» сделают в мраморе, – сказала она с надеждой.

– Она будет лучше смотреться в бронзе. В мраморе она будет чересчур хорошенькой.

– Разве я не хорошенькая?

– Для скульптора самая прекрасная модель та, которая достойна того, чтобы позировать обнаженной, – объявил он.

6

Отказ позировать обнаженной был для Розы последней попыткой сохранить остатки стыдливости, но, когда Огюст заявил, что больше ни за что не приблизится к ней, если она не согласится, Роза уступила. Сначала было попыталась сопротивляться, но он держался отчужденно целую неделю, она не вытерпела и в конце концов сдалась.

Как-то утром Роза встала раньше Огюста. Растопила печь, приготовила завтрак и села в ожидании. Она была в пальто, прямо на голое тело: без пальто бы замерзла. И когда он вошел в мастерскую, встала со стула и сбросила с себя пальто. Она казалась необыкновенно белой в своей наготе и стояла неподвижно, будто загипнотизированная, закрыв глаза, готовая вот-вот лишиться сознания.

Она чувствовала его прикосновения, не сомневалась, что он вовлечет ее в бездну разврата. А вместо этого он сказал:

– Распрямись. Да не так, мягче. Можешь двигаться. Я предпочитаю, чтобы ты двигалась, тело в движении выглядит более естественно, и тебе будет теплей.

Розе пришлось открыть глаза. Он с одобрением смотрел на нее.

– Ты доволен? – прошептала она, с трудом сдерживаясь, чтобы не прикрыть руками грудь и живот.

– Да… – У нее были полные крепкие груди, идеальные бедра и самое главное – живот, часто самое уязвимое место у молодых женщин, как раз такой, как надо, чуть выпуклый. Если бы можно было навечно сохранить это совершенство. Какой удивительный изгиб! Он был поражен.

– Тебе нечего стыдиться.

– Но я никогда никому так не показывалась.

– Я не о том, – оборвал он ее. – Я имею в виду твою фигуру. Никогда не узнаешь, какова у женщины фигура, пока она не снимет с себя все.

– Я заботилась о своей фигуре.

– Верно, милая Роза, и, к счастью, природа позаботилась о тебе еще больше.

Огюст говорил и делал с нее наброски, отдельные заметки, не стараясь передать все детали, а набрасывал общий контур, чтобы потом им руководствоваться. Затем начал лепить, словно анатом со скальпелем в руках, отделял, разрезал, раздвигал ткани, углублялся внутрь, постигая тело во всех его подробностях. Он работал непрерывно, отдых был бы тратой времени. Она не жаловалась, сознавая, что произвела на него какое-то особенно глубокое впечатление.

Его страсть к ней приобрела новую силу и вызвала такой взрыв ответных чувств, о существовании которых она и не подозревала.

Следующие несколько недель работа чередовалась с любовью, но бывали моменты, когда Розу охватывал стыд. Несколько раз, тайком от Огюста, она ходила к мессе, чтобы испросить прощения, но к исповеди идти не решалась.

По мере того как продвигалась работа над скульптурой, которую Огюст назвал «Вакханка», настроение у него поднималось. Он до сих пор не сказал ей, что любит ее, – тех слов, которых она жаждала всем сердцем, – но он хотел быть с ней.

Как только у него выпадал свободный час, он просил ее позировать.

Глава XI

1

В один прекрасный июньский день, когда Роза думала о том, что в такую погоду стоит хотя бы на одно воскресенье позабыть о работе и отправиться на пикник, ей вдруг показалось, что она беременна. Сначала она испугалась, потом всем сердцем пожелала, чтобы это было правдой. Она пошла к доктору проверить свои подозрения и, когда он подтвердил беременность, пришла в смятение.

Что скажет Огюст? Страх перед ним погасил ее радость и гордость. И все же когда доктор заверил, что она совершенно здорова и, видимо, в январе у нее должен родиться отличный, крепкий младенец, ей страстно захотелось иметь ребенка, что бы там ни было. Пусть это будет счастьем хотя бы для нее одной. Она всегда хотела быть матерью. Но потом ее охватило чувство растерянности и одиночества. Она страстно желала поговорить обо всем с какой-нибудь женщиной, но с кем? Ее родные далеко в Лотарингии. С семьей Огюста она до сих пор незнакома; раз в неделю он навещал их, но без нее. Огюст не познакомил ее со своими друзьями, хотя она знала, что время от времени он встречался с ними в кафе Гербуа.

Но о чем бы ни думала Роза, она постоянно возвращалась к мысли: что скажет Огюст? Иногда ей казалось, что он обрадуется. Иногда была твердо уверена, что он вышвырнет ее на улицу или прикажет избавиться от ребенка, а она не могла пойти на это. Подумывала было возвратиться в Лотарингию, но это было невозможно. Не могла она оставить Огюста, по крайней мере по своей воле, это было ей не под силу. И решила скрывать беременность. Огюст еще не закончил «Вакханку» и во время работы имел привычку проводить рукой по ее телу, чтобы верно передать все изгибы.

Роза приучила себя позировать, втянув живот, хотя и опасалась, что это может повредить ребенку, и не раз страдала от сильных болей. И потом он ругал ее, что она уж слишком плоская, и говорил:

– У идеальной Венеры должны быть округлые формы. Ты не должна так позировать. Сколько я тебе говорил – держись свободней…

С каждой неделей все труднее становилось скрывать беременность. Даже ее руки уже чувствовали, как вздулся живот,

а у него руки куда более чувствительные.

Ее спасало только то, что Огюст был полностью захвачен работой. Он решил закончить ее к Салону 1866 года. Хотя «Миньон» и была отвергнута Салоном 1865 года, «Олимпия» Мане, изображавшая обнаженную женщину, стала предметом ожесточенных споров в Салоне того года. «Олимпия» вызвала новый скандал, так как Мане осмелился изобразить ее сугубо реалистически, а не идеализированной мифологической Венерой. Несмотря на весь этот шум, а может быть, возможно, именно благодаря ему, даже Дега одобрял «Олимпию», а Ренуар тоже решил заняться обнаженной натурой, и Фантен торжествовал, словно это оправдывало и его восхищение Мане и их общее противодействие мертвым установкам Салона. Но Мане был по-прежнему несчастлив, он вовсе не желал этого венка великомученика, возложенного на него за то, что он хотел писать то, что видел в жизни.

Огюст соглашался с Мане. Он тоже был противником великомученичества, но зачем тогда человеку даны глаза, если от него требуют писать или лепить так, как видят другие?

Как-то в воскресенье, после того как накануне он провел вечер в кафе Гербуа с Мане, Дега, Ренуаром, Фантеном и Далу, он попытался объяснить это Розе, но она, ничего не понимая, в растерянности смотрела на него. «Что с ней?» – подумал он. Ее мысли все время заняты чем-то другим. Если он бывает рассеянным, то из-за работы. Но ему следует быть терпеливее, она ведь во многом столь наивна и невежественна.

– Роза, – сказал он, – если эта фигура будет иметь успех, я создам Венеру, которая будет соперничать с «Венерой Медичи»[35].

– «Венерой Медичи»?

Ее вид ясно говорил: она ничего не понимает. Раздражаясь, он спросил:

– Разве ты совсем ничего не знаешь об искусстве?

– Я знаю, кто такой Микеланджело и Рембрандт, – робко ответила она, – и Фра Анжелико, Я видела в церкви копии с его картин.

– Тебе нравятся они?

– Мне нравится Фра Анжелико.

– А Микеланджело и Рембрандт? Что ты о них думаешь?

– Я слишком мало о них знаю.

Он настаивал, чтобы как-то оправдать свое решение порвать с ней, внезапно почувствовав к ней отвращение. – А что ты думаешь о Делакруа?

– А кто такой Делакруа?

Между ними нет ничего общего, с горечью думал он, но это его вина, ему это было известно с самого начала.

Увидев, как он рассержен, она покорно заметила:

– Ты не должен задавать мне такие вопросы. Я необразованная женщина. – Роза не умела ни читать, ни писать, могла только поставить свою подпись, но она так глубоко любила Огюста, особенно теперь, когда носила под сердцем его ребенка. – Я не помешаю тебе, если буду шить дома?

– Какое это имеет отношение к «Венере Медичи»? – раздраженно спросил он.

Роза не решалась сказать ему, что скоро наступит время, когда ей придется бросить работу.

– Я могу шить, пока ты лепишь, – сказала она. – И немного подработаю.

Огюст со злостью уставился на Розу. Подумать только, она хочет передать дух Венеры с иголкой в руках! Работа валилась из рук. Вне себя от ярости он опустился на стул, не спуская с нее гневного взгляда.

– Прости меня, Огюст, что я так плохо сегодня позирую, но я устала.

– Я рад, что ты хоть это можешь объяснить вразумительно.

– Разве нужно мне знать о Микеланджело и Рембрандте и об этом другом – о Делакруа?

– Нет. – Ему не хотелось признаваться, но она была права. – Многие натурщицы, почти все, невежды в искусстве. Но ты ведь не хочешь, чтобы я считал тебя только натурщицей.

– А я и не только натурщица. Я тебя люблю. Разве это плохо?

Он пожал плечами.

– А ты меня любишь?

– Любовь – для тех, кто поклоняется Дюма[36]. Я предпочитаю Бальзака и Бодлера.

Это нечестно, думала она, говорить о людях, которых она не знает. И вдруг почувствовала тошноту и выбежала в другую комнату.

Огюст решил, что Роза просто хочет вызвать в нем жалость; ведь физически она здоровее многих.

Вернувшись, она выглядела бледной, но спокойной и предложила:

– Хочешь, буду еще позировать?

– Нет, не надо. – Он вдруг остановился. Понял наконец, что не ладится с «Вакханкой» – все дело в животе. – Встань-ка на минуту.

Роза поднялась, едва сдерживая дрожь.

Огюст провел ладонью по ее животу, затем по животу

«Вакханки». Нахмурился. У Розы был куда более выпуклый живот. Неудивительно, что у него не ладилось с «Вакханкой». Он посмотрел на нее, она разрыдалась, и тогда он понял.

– Это правда, – прошептала Роза.

– Ты уверена?

– Да, – всхлипывала она. – Я ходила к доктору.

– Когда он должен родиться?

– Доктор сказал, наверное, в январе.

– Полгода. Большой срок.

– Да. Ты рад, Огюст? Правда?

– Рад? – закричал он. – Да разве я хотел ребенка? Может, еще благодарить тебя за это? Ведь мы и так еле-еле концы с концами сводим! – Сейчас самое время вышвырнуть ее на улицу, но как это трудно: она выглядит такой беспомощной, измученной, и ведь это его ребенок, тут нечего сомневаться. Что теперь делать? Ему не нужен ребенок, он не хочет ребенка, по крайней мере пока им так туго.

Она нерешительно спросила:

– Может, ты скажешь своей матери?

– Нет. Если и скажу кому, так тете Терезе.

– Значит, ты хочешь ребенка, дорогой? Ты все-таки не против?

Разве объяснишь, что вовсе не ради удовольствия ему приходится работать день и ночь? А ведь он не может купить даже приличной кровати. Он мечтает о приличной квартире и мастерской, об этой неведомой ему никогда роскоши. Теперь всего этого ему не видать как своих ушей. Но жаловаться бессмысленно. В этом мире у тебя либо все, либо ничего. Это одна из древнейших и самых верных истин мира. Нагим пришел он в этот мир и ничего не обретет в нем. Зачем ему еще одна ноша? Но она не поймет. Никто не способен понять, как тяжела боль и ноша другого.

Он ответил:

– Я поговорю с тетей Терезой. Она что-нибудь посоветует.

2

Тетя Тереза прекрасно знала, что делать. У нее у самой трое внебрачных детей. Она уже потеряла всю свою красоту, волосы поседели, изящная фигура усохла, но она по-прежнему была полна энергии и свободомыслия и знала, как поступать в таких случаях. Она сказала, что Огюст не должен отказываться от ребенка, и попросила познакомить ее с Розой.

Обе женщины сразу нашли общий язык. Они тут же

заговорили о чисто женских вещах, о которых никогда не говорили с Огюстом. О том, что потребуется ребенку. Роза считала, что будет девочка, их семье всегда везло на девочек, а тетя Тереза была уверена, что мальчик, у нее было трое мальчишек. Они обсуждали, что Розе следует есть и что носить, и еще кое-какие секреты, но Огюсту запретили слушать.

Он был доволен, что тетя Тереза всем распорядилась. Тетя Тереза восприняла беременность Розы как нечто само собой разумеющееся, и Огюст немного успокоился.

Тетя Тереза сказала Огюсту:

– В семейной жизни точно нельзя ничего предсказать. Неизвестно, как все сложится.

– Вы никогда не были замужем, тетя Тереза?

– Это не от меня зависело.

– И все-таки вы как-то справились.

– Мне пришлось нелегко. – Она вздохнула. – Для моих мальчиков было бы куда лучше, будь у них отец. Я не хочу, чтобы ты повторил ту же ошибку.

– Но будет еще большей ошибкой, если я на ней женюсь.

– Не думаю. Она порядочная. – А все равно забеременела.

– А ты разве не виноват, Огюст?

Он пожал плечами, словно говоря, что это не его забота.

– И кроме того, вы живете считай что семейной жизнью.

– Я на ней не женат! – упрямо повторил он.

– Но вы живете вместе. Это почти то же самое.

– Нет, не то. Я могу ее оставить, когда захочу.

– При таких-то обстоятельствах?

– Другие же оставляют.

– Но ты не такой. Ты Огюст Роден.

– Я никто, – с горечью сказал он, – а когда он родится, то мне вообще конец.

– Ты скульптор, – гордо заявила тетя Тереза.

– Скульптор-орнаментщик, – поправил он. – Нельзя быть скульптором только в свободное время.

– Роза тебе поможет.

– У нас с ней нет общих интересов.

– Она тебя боготворит. Она готова на все, лишь бы ты был доволен.

– Я не вижу разницы между ней и служанкой.

– Служанка не станет тебя любить. Ты будешь неразумным, если откажешься от такой любви. Это самое дорогое, что может дать женщина. И дело тут вовсе не в морали, это просто здравый смысл.

– Но, тетя Тереза, я ее не люблю, по крайней мере так, как

она меня любит.

– Любовь никогда не бывает равной. В твоем возрасте ты должен это знать.

– Знаю, но я не смогу работать, когда в доме появится младенец.

– Я могу взять его к себе. Мои мальчики уже взрослые. Мне он будет не в обузу.

– Это не выход из положения.

– Тогда пусть его возьмет Мама, это вернет ее к жизни.

– Нет-нет, не говорите пока Маме или Папе.

– Огюст, она добрая девушка. Он молчал.

– Во всем этом есть и твоя вина.

– Может быть. Обещайте, что не скажете дома.

– Ты стыдишься?

– Не в этом дело. Обещайте мне, тетя Тереза. Если не хотите, чтобы я ее бросил.

Она знала, что он может быть страшно упрям, и решила не спорить и не высказывать свои сомнения.

– Обещаю, а ты обещай позвать меня, когда придет время.

Они заключили договор, зная, что каждый будет верен данному слову.

3

Когда наступило время родов, тетя Тереза переехала к Огюсту, а он ночевал в мастерской, рядом со своей любимой незаконченной «Вакханкой». Тетя Тереза находилась рядом с Розой. Огюст взял напрокат еще одну печку для Розы и тети Терезы, и, хотя в спальне было по-прежнему холодно и сквозило, Розу радовала его забота, а присутствие тети Терезы успокаивало.

Мальчик появился на свет 18 января 1866 года.

Теперь Роза была уверена, что Огюст наконец скажет, что любит ее, а он молча стоял у больничной кровати, глядел на пищащего младенца и удивлялся, что это существо со сморщенным лицом – уродливое, старообразное – его собственный сын. И отчего он такой шумный?

Роза в отчаянии воскликнула:

– Разве ты не хочешь меня поцеловать? Огюст заметил, что тетя Тереза хмурится, и, хотя он гордился своей независимостью, все же любил тетю Терезу. Он наклонился и поцеловал Розу и сказал:

– Я рад, что у нас мальчик, милая.

– Это хорошо, – ответила она. – Мы назовем его Огюстом в честь тебя.

4

Через несколько дней Огюст зарегистрировал в мэрии рождение сына – Огюста-Эжена Бере.

Тетя Тереза была потрясена. Она гордилась своим свободомыслием, но это было слишком жестоко. Трое ее сыновей вынуждены были носить материнское имя. Она отвела Огюста в сторону и сердито спросила:

– Разве ты не собираешься его признать?

– Нет.

– Даже не дашь ему своего имени?

– Он Огюст. Этого достаточно.

– Роза будет сильно огорчена.

– Это ее ребенок. Значит, Бере.

– Огюст, ты все еще на нее сердишься!

– Разве отцы ваших детей дали им свое имя?

– Они были неправы. И я им этого не простила. Огюст молчал.

– Господи! – воскликнула тетя Тереза. – Неужели у тебя нет никаких чувств к Розе?

– Нельзя подчиняться одним чувствам.

– Но она тебя любит. Она мать твоего ребенка.

– Она моя экономка.

– Разве ты ее ничуть не любишь?

– Вы совсем как Роза. Разве можно вымолить любовь? Она или есть, или ее нет, и тут уж ничего не поделаешь.

– Ты же знаешь, что ты у нее первый.

– Да, она мне это доказала.

– Что ты против нее имеешь? Может, это потому, что она не понимает в искусстве?

– Нет, я мог бы ее воспитать. Она могла бы выучиться, да только тогда она не была бы…

– Такой хорошей экономкой, – докончила тетя Тереза. – Художник Дроллинг именно так относился ко мне. Это был предлог, чтобы избежать ответственности.

Огюст коротко заметил:

– Он был не прав.

– А ты прав?

– Роза даже не умеет читать и писать.

– А твой отец умел? – Она усмехнулась. – Знаешь, ведь это я подписывала за него бумаги, когда ты родился.

– Тогда подпишитесь за Розу, – сказал он, – но не учите меня жить. – Он поставил свою подпись на свидетельстве с именем «Огюст-Эжен Бере» и затем проводил тетю Терезу обратно к Розе,

которая еще была в больнице, пообещав:

– Я сделаю ей подарок. Отолью «Миньон» в бронзе. Это будет навечно.

5

Розу не заинтересовал подарок. Она была глубоко оскорблена его отказом дать их сыну имя Роден. Он не стал обсуждать вопрос, а лишь сказал, что это дело решенное, раз и навсегда.

Положение казалось безвыходным. Решение Огюста довело Розу до полного отчаяния. Она говорила себе, что для Огюста не существует ничего, кроме него самого, и все же у нее не было ни сил, ни умения противиться ему или вырваться из этих сетей. Она винила не его, а его любовь к искусству. А для нее он был первой любовью, и единственной. Со всей страстностью своей натуры она верила, что никогда не полюбит другого, и не хотела признаваться себе, что в этом-то и заключается ее ошибка. Он любит ее, решила она, хотя и не говорит об этом. Она разрывалась между Огюстом, который держался сдержанно и равнодушно, и младенцем, который требовал заботы, и сознавала всю безвыходность своего положения. Если она пыталась протестовать, Огюст становился холоднее льда.

Когда Роза вновь могла позировать, Огюст вернулся к работе над «Вакханкой», но дело не шло. Эта фигура, его первая обнаженная скульптура в полный человеческий рост, не должна быть просто красивой. Ведь не из-за одной же красоты начал он работу. Она должна быть живой, естественной. Никогда еще перед ним не стояла столь сложная задача, а младенец выводил его из себя. Маленький Огюст не умолкал ни на минуту, не давая отцу сосредоточиться. И Роза, позируя, все время отвлекалась, она стала рабыней младенца. Огюст считал, что «Вакханка» должна стать выдающимся произведением, если только он ее закончит, но пока младенец с ними, на это было мало надежд. Сын словно затеял заговор против отца, его плач раздражал Огюста.

После нескольких недель такой пытки он заявил Розе, что они должны отдать маленького Огюста родным, пусть поживет у них, пока не подрастет.

Роза не соглашалась. Она расплакалась. Маленький Огюст присоединился к ней.

Если сначала Огюст был настойчив, но все же мягок, то теперь рассердился. Младенец закатывался так, что мог пробудить даже мертвых. Он решительно сказал:

– Ты можешь навещать его каждую неделю, а когда подрастет,

возьмем его обратно.

Она рыдала так горько, что сотрясалась кровать. Его раздражение усилилось. Он не выносил слез и сказал, уже без следа сочувствия:

– Впереди столько работы, а этот плач надоел мне. Неужели он думает, что она сама добровольно отдаст кому-то своего малыша?

Он ничего не ответил. Встал с кровати, ушел из дому и не возвращался всю ночь.

Роза так обрадовалась, когда на следующее утро он вернулся к завтраку, что согласилась на время отдать ребенка родителям.

Наконец-то она познакомится с его семьей. Семья была для нее основой основ. С тех пор как она переехала к Огюсту, мысль, что она не знает его родных, не давала ей покоя. Она молила бога, чтобы они отнеслись снисходительно к тому, что они с Огюстом не женаты, и поняли бы, что это не ее вина.

Она спросила:

– Ты думаешь, они на нас обидятся?

– Не знаю. Но думаю, что возьмут ребенка, – ответил он.

– А когда маленький Огюст подрастет, мы заберем его обратно?

– Когда он подрастет настолько, что не станет нам мешать. Давай не терять времени. Из-за этого посещения пропадет воскресенье – единственный свободный день, который я могу посвятить лепке.

Глава XII

1

Тетя Тереза договорилась, что Огюст придет к родителям в следующее воскресенье. Она не сказала им ни о Розе, ни о ребенке, но, чтобы смягчить неожиданность, намекнула, что у него для них есть сюрприз, нечто весьма важное.

По пути к родным Огюст был очень нежен с Розой. Этот район пробудил в нем воспоминания детства, и издалека эти воспоминания приобрели приятную окраску. Он показал Розе Валь-де-Грас, куда ходил в школу, и сказал:

– Я был тогда совсем глупеньким, дорогая. Школа-то была рядом с Сорбонной, да учителя не имели с ней ничего общего. Зато мы жили между Люксембургским садом и Ботаническим, до того и другого было рукой подать и, конечно, в самом центре Латинского квартала. Папа был уверен, что моя любовь к скульптуре до добра не доведет. Он бы переселился куда-нибудь в другое место, но у нас не было денег, а мне нравились все эти здания. Они каменные, но совсем, как живые – Сен-Этьен-дю-Монт, и Пантеон, и Сен-Северен, ну и, конечно, Нотр-Дам. Я мечтал бы стать архитектором, если бы знал, что такое архитектор, но в нашей семье никто о таких вещах и не слыхал, разве только тетя Тереза, да и ей было не до того, надо было как-то поставить на ноги детей.

Роза кивала, изо всех сил проявляя интерес, хотя знала, что все эти разговоры больше подходят господам из Сен-Жермен, а им до них далеко, но сказать Огюсту боялась.

Они постучали в дверь небольшого каменного дома на улице Сен-Жак. Мальчик лежал в колясочке, которую им одолжила тетя Тереза, и она сама отворила дверь. Папа с Мамой выглядывали из-за ее спины, стараясь скрыть любопытство, что им плохо удавалось. Так они и знали: у Огюста есть женщина и ребенок!

Папа насупился и глядел угрюмо, а Мама растерялась и не знала, что делать.

Роза почтительно поклонилась им, и Огюст представил ее:

– Это Роза, а это наш сын Огюст.

Папа и Мама застыли в дверях, не приглашая их в дом, и тетя Тереза поспешила объяснить:

– Маленькому Огюсту полтора месяца. Правда, он здоровенький? Ведь это твой первый внук, Жан!

Тогда Папа, весьма сдержанно, обратил взор в сторону

младенца в коляске, и Мама последовала его примеру.

Роза, почувствовав, что под этой их вежливостью скрывается растерянность и негодование, но, боясь, что Огюст обидится и никогда больше не придет к ним, робко сказала:

– Правда, он вылитый Огюст?

– Нет-нет; – запротестовал Папа. – Он похож на вас, мадам…

– Мадемуазель Роза, – сказал Огюст. Последовало смущенное молчание, и Роза решила, что Огюст допустил ошибку. Но она не без гордости добавила:

– А все-таки у него рот и глаза Огюста.

– Чепуха, – сказал Папа. – У Огюста глаза светлее.

Огюст, раздраженный Папиной неуступчивостью и застенчивостью Мамы, поспешил на помощь Розе:

– Мальчик похож на нас обоих.

– Ну конечно, Жан, он похож на них обоих, – сказала тетя Тереза. – Это сразу видно, Жан.

– Могли бы и пораньше спросить мое мнение, – проворчал Папа.

– Мы спрашиваем его теперь, – ответил Огюст. – А если тебе не нравится, можем уйти.

– Нет-нет! – воскликнула Мама. – Мальчик похож на вас обоих. Правда ведь, Жан? Он и на тебя чуть-чуть похож, верно, Жан?

– И на меня тоже? – изумился Папа. Роза попыталась вступить в разговор:

– Ms надеемся, что он будет похож на вас, мосье Роден. Мы были бы очень рады. – Она нежно улыбнулась и с осторожностью матери взяла маленького Огюста из коляски и подала его Папе.

Папа уставился на младенца, корчившегося в его руках, и вдруг заметил, что пеленка развернулась и у мальчика голый задок.

– Господи, – закричал Папа, – да ведь он может простудиться!

Роза бросилась поправлять пеленку, но ее опередила Мама со словами:

– У меня это когда-то ловко получалось. Роза сказала негромко, извиняющимся тоном:

– Мосье Роден, простите меня за мою невоспитанность, но, может, вам тяжело держать маленького Огюста?

Она хотела было взять ребенка обратно, но Папа остановил ее:

– Тяжело? Но ведь это мой внук, не правда ли?

Роза – в простом коричневом платье она выглядела трогательной и привлекательной – чуть заметно улыбнулась и сказала:

– Да, он ваш внук, если вы не против.

– Господи! – рассердился Папа. – Ну зачем так расстраиваться? Да разве я против! Стоит только посмотреть на его волосы. У всех Роденов рыжие волосы. И у него наш нос.

– Вам он нравится, мосье? – спросила Роза.

– Легкий, как перышко. – Папа пропустил вопрос мимо ушей. Он знал, что ему следует проявить строгость– грех иметь ребенка вне брака и лишняя обуза, но ребенок трогал своей беспомощностью. Папа почувствовал, что смягчается, и хотя ему было тяжело держать младенца, улыбнулся маленькому Огюсту в надежде вызвать ответную гримасу.

Ободренная поддержкой Папы, Мама сказала:

– Конечно, он нам нравится. Я всегда говорила Огюсту и Мари, если у них будут дети, мы примем их, что бы там ни было.

«Вот так-то, – думал Папа, – воспитывал, воспитывал Огюста, а результат? Конец всем его мечтам и надеждам на будущее, все будущее для него теперь в этом младенце. Как мог он отвергать маленького Огюста, собственную плоть и кровь?» На пенсии, слепнущий, стареющий с каждым днем, какое еще у него будущее? Не признаваясь себе, он жил в постоянном страхе, что у Огюста не будет детей, что вымрет род Роденов. А маленький Огюст – спасение. И девушка тоже хорошая, не какая-нибудь там разряженная красотка со всякими штучками. Они были равными, понимали друг друга с полуслова. Папа сказал:

– Он вырастет крепким, большим мальчиком. Воу как он за меня уцепился, сразу видно, что Роден.

Роза кивнула, но, когда захотела взять младенца обратно, Папа замотал головой и сказал:

– Нет уж, я привык носить Огюста, когда он был маленьким.

– Я знаю, – сказала Роза. – Он мне рассказывал, говорил, что это в вас он такой сильный.

– Верно, верно, – подтвердил Папа. – Родены всегда были сильными. Да входите же в дом. Мальчик тут совсем простудится. Как, Мама, готов обед?

– Почти, – ответила Мама. – Я сегодня сварила побольше. Догадывалась, что кроме Огюста будет еще кто-то. – Она взяла Розу за руку и провела в дом, остальные последовали за ними.

И где это, удивлялся Огюст, Роза выучилась таким манерам? Она чувствовала себя с родителями совсем свободно, свободнее, чем с ним. Может быть, любовь делала ее такой приниженной? А тут не надо было стыдиться своей необразованности.

Роза заметила, что мебель в доме неказистая, дом обставлен просто, но всюду царила чистота. Папа не выпускал из рук младенца, говоря:

– Вот видите, маленький Огюст не хочет от меня уходить, – потому что мальчик ухватился за него. Но внук мешал ему есть, а он проголодался – еда стала теперь для него главным удовольствием, и Мама сегодня особенно постаралась. Роза уложила маленького Огюста обратно в коляску, а тем временем Мама с гордостью подавала на стол на три су масла, на десять вина и кусок жареного мяса за два франка – такую роскошь они позволили себе впервые за много месяцев.

Как вкусно все получилось у Мамы, радостно думал Огюст, и Роза обсуждала кулинарные вопросы с Мамой и воспитание детей с Папой так, словно и тот и другой были самыми непререкаемыми авторитетами в этих областях, а важнее этих вопросов вообще нет ничего на свете. Огюст уже было окончательно успокоился – Роза с Мамой установили, что обе из Лотарингии, и это еще больше сблизило их, когда вдруг Роза умолкла, задумалась, словно вспомнила что-то.

Папа спросил:

– Что-нибудь случилось?

– Нет. – Роза тревожно поглядывала на Огюста. Огюст кивнул и сказал:

– Папа, а ты прав. Насчет маленького Огюста. Мальчик часто простуживается. Наша мастерская плохо отапливается, он может совсем разболеться.

Папа, восседавший во главе стола, как в старые времена, сказал:

– Ну и болван ты, Огюст!

Огюст улыбнулся, это было так похоже на старые времена.

– Чего же ты молчал? Ты хочешь, чтобы мы пока заботились о нем?

– Значит, вы согласны? – Огюст был явно удивлен.

– Хочешь, чтобы мы его к себе взяли? – спросила Мама.

– Он хочет, – сказал Папа. – Он понимает, что хорошо для ребенка. А вы что скажете, Роза?

– Мосье Роден, я…

– Папа, – поправил он ее.

– Мосье Роден, – повторила она, – для нас это большая честь, но…

– Одним словом, вы хотите оставить у себя это сокровище, – сказал Папа. – Вы хорошая мать. А нам нужны хорошие матери. Говорят, что во Франции рождается куда меньше детей, чем в других странах, и наша рождаемость все падает. Мы боимся обзаводиться большими семьями, мы не верим в будущее. А наш император не жалеет жизней, ввязывается то в одну, то в другую войну. Сначала Крым, потом Австрия, а теперь Италия. И все-таки

мы не должны внушать маленькому Огюсту, что родиться французом – несчастье. У нас для него всегда найдется лишний кусок мяса и тарелка супа. Может, я и не очень сильно разбираюсь в искусстве, не то что Огюст, но уж не такой ханжа, понимаю, что значит быть молодым.

У Розы глаза налились слезами, она бросилась Папе на шею и расцеловала его.

Папа часто заморгал, чтобы скрыть свои чувства, и сказал:

– Видите, значит, я не такое уж чудовище.

– Пожалуйста, любите маленького Огюста, – молила Роза. – Я знаю, что вы его полюбите.

– Я буду следить за тем, как он ест, а если будет плохо есть, накажу его, – ответил Папа. – А Мама будет вовремя укладывать его спать и чисто одевать, а когда подрастет, мы станем водить его в церковь.

Роза тихим голосом поблагодарила его. Папа сказал:

– И навещайте нас каждую неделю.

– Если Огюст позволит, – ответила Роза.

– Как это – позволит? – Папа был полон законного возмущения.

– В воскресенье он лепит, – пояснила Роза и испуганно посмотрела на Огюста.

Огюст, довольный тем, как шло дело, широко улыбнулся даже тогда, когда Папа сказал:

– Пусть отдохнет в воскресенье. Даже всевышний трудился всего шесть дней в неделю.

– Мы можем навещать вас вечером, – сказал Огюст, – а Роза может приходить и чаще, когда не позирует.

Папа соглашался со всем, как того и ожидал Огюст, и Огюст вспомнил о другом обеде, много лет назад, когда Клотильда высказала свой взгляд на любовь. Но он – это другое дело, он мужчина. Мужчине разрешено и прощается многое. А Роза как раз такая девушка, какую родители могли понять. Добродетельная, преданная, по-крестьянски экономная и скупая; набожная, когда он ей это позволял, и верная, верная ему во всем.

Но через несколько часов пришло время уходить. Роза при мысли, что придется оставить здесь маленького Огюста, расплакалась.

– Ну зачем так плакать, – говорил Папа, успокаивая ее; на этот раз он обнимал Розу. – Мы будем заботиться о внуке.

– Простите, что я такая слабая, – всхлипывала Роза, – но я буду так скучать без него.

– Я буду приносить его к вам, когда Огюст не работает, – сказала тетя Тереза.

– И я тоже, – сказала Мама. Мамино лицо сияло новым светом, Огюст не видел ее такой с тех самых пор, как умерла Мари. Мама сразу поняла, что Роза порядочная девушка, для которой материнство – это все. Может быть, они в конце концов и поженятся; Огюсту нужна такая Роза, чтобы заботилась о нем.

Папа вытащил еще одну бутылочку «Контро», они с Огюстом были любителями этого ликера. Когда никто не видел, Огюст сунул несколько франков в Мамину руку. Роза запела деревенскую колыбельную, чтобы успокоить младенца, который разревелся, напуганный всей этой суетой, и тетя Тереза присоединилась к ней. Теперь Роза радостно улыбалась. Если она на время и лишалась сына, зато обрела семью.

Как хотелось ей остаться здесь до того часа, когда надо будет укладывать сына спать! Но Огюст хотел работать; он вдруг начал проявлять признаки нетерпения, жаловаться, что в эти короткие зимние дни мало света.

Папа проводил их до бульвара Порт-Рояль и, когда пришло время прощаться, неожиданно поцеловал Розу. Мама тоже ее поцеловала, чтобы не отстать от Папы. Маленький Огюст остался дома на попечении тети Терезы.

2

В этот вечер Огюст не работал допоздна, как обычно. Он несколько изменил очертания фигуры «Вакханки», потом остановился и сказал, что Розе необходимо познакомиться с такими известными писателями, как Бальзак и Бодлер. Он читал ей отрывки из «Цветов зла» – он открыл, что Бодлер глубоко волновал его, а у Розы слипались глаза, и она выглядела утомленной.

Она находила чувственность этого поэта отталкивающей и грубой. Ей казалось, что она сама является предметом этой чувственности. И пока Огюст рассуждал о «трагическом восприятии мира» у поэта, она прикрыла свою наготу пальто. Когда она зевнула, не в силах больше сдерживаться, – Огюст уже час читал вслух, – он остановился и чертыхнулся. Потом взял себя в руки. Она смотрела на него непонимающим взглядом. Ее нежное тело тянулось к нему.

«Видимо, ее ничему не научишь», – подумал он, но сегодня эта мысль была лишена горечи. Он сказал нежно:

– Милая Роза, ты очень понравилась моим родителям.

– Они любят детей, – с неожиданным задором ответила она.

Роза удивительная, ради его блага готова на любые страдания. Он обнял ее с новой страстью. Но она – сама

противоречивость. Ей не нравился Бодлер, а сейчас в его объятиях прижалась к нему в чувственном порыве, позабыв о стыдливости.

«Глупо заниматься ее образованием, это испортит всю непосредственность ее безудержных ласк, ее порыв, ее бесстыдную любовь», – думал Огюст. Она была прирожденной вакханкой и отдавалась ему, забывая обо всем на свете. Но когда он сказал, что в будущем создаст скульптуру по мотивам Бодлера, иллюстрацию к его поэмам, Роза воскликнула:

– Он нехороший!

Утомленные, они разомкнули объятия.

Огюст заснул. Она лежала, прислушивалась к его дыханию и думала, что хотя он ранил ее гордость своим отказом жениться, признать законным их сына, сегодня он заживил эту рану, дал ей вновь почувствовать себя женщиной, достойной любви. И что бы он ни говорил и ни делал, – а она знала, он всегда будет поступать так, как ему заблагорассудится, несмотря на все ее протесты, – ей одной он дарил свою любовь. В этом было ее призвание и искупление. И он был прав насчет «Вакханки». Она может так позировать ему, что скульптура действительно получится великолепной. Он повернулся к ней и в полусне прошептал: «Милая Роза, какой замечательный живот», словно она была одной из тех статуэток, которые он обожал.

Огюст поставил ей всего одно условие: пусть позаботится, чтобы у них не было больше детей. А когда он заметил ее огорчение, то объявил:

– Роза, если ты забеременеешь еще раз, знай, я швырну тебя в Сену!

Глава XIII

1

Этот новый взрыв чувств повлиял и на «Вакханку», будущую Венеру, которая царила над всем в мастерской. И Роза стала для Огюста страстной любовницей, помощницей в мастерской и натурщицей по вечерам и воскресеньям.

Огюст, полный целеустремленности, веры в себя и энергии, принялся за работу. Он решил изобразить Розу дикой, необузданной, беззаботной, похотливой богиней. Он уничтожил старую фигуру. Он решил, что сама Роза, а не ее отдаленное подобие, будет «Вакханкой».

Она сопротивлялась, робко говорила, что такая нагота чересчур неприлична, что нельзя никому показываться обнаженной. Ему осточертели все эти кариатиды, заявил он, и он надеется, что никогда в жизни ему не придется больше лепить облаченную в одежды женскую фигуру, потому что гордость женщины – это ее тело.

Он стащил с нее пальто, ее единственное укрытие. Обнаженная, дрожащая, стояла она на станке для модели, не в силах побороть застенчивость и стыд, а он поглаживал ее бедра, спину, чтобы верно уловить их очертания. Она беспомощно вздрагивала под его прикосновениями. Затем он ощупал талию, и от его прикосновения в ней вспыхнуло бешеное желание. Она склонилась к нему, а он воскликнул:

– Прекрасно, прекрасно! Оставайся в такой позе! Роза застыла на месте, словно внезапно окаменев.

Он положил ей руки на бедра и потянул к себе, и Роза почувствовала, что больше не может этого выносить. Она боялась за свою душу. Он обнял ее, и она стала податливой глиной в его руках! Она была беззащитна перед ним в своем неприкрытом желании– таком необузданном, что это приводило ее в ужас.

– Больше чувства! – крикнул он.

Неужели он не догадывается, что она испытывает?

Огюст вновь пытался придать ей нужную позу.

– Не важно, – говорил он, – что она потеряла девственность, в ней нет уже прежней невинности – вот главное.

– Огюст, мне всегда надо будет позировать? Всегда.

– А как же наша любовь? – Любовь и есть работа.

– Всегда одна работа?

– Роза, ты опять переменила позу. – Он был в отчаянии. Нет,

она безнадежна. Вот теперь как-то жалко согнулась, а вакханка должна быть веселой, беззаботной, разнузданной.

– Ты меня не любишь, – сказала она, и в ее глазах мелькнула злость.

– Нет, не люблю, особенно когда ты так тупа, что не можешь запомнить простейшей позы. Я найду себе другую натурщицу.

– Нет! – Она обняла его. – Скажи мне, что любишь.

– Вот это уже лучше. Так и оставайся. Почти то, что надо. – Теперь Огюст работал стремительно и уверенно, делал набросок за наброском и при этом говорил: – Красота обнаженной женщины – красота от бога. Вакханка всегда должна быть в экстазе, она во власти животных порывов, одержима страстью, с которой не в силах совладать. Я изучал вакханок на греческих барельефах и вакханок Тициана, в них нет ничего чопорного и декоративного, они жизнерадостные, все в движении, полны желания и предвкушения близкого блаженства.

Его глаза так и сияли, он любовался ее страстью, и она не могла не подчиниться. Она тоже чувствовала себя богиней.

За следующие несколько сеансов «Вакханка» обрела новую женственность. Она была ростом более шести футов, куда выше, чем Роза в жизни, и высота эта придавала ей особую впечатляющую силу. Огюста беспокоил каркас, слабый, из дешевого металла, лучший был не по карману. Но мастерство было неоспоримо. Это доставляло ему огромное удовлетворение. Ваяние есть олицетворение мастерства – совершенства тела, мастерства натурщицы, мастерства ума, сердца и воображения художника.

Он закончил «Вакханку» и почувствовал облегчение. Она великолепна, прекрасна и монументальна. В порыве радости он обнял Розу.

– Салон должен принять ее, – сказал Огюст.

– Можно нам теперь навестить маленького Огюста? – спросила Роза. Они уже около месяца не видели сына, так он был увлечен работой.

– Потом, потом, – торопливо произнес Огюст, охваченный новой идеей. – Иди снова на станок.

– Ты же сказал, что «Вакханка» закончена. – Роза пришла в уныние, готова была вот-вот расплакаться.

– Мы навестим маленького Огюста на той неделе. Протяни-ка руки, словно держишь ребенка. Эта моя идея тебе наверняка понравится.

Роза чувствовала себя узницей. Удастся ли ей когда-нибудь по-настоящему привязать его к себе, думала она. «Вакханка» возвышалась над нею, и она готова была разбить ее на тысячи

кусков. Но это значило бы разбить всю их жизнь.

2

Хотя Огюст знал, что «Вакханку» еще предстоит доделывать, на душе было так легко, что руки летали словно сами по себе, и он проработал до ночи. Он понимал, Роза, конечно, огорчена тем, что они не навестили сына, но зато она останется довольной конечным результатом этой его работы, он был уверен.

С каждым днем Роза все больше скучала по ребенку, – позирование продолжалось без перерыва несколько недель, но, поняв замысел Огюста, она и сама увлеклась. Он работал над небольшой, высотой в один фут, фигурой Розы с младенцем на руках.

Законченная в гипсе скульптура обрадовала Розу до глубины души. Огюст был тронут выразительностью фигуры. Он отдал отлить ее в бронзе, хотя и сомневался, не сумасбродство ли это – на это ушли последние сбережения. И преподнес бронзовую статуэтку Розе как награду за позирование для «Вакханки». Роза – вечная пленница своей любви – прижала к груди фигуру матери и ребенка. Для нее статуэтка была своего рода свадебным подарком, и Роза поставила ее на комод как свидетельство любви Огюста. Она еще страдала от мысли, что весь свет увидит ее наготу в «Вакханке», но этот подарок она будет хранить всю жизнь.

3

Несколько дней спустя Огюст получил свой первый заказ. Доктор Арно был средних лет парижанином, которого только что назначили преподавателем в Высшую школу медицины, и ему потребовался бюст для вестибюля школы.

Кто порекомендовал его, удивился Огюст, и оказалось, что Фантен-Латур. Доктор пожелал, чтобы его представили в самом лучшем виде-за сто франков. Гонорар жалкий, но это был первый заказ, и Огюст согласился. «Потребуется не меньше десяти-двенадцати сеансов», – сказал он доктору, и тот пришел в ужас.

– Это слишком долго, – заявил доктор Арно. – Нам незачем терять попусту время. Вы заметили, что я похож на Наполеона I, Победоносного?

Доктор Арно был коротышкой, на этом, по мнению Огюста, и заканчивалось его сходство с императором. Однако кивнул в ответ, подумав, что, возможно, доктор обладает тем же духом, что и император.

В то воскресенье, когда доктор явился на первый сеанс, неожиданный холод обрушился на Париж. Сосульки слезились за окном мастерской, и от печки шел неприятный запах. Доктор с некоторым сомнением положил свой шелковый цилиндр на стул, – правда, несмотря на видимую бедность, мастерская содержалась в чистоте. Он подумал, что, пожалуй, стоило заказать бюст, не дорожась, у более известного скульптора. Этот Роден явная посредственность, раз живет в такой нищете. Тем не менее держится он властно. Доктор сел и был поражен тем, с каким подъемом скульптор взялся за работу. Но доктор был разочарован, когда после первого сеанса не увидел зримых результатов.

К четвертому сеансу доктор Арно уже не скрывал своего нетерпения. Нос и лоб появились на свет, но разве это его нос и лоб? Они никак не отвечали общепринятым нормам. Он хотел выглядеть вельможей, а скульптор делал из него мелкого буржуа. Внезапно доктор Арно понял, что этот бюст может его погубить.

– Вы делаете меня слишком толстым, – заметил он.

– Но у вас второй подбородок, – сказал Огюст, стараясь быть вежливым.

– Не такой уж обширный. Разве вы не знаете, что такое быть скульптором?

Озадаченный Огюст еще раз обследовал полузаконченный бюст. Он вполне соответствовал действительности: доктор Арно был круглолицым и толстым.

Заказчик, рассерженный тупостью скульптора, грозно потребовал, чтобы тот изменил бюст; кроме того, он вообще чувствовал себя неловко здесь: и от мастерской и от самого скульптора так и несло нищетой.

Хотя на улице стоял пронизывающий холод, а в мастерской было лишь чуть теплее, Огюст работал с засученными рукавами; он еще раз внимательно изучил доктора Арно, нет, он не станет кривить душой. Ни за что на свете. И все же он попытался тактично убедить доктора, что ему потребуется всего лишь час, чтобы полностью закончить заготовку.

– Но только один час, Роден, – повторил доктор. – Я очень занятый человек.

Огюст работал с лихорадочной торопливостью, а сам думал, что у доктора маленькая голова и толстое лицо, а он хочет, чтобы его изобразили с большой головой и худощавым лицом. «Как у Виктора Гюго», – потребовал заказчик; в связи с неудачами в Мексике[37] доктор Арно разочаровался в империи.

После часа поспешной работы заготовка была закончена. Доктор Арно, который сознавал теперь свое преимущество,

презрительно посмотрел на бюст и заявил:

– В нем нет утонченности. Простите меня, но этот бюст словно рубили топором. Голова слишком плоска, Слишком маленькая.

– Мосье, но большая голова никак не соответствует вашему короткому туловищу.

– Я явился сюда не за тем, чтобы вы учили меня анатомии, Роден.

– Мосье, я хочу глубже передать вашу сущность.

– Нет, это просто кошмар. – Нос, величина которого и так всегда раздражала доктора, подавлял остальные черты. Этот негодяй придал его и без того грубоватому лицу еще больше простонародности. Доктор Арно вскочил на ноги и воскликнул:

– Никуда не годится! Меня никто не будет уважать в Школе, – и, схватив цилиндр, бросился вон, прежде чем Огюст успел спросить о плате.

Огюст рассказал обо всем Фантен-Латуру, и тот посоветовал:

– Друг мой, тебе следовало польстить и сделать его красивым. Ну что тебе стоило?

– А ты бы пошел на это?

– За сто-то франков? Ты ведь бедняк.

– Нет, ты бы пошел на это?

– А как ты думаешь, почему я до сих пор пробавляюсь натюрмортами?

4

Чтобы как-то поддержать Огюста, Фантен-Латур вскоре прислал к нему молодую даму и посоветовал: «Требуй плату вперед».Огюст сделал такую попытку, но упомянул лишь стоимость расходов на материалы, а не общую сумму гонорара. На что хорошенькая мадемуазель Рене Дюбуа ответила, что бюст должен быть недорогим, скромным, простым, франков за семьдесят пять, и предпочтительно ограничиться одним, ну, двумя сеансами, и не будет ли он так любезен подтопить мастерскую? А то она быстро мерзнет, даже в апреле.

На материалы ушли все деньги, и к первому сеансу не осталось ни гроша на дрова. В отчаянии он послал Розу на розыски.

Роза вернулась с двумя парами старых кожаных башмаков, изношенных до дыр, и швырнула их в печь, чтобы поддержать гаснущее пламя, но, когда мадемуазель удобно расположилась на станке, радуясь теплу, вонь от горящей кожи стала невыносимой. Роза плеснула водой, запах стал удушающим, а мадемуазель с

криком «мне дурно» упала в обморок.

Пришлось прыскать на нее холодной водой, чтобы привести в чувство, и она совсем закоченела. Огюст бросился в аптеку за лекарством, чтобы вернуть свою модель к жизни, и задолжал там десять франков. К тому же мадемуазель пригрозила, что подаст в суд за ущерб, причиненный ее здоровью.

Тут Огюст решил, что с этой мастерской добром не кончится. Он разыскал экипаж для Рене Дюбуа и вернулся домой раздраженный и сердитый. В тот вечер он объявил Розе, что найдет мастерскую получше, чего бы это ни стоило.

5

Через месяц Огюст нашел более подходящую мастерскую на бульваре Монпарнас, около улицы Вожирар.

– Обойдется всего на двадцать франков дороже, – заявил он Розе, очень довольный. – Прямо дворец по сравнению с нашей конюшней. – Дело стало лишь за деньгами на переезд.

С помощью Папы ему удалось одолжить повозку, правда, без лошади – на лошадь денег не хватило. В повозке могли поместиться почти все его пожитки и скульптуры, но кое-что не умещалось, и он обратился за советом к Фантен-Латуру.

Тот немедленно нашел выход из положения.

– Мы поможем тебе переехать. Мы все – Ренуар, Далу, Моне, Легро и Дега.

– Дега и Моне? Да они не согласятся пачкать руки, – сказал Огюст.

– Нет, согласятся. По крайней мере Дега. Это будет для него случаем покритиковать тебя. И к тому же ты ему нравишься, Огюст, хотя он иногда и держится с тобой свысока.

В утро переезда друзья явились все, каждый поодиночке, но влекомые общим чувством любопытства, – Огюст был очень скрытным, когда дело касалось личной жизни и работы.

Они были весьма удивлены, обнаружив, что мастерская почти пуста, за исключением нескольких скульптур и личных вещей Огюста, а они прослышали, что с ним живет некая мадемуазель, причем не уличная девица, а приличная девушка из деревни. Но Огюст заранее отослал Розу вместе с вещами к родителям под предлогом, что переезд ей не по силам. В действительности же потому, что не хотел, чтобы друзья совали нос в его личную жизнь, и не желал выслушивать их шуток и насмешек.

Как бы то ни было, он был благодарен художникам за то, что они пришли. Фантен с его ровно подстриженной ван-дейковской бородкой-предметом его особых забот, и большим носом; Ренуар

с его светло-рыжими усами; Далу с изможденным резким лицом; и Легро, у него такая гордо посаженная голова, что так и просится ее вылепить; Моне с его квадратным бородатым лицом и белозубой улыбкой; и Дега, он как обычно плелся в хвосте, прикидываясь сторонним наблюдателем, длинный нос и большие глаза выделялись на его лице, украшенном усами и обрамленном аккуратно подстриженной острой бородкой, – прямо как на картинах его любимого мэтра Энгра.

За последнее время Огюст сделал еще несколько небольших скульптур, и все задержались, рассматривая их, прежде чем грузить на повозку.

– Ты немало поработал, Роден. А все молчишь, – заметил Фантен.

– А какой толк от разговоров? От этого работа не становится лучше, – ответил Огюст.

Фантен рассмеялся:

– Ты такой же скрытный, как и наш друг из Экса, Поль Сезанн. И такой же упрямый. Стоит кому-нибудь вступить в спор с Сезанном, как тот сразу пускается наутек.

– Не всегда, – сказал Ренуар. – Сезанн требует, чтобы организовали еще один «Салон отверженных».

– Все потому, что Салон его отверг, – сказал Фантен. – Но теперь-то никто из вас не станет его поддерживать, раз вас приняли в Салон.

– Меня не приняли, – сказал Огюст.

– Наш великий и знаменитый Салон художников и скульпторов Франции, – саркастически заметил Дега. – Я вам всегда говорил, что мы придаем ему слишком важное значение. Большинство художников попадает туда благодаря протекции своих учителей, которые являются членами Академии и голосуют в их поддержку. Или они еще более бесчестны и ведут торговлю со своими коллегами на таком условии: «Я проголосую за вашего ученика, если вы проголосуете за моего». И так сто раз в год. Как можем мы серьезно относиться к тому разврату, который царит в живописи и скульптуре?

Фантен увидел «Вакханку» и сказал:

– Держу пари, что Роден серьезно относится к Салону. Это ведь твое произведение, не правда ли, Роден?

– Да, – подтвердил Огюст.

– Внушительно, – сказал Фантен. – Для Салона?

– Возможно, – ответил Огюст.

Внимательно рассматривая «Вакханку», Далу заметил:

– Уж не надеешься ли ты продать ее, Роден? Кого она изображает?

– Мадонну, – предположил Фантен. – Или, может, Диану?

– Нет, что ты, – сказал Далу, – она слишком…

– Чувственная, разнузданная, – докончил Ренуар. – Посмотри только на эти острые груди, на эти напряженные жаждущие бедра. Они говорят сами за себя.

– Держитесь подальше, – посоветовал Далу. – А то она еще набросится на вас.

Огюсту хотелось куда-нибудь спрятаться.

– Это вакханка, – пояснил он.

– Вакханка? – недоверчиво переспросил Далу.

– Вакханка-Афродита, – сказал Ренуар. – Жизнь так и бьет в ней ключом. Что ни говорите, а в ней чувствуется радость бытия.

– Она непристойна, – сказал Далу.

Ренуар ответил:

– Ну а тебе-то что? Она ведь не твоя любовница.

– Я не о том, – сказал Далу. – Она слишком громоздка, слишком необузданна.

Огюст разозлился:

– Мне осточертели эти глупенькие Венеры в стиле Буше, Дианы в стиле Гудона. Гудон создал хорошие портретные бюсты, но его Дианы безжизненны. И почему обнаженная натура должна быть всегда красивой? Почему я не могу сделать вакханку страстной, а не просто глупой и невыразительной?

– Эту вещь Салон никогда не примет, – заметил Далу.

– О единственный и неповторимый Салон, – отозвался Огюст. – Если бы только можно было продавать свои вещи где-нибудь еще.

Ренуар прикоснулся к «Вакханке» и сказал:

– Если вам хочется потрогать или погладить статую или женщину на картине, значит, она живая.

– Но где же приличия? – воскликнул Далу. Ренуар улыбнулся и ответил:

– Господи, Далу, да какое это имеет значение? У тебя что, шоры на глазах? Разве ты не умеешь чувствовать? – Он красноречивым жестом указал на «Вакханку». – Человек, который так умеет передавать форму бедер и грудей, наверняка наделен талантом. А ты все видишь шиворот-навыворот.

– Я вижу то, что мне следует видеть, – ответил Далу. – Я предпочитаю, чтобы в моих работах было больше вкуса.

Ренуар возмутился:

– Да разве скульптура чего стоит, если к ней не хочется прикоснуться? Особенно если это статуя обнаженной женщины. А ты предпочитаешь напыщенные пародии на античность. Ты решил стать модным скульптором, делать портреты светских красавиц и

прилизанные ню, словом, как сказал Дега, заниматься скульптурным блудом. Чтобы носить шелковый цилиндр и пальто на меху, разгуливать с тросточкой и в желтых перчатках, а на всех нас, кому меньше повезло, смотреть с презрением.

– Салон принял мою работу, – гордо заявил Далу.

– Вот именно, – сказал Ренуар. – Твое самолюбование не имеет предела.

Далу побледнел. Казалось, Далу сейчас бросится на Ренуара. Но вместо этого Далу повернулся к Моне и сказал:

– Если ты действительно близкий друг мосье Ренуара, каковым себя считаешь, ты должен оказать ему услугу и посоветовать бросить живопись. Ты же видишь, что у него нет никакой надежды на успех.

Моне пожал плечами:

– Да все, кто хотят творить, – безумцы. – Он взял в руки голову «Миньон». – Мне она нравится. У нее красивое, волевое крестьянское лицо.

Далу, желая показать, что и он может быть справедливым, взглянул на «Миньон» и похвалил:

– Это уже лучше. Тут чувствуется реализм. И почему ты, Роден, тратишь время на монументальные произведения, которые никому не нужны, когда мог бы делать вот такие наивные, очаровательные головки? И где ты только выискал такую натурщицу? На танцульке, что ли? Или на цветочном рынке? А может, на панели? Или в каком-нибудь «приюте любви»?

– Какая тебе разница, – ответил Огюст. Далу сказал:

– Она не похожа на профессиональную натурщицу. Это что, твоя любовь?

Огюст молчал.

– Хорошенькая, – продолжал Далу. – Не какая-нибудь тощая прачка или замухрышка-мидинетка. У нее красивое лицо. Сестра?

– Моя сестра умерла.

– Может, у тебя есть сводная? Ты вроде говорил.

– Эта девушка мне не родственница.

– Чего прятать ее от нас? Она очень хорошенькая.

Фантен оборвал его:

– Перестань, Далу. Нечего завидовать. А лицо и верно прекрасное.

– Точно, – подтвердил Ренуар. – Можно, я ее понесу?

Огюст кивнул.

Они принялись складывать на повозку вещи, и Далу с Фантеном обнаружили «Человека со сломанным носом». Далу он сразу не понравился, Фантен восхитился, а Дега усмехнулся.

– Право, не знаю, Роден, – сказал Дега, – умеешь ли ты

замечать прекрасное, но на уродливое у тебя просто талант. Это же гротеск.

– Именно таково было мнение Салона, – ответил Огюст. – Его отвергли.

Дега пожал плечами:

– Это понятно. Он противоречит общепринятым нормам.

Фантен ощупал «Человека со сломанным носом», восхищаясь грубой моделировкой и особенно носом, и опросил:

– Можно мне его нести? Огюст колебался.

– Ты мне не доверяешь? – удивился Фантен. – Или хочешь, чтобы его взял Далу?

– Тебе я доверяю. А Далу нет, – коротко ответил Огюст.

Они уже почти закончили укладывать вещи, когда обнаружили бюст отца Эймара. Ободренный интересом Фантена и Ренуара, Огюст пояснил, что сделал эту голову в монастыре.

– Да это выдающаяся вещь! – сказал Фантен. – Почему ты ее не выставишь?

– Где? Салон отверг «Человека со сломанным носом», а он лучше.

– Они еще не созрели для таких вещей, – заметил Фантен.

Огюст сухо прибавил:

– Большинство людей для них не созрело. Отец Эймар говорил, что ему нравится, а когда умер в прошлом году, его семье бюст не понадобился, и они отдали его мне.

Теперь все вещи были погружены, и «Вакханку» осторожно уложили в повозку. Огюст закутывал ее влажными тряпками, а Ренуар разглядывал и говорил:

– Вы только посмотрите, какой совершенный у нее живот, какая прекрасная грудь! У нее не классически правильный профиль, но ясно, что это благородная натура. А какой зад! Да это само совершенство!

Энтузиазм Ренуара был столь искренним и заразительным, что все расхохотались, даже Далу и Дега.

Каждый нес что-нибудь в руках, и в дверях они любезно пропускали друг друга. Сейчас их, таких разных, объединил дух товарищества. Тут они были членами одной корпорации. Ренуар с любовью прижимал к себе «Миньон»; Фантен осторожно нес «Человека со сломанным носом»; Далу нагрузился инструментами; Легро нес зеркало, которое наверняка бы разбилось в повозке, подпрыгивавшей на неровных булыжниках мостовой; Дега достался самый легкий предмет – бронзовая статуэтка матери и дитя; сильный Моне помогал Огюсту тащить тележку.

Стояло ясное майское утро, и у всех было радостное

настроение. Дорога по бульвару Монпарнас большей частью шла в гору, и они словно поднимались из тьмы к свету, от ожидания к свершению.

А вокруг громыхали парижские фиакры, экипажи, кабриолеты, кареты с ливрейными лакеями, омнибусы. Постепенно район становился все беднее; навстречу попадались крестьяне, которые несли кур с такой осторожностью, словно это были произведения искусства, старики в синих выгоревших блузах. Начали встречаться некрашеные дома, теснившиеся плотными рядами, с мансардами под крутыми шиферными крышами.

Они достигли вершины холма, и оттуда Огюст увидел множество церквей, а за ними вдали Нотр-Дам, как всегда величественный и прекрасный. Казалось, перед ним открывается новая жизнь.

Как чудесно, что они переезжают в такой радостный весенний день, когда так тепло светит солнце и все в цвету! Огюст вновь чувствовал себя молодым и счастливым. Даже серые булыжники мостовой сияли под яркими лучами.

Внезапно колесо тележки наскочило на сломанный булыжник. «Вакханка» опасно накренилась. Огюст вздрогнул. Он вдруг ощутил страшную усталость: им приходилось то толкать, то тянуть повозку, хотя Моне помогал изо всех сил, да и остальные тоже не отставали, когда возникала необходимость. Огюст на мгновение растерялся. Может, стоило попытаться нанять лошадь.

Фантен принялся командовать, и повозка покатилась дальше. «Вакханка» вновь легла на место, и Огюст вздохнул с облегчением. Для него это самая важная работа, что бы там ни думали о ней другие.

Огюст снова энергично толкал повозку – новая мастерская была уж близко, – и он казался себе Атлантом, держащим на плечах земной шар. Колеса у повозки трещали от тяжести, но они были уже почти у дома. Еще пять минут – и самое трудное останется позади.

Огюст успокоился. Вот и мастерская. И вдруг небо Парижа, города, который был для него самым прекрасным на свете, омрачилось. Колесо повозки треснуло на неровном булыжнике и от старости и перегрузки распалось. Повозка вырвалась из натруженных рук Огюст а и налетела на фонарный столб. «Вакханку» выбросило прямо на булыжники, и она разбилась на мелкие куски.

Огюст в ужасе застыл на месте. От удара о мостовую раскололась голова «Вакханки». Он-то думал, что «Вакханке» предстоит долгая и славная жизнь, и вот в один миг все погибло.

Фантен бросился подбирать куски, но это было бессмысленно. Далу поднял кусок погнутого каркаса и объявил:

– Это все из-за дрянного каркаса. Он не крепче жести.

Дело не только в этом, с горечью думал Огюст, просто ему не везет во всем; это расплата за его честолюбие.

Дега сказал:

– Какая жалость, Роден! Какая неудача!

Все были подавлены и в молчании принялись разгружать повозку. Радостная прогулка кончилась. Это уже были печальные похороны. Вещи быстро перетаскивали в помещение. Никто не решался прикоснуться к разбитой «Вакханке». Огюст был совсем убит. Друзья, прощаясь, выражали ему свое сочувствие и желали всего хорошего, а он отвечал им печальной улыбкой.

Люди шли по бульвару Монпарнас, освещенному мягким полуденным солнцем, некоторые обходили куски глины, другие отпихивали их ногой. Какой-то ребенок принялся играть обломками головы. Огюст беспомощно взирал на все. Человек – это песчинка в круговороте событий! Ничтожная песчинка! Как глупо было воображать, что он может стать художником, великим скульптором.

Привратник вышел из дома и спросил:

– Мосье Роден, это не ваш мусор? – он был недоволен беспорядком. Все эти люди искусства такие неопрятные.

– Нет, не мой, – ответил Огюст. – Больше не мой. Привратник растерянно посмотрел на него, но скульптор не стал ничего объяснять.

– Можно подмести?

– Как хотите. – Огюст испытывал такую усталость, такую опустошенность, что это даже пугало его.

Часть третья. Путешествия

Глава XIV

1

Теперь Огюст поставил себе целью прочно стать на ноги. После гибели «Вакханки» он решил найти заработок.

Навестил Лекока, который возглавлял Малую школу. Он не представлял себе, что искать, но был уверен, что учитель ему поможет.

Однако Лекок не знал, как помочь. Учитель только хорошо понимал, к чему Огюст неспособен. Лекок сказал:

– Вы не годитесь в преподаватели, у вас характер не тот. Но и не в каменщики же идти – потеряете технику. Да и простым исполнителем быть не можете, чтобы осуществлять чужие идеи. Любой ремесленник, у которого достаточно сильные руки, может обтесывать камень и мрамор, но это не для вас, вы неспособны выполнять чужую работу.

– У меня нет желания делать и свою собственную.

– Чем вы зарабатывали раньше?

– Работал орнаментщиком. Стал настоящим знатоком, хотя меня это не увлекало.

– А сейчас, дорогой друг, вы отвергаете все на свете.

– Нет, мэтр, не совсем так.

– А как, Роден? Думали, ваяние – романтичное и забавное приключение? И теперь разочарованы, Я никогда не пытался создать у вас подобного впечатления.

– Если вы меня кому-нибудь не порекомендуете, на кого же мне надеяться?

Лицо Огюста выражало такую безысходность, что Лекок невольно улыбнулся. Роден готов к подвижничеству; пожалуй, оно и лучше, подумал Лекок, может быть, ему как раз и не хватает самодисциплины. Но при этом Лекок сознавал, что все это пустые рассуждения. Он и сам был утомлен, раздражен. У него своих забот было полно. Административные обязанности тяготили его и почти не оставляли времени для преподавания. Новое положение и возросший доход связывали его, и тем не менее он не хотел расставаться ни с тем, ни с другим. Он решил познакомить Родена со всеми обстоятельствами, и пусть сам решает. Перед ним стоял уже не юноша, а взрослый мужчина.

– Я должен прилично зарабатывать, – заявил Огюст. – Если уж работать не разгибая спины, то чтобы хоть платили хорошо. Лекок сказал:

– Я могу порекомендовать вас Каррье-Беллезу[38]. Это один из самых известных скульпторов.

– Я слыхал о нем. Он был вашим учеником, мэтр?

– Да, но теперь помалкивает об этом. Он стал модным. Его бюсты Наполеона III, Делакруа, Ренана[39], Жорж Санд и многих других принесли ему славу. Он не успевает с заказами. Нанимает помощников, хотя и не называет их таковыми.

– А как же он их называет?

– Служащими. Чернорабочими. Но он платит лучше, чем другие.

– А я ему подойду?

– Господи, до чего же вы дошли!

– Он возьмет меня на работу?

– С моей рекомендацией возьмет. Беллез считает, что я растратил свои силы на преподавание, но что у моих учеников хорошие основы. Рекомендовал ему уже многих.

– Многих? – недоверчиво переспросил Огюст.

– Они приходят и уходят. Он очень строг, а не все согласны быть только исполнителями, скульпторами без имени. Друг мой, имейте в виду, это серьезный шаг.

– Очень прошу вас, мэтр, порекомендуйте меня. Лекок предостерег:

– Вы будете лепить – это верно. Но вряд ли чему научитесь, о вас никто не будет знать, и вам придется заниматься вещами, которые я вас научил презирать.

– Но вы порекомендуете? Ведь вы говорите, он хорошо платит.

– Не хорошо, а лучше других. – Лекок вздохнул. – Очень надеюсь, что вы это переживете. У вас такие хорошие основы, и будет жаль, если все пойдет насмарку. – Он служит для этого молодого человека чем-то вроде маяка, предупреждая его о подводных рифах, мелях и скалах, а может, он и преувеличивает эту свою роль.

– Я поговорю с ним, – сказал Лекок, – и, уж пожалуйста, потом не казните себя.

2

Огюст начал работать у Каррье-Беллеза. Он считал, что ему повезло. Лекок слишком склонен к пессимизму, таков уж характер. Огюст надеялся, что его первый шаг на поприще коммерческой скульптуры будет небезуспешным.

Он заверял Розу: «Я быстро освоюсь, Каррье-Беллез опытный скульптор». И она соглашалась, понимая, как он нуждается в

такой поддержке.

Каррье-Беллез был красивым мужчиной средних лет, румяным, круглолицым, с высоким лбом и длинными, аккуратно зачесанными назад волнистыми волосами. «Очень выразительное лицо», – подумал Огюст. Развевающийся галстук и рубашка с широким воротником довершали внушительный портрет скульптора-аристократа восемнадцатого века.

Каррье-Беллез любезно приветствовал его; тяжелая, украшенная камнями цепь сияла на толстом животе мэтра. Огюста рекомендовали ему как серьезного работника, и это был их первый и последний разговор. Каррье-Беллезу некогда было растрачивать время на служащих. Его бюст Наполеона III сделал его самым известным скульптором Второй империи. Ему недосуг было лепить самому, все время уходило на получение заказов, их было куда больше, чем он мог выполнить сам. «Произведения искусства», вышедшие из мастерских Беллеза, украшали многие модные салоны. Он был полон решимости занять прочное положение в парижском обществе, которое, по его мнению, строго разграничивало всех людей на два класса – состоятельных и неимущих. Беллез терпеть не мог того, что называл «запахом бедности». У него еще не изгладились воспоминания нищего детства, и он пришел к выводу, что на земле, существует лишь одна вещь, которая способна изменить такое положение: деньги. Работа и он сам – больше для него ничего не существовало.

Каррье-Беллез представил его главному мастеру, и с этого момента Огюст видел только затылок и спину великого скульптора. В мастерской существовала жесткая установка: только сам мэтр имел право обращаться к другим. Все зависело от мэтра – работа, разговоры, указания.

Огюст не мог даже выбрать себе работу по вкусу. Все наброски и замыслы выполнялись Каррье-Бел-лезом, затем передавались главному мастеру, который в свою очередь передавал их Огюсту, и Огюст создавал вполне законченные модели из глины в манере Каррье-Беллеза. Роден, как и остальные служащие, считался копиистом, подмастерьем. Затем глиняные модели отливались в бронзе, выполнялись в мраморе, а Каррье-Беллез подписывал их и продавал.

– Он прав, – печально сказал Огюст Розе. – Работу с моей подписью не продашь и за су.

– Когда-нибудь продашь, – уверяла его Роза, хотя была не очень уверена.

– Надежд мало. Из сотни скульпторов разве что один зарабатывает на жизнь своими работами.

Огюст приобрел особое умение и сноровку, работая

орнаментщиком, и ему поручили небольшие обнаженные фигуры, женские и мужские, высотой в один фут, предназначенные для будуаров, гостиных и лестниц. Огюст становился все мрачнее; все сильнее было желание создавать крупные скульптуры, а у Каррье-Беллеза это не полагалось.

Для Каррье-Беллеза обнаженная фигура была наиудобнейшим способом проявить техническое совершенство исполнения, а главное-способом заработать деньги. Его ню пользовались огромным спросом, потому что не могли оскорбить ничьих взоров, даже взора самого императора, так как были по существу почти бесполы.

И чем сильнее старался Огюст, тем труднее ему приходилось. Он ненавидел эти ню. Тут придерживались самых посредственных традиций школы Фонтенбло. Мужские фигуры должны быть красивыми и изящными – в духе классических традиций, как заверял своих заказчиков Каррье-Беллез, и абсолютно лишенными мужества. А от обнаженных женских фигур Огюст просто приходил в отчаяние: это были смазливые красотки в стиле Ватто, с мягкими округлыми формами и тонкой талией, некое подобие песочных часов, как это было сейчас модно, прилизанные до невозможности.

– Такие только для евнуха, – ворчал про себя Огюст. Мало того, что он продал Каррье-Беллезу свое умение, – тот навязал ему и свои идеи.

Он не смел жаловаться Лекоку. Огюст попытался было придать обнаженным фигурам какую-то индивидуальность, но мастер уничтожил их, пришлось делать все заново и притом бесплатно.

А когда доведенный до отчаяния Огюст, работая у Каррье-Беллеза уже много месяцев и успев произвести несчетное множество безликих обнаженных фигур, забылся и сделал мужскую фигуру энергичной, полной жизненной силы, его сочли чуть не преступником. Мастер позвал мэтра, и тот пришел в ужас от мускулов, украшавших мужской торс. Он резко заметил:

– Роден, вы воображаете себя Микеланджело, а вы просто болван. Еще одно подобное произведение – и можете убираться. Это отвратительно. Вы сошли с ума…

Огюст, которому казалось, что на него снизошло вдохновение свыше, когда он работал над «Вакханкой», теперь чувствовал себя отупевшим и никчемным. Он выполнял здесь ту же работу орнаментщика, разве только более замысловатую. Но он смирился. Он знал, что ему недоплачивают – он получал лишь ничтожную часть той крупной суммы, которую Каррье-Беллез выручал от продажи его работ, – но он зарабатывал теперь куда

больше, чем прежде. И не хотел вновь оказаться в нищете, по крайней мере по собственной воле.

3

Огюст перебрался на Монмартр, поближе к мастерской Каррье-Беллеза. Утром, позавтракав вместе с Розой, отправлялся на работу. Он уже больше не навещал друзей в кафе Гербуа, не искал встреч с ними и не работал вечерами и по воскресеньям над собственными произведениями, разве что изредка, только для практики. Домой он возвращался усталым и равнодушным и брался только за небольшие вещи.

– Безделушки, – называл он их Розе. Жизнь стала серой и однообразной.

Роза готова была позировать, стоило только захотеть, но, когда она говорила об этом, он злился. Ее обижало его безразличие. Она боялась, что Огюст больше не нуждается в ней. Она предложила:

– А почему бы тебе не начать другую «Вакханку»?

Огюст посмотрел на нее так, словно она сказала глупость.

Он чувствовал себя совсем состарившимся. Ему уже двадцать семь, никогда, видно, не представится возможность заниматься собственной работой. И когда Роза сказала, что надо взять обратно сына, он закричал: «Ни за что!». Он не объяснил причины, но Роза знала, что лучше и не спрашивать. Только этого ему не хватало – смотреть на маленького Огюста и сознавать, что вот такой ценой заплатил он за «Вакханку», и то понапрасну.

По воскресеньям они навещали родных и маленького Огюста, а в хорошую погоду гуляли в Булонском лесу и по Большим бульварам. Огюст не заходил в Лувр и Люксембургский сад; слишком мучительно было сознавать, что он не может считаться даже «начинающим скульптором»[40].

Он был нежен с Розой, словно искал объект для переполнявших его чувств. Он старался быть ласковым и внимательным к сыну. Маленький Огюст уже научился ходить и все больше становился похожим на мать, хотя у него был рот отца и его рыжие волосы. Но он часто плакал и капризничал, обнаружив, что это лучший способ растрогать дедушку, который баловал внука так же сильно, как прежде держал в строгости сына. А Огюст не терпел плача и бурных проявлений чувств. Поэтому в его присутствии на ребенка шикали, и от этого всем становилось неловко.

Иногда Огюст встречал на улице Ренуара, который жил поблизости в квартале Батиньоль, и от него узнавал, что

остальные его друзья по-прежнему стараются добиться известности, побороть влияние Салона. Как он далек от всего этого, – думал Огюст.

Он продолжал всех избегать, но как-то в воскресенье, когда они с Розой прогуливались по бульвару Клиши, им встретился Дега.

Бежать было поздно, и к тому же Дега, с церемонным поклоном приподняв шелковый воскресный цилиндр, уже обратился к Розе:

– Здравствуйте, мадам.

Огюст не представил их друг другу, а просто сказал:

– Ты хорошо выглядишь, Дега.

– Это только кажется, – ответил Дега. – Но ты не единственный, кто так заблуждается.

– Вы больны, мосье? – спросила Роза.

– Не опасно, мадам, – отозвался Дега. – Причина моей болезни – наш император. Он настолько глуп, что все при нем делаются республиканцами. К чему это приведет – неизвестно!

– Надо надеяться, он не втянет нас в новую войну, – заметил Огюст.

– Хорошо, если бы так, – сказал Дега, – но он беззаботен, этот наш император, старается угодить всем и каждому. – Тут он заметил, что Огюст чувствует себя неловко, хотя молодая женщина с ним, пусть явно не дама, но она красива и привязана к нему. Он сказал: «Мадам, рад был встретиться с вами» – и двинулся дальше. Роза спросила:

– Кто это, Огюст?

– Эдгар Дега, – ответил Огюст. – Мой друг, он художник.

– Он так хорошо одет, – восхитилась Роза.

– У него есть средства, – с горечью сказал Огюст.

– Ты завидуешь ему, дорогой.

– Нет, не завидую! – Но он завидовал, и очень. – Тебе нравятся картины мосье Дега?

– Роза, ну какое это имеет значение?

– А все-таки?

– Он не умеет лгать. Пишет то, что видит, и не считается с чужим мнением.

– А твои работы ему нравятся?

– Зачем это тебе знать?

– Он такой вежливый, – грустно сказала Роза.

– О да, у него прекрасные манеры, когда он этого хочет. Но тебе повезло. Он может быть очень грубым, если кто ему не по вкусу.

– Со мной он не был груб.

– Потому что ты для него пустое место.

4

После трехлетней работы у Каррье-Беллеза Огюст отяжелел и раздался в груди и плечах. Эта постоянная лепка, одна фигура за другой, непрерывной вереницей, придала удивительную силу и ловкость его рукам. Он мог лепить с закрытыми глазами. У него всегда был мрачный вид, но это ему шло, и он хорошо выглядел, хотя его это возмущало, – ведь он считал себя неудачником. Жизнь проходит, он так и не стал скульптором. И впереди никакого просвета, а ему скоро тридцать.

И вот в 1870 году Наполеон III ввязался в войну с Германией.

Император, который все носился с замыслами о великой империи и хотел одним махом подчинить себе всю Европу, оказался втянутым в военную авантюру, куда более опасную, чем хотелось, в такую войну, какой он совсем не желал, и не был уверен, что выиграет. Он стоял во главе армии, в силы которой не верил, и к тому же все яснее сознавал, что в военных делах далеко ему до Наполеона.

Почти все знакомые Огюста в Париже были уверены, что просвещенная Франция победит варварскую Пруссию. Неверящие исчислялись единицами. Пруссию поставят на место, вся страна верила в это и предвкушала победу.

У Огюста не было денег, чтобы заплатить за себя выкуп, и его зачислили в национальную гвардию. Он не рвался в бой: ненависти к немцам у него не было, но в армии он загорелся патриотическими чувствами к прекрасной Франции. Все распевали «Марсельезу» и кричали: «Да здравствует французская армия!». Огюст представлял себе, как он вместе с победоносными войсками дойдет до Берлина, но его назначили в резерв.

Он получил чин капрала, так как умел читать и писать.

В эту необычайно холодную зиму 1870-71 года он отличился дважды: во-первых, отморозил ноги, после чего пришлось носить деревянные башмаки, и, во-вторых, тем, что, обеспокоенный, как бы не отморозить и свои драгоценные руки, получил прозвища «Серьезный капрал» и «Капрал в деревянных башмаках». А Роза содержала в это время всю семью, шила солдатские рубашки по франку за час.

Тем временем Наполеон III убедился в правоте своих сомнений. Германия выиграла войну за шесть недель, и он вынужден был капитулировать в Седане, хотя прошли еще месяцы, прежде чем был сдан Париж, и около года, пока было подписано перемирие.

Полк Огюста иногда перемещали с места на место, но Роден в боях не участвовал. Задачей командира было не воевать против немцев, а сохранить полк национальной гвардии в целости на случай беспорядков в Париже.

Огюст, которого мучили мерзнущие ноги и страх за руки, обнаружил, что холод и жалкое обмундирование, которым его снабжала Вторая империя, представляют для него куда большую угрозу, чем вся немецкая армия. Вскоре ухудшилось его и без того слабое зрение. Теперь он больше ненавидел погоду, чем немцев. Как только было подписано перемирие, после сдачи Парижа немецким войскам, «Капрала в деревянных башмаках» уволили из национальной гвардии: зрение его столь ослабло, что он не разбирал мишени на расстоянии нескольких метров. А это никуда не годилось. Командир ожидал, что гражданская война может вспыхнуть в любой час, и требовал, чтобы его солдаты могли отличить республиканца от роялиста.

Огюст вернулся в голодный Париж, все еще не оправившийся от ужасов осады. Война, которая началась довольно беззлобно, к концу своему довела людей до исступления. Пруссаки обстреливали Париж, поставили город на колени, взяв его измором, и парижане возмущались; но чего другого было ждать от столь отсталой страны, как Германия. А когда немцы забрали Эльзас и Лотарингию, каждый француз почувствовал, что у него словно оторвали что-то от сердца. У Огюста, как и у большинства его соотечественников, это возбудило большую вражду к Германии, чем сама война. Условия перемирия разожгли политические страсти.

Теперь Огюст готов был бороться самым доступным ему способом, при помощи искусства. Но дома его ждало слишком много забот. Мама совсем ослабла от оспы и недоедания; у Папы так ухудшилось зрение, что он почти ничего не видел и едва двигался; тети Терезы не было в Париже, она добивалась освобождения одного из своих сыновей из лагеря военнопленных под Седаном. Все семейные заботы тяжелым бременем легли на плечи Розы.

Она сказала потрясенному Огюсту:

– Просто чудо, что мы выжили, – Но гордилась тем, что сумела прокормить семью. – Ели мы все без разбора – кошек, собак, крыс, всякие корешки, траву, не брезговали и порченым. Достанешь кусок конины – и счастлив. Ужасно было.

– А мои статуи? – он был уверен, что они все погибли.

– Целы и невредимы. Я никому не позволяла и близко к ним подходить.

Он не поверил.

– И ничего не треснуло? Не развалилось?

– Ничего. Я их все закутала. Каждое утро и вечер проверяла, все ли в порядке. Я за ними ходила, как ты меня учил, дорогой.

Он осмотрел фигуры и убедился, что это правда. Роза меняла тряпки, чтобы глина не рассохлась. Она обрызгивала их водой, но в меру, чтобы глина не размякла. Она без устали сметала пыль с нескольких бронзовых фигур. Вся мастерская содержалась в идеальном порядке. Зря он обидел милую Розу. Охваченный внезапным порывом чувств, Огюст обнял ее за плечи и притянул к себе, не зная, как выразить свою благодарность. Он нежно поцеловал ее, но так и не похвалил. Не умел он говорить приятные вещи.

Больная Мама ждала его, лежа в кровати. Слезы навернулись у него на глаза, когда он ее обнял; вид у нее был ужасный, кожа да кости, – за последние месяцы совсем постарела. И Папа, который пытался скрыть слезы, тоже очень сдал. Такой беспомощный и усталый.

Но когда Роза привела в спальню маленького Огюста, дедушка и бабушка сразу оживились – в этом малыше заключался весь смысл их жизни.

Следующие несколько дней Огюст бродил по Парижу в поисках работы. Как-то в один из промозглых дней он встретил Фантена, который оставался в Париже во время осады.

Они остановились на улице Бонапарт, у церкви Сен-Сульпис, в которую попал немецкий снаряд, и Фантен, захлебываясь, рассказывал новости о друзьях. Он говорил заинтересованному Огюсту:

– Удивительно, как все перепуталось. Вот, например, Мане, какой был ярый республиканец, а пошел добровольцем в артиллерию национальной гвардии, а Дега – ярый противник республики – записался в пехоту национальной гвардии, и его из-за плохого зрения перевели тоже в артиллерию. Так вот, были у них разные взгляды, а оказались они в одном месте. Или Ренуар, ты знаешь – мухи не обидит, и тот не выдержал, пошел добровольцем, хотел прямо в бой, а его назначили к кирасирам, ходить за лошадьми. А он в этом ничего не смыслит – он их даже не пишет, – и, как я слыхал, ему и выстрелить не пришлось ни разу.

– Ну а остальные?

– Легро перед самой войной перебрался в Лондон, преподает, и Моне туда же подался от военной службы. Сезанн по той же причине вернулся в Экс, так мне вроде говорили, а Далу откупился от военной службы.

– А ты?

– Меня не взяли. Здоровье. Сказали, что слабые легкие. – Огюст подумал, что по виду не скажешь, но промолчал.

А Фантен все не умолкал:

– Осада была просто ужас. Одно время казалось, что немцы совсем разнесут Париж. Я и не надеялся, что кто-нибудь из нас выживет. А ты что думаешь делать, Роден? Ведь не собираешься вернуться к Каррье-Беллезу? Я слыхал, что он вовремя перебрался в нейтральную Бельгию, в самом начале войны.

Огюст пожал плечами. После пребывания в армии руки огрубели и были обморожены, и он сомневался, что когда-нибудь сможет снова лепить. И все же жаждал доказать с помощью искусства, что немцы не сломили его дух.

Фантен спросил:

– Ну, как там, в национальной гвардии?

– Холодно. Очень холодно. До сих пор не согрелся.

5

Спустя неделю Каррье-Беллез предложил Огюсту работу в Брюсселе. Огюст хотел было отказаться, он презирал и эту работу и самого Каррье-Беллеза, но в кармане не было ни сантима, а в Париже все еще не хватало еды, и он был бы лишним ртом в семье, да, кроме того, сколько он ни искал работу, так ничего не мог найти. Выхода не было, и пришлось принять предложение.

Все родные были огорчены, даже Папа, он так радовался возвращению Огюста.

Утром, в день отъезда, Папа вдруг расцеловал его в обе щеки, похвалил его новую бородку и сказал прерывающимся голосом:

– Мой дорогой мальчик, ты ведь ненадолго в Брюссель? Скоро вернешься?

– Да, Папа, – сказал Огюст. – Всего месяца на два, на три.

Роза было заплакала, но, увидев, что Огюст нахмурился, сдержалась.

– Ты будешь нам писать, дорогой? – спросила она.

– Я буду писать вам всем, – ответил он.

– Пиши Розе, этого достаточно, – сказал Папа. – А тетя Тереза будет читать нам письма.

– Не беспокойтесь обо мне, – сказал Огюст, – ничего со мной не случится.

Они стояли у кровати Мамы, и Мама, собравшись с силами, сказала:

– Что ж, будем ждать.

Огюст с беспокойством смотрел на Маму. Его мучило предчувствие, что если он уедет, он уже не увидит ее, такая она

была истощенная и слабая. Но поздно менять решение, да и деньги нужны как никогда.

Роза приподняла пятилетнего маленького Огюста и сказала:

– Поцелуй папу, деточка.

Маленький Огюст подчинился, но губы у отца были словно неживые.

Огюст, почувствовав, как ребенок сжался в комок, принялся раскачивать его на руках, мальчик улыбнулся, и все тоже засмеялись, даже Мама. И вдруг большой Огюст и маленький Огюст бросились друг другу в объятия, – это было их первое искреннее объятие за всю жизнь, и Роза прошептала:

– Береги себя, дорогой. Очень тебя прошу. Огюст ответил:

– Хорошо. Я скоро вернусь. Как только удастся что-нибудь скопить.

Папа сказал:

– Все парижане возвращаются в Париж.

– Даже те, что родились в Нормандии? – спросил Огюст.

– Господи! Да хоть в Лотарингии! – воскликнул Папа и бросил лукавый взгляд на Розу. – Эх, будь сейчас жива святая Жанна, ни за что бы не отдали Лотарингию пруссакам. Этим подлецам.

Мама протянула сыну руку и, не скрывая своих чувств, что случалось редко, тихо сказала:

– Не надрывайся слишком, милый, и не отчаивайся. Целая жизнь впереди. Ты знаешь, Родены живут долго.

– И твои родственники тоже, – сказал Огюст. Мама устало улыбнулась и коснулась рукой его лица, там, где выросла бородка.

Огюст прижался губами к ее руке.

– Мы будем считать дни до твоего возвращения, – сказала Роза.

– Да, – сказал Огюст. – А теперь пора. – В дверях он прислонился к холодной каменной стене дома, и его охватил озноб. Внезапно представилась картина из дантовского «Ада»: сколько еще придется им перетерпеть, прежде чем он снова вернется? Он с силой тряхнул головой, стараясь отогнать страхи, повернулся к Розе и со спокойной уверенностью – Роза не слышала такого властного тона с тех пор, как он закончил «Вакханку», – сказал ей:

– Ты очень хорошо заботилась о моих скульптурах во время осады, назначаю тебя хранительницей моей мастерской.

Почувствовав, что самообладание вернулось к нему, и стараясь не замечать ее слез, он прощально помахал рукой и пошел к вокзалу Сен-Лазар, откуда лежал путь в Бельгию. Огюст

шагал быстро, чтобы пересилить желание вернуться, и думал, что надо создать скульптурную группу об их прощании. Эта мысль немного отвлекла его. Может быть, ему даже удастся заработать на этом денег и послать домой.

Глава XV

1

Огюст сразу же приступил к работе у Каррье-Беллеза, но денег, чтобы послать домой, не было. Мэтр хитрил и нарочно платил ровно столько, что самому едва хватало. Огюст сделал несколько новых произведений, но Брюссель был столь же равнодушен к его таланту, как и Париж. Заработанных денег еле хватало на прокорм и дешевую комнату. Он жил на улице Понт-Неф, в самом центре Брюсселя, поблизости от мастерской Каррье-Беллеза. Брюссель ему не нравился – убогая уменьшенная копия Парижа. От этого он еще сильней скучал по родному городу, хотя там сейчас было совсем не сладко.

В марте 1871 года во Франции вспыхнула гражданская война, и коммунары – в их рядах объединилось много ремесленников, рабочих, служащих, мастеровых, лавочников – захватили власть в Париже. Разгром Франции в войне с Германией и ужасный голод, который последовал за ним, послужили причиной восстания. Восставшими руководило желание повторить победоносные дни 1793 года. Кровавые уличные бои происходили между коммунарами и Версальской армией, представлявшей силы правых.

Слухи, доходившие до Брюсселя, с каждым днем становились все ужасней. Огюст знал, что в Париже свирепствует голод посильнее, чем во время немецкой осады; что все связи между Парижем и остальным миром прерваны. Он писал Розе отчаянные письма и приходил в ужас, не получая ответа, а новости из Парижа, преимущественно слухи, становились все мрачнее: говорили, что Париж разграблен и опустошен, что двадцать тысяч коммунаров погибли в бойне, которую учинили победители из Версальской армии, причем многих расстреляли на монмартрском холме, поблизости от того места, где жила семья Роденов. Монмартр превратился в большое кладбище.

А когда прошло еще несколько недель и писем все не было, Огюст уверился, что победители не пощадили и его семью. Он хотел немедленно вернуться В Париж, но туда никого не пускали, там все еще шли уличные бои. Огюст пытался забыться в работе, по это не помогало.

Каррье-Беллез, сочтя, что Роден приобрел достаточный опыт и умение, предоставил ему более широкие полномочия и разрешил работать по собственным наброскам и планам. Он

обязан придерживаться манеры Каррье-Беллеза, а в остальном волен следовать собственному вкусу. Обнаженные фигуры приобрели некоторую жизненность, хотя и сохранили элегантность и тщательность отделки, свойственную Каррье-Беллезу. На законченных в глине моделях Каррье-Беллез ставил свою подпись и отправлял к литейщику мосье Пикану для отливки в бронзе. С подписью мэтра стоимость их возрастала вдвое.

Прошла еще неделя. Остальные подмастерья, большей частью бельгийцы, завидовали независимости Огюста, но сам Огюст терзался угрызениями совести. Ему приходится заниматься пустым, ненужным делом, думал он, а все, что сделано им ценного, обречено на гибель в огне гражданской войны. И хотя он несколько успокоился, получив вести от Розы – тетя Тереза сумела переправить письмо неисповедимыми путями, – но еще более укрепился в мысли, что все его работы погибли: Роза ни словом не упомянула о них.

«Все мы живы, – писала она, – и бои почти прекратились, но кругом голод, нет денег, все еще хоронят убитых, теперь за городом на кладбищах больше нет места, а от тебя до сих пор никакой весточки. Почему ты не пишешь, дорогой?»

В тот вечер Огюст не прикоснулся к ужину. Все ясно: его работы погибли. Он написал Розе взволнованное письмо, умоляя сообщить о судьбе своих любимых скульптур.

Ответ пришел через неделю. Роза писала через тетю Терезу:

«Какая радость, что ты нам написал. Бои окончились, только продолжаются расстрелы повстанцев, многих расстреляли прямо на нашей улице, но голод хуже всего. Не осталось ни кошек, ни собак, их съели еще в германскую осаду, и теперь мы едим всякие корешки. Имея деньги, можно иногда достать яиц и немного хлеба у спекулянтов, которые пробираются в Париж из деревни.

Все твои статуи в сохранности, я часто прибираю в мастерской. Как бы я хотела быть такой же толстой, как все эти фигуры, мы теперь до того дошли, что с удовольствием бы их съели, будь они только съедобны.

Прости, дорогой, за все эти жалобы, не хочется тебя огорчать, но тетя Тереза говорит, что ты должен знать правду. Мама совсем ослабла. Если у тебя есть хоть немного денег, дорогой, пришли, они нам очень помогут».

Измученный беспокойством, Огюст не мог спать. Он проработал в мастерской ночь напролет, даже не зажигая свечи – эти ню он мог лепить с закрытыми глазами. На рассвете, пока не пришли другие, он закончил женскую фигурку – Роза, как он ее помнил. Да, он сумел уловить лучшее, что было в манере Каррье-

Беллеза: фигурка вышла нежной, изящной, полной границы. И, что самое главное, в ней есть что-то и от Родена. Это вам не бесполое, безликое существо.

И вдруг его осенила идея. Он взял молоток и резец и уверенной рукой – тут нельзя было допустить ошибки, хотя в душе испытывал страх, – вырезал на основании статуи: «Каррье-Беллез». В это мгновение он был благодарен хозяину за все обнаженные фигуры, которые он для него сделал. Если я и подделыватель, думал он, то таков же и сам Каррье-Беллез. И потом его имя никому не известно, а Каррье-Беллеза знают все.

Огюст спрятал статуэтку, а вечером поспешил к литейщику мосье Пикану.

Благодаря Каррье-Беллезу мастерская мосье Пикана процветала. Толстый близорукий пожилой литейщик, знаток своего дела, подозрительно уставился на Огюста. Что-то непохоже, чтобы хитрый и расчетливый Каррье-Беллез доверил получение денег другому. Но этот мрачный, коренастый Роден был его главным подмастерьем.

Пикап спросил:

– Это подлинник Каррье-Беллеза?

– А вы посмотрите сами, – сказал Огюст, испытывая некоторое беспокойство, не слишком ли он увлекся Розой?

Пикан пальцами знатока ощупал фигурку, снова внимательно поглядел на Огюста и спросил:

– Роден, а хозяин действительно доверил вам получить гонорар?

– Да, пробормотал Огюст, однако мысль о семье, голодающей в Париже, придала ему смелости: – Мосье Каррье-Беллез уехал по делам в Антверпен и поручил мне это дело.

– Хм, – сказал Пикан. – Прекрасная вещица.

– Вам нравится? – спросил Огюст, не в силах скрыть волнения.

– Да, конечно. А что? Огюст пожал плечами.

– Это одна из ваших копий, Роден?

– Что значит – моих копий? – вдруг рассердился Огюст.

– Но ведь вы подмастерье?

Подавленность и уныние вновь овладели Огюстом.

– Да. Можно получить гонорар?

Пикан заколебался, но Огюст не двигался с места, и литейщик медленно отсчитал пятьдесят франков. Огюст не уходил. Пикан сердито спросил:

– Что вам еще?

– За такую скульптуру мосье Беллез получает семьдесят пять.

– А вы совершенно уверены, что это его замысел?

– Конечно. Разве вы сами не видите? Пикан вновь ощупал статуэтку и сказал:

– Груди и бедра несколько шире, плотней, чем обычно. – И добавил с понимающей усмешкой: – Видно, наш мэтр нашел достойную вдохновительницу и увлекся. Но подпись его.

– Он будет очень рассержен, когда узнает, что ему заплатили всего пятьдесят франков.

Мастер отсчитал еще двадцать пять, на этот раз совсем медленно.

Огюст поблагодарил:

– Спасибо, мосье. – Никогда не получал он столько денег за один день работы.

Пикан потребовал, чтобы Роден оставил ему расписку.

2

Отправив пятьдесят франков Розе, Огюст вернулся в мастерскую. Он пытался было продолжать работу и позабыть о своем проступке, как-то загладить свою вину перед Каррье-Беллезом, но мысли не давали ему покоя.

Через неделю от Розы пришло длинное письмо, в котором она благодарила за присланные деньги, – это спасло их от голода. Они достали у перекупщика яиц и кролика, приготовили сытное рагу, и Мама ела с аппетитом; все они готовы расцеловать его. Маме немного лучше, и если бы он сумел прислать еще немного, Мама, может быть, тогда выздоровеет.

Он раздумывал, как бы сбыть литейщику еще одну фигурку, когда его позвали к Каррье-Беллезу. Там был и мосье Пикан со статуэткой, которую Огюст подписал именем хозяина.

Каррье-Беллез, вне себя от бешенства, обвинил Огюста в подделке. Огюст молча ждал. Сейчас будет навсегда положен конец его карьере скульптора.

– Знаете, Роден, ведь я могу засадить вас в тюрьму.

– А как насчет платы? За эту неделю я сделал три фигуры.

– На что вам деньги в тюрьме? – Но я их заработал.

– Мосье Пикан засвидетельствует, что вы подделали мою подпись. Верно, мосье Пикан?

– Да. – Мастер кивнул головой.

– Вы больше у меня не работаете.

– Из-за того, что я подписал свою собственную работу?

– Мою работу. Сами вы не заработаете и пяти франков.

Огюст молчал.

– Вы это сделали потому, что завидуете моей славе, – заключил Каррье-Беллез.

– Я сделал это потому, что мне надоело заниматься ерундой. Ведь это моя работа, по-настоящему моя.

– Да вы анархист! – возопил Каррье-Беллез. – Вы покушаетесь на чужую собственность. Вам действительно место в тюрьме.

Он ждал, что Огюст будет просить прощения, но Огюст не мог мог выдавить из себя ни слова.

Каррье-Беллез заколебался. Решив, что судебный процесс может вызвать скандал и раскрыть секреты его производства, он сказал:

– Как бы там ни было, терпению моему конец. Прошу вас немедленно удалиться, иначе я вызову полицию.

3

Вернувшись в свою комнату, Огюст прежде всего пересчитал деньги, осталось семнадцать франков. Роза прислала еще одно письмо с просьбой о деньгах. Маме снова стало хуже, а у него даже нет денег на билет. Следующие два дня он лихорадочно бегал по городу, раздумывая, как поступить. Сообщения о положении в Париже стали более успокоительными: бои прекратились, и в город начали ввозить продовольствие. Огюст сидел у себя в комнате и терзался мрачными мыслями. «Что со мной? – спрашивал он себя. – Я решил всю жизнь отдать искусству, но для меня там нет места. В чем я ошибся? В чем согрешил? Кого обидел?»

Он услышал, как отворилась дверь. Наверное, привратник, пришел требовать плату за комнату, но как может он расстаться с последними франками? На пороге стоял Жозеф Ван Расбург[41]. Расбург тоже работал подмастерьем у Каррье-Беллеза.

Приземистый, коренастый светловолосый голландец, уроженец Амстердама, Ван Расбург был чуть старше Огюста. Он прослышал, что Огюста прогнали, и счел это рукой судьбы.

– Вы, Роден, отличный работник, а у меня большие связи, – сказал Ван Расбург. – Я уже давно подумывал уйти от Каррье-Беллеза, но одному мне не сладить.

– Вам нужен помощник? – с горечью спросил Огюст. Он был готов на любые условия, на самые нищенские.

– Мне нужен партнер, друг мой.

– А почему именно я? У меня ни средств, ни друзей.

– Зато самые сильные, самые ловкие и умелые руки во всей мастерской. Заказы-то я добуду, но их надо выполнять. Мне нужно, чтобы кто-то справлялся в мастерской.

– А вы займетесь продажей?

– Мы оба, Роден. Я буду подписывать все работы,

предназначенные для продажи в Бельгии, а вы – все, что для Франции.

– А сколько мне за это?

– Доход пополам. Мы ведь будем партнерами. Огюст был удивлен и заподозрил неладное.

– Но я же сказал, у меня нет денег, чтобы вложить в дело, я…

Жозеф Ван Расбург убедительно сказал:

– Я хочу, чтобы наша работа была самой лучшей. А помощника лучше вас не сыскать. Вы очень опытный скульптор, быстро работаете и знаете. на что спрос. У вас удивительное умение, Роден, У Каррье-Беллеза мы были тому свидетелями.

– А вы знаете, за что меня прогнали? Ван Расбург рассмеялся.

– Нам рассказали, чтобы другим неповадно было. Да только кто кого подделал?

– Я рад, что вы так обо мне думаете, но мне немедленно нужны деньги.

– Большую часть моих сбережений я потратил на мастерскую, но я могу одолжить вам немного на комнату и еду.

– А чтобы съездить в Париж?

Ван Расбург сразу стал очень серьезным.

– Подпишем контракт, все без обмана. Условия будут для нас выгодные. Может, я и не такой хороший скульптор, как вы, но в коммерческих делах разбираюсь лучше. Сколько вам надо?

– Это не для меня, для родных в Париже.

Ван Расбург дал Огюсту пятьдесят франков со словами:

– Если бы мог, дал бы больше, да только почти все ушло на мастерскую.

Огюст невнятно пробормотал:

– Как мне отблагодарить вас, мосье?

– Работой. Вы ведь знаете, благодарность можно выразить по-разному и работать тоже по-разному.

– Так по рукам, Роден?

Спустя несколько дней Огюст подписал с Ван Расбургом контракт.

Глава XVI

1

Огюст уже чувствовал себя человеком, которого предало любимое искусство и который взглянул в лицо смерти, как вдруг искусство сжалилось и вернуло его к жизни. Он словно пробудился от долгого, тяжелого сна. «Жизнь надо подчинять себе, – думал он, – жизнь надо строить». Он рисовал и делал наброски и лепил, как человек, после долгого перерыва вернувшийся к любимому делу. Они получали много заказов, и хотя от них не требовали ничего необычного, Огюст умел придавать своим работам собственный, неповторимый характер.

Ван Расбург был верен слову. Они были партнерами и делили заработок поровну. В коммерческих делах Ван Расбург был честен до щепетильности.

Одно только беспокоило Огюста. Они решили, что Ван Расбург будет подписывать все работы для Бельгии, а Роден – для Франции, но из Франции заказов не поступало, в Бельгии же Ван Расбург пользовался известностью. А так как Огюст был куда более плодовит, чем Ван Расбург, и все время проводил в мастерской, потому что терпеть не мог торговых операций, то скоро Огюст производил куда больше работ без подписи, чем подписных, и с горечью думал, что Бельгия буквально наводнена произведениями, подписанными Ван Расбургом, автором которых является Роден. Правда, эти работы если и не приносят ему славу, то хоть кормят его.

Париж снова зажил мирной жизнью, хотя раны гражданской войны еще не затянулись, и теперь Огюст и Роза регулярно обменивались письмами.

Мама все еще очень болеет, сообщала Роза через тетю Терезу, а в остальном дела идут на лад. Она рассказала Огюсту, как ей удалось прокормить семью, когда он лишился работы, – она зарабатывала по два франка в день тем, что шила вечерами солдатские рубашки. Днем часами простаивала в очередях за едой для сына и для всей семьи. Добывала хлеб, который пекли наполовину из опилок, и похлебку из разных кореньев. Но теперь к ним переехала тетя Тереза и ухаживает за Папой, Мамой и сыном, а Роза зарабатывает по пяти франков в день, работает вышивальщицей на Мануфактуре гобеленов.

Огюст старался отсылать семье все деньги, которые зарабатывал, и все, что удавалось сэкономить. Он писал Розе, что

очень скучает по ней. Еще больше он скучал по своей мастерской. Ван Расбург был порядочным человеком, но заказов все прибавлялось. Огюст выбивался из сил, и в голову приходили грустные мысли. Тут ему не проявить свой талант по-настоящему, он больше не скульптор, а ремесленник, делец, которому уже никогда не заняться кровным делом.

И Огюст еще сильней скучал по Розе и по своей мастерской. Он писал Розе, как он здесь одинок, и при этом прилагал шестьдесят франков и наказывал особенно заботиться о его скульптурах.

Роза беспрекословно выполняла каждое его указание. Она продолжала с любовью и вниманием ухаживать за его работами. Теперь у нее был большой опыт.

И вот в конце 1871 года умерла Мама. Огюст бесцельно бродил по улицам Брюсселя, заходил в собор, нигде не находя утешения. Если бы он мог посылать больше денег, она бы выжила, укорял он себя. Одиночество стало нестерпимым.

Он требовал, чтобы приехала Роза, пусть тетя Тереза присмотрит за сыном и за Папой, а он пришлет им еще денег. Он не был уверен, что Роза приедет, и очень обрадовался, когда холодным февральским утром 1872 года Роза появилась в Брюсселе. Огюст встретил ее на вокзале с обычной сдержанностью, и на мгновение ему даже показалось, что они вот-вот поссорятся. Роза была в черном – траур по Маме. Он был потрясен, узнав, что Маму похоронили в общей могиле, – у них совсем не было денег.

– А те, что я тебе прислал? – спросил он.

– Папа тоже болел. Тетя Тереза решила, что лучше потратить их на того, кто жив.

– В общей могиле? – Он не мог свыкнуться К этой мыслью. Он был в ужасе. – И ничего нельзя было сделать?

– Мы сделали все, что могли.

– Если бы я знал!

– Тоже ничем бы не помог, дорогой. После твоего отъезда в Париже умерло столько народу! Чего только не было – война, голод, чума, даже богатые хоронили своих по двое-трое в одной могиле. А ведь ты знаешь, в гражданской войне больше всего погибло бедняков.

– Знаю, – коротко ответил он.

– А тебе туго здесь было, Огюст?

– Туго? – Он взял ее вещи, и они вышли из вокзала. – Скульптору всегда туго. Ты хорошо упаковала все мои статуи?

– Да. Они не сегодня-завтра будут здесь.

– Пойдем. Ты, наверное, проголодалась.

– Я изголодалась по тебе. – И, забыв обо всем, она кинулась к нему на шею. – А ты рад, что я приехала, дорогой?

– Мне надо на работу. Нельзя подводить партнера.

Роза растерялась, отвернулась от него.

– Значит, я тебе не нужна? Он почувствовал раздражение.

– Я прислал тебе деньги на билет. Разве этого мало?

2

Но когда все его скульптуры прибыли в целости и сохранности – она упаковала их точно в соответствии с его указаниями, – он повел ее обедать в самый дорогой ресторан, какой только мог себе позволить, и в тот вечер наконец обнял ее со своей обычной суровой сдержанностью.

Роза шептала ему в порыве любви:

– Мне так нравится твоя борода, Огюст, она придает тебе благородство.

Он улыбнулся. Его заботило, как она воспримет этот сюрприз – длинную бороду, предмет его гордости. Он прижал Розу к себе.

– Я так беспокоилась за тебя. – И я тоже, милая Роза.

Чего только она не сделала, чтобы сохранить его работы, и он благодарен ей. Это было их общее дело, оно объединяло их.

3

Иногда Огюсту хотелось обменяться мыслями с другом, и он писал Дега:

«Я был „партнером“ Каррье-Беллеза, он этого так никогда и не признал, хотя я усвоил его манеру.

Теперь я «партнер» Ван Расбурга. Он подписывает наши работы для Бельгии, я – для Франции. Но сейчас нам удается продавать только в Бельгию, хотя прошло немало времени с начала нашего сотрудничества, так что Родены, подписанные Ван Расбургом, появились тут чуть ли не в каждом доме. Может, и к лучшему. Я этими вещами недоволен, но по крайней мере не теряю техники».

Он обрадовался, получив от Дега быстрый ответ:

«Я бы не стал торопиться в Париж. Правда, Вторая империя теперь почила в бозе, и у нас Третья республика, но трудно сказать, которая хуже. Вторая империя была сильным детищем слабого человека, а Третья республика – слабое детище сильного человека.

Имперская библиотека теперь называется Национальной библиотекой, но, по правде говоря, ничего не изменилось. Если

прежде разложение охватывало верхушку, то теперь оно охватило все снизу доверху. У нас был император-демократ, теперь – демократическая империя, и трудно сказать, что хуже.

Я наслаждаюсь оперой, тут все только и говорят об этом немце, Вагнере; считается проявлением высшей образованности относиться благосклонно к этому сыну вражеской державы, но, что касается меня, я не разделяю этого поклонения, как и прежде, я предпочитаю Моцарта».

Огюст удивился, почему Дега не писал об их общих друзьях. Но допрашивать друга не имело смысла, тогда наверняка не добьешься ни слова. Осенью 1872 года Дега уехал в Америку навестить родственников. Огюст вновь написал ему уже летом 1873 годи, когда Дега возвратился в Париж.

«Надеюсь, ты остался доволен своим путешествием в Америку, – писал Огюст. – Что же касается меня, то бельгийское искусство, по-моему, находится на гораздо более низком уровне, чем наше. Работы, достойные внимания, можно найти в основном в Голландии, и когда-нибудь я надеюсь там побывать, а пока только здешние соборы служат для меня источником вдохновения. Меня, однако, очень интересуют наши друзья. Я слышал, что им по-прежнему нелегко, что художественные критики, как обычно, страдают от разлития желчи и Салон по-прежнему вешает картины тех, кто им не по вкусу, где похуже, но я все же подумываю о том, чтобы выставиться в Салоне.

Наконец-то я снова принялся за работу и, может быть, скоро создам нечто такое, что привлечет внимание. Я все еще не в форме, слишком много сил отдаю «партнеру», хотя в этом не его вина. И Брюссель тоже не действует на меня вдохновляюще. Это готическая мешанина, есть тут и несколько интересных зданий, но нет разнообразия Парижа, а резьба по камню в большинстве случаев просто ужасает.

Передай привет Ренуару, Моне и Фантену, если встретишь кого из них. Кажется, я наконец примирился с гибелью моей «Вакханки».

Мне бы так хотелось куда-нибудь съездить, но Нью-Йорк и Новый Орлеан, где ты побывал, для меня недостижимы, как луна. Самое большее, на что я могу надеяться, – это Италия, через год-два. Так хотелось бы взглянуть на «Давида» и «Моисея», пока я сам не превратился в Мафусаила».

Дега ответил только в конце 1873 года. Тем временем желание Огюста посетить Италию особенно возросло, но он не сумел скопить денег на поездку. Да, кроме того, и Ван Расбург не смог бы без него обойтись. Он по-прежнему чувствовал себя, как в ссылке, никак не мог найти достойных друзей. «Видимо, старею,

и мне становится все безразлично», – думал он. У него не было планов на будущее. Он представил «Человека со сломанным носом»[42] в Брюссельский Салон 1872 года по совету Ван Расбурга, который был в восторге от скульптуры, и хотя работу одобрили – это было первое его произведение, принятое Салоном, – она не привлекла особого внимания. Огюст решил, что надо создавать более крупные вещи, но что? Он был все время подавлен, а разве в таком настроении создашь что-либо достойное внимания? И пессимизм Дега совсем его обескуражил. Дега писал:

«Спасибо тебе за добрые пожелания, дорогой друг. Мы все беспокоимся, как ты там в Брюсселе, можешь ли работать над собственными вещами?

Америка захватывает, но и утомляет, жить там я бы не хотел. Страна огромная, без конца и края. Я видел много нового; Нью-Йорк тоже огромен, жизнь в нем так и кипит. У американцев энергии в избытке, они не знают, куда ее девать, и гордятся этим, а меня это утомляет. Новый Орлеан – любопытное и забавное смешение Америки и Франции, он напомнил мне о Париже…

Большинство из нас уже выставлялись – Мане, Фантен, Ренуар, Моне, Писсарро, Сислей, я. Вот только Сезанна отвергают, отвергают постоянно, и это страшная несправедливость. Нас это огорчает, а Сезанн ходит мрачный. Хотя Сезанн не любит общество, но изо всех сил старается привлечь к себе внимание и горько жалуется, когда его не замечают. Его уже отвергали четыре или пять раз, но он не сдается.

Я не думаю, что мы сумеем покорить Салон. Если наши картины и принимают, то вешают самым невыгодным образом, то высоко или где мало света, то в окружении, совсем неподходящем, или засунут в угол, а скульпторам и того хуже, их обычно помещают вплотную к стене, так что работа не смотрится. Мне, право, безразлично, но Фантен говорит, что мы должны завоевать Салон, и Мане его поддерживает.

Глупцы! Салон подобен женщине. Салон любит, чтобы за ним ухаживали, но, как женщина, не способен на ответное чувство.

Мне надоело слушать критиков, которые говорят «это великолепно» и «это провал» об одной и той же вещи. Они твердят только одно: вот это картина, а это не картина. В остальном же ими руководят предрассудки, дурной вкус, мимолетная мода, а нас они считают новинкой, которая скоро забудется. Мы по-прежнему в лучшем случае являемся предметом любопытства, в худшем – на нас смотрят, как на помешанных. Но, как я тебе уже говорил, мне все безразлично.

Недавно возник спор о том, стоит ли добиваться, чтобы нас выставляли в Салоне, требовать, чтобы открыли новый, «Салон отверженных», или выставляться у торговцев. Все эти варианты мне не нравятся, и иногда мне кажется, что лучше бы нам вообще нигде не выставляться.

В мастерской всегда есть время подумать. Никто тебя не торопит. Если я в чем-то сомневаюсь, а это случается часто, я могу что-то изменить.

Моне, Писсарро[43] и Сислей считают меня старомодным, они, правда, сейчас увлекаются пленэром, но мы с Мане никак не разделяем их увлечения. Разве Энгр и Рембрандт были сторонниками пленэра? Или даже Коро, их кумир, которому они поклоняются? Но когда я говорю им об этом, они считают меня придирой, а если не разделяю их восторгов по поводу природы, то представляюсь им мизантропом.

Лучше всего дела у Мане. Я не имею в виду «Кружку пива»[44], его первый большой успех в Салоне, – это все голландщина в духе Франса Гальса – я говорю о его последних работах. Какое мастерство! Выбрал бы только, наконец, какую-нибудь определенную манеру.

Что же касается остальных, то Фантен, к примеру, и поныне подражает всем известным образцам и находится в плену фотографической точности, он слишком много времени провел в Лувре и сердится, когда я ему об этом говорю. Ренуар влюбился в цвета радуги, в плоть, а картины Моне приобрели какую-то туманную расплывчатость, и он только и твердит о солнечном свете.

Как ты, возможно, слыхал, Далу и Курбе поддерживали Коммуну. Далу назначили главным смотрителем Лувра. Можешь себе представить, эти двери были бы для нас закрыты навсегда, а Курбе возглавил все изящные искусства и упразднил Академию, Школу изящных искусств, Салон. Теперь Далу бежал в Лондон и там преподает вместе с Легро, а Курбе в тюрьме, и, если бы не влиятельные друзья, расстрел ему был бы обеспечен.

Кое-что у Курбе мне нравится, но только не его республиканские замашки! Это как зараза, и даже Мане она коснулась.

Зрение мое все ухудшается, правый глаз поврежден во время войны, и теперь я совершенно не выношу яркого солнца. Знаю, это неизлечимо, и меня угнетает мысль, что я ослепну, хотя доктора уверяют, что этого можно избежать, если соблюдать осторожность. Осторожность – осторожностью, да ведь я не Бетховен, не смогу писать, если ослепну! Разве я могу беречь глаза – закрыть их и писать только то, что помню. Боюсь, в моем

распоряжении осталось совсем немного времени. Мне уже тридцать девять, и как вспомнишь, чего достиг к этому возрасту Рафаэль и что в сорок лет его уже не стало, то невольно содрогаешься. Несправедливо, что он умер так рано, но где она, справедливость?

Поэтому когда Фантен принимается рассуждать о том, что мы художники, потому что это высокое и благородное призвание, меня тошнит. Мы художники– если это действительно так, – потому что не представляем себе иной жизни. Все остальное-чистая ерунда.

И я живу среди всей этой ерунды. Не собирался писать тебе, но уж напишу– я сейчас много общаюсь с писателями. Гюго возвратился из изгнания и так и трубит повсюду о своем героизме. Хорошо, конечно, быть гением, но еще лучше быть воспитанным человеком…

Ну а как ты? Пишешь, что Ван Расбург должен был продавать твои работы во Франции, но из этого ничего не вышло Может, ты слишком старался угодить разным вкусам? Все еще лепишь бюсты для низших классов по пятьдесят франков за штуку или эти протестанты тебя синеем развратили и ты опустился еще ниже?

Может быть, в этом-то и заключается беда Ван Расбурга. Но если ты сам о себе не позаботишься, никто о тебе не позаботиться»

На следующий день Огюст никак не мог приняться за новую работу. Со многим в письме Дега он не был согласен, но оно пробудило в нем чувство глубокой неудовлетворенности. Он скучал по Парижу и жаждал перемены, любой перемены. Он сравнивал себя с Дега и чувствовал себя связанным. Дега располагал полной свободой делать что хочешь, ездить куда заблагорассудится. Но куда ехать человеку, если у него нет на то ни денег, ни времени?

Ван Расбург застал Огюста в задумчивой позе, он сидел, обхватив голову руками, у станка. Обычно партнер работал не покладая рук. Ван Расбург спросил;

– Что-нибудь случилось? Разболелась голова?

– И очень сильно, Жозеф, – ответил Огюст. Коллега внимательно посмотрел на него и недоумевающе спросил:

– Вы больны?

– Да, от работы, которую приходится делать. Ван Расбург пожал плечами и с кривой улыбкой сказал:

– А кому она нравится? – Он с явным отвращением осмотрел просторную мастерскую: полузаконченные статуэтки из глины, многие из них в стиле Каррье-Беллеза; скульптурные портреты в стиле римских патрициев, совсем завершенные, но еще не

отполированные; декоративные херувимчики для церковного фасада. – Я примирился. Но мне это не нравится.

– Да, но вы хоть добились признания.

– Ах, вот в чем причина головной боли. – Пятнадцать лет Ван Расбург ждал такой возможности, будет весьма печально, если все сорвется, когда они уже на самом пороге процветания, пусть даже их работы действительно лишены мысли и содержания.

Огюст проворчал:

– Я не то скульптор, не то делец. А на самом деле ни то, ни другое.

– Вас теперь больше уважают.

– Может быть, как дельца. Но никто не знает Родена-скульптора. Что бы мы ни продавали, подпись одна: Ван Расбург, Ван Расбург, Ван Расбург.

– Это так, это так, – быстро проговорил Ван Расбург. – Но разве моя вина, что французы ничего не заказывают?

– При такой спешке я скоро совсем потеряю собственное лицо. Мне надо добиться хоть какого-то признания.

– Дела не так уж плохи, – твердо сказал Ван Расбург. – Средний заработок равен пяти франкам в день; у Беллеза вы зарабатывали десять-пятнадцать в неделю, а теперь триста-четыреста – и можете по-настоящему разбогатеть, если мы расширим дело.

– Нет! – Огюст решительно поднялся. – Так больше продолжаться не может.

Ван Расбург считал себя человеком справедливым, добрым и сдержанным. Роден ведет себя эгоистично и неразумно, – подумал он, – так можно погубить все на свете. Он не должен ему уступать. Однако на работы, сделанные Роденом, был куда больший спрос, чем на его собственные, – они обладали жизненностью и индивидуальностью, чего не хватало его произведениям. Но ведь есть еще и деловая сторона, и за нее отвечает он.

– Вам надо отдохнуть, – вслух сказал Ван Расбург.

– Нет, не то мне нужно.

Но зерно упало на благодатную почву, и Огюст стал прислушиваться к словам партнера. Даже если и будет подписывать собственным именем все свои работы, это не принесет ему известности. Известность может принести только монументальное, значительное и интересное произведение; в противном случае он просто будет биться головой о стену. Потому что не бывает немедленного признания, какие бы ни ходили легенды. И все же эти безликие фигуры погубят его. Огюст испытывал постоянную усталость, раздражение,

недовольство тем, что делал.

Ван Расбург предложил:

– А почему бы вам не взять отпуск? Например, поехать в Амстердам? Посмотреть на Рембрандта?

– Нельзя, – сказал Огюст. Не могу себе позволить.

– У нас достаточно готовых работ. А если не будет хватать, и могу нанять кого-нибудь в помощь. – У Каррье-Беллеза?

– Можно и у него. Ведь мы платим больше, чем он.

– Наймем копииста, подмастерья, непризнанного, какими были сами, и будем эксплуатировать?

– Мы будем платить. Нет ничего унизительного в том, чтобы быть подмастерьем. Сумеет продавать собственные работы, пусть их подписывает.

– О, как вы благородны. Как тогда, когда подсчитали, что в Бельгии будете продавать куда больше, чем во Франции.

– Я не виноват, Огюст, что Франция такая отсталая страна.

Огюст укоризненно посмотрел на Ван Расбурга, уверенный, что в глубине души его партнер издевается над ним, но Ван Расбург смотрел на него искренне и без тени насмешки.

– Вы очень утомлены, – упрашивал Ван Расбург. – Вам действительно необходим отдых. Умоляю вас, друг мой, пока мы с вами окончательно не поссорились, поезжайте в Амстердам. Вам нравится Рембрандт, и вы будете очарованы им, когда увидите его в Рийксмузеуме. Самые лучшие его работы там. Поезжайте на неделю. То, что будет сделано без вас, поделим пополам.

Огюст, уже сдаваясь, все еще сомневался.

– А в следующем году сможете поехать в Италию. Мы поднимем наши цены.

– А это не уменьшит спрос?

– Не думаю. Огюст, сколько вам лет?

– Тридцать три. – Последние несколько дней, после письма Дега, ему казалось, что он уже глубокий старик.

Ван Расбург достал из кармана сто франков. Подарок на прощание. На путевые расходы. И отмахнулся, когда Огюст начал благодарить. Вернувшись, Огюст будет работать с еще большим усердием.

Вечером Огюст сказал Розе, что на несколько дней уедет в Голландию.

– Деловая поездка, – пояснил он, заметив ее растерянность.

Она спросила:

– А что я буду делать, пока тебя нет?

– Ты будешь присматривать за мастерской. По возвращении я буду больше работать здесь, – сказал он.

Она с трудом сдерживала слезы. Огорченная, испуганная, она прижалась к нему, словно ища у него защиты. Но он не отвечал на ее ласки. Он думал о том, что ему в первую очередь надо посмотреть в Амстердаме.

Огюст уехал на следующее утро. «Вернусь примерно через неделю» – вот и все, что он сказал ей на прощание. Роза чуть не плакала. И за что он к ней так несправедлив? Когда дверь за ним закрылась, она опустилась на колени и молила святую деву о прощении. Будь они женаты, этого никогда бы не случилось, но разве тут ее вина?

Огюст быстро шагал по улице, он боялся, что смягчится и повернет назад, чтобы попросить у нее прощения за свою грубость. В конце улицы обернулся в надежде, что она стоит в дверях, он хотел помахать ей на прощание. Ее не было на пороге, и ему стало досадно, но он ведь сам запретил провожать: не любил сентиментальностей. Это к лучшему, что он не вернулся. Путь лежал в Амстердам, город, где его ждало столько удовольствий.

Глава XVII

1

Огюст приехал в Амстердам и сразу направился в Рийксмузеум. Медленно прогуливался он по залам самой богатой коллекцией картин Рембрандта, какую он когда-либо видел. Он был чуть ли не единственным посетителем музея. Глядя на все это богатство, он думал: собрать бы тут произведения Рембрандта, рассеянные по всему свету. Жаль, что нельзя, думал Огюст, хотя и рад был раньше повидать Рембрандта в Лувре.

Плохо освещенные залы раздражали его.

Многие картины сильно пострадали от времени.

Толстый слой лака не мог скрыть трещин; что особенно бросалось и глаза в «Ночном дозоре», главном украшении Рийксмузеума. Краски на картине выцвели и приобрели грязноватый оттенок. Рама была старомодной. Даже некоторые великолепные карандашные наброски покрылись пылью и пятнами.

Он вспомнил Ренуара и Дега, которые не всегда разделяли его восхищение Рембрандтом. Ренуар считал голландца чересчур меланхоличным, а Дега полагал, что он недостаточно меланхоличен. Огюст вспомнил слова Ренуара: «На его картинах почти не сыщешь хорошенькой женщины, в палитре преобладают грязноватые тона, у него так много черного, и мне не нравится его мазок». Он вспомнил, что Дега, который стоял рядом, добавил: «Ты просто не разобрался: то, что Рембрандт великий художник, – это общеизвестно. Да, я признаю, что рисунок у него превосходен, когда он действительно знал, чего хотел, но Энгр мне больше по душе – такая чистота линий. Это нельзя не признать. Его картины скульптурны».

Может, и так, думал Огюст, но именно из-за этих недостатков он еще больше отдавал ему предпочтение. Рембрандт был самым любимым его художником. Что бы там ни говорил Дега, у Рембрандта не было и тени сентиментальности, да и протестантская праведность была ему тоже чужда. А его темные тона таили в себе глубину, объемность, выразительность.

Его интуитивная тяга к Рембрандту постоянно боролась с неверием в Рембрандта его друзей, что еще больше усиливало эту тягу. Рембрандт не столько подчинял его своему влиянию, сколько трогал до глубины души. Кто бы что о нем ни говорил, картины Рембрандта притягивали Огюста, словно они были его

плотью и кровью.

Он каждый день посещал Рийксмузеум. В Амстердаме были и другие музеи, но их очередь еще не подошла. Он ни с кем не обменивался мнениями, а просто стоял, смотрел, впитывал, жадно поглощая малейшие детали. «Мир Рембрандта – это никак не мир захватывающей дух красоты, – размышлял он, – нет, скорее, в нем преобладало безобразное». Его не покорил и знаменитый «Ночной дозор». Картина висела в отдельном зале. Она показалась ему слишком громоздкой, замысловатой, а композиция – несколько непродуманной.

Его привлекали только лица, из-за них он не раз возвращался к картине. Изображая их, художник как бы признался всему миру, что великая тьма окружает его. Рембрандт, уже обреченный человек, обессмертил этих людей своим талантом, воображением и умом, хотя смерть отняла у него все, что было ему дорого, смерть подкрадывалась к нему самому, а люди всячески унижали его, называя ничтожеством, неудачником, нищим. И все же Рембрандт продолжал писать, не затем, чтобы отомстить за себя, а потому, что не писать не мог.

Рембрандт откликался на события своего времени. Рембрандт остро чувствовал весь трагизм борьбы человека с судьбой и отобразил эту борьбу как ее свидетель и участник. Страдания духа и плоти у него едины. Амстердам не оценил Рембрандта, и художник с годами примирился с этим.

Примирился! Эта мысль не давала Огюсту покоя. Он не собирался подражать Рембрандту или идеализировать его. Что бы он ни читал о художнике, всюду говорилось о его недостатках, безалаберности, расточительности. Огюст так ненавидел эту расточительность, внезапные порывы тщеславия Рембрандта, его пороки. И все же вся жизнь художника была бесконечным поиском истины.

Без всякой сентиментальности Рембрандт неопровержимо и убедительно показал людям, сколь бренна жизнь, сколь разрушительно ее воздействие и сколь неизбежны смерть и конечное разрушение, которые часто приходят раньше самой смерти. В конце концов художника стала интересовать лишь внутренняя жизнь изображаемых людей, их лица, почти поглощенные тьмой, часто освещенные лишь одним лучом света. Эти лица выражали непрерывность борьбы между светом и тьмой. Все остальное было для художника второстепенным.

Огюст делала множество набросков. Впервые за все годы он испытал неодолимое желание приняться за новую работу. Снова рука обрела легкость и стремительность, покрывая рисунками лист за листом многочисленных альбомов. Как хорошо, что он

приехал один. Он был полон идей собственных, и Рембрандт тут совсем ни при чем, говорил он себе. Он современный человек, человек девятнадцатого века.

И куда лучше в одиночестве впитывать виденное, когда ничто не мешает. Пусть свет и тьма Рембрандта пробуждают в нем новые, неизведанные чувства. Что бы ни изображал художник – молодого или старого еврея, крепкую, сильную Магдалину или толстого бюргера, покорную служанку или свою возлюбленную Саскию, – он всегда прежде всего изображал человека.

У Огюста возникало желание вылепить голову – голову Венеры, Адама, поэта – кого угодно, лишь бы вновь почувствовать всю выразительность и силу камня. «Я был прав, когда старался постичь внутреннюю жизнь моих моделей, – думал он, – Биби, отца Эймара, доктора Арно, Папы или Розы, и это всегда должно оставаться главным в моей работе».

В последующие дни Огюст заставил себя оторваться от изучения картин Рембрандта и перешел к Рубенсу и Гальсу, Вермееру и Брейгелю. Он внимательно изучал их работы и наслаждался ими, особенно Рубенсом, произведения которого напоминали ему скульптуры. Но близился день отъезда.

Прошло уже две недели, Ван Расбург и Роза, должно быть, волнуются.

Рембрандт по-прежнему притягивал его, но сам Амстердам он покидал без особого сожаления. Город ему не понравился. В эти зимние дни он был промозглым, серым, туманным, иссеченным бесчисленными каналами. Каналы раздражали Огюста – он предпочитал твердую почву, и архитектура города была слишком прочной, надежной и часто примитивной и чересчур суровой.

Он посетил Уэстер Керк, голландскую реформатскую церковь семнадцатого века, где был похоронен Рембрандт, и разочаровался. Церковь не производила впечатления легкой и воздушной, а была, напротив, тяжелой и темной и, казалось, вся пропиталась запахом дукатов. Он решил, что Амстердам еще мелко-буржуазнее, чем Брюссель.

В свое последнее утро в Амстердаме он на прощание побывал в доме Рембрандта на Йоденбреестраат, где художник создал свои основные шедевры. Дом оставил у него грустное впечатление, трудно было представить себе, что все эти работы родились в этой древней постройке. Дом находился в старинном еврейском квартале, многие обитатели которого послужили Рембрандту моделями. Зачарованный Огюст пошелдальше и скоро очутился у дома, где родился Барух Спиноза.

По пути в Брюссель он много размышлял. Рембрандт, по-своему переосмыслив свет и тень, создал произведения

неведомой дотоле глубины. Огюст был благодарен Ван Расбургу; без лишних ста франков он не смог бы пробыть в Амстердаме две недели. Роден вернулся в Брюссель, довольный тем, что открыл для себя новый мир.

2

Ван Расбург ни словом не упрекнул Огюста. Ему не понравилось, что тот пробыл в Амстердаме две недели, но, как он и ожидал, партнер с еще большим рвением взялся за работу.

Роза встретила Огюста так ласково, словно он отсутствовал всего один день, и Огюст, в которого поездка влила новые силы, стал с ней нежнее.

– Да, дорогая, Амстердам мне помог.

В нем обострились все чувства; он понял, что талант его возрос и силы неисчерпаемы. Он стал проводить много времени у себя в мастерской, работал над бюстами, над несколькими одновременно.

После поездки в Амстердам Огюст по-новому организовал свою работу. Как только беспокойство вновь овладевало им, он на несколько дней оставлял Брюссель и отправлялся изучать музеи и соборы Бельгии и Голландии. Партнер был недоволен, но не решался противоречить – ведь он сам подал ему такую идею. А Огюст, уезжая, всегда оставлял запас готовых работ – больше, чем могли отлить в его отсутствие. И он перестал сетовать, что не подписывает собственные произведения; ой словно жил в ожидании чего-то, что позволит ему осуществить все его заветные замыслы, и Ван Расбург молча скрывал растущее недовольство.

Роза никогда не знала, когда Огюст уедет, куда, она покорно ожидала его возвращения и следила за мастерской. Огюст побывал в Брюгге и Гаарлеме, Антверпене и Гааге и всюду рисовал, делал наброски, создавал в своем воображении новые скульптуры, наблюдал, и душа его живо откликалась на все увиденное Он еще несколько раз побывал в Рийксмузеуме, и куда бы ни приезжал, всюду старался разыскать картины Рембрандта.

После поездки он месяц или два оставался в Брюсселе и работал. Но замысел той, самой важной скульптуры оставался для него неясным.

И от этого все сильнее разгоралось в нем желание увидеть Италию и Микеланджело. Это неизбежно, сказал он Ван Расбургу, ему необходимо там побывать.

– Чтобы узреть новые шедевры? – спросил Ван Расбург, и насмешливая нотка прозвучала в его обычно ровном голосе. – Разве мало вы их уже повидали?

На мгновение Огюст оскорбился. Но тут же понял, что Ван Расбург задал вопрос без задней мысли. Да и что он понимает в таких вещах?

– Разве нельзя немного подождать? У нас очень много заказов.

– Нет. Если я не поеду сейчас, то, наверное, уже никогда не поеду.

Ван Расбург был явно недоволен, но его радовало то, что он выполнил заранее большую часть заказов.

– Жозеф, ведь вы знаете, я давно собирался поехать в Италию, а зима – самое подходящее время.

– Италия. Вы говорите о ней словно о земном рае.

– Меня влечет Микеланджело. Я хочу увидеть «Моисея» и «Давида». Я так зол на себя: мне кажется, я ничего не достиг в жизни.

Ван Расбург предупредил:

– После такой поездки вы, возможно, уже никогда не будете довольны собой.

– Жозеф, дайте мне денег взаймы, – с неожиданной настойчивостью сказал Огюст.

– Если вы согласитесь выполнять заказы для церкви, это покроет расходы на поездку. Ваша церковная скульптура прекрасна. Но вы отвергаете такие заказы, – проворчал Ван Расбург.

Огюст многозначительно сказал:

– Возможно, после Микеланджело я изменю мнение.

Или еще больше разочаруетесь в нашем содружестве, подумал Ван Расбург. Но он знал, что Огюста не переубедишь; если принял решение – ни за что не отступится. – Сколько вам надо?

– Восемьсот франков.

– Восемьсот!

– Слишком много? Пожалуй, хватит и семисот, друг мой, просто нужно побольше, на всякий случай.

Ван Расбург знал, что потребуется по крайней мере тысяча, и все же запротестовал:

– Восемьсот франков? Да вы разорите нас, Огюст.

Огюст ждал, какое решение примет его партнер. Весь успех их дальнейшей работы зависит от этого решения. Он не оставит партнера, но отныне главное внимание будет уделять собственной работе.

В последний момент Ван Расбург расщедрился на девятьсот франков, решил показать, что не такой уж он черствый человек. Огюст остался доволен, но решил ограничить расходы

семьюстами франками.

Глава XVIII

1

Огюстом завладела предотъездная лихорадка. Как только деньги были на руках, он стал собираться в путь. О поездке он сказал Розе только накануне. Новость потрясла ее. Раньше Огюст уезжал всего на день, на два, самое большее на две-три недели, а Италия так далеко, его не будет несколько месяцев.

– Как мне жить без тебя, дорогой? – спросила она.

– Очень просто, – ответил он. – Будешь присматривать за домом, за мастерской, за моими работами, менять тряпки, смачивать глину, чтобы по возвращении я мог тут же приняться за работу.

В расчете на теплую итальянскую погоду он надел дорогу летнее пальто и синюю блузу, которая годилась на все случаи жизни и делала его похожим на мастерового. Он взял с собой карту Италии. Милан, Турин, Генуя, Пиза, а потом самые главные города – Флоренция и Рим. Он точно разработал план поездки. Его интересовало только одно: анатомия человеческого тела. Он точно знал, что ему надо увидеть.

– Когда ты вернешься?

– Скоро.

– Через несколько дней? – Через несколько недель.

Роза посмотрела на стены мастерской, забрызганные глиной и алебастром, на грязь на полу, на безобразную чугунную печку, на отливки и несколько небольших фигур из терракоты и пожаловалась:

– Мне нечем заплатить бакалейщику, а ты требуешь: «Контро»! А теперь уезжаешь в Италию. Откуда у тебя деньги?

Огюст не ответил.

– Тебя весь день нет дома, все бегаешь по музеям и соборам, а мне не на что вести хозяйство. Может быть, вернешься – а меня выбросили на улицу со всеми нашими пожитками!

– Разве у тебя нет денег? – удивился Огюст. Он дал ей немного с месяц назад.

– Всего несколько франков осталось. Мало. Может, мне спросить у Ван Расбурга?

– Нет! – вдруг отрезал он. – Вот, возьми. – И дал ей пятьдесят франков, хотя это значительно урезало его ресурсы.

Роза приняла деньги и тут же решила, что сэкономит по крайней мере половину. Ее возмущало, что он не берет ее с собой

в Италию. «Стыдится меня», – подумала она и расплакалась.

Огюст чуть было не вышел из себя; потом вспомнил, что уезжает надолго, а только Розе можно доверить мастерскую.

– Ну что ты, дорогая, все не так уж плохо, – сказал он. – Я постараюсь не тратиться и буду часто писать.

Он ушел, и Роза снова разрыдалась. Она чувствовала себя прикованной к Огюсту цепями, которые душат ее. Он относился к ней то как к экономке, то как к любовнице, и это ее терзало. Иногда решала что уйдет, если он на ней не женится, но прошло уже десять лет, а о браке не было и разговора. Она презирала себя за свою слабость, наверное, она недостаточно благочестива, надо было поставить пресвятой деве самую большую свечу, решила она. А теперь только одному всевышнему известно, когда вернется Огюст. Она могла вынести все, что угодно, но ее терпению пришел конец. В один прекрасный день поклялась она себе: возьму и уйду от него, вот только сэкономлю немного денег. От этой мысли Роза воспрянула духом. Вытерла глаза и присоединила пятьдесят франков к той довольно крупной сумме, которую ей удалось скопить. Хорошо, думала она, что Огюст такой рассеянный, он никогда не помнил, сколько давал. К его возвращению, если на то будет воля божья – а уж она будет экономной, да еще приработает и шитьем, – у нее хватит денег, чтобы вернуться в Париж, пусть даже без него.

2

Реймс был первой остановкой Огюста по пути в Италию. Он был очарован Реймским собором и осматривал его весь день. Собор излучал какую-то благоговейную печаль. Огюст долго разглядывал головы Иоанна Крестителя, пресвятой девы в Благовещении и святой Елизаветы самые известные из многочисленных скульптур, украшавших собор. Они были совсем живыми. Ом с интересом отметил, что резчик придал им выражение горести. Тяжелой печатью лежала она на их лицах. Где-то в тринадцатом или четырнадцаом веке, раздумывал Огюст, некий французский скульптор впервые придал индивидуальность своим произведениям. Для Огюста эти фигуры были предвестниками появления всех последующих поколений французских скульпторов. Он был благодарен им за то, что любовь к богу не превысила их любви к правде. На Реймс у него был всего один день, ведь еще столько надо было посмотреть в Италии.

Следующие несколько дней он провел в Лозанне и Женеве. Огюсту понравились оба эти города, особенно архитектурная

планировки Женевы, и он пришел в восхищение от Альп, «Они неправдоподобно красивы, писал он Розе в коротком, по полном бодрости письме. – Если Реймс был веселым и мужественным, то горы, напротив, мрачные, мощные и подавляющие. Какое это потрясающее сооружение из камня! Все это служит доказательством того, что я тебе часто повторял: бог-величайший из скульпторов».

3

Но итальянцы, с которыми Огюст повстречался на севере Италии, были оскорблены, когда он осмелился критиковать la belle Italia. Он пожаловался на холод в Милане и Турине, и его обвинили в том, что он анемичный и малокровный. Разочарованный тем, что он нигде не увидел «золотого света», о котором так много слыхал в Брюсселе и Париже, – повсюду его встречали только дождь и туман, – он писал Розе: «Погода тут, как в Бельгии, плохая, но местные жители заверяют меня, что она улучшится. Видимо, так и будет, когда я отсюда уже уеду».

Погода по-прежнему не радовала его, когда он подъезжал к Флоренции. Он удивлялся, что же случилось с прекрасной итальянской зимой, о которой он так много слышал. Дожди шли не переставая, и било холодно. В поезде он встретил высокого красивого итальянца и подумал: «Ах, какая отличная модель».

Молодой человек, приметив интерес Огюста и то, что Огюст иностранец, чье невежество можно обратить себе на пользу, немедленно проникся к нему дружескими чувствами. Он представился как Сальваторе Сантони. Сантони, который говорил по-французски, сказал Огюсту, что тоже едет во Флоренцию. В действительности Сантони ехал в Рим, но готов был задержаться и во Флоренции, если это сулило ему прибыль.

– Не правда ли, итальянский пейзаж прекрасен? – сказал Сантони.

Огюст кивнул, хотя он предпочитал хорошо обработанные поля Франции, но ему страшно хотелось лепить Сантони. Итальянский пейзаж, расстилавшийся перед ним, был слишком суровым и голым. «La belle Italia, ну и ну! – думал он про себя, передразнивая Сантони. – А еще говорят, что в мире нет города, равного Флоренции».

Узнав, что Огюст приехал посмотреть Микеланджело, Сантони восторженно воскликнул:

– Микеланджело, о, это величайший скульптор! Вы поступили весьма правильно, что приехали посмотреть его произведения.

– Вы видели «Давида» и «Моисея»? – спросил Огюст.

– Нет-нет, мой друг, но, как каждый добрый итальянец, я горжусь этим человеком. Он слава нашей la belle Italia.

Флоренция показалась Родену слишком однообразной в своих коричнево-желтых тонах. Но когда перед ним открылась панорама Флоренции с пьяццо Микеланджело, она напомнила ему Париж: те же бесконечные крыши, раскинувшиеся у подножия холмов. Но потом решил, все это пустая сентиментальность, – по-прежнему шел дождь, и было холодно и мрачно.

По совету Сальваторе Сантони Огюст остановился в швейцарском pensione на виа Торнабуони. Сантони ему сказал:

– Это хорошая гостиница, швейцарцы чистоплотны и к тому же вас не обманут.

Сантони особенно старался, чтобы его новый друг не стал жертвой обмана со стороны кого-либо другого. Огюст согласился встретиться с Сантони через три дня на пьяццо Дуомо. Он горел желанием лепить Сантони, хотя знал, что сейчас для этого нет возможности, но не хотелось терять связи с такой великолепной моделью – прямо-таки героем Микеланджело.

Первые два дня Огюст посвятил осмотру Флоренции. Он знал, что следует немедленно отправиться в музей и в первую очередь к Микеланджело и Донателло, но, чем больше знакомился с Флоренцией, тем дальше откладывал этот момент. Он боялся увидеть подлинники Микеланджело: это могло быть еще одним разочарованием, с которым трудно будет примириться. Он, правда, побывал в доме Данте, вспомнив о том, что до своего изгнания поэт был флорентийцем, по дом не пробудил в нем никаких чувств, и Огюст пожалел о потраченном времени.

Кипящие страсти флорентийцев поразили его. Споры возникали мгновенно и сопровождались громкими криками и размахиванием рук. Огюсту казалось, что вот-вот разразится кровавая драка. Но вместо того, дав выход своим эмоциям, они удалялись, дружески обнимая друг друга. Были тут и патриоты Флоренции, подобные Сантони, правда, по большей части не такие стройные, а коротенькие и толстые, которые твердили Огюсту о том, как они щедры и гостеприимны, и добавляли: «Не правда ли, Флоренция прекрасна?» Огюст спешил уйти от них.

Его стала утомлять la belle Italia. Все те же вечные разговоры о «золотом свете», а дождь льет не переставая. Ему недоставало тонкости французской кухни и французских соусов. Кругом только и было разговоров, что о Данте, Микеланджело, Донателло, но современного искусства Огюст не видел нигде, а музеи заполняли почти одни французы и англичане; изредка встречались американцы. Но жизнь здесь недорога, с

благодарностью думал он, он сможет увидеть все, что его интересует, и некоторые итальянцы столь очаровательны, что глаз не отведешь. Величавость женщин – украшение этой нации, думал он, и это несколько скрашивает напыщенность мужчин.

На третий день Сантони, как и обещал, появился на пьяццо Дуомо. Его сопровождал друг, которого он представил как Витторио Пеппино, гида. Пеппино, тоже высокий и красивый, был еще более подходящей моделью.

Пеппино благосклонно согласился показать Огюсту Флоренцию– за двадцать франков в день.

– Нет необходимости. Я и сам найду дорогу, – ответил Огюст.

Пеппино пришел в бешенство. Он заорал на отличном французском языке:

– Эти мне французы! С тех пор как проиграли войну, ничего не тратят, а все отдают пруссакам!

Но Огюст не оскорбился: у Пеппино была восхитительная осанка, а поза, которую он принял, была необычайно выразительна. Подумав, что Пеппино оскорбляет его и лепить его будет затруднительно, Огюст пошел от них прочь, но Сантони ухватил его за рукав и объявил:

– Вы очень нравитесь моему другу.

– Нравлюсь? После такой-то сцены?

– Конечно, нравитесь. А иначе стал бы он выходить из себя!

Пеппино произнес с великолепным жестом всепрощения:

– Возможно, я соглашусь на ваше предложение за десять франков.

– Я вам ничего не предлагал, – ответил Огюст.

– Но ведь вам наверняка нужна помощь, – сказал Сантони. – Вы в чужом городе, мой друг. Вам надо познакомиться с Флоренцией, с ее искусством.

Огюст сказал:

– Мне не нужен гид.

– Гид нужен всем! – заявил Пеппино с новым великолепным жестом.

Огюст подумал, что такого выразительного тела, как у Витторио Пеппино, он еще не видел.

– Что вы предпочитаете-«Quatrocento» или «Cinquecento»?

И, заметив непонимающее выражение на лице Огюста, гид пояснил:

– «Cinquecento» – это шестнадцатый век, век Микеланджело, расцвет Возрождения.

– Я сам найду, что мне надо, – сказал Огюст.

– Вы еще пожалеете, – пригрозил Пеппино.

– Пожалею так пожалею, ничего не поделаешь, – ответил

Огюст. Но застывший в горестно-великолепной позе Пеппино поразил его так, что желание лепить гида превозмогло все остальное. Он сказал:– Мосье Пеппино, если вы когда-нибудь приедете в Париж, я буду рад с вами увидеться.

– В Париж? Сантони сказал, что вы из Бельгии. Я работаю в Бельгии. Но со временем вернусь в Париж, может быть, очень скоро. – Огюст дал итальянцам адрес отца.

Пеппино крепко вцепился в рукав Огюста и не отпускал, пока тот не объяснил, что он скульптор. Пальцы Пеппино тут же раздались, словно его внезапно разбил паралич. Все известные Пеппино скульпторы были бедняками.

– Да нет, я заплачу, – сказал Огюст.

– Заплатите? Сколько?

– Пятьдесят франков. Сто франков. – Это было безрассудство, но Огюст решил проявить щедрость.

Он не мог выделить на это и десяти франков, но хотел казаться настоящим скульптором.

– А откуда нам знать, что вы столько заплатите?

– А откуда мне знать, что вы стоите того, чтобы вас лепить? Вас обоих?

Пеппино минуту обдумывал сказанное, затем взглянул на Сантони, который медленно кивнул. Пеппино написал адрес и подал его Огюсту.

– Мой брат живет в Риме. Вы можете разыскать нас через него.

Они расстались, думая, что никогда больше не встретятся, хотя – кто знает?

Огюст отправился в галерею Уффици и дворец Питти, самые знаменитые музеи Флоренции, и, хотя там хранились картины художников, которых он уважал – Тинторетто, Рафаэля, Тициана, Рубенса, Боттичелли, – его утомило это непрерывное поклонение мадонне и святым. Вне сомнения, великие произведения, думал он, но однообразие убивало силу их воздействия. Он решил, что одна из тайн действительно великого искусства заключается в его разнообразии.

У него уже пропало было всякое желание смотреть что-либо еще, когда он добрался до скульптур Кановы. Они ему понравились. Обнаженные женские фигуры Кановы пластичны и полны жизни, думал он. И вдруг его охватило желание увидеть другие скульптуры, увидеть «Давида», любые творения Микеланджело.

Никто не знал, какая из скульптур «Давида» является оригиналом. Во Флоренции хранилось несколько копий, но Огюст хотел увидеть оригинал. Наконец после многочисленных

расспросов местных жителей, которые никак не могли понять, что ему надо, он узнал, что в прошлом году оригинал с палаццо Веккьо перенесли в Академию ди Бель Арти.

Огюст нашел Академию после того, как его несколько раз посылали не в том направлении, и остановился у входа. Никто не мешал, вокруг никого не было, но он испытывал непонятный страх. Он не вынесет еще одного разочарования. И он не может взирать на «Давида» восхищенным взором посредственного ученика. У него должно быть собственное мнение.

Огюст равнодушно двинулся вперед и вдруг увидел перед собой утес – «Давида». Он застыл, пораженный. Нет, это не сон, даже сны не бывают такими прекрасными. Никакими репродукциями невозможно передать всей силы «Давида». Огюст смотрел, и им овладевало чувство чисто физической радости. Он жадно разглядывал каждый мускул; это было великим познанием законов анатомии. Его страх совершенно исчез. «Давид» был вершиной творчества скульптора.

Огюст позабыл обо всем, углубившись в изучение этой фигуры, которая вся дышала жизнью. Он осмотрел «Давида» со всех сторон. Останавливаясь на каждом шагу, обошел фигуру вокруг, разглядывая то, что он называл «профилями», – каждый контур, подъем и изгиб в камне. Своими сильными и гибкими пальцами он чувственно и нежно коснулся мрамора. И на ощупь мрамор тоже был таким же пульсирующим и живым. Казалось, время остановилось. Сколько величия в этой фигуре, пожалуй, даже слишком много, думал он, и все же «Давид» скорее героичен, чем божествен. Прав был Лекок, когда учил его все подмечать. И смотреть на все своими собственными глазами.

Какой глубокий ум – Микеланджело, думал Огюст. Микеланджело сделал это мощное тело столь привлекательным, что зритель забывал о праще, которую держал Давид, о том, что Голиаф, а не Давид был великаном. И лицо было слишком юным, слишком женственным для такого зрелого тела, но размер был выбран как раз тот, что нужно. Поразительно, но «Давид» сам по себе целый мир, выражение высшей истины в искусстве. Огюст был зачарован всем: размерим, наготой, плавными линиями тела, этими замечательными руками – никогда он не забудет этих рук!

На следующий день Огюст вновь пришел к «Давиду» и еще через день тоже. Он хотел видеть его при различном освещении, в разное время дня. Он по-прежнему считал, что лицо Давида слишком тщеславно, слишком красиво, но тело – образец мужского совершенства.

В конце второго дня он наткнулся на незавершенную скульптуру Святого Матфея. «Святой Матфей» считался одной из

наименее значительных вещей флорентийца, но в нем было столько чувств, такая сила, что Огюст был глубоко тронут. Эта корчащаяся в страданиях фигура, которая старалась высвободиться из мраморной толщи, шероховатость, слияние фигуры с фоном производили еще более волнующее и драматичное впечатление, чем «Давид» Микеланджело – волшебник, думал Огюст; сама техника исполнения «Святого Матфея», эта его незавершенность создавали впечатление борьбы между жизнью и камнем.

В течение следующей недели Огюст постарался найти и посмотреть все вещи Микеланджело. Кое-что ему по-прежнему не нравилось, и ничто он не принял безоговорочно, но его воображением завладели четыре незавершенные скульптуры пленников. Грубая моделировка нравилась ему куда больше, чем чистота полировки; казалось, что мрамор сохранил отпечатки пальцев Микеланджело. Как будто скульптор вел трудную борьбу, чтобы высвободить эти фигуры из каменного плена, где они томились. Пусть это не удалось ему окончательно, и все же в них выразился порыв непокоренного Прометея, – значит, камень, пусть неохотно, но уступил под напором скульптора.

Окрыленный, Огюст отправился в ризницу капеллы Медичи. Два женских торса, первые обнаженные женские тела, которые он увидел у Микеланджело, слишком мускулисты, решил он, у них плечи и бедра Атласа, и все же он влюбился в «Рассвет». Несмотря на всю мускулистость фигуры, а может быть, именно поэтому, ее первозданная женственность наполнила его душу радостью.

После быстрого, но внимательного осмотра скульптурных дверей Гиберти, которые ему очень понравились, он устремился в Рим, чтобы и там увидеть Микеланджело.

Но пока он добирался до Сикстинской капеллы, проталкиваясь через толпы других туристов, священников, провинциалов, детей, он несколько раз сбивался с пути и был так растерян, утомлен и обессилен этими поисками ускользающего шедевра Возрождения, что все его волнение и напряженное ожидание иссякли. К тому же капелла была переполнена людьми. У Огюста разболелась шея от усилий рассмотреть роспись, и его неприятно поразило смешение стилей. Каково бы ни было мастерство художников, расписавших панели ниже живописи флорентийца, они резко контрастировали с ним. Никогда еще Огюст не испытывал такого сильного раздражения. Он считал, что la belle Italia сыграла с ним злую шутку.

Задыхаясь от бешенства, Огюст начал было пробираться к выходу, как вдруг заметил несколько человек, лежавших на полу и рассматривавших потолок, расписанный Микеланджело. Может,

это и нарушение правил, подумал он, но он был столь рассержен, что ему было все безразлично. Если Микеланджело писал лежа на спине, значит, его работу следует разглядывать в том же положении.

Огюст отказался от мысли лечь на скамью, надо,чтобы был самый лучший обзор. Глаза его удивленно расширились, когда он растянулся на полу и устремил взор вверх. Теперь все выглядело вполне естественным, все встало на место. Какая это важная вещь – перепектива!

Никто не беспокоил Огюста, и он лежал на полу и улыбался про себя. Лекок и Бари справедливо настаивали на изучении анатомии. Как дотошно Микеланджело научил расположение каждого мускула и каждой жилки! Фигуры на потолке и на передней стене казались высеченными из камня. Микеланджело всегда оставался скульптором, даже в живописи. Но с каким напряжением должен был он работать! Не было такой позы, такого движения тела, которых художник не сумел бы изобразить.

Огюста не тронули лица – он предпочитал лица Рембранта, у Микеланджело они были классически правильными, идеализированными, совершенными. А когда его глаза привыкли к высоте и перспективе, он приметил некоторые недостатки в изображении фигур, хотя техника была превыше всякой критики.

Многие из них были одинаковыми, лишенными разнообразия. Иные были слишком мускулистыми, с руками и ногами в узлах мышц и широкими, квадратными торсами, – разве найдешь в жизни такой квадратный торс, подумал Огюст. И позы были слишком неестественными и напряженными, скорее подобающими Ахиллу и Геркулесу, чем Адаму. Но какой замысел, восхищался Огюст, всевышний, касающийся пальцами Адама, чтобы вдохнуть в него жизнь! Только прирожденного скульптора могла осенить такая идея.

Микеланджело сам, как всемогущий бог, создал здесь свою вселенную, и Библия тут ни при чем. Для него капелла стала горнилом жизненных испытаний, и фигуры ее были скорее подобны фуриям, чем ангелам. Свое представление о жизни он выразил в форме, которую считал подходящей для себя. Огюст подумал, что, хотя художник и остался верен условностям фресковой живописи и библейскому повествованию, в остальном он был самостоятелен. По-настоящему его интересовало лишь обнаженное мужское тело, и он изображал его таким мужественным, что это изумило Огюста. Словно Микеланджело, презирая свое немощное тело, в бронзе, мраморе и фресках хотел оставить завещание человечеству, когда сам он уйдет из жизни.

Микеланджело состязался с самим богом, размышлял Огюст,

он сам творил формы из первозданного хаоса. Неудивительно, что столько его работ остались незавершенными. «Страшный суд» был представлением о Страшном суде самого Микеланджело. «Сотворение Адама» было его «Сотворением Адама». И если божественная рука и коснулась Адама, чтобы вдохнуть в него жизнь, то это была рука Микеланджело.

Огюст готов был проползти по всему полу капеллы, чтобы рассмотреть потолок со всех точек, но длинная продолговатая комната до отказа заполнилась людьми. И так приходилось нелегко: посетители чуть не наступали на него.

Огюст, взволнованный, поднялся на ноги. Он тоже призван создавать свои творения. И не подражая Микеланджело, не подражая никому на свете – он горел желанием идти своим собственным путем в скульптуре. Его учили верить в свои силы, но до сих пор он только говорил, что верит в них. Теперь он верил по-настоящему.

Встреча с Микеланджело разрушила все его планы. Огюст решил во что бы то ни стало увидеть «Моисея». «Моисей» произвел на него огромное впечатление, из всех работ флорентийца эта доставила ему наибольшее удовлетворение. Руки «Моисея» – о чудо! Лишь один день он посвятил осмотру Рима, Форума, Колизея, но все это не тронуло его, хотя древний Рим нравился ему больше, чем современный город. Еще несколько часов ушло на музеи, где он видел новые скульптуры Кановы и портретные бюсты Бернини, которые ему понравились. Но тайный голос шептал, что эти посещения лишь уловка, желание оттянуть начало собственной работы. Через несколько дней после посещения Сикстинской капеллы, влекомый силой еще более непреодолимой, чем та, что привела его в Италию, он решил как можно скорее двинуться в обратный путь, в Бельгию, в свою мастерскую.

Охваченный все той же жаждой творчества, он стоял у двери дома в Брюсселе и нетерпеливо стучал, надеясь, что в мастерской все готово для работы. Он отсутствовал всего месяц. Роза должна быть довольна, что он так скоро вернулся. Она с растерянным видом стояла в дверях.

– Ничего не случилось?

– Ничего, – ответил он сердито. – Мне надо работать.

– Работать?

– Ты недовольна, что я вернулся, дорогая?

– А ты рад меня видеть, Огюст?

– Глупый вопрос, – проворчал он. – Иначе бы я не вернулся.

Огюст направился прямо в мастерскую. Все было в полном

порядке. Она отлично заботилась обо всем.

Новое пламя творчества охватило его, Роза угадала это по тому, как критически, недовольно осматривал он свои старые работы.

– Весьма посредственно. Слабо. – Он вспомнил, что в последнее время не уделял достаточно времени рисованию. Им овладело вдруг безумное желание разрушить все созданное до сих пор, но он понял, что это глупо. И все же он ненавидел свои последние работы.

Роза спросила:

– Микеланджело действительно выдающийся?

– Выдающийся? – Он хотел объяснить ей, что Микеланджело пробудил в нем неудовлетворенность собой, но разве до нее дойдет это? – Не такой уж выдающийся, – добавил он, ему хотелось с кем-то поделиться своими мыслями; новые впечатления так и рвались наружу. – Во многом скульптуры Донателло более разнообразны, более изящны, чем Микеланджело. В скульптурах Микеланджело немало однообразия, они слишком атлетичны, мускулисты, иногда до преувеличения, до искажения.

– Тогда почему ты так взволнован?

– Ничем я не взволнован. – Он с презрением уставился на недавно сделанные небольшие бюсты. – Эти штучки в стиле рококо – грехи моей молодости.

– Мне они нравятся.

– Они должны тебе нравиться. Она вспыхнула, словно он ее ударил. Почувствовав вину, он вдруг сказал:

– Не надо было оставлять тебя, но на поездку вдвоем не было денег.

– Скажи, Огюст, Микеланджело великий скульптор, правда? Величайший из всех – ты так говорил.

– Что значит величайший? – рассердился он. – Каждый выдающийся скульптор и художник велик сам по себе. Искусство ведь не скачки, не состязание.

– Ты его любишь?

– Люблю? Разве можно любить другого скульптора или художника? Можно уважать, восхищаться, учиться у него, но любить – это не столь важно.

– А чему ты научился у Микеланджело?

– Что чувства надо претворять в дела. Что скульптор должен вечно изучать анатомию человеческого тела, человека в движении. Да, конечно, все это было мне известно и прежде, но в его скульптурах это звучит особенно убедительно. И еще, если ты веришь в то, что делаешь, ничего не должно стоять у тебя на

пути.

– Тебе понравился собор святого Петра?

– Его архитектура грандиозна, но в Ватикане столько всякой ненужной ерунды, столько навешано фиговых листьев, что это портит такие прекрасные вещи, как «Пьета» Микеланджело.

– Ты богохульствуешь.

– Я предпочитаю говорить прямо, без околичностей.

– Но все-таки поездка не была напрасной?

– Я должен был воочию увидеть Микеланджело. – Роза была озадачена, и он пояснил: – Я понял, что должен смотреть всеми своими чувствами, а не только глазами. – Это озадачило ее еще больше.

Не зная, как поддержать его, Роза сказала:

– Но теперь ты не будешь беспокоиться о своей работе.

– Нет, буду беспокоиться, но каждый раз, принимаясь за что-то новое, буду твердо верить, что получится шедевр.

– Какой же толк от поездки, если она не принесла тебе покоя?

Огюст не стал больше пускаться в объяснения. Но он был доволен и тронут ее участием.

– Конечно, я съездил не напрасно, – с гордостью сказал он. – Милая Роза, я потратил всего шестьсот франков, меньше, чем за отливку в бронзе одного бюста. – И еще он многое познал и вернулся назад с огромным запасом энергии[45].

Глава XIX

1

Прошло полгода, и вот в своей мастерской на улице Вургместр в Брюсселе Огюст раздумывал, сравнивая скульптуру из глины и натурщика, и спрашивал себя, удалось ли ему в этой вещи выразить нечто свое, личное. Он работал над этой фигурой все время после п (вращения из Италии, и вот теперь она наконец почти закончена. Скульптура в человеческий рост, он назвал ее «Побежденный». Стройный нежный юноша сей своей позой выражал страдание, правой рукой он сжимал рану на голове, левой напряженно опирался а копье.

– Можешь сесть, – сказал он натурщику Нейту Модому бельгийскому солдату.

Юный Нейт перестал мерить шагами холодную мастерскую и сел, закутавшись в старое одеяло.

После многих бесплодных недель Огюст наконец добился того, чтобы Нейт держался естественно, спокойно и непринужденно сидел или ходил по мастерской. Но, господи, скольких это стоило усилий! Он увидел солдата в магазине, где тот подыскивал бронзовую статуэтку в подарок невесте. Огюста поразили его прекрасная осанка и его обаяние. Хорошо, что Нейт понятия не имел об искусственных позах профессиональных натурщиков. Какую бы позу ни принял Нейт, она всегда была непринужденной.

Но Нейт, понятия не имевший об искусстве, наотрез отказался позировать обнаженным. Солдат счел это неприличным и унизительным для мужчины, и только обещанные десять франков в час заставили его согласиться. Нейт не представлял себе всей огромности работы, и по мере того, как росло количество часов, потраченных на позирование, сокращалась и его плата. Но теперь, хотя Нейт утомился, а скульптор задолжал за много месяцев, он был захвачен этим процессом создания своего двойника и мечтал увидеть конечный результат. Нейту не верилось, что у него такой чувственный, почти женственный вид. Если бы его товарищи-солдаты узнали, что он позирует, его засмеяли бы или решили, что он спятил. Нейт убеждал себя, что согласился только ради платы, но он и понятия не имел, что его тело может быть столь интересным и удивительным.

Устал он страшно. Казалось, это воскресенье никогда не кончится. Уже стемнело, он опаздывал на свидание к невесте, а

скульптор все работал, словно подчиняясь какой-то высшей воле. Нейт спросил:

– Вы хотите, чтобы я еще вам позировал, мэтр?

– Возможно.

– Она уже почти закончена?

– Почти.

– Вы закончите ее завтра? Или на следующей неделе?

Огюст пожал плечами. Она будет закончена в свое время. Время теперь исчислялось лишь днями, когда он работал над «Побежденным». Он не предпринимал больше поездок для посещения музея или собора. Ничто не должно его отвлекать, даже Роза, и вот теперь «Побежденный» почти готов.

– Кто там? – спросил Нейт, услыхав шаги в коридоре.

– Это моя экономка. А теперь глубоко вдохните, чтобы расширилась грудь. – Огюст определил по звуку шагов, что это Роза. Он представил себе, как она со злобой и ненавистью глядит на дверь мастерской. Начав лепить Нейта, он запретил ей входить сюда. Она никак не могла примириться с тем, что Огюст держит «Побежденного» в секрете от нее; она чувствовала себя чужой в собственном доме и говорила ему об этом. Но он не обращал внимания.

Нейт вдруг сказал снова углубившемуся в работу скульптору:

– Вы знаете, свободного времени у меня теперь в обрез. Скоро начнутся полевые маневры. Неужели придется еще позировать?

– Не знаю. Помолчите. И не двигайте руками. Из-за холода и усталости Нейт машинально сжал руки в кулаки, и мускулы выступили напряженными, застывшими шарами.

Огюст лепил быстро и уверенно. Вот поза, которая ему нужна. Глина под его пальцами казалась ему живой плотью. Он сделал впадину у ключицы, в соединении плеча и шеи, там, где тело, даже самое сильное и мужественное, наиболее нежно.

Глаза Нейта расширились от изумления.

– Да, – сказал Огюст, – я доволен этой статуей, только бы ее закончить.

– По-моему, она закончена. Совсем живая, никогда не видел такой статуи.

– Живая – это верно, да только она должна обладать еще и индивидуальностью.

– Да уж куда же больше. Мне стыдно будет выйти на улицу, когда вы его выставите. Меня все узнают.

– Вот и отлично.

– Надеюсь, мне не придется жалеть о том, что согласился позировать.

– Нет, не придется.

– Знаете, как в армии смотрят на такие вещи.

– Никто не будет знать, кроме вашего начальника, а он дал разрешение.

– Неофициальное. А вы действительно собираетесь его выставлять?

– Я выставлю его под названием «Побежденный», такого солдата можно найти в любой армии. А теперь встаньте. Не напрягайтесь. Двигайтесь, если это поможет. Вот этот молодой человек, Нейт, не был бы столь живым и одухотворенным, не будь вы, Нейт, сами таким.

– Благодарю вас, мэтр, – ответил Нейт, расхаживая по мастерской, чтобы согреться.

Огюст ощущал легкость и уверенность в пальцах. Эта скульптура не будет обладать героической, подавляющей мощью Давида. Но она станет– он в этом уверен – олицетворением человека, человеческого опыта и олицетворением каждого человека, не сломленного горечью поражения в войне, когда все надежды потеряны, – пример, достойный подражания для Франции 1871 года, которому она не последовала.

Нейт спросил:

– А что будет, когда я кончу позировать?

– Потом мы отольем его в бронзе.

– А не в мраморе? – Нейт был разочарован.

– Нет! – У Огюста было твердое мнение на этот счет. – В мраморе он будет выглядеть слишком идеализированным. Обыкновенным красавцем Нарциссом. Бронза – как раз то, что нужно.

– Мрамор все-таки красивей.

– Неправда. Это ошибочное мнение. Можете одеваться, Нейт. Благодарю вас.

– Хорошо. – Нейт бросил последний взгляд на «Побежденного». – Он совсем голый, мэтр, вот увидите, будет скандал. Я чувствую.

– Вы просто замерзли, и неудивительно. Когда я сниму другую мастерскую, я позабочусь, чтобы она лучше отапливалась. – У Нейта такая свежая кожа, она хорошо отражает свет, надо будет использовать его и в дальнейшем.

– Если возникнет скандал, я надеюсь, он меня не коснется.

– Да посмотрите, сколько везде таких скульптур. Микеланджело без конца лепил нагое мужское тело, даже для церкви.

– Но он их идеализировал, вы сами так говорили.

– Мосье Нейт, что касается меня, то я могу лепить только так, Скульптор не должен скрывать ничего.

2

Обеспокоенный сомнениями натурщика, Огюст попросил Ван Расбурга взглянуть на законченную фигуру и, чтобы утешить Розу, пригласил и ее. Он не посчитается с мнением Ван Расбурга, если партнеру не понравится «Побежденный», но Ван Расбург способен дать и полезный совет, а если скульптура ему понравится, поможет устроить ее в Брюссельский Салон. По мнению Ван Расбурга, Огюст вел себя эгоистично, не считаясь ни с чем, когда ему надо было работать над этой скульптурой, и к тому же скрывал ее от всех. А теперь ждет благосклонного внимания. Но партнер не мог отказаться: Огюст был так захвачен, возможно, он действительно создал нечто достойное внимания.

Роза тоже хотела отвергнуть приглашение Огюста, оно было настолько нелюбезно, что, скорее, походило на приказание. Она была обижена запретом входить в мастерскую. Стоит ли вообще заходить в мастерскую, раз он этого не хочет? Видимо, он создал нечто совсем богохульное. Ее любопытство росло. Что он мог там от нее прятать?

Ван Расбург и Роза пришли вместе и, пораженные, застыли на пороге. Ван Расбург был изумлен, а Роза шокирована. Она воскликнула:

– Совсем как в жизни!

– В анатомии нет ничего зазорного, – с раздражением сказал Огюст.

– Это ты над этим работал полтора года? – спросила Роза.

– Какая разница, сколько? – проворчал Огюст. Было ошибкой приглашать ее. Но и на лице Жозефа появилось какое-то странное выражение; Огюст обернулся к нему, требуя правды.

– Возможно, мадам Роза права, Огюст, – сказал Ван Расбург. – Чересчур уж реалистично. Это может оскорбить публику.

– Но не более реалистично, чем «Давид», – настаивал Огюст.

– В чем-то даже более. – Огюст не соглашался, но Ван Расбург продолжал развивать свою мысль: – Давид столь огромен, что не воспринимается как живой человек. Для нас он герой, бог, а «Побежденный»– совсем живой человек. Вы выполнили его в человеческий рост да еще снабдили человеческим лицом. Это, мягко говоря, необычно.

– Вы хотите сказать, что было бы лучше придать ему отвлеченные героические черты?

– Пожалуй. Послушайте, да вы еще сделали его прямо женоподобным. Посмотрите на этот живот, на эти бедра. – Роза смутилась, но он продолжал: – Со спины его можно принять за девушку.

– Но он такой и есть, – упорствовал Огюст.

– Не сомневаюсь, – ответил Ван Расбург. – Это прекрасная фигура.

– Прекрасная? – Огюст нахмурился.

– Прекрасная не в смысле красоты. Исполнение столь пластично, что к ней хочется прикоснуться. Он, может быть, и «Побежденный», но он также и «Победитель».

– Думаете, Брюссельский Салон одобрит его?

– Можно попытаться. У меня есть влиятельные друзья. – И Ван Расбург погрустнел.

Огюст спросил:

– В чем дело, Жозеф?

– Я сам себе рою яму. Если эта скульптура будет пользоваться успехом, вы не захотите уделять нашему общему делу и половины своего времени. Станете настоящим скульптором.

– Никому он не понравится, – сказал Огюст безнадежным тоном. – Они станут сравнивать «Побежденного» с Рюдом[46] или с Карпо, и не в мою пользу, и скажут, что я недостаточно академичен.

– Тогда зачем ты за это брался? – спросила Роза.

Огюст резко ответил;

– К чему эти глупые вопросы?

Ван Расбург еще раз посмотрел на «Побежденного». Стройная фигура в чувственно-нежной позе, руки, заломленные в страдальческом протесте, ноги, гладкие, изящные, как у лучших образцов греческой красоты, – как бы там Огюст ни называл его. Несмотря на всю реалистичность статуи, она была высшим воплощением физической красоты. Это возрожденная Греция, подумал Ван Расбург. Огюст старался как можно дальше уйти от Микеланджело[47], он твердо решил не прославлять, не создавать героя, Геркулеса или даже Прометея, – а вместо этого создал современного Аполлона, и весьма привлекательного.

Прошло несколько минут, а Ван Расбург все молчал, и Огюст нетерпеливо спросил:

– Ну, что вы думаете, Жозеф?

– Это несколько напоминает греков, – сказал Ван Расбург.

– Нет, – твердо сказал Огюст. – Я не делал себе никаких установок. Я всецело руководствовался непринужденными, естественными движениями натурщика.

– Что ж, может быть, – ответил Ван Расбург. – Будь это Венера, все было бы в порядке. Решили бы, что это фигура в классическом стиле. Но как быть с мужской фигурой? И все же надо попытаться его выставить.

– Я тоже так думаю, – заметила Роза.

– Вам что-нибудь еще не нравится? – спросил Огюст Ван Расбурга.

– Копье, которое он сжимает в руке.

– Оно служит ему опорой.

– Оно лишнее. Только ослабляет его.

– Я не хочу, чтобы он был сверхбожеством, героем Микеланджело.

– Да ведь разве что слепой может так подумать. Сверхбожества не способны страдать, по крайней мере, как этот вот человек. Но я бы все же убрал копье.

Слова Жозефа произвели впечатление на Огюста, но копье занимало слишком много места в его первоначальных планах, и так сразу расстаться с ним было трудно. Он сказал с сурово непроницаемым видом:

– Я подумаю.

– Значит, вы этого не сделаете, – заключил Ван Расбург.

– Нехорошо, Огюст, – пристыдила Роза. – Ты спрашиваешь у мосье Жозефа мнение, а потом не считаешься с ним.

– Я сделал свое дело. Одобрил, Этого только и хотел Огюст. И еще, чтобы я рекомендовал его Салону, – с улыбкой заметил Ван Расбург.

– Мне хотелось услышать от вас правду, – пробормотал Огюст.

– Разухмеется, правду, – отозвался Ван Расбург. – Правду, которая вам по душе. Но я рад, что вы так хорошо поработали над скульптурой. Мы почувствовали всю ее жизненность.

– Я надеюсь, Салон согласится с этим.

– Нет, не согласится, – сказал Ван Расбург с несвойственной ему твердостью. – Вы пользуетесь совершенно новыми скульптурными приемами. Они сочтут вас еретиком. Вот увидите. Вы собираетесь отливать его в бронзе?

– Да. Как только…

– Как только я дам вам денег. Огюст молчал. Что еще ему сказать?

Через несколько дней «Побежденного» отослали к самому лучшему литейному мастеру в Брюсселе; деньги Ван Расбург дал. И когда «Побежденный» вернулся, отлитый в совершенстве, Огюст ощупал всю фигуру с головы до ног. Ни единой ошибки. Он мог поставить свою подпись. Фигура ничуть не приукрашена. Отливка делала «Побежденного» еще более живым, подлинным, неповторимым. Огюст сомневался насчет копья, но все же не убрал его, считая эту деталь решающей. На станке для модели Огюст нашел записку от Ван Расбурга, где тот сообщал, что по его рекомендации «Побежденный» принят Брюссельским Салоном и

что Огюст должен представить список известных скульпторов и художников, у которых он учился и с которыми работал. «Как начинающий мальчишка», – с горечью подумал Огюст.

Но Ван Расбург подчеркнул слова «у которых учился и с которыми работал», и Огюст принялся составлять список. У него было неприятное чувство, что список важнее самой работы. После долгих раздумий он написал: Лекок де Буабодран, Луи Бари, Альбер Эрнест Каррье-Беллез и Жозеф Ван Расбург. Может быть, Каррье-Беллез будет польщен и простит его, а имя Бари произведет особое впечатление. Бари умер в прошлом году и теперь считался знаменитостью. Затем, чтобы избавиться от чувства ученической приниженности, Огюст вырезал у основания статуи свою подпись «Роден», но позади, так, чтобы ее не было видно. Ничто не должно отвлекать внимание от фигуры. Пусть жюри Салона увидит, сколько жизненности в «Побежденном».

3

Огюст пришел на открытие выставки в Артистическом кружке вместе с Ван Расбургом и Розой. Его охватывал то жар, то холод, то восторг, то страх при мысли о том, что его работа выставлена на всеобщее обозрение, но он старался казаться равнодушным и шел неторопливо. Увидев статую, он невольно убыстрил шаги.

Но нет, это не его «Побежденный». Вокруг было такое изобилие скульптур – куда больше, чем он предполагал. Для Огюста это было неожиданностью, и его охватило чувство потерянности. Куда ни взглянешь, повсюду бесконечные скульптуры и бесконечные залы, а «Побежденного» не видать.

После долгих поисков они обнаружили «Побежденного» в одном из дальних залов. Огюст содрогнулся. Они поместили фигуру в самом неудачном месте, в темном углу, так что на нее можно было смотреть только анфас. Статуя привлекала скандальное внимание. Смеющаяся, издевающаяся толпа собралась перед ней. Кто-то повесил на руку «Побежденному» листок с насмешливой надписью: «Отлит точно по слепку натурщика». Огюст почувствовал себя заклейменным навеки, он погиб, все кончено. Многие скульптуры делались по слепку, но обвинение в этом считалось оскорблением.

– Ну успокойтесь, – говорил Ван Расбург и тянул разъяренного Огюста прочь от насмешливой толпы. – Все из зависти!

– Это правда, правда! – услышали они восклицания из толпы. – Совсем как в жизни, значит, слепок. С трупа, без сомнения.

Огюст в отчаянии схватился за голову. И вдруг Роза, движимая внезапным порывом, пробралась сквозь толпу, сорвала оскорбительную надпись и разорвала на мелкие куски. Воцарилась полная тишина. Толпа была напугана таким проявлением неистовства. Сама Роза желала одного: чтобы этим ограничились все неприятности для Огюста; она повернулась и гордой походкой направилась к нему. Он взял ее под руку, и они удалились вместе с Ван Расбургом, который приговаривал:

– Вот увидите, будут и благоприятные отзывы.

4

Когда все брюссельские газеты принялись поносить «Побежденного», Огюст решил, что больше оставаться в Бельгии нельзя. Он написал опровержение, что все намеки на то, что он пользовался слепком, лишены основания, но шум принял невиданные размеры. Чем больше протестовал, тем больше его обвиняли. Следующая неделя после посещения выставки была самой страшной в его жизни. Каждый раз бывая в Салоне, он видел, как публика издевается и потешается над его работой. Лишь изредка звучали слова одобрения. Ничего особенного, не он первый, не он последний, убеждал он себя, и тем не менее не находил покоя. Он чувствовал себя опустошенным. Если он не будет отомщен, то никогда не сможет лепить.

5

Глубоко оскорбленный, Огюст стоял перед бронзовой отливкой «Побежденного» у себя в мастерской – выставка уже закрылась – и терзался вопросом, в чем он допустил ошибку. Все было гармонично в этой скульптуре, а она вызвала скандал. В гневе он схватил было железный прут, но остановился – острая боль пронзила его при мысли, что «Побежденный» погибнет. Это будет убийством. Огюст шагал взад-вперед по мастерской, бешенство и ненависть душили его. Его «Побежденного» забросали грязью, и эту грязь не отмоешь. Он обессилел, дошел до точки, почти до сумасшествия. Он рассматривал скульптуру, не замечая Розы и Ван Расбурга в дверях. Бросив на «Побежденного» последний прощальный взгляд, Огюст поднял железный прут. Ван Расбург кинулся к нему.

– Вы ведь не их убиваете, – воскликнул он, – а себя!

– Я вам говорила, мосье Жозеф! Я говорила вам, что надо торопиться! – воскликнула Роза.

– Отдайте мне прут, Огюст, – попросил Ван Расбург.

– Я не могу выйти на улицу, все надо мной смеются, – сказал Огюст.

– Значит, сейчас самое время нанести ответный удар. Тем более что некоторым «Побежденный» понравился.

– Некоторым! – презрительно повторил Огюст и замахнулся прутом на всех своих многочисленных врагов. – Почему же меня никто не защитил? Не написал в газеты, которые оклеветали меня? Все прячутся, даже Нейт. Он на маневрах. Нарочно, я знаю. Господи, ну почему они такие завистливые? Может, потому, что я француз? А ведь я все деньги потратил на бронзу.

Ван Расбург сделал вид, что не понял намека, и сказал:

– Я бы назвал ее «Бронзовый век».

– Век? Бронзовый? – недоумевающе переспросил Огюст.

– Эта фигура из бронзового века.

Огюст посмотрел на «Побежденного» и сердито сказал:

– Это ничего не изменит.

– А может, и изменит. И для чего ему копье? Ведь оно не придает силы.

Огюст заколебался.

– Без копья он обретет новую силу. Он будет в центре внимания, это олицетворение бронзового века и всего, что с ним связано.

– «Бронзовый век», – раздумывая, повторил Огюст. Он отложил в сторону прут, который больше всего беспокоил Ван Расбурга. И представил себе фигуру без опоры, как гимн человеческой плоти. Одновременно она станет более поэтичной. Впервые за долгое время Огюст улыбнулся. И молча убрал копье.

– А он красивый, – прошептала Роза.

– Ну как, вам стало лучше? – удовлетворенно сказал Ван Расбург.

– Мне бы выставиться в Париже. Знаете, Жозеф, вы правы, бельгийцы мне завидуют, потому что я француз. Если бы парижский Салон его принял, – продолжал Огюст, – я был бы отомщен.

– Вам потребуются огромные связи, – сказал Ван Расбург.

Огюст преобразился. Сама мысль о возвращении в Париж была бальзамом.

– Значит, конец нашему партнерству, – сказал Ван Расбург.

– Мне очень жаль, Жозеф, но что поделать? Я и так слишком долго отсутствовал.

– А если они отвергнут статую? Это возможно…

– Вполне возможно, мой друг. Они и раньше отвергали все, что я представлял. Но нужно же когда-нибудь решиться. Если я не решусь, никогда себе этого не прощу.

– А всего пять минут назад вы хотели уничтожить статую, – сказал Ван Расбург, изумляясь человеческому непостоянству.

– Я назову ее «Бронзовый век». Это более доступно пониманию.

– Я не против того, чтобы расторгнуть наше партнерство, – сказал Ван Расбург, – только в настоящий момент, Огюст, я не смогу выплатить вам все наличными.

Огюст промолчал, он решил, что Ван Расбург пользуется этим предлогом, чтобы помешать расторжению их соглашения.

Наступила мучительная пауза, и тогда Роза спросила:

– Значит, дорогой, мы вернемся в Париж? Навсегда?

– Да. Только нет денег.

– Ты потратил все, что скопил, на натурщика? – спросила она.

– Послушай, – прервал он, покраснев от раздражения. – Тебя это не касается…

– Извините. – Ван Расбург направился к двери. В дверях он сказал: – А скульптура отличная. Помните об этом, Огюст.

Когда шаги Ван Расбурга затихли, Роза сказала Огюсту:

– А будь у нас тысяча франков?

– Перестань болтать! Откуда у меня столько денег?

– Но этого достаточно?

– Мне хватило бы и пятисот. – Ты и меня возьмешь?

– Да! Но чего болтать попусту.

Роза медленно подошла к шкафу, достала старую сумку, на миг, как величайшую драгоценность, прижала ее к груди и бережно подала Огюсту. Он едва поверил своим глазам, увидев, сколько оттуда посыпалось денег: грязные металлические франки, истрепанные, связанные в пачку банкноты, монеты в десять су, монеты в сорок су, многие до того истертые, что не понять, какого они достоинства, почерневшие от времени луидоры. «Их собрала ее любовь», – подумал Огюст, почувствовав внезапный укор совести. Но тут же рассердился: как она посмела утаить это от него?

– Откуда они у тебя?

– Я шила в твое отсутствие и откладывала.

– Я больше года никуда не уезжал.

– Дорогой, но когда ты лепишь, то все равно что в отъезде. Тут, верно, около тысячи франков. – Это прозвучало как вопрос, на который она ждала ответа.

– Целая тысяча? – Он не верил.

– Думаю, девятьсот пятьдесят. Я откладывала с тех самых пор, как приехала в Брюссель. Почти шесть лет.

Ему стало стыдно, но не мог же он просить у нее прощения за свою грубость. Он скульптор, не муж.

– Милая Роза, видно, мне никогда тебя не понять.

– Теперь ты счастлив, дорогой?

– Почти, – ответил он. – Теперь я могу выставляться в Париже…

– Мы вернемся туда?

– И как можно скорее. – Он задумался и вдруг отдал ей деньги. – Не могу их взять. Спасибо тебе, но не могу. Ты отрывала от себя, а что я дал тебе взамен?

Роза хмыкнула и заметила с крестьянской проницательностью:

– Тебе очень идет, Огюст, когда ты такой серьезный.

– Я всегда серьезный, когда меня что-то волнует.

Они грустно улыбнулись друг другу. Роза отдала сумку с деньгами ему в руки. «Его замечательные, сильные, прекрасные руки», – думала она. Он притянул ее к себе. Она чувствовала, как пальцы впились ей в ладони, огрубевшие от домашней работы и ухода за мастерской. Какая радость быть ему полезной! Огюст поцеловал ее, и она подумала: «Господи, как я его люблю!»

– Другой такой, как ты, нет, милая Роза, – сказал Огюст, – пожалуйста, всегда оставайся такой. – Ее щедрость глубоко тронула его, правда, она не явилась неожиданностью. Он вдруг нахмурился. Почему она так плохо одета? – Отчего ты всегда носишь только черное и серое? Ты ведь знаешь, что я люблю яркие цвета.

Роза опустила глаза и покраснела.

– Разве у тебя нет самолюбия? – Щедрым жестом он подал ей пятьдесят франков из ее же собственных денег, затем вдруг прибавил еще пятьдесят и сказал: – Купи себе новое платье. Два платья.

– А зонтик? Мне всегда так хотелось зонтик, Огюст.

– Хочешь, чтобы я подарил? – Он снисходительно улыбнулся и сказал: – Ладно, раз уж тебе так хочется. Но только смотри, такой, чтоб подходил к платьям и чтоб яркий.

– Такой, как тебе нравится, дорогой.

– И подумать только, что бы ты могла сделать на эти деньги, – задумчиво добавил он.

Часть четвертая. Возвращение.

Глава XX

Огюст вернулся в Париж. Стоял прекрасный солнечный день. Он поднялся на верх Триумфальной арки и, когда увидел город, Нотр-Дам, Лувр, Сену, Дом инвалидов, знакомые и дорогие его сердцу, он понял, что наконец-то дома. Какое счастье! Париж, какой он необыкновенный! Сегодня отличная погода, ясный, прозрачный воздух, когда видно вдаль на многие километры. Казалось, весь город у его ног. Впервые Триумфальная арка не вызывала у него раздражения.

После посещения Бельгии, Голландии, Италии Огюст гордился тем, что он француз, был благодарен Наполеону за его победы, особенно теперь, после поражения 1870 года. Его радовали нарядность бульваров, яркое солнце и обилие света. Живя вдали, он позабыл, что Париж – город художников, и в этой избитой истине сегодня ему открылась величайшая правда, так же, как и то, что архитектура города делала его городом скульпторов.

Огюст пошел вниз по Елисейским полям; ему в его простом платье было неловко среди модных дам в огромных, украшенных перьями шляпах и джентльменов в сюртуках и цилиндрах, с тросточками в руках. Он направился к набережной, тут он был у себя дома. Вот он, дорогой его сердцу район, где прошло детство. Он так много слышал о том, как пострадал город во время войны. Вот то место, где когда-то стояла Вандомская колонна[48], а здесь был Тюильрийский дворец. Но Лувр, хотя и пострадавший в гражданской войне, остался все тем же – прочным и незыблемым, как всегда.

Но когда он остановился на мосту Искусств, ему почудилось, что он между двумя мирами. На правом берегу громада Лувра, длинная, серая, внушительная и такая недосягаемая; а на левом, совсем рядом, Дворец промышленности, приют Салона и колыбель Школы изящных искусств, – и Огюста вдруг охватило отчаяние, показалось, что Салон для него столь же недосягаем, как и Лувр. «Они отвергнут „Бронзовый век“, – подумал он, – видно, этой борьбе не будет конца».

Ему стало полегче при виде старых барж, проплывавших под мостом, и он позабыл о трагических кровавых событиях гражданской войны и о переменах, происшедших в его отсутствие, о том, что Третью республику возглавлял теперь один из самых ярых французских роялистов – маршал Мак-Магон. Казалось, Париж совсем не изменился со времени его отъезда. Люди, как обычно, прогуливались, беседовали, курили,

останавливались отдохнуть, разглядывали прохожих – рабочие в синих блузах, джентльмены в сюртуках, изящно одетые девушки. Вот чего не хватает Розе, подумал он, тонкости вкуса парижанок. Она больше не могла служить моделью для Венеры, но из нее выйдет прекрасная Жанна д'Арк, богиня войны. Сделав подобный вывод, Огюст ощутил некоторую гордость.

Не останавливаясь, он дошел до особенно дорогого его сердцу Нотр-Дам – ничто не изменилось, каменные колонны по-прежнему устремлялись к небу, мощные, суровые и прямые, и крыша, казалось, парила, в воздухе. Прежнее чувство изумления и благодарности наполнило душу Огюста. Древние камни были совсем живыми, они сливались с небесами. Чудо средневековой французской архитектуры!

Огюсту не терпелось вновь осмотреть весь город, который он так любил. Он хотел немедленно найти Лекока, Фантена, Ренуара, Дега (его переписка с Дега, столь удачно начавшаяся, прервалась), видеть и обсудить все, что было нового в живописи и скульптуре, узнать, есть ли у него возможность попасть в Салон. Или Салон по-прежнему находится в цепях рутины? Слышали ли они о его «Бронзовом веке»? Может, шум, поднятый в Брюсселе, дошел и до Парижа? Господи, сколько вдохновляющей силы таит в себе эта часть Парижа! Она вселила в него дух бодрости и надежды. Он вдруг почувствовал жалость к тем, кто никогда здесь не жил.

Чем дальше шел Огюст, тем сильнее возрастало его желание посетить места, где он встречался с друзьями, но следовало прежде всего повидаться с семьей. Они жили неподалеку, на улице Дофин, вместе с тетей Терезой, и Папа будет очень обижен, если он сразу не навестит их. И ведь его ждет маленький Огюст. Он разволновался. Смешно, но я как будто боюсь встречи с мальчиком после стольких лет разлуки, думал он. Ему уже одиннадцать, почти взрослый. А как сын отнесется к тому, что отца так долго не было? Не забыл ли мальчик его? Понравится ли он сыну? Все это чепуха, он прежде всего скульптор, а вовсе не муж и отец, – об этом он говорил Розе не раз. Но, приближаясь к дому, Огюст все больше волновался.

Он узнавал места, знакомые с детства. Здесь не было такой нищеты, как на улице Муффтар или в рабочем Сен-Дени, но это был тоже бедный район. Уродливый железный балкон. Маленький каменный дом, сырой и холодный, источал запах бедности.

Огюст постучался. Дверь открыла тетя Тереза. Он догадался, что его поджидали. Она спокойно и сдержанно обняла племянника.

«Должно быть, Роза попросила Ван Расбурга написать домой, – подумал он. – Хотя их партнерство и окончилось, хорошо, что Жозеф это сделал, сам он не решился написать – только расчувствовался бы, а это ни к чему».

– Входи, – сказала тетя Тереза, заметив его колебание. – Папа ждет тебя.

– Ну как он? – спросил Огюст, не двигаясь с места.

– Для его возраста неплохо.

Ему трудно было заставить себя спросить о маленьком Огюсте – это было бы признанием своей вины, проявлением любопытства и нетерпения.

– А что же ты не спрашиваешь о сыне? – спросила тетя Тереза.

– Я никогда от него не отказывался, – сказал Огюст.

Тетя Тереза совсем высохла, и походка стала нетвердой, как у старухи, но держится еще молодцом, и глаза сияют, как прежде.

– Верно. Ты его содержал. Это уже кое-что, – сказала тетя Тереза.

– Но этого мало? – спросил Огюст.

– Дорогой мой, не заставляй Папу ждать. Он и так волнуется.

«Не больше, чем я», – подумал Огюст и последовал за тетей Терезой в кухню. Папа всегда чувствовал себя здесь уютней всего. Сейчас, как и в былые времена, он сидел во главе стола и курил трубку. Она пахла столь тошнотворно и выглядела такой древней, что Огюсту показалось, будто это та самая трубка, из-за которой они поспорили, когда Папа позировал ему. Заметив Огюста, Папа вздрогнул и страшно побледнел.

Папины бакенбарды, как у Луи-Филиппа, превратились в реденькую желтоватую бородку. Тяжелые, массивные черты лица осунулись и заострились. Он сидел ссутулившись. Куда только подевались его широкие плечи, мускулистые грудь и руки, которыми он так гордился, он весь уменьшился размерах, словно фигура из глины, в которой разрушился каркас. «Старость жестока, – думал Огюст, – часто более жестока, чем смерть».

Наступило долгое молчание. Папа напряженно вглядывался в Огюста, и тот смутился, а потом понял, Папа смотрит так потому, что плохо видит. Совсем ослеп, с ужасом подумал Огюст. Он знал, что у Папы неважное зрение, но все равно это было для него неожиданностью. Папины глаза были пронзительными, ярко-синими и невидящими, и все же они вопрошали: почему ты так долго пропадал? Огюст повернулся к тете Терезе выговорить ей за то, что она не сказала ему о Папиной слепоте, но Папа неуклюже потянулся к нему, чтобы выполнить торжественный ритуал детских лет – поцеловать его в обе щеки.

– Какая у тебя отличная борода, Огюст, – сказал Папа.

– Спасибо, Папа. Такая же, как у тебя.

– Теперь ты навсегда останешься дома?

– Навсегда.

– И будешь жить, как все?

– А разве я жил иначе! – Папа словно не слышал его.

Но тут сердце Огюста дрогнуло. Перед ним стоял подросток, неуклюжий, смущенный. И это маленький Огюст! Как вырос! Мальчик точно такой, каким был он сам в детстве: щурит глаза, и у него те же повадки, хотя вырос он без отца. И хотя лицом сын пошел в мать, расцветка у него моя, рассуждал про себя Огюст, и движения, и походка, и мои руки, квадратные, сильные, с толстыми короткими пальцами – вон как прижал их к бокам, будто хочет, чтобы они отпечатались. Наверное, от смущения. А может, у него есть и способности, вдруг с надеждой подумал отец. Неожиданно он всем сердцем потянулся к сыну. И тут же подумал: нельзя быть таким чувствительным.

– Огюст, будь хорошим мальчиком и поцелуй папу, – сказала тетя Тереза.

Маленький Огюст послушно обнял отца, но был неподатливым, как сухая глина. Своими сильными руками Огюст вдруг схватил мальчика, прижал к себе и глубоко вздохнул– нелегкая это была победа над собой, – а мальчик по-прежнему оставался холодным и равнодушным. Тетя Тереза забеспокоилась, она боялась, что Огюст рассердится. Но тут отцовская борода защекотала мальчика, и он рассмеялся.

– Господи! – воскликнул Папа. – Как давно я не слыхал смеха.

– Мы должны поехать на пикник, – предложил Огюст. – Ты куда хочешь поехать, малыш?

– В Булонский лес, – предложил мальчик.

– Далеко, – заметил Папа.

– Можно на омнибусе, – сказал Огюст. – А потом погуляем в лесу и на Больших бульварах.

Мальчик спросил:

– А можно на большом желтом омнибусе? Запряженном парой лошадей?

– Конечно! – сказал Огюст и договорился с тетей Терезой, что она приготовит обед к их возвращению.

Маленький Огюст хотел сидеть рядом с кучером, а Огюст не разрешил. Мальчик в недоумении посмотрел на отца, но тот остался тверд.

По Булонскому лесу разъезжало множество экипажей, ландо и колясок, и маленький Огюст спросил, почему они тоже не наймут экипаж.

– Мы так и сделаем, – сказал Огюст-старший. – Но сначала,

малыш, надо погулять.

Папа согласно кивнул, и мальчик, который с уважением относился к дедушке, успокоился. Огюст поддерживал Папу под локоть, а сын держался за его руку. Огюст рассказывал Папе обо всем, что происходит вокруг.

И Папа с прежней живостью сказал:

– Когда немцы осадили Париж, Булонский лес был в ужасном состоянии, а когда пруссаки в своих остроконечных касках маршировали по Парижу, мы закрыли все окна и двери. Никто не хотел на них смотреть. Да, ведь я совсем забыл, ты после этого был в Париже.

– Но очень короткое время, Папа.

– Нет-нет, я совсем не против того, что ты уезжал в Брюссель. Солнце скрылось за горизонтом, похолодало.

Огюст взял экипаж. А когда Папа забеспокоился о расходах, Огюст ответил, что не надо экономить, тем более на пикнике, да еще в такой день!

– Ну, что я тебе говорил? – шепнул Папа маленькому Огюсту. – Теперь Огюст вернулся, и дела пойдут по-другому.

Маленький Огюст спросил:

– Отец, это немцы разрушили твою статую?

– Откуда ты знаешь о статуе? – удивился Огюст.

– Мама сказала. Это не они ее разрушили, нет?

– Нет, малыш, нет.

Папа подтолкнул локтем внука и сказал:

– Ну-ка скажи отцу, кем ты будешь, когда вырастешь.

Мальчик заколебался, но потом спросил отца:

– А ты не рассердишься?

– Конечно, нет, малыш.

– Когда я вырасту, – сказал мальчик, старательно выговаривая слова, словно заучил их наизусть, – я буду таким, как мой отец.

Огюст не знал, что сказать, и Папа первый нарушил молчание:

– Какой прекрасный экипаж ты выбрал. С тех пор как уехала Роза, мы ни разу не ездили на пикник.

– Почему же? – удивился Огюст.

– Не могли себе позволить, – ответил Папа. – Цены все растут. Литр вина теперь не семьдесят сантимов, а целый франк, а сахар подорожал с семидесяти до девяноста сантимов. Раньше Тереза покупала кофе по два франка за фунт, а теперь по три двадцать пять, и мы почти совсем не покупаем мяса. Масло, сыр и яйца нам тоже не по карману. Я надеялся, что дела изменятся к лучшему, а они, наоборот, все ухудшаются. И сколько я на своем

веку перевидал всяких правительств! Я родился, когда Наполеон был императором, а в 1815 году наступила монархия, а потом всякие перевороты в 1830, 1848, 1851 годах, когда пришел Наполеон III, и потом опять в 1870 году. Много я повидал на своем веку всяких правительств. Уж думаешь: людям надоело, так нет, никогда ничему не научатся. А теперь вот снова ходят слухи о новом перевороте.

– Я думал, Франция сейчас процветает.

– Мелкие буржуа процветают – это точно. А наш президент Мак-Магон – роялист и маршал. Говорят, он хочет стать императором.

– Казалось бы, после Наполеона III все сыты по горло императорами.

– Господи, он-то умер, да идея жива.

– Папа, с каких это пор ты стал так интересоваться политикой?

– Ну а чем же мне еще интересоваться? Когда взрослые замолчали, мальчик спросил:

– А мама скоро приедет?

– Приедет, как только подыщем квартиру, – ответил Огюст. – Сейчас она присматривает за моими статуями в Брюсселе.

Экипаж остановился у дверей. Поездка стоила дороже, чем рассчитывал Огюст, но он и виду не подал. Ведь это особый день. Сумерки опустились на Париж, и Огюст вдруг загрустил: как много времени он провел вдали от Папы, маленького Огюста и любимой тети Терезы! Его одолевали предчувствия, что «Бронзовый век» и здесь подвергнется осмеянию. Тут он заметил слезы в глазах Папы.

– Что с тобой? – спросил он.

– Ничего, ничего, – ответил Папа. – Большая эта статуя, которую ты собираешься показывать в Париже?

– Это мужская обнаженная фигура. В человеческий рост.

– Ах, вот как, – понимающе сказал Папа. – Но это не Христос?

– Это вообще не святой, просто мужчина, молодой мужчина.

– Такой, как был я, и какой ты теперь?

– Я уже не так молод, Папа.

– Подожди. Вот доживешь до моих лет, тогда будешь вспоминать о том времени, когда тебе было тридцать пять.

– Мне скоро тридцать семь. Поздно мне ждать успеха.

– И это после того, как ты столько потратил времени на все эти фигуры. – Но, говоря так, Папа довольно улыбался.

По случаю возвращения Огюста тетя Тереза приготовила праздничный обед: рыбный суп, жареное мясо, много картофеля, а также вермут и «Контро».

– Совсем как в прежние времена, – сказал Папа. Папа все вспоминает прошлое, грустно подумал Огюст. И тут же решил спросить у Папы о том, что уже так давно его терзало.

Когда они на минуту остались одни, он упрекнул Папу, почему тот не сказал ему, что Мама умирает.

– Я и сам не знал, – ответил Папа, – смерть подкрадывается так неожиданно! Нам пришлось тут же ее похоронить, боялись эпидемии. – Папа выглядел таким дряхлым, беспомощным и вдруг замолчал.

– Но как могли вы похоронить ее в общей могиле? – допытывался Огюст.

– Всех так хоронили, – пробормотал Папа. – Даже богатых. Это было во время осады Коммуны, а ты был в Брюсселе.

– Я не хотел тебя обидеть, – сказал Огюст.

– А чего со мной считаться? Я слепой. На что я годен?

– Ты мой отец, – сказал Огюст.

– Так почему же ты так долго отсутствовал?

– Мне надо было работать.

– Знаю-знаю. Значит, ты останешься дома, даже если они не примут твою фигуру?

– Да. Каждый скульптор или художник-француз рано или поздно возвращается в Париж. Это для него настоящая родина.

– Ну а мальчик? Ты не оставишь его?

– Конечно, нет. Ведь он мой сын. – Но одно беспокоило Огюста, омрачая этот радостный день. Ребенок так крепко весь день держал его за руку, что это пугало. Он не просил, он требовал всей его отцовской любви без остатка. «Не слишком ли больших жертв он просит?» – спрашивал себя Огюст.

– Ты уж не будь с ним таким строгим, – вздохнул Папа. – Я слишком стар, чтобы его воспитывать, а он немного капризный.

– Вернется Роза, сама все рассудит, – ответил Огюст.

Глава XXI

1

Стороной узнав, что мнения жюри Салона по поводу «Бронзового века» разделились, Огюст решил за помощью и советом отправиться к друзьям-художникам. Теперь они собирались в кафе «Новые Афины» на площади Пигаль[49].

Огюст сел на желтый с красными фонарями батиньольский омнибус, а дальше пешком взобрался на монмартрский холм. Вид лежащего внизу Парижа всегда доставлял ему удовольствие. Всюду мерцали огоньки, словно город смотрел на него несметным множеством глаз. После долгих поисков он нашел кафе на вершине крутой горы, упиравшейся в площадь Пигаль. Оно помещалось в маленьком, неприметном доме. Стоя в дверях, Огюст думал, что кафе никак не соответствует своему названию, что бы ни мнил о нем хозяин. Потолок был расцвечен всеми цветами радуги, главным украшением служила картина, изображавшая огромную крысу. Пол был посыпан песком, и зал разделен на две половины высокой перегородкой, отделявшей бистро от ресторана.

Хозяин, гордившийся тем, что во времена Наполеона III его завсегдатаями были такие знаменитости, как Доде, Золя, Курбе, Гамбетта[50], хриплым голосом приветствовал стоявшего на пороге коренастого рыжебородого человека. Можно не сомневаться, что этот крепыш из мира искусств – это выдавал его напряженный, внимательный взгляд. Хозяин спросил:

– Кого вы ищете, мосье?

– Мосье Дега, – вежливо ответил Огюст.

– А, художника. Тогда сюда. – Хозяин указал на группу мужчин, расположившихся около круглых мраморных столиков в углу. Голубой табачный дым облаком повис над их головами, и Огюст не мог рассмотреть лица. Он приблизился с некоторой робостью. Годы, разделявшие их, казались ему вечностью. Сильно ли они переменились? Не стал ли он для них чужаком?

Дега, облаченный в свой обычный черный в белую крапинку костюм, жевал миндаль и изюм, не угощая остальных; он стал еще более сутулым. Мане, все такой же привлекательный и изящный, но сильно постаревший. Ренуар, по-прежнему стройный и худощавый, все с той же неровно подстриженной бородкой и растрепанными волосами, все такой же молодой. Ван-дейковская бородка Фантена выглядела еще более холеной, а сам он каким-

то печальным. Моне, потолстевший, с большой бородой, обрамляющей широкое красивое лицо, на котором лежала теперь печать постоянной озабоченности. Там были и другие, которых Огюст не знал.

Друзья о чем-то яростно спорили. Дега кивнул ему, Ренуар улыбнулся, Моне изумленно пожал плечами, Мане вежливо поклонился, а Фантен дружески пожал руку, и спор продолжался дальше.

Казалось, ничто не переменилось, но нет, переменилось все. Те же жалобы, что и прежде, – не верилось, что прошли годы, – и все-таки все было иным. Сама атмосфера была какой-то напряженной и враждебной. Огюст смотрел на них словно со стороны. «Дега слишком уж занят самим собой, – думал он, – а Мане скорее тактичен, чем дружелюбен; Моне сдержан и мрачен. Только Фантен все тот же душа нараспашку, и Ренуар все так же приветлив и добр». Фантен познакомил его с Камиллом Писсарро, человеком средних лет, длинная белая борода и венчик седых волос придавали ему вид библейского пророка.

– Он художник, – пояснил Фантен. – Поборник пленэра, как и Моне.

Писсарро улыбнулся мягкой улыбкой и подвинулся, чтобы дать место Огюсту. С остальными Огюста не познакомили.

Дега, не обращая внимания на Огюста, обрушился на внимательно слушавшего его Мане:

– Мы всю душу, все силы вкладываем в нашу выставку, а ты – на попятный.

– Я на попятный? – изумился Мане. – Я никогда не говорил, что собираюсь выставляться.

Дега резко прервал его:

– Но ты ведь готовишься к Салону?

– И я, – попытался вставить слово Огюст. – Если только примут. Разве это преступление?

Дега бросил на него презрительный взгляд, но не снизошел до ответа.

– А где же еще выставляться? – спросил Огюст.

– Верно, где? – поддержал Мане. Дега сказал:

– Вы же знаете, какие надежды возлагаем мы на предстоящую выставку.

– Какую выставку? – Огюст почувствовал себя пришельцем с другой планеты.

Фантен пояснил:

– Та, которую теперь называют Выставкой импрессионистов – уже третья[51]! Состоится в апреле.

– Какое вульгарное название, – заметил Дега.

– Это открытый вызов Салону. И на мой взгляд, время тоже неподходящее, – сказал Фантен.

Огюст с удивлением спросил:

– Но ведь ты всегда громче всех требовал для нас отдельной выставки.

– Из этого ничего не вышло, – ответил Фантен. – Были две выставки, и кое-что продалось, но теперь все это приобретает политический оттенок. Правительство, где одни роялисты, объявляет Выставку импрессионистов делом рук республиканцев.

– Какая чепуха, – сказал Дега. – Я роялист и участвую в ней. Мане республиканец – и не участвует. Но что говорить, в нашей политической жизни глупостей хоть отбавляй.

– Даже среди роялистов? – спросил Огюст.

– Они-то и есть глупейшие из всех, – сказал Дега. – А пора бы набраться разума. Поддерживают маршала, этого Мак-Магона, который не выиграл ни единого сражения. Он твердит, что все должно опираться на конституционную основу, а сам сидит в Версале, как Людовик XIV. Он никак не может сделать выбор, а тем временем повсюду царит растерянность.

– Что-то непохоже, что ты растерян, – сказал Огюст.

– А с какой стати? – Дега театрально взмахнул худыми руками. – Я не позволю Салону взять надо мной верх.

Огюст, потрясенный, сказал:

– Настоящая гражданская война.

– А это и есть гражданская война, – ответил Дега. – Как в дни Коммуны. Когда француз воюет против француза, свирепость разрастается. Будь мы хоть вполовину так свирепы с пруссаками, никогда не проиграли бы войну. А теперь и мы, художники, втянуты в такую борьбу. Салон, Институт, Академия стремятся превратить ее в гражданскую войну. Как мы осмелились организовать собственную выставку? Нет нам прощения!

Фантен сказал:

– Значит, и ты хочешь быть таким же фанатиком, если кричишь с пеной у рта, что тот, кто выставляется; в Салоне, не может выставляться с тобой вместе.

– Тут нужны строгие меры, – сказал Дега. – Раз не делают уступок нам, то и мы не пойдем навстречу.

– Тупик, вечный тупик. В Бельгии меня попрекали тем, что я делаю слепки с натуры, – вздохнул Огюст.

Фантен сказал:

– Слышали.

– А тут, – продолжал Огюст, набравшись храбрости, – вы передрались между собой. Господи, да чего мне ожидать от Салона, когда вы сами так относитесь друг к другу?

Дега пояснил:

– В лучшем случае безразличия, в худшем – презрения.

– Роден, а почему бы тебе не выставиться у нас? – спросил Моне.

Огюст заколебался. Звучало соблазнительно. Но он будет единственным скульптором, он окажется слишком на виду.

– Я уже подал прошение в Салон. Я должен добиться отмщения, – сказал он.

– Вот и получишь по заслугам, – сказал Дега.

– Но я же пришел к вам за помощью! – воскликнул Огюст.

– За помощью? – Дега посмотрел на Огюста так, словно тот не в своем уме. – Салон считает нас париями, а ты являешься к нам за помощью!

– Как мы можем тебе помочь, – с важным видом спросил Моне, – когда сами отчаянно нуждаемся в помощи?

Огюст спросил:

– А кто участвует в вашей выставке?

– В Выставке импрессионистов, – подхватил Фантен с насмешкой, столь несвойственной ему прежде, – участвуют мосье Дега, мосье Моне, мосье Сезанн, мосье Писсарро, мосье Ренуар и еще с десяток других мосье, которых ты не знаешь.

– Но вы с Мане не участвуете? – спросил Огюст.

– Они решили, что выставляющиеся в Салоне не могут выставляться с ними, – ответил Фантен. – О том и спор. Как видишь, Роден, в Париже не тише, чем в Брюсселе.

– Но в Париже и надо выставляться, – с вызовом сказал Огюст.

– А почему бы тебе не умереть, Роден? – ядовито спросил Ренуар. – Вон Бари умер – и его записали в гении.

– У меня еще мало работ, – пробормотал Огюст. Ренуар продолжал:

– Карпо умер вскорости после Бари и теперь тоже гений. Или пойти бы тебе в актеры, как мадемуазель Сара Бернар[52]. Она регулярно выставляется в Салоне. Портретные бюсты. И ее ни разу не отвергли.

– Она хороший скульптор? – спросил Огюст.

– О ней много говорят как об актрисе. У нее необычайный голос. В прошлом году в Салоне было несколько ее портретов.

Огюста охватило отвращение: неужели и Ренуар научился злобствовать?

Почувствовав настроение Огюста, Ренуар сказал:

– Прости меня, друг, но это все чистая правда. И лучше тебе узнать заранее.

Огюст кивнул. Он оглянулся и увидел сидящих неподалеку

лореток. Когда их взгляды встретились, они улыбнулись ему соблазняющей улыбкой. В свете газовых ламп они казались необыкновенно привлекательными; он забыл обо всех спорах, которые ничего не разрешали, а лишь только ухудшали дело. Он завидовал влюбленным парочкам, сидящим в кафе. Одна девушка особенно привлекла его внимание. В ярком красном платье, она сидела в одиночестве за рюмкой вермута у маленького столика. Кожа ее словно светилась, а глаза сияли на бледном лице. Мужчина сел с ней рядом, и Огюст приревновал ее. А когда она ушла в обнимку с мужчиной, который остановил на ней свой выбор, Огюст почувствовал себя покинутым. Он прислушивался к шуму омнибусов, экипажей, колясок и гадал, на чем они уехали. Или, может, она живет поблизости, и они пошли к ней? Париж полон любовников, думал он, а он здесь один со своими неудовлетворенными желаниями и неудачами, преследующими его изо дня в день.

– Ты что, оглох? – крикнул кто-то ему в ухо.

Он обернулся и увидел Дега, наклонившегося к нему. Щеки у Дега пылали, глаза блестели. Дега веско произнес:

– Ты слишком наивен, Роден, если думаешь, что на тебя обратят внимание. В прошлом году у них одних только картин было две тысячи девяносто пять, а в этом будет еще больше. И все будут глазеть на жанровые сцены, и чем больше размером, тем лучше, и, конечно, как всегда, батальные полотна, воскрешающие победы Наполеона. Салон будет набит всякими жеромами, кабанелями и бугеро в тысячи франков штука, пачкунами и поклонниками ложного героизма и поддельной красоты. И будет бессчетно мелких подражателей с мертвыми красками, да они и сами-то мертвые, хотя и не сознают этого. Вот Бугеро в прошлом сезоне продал несколько картин за баснословную цену, и можешь быть уверен, в этом году Салон будет переполнен подражателями Бугеро.

– Да! – подтвердил Огюст, заинтересовавшийся вдруг молодой женщиной, которая села за соседний столик. Она была одна, но он сомневался в том, что это лоретка; нарядно одета, хорошенькая, молодая и без увядшего вида проститутки. Но он не решался подойти, хотя ему очень хотелось. Он стеснялся. Слишком людно. – А будет в Салоне и что-нибудь стоящее? – спросил он.

– Возможно, Мане, – сказал Дега.

– Ладно, Дега, хватит критиковать. Ведь и сам любишь славу, – вмешался Мане.

– Но я не такой буржуа, как ты, – сердито ответил Дега.

Мане приподнялся со стула, словно собираясь ударить Дега,

который вздрогнул, но не двинулся с места. Вместо этого Мане повернулся к Огюсту и сказал:

– Видишь, Роден, сколько у нас доморощенных Наполеонов. Неудивительно, что перевороты у нас самая популярная форма политической деятельности. А ты еще ждал, что мы будем друг за друга горой. Теперь понимаешь, почему нет единства среди наших критиков, – мы и сами не можем его добиться.

Огюст помрачнел. Никто не проявил интереса к его работе. Все требовали признания, но не признавали его. Друзья относились к нему так, словно за эти годы он ничего не достиг. И встреча, которую он ждал с таким нетерпением и надеждой, принесла ему лишь глубокое разочарование.

В полночь он покинул кафе, а художники все спорили. Хозяин гасил и вновь зажигал газовые рожки, оповещая, что «Новые Афины» закрываются, а они не обращали внимания. «Спорят, но в душе остаются холодными и равнодушными», – подумал Огюст. Фантен посоветовал ему на прощание: – Смотри, чтобы хорошо поставили твою статую, это важно.

И Ренуар добавил: – Чтобы не в тени.

А Дега, за которым всегда оставалось последнее слово, заявил:

– А провалишься, так помни: мы тебя предупреждали.

2

Через несколько дней Салон одобрил «Бронзовый век»[53]. Огюст привез фигуру во Дворец промышленности, исполненный решимости добиться, чтобы ее поставили в хорошем месте. Он мечтал о просторном, светлом зале. Это совершенно необходимо, говорил он, но дать щедрых чаевых служителям не мог, и фигуру запихнули в темную заднюю комнату. Он яростно протестовал, и тогда, в отместку, ее задвинули в самый угол и поставили так высоко, что нельзя было осмотреть со всех сторон. Когда же он пожаловался, ему намекнули, что он еще легко отделался. Он совсем испугался, вспомнив рассказы о скульптурах разбитых и изуродованных, пока их экспонировали в Салоне. И пришлось смириться. Но он был подавлен, убит. Здесь обстановка была куда хуже, чем в Брюсселе.

Открытие выставки доставило ему новые волнения. Он достиг того, чего так страстно желал, но он был в отчаянии. В этой войне он очутился на ничейной земле. На его статую не обращали внимания. Это была девяносто четвертая по счету выставка за время существования Салона, на ней было представлено более двух тысяч картин и сотни скульптур, и редко

кто забредал в отдаленную комнату, где стоял «Бронзовый век». Статуя покоилась на своего рола свалке, которая столь же интересовала публику, как, к примеру, сточная система Парижа. Скульптуру поставили слишком высоко – нарушались все ее пропорции и правильность восприятия, а откровенная нагота фигуры подавляла все остальное.

Огромные толпы собирались перед бронзовыми и мраморными бюстами работы мадемуазель Сары Бернар, – даже в семнадцать лет Огюст работал лучше. Публика толпилась и у многочисленных подражаний Бари и Карпо, уже благополучно причисленных к сонму бессмертных. Но самые густые толпы стояли перед несколькими пышными портретами, изображавшими мадемуазель Сару Бернар, которая явно была звездой выставки, а также перед батальной наполеоновской сценой Мейссонье, – она была продана за двести тысяч франков. Наряду с Бугеро Мейссонье[54] был самым процветающим парижским художником, ему платили в зависимости от размера его произведений. Был тут и неизменный Бугеро – его несколько обнаженных женских торсов, – картину считали шедевром выставки, и это олицетворение красоты и благородства было к тому же еще в изобилии снабжено классическими фавнами и сатирами.

Несчастный «Бронзовый век»! С ним покончено. Никто никогда его не заметит. И все же Огюст не мог забрать статую с выставки. В мрачном молчании простаивал он перед статуей, уверенный, что никогда ему не добиться признания, которого он так жаждал.

И вдруг спустя несколько дней произошло чудо. «Бронзовый век» стал самой популярной и самой поносимой фигурой на выставке. В одной из крупных парижских газет появилась длинная статья, повторяющая брюссельские обвинения в том, что фигура сделана со слепка, и еще было сказано: «Эта фигура, как бы она ни была выполнена, просто вульгарна в своей наготе и вызывающе непристойна».

Огюст немедленно написал в газету, отвергая все эти обвинения, но вскоре газета повторила их, прибавив новые: «Скульптор, видимо, ставил своей задачей шокировать и оскорбить публику. С узкой талией и соблазнительными бедрами фигура со спины похожа на девушку. Весьма возможно, что это ненамеренно, но создается впечатление, что „Бронзовый век“ – это изображение гермафродита».

«Как они могут судить! – возмущался Огюст. – Фигура поставлена так высоко и задвинута так глубоко в угол, что никто не мог увидеть ее со спины.

На следующий день Огюста чуть не задушили в толпе, собравшейся у «Бронзового века». Повсюду слышался шепот: «Это непристойно! Такая нагота! Они совершенно правы, отвратительно, какая похоть! Автор, должно быть, сошел с ума!». Взволнованный, доведенный до отчаяния, Огюст хотел ответить им всем. Но где? И как? Он словно прирос к месту, в душе бушевала буря. Он слышал шиканье, насмешки, презрительные выкрики. «Господи, какой он голый!»– это были еще самые мягкие отзывы. Найдется ли хоть один музей в мире, который согласится выставить его произведение? Растерянный, обескураженный, не зная, что предпринять, Огюст весь день простоял у статуи. Ему было очень одиноко, но он не мог бежать, не мог покинуть свою статую. Ему казалось, что он один на свете, и он стоял, заложив руки за спину, усилием воли сдерживаясь, чтобы не пустить руки в ход.

Дальше было еще хуже. Давка стала невыносимой. Люди валили на выставку, посмотреть на эту непристойную фигуру. Статуя пользовалась огромным успехом – все устремлялись к «Бронзовому веку», не замечая остальных скульптур. Но Огюсту был ненавистен этот «успех». Он мечтал вызвать восхищение, а приобрел дурную славу. Больнее всего ранило то, что его называли мошенником, плутом.

Солидный муж с розеткой ордена Почетного легиона в петлице приблизился и спросил:

– Простите меня, мосье, это вы Огюст Роден, если не ошибаюсь? – Огюст кивнул, и тот набросился на него: – Вам должно быть стыдно.

«Господи, скажи мне, – молил Огюст, – что делать?»

Он не просил о милости, не просил даже о справедливости, он просил о снисхождении. Изобрази он Нейта на кресте и с набедренной повязкой, его приняли бы без звука, а теперь его, Огюста, называют сумасшедшим.

А затем заработали колеса официальной машины.

Жюри Салона, рассерженное скандалом, сделало указание убрать «Бронзовый век» с выставки.

3

В день, когда статую должны были убрать, Огюст думал, что не доживет до вечера.

Он метался по Парижу в поисках мастерской, куда бы перенести «Бронзовый век», и не находил. И друзья-художники не могли помочь. Их самих бешено травили из-за их выставки, которая вызвала взрыв неприязни: они имели дерзость

организовать ее, несмотря на противодействие Салона. Даже Мане и Фантен, которые не выставлялись со своими друзьями, не избежали злобных нападок. Огюст не видел никого из друзей во Дворце промышленности, словно безразличие было одним из методов их борьбы.

Утром, перед открытием выставки, служители готовились убрать «Бронзовый век», и протекавшая рядом Сена, казалось, была единственным местом, куда Огюст мог беспрепятственно сбросить фигуру. Он совсем растерялся, как вдруг увидел рядом Лекока. Он и думать забыл, жив Лекок или нет, и вот старик стоял перед ним, худощавый и прямой, слегка опираясь на толстую палку; волосы его совсем побелели. Огюст ждал от учителя разноса.

Но Лекок улыбнулся и приказал служителям подождать переносить фигуру таким повелительным тоном, что они подчинились.

– Можете держать ее у меня в мастерской на набережной до тех пор, пока не решите вновь выставить, – сказал он Огюсту.

– Вам нравится статуя?

– Она произвела впечатление, пусть и не совсем благоприятное. Вы привлекли внимание, а это сейчас важнее, чем качество вашей работы.

– Публика меня не поняла.

– А зачем ей вас понимать? Все мы в душе критики.

– Как ваши дела, мэтр?

– А ваши, Роден? Я-то ушел на покой, а вы только начинаете.

– В тридцать шесть лет?

– Еще не поздно. И в этой статуе что-то есть.

– Бесстыдство. Лекок рассмеялся:

– Ну, если вы хотите себя оплакивать…

– А что мне еще делать – благодарить, что меня оклеветали?

– Подождите, все еще может перемениться. В этой статуе есть и дерзновение, чувствуется и умелая рука и свежесть мысли. А эта голова не просто бронза, а живой, полный страстей человек и одновременно цивилизованное существо.

– Пожалуй, единственное на всей выставке.

– Роден, – сказал Лекок, и в голосе его прозвучали снисхождение и терпимость, какую он редко проявлял, – ведь это просто зверинец. Между прочим, тут в прошлом году поместили настоящий зверинец, и поистине это было самое подходящее место. Наш президент, маршал, посетил его.

– А как мне опротестовать решение жюри?

– В соответствии с законом, вы должны обратиться к помощнику министра в Министерство изящных искусств, но все

зависит только от Эжена Гийома[55]. Он возглавляет Школу изящных искусств и один из самых видных членов Института и Французской Академии. Образец академического живописца, он набит всякими патриотическими условностями, вообразил себя Торквемадой и полон решимости уничтожить все еретические течения в искусстве.

– А я еретик?

– Он может подумать, что да.

– Тогда зачем протестовать?

– Привлечь еще больше внимания.

– А мой «Бронзовый век»? Что с ним будет?

– Не все художники и скульпторы в мире с Салоном. Я не имею в виду Дега и Моне, которые слишком самостоятельны по своей природе, чтобы кому-то подчиняться. Так вот, мой друг, хотите вы пользоваться моей мастерской?

Опост кивнул и стал было благодарить учителя, но Лекок не слушал. Лекок следил, как служители обращаются с «Бронзовым веком».

– Черт возьми, вы что, не понимаете, что имеете дело с подлинным произведением искусства?

4

Уверенность Лекока ободрила Огюста, и он обратился с протестом к помощнику министра в Министерство изящных искусств. Тот направил его в Институт, в подчинении которого находился Салон. Затем последовала долгая переписка, в ходе которой Эжен Гийом от имени Института посоветовал Огюсту сделать слепки и снимки с натурщика, служившего моделью, и направить их на рассмотрение в Институт. И хотя Нейт сфотографировался в Брюсселе и писал Огюсту о готовности приехать в Париж и лично выступить в его защиту, но, испугавшись скандала, сообщил, что приехать не может-начальник не дает отпуск.

Наконец слепки и фотографии прибыли в Париж. Огюст немедленно доставил их Эдену Гийому, но его известили, что уже поздно: Салон 1877 года закрывался. Всякая необходимость ознакомления со слепками и фотографиями отпала.

Огюст вновь подал протест помощнику министра, и тот заверил его, что справедливость восторжествует. Помощник министра назначил комитет под председательством Эжена Гийома в составе членов того самого жюри, которое приняло решение убрать «Бронзовый век» с выставки, и спустя месяц они сделали следующее публичное заявление: «Члены комитета не

убеждены в том, что мосье Огюст Роден пользовался слепками при работе над скульптурой „Бронзовый век“.

Какой изумительный образчик лицемерия, – подумал Огюст. – Ни слова о том, чтобы вновь выставить статую или принести извинения автору. Лекок предоставил ему в полное распоряжение мастерскую, а он потерял всякое желание работать. Стоит ли приниматься за новое, раз от «Бронзового века» один позор! Он узнал, что жюри Салона с особой похвалой ˆотозвалось о портретном бюсте Викториена Сарду[56], исполненном мадемуазель Сарой Бернар.

5

Подавленный всем этим, Огюст не соглашался встретиться с художниками, которые хотели с ним познакомиться. Но Лекок настаивал, и встреча была назначена на воскресенье, в мастерской Лекока.

Огюст пришел в мастерскую пораньше в надежде поработать до их прихода, чтобы не потерять зря целый день, но все валилось из рук. Он не мог заставить себя работать. Наступили полный упадок сил, смертельная усталость. Мечты разлетелись в прах. Он попытался проникнуть глубже, отойти от простого подражания натуре, и был заклеймен. Он понял, что плоть мертва без чувства, а чувства – без плоти, но попытка передать это окончилась провалом.

Огюст стоял у окна, смотрел на Сену, на лавчонки букинистов на набережной и думал, что весна пришла в самый разгар борьбы с Салоном, и он не заметил ее прихода, хотя так любит природу… как вдруг дверь отворилась, и Лекок ввел трех незнакомцев. Лекок был в самом лучшем расположении духа. Он представил Огюсту Стефана Малларме, Эжена Каррьера и Альфреда Буше[57].

Малларме был худощавым, стройным, с тонким выразительным лицом, самый старший из троих, примерно одного возраста с Огюстом; Каррьер – моложе, с массивной головой, высоким лбом и пышными висячими усами; Буше, самый младший, – с резкими чертами лица и очень красивый, как отметил про себя Огюст, держался вельможей, но при этом был полон обаяния.

– Это члены комитета в защиту «Бронзового века», – пояснил Лекок.

– Комитета? – Огюст почувствовал раздраженние. – Я сыт по горло комитетами, с меня хватает и жюри Салона.

Каррьер мягко заметил:

– Мы восхищены «Бронзовым веком». Мы считаем, что Институт был к вам несправедлив.

– Вы скульптор?

– Я художник.

– Я скульптор, а Малларме поэт, – сказал Буше.

– И еще школьный учитель, – добавил Малларме. – Но идея нашего посещения принадлежит Буше.

Когда он узнал, что нам понравилась ваша скульптура и мы считаем весь этот шум глупым, он уговорил нас познакомиться с вами.

– Но почему? – недоверчиво спросил Огюст.

– Возможно, потому, мой друг, – сказал Лекок с притворной строгостью, – что Альфред Буше считается одним из ведущих молодых академических скульпторов. Он с отличием закончил Школу изящных искусств, был удостоен Римской премии и наград Салона. Он несомненный преемник Гийома. И кроме того, талантливый, самостоятельный скульптор.

Буше сказал:

– Благодарю вас, мэтр, но все гораздо проще. Каковы бы ни были мои недостатки как скульптора, я слишком предан ваянию, чтобы не распознать подлинного произведения искусства, когда его вижу.

– И у вас нет духа соперничества? – подозрительно спросил Огюст, боясь поверить, что его работы могут искренне нравиться своему брату-скульптору.

– Роден, мы предвидим, что вы сочтете такое предложение оскорблением, но если бы вы обратились в Салон с просьбой проэкзаменовать вас, это помогло бы, – ответил Буше.

– Экзамен? – Огюст готов был взорваться. Буше продолжал:

– Если вам удастся создать что-то в присутствии жюри, то обвинение в том, что вы пользовались слепком, будет опровергнуто.

Огюст молчал. Еще одно унижение.

– Нам очень понравилась ваша статуя, – мягко сказал Каррьер.

Малларме любезно прибавил:

– Именно поэтому мы и пришли. Огюст поверил им.

– Но экзаменоваться! – воскликнул он. – Ведь я не студент. – Такое неожиданное предложение было для него совсем неприемлемым, если не сказать более. – Это…

– Несправедливо, – закончил за него Буше. – Согласны. Но мы считаем еще более несправедливым, чтобы ложь о слепках осталась неопровергнутой.

Огюст подумал о том, сколько огорчений принес ему

«Бронзовый век». Унизили, оболгали, с позором изгнали. Он похудел, одежда висела на нем мешком. Но, может, уж доиграть эту печальную комедию до печального конца. К тому же он был так тронут их поддержкой.

– Я последую совету мэтра Лекока, – сказал Огюст.

Лекок заметил:

– Я бы лично на это не пошел, но на вашем месте возблагодарил бы небо за такую возможность.

– Я буду в составе жюри, – сказал Буше. – И помните, Роден, на этот раз вас будут судить со всей объективностью.

6

Огюст уже ожидал, когда прибыли пять скульпторов – состав жюри. После разговора с Буше прошла неделя, и он много думал о том, кого и как ему лепить. Он останется верен правде жизни и одновременно покажет внутреннюю сущность модели, а потом решил – ник чему. Решение суда будет зависеть не от представленных доказательств, а от взглядов судей. Его осудили не за непристойность, а за самобытность.

Эжен Гийом, возглавлявший жюри, был строгим, напыщенным сухопарым человеком с резкими чертами лица, длинным носом, острым подбородком. Остальные, за исключением Буше, – словесные тени председателя.

– Не будем терять времени, позабудем о прошлое и взаимных обидах, – сказал Гийом. – Мы готовы, Роден.

– Благодарю вас, мосье, – сказал Огюст. – Что мне лепить?

– Выбор зависит от вас, – сказал Гийом. – Мы не ждем ничего необычного. Простой фигуры вполне достаточно.

– В стиле «Бронзового века»? – спросил Огюст. Гийом замялся и сказал:

– Мы не ждем от вас шедевра.

– Почему же нет? – спросил Огюст. – Я полтора года работал над «Бронзовым веком». А на шедевр хватит и часа.

Гийом покраснел, резко заметил:

– Я пришел сюда только по просьбе Буше. – И остальные послушно закивали головами, кроме Буше, который знаком предложил Огюсту начинать.

– Да-да, – сказал Огюст, обращаясь скорее к себе, чем к другим. – Я вылеплю торс еще более реалистичный, чем «Бронзовый век».

Буше усадил Гийома в кресло, к которому тот словно прирос. Остальные тоже застыли в неподвижности.

Впервые за много лет Огюст импровизировал. Он представил,

что перед ним стоит Лекок, но Лекок слишком стар; у Буше были легкие, изящные движения, но в нем отсутствовал всякий драматизм; затем вспомнил итальянца Пеппино, который держался с абсолютной непринужденностью и обладал таким поразительным ритмом движений. Он начал уверенно лепить, ясно, до мельчайших подробностей представляя себе походку Пеппино, несмотря на все разделяющие их годы. Поставил торс на каркас, и, по мере того как фигура обретала жизненность, им овладевало все большее вдохновение. Сделал торс пошире, посильнее, более мускулистым, но по-прежнему пока лишенным пола.

Буше любовался легкостью, с которой работал Огюст, казалось, воображение скульптора само, без всякой помощи создавало фигуру. В этом торсе не было ничего отвлеченного, и его реалистичность была по-своему индивидуальной. Огюст не брал сразу много глины, как делали другие скульпторы. Он работал спокойно, сосредоточенно и с такой свободой, что Буше был поражен. Роден властвовал над материалом.

Огюст, лепивший с несвойственной ему торопливостью, совсем забыл об их присутствии. Он сильно подчеркнул бедра – пусть это дьявол, но обуздавший себя, сдержанный, корректный. Порыв творчества увлек его, он хотел создать нечто необычное. Исчезло чувство ненужности, пустоты, обреченности. Он думал о том, что на земле жили такие люди, как Микеланджело, и такие, как Донателло, а еще и такие, от которых не осталось следа.

Теперь он лепил ноги. Он выдвинул одну вперед, подчеркнул мышцы живота, и от этого изменилось движение ноги. Каркас казался ему человеческим скелетом, он слышал за спиной тяжелое дыхание Гийома. «Этот Гийом, – думал он, – конечно, хочет, чтобы я не выдержал экзамена. Если Гийом не верит словам – пусть поверит рукам». Он потерял счет времени, когда начал лепить спину, работал как одержимый.

С благодарностью вспомнил он о Бельгии, где получил такую практику. Закончив ноги, остановился. Прошло уже несколько часов, но Огюст понятия не имел, долго ли работал. Он испытывал чисто физическое удовлетворение.Он был на седьмом небе.

Строгое лицо Гийома вытянулось, и он спросил:

– Без головы? Огюст кивнул.

– И без рук?

Буше с раздражением воскликнул:.

– Разве Венере Милосской нужны руки? Внезапно Огюста осенило: а главное! Не обращая на них внимания, он быстро добавил пенис. Пусть попробуют сказать, что это гермафродит.

– Женский торс лепить куда проще, но только у мужчины может быть такая походка, – объявил он.

– Вы все закончили? – спросил Гийом. У фигуры по-прежнему не было ни головы, ни рук.

– Она закончена, если вы испытываете желание прикоснуться к ней, – сказал Огюст.

– Прикоснуться к мужчине? – ужаснулся Гийом. Огюст сказал:

– С женщиной это было бы вам понятней.

– И все-таки, – настаивал Гийом, – вы действительно считаете работу законченной?

– Как импровизацию – да, – сказал Огюст. – А как серьезную работу, конечно, нет. Разве можно создать нечто достойное за один прием или даже за десять?

– Но вы прямо одержимы обнаженной натурой, – сказал Гийом.

– Основа искусства – человеческое тело, – ответил Огюст. – Бернини взял обнаженную мужскую фигуру для украшения дверей во дворце. Микеланджело всю Сикстинскую капеллу расписал обнаженными мужскими телами. А еще есть работы Тициана, Рубенса, Боттичелли. Вам случалось их видеть, мосье Гийом?

Гийом был оскорблен, но Буше смотрел на фигуру и думал о том, что Роден прав. Настоящий человек, он дышит жизнью, он реален и грубо правдив. Импровизация, выдумка… Роден пошел куда дальше – Роден создал человеческое тело в быстром, целеустремленном движении. Буше был потрясен выразительностью движения. Он сказал:

– Техническое мастерство исполнения этой фигуры столь очевидно, что смешно ставить его под сомне ние.

– Я согласен, он умеет импровизировать. Но… – сказал Гийом.

– В чем же дело? – спросил Буше.

– В этой фигуре нет чувства покоя, – сказал Гийом.

– В природе не существует такой вещи, как покой, даже в смерти его нет, – ответил Огюст. – Даже разложение трупа само по себе – форма движения. Все на свете находится в движении: вселенная, природа, мы сами. Даже когда спим, у нас бьется сердце, кровь бежит по жилам, а мозг бодрствует в сновидениях.

– Как вы назовете эту фигуру? – спросил Гийом.

– «Идущий человек». А как с обвинениями против «Бронзового века»?

– Мы вас никогда ни в чем не обвиняли. Просто решили убрать из Салона вашу работу, потому что она вызывала беспорядок.

Огюст сжал кулаки. Он готов был задушить этого Гийома; остальные, за исключением Буше, не произнесли ни слова. Тогда он спросил, устремив уничтожающий взгляд на Гийома:

– Так как же, мосье, пользовался я слепком или нет?

Гийом ответил с полным сознанием своей правоты:

– Я же сказал вам, Роден, что мы никогда вас в этом не обвиняли. Шум подняли газеты. И сейчас мы хотим избежать шумихи. Это расследование мы будем держать в секрете.

– А как насчет моей запачканной, погубленной репутации?

– Мы выставим вашу скульптуру в свое время.

– А когда оно наступит? Гийом пожал плечами.

– Через десять лет? Через сто?

– Я двумя руками проголосую за то, чтобы обе эти работы – «Бронзовый век» и «Идущий человек» – были немедленно выставлены в Салоне. Это мы потеряли всякую связь с жизнью, а не вы, уважаемый мэтр Роден, – сказал Буше.

Огюст покраснел, словно такая похвала была незаслуженной.

Гийом повторил, что их решение должно оставаться в тайне и что французская республика не должна быть связана какими-то определенными обязательствами насчет срока; остальные согласились.

– Тем не менее, – заверил он Огюста, чтобы показать, насколько он великодушен, – мы обязательно экспонируем «Бронзовый век», и если не будет никаких толков, то государство, возможно, его приобретет.

– Тогда почему же вы так нападали на меня, мосье Гийом? – спросил Огюст.

– Никто на вас не нападает, Роден. Сами виноваты. Ваши обнаженные фигуры столь жизненны, что вызывают эротические мысли. Вот если бы, к примеру, вы взяли семейный сюжет, или патриотическую тему, – у Гийома заблестели глаза, – или что-нибудь религиозное, как пьета, Магдалина, распятие…

– Или изобразили бы какого-нибудь святого, – прервал его Огюст.

– Вот именно, – сказал Гийом с блаженным, затуманенным взором. – Почему бы вам, Роден, не избрать темой какого-либо святого или религиозный сюжет?

– Я последую вашему совету. Когда для этого будут основания. – Огюст резко поднялся, показывая, что беседа закончена.

Гийом кивнул и вышел, и за ним безмолвно последовали три скульптора, Буше пожал Огюсту руку и сказал на прощание:

– Я знал, что вы будете отомщены.

– Благодарю вас, мосье, вы мне очень помогли.

– «Бронзовый век» будет опять выставлен, через год самое позднее, помяните мое слово.

Огюст подождал, когда Буше уйдет, и посмотрел на «Идущего человека». Он думал: «Только вы, ваше высочество Глина, вы – моя единственная защита. Больше никто и ничто меня не защитит». Он не чувствовал себя отомщенным; он чувствовал себя усталым. Однако в предложении Гийома насчет святого было нечто достойное внимания.

Глава XXII

1

Огюст раздумывал, браться ли за религиозный сюжет, а тем временем устраивался в Париже, теперь уже навсегда. Как только работы были перевезены в Париж, он вызвал Розу из Брюсселя, и они поселились в тесной квартирке на улице Сен-Жак, вместе с Папой и маленьким Огюстом, а тетя Тереза перебралась к одному из своих сыновей.

Он сам выбрал этот район: Пантеон совсем рядом, за углом, и рукой подать до Нотр-Дам, Лувра и Национальной библиотеки. В этом районе он вырос и чувствовал себя здесь дома. Ему нравилось, что рядом школа, где учится маленький Огюст, и у Папы тут старые приятели, которые, как и Папа, жили на скудную пенсию. Квартира была по средствам – что самое главное. Огюст решился на серьезный шаг – стать профессиональным скульптором, заниматься только собственной работой, пока есть деньги. Если жить экономно, им хватит на целый год.

У него еще оставалась половина Розиных денег, – после того пикника с Папой и маленьким Огюстом он экономил каждый франк. Ван Расбург поступил с ним справедливо и дал еще тысячу франков в счет его пая в деле и заверил, что дошлет еще несколько тысяч, мила пролает нее их совместные работы.

И хотя Огюст знал, что Розу огорчал жалкий вид Квартиры, он твердо скачал, что надо довольствоваться этим, и не стал выслушивать никаких жалоб. Ему, как и ей, очень не нравилась их спальня, но он молчал. Крытая материей софа, отпугивавшая своей жесткостью, стояла у стены напротив истертого камина из поддельного, некогда белого мрамора. Остальную меблировку тесной комнаты довершали обшарпанный комод, несколько неудобных стульев и скрипучая деревянная кровать. Но жить было можно – квартира дешевая, есть комнатка для Папы и еще одна для маленького Огюста, кухня и гостиная. Огюст же все время проводил в мастерской. Его следующий шедевр потребует еще больших усилий.

2

Ни один покупатель не стучался в его дверь, несмотря на поддержку Буше и Лекока, но они продолжали уверять, что Огюст одержал победу. Он снял мастерскую на улице Фурно, скорее

похожую на сарай, но светлую и просторную, в районе улицы Вожирар, где жили многие скульпторы.

В день, когда он решил перевезти к себе из мастерской Лекока «Бронзовый век» и «Идущего человека», он застал там Буше и Лекока. Буше был возбужден, щеки пылали, глаза блестели.

– Роден, у меня замечательные новости! – воскликнул он.

– И у меня тоже, дорогой друг. Я только что снял мастерскую. На целый год.

– Прекрасно, прекрасно. Но моя новость поважнее.

– Мне принесут публичные извинения?

– Нет, куда важнее. Гийом обещал, что вашу следующую работу Салон примет без единого слова.

– Но у меня нет ничего нового. А «Бронзовый век»?

– Его примут тоже.

– Когда? – спросил Огюст. «Яблоком раздора был „Бронзовый век“, а вовсе не новая работа», – думал он.

– Года через два-три, – сказал Буше, – когда Гийом сочтет, что «Бронзовый век» не вызовет больше никакого шума, его можно будет спокойно выставить.

Огюст упрямо сказал:

– Это слишком долго.

– А когда будет готова ваша новая работа? – настаивал Буше.

– Года через два, – ответил Огюст. Он не станет выставлять ничего другого, пока не выставят «Бронзовый век».

У Буше вытянулось лицо:

– Так не скоро?

– Я еще не начинал. Не выбрал сюжет.

– Печально, очень печально, – вздохнул Буше. – Сейчас самое время говорить о вашей работе. Надо ковать железо, пока горячо. – Битва, возникшая из-за Родена, так увлекла его, что просто обидно не довести дело до победного конца. И вдруг, захваченный родившейся идеей, он оживился и с новым пылом устремился в атаку: – А как насчет «Идущего человека»? Ведь вы его, можно считать, закончили.

– Нет, – сказал Огюст. – Слишком слабы плечи, и ноги надо сделать мускулистее. Есть и другие еще не решенные проблемы. Он совсем не готов. Рабочая модель, и только.

– Но это интересная работа, – вступил в разговор Лекок, который теперь, после ухода на пенсию, в семьдесят один год, вновь вместе с Роденом переживал свои былые сражения – и снова молодел. Он был полон решимости доказать, что все работы скульпторов Школы изящных искусств – за исключением Буше – годятся разве что на свалку, а кому, как не Родену, по

плечу это дело. – Немного доделать, Роден, и все в порядке.

Но Огюст твердо стоял на своем. Вся эта спешка угнетала его. После опыта с импровизацией он дал себе слово никогда так не торопиться. Не поспешность, а только постоянный ритм работы приводит к созданию произведения. Ваяние – длительный процесс. День за днем мало-помалу вырисовывались черты нового детища. Огюст все больше убеждался в правильности такого подхода. Окончательное завершение требовало долгих раздумий, поисков, полной самоотдачи.

– Если будете тянуть, – нетерпеливо предупредил его Буше, – вас могут и позабыть.

Огюст почувствовал себя загнанным в тупик. Даже друзья не дают пощады.

– Вы теперь займетесь только собственной работой, не так ли? – спросил Лекок.

– Да.

Лекок продолжал:

– Тогда никак нельзя упускать возможности выставить «Идущего человека».

– А я и не хочу. Пусть сначала выставят «Бронзовый век».

Лекок устало вздохнул и сказал: – Ну а если это заказ?

– Им придется подождать, – ответил Огюст.

– И сколько же? – спросил Лекок.

– Пока я не решу, как завершить эту работу. Ведь так вы меня учили, мэтр.

– Я вас учил одному-смотреть на все своими глазами.

– И я благодарен вам за это, мэтр.

– Я вам больше не учитель. – Лекок резко повернулся, отошел к окну и сердито уставился на улицу.

Огюст поспешно подошел к нему.'– Простите меня, мосье Лекок.

– За что? За то, что ученик превзошел учителя? Огюст сказал:

– Я многим обязан вам.

– Чем же?

– Вы научили меня работать так, как велит сердце. Статуя должна расти медленно, как дерево. Процесс созидания скульптуры не короткое цветение, а долгий труд садовника. Я поторопился с «Бронзовым веком». И он получился почти что декоративным.

Буше спросил:

– А долго вы над ним работали?

– Полтора года, но я вложил в него всю душу. – Если вы когда-либо получите государственный заказ, не ждите от них такого терпения.

– А разве мне дают заказ? – прямо спросил Огюст.

– Гийом обещал.

– Обещал что? Что они обеспечат благоприятные отзывы, продажу?

– Никто не может давать такие обещания, – сказал Буше. – И все же, если такое важное лицо, как Гийом, дает слово, что ваша следующая работа будет выставлена…

– Нет-нет, Буше, – перебил его Огюст. – Простите меня, дорогой друг, я очень благодарен вам за помощь, но я больше никогда не буду спешить.

– Спешить? – Буше был раздражен. – Дорогой Роден, неужели вы не воспользуетесь таким случаем из-за сугубо личных чувств?

Неправда, сердито подумал Огюст. Что касается «Идущего человека» или его новой работы, то чувства тут ни при чем. Все дело в «Бронзовом веке». Он взволнованно указал на статую и воскликнул:

– Какой толк в новой работе для Салона, если они не хотят экспонировать «Бронзовый век»! Я не хочу, чтобы его выставили через два, через три года, я хочу сейчас! Разумным надо быть, но дураком – нет! Не хочу я начинать все сначала. Зачем мне для них трудиться, раз они отвергают мою лучшую работу? Я отдал ей все силы без остатка, а они говорят, что она не годится. А не годится, так на большее я и не способен. Я вложил в нее себя, а вы хотите, чтобы я ждал какого-то там завтрашнего дня. Когда это будет – через тысячу лет? Мне надоело ждать. Через три года мне стукнет сорок, а кто знает, на сколько меня хватит?

– Еще на многие прекрасные произведения, я в этом уверен, – сказал Буше, потрясенный этим взрывом чувств.

– Напрасно успокаиваете, – заявил Роден. – Если я и буду еще работать, то не из-за того, что меня отвергли, а несмотря на это. Как бы там ни было, – прибавил он упрямо, – я не представлю ничего в Салон, пока не примут «Бронзовый век».

Буше беспомощно пожал плечами:

– Вы знаете, с Гийомом спорить трудно.

– Очень жаль, ничего не поделаешь, – ответил Огюст.

Он повернулся, чтобы уйти, и Лекок сказал ему вслед:

– Только не вздумайте исчезать. А Буше добавил:

– Надеюсь, вы будете продолжать работать, несмотря ни на что.

– Попробую, – мрачно ответил Роден. Он начал давать указания двум рабочим, которые пришли перенести скульптуры в новую мастерскую. Эта обязанность была ему неприятна, но надо было проследить, чтобы каждую статую упаковали осторожно и тщательно.

3

Огюст понимал, что на одних благих намерениях далеко не уедешь. У него была мастерская, но это еще было не все. Он проводил там каждый день от восхода до захода солнца, но дело не двигалось с места. Непрерывная борьба, клевета, опутавшая со всех сторон, опустошили его. Он терзался сомнениями, утратил веру в себя. Разглядывая свои собранные вместе работы, он испытывал все большую неудовлетворенность. Как мало сделано, почти ничего! Он раздумывал о религиозном сюжете и все больше проникался этой идеей. Религиозные темы служили источником вдохновения для многих знаменитых скульпторов, и все же такие темы, как пьета, Магдалина, дева Мария, распятие Христа, казалось ему, не стоили труда. Он не мог решить, что делать, и не видел выхода. Свобода превратилась в ловушку. Сбережения быстро таяли. Недели проходили в бесплодных раздумьях; он был близок к отчаянию.

Как-то, когда он вернулся домой очень поздно и в особенно мрачном настроении после попусту потраченного дня, в гостиной его поджидала Роза. Не успел он раскурить трубку и выпить глоток вина, как, вместо того чтобы подать ему кофе, Роза заявила:

– Ты должен заняться маленьким Огюстом.

– Не сейчас ведь. Будем обедать?

– Нет, сейчас, – сказала она с неожиданной твердостью и отложила в сторону рабочую блузу Огюста, которую чинила. – Мальчик плохо учится и не слушает меня.

Огюст сделал раздраженный жест:

– В чем дело?

– Он аккуратно ходит в монастырскую школу, но не успевает. Плохо читает, и у него не ладится с письмом. Я не могу ему помочь, а ты можешь, если уделишь хоть немного времени.

– А Папа? Разве он не может его наказать?

– Папа только балует. Да его и не нужно наказывать, им нужно заняться.

– Роза, – резко сказал Огюст, – я должен зарабатывать на жизнь.

– Он все вспоминает тот день, когда ты приехал, – сказала она печально.

– | Мне тогда тоже было хорошо. Но, дорогая, нет времени.

– Ты не можешь уделять ему хоть день в неделю? Родному сыну?

Огюст молчал. Его это раздражало, и так сильно, что он устыдился себя. Нельзя так, но прояви он отцовские чувства,

открой сыну объятья, – и он связан на всю жизнь. Подумав, он сказал:

– А если тебе попытаться завоевать его авторитет?

– Как? Я все вечера чиню твою одежду. Или стираю твои грязные блузы. – Она показала на запачканную глиной блузу, которая была на нем. – Я гожусь только на то, чтобы быть твоей служанкой.

– А где деньги, которые я дал тебе на платье? – Он совсем рассердился.

Мои деньги, подумала она про себя, но промолчала.

– Я купила зонтик, ведь это был твой подарок, да только когда мне его носить? Люди ездят на пикник или гуляют в Булонском лесу, а ты вечно занят.

– Успокойся, Роза, ты преувеличиваешь. – Он подошел к ней и поцеловал в знак прощения.

Она налила ему кофе с молоком, подала специально для него припасенные булочки и горько вздохнула.

– Ты просто устала. – Теперь, получив свой кофе, он был сама заботливость.

– Нет. – Роза снова глубоко вздохнула. И вдруг спросила:

– Огюст, за что ты ненавидишь ребенка?

– Ненавижу? – Огюст был испуган. – Ничего подобного.

– Ну не любишь. Не отрицай, сам знаешь.

– Какая чепуха. Когда он родился, я, правда, не очень ему обрадовался, но ведь я не бессердечный. И теперь отношусь совсем по-другому, даже люблю. И хочу, чтобы из него вырос хороший человек.

– Но без твоей помощи! – Роза вскочила на ноги, бросилась в спальню и захлопнула за собой дверь.

Сейчас самое время уйти от нее, попытался он убедить себя. Хватит с него. Но при мысли о том, как он будет жить без Розы, его охватила внезапная слабость. Он вспомнил, какой привлекательной она была только что в гневе: щеки пылают, голова гордо поднята – Венера! Стоит ли удивляться, что у него и голова не работает и руки как чужие, – ведь с самого ее возвращения из Брюсселя у них не было ни единой ночи любви, все одни мысли о работе. Он подошел к спальне, отворил дверь и услышал, что Роза плачет. Огюст бросился к ней, принялся утешать, и она обняла его с такой страстью, с таким чувством, которое пугало и влекло его.

Радость высушила ее слезы, заглушила сомнения. Она чувствовала, что теперь он отдает ей свою любовь без остатка, а не как прежде – неохотно, в виде одолжения. Он отдавал ей всего себя целиком.

После, в блаженном покое, он шепнул ей:

– Мне пришла блестящая мысль. Я научу маленького Огюста рисовать.

Роза была довольна, что он проявил интерес, но сама идея разочаровала ее. Она спросила:

– Это поможет ему учиться в школе?

– Поможет стать художником.

– А откуда ты знаешь, что ему понравится рисовать?

– Наверняка понравится. Я его научу. Ведь он мой сын.

– Он твой сын, дорогой. – Роза целовала его сильные пальцы, гладила рыжую бороду и говорила:– Огюст, если бы нам только купить настоящую двуспальную кровать с большими медными шарами на спинке, вот бы я была счастлива. – И вышитое покрывало, думала она, и длинные белые шторы на окна, и распятие, и статуэтку девы Марии над кроватью… Но не все сразу.

– А почему именно такую кровать? – спросил он с неожиданным подозрением.

«Тогда бы я чувствовала себя замужней женщиной», – подумала она, но вслух сказала:

– Ты хочешь научить рисовать маленького Огюста, а я – научиться любить тебя, как ты того заслуживаешь.

Огюст был не очень уверен, заслуживает ли он такой любви, но сказал:

– Я куплю тебе кровать, когда что-нибудь продастся в Салоне.

4

Маленький Огюст был страшно возбужден предстоящим посещением отцовской мастерской. Раньше ему было запрещено там появляться, а он столько о ней слышал, что мастерская представлялась ему таинственной, загадочной и необычайной.

В то воскресенье отец дожидался его. Черт возьми, как говорил дедушка, вот это событие! Мальчик наслаждался таким вниманием к его особе. Он привык к заботе со стороны дедушки и мамы, но отец редко проявлял ее, и тем выше она ценилась. Он как можно медленнее, чтобы привлечь всеобщее внимание, слез с кровати.

Огюст сказал:

– Поторапливайся, малыш, времени в обрез.

Маленький Огюст еле прикоснулся к яичнице, отпил чуть-чуть молока, чем очень огорчил маму, ведь только для него и допускалась такая роскошь – яйца, молоко, – но пропустил ее замечания мимо ушей. Он уже давно усвоил, что мама и дедушка

простят ему что угодно.

Мальчик быстро вскочил из-за стола, увидев, что отец сердится. Они пошли короткой дорогой, через Люксембургский сад, где отец останавливался с ним перед многими статуями. Он показывал на фонтан Медичи:

– Считается, что это самый лучший образец фонтана во всем мире.

Мальчика утомило созерцание бесконечных старых каменных фигур. И почему они такие огромные и серые? Но чтобы угодить отцу, он спросил:

– Самый-самый лучший фонтан, отец?

– Не знаю, других не видел.

Они дошли до улицы Фурно, где находилась мастерская.

Огюст с гордостью отпер дверь, и маленький Огюст чуть не расплакался от разочарования. Он ожидал чего-то необыкновенного, великолепного, как на тех картинах из Лувра, которые ему показывал отец, что-нибудь удивительное, а это было холодное невзрачное помещение, больше всего походившее на сарай. Стены потемнели от плесени и старости. Пол – каменный, сырой-леденил ноги. Правда, комната большая, и маленькому Огюсту понравилось, что она залита солнцем, но все остальное такое обычное: два стула с прямыми спинками, станок для модели, куча глины, гипса и терракоты, нечищенный камин. Как здесь тоскливо. Совсем не так, как он представлял.

Но когда отец начал лепить его – это была скульптурная группа, мать и ребенок, – сын почувствовал к нему уважение. Отец таил в себе непонятную силу, и у него были такие умелые руки. Под его пальцами глина обретала форму, становилась похожей на него и на маму, и маленький Огюст был в восторге.

– Можно мне попробовать? – попросил он.

– Конечно. – Огюст был очень доволен. Может быть, у ребенка та же тяга к искусству.

Но маленький Огюст не знал, как обращаться с глиной, и отцу надоела эта игра. «Не стоит торопить ребенка», – думал он. А у того глина падала из рук, ничего не выходило. Огюст прервал эту деятельность сына, дал ему бумагу, карандаши и пастель и попросил нарисовать что-нибудь.

– А что? – Маленький Огюст был в полной растерянности.

– Что-нибудь. Что придет в голову.

Но мальчику ничего не приходило в голову. И он сидел на стуле, поникший, готовый расплакаться, пока не взглянул на отца, склонившегося над ним, грозного, огромного. Он начал рисовать Огюста и изобразил его довольно похоже.

Огюст с облегчением вздохнул. Значит, у мальчика все же

есть способности. Он так обрадовался, что забыл показать сыну, какие будут у него обязанности. Дал ему еще бумаги и приказал рисовать что захочется.

Маленький Огюст помотал головой. Ну что ему придумать?

– Можно опять нарисовать тебя, отец?

Огюст-старший был рассержен, разочарован. У маленького Огюста дрожали губы. Он обиделся. Отец не понимал, его, он бы мог рисовать сколько угодно, знать бы, что срисовывать. Чего к нему пристали? На мгновение он возненавидел этого человека, который, как большой мохнатый медведь, грозно следил за ним. Мальчик воскликнул:

– Как же я могу рисовать то, чего не вижу! «Не стоит его слишком торопить, – подумал Огюст. – Ведь прошли целые годы, прежде чем я научился рисовать по памяти». Он вспомнил совет, который вечно давал Дега: «Выдумывайте, выдумывайте!»

– Рисуй что хочешь, – сказал он. – У тебя верная рука.

Похвала ободрила ребенка, и он трудился весь день напролет, изображая отца, потом нарисовал несколько ног и рук и несколько ртов, пока не спустились сумерки и не стало совсем темно. Он трудился, а отец рассказывал ему о силе и мощи искусства, о том, сколько в нем заключено вдохновения, что искусство– особый мир, а маленькому Огюсту чудилось, что его подвергают пытке. Руки налились свинцом. Глаза воспалились. И когда наконец они вышли из мастерской на улицу, ему показалось, что он вырвался из тюрьмы.

Отец, довольный его рисунками и трудолюбием, был с ним непривычно нежен. Огюст рассуждал о необходимости изучения «гармонии, порядка, пропорций», а мальчику хотелось заглянуть в конюшню, мимо которой они проходили, чтобы узнать, стоят ли там лошади. Он мечтал покататься на лошади – вот это уж наверняка интересно.

5

Огюст показал сыну круг его обязанностей в мастерской. Мальчик приходил в мастерскую после школы, а также по субботам и воскресеньям, и должен был выполнять прежнюю работу Розы-она теперь ухаживала за Папой, который заболел.

Пока Огюст лепил, сын должен был следить, чтобы глина была достаточно влажной и нужный запас ее всегда был под рукой, инструменты лежали бы на месте и в мастерской было бы прибрано – иначе отец мог оступиться или поскользнуться на комке глины, которая все время падала на пол; а в холодную погоду следить еще и за печкой. В награду Огюст собирался

научить его рисовать, писать красками и лепить.

Мальчик не любил эту работу, хитрил и пользовался всякой возможностью увильнуть. Маленький Огюст был неряшлив и рассеян и считал уборку тратой времени. Через месяц мальчик, обученный Огюстом, мог «нарисовать Рембрандта», так он называл черно-белые наброски карандашом, и «Энгра» – под этим именем он подразумевал рисунки пастелью. Он рисовал точно, старательно, но однообразно и без воображения, не обладал терпением, необходимым для живописи, а позирование утомляло его.

Огюст понял, что взвалил на себя тяжелый крест. Маленький Огюст, розовощекий, пухлый мальчик, постепенно превращался в коренастого, приземистого подростка с круглым, расплывчатым лицом. Отдаленная копия матери, думал Огюст, но без ее характера и осанки; у мальчика были способности, но ни трудолюбия, ни целеустремленности. А воображения и совсем никакого.

Как-то Огюст рассказывал сыну о глине – подобии человеческой плоти. Огюст самозабвенно повествовал об искусстве ваяния, а мальчик клевал носом, и тогда Огюст резко спросил:

– Как называется металлическая основа внутри глины и гипса? – В ответ раздался легкий храп. Он с горечью подумал, что утомил сына. Однако равнодушие маленького Огюста было непростительным. Три месяца учил, и все попусту, до сих пор ни разу самостоятельно не выбрал модели для рисования. С громким стуком Огюст отбросил в сторону резец, и мальчик, вздрогнув, выпрямился на стуле. Он спросил:

– Уже домой?

Огюст пожал плечами и пробормотал;

– Мне еще надо поработать, а ты можешь идти, если сделал все, что положено.

Мальчик огляделся вокруг. Кое-какие инструменты не на месте, и глину надо бы убрать, но вечер стоял теплый, ясный, и с улицы доносились смех и крики играющих детей. Он сказал:

– Спасибо, отец, – и бросился вон.

Огюст сердился. Мальчишка настоящий дикарь, угрюмо раздумывал он, ему бы только носиться по улице.

Тогда отец увеличил ему нагрузку, чтобы приучить сына к делу, и тот стал еще непослушней. Стоило отцу отвернуться, как он потихоньку исчезал из мастерской, а пойманный на месте преступления, уверял, что получил разрешение. Мальчик пользовался всяким моментом, чтобы ускользнуть на улицу, поиграть с подростками постарше или сбегать в бистро на углу,

где за рисунки посетители дарили ему конфеты.

Так без толку прошел месяц. И вот как-то вечером Огюст вернулся домой с новым суровым решением. Роза, как обычно, шила, и он ледяным тоном сказал:

– Я все-таки решил продолжить работу над скульптурой матери и ребенка – для тебя – и хочу взять мальчика моделью, а его вечно нет на месте. Мало того, что нет модели, не хватает и глины. Он делает из нее шарики, бросает в приятелей.

– Он не виноват. Просто слишком живой. Ты должен быть с ним терпеливым, – ответила Роза.

– Терпеливым? Этот ребенок делает все только из-под палки, а у меня нет на это времени.

Роза сердито посмотрела на Огюста. «Как я постарела, – думала она, – у меня уже седые волосы, и я обязана ухаживать за его отцом, за его ребенком, выполнять все его желания. Господи, но ведь есть предел и моему терпению, а он почти совсем не переменился с тех пор, как мы познакомились, разве только рыжие волосы и борода немного потемнели и стали гуще. Нисколько не постарел, – думала она, охваченная жалостью к себе, – а я скоро буду старухой и так устала. Хоть бы обо мне кто позаботился. Никогда он меня не оценит, пока мы не расстанемся».

Огюст, раздраженный ее несогласием, объявил:

– Это твоя вина, Роза, сама меня в это втянула. И я должен его учить! – Он негодовал. – Мальчишка пошел в тебя, думает только о собственном удовольствии.

– Но ему нужны товарищи.

– Нет, не нужны. Его надо обучить чему-то полезному. Надо развить в нем волю, характер.

– Ты думаешь, мастерская для этого подходящее место? Ты совсем не поинтересуешься, чего хочет сам мальчик. Может, ему не стоит всем этим заниматься.

– А только гонять по улице?

– Разве сам ты не был таким, дорогой? Ты мне говорил, что очень плохо учился в школе.

– Я любил искусство. Все готов был отдать, только бы рисовать и лепить.

– Дай ему время.

– Я из-за него теряю свое! Искусство для него не существует!

– Он еще очень молод.

– Ему скоро двенадцать!

– Ты говорил, что только в четырнадцать лет поступил в Малую школу.

– Папа придерживался старых взглядов. Он не имел понятия

об искусстве.

– Может быть, Огюст, и ему пойти в ту же школу?

– Уж если я не могу его научить, разве это удастся другим? – Он с мукой воскликнул: «И к тому же мальчишка совершенно равнодушен к искусству!» – Взяв себя в руки, он заговорил спокойней: «Будешь помогать мне в мастерской и следить за ним. Иначе сам он ничего не добьется».

Роза, склонившаяся над шитьем, с побледневшим, измученным лицом, обещала сделать, что в ее силах.

Перемирие между старшим и младшим Огюстом продолжалось лишь до тех пор, пока мальчику не надоедали игры, которые изобретала для него мать, и слова, которые повторял отец:

– Прямо не знаю, что из тебя выйдет, когда ты вырастешь.

Он не хотел вырастать. Ему бы только свободу. И рисовать, только когда есть желание.

Безответственность маленького Огюста стала для отца источником непрерывного раздражения. И Роза раздражала его не меньше сына.

6

Наступило лето, но Огюст все никак не мог найти подходящей темы, и это терзало его. Он решил заглянуть в кафе «Новые Афины». Направляясь к столику, где обычно сидели его друзья, он испытывал неловкость – ведь не виделись уже несколько месяцев. Дега приветствовал его:

– А, вот он, наш мэтр, наш дебютант! Вы все еще восхищаетесь Салоном?

Огюст промолчал. Он чувствовал себя несправедливо обиженным. Фантена и Мане не было.

Никто не мог объяснить причину их отсутствия. Никто не спросил о его неприятностях с «Бронзовым веком». Моне был молчаливым и мрачным. Писсарро – задумчивым и печальным, а Ренуар делал набросок хорошенькой, круглолицей девушки за соседним столом.

Дега, раздосадованный отсутствием внимания, разразился целой тирадой, обращаясь к Огюсту:

– Наши картины все еще считают творениями безумцев. По-прежнему рисуют на нас карикатуры в «Шаривари».

– А ты предпочел бы делать это сам, – перебил Ренуар.

Дега горячился:

– Буржуа по-прежнему не желают тратить денег на наши картины. На выставке дело доходило даже до драки, а публика не

просто смеется над нами, а издевается, чуть не набрасывается, и нам почти ничего не удалось продать. Того, что мы выручили, не хватило, чтобы окупить стоимость одних рам. Естественно, что наши картины теперь намеренно не допускают в Салон. Ну, а ты-то чем недоволен?

Огюст не произнес ни слова, но лицо его выражало сочувствие.

– Друг мой, – продолжал еще громче Дега, – что же нам остается – с моста в Сену, и топись?

В разговор вступил Писсарро:

– Мане страшно переживает все эти нападки, а им нет конца вот уже сколько лет.

Снова вмешался Дега:

– Мане, – сказал он холодным тоном, – задумал добиться ордена Почетного легиона. Поделом ему.

– И хотя не выставлялся с нами, – сказал Писсарро, – Салон все равно его отверг.

– Мане надоели все эти скандалы, – сказал Ренуар. – Если он выставляется с нами, то, значит, Салон плохой, если он выставляется в Салоне, то тогда наш друг Дега не дает ему жизни. Стоит ему изобразить то, что он видит, как его немедленно осыпают бранью. Он больше не в силах такое выносить.

– Мане слишком слабохарактерный, – авторитетно заявил Дега.

– Наш друг Дега мнит себя не иначе как Людовиком XIV, – сказал Ренуар.

– Я придерживаюсь иного мнения, – отпарировал Дега. – Жизнь не беспрерывный праздник, на жизненном пути нас ждут и злоба и насмешки. Мы обитаем в мире глупцов. И я не столь наивен, чтобы ждать от жизни добра. Подумать только, называют нас импрессионистами, словно это какое-то бранное, непристойное слово.

Как печально, подумал Огюст, что и его и всех нас преследуют одни неудачи. А когда он решился признаться, как он несчастлив, Дега изволил посмеяться над шумом вокруг «Бронзового века». И никто не сказал доброго слова о его работе. Он понял, что друзья – презирают его за попытки добиться благоволения Салона. Возмущенный, он встал и, быстро попрощавшись, направился к двери.

– Прощай, – коротко ответил Дега. И снова принялся критиковать Мане.

Ренуар вдруг сказал:

– Постой, Роден, я пойду с тобой.

Ренуар проводил его до остановки батиньольского омнибуса и, пока поджидали, объяснил Огюсту:

– Не осуждай их. Моне сейчас особенно не везет. Жена беременна, денег нет, картины не продаются, он в ужасном положении. Мане одолжил ему денег, но это не выход, хотя Мане искренне старается помочь. А Фантен засыпает Моне никому не нужными советами. У Писсарро дела еще хуже. Скоро родится четвертый ребенок, а ни денег, ни надежд что-нибудь продать, он даже поговаривает, не бросить ли живопись. Дега очень озлоблен и клянется никогда больше не выставляться.

– А как твои дела? – спросил Огюст.

– Я продаю достаточно, чтобы не голодать. Кое-кому нравится мой колорит, – ответил Ренуар.

– Только и всего?

– А зачем обольщаться? Во всем Париже не сыщется и десятка людей, которые согласятся купить картину без благословения Салона. Большинство любителей искусства не купит и наброска за пять франков, если автор не выставляется в Салоне. Но я на эту удочку не поддаюсь, я знаю, качество работы не зависит от того, где ее выставляют. Каждый работает в меру своих сил и таланта. Все остальное не имеет значения. Даже статьи на первой странице «Фигаро».

– Спасибо тебе. – За что? – удивился Ренуар.

– За добрый совет, если только я смогу ему последовать.

– А кто сказал, что ему надо следовать? – рассмеялся Ренуар. – Я не так уж глуп, чтобы этого ожидать. – Желтый омнибус показался из-за угла, и Ренуар сказал на прощание: – Когда-нибудь я напишу твой портрет, Роден, и таким образом обеспечу тебе бессмертие.

7

Огюст тем не менее решил не ждать, а действовать. Он пригласил Буше позавтракать, чтобы узнать, когда Салон собирается выставить «Бронзовый век».

Они встретились в кафе Тортони на Итальянском бульваре. Стоял теплый летний день, и сначала Огюст чувствовал себя отлично, сидя за мраморным столилом, выставленным на широком тротуаре, но Буше не сообщил ничего хорошего. Он сказал:

– Я выведу их из оцепенения, но на это потребуется время.

– Сколько же еще? – Огюсту казалось, что все их усилия напрасны.

– Не могу сказать. Если мы сейчас будем слишком

подталкивать Институт, это может вам сильно повредить. Они и без того слышать не могут о ваших друзьях-импрессионистах. А если вы еще будете нажимать, мы можем лишиться того, чего добились.

– Понятно. – Огюст подумал: «А чего, собственно, сумел он добиться?»

– Они не только не допускают в Салон новичков, но и старых мастеров: Милле, Делакруа, даже Курбе, хотя его-то уж, я был уверен, хотя бы после смерти признают и примут.

На Буше был элегантный цилиндр, модный сюртук, и Огюсту казалось, что в своей простой накидке и широкополой шляпе он выглядит по сравнению с ним простым рабочим. «Этот Буше на десять лет моложе меня, утонченный, очаровательный, с манерами вельможи, обладает привлекательностью, столь необходимой для успеха, чего у меня никогда не было и не будет», – с горечью думал Роден.

– В скором времени будет проведено несколько скульптурных конкурсов, – сказал Буше. – Почему бы вам не принять участие в одном из них?

– Я не любитель конкурсов.

– А кто их любит? Но если одержите победу в одном из них, то не будете зависеть от Салона.

– Вы хотите сказать, что мне надо примириться с их равнодушием и попробовать добиться успеха в другом месте?

Буше разочарованно покачал головой:

– А вы упрямы, Роден.

Огюст смотрел на человека, который, как ему казалось, мог стать его добрым другом:

– Значит, мне больше не рассчитывать на Салон?

– Этого я не говорил. Но думаю, вам не следует всецело зависеть от их ответа.

Как объяснить Буше, что это стало для него делом чести!

– Вот если вы окажетесь победителем, они будут вынуждены немедленно принять вас обратно.

– Я не рассчитываю на победу. Я не стараюсь угодить общепринятым вкусам.

– И тем не менее вы можете победить. Это конкурсы на проекты памятников, а у вас как раз именно та мощь.

Огюст подумал, уж не советует ли ему Буше отказаться от карьеры скульптора и превратиться в простого резчика по камню?

– А что это за конкурсы? – спросил он.

– Замыслы у них самые широкие, – с подъемом сказал Буше. – Третья республика предполагает провести конкурс на создание мемориального памятника в честь защитников Парижа во время

германской осады, его собираются соорудить в Курбэвуа.

– Словом, как говорил Гийом, патриотический сюжет. Ну, а остальные?

– Памятник Байрону в Гайд-парке, в Лондоне.

– Интересная тема. Почему вы не примете участия?

– Не по моей части. Мои работы слишком лиричны для памятников. Но, конечно, победа в таком конкурсе принесет широкую известность. И судьи весьма солидные – Теннисон, Дизраэли, Мэтью Арнольд и несколько скульпторов[58]. Победить в таком конкурсе – великая есть.

Больше помощи ожидать было неоткуда, и несколькими неделями позже Огюст, хотя и ненавидел спешку и дал себе слово никогда больше не торопиться, принялся лихорадочно работать над проектом памятника Байрону. «Если победа, – со злостью думал он, – ко всем чертям тогда и Салон и Институт».

Он прилежно изучил все произведения Байрона и, прочитав его лирическое описание Греции, избрал тему – Байрон на берегу Эгейского моря. Он воображал себе поэта прекрасным, как Аполлон, и обнаженным – разве богу нужны одежды, они только скрывают великолепие тела. Но когда дошло до лепки, задрапировал фигуру от пояса и ниже в скромную мантию. Он боялся, что повторение «Бронзового века» напугает излишне стыдливых, викториански скромных британцев. И, не считая, тратил деньги, создавая один проект за другим, пока не пришел к окончательному решению. В конце концов, остановив выбор на полузадрапированном Аполлоне, он подготовил его для отливки в бронзе. Статуя стояла на пьедестале, с двух сторон ее поддерживали символические фигуры меньшего размера, олицетворявшие Правду и Красоту. Роза похвалила – очень красиво, и Огюст чуть не уничтожил памятник. Но он уже потратил на него половину сбережений. Переделал голову, особенно подчеркнув печаль и страдания поэта. Работал день и ночь, при газовом свете, керосиновой лампе и свечах.

Когда все было почти закончено, он пригласил Буше.

– Замысел блестящий, – сказал Буше. Пораженный Огюст пробормотал:

– Замысел? Скульптура – не литературное произведение. Что вы думаете о технике?

– Тело исполнено великолепно. – Буше обнял Огюста за талию и объявил: – Вы привлечете всеобщее внимание. Уверяю, вас признают даже в официальных кругах.

Почему же он недоволен? Не потому ли, что эта полузадрапированная фигура своего рода компромисс? Огюст сердито уставился на монумент. Фигуре требовалось придать

больше движения, чувства, напряжения. Ведь Байрон не был безликим существом, это был человек умный и проницательный, бунтарь, не прекращавший борьбу против существующего порядка.

Огюст принялся за переделку фигуры, и Байрон стал более мускулистым и сильным. Надо пожертвовать изяществом ради энергия и мощи. Работая над Байроном, Огюст часто вспоминал Буше – он чуть было не попросил его позировать, но теперь убедился, что это было бы неверным шагом.

Через неделю фигура была отлита в бронзе; Огюст постарался, чтобы подпись была как можно незаметней и не повлияла на мнение жюри. Статуя была отправлена на пароходе в Лондон. Оставалось ждать.

Никто не известил Огюста о дальнейшей судьбе посылки, хотя его уведомили, что в Лондоне получили статую. Много месяцев спустя он прочел в газете, что на конкурсе было представлено тридцать семь проектов и победителем оказался Ричард Бельт. Проект Родена даже не упоминался.

Он написал организаторам конкурса, но ответа не получил. Наконец, потеряв уже почти всякую надежду, он послал умоляющее письмо своему старому другу Легро. Легро сообщил Огюсту, что не обнаружил и следов его работы, и посоветовал поскорее приехать в Лондон самому. Памятник словно в воду канул. Легро предполагал, что британцы просто уничтожили его, поскольку он оскорблял их чопорность. Огюст поблагодарил Легро и решил впредь ставить подпись на самом видном месте. Он понимал, что нельзя оставить это дело без внимания, но денег на поездку в Лондон не было.

И к тому же он работал над «Беллоной». Безразличие, проявленное к его «Байрону», привело Огюста в бешенство, и он решил, что есть лишь один путь отмщения: участвовать и победить в конкурсе на памятник, посвященный осаде Парижа. С тех пор как окончилась война, его не покидало намерение выразить свое отношение к хвастливым победителям – создать олицетворение Родины таким, каким он его себе представлял: мужественным, непокоренным, в образе Жанны д'Арк, девушки из Лотарингии, такой, как Роза.

Роза была в восторге, что он избрал ее моделью для Жанны. Она позировала радостно, с видом победительницы и вновь обрела облик той девушки, за которой он некогда ухаживал. Лицо у нее ожило, от усталости не осталось и следа, она вновь стала миловидной, одушевленной, полной веры в себя, она наслаждалась, чувствуя себя незаменимой.

Но это счастливое выражение лица совсем не устраивало

Огюста. Он затеял с ней спор, перечисляя проступки сына, который вновь вышел из повиновения, – мальчик не проявлял никакого интереса к новой работе отца, ведь он видел маму каждый день. И Роза, защищая сына, бросилась в атаку на Огюста со свирепостью тигрицы.

Вот это мне и нужно, обрадовался он.

Но когда закончил в терракоте бюст в виде богини войны, увенчанной шлемом, то решил, что бюст мал для памятника, хотя и остался им доволен.

Этот бюст он использовал для одной из двух героических фигур – новой фигуры богини войны, которая в победно-гордой позе возвышалась над телом раненого воина. Роден придал лицу этой новой Беллоны выражение ярости и непокорности, то, что ощущал сам, – и дал ей крылья, желая показать, что Франция непобедима даже в обороне. Композицию он назвал «Богиня войны», но затем переименовал ее в «Оборону» и отослал группу на конкурс в Курбэвуа[59]. Работу он разборчиво и на самом видном месте подписал: «О. Роден».

После долгого ожидания судьи конкурса сообщили, что проект его был отвергнут при первом же отборе. Тридцать проектов выдержали первичный отбор, но не «Оборона». Лишь одно служило утешением Огюсту в ужасном чувстве безысходности, овладевшем им: на этот раз ему возвратили работу.

8

Это был год неудач. К концу года у Огюста уже не оставалось денег, а признания он так и не добился. Будущее казалось столь беспросветным, что когда Каррье-Беллез предложил Огюсту работу на Национальной фарфоровой фабрике в Севре – с условием, что ему будет предоставлено время на собственную работу, – он сразу согласился[60].

Каррье-Беллез, он был теперь художественным директором знаменитой фабрики, беседовал с Огюстом не как начальник, а, скорее, как учитель. Он не стал поминать старого, а только сказал:

– Мне нужен человек с вашим мастерством и талантом. В последнее время я много слышал о вас.

– И как говорят?

– Как о моем ученике. Когда-то я мог счесть это за оскорбление, но теперь вы достигли многого. Не сомневаюсь, что вы будете создавать прекрасные рисунки для наших ваз.

– В качестве вашего ученика? Ведь я никогда у вас не учился.

Я был подмастерьем, но не учеником.

– Но воспользовались моим именем, представляя работу в Салон.

– Надо же было на кого-то сослаться. Но тогда я подписал свою собственную работу.

– Нельзя быть таким обидчивым, Роден. Работа у меня принесла вам пользу. И побольше терпения, ваше время еще придет.

– Все только и говорят мне о будущем, но никто не хочет помочь. У меня самое многообещающее будущее и никаких надежд в настоящем.

– У нас вам будет неплохо. Мы делаем прекрасный фарфор. Он известен во всем мире. Это достойная работа.

Огюста удивило дружеское отношение Каррье-Беллеза. За все время работы у него Каррье-Беллез ни разу не удостоил его столь продолжительной беседы. Огюст поднялся, но Каррье-Беллез остановил его.

– Роден, вы думаете, достаточно добиться успеха, – и это все? – сказал он ему с чувством. – Нет, скульптор еще должен обладать неистощимым запасом сил.

Каррье-Беллез восседал в кресле, словно одряхлевший властелин, длинные усы печально повисли, а некогда красивое лицо выражало тоску. Огюст хотел было проявить участие, но хватит ему и своих забот. И хотя он очень нуждался в деньгах, все же решил уточнить:

– Значит, у меня будет свободное время? Обещаете?

– Клянусь богом, мосье Роден.

Казалось, Каррье-Беллез не хочет его отпускать – старику, видимо, очень одиноко, и Огюст вдруг почувствовал себя тоже состарившимся. Ему уже почти сорок, а он так и не достиг признания, которого так жаждал. И впереди еще столько работы. Он смотрел на свои сильные, подвижные пальцы, и сердце наполняюсь новой надеждой. Мысль о том, как глина под его руками обретает жизнь, была вознаграждением за все невзгоды. Он будет трудиться над созданием ваз и минуты отсутствия вдохновения. А лепить – пока в нем есть хоть искра жизни. Но надо найти более подходящие модели, а то дело не двинется с места.

– Искусство, – шептал он про себя, – о ты, всесильное божество.

Глава XXIII

1

Пеппино стоял на пороге. Ведь мэтр написал ему, и этого вполне достаточно, с обычным красноречием объяснил он Огюсту. Но лицо красавца итальянца приняло кислое выражение, когда он заметил бедность мастерской. Оправившись от изумления, Огюст поспешил заверить Пеппино, что это лишь временное помещение.

Огюст не рассчитывал, что итальянец откликнется на его письмо; он написал Пеппино, движимый стремлением найти модель, которая удовлетворяла бы его, вдохновила бы на создание чего-то достойного. И вот теперь, словно из-под земли, перед ним предстал не только Пеппино, но и Сантони и некая молодая особа.

– Я вас еле-еле отыскал, – с упреком сказал Пеппино. – Я искал мосье Родена, скульптора, а вы всюду именуетесь просто О. Роден. Вы слишком скромны, маэстро.

– Прямиком из Италии? – спросил Огюст. Сантони внес уточнение:

– Мы, так или иначе, собирались приехать в Париж, сеньор, но, зная, что вы скульптор, мы думали, будет хорошим divertimento[61] позировать вам. Поэтому сразу и пришли к вам. И не думали, что у вас такая скромная мастерская.

Огюст был слишком доволен их появлением и теперь, когда первое удивление прошло, даже начал находить это забавным. Он заметил, что на чужбине Сантони казался еще экспансивнее. Интересно, насколько можно им верить.

Пеппино с жаром сказал:

– И еще мы оказали вам величайшую услугу, маэстро. Привезли с собой прекрасную женскую модель. – Широким жестом он представил Огюста Анетте.

Анетта, как отметил про себя Огюст, была хорошенькой, плотной, хорошо сложенной француженкой; она походила на тех кокоток, что обитали в бистро за углом. Огюст нахмурился, не зная, что ответить. Он не был уверен, сможет ли нанять одного натурщика, не говоря уже о трех.

– Capisto![62] – воскликнул Сантони. – Я все понимаю. Идем, Анетт, идем, Пеппино, я же говорил тебе – это глупая затея.

– Подождите, – сказал Огюст. – Мне не нужны три натурщика, по крайней мере сейчас, но один нужен. – Но как решить кто? –

Сантони красивее Пеппино, но Пеппино более пластичен и изящен. Огюст прибавил: «Мне нужен натурщик, на которого я могу рассчитывать. Пеппино, а как же la belle Italia? Когда вы собираетесь туда возвратиться?»

– Никогда.

– Я думал, вы любите родину.

– Я ее люблю. Mamma mia, очень люблю. Но на жизнь там не заработаешь.

Огюсту стало ясно: он берет Пеппино. В момент искреннего признания на лице итальянца появилось выражение строгой суровости.

– Маэстро, я не могу вернуться. Италия слишком бедна.

– Значит, мое письмо ни при чем?

– Его нам переслали. Я думал, если у вас были деньги на путешествие по la belle Italia, то найдутся и па натурщика. Но в вашей мастерской нельзя выдержать и часа. Тут превратишься в ледышку!

У рассерженного Огюста кровь прилила к лицу, но, когда они собрались уходить, он сказал:

– Я поставлю еще одну печку.

– А сколько вы будете платить? – спросила Лметта.

– Мне нужен один Пеппино, – ответил Огюст. Сантони спросил:

– А надолго ли он вам потребуется?

Огюст сознавал, что они его шантажируют, но отдал Пеппино все наличные деньги, чтобы доказать серьезность своих намерений: десять франков, пятнадцать су и пару луидоров. Он сказал, что будет платить Пеппино за каждый день позирования, и велел итальянцу прийти завтра, в воскресенье. Пеппино принял деньги не моргнув глазом, после чего удалился вместе с друзьями.

Огюст раздумывал, не напрасно ли дал задаток. Его мучило предчувствие, что он видит Пеппино в последний раз, а он даже не обсудил с ним условия.

2

К его великому удивлению, «грациозный итальянец», как он окрестил Пеппино, появился в мастерской на следующий день. И тут у Огюста упало сердце: а вдруг все его надежды напрасны, и итальянец – стоит ему сбросить одежды – не принесет ничего, кроме разочарования? Очень часто модель – образец пропорциональности в одежде – оказывалась непригодной в обнаженном виде. Он нетерпеливо приказал Пеппино раздеться.

– Совсем раздеться?

– Конечно, совсем. Иначе откуда мне знать, стоит ли вас лепить.

Пеппино сначала обиделся, потом пришел в замешательство. Он медленно, неохотно разоблачился и взошел на станок, словно на эшафот.

Увидев тело Пеппино, Огюст невольно сглотнул. Он великолепен! Стройные ноги, тонкая талия, не слишком мускулист, но достаточно сильный. Никогда не видал он живого человека столь близкого к совершенству.

– Двигайтесь, двигайтесь! – крикнул он ему.

Тело говорило само за себя, но Огюст знал: одного этого недостаточно. Помимо внешних данных важна еще внутренняя жизнь.

Пеппино шагал взад и вперед по мастерской. Он надеялся позировать на станке, воздев руки, как Гарибальди[63] или Наполеон-победитель. Приняв позу с широко раскинутыми руками, он было пытался протестовать.

– Нет! Нет! – закричал ему Огюст, делая с него набросок в движении. – Это смешная поза. Не нужно позировать. Вы становитесь неестественным, фальшивым.

– А как насчет денег?

– Десять франков за каждый день.

– Только десять?

– Больше, если будем задерживаться. А мы будем часто задерживаться.

– Вы, конечно, понимаете, маэстро, я делаю это не из-за денег. Просто хочу помочь вам в вашей работе. Но ваша мастерская отнюдь не дворец.

– А вы двигайтесь, ходите, разминайтесь, а то замерзнете.

Пеппино до изнеможения шагал по мастерской, пока Огюст делал множество набросков. Пеппино уже еле передвигал ноги, а Огюст еще не кончил. Наконец Пеппино умоляющим жестом протянул руки и сказал:

– Маэстро, я благодарен вам за честь, которой вы меня удостаиваете, но я устал. – Он сел на стул, вытер вспотевший лоб.

– Будет еще время отдохнуть.

– Нет. Если вы заставляете меня так тяжело работать, то вы должны платить мне больше десяти франков.

Огюст пришел в отчаяние, но сдержался. Он спокойно сказал:

– Пеппино, вот увидите, это будет шедевр. Надо набраться терпения. И вам и мне. – Он договорился, что Пеппино будет приходить позировать четыре раза в неделю, и пообещал ему пятнадцать франков в день.

На следующее утро в Севре Огюст сообщил Каррье-Беллезу, что может работать у него только три дни в неделю. Он прикинул: заработка как раз хватит на семью и Пеппино.

Каррье-Беллез считал, что Роден поступает глупо. Если он посвятит себя целиком фарфору, то со временем сможет стать директором и разбогатеть, но Огюста мало интересовала такая перспектива. Он не миг думать ни о чем, кроме как о Пеппино. Когда он не работал в Севре, то не выходил из мастерской и приказал Розе носить ему туда еду. Она попросила его пойти в воскресенье с сыном на озеро в Булонский лес покататься на коньках, но Огюст пропустил это мимо ушей. Роза заявила, что не может одна обслуживать его, и больного Папу, и маленького Огюста, который совсем отбился от рук, но лицо Огюста при этом приняло упрямое выражение. Он не станет спорить с ней ни о времени, ни о деньгах. Обязана справляться, сказал он. Он должен вылепить Пеппино, хоть умри.

И Роза покорно смирилась и принялась успокаивать Папу, который слабел с каждым днем. Папа редко теперь вставал с кровати – это стоило ему больших усилий; а сын совсем перестал ее слушаться и редко бывал дома, все пропадал на улице. Временами она выходила из себя, но Огюст уверял ее:

– Я без тебя не могу, ты это знаешь. Кто будет следить за моей мастерской?

И Роза умолкала. А когда он обнимал ее, хотя это и случалось редко, она по-прежнему не в силах была перед ним устоять.

Огюст был весь поглощен Пеппино. В холодной мастерской он зачарованно следил, как тот ходит взад и вперед, и движения итальянца окончательно покоряли скульптора. Если для всех движения человеческого тела – обыденнейшая вещь, то для него это все.

С такой моделью, говорил себе Огюст, чувствуешь себя настоящим скульптором.

Он работал, отрешившись от всего. Сейчас он был даже дальше от всего мирского, чем в дни послушничества в монастыре. Он отрезал себя от мира. Не виделся ни с Буше, ни с Лекоком, ни с кем из друзей. Жил аскетом, экономил на каждом франке и до предела урезал свои потребности: литр вина, булка и время от времени кусок колбасы – вот и вся его еда за день. В Библии, у Данте, Бодлера, Гюго, Бальзака черпал он темы и вдохновение. Он читал до рассвета при слабом, мерцающем газовом свете.

Шли недели, а он все раздумывал, наблюдая за Пеппино. Но во всех набросках упругая, целеустремленная походка Пеппино всегда оставалась в центре внимания.

Пеппино привлекали инструменты Огюста. Как-то утром, рассматривая их, он спросил:

– Для чего все это? – Он уже не верил, что скульптор когда-нибудь примется за лепку.

– Почти все это для работы с мрамором.

– Значит, статуя будет из мрамора?

– Не знаю. Это от многого зависит.

– От чего же, маэстро?

– От того, как я вас изображу.

– Вы прежде делали что-нибудь из мрамора?

– Делал. Но не для выставки. Сделаю и для выставки. Пожалуйста, не останавливайтесь, вы теряете жизненность. В движении вся жизнь.

– Вы выбрали религиозный сюжет? Огюст вздохнул:

– Именно этого хочет Салон.

– Что такое Салон? Я уже целый месяц хожу взад и вперед, а вы и пальца не вылепили. Когда же вы начнете?

– Когда буду готов, – коротко отрезал Огюст. – Вы когда-нибудь носили бороду?

– Нет. – Итальянец гордился своим классическим подбородком.

– Так отпустите. Небольшую бородку. И не подстригайте больше волос.

– Почему?

– Потому что вы будете религиозным сюжетом. Пеппино разразился горячей тирадой по поводу того, как он обожает святых, но Огюст не слушал. Решение было принято, и беспокойство его прошло. Ему внушала отвращение мысль о создании еще одной бесчисленной мадонны, или Магдалины, или еще одной сцены распятия. Смешно и думать о создании нового Моисея, Давида или пьеты. Нужно выбрать редкую тему или не получившую до сих пор достойного воплощения.

Но через несколько дней в голову ему пришла новая идея, столь простая и бесспорная, что он удивился, как не додумался до нее раньше.

Пеппино всегда сопровождал свою речь непрерывной жестикуляцией вытянутых рук; он болтал весь лень напролет, но при этом выглядел величественно, синеем по-библейски, со своей отращенной бородой и длинными волосами. Казалось, сам Иоанн Креститель сошел со страниц Нового завета. Неожиданно Огюст обнял Пеппино.

– В чем дело? – удивился тот.

– Вы настоящий Иоанн Креститель. Именно таким я его себе представляю. Кто еще из библейских персонажей был столь

деятелен? Кто сравнится с ним жизненностью? Никто. Но он не должен быть итальянским Иоанном, или французским Иоанном, – он заметил, что Пеппино нахмурился, – или даже еврейским Иоанном, вроде раввина у Рембрандта. Когда Иоанн стал святым, он перестал быть итальянцем, французом или евреем. Лишился всех национальных особенностей. – Огюст помнил, что почти все скульпторы и художники придавали религиозным персонажам свои национальные черты. – Мы с вами как раз на полпути, Пеппино, и пришло наконец время по-настоящему взяться за работу.

Теперь Огюст не останавливал разглагольствований итальянца во время позирования. В такие минуты движения Пеппино становились особенно непринужденными и именно такими, как у Иоанна Крестителя. Его святой должен быть воплощением веры, беспредельной, но и человеческой. Веры человека, который был сыном человеческим, олицетворением самого человека, и одновременно он должен воплощать в себе бессмертие. Он выше обыкновенного человека – Иоанн Креститель, спешащий через бесконечную пустыню принести людям веру.

Широкий, энергичный шаг Пеппино стал походкой Иоанна, гордо устремившегося навстречу Иисусу.

Огюст был всецело захвачен идеей, и работа над фигурой в глине шла легко и быстро. Она постепенно обретала контур. Глина оживала под руками Огюста, послушная каждому его желанию. Он сосредоточил внимание на ногах, бедрах и плечах и лепил и левой и правой рукой. Лепил, а итальянец все ходил взад и вперед и непрерывно говорил. Огюст готов был работать всю ночь, без перерыва, но Пеппино не выдержал и свалился от усталости. Огюст без всякой жалости смотрел на сидящего натурщика. Но потом забеспокоился. Сможет ли Пеппино завтра продолжать позировать? Задержка в работе именно сейчас могла оказаться роковой.

Пеппино совсем обессилел, но, взглянув на фигуру, поразился. Сначала ему не нравилось то, что выходило у Огюста, и он готов был выразить возмущение, но теперь, когда фигура стала вырисовываться, его недовольство исчезло.

– Вы хотите, чтобы я подыскал другого натурщика? – осторожно спросил Огюст.

– Нет-нет-нет! – завопил Пеппино. Когда скульпторы увидят эту статую, у него от них отбоя не будет. Он смотрел и изумлялся. Скульптор приметил в нем то, чего сам он никогда не замечал.

Огюст всецело отдался работе, и недели так и мелькали за

неделями. По мере того как работа захватывала его все больше, он перестал ночевать дома, несмотря на все уговоры Розы, и власть «Иоанна» над ним была столь велика, что жалобы Розы не трогали его. Если он работал в мастерской несколько дней подряд, то ночевал там же, на полу, завернувшись в одеяло. Позабыл бы и о еде, но Роза приносила обед. Работа преследовала его днем и ночью. Расстаться с ней было опасно хотя бы на мгновение. Это могло сорвать подъем и непрерывность творческого процесса, замысел мог ускользнуть.

Огюст становился все более искусным в своей работе и на фабрике, но с того момента, как начал «Иоанна», все остальное отступило на задний план. Он жил в таком нервном напряжении, на таком накале чувств, что ни на что другое его и не оставалось. И поскольку он на месяцы и думать забыл о Папе и маленьком Огюсте, Роза вновь обвинила его, что семья ему безразлична, что он хочет бежать от них.

Ни от кого он не хотел бежать. Он пояснил ей, что не стремится обрести убежище в этой работе, что «Иоанн Креститель» для него – продолжение поиска.

– Не сердись на меня, – сказал он Розе. – Я ничего не могу с собой поделать. Должен закончить, и все.

Роза уныло кивнула:

– Я понимаю. – В это утро она принесла завтрак, чтобы он не остался голодным до обеда.

Огюст приказал Розе удалиться: пришел Пеппино, нельзя больше терять времени. Сегодня предстояло закончить ноги статуи, в них будет воплощен основной замысел.

Роза кивнула красивому молодому человеку и, опустив голову, вышла из мастерской.

Огюст требовал более размашистой походки и приказал натурщику делать энергичнее шаг. Он и думать не хотел, что «Иоанна Крестителя» могут упрятать куда-то в угол или что он будет декоративной скульптурой для украшения здания или зала. «Иоанн Креститель» должен быть открытым со всех сторон, полным энергии, всегда в движении.

Но прошел еще не один день, прежде чем Огюст закончил ноги.

Никогда прежде Пеппино не видел у статуи такого широкого шага. И, уже одеваясь, – он весь вспотел от такого упорного хождения, – Пеппино спросил:

– Маэстро, неужели у меня действительно такая походка?

– Да. Когда я представляю вас Иоанном.

– И вы думаете, публика этому поверит? Огюст посмотрел на этот шаг в вечность, отпил глоток «Контро», принесенный Розой,

предложил ликера натурщику и спросил:

– А вы сами верите?

Пеппино поднес рюмку к губам и сморщился, ему хотелось, чтобы ликер был итальянским, а не французским.

– Прямо не знаю, чему теперь верить, – ответил он. – Если бы мне сказали, что я буду целый год работать на человека, который задолжал мне сто франков, я бы не поверил. Но ведь это именно так.

– Я заплачу. Ведь я уже расплатился с вами за урочные часы.

– Но мы всегда перерабатываем. И потом вы меня слишком раздели.

– Иного пути не было. Пеппино широко взмахнул руками:

– Но вы меня голым выставили напоказ!

– Выбор был только такой: либо обнаженный, либо одетый.

– Но что скажут мои друзья?

– Что вы настоящий мужчина.

– Но ведь предполагается, что я святой! Огюст улыбнулся ему в ответ:

– А вы им и были, раз терпели такого тирана, как я.

– Вы устали, маэстро.

– А вы не устали, Пеппино?

– Basta! Когда мы начнем работать над новой фигурой?

Огюст воспрянул духом. Пеппино послужит прекрасной моделью для Адама.

Работа близилась к завершению, и в эти последние дни, с новым приливом сил, Огюст закончил лицо. Он с особой тщательностью вылепил величественные и гордые черты человека, освещенные огнем негасимой веры. Рот был приоткрыт, волосы падали на плечи, как у Пеппино, борода была короткой, но выразительной. Поднятая голова придавала Иоанну величие, и весь он был во власти веления свыше.

Вот и все, остались только руки. Огюст работал над ними много дней, пока руки натурщика не сводило от холода, так что он едва мог шевелить пальцами. Пальцы коченели, руки не сгибались в локтях. Он перестал разглагольствовать. Как-то раз Пеппино пришлось простоять без движения несколько часов подряд, пока Огюст делал наброски и лепил, не останавливаясь ни на минуту. Пеппино держал руки именно так, как приказал Огюст.

Огюст бормотал себе под нос:

– Ваяние требует самоотречения. Чтобы вылепить пару рук, нужна сотня вариантов.

Солнце спустилось за горизонт, темнело. Тени все ближе подкрадывались к неподвижной модели и к статуе «Иоанна

Крестителя». Огюст работал лихорадочно, словно наперегонки с темнотой. Внезапно остановился, обошел вокруг статуи, вглядываясь в нее через сгущающуюся тьму. А Пеппино был все так же неподвижен. Он промерз до костей и не сомневался, что с руками его и ногами все кончено. Но вдохновение маэстро передалось и ему.

Огюст увидел фигуру В профиль. Этот Иоанн не оставлял равнодушным, он олицетворял собой определенную идею, он недаром прожил жизнь. Огюст смотрел на Иоанна Крестителя с чувством внезапного преклонения. Все-таки ему удалось воплотить свой замысел. Он готов был молиться на этого человека.

Пеппино был тоже поражен. Это был святой, но как отличался он от всех святых, которых он когда-либо видел! Грубо вытесанный, но совсем человеческий, непреклонный, откровенно обнаженный и все же святой. В нем чувствовалось движение и дыхание жизни, он выражал идею без тени идеализации. Благоговение охватило Пеппино. Никогда прежде не был он так близок маэстро. Итальянец и не представлял, что может выглядеть таким благородным, вдохновенным, сильным.

Огюст, заметив слезы в глазах натурщика, порывисто обнял Пеппино, расцеловал в обе щеки.

– Фигура закончена? – спросил Пеппино.

– Закончена. И я доволен. – Впервые Огюст не сомневался в своем успехе[64].

3

Когда «Иоанн Креститель» был отлит в бронзе, Огюст отправил статую вместе с «Бронзовым веком» на рассмотрение жюри Салона 1880 года. Почти два года пролетели в работе над «Иоанном», а он и не заметил; и его самого удивило спокойствие, с которым он ждал приговора. Огюст возобновил работу над «Идущим человеком» и исподволь занялся «Адамом» – Пеппино служил моделью для обеих фигур. Он никому не показал «Иоанна» – ни Лекоку, ни Буше.

Огюст больше года не виделся с ними и был уверен, что его позабыли, но как-то в воскресенье Буше пришел к нему в мастерскую и выразил желание поговорить со скульптором наедине. Огюст согласился, но не отпускал Пеппино, а попросил подождать.

Огюст заподозрил, что Буше пришел сообщить плохую новость, что обе статуи отвергнуты, и сделать это как можно тактичнее.

Буше остановился в дверях мастерской, он чувствовал себя неловко. Огюста, видимо, не радовало его появление.

– Ваше новое произведение полно жизни, – сказал Буше. – А в голове Иоанна есть нечто от Данте.

– Я стремился передать характер Иоанна Крестителя.

– Понимаю. Но лучше бы назвать статую «Данте».

– Что еще стряслось?

– Ничего не стряслось, – ответил Буше.

– Что-то не так. Не отрицайте.

– Вы все свое, Роден. Вечно вам мерещатся неприятности.

– Но почему у вас такой извиняющийся тон?

– Мне нравится «Иоанн». В нем и могучая мужественность греков и гордая преданность вере.

– Значит, вновь отвергли, – Огюст повернулся к Пеппино, полный решимости никогда больше не связываться с Салоном.

– Нет. Не совсем так! – воскликнул Буше. – Но поскольку статуя изображает святого, то считают уместным добавить фиговый лист.

– Вы говорили, следующая моя работа будет принята без единого возражения.

– Так и будет. Если добавите фиговый лист. Ну прошу вас, дорогой друг. Микеланджело так всегда поступал, когда лепил Христа. И вам это тоже ничего не стоит. Красота и мощь статуи от этого не убавятся.

Огюст устало вздохнул, и, хотя ему хотелось просто прогнать Буше за эту предательскую уступчивость, он все же сказал:

– А «Бронзовый век»?

– Будет выставлен снова.

– Но я его не стану прикрывать. Он не святой.

– Этого и не требуют.

Огюст, во власти жестокой нерешительности, бросил взгляд на ожидающего Пеппино и вспомнил, сколько он задолжал натурщику.

– Для меня будет большим ударом поменять что-то в «Иоанне Крестителе», – пробормотал он.

– Зачем же менять! – закричал Буше. – Задрапируйте его! Все драпируют фигуры, когда лепят святых или Христа. А вы-то чем лучше других? Господи! – Буше вышел из себя и кричал в полный голос– Гийом просил от вас религиозный сюжет, вы сделали, и я поймал его на слове, заставил выполнить обещание, так нет же, вы начинаете упорствовать. Я целых три года ждал этой возможности, а теперь вы уперлись из-за пустяка!

Эта тирада произвела на Огюста впечатление. Он успел позабыть о Гийоме. Теперь он считал замысел Иоанна Крестителя

своим, он взялся за эту тему потому, что только она его и вдохновляла.

Слезы злости и бессилия блестели на глазах у Буше, когда он уходил. Огюст догнал его уже на улице.

– Друг мой, – сказал Огюст. – Извините. Я не представлял, сколько вам пришлось из-за меня претерпеть.

– Да не из-за вас! – оборвал его Буше. – А из-за вашей скульптуры.

– Ладно, Буше. Я сделаю то, чего вы хотите.

– Да не я – они хотят! Мне обнаженный Иоанн нравится. Наплевать мне на мнение Гийома. Но разве можно отказываться от возможности выставить свою работу! Особенно теперь, ведь после «Бронзового века» от вас будут ждать новой работы.

– Я сам прикрою «Иоанна».

– В этом нет необходимости. Сделают и без вас.

4

Огюст был изумлен и обрадован тем, как поставили его статуи. Благодаря заботам Буше их поместили в просторной светлой передней галерее Дворца промышленности. Кругом было оставлено достаточно места – можно осматривать со всех сторон. Это было особенно важно. Многие, как и раньше, возмущались «Бронзовым веком», но «Иоанн Креститель» вызывал иные чувства, скорее, близкие к благоговению.

Некоторые критики поспешили написать, что Иоанну не подобает иметь столь размашистую походку, обнаженное тело, открытый рот, что фигура выполнена в резко реалистической манере и лишена богобоязненности, достоинства и благочестия. Но были и такие, которых искренне тронуло произведение, и они отозвались о нем с похвалой. Но никто не упоминал «Бронзовый век».

Между Огюстом и Салоном установилось нечто вроде перемирия. «Иоанна Крестителя» сочли своего рода уступкой, и, хотя бы временно, перестали называть работы Родена непристойными.

Перед закрытием выставки «Иоанн Креститель» был удостоен третьей премии в разделе скульптуры. Огюст не решался верить. Ничего подобного он не ожидал. Но все осталось по-прежнему. Покупателей ни на ту, ни на другую фигуру не находилось. До него дошли слухи, что их собираются приобрести для Люксембургского сада, но никто не обращался к нему с подобным предложением; видимо, просто толки, решил он[65].

А когда Огюста пригласили посетить салон мадам

Шарпантье[66], где еженедельно собирались столпы французского искусства и политики, он пришел в замешательство. Это было знаком признания, куда более красноречивым, чем третья премия. Там он мог познакомиться с Гюго, Гамбеттой, Золя. Но он подумал, что тут какая-то ошибка.

Огюст спросил у Буше, и тот сказал:

– Надо пойти. Это единственный способ получить хороший заказ.

– Стоит ли там говорить, над чем я сейчас работаю?

– Непременно поговорите. Многих теперь интересуют ваши работы.

Огюст с подозрением посмотрел на этого завсегдатая гостиных.

– Кто устроил мне это приглашение? Вы?

– Нет. Мадам Шарпантье сама всех приглашает.

– Я никогда не бывал в обществе. У меня даже фрака нет.

– наденьте сюртук, Или накидку. Ренуар всегда приходит в накидке, даже вечером. – Этот идущий в гору Ренуар?

– Да. Наш колорист тоже становится знаменитостью. Заехать за вами но пути? У меня будет место в экипаже.

– Нет, – отказался Огюст, решив, что это будет неудобно. Он пояснил: – Я могу запоздать.

Они расстались у Нового моста. Огюст перешел на левый берег. Приближаясь к своему неприглядному жилищу, он впервые не чувствовал себя угнетенным и шагал энергично, совсем как «Иоанн». В его жизни начинается новая, светлая полоса. Работа над святым принесла ему удовлетворение. Но теперь потребуется еще больше усилий. Мир мадам Шарпантье был новым и незнакомым ему. И как быть с Розой? Он не водил ее даже во Дворец промышленности.

Приближаясь к улице Сен-Жак, Огюст пошел быстрее. Вся его жизнь до сих пор, если признаться честно, была непритязательной жизнью парижского провинциала. Но теперь все будет куда сложнее. И придется шагать по этой жизни уверенно и решительно.

Едва войдя в квартиру, он принялся рассказывать Розе, чем закончилась выставка. Он работал не покладая рук, теперь можно и отдохнуть.

Глава XXIV

1

Модный сюртук, серый цилиндр и длинный галстук были взяты напрокат в дорогом магазине на улице Риволи и выглядели совсем как новые. До вечера, когда был назначен прием у мадам Шарпантье, Огюст так часто их примерял, что почти освоился. В парикмахерской он подстриг и завил бороду, она делала его красивым и мужественным.

Перед самым уходом он стоял и рассматривал себя в зеркало. Мнение Розы его не интересовало: она была в дурном настроении, потому что он не брал ее с собой под предлогом, что это «деловая встреча художников». Господи, да мог ли он взять Розу с собой – с ее красными, изуродованными работой руками, в неопрятном платье, плохо причесанную. Весь ее разговор – это: «мосье», «мадам» да еще из катехизиса. Но на сына его вид произвел впечатление, и, когда мальчик похвастался Папе, Папа сказал:

– Ты, верно, выглядишь по-господски.

Папа сидел у кухонного стола, сложив руки на набалдашнике палки и опустив на них подбородок – он привык к такой позе, с тех пор как совсем ослеп, и удивлялся суетливости Огюста. Впервые за много дней Папа поднялся с кровати. Когда маленький Огюст описал ему цилиндр и модный сюртук отца, Папа сказал:

– Вот не думал, что мой сын так вырядится. Так говоришь, там будут известные художники?

– Ничего смешного в этом нет, – ответил Огюст.

– А я и не смеюсь, – строго сказал Папа и ворчливо спросил: – Ну, кто там будет из тех, что поважнее?

– Там будут писатели, художники, может быть, один или два министра, – сказал Огюст.

– Министры? – Папа заинтересовался. – Кто же такие?

– Мне говорили, что будет Гамбетта.

– Наш республиканский лев? Опора Третьей республики? – насмешливо спросил Папа, переживавший, поскольку к власти пришли республиканцы, очередное увлечение роялизмом. – Уж не потому ли ты не берешь Розу?

– Ради бога, Папа, поздно об этом говорить! – воскликнула Роза, как всегда, вступаясь за Огюста, даже когда сердилась на него. Домашние дела и заботы совсем задавили ее: Папа сильно

одряхлел за последний год; маленький Огюст еле читал и писал и с нетерпением ждал времени, когда можно будет бросить школу и бежать из ненавистной мастерской. Роза чувствовала, что за последние два года состарилась на добрых десять лет, словно увяла от равнодушия Огюста, но любила его по-прежнему.

– Мы не должны его огорчать, – сказала она.

– Нет, – запротестовал Папа, – мне уж недолго жить. Я могу говорить то, что думаю.

Вам еще очень долго жить, – сказала Роза. – Просто вы огорчены. Папа выслушал все это со слабой улыбкой, ему ведь лучше знать.

– Мой сын эгоист, настаивал он, – Думает только о своих статуях.

– И это понятно, – возразила Роза. – Я не умею вести беседу. Я совсем тупица, когда речь идет об искусстве. Он меня стыдится. Возможно, он и прав.

– Нет, не прав, – сказал Папа. – Только посмотри, сколько он работал! И чего добился к сорока годам? Приглашения на какой-то там прием, где, может быть, на него никто и не посмотрит. Огюст, послушался бы меня, поступил в префектуру, скоро мог бы уже уйти на пенсию.

Огюст все рассматривал себя в зеркало.

– Мне пора, – сказал он. – В воскресенье мы все поедем на пикник в Булонский лес. – Он погладил сына по голове, пожал руку Папе, словно и не слышал его слов, и сказал Розе: – Не жди меня, ложись.

2

Приближаясь к роскошному особняку на улице Гренелль, Огюст волновался. Хотя и расположенный на левом берегу, это был один из самых привлекательных районов города. Огюст увидел длинную вереницу колясок, въезжающих во двор, и его на секунду охватила паника. Но отступать поздно, он дал согласие. Хорошо, что он приехал в наемном экипаже и на нем сюртук и цилиндр. Тут будут люди, которые могут тратить тысячи только на одежду и живут в таких вот великолепных особняках, имеют собственные выезды, кареты и ландо.

На него не произвели впечатления скульптуры, украшавшие карнизы и балконы. Сатиры и нимфы состояли из одних выпуклостей и казались бесполыми. Купидоны и голые толстухи облепили фасад и башенки, тяжелые, пышные, перезрелые – все на один манер, не отличишь. Витиевато, подумал Огюст, и совершенно лишено вкуса.

Он неохотно вошел в роскошно убранную гостиную. Но, увидев продолговатый великолепный зал – настоящую художественную галерею с прекрасными гобеленами, сияющими изящными люстрами из прозрачного тонкого стекла и несколькими картинами Ренуара и Мане, – Огюст улыбнулся, удовлетворенный вкусом супругов Шарпантье. Он понял, что Шарпантье так и купили особняк вместе со всеми украшениями, но гостиная – их собственное детище.

Огромный зал был заполнен гостями, и Огюст не видел ни одного знакомого лица. Он заметил хозяина и хозяйку, они приветствовали прибывающих гостей. Огюст присоединился к образовавшейся очереди. Шарпантье, которые приобрели широкую известность в качестве издателей, горячих покровителей искусства и радушных хозяев, оказались моложе, чем он ожидал.

Хозяин, энергичный мужчина приятной внешности, приветствовал всех с искренним удовольствием. Хозяйка, высокая брюнетка, живая, хорошенькая, умело и элегантно носила свое сильно декольтированное платье. Огюсту было неловко в присутствии стольких мужчин и женщин в дорогих вечерних туалетах, которые свидетельствовали об их богатстве и высоком положении. Но отступать было поздно. И когда подошел его черед здороваться с Шарпантье, он представился:

– Огюст Роден.

Мосье Шарпантье это имя ничего не сказало, но мадам задумалась на секунду, а потом вспомнила:

– Ну конечно, вы скульптор, о вас все говорят, что вы используете слепки.

Огюст покраснел от злости, но не нашелся что ответить. Сзади подходили другие гости, чтобы поздороваться с хозяевами, и его оттеснили. Одинокий, несчастный, он забился в угол. Лакеи в ливреях разносили на подносах еду и шампанское, но у Огюста пропал аппетит. Вокруг царило оживление, суета, а он чувствовал себя покинутым. «Чего, собственно, было ждать, – с горечью думал Огюст. – Чуда, внезапного признания?»

Он уже собрался уйти, когда подошел Буше.

– Я искал вас повсюду. Хочу представить моим друзьям. Не правда ли, замечательный вечер?

Огюст подумал, что человек, привыкший к дешевому вину, не сразу оценит шампанское.

– Не знаю, стоит ли мне оставаться, – сказал он.

– Вы чудак! Все обожают Жоржа Шарпантье и его жену, а вы надулись.

– Они еще обвиняют меня в том, что я пользуюсь слепками.

– Роден, нельзя быть таким обидчивым. Пойдемте, я

познакомлю вас с человеком, который восхищается вашими работами. – Буше взял Огюста под локоть и повлек его к коренастому, плотному мужчине, в котором Огюст признал Эмиля Золя.

Золя стоял перед большим портретом Ренуара, изображавшим мадам Шарпантье с двумя детьми, и внимательно рассматривал картину через очки. Он был толще, чем представлял его Огюст, и обычно бледные щеки его на этот раз порозовели. Рядом стояли Ренуар и Мане. Золя говорил Ренуару:

– Это достойный похвалы портрет, хотя я и не одобряю излишне точно выписанные детали.

Ренуар пожал плечами, потом лукаво сказал:

– Вы очень снисходительны, мой друг. Золя ответил:

– Вы с Мане обижены, потому что я не хвалю каждую вашу вещь, как прежде. Но вам это теперь и не к чему. И все-таки если я не считаю вас гениями, вы сердитесь.

– Нисколько, – вступил в разговор Мане. – Из критики можно извлечь пользу. Но из насмешек – никогда.

– А я и не насмехаюсь, – сказал Золя. – Мало я защищал вас с Ренуаром?

– В прошлом – да, – сказал Мане. – Но вы давным-давно перестали относиться к нам по-настоящему сочувственно.

Воцарилось неловкое молчание. Буше представил Огюста Золя. Золя на мгновение насупился, словно чувствуя себя невинно обиженным. Но перестал хмуриться, когда Мане сказал:

– Роден, автор «Иоанна Крестителя», который вам понравился.

– Это тот, самый реалистичный из всех? – спросил Золя. Враждебное выражение исчезло с его квадратного лица. – Я рад, что вы натуралист, а не теолог, – сказал он Огюсту.

– Я не тот и не другой, – ответил Огюст. – Я скульптор.

– Что ж, как бы там ни было, а вы пробудили их от спячки, – удовлетворенно заметил Золя.

– Я не задавался такой целью.

– Почему? – спросил Золя. – Искусство – поле битвы, и мы должны это признать. Разногласия способствуют развитию искусства, делают его интересней.

Огюст промолчал. Взгляды Золя казались ему странными. Он считал Золя представителем той плеяды писателей, которые полагают, что искусство – это собрание идей и мыслей, своего рода социальная и естественная история современного общества, что и находило отражение в произведениях Золя, которые ему нравились. И вот теперь Золя превозносил Дега за то, что тот сейчас только и изображает, что сцены парижской жизни, и

называет его «художником-натуралистом», а ведь Дега первым и громче всех восстал бы против такого рода похвалы. Возможно, Золя исполнен добрых намерений, думал Огюст, хотя, как известно, добрыми намерениями и вымощена дорога в ад.

Тем временем мадам Шарпантье увела с собой Золя, Мане и Буше, чтобы представить их новым знаменитым гостям. Она хотела забрать с собой и Ренуара, но тот выразил желание остаться с Роденом. Ренуар помнил, как впервые попал в этот салон и как стесненно себя чувствовал, не будучи ни с кем знаком.

– Не обращай внимания на Золя, – сказал Ренуар. – Ему и правда понравился твой «Иоанн». Но Золя теперь стал фигурой и поэтому обязан иногда произносить громкие речи.

– Я не напрашивался на похвалу, – ответил Огюст.

– Мы многим обязаны Золя. Он поддерживал нас, когда нас никто не принимал всерьез. Не нужно забывать.

– А ты теперь ищешь вдохновения у мадам Шарпантье?

– Поддержки – не вдохновения.

– А почему здесь нет Дега?

– Эдгар считает, что у Шарпантье слишком республиканские взгляды.

– Но Моне ярый республиканец, однако и его здесь тоже нет.

– А ты видел в последнее время Моне?

– Нет. Я очень много работал.

– Разве ты не знаешь, что Камилла умерла?

– Когда? – Огюст был потрясен. Он не был близко знаком с женой Моне, но знал, как предан ей художник. Это для него страшная потеря.

– Несколько месяцев тому назад. Моне совсем убит. Не выходит из дома, никого не видит, а все пишет, пишет и оплакивает ее.

– Мне его очень жаль. – Огюст не выносил похорон, но на эти пошел бы обязательно.

– Постарайся с ним увидеться. Может, тебе удастся развеять его настроение.

– Но я не знаю его так хорошо, как ты, Ренуар.

– А кто его хорошо знает? Он тебя уважает, Роден. Считает, что у тебя есть мужество.

– Ты хочешь сказать – непокорство, мой друг. Но я навещу Моне при первой же возможности. – Огюст приостановился и спросил с тревогой: – А как идут дела у тебя и у Мане? Мане что-то неважно выглядит. И сильно хромает. Видно, ходьба причиняет ему нестерпимую боль.

Ренуар с грустью ответил:

– Бывают дни, когда Мане не может сделать и шага. Я уверяю его, что это ревматизм, которым я тоже страдаю, но он не верит, да я и сам не верю. Вон, посмотри-ка на Гюго! – Ренуар указал на Виктора Гюго, который стоял посреди гостиной, окруженный толпой почитателей, и хотя с явным удовольствием выслушивал славословия, но глядел на них пренебрежительно, помня, насколько он выше простых смертных. – Ему около восьмидесяти, а все хвастает успехами у женщин и тем, как легко взбегает по лестнице.

Огюст не мог отвести глаз от Гюго. Ренуар сказал:

– Неужели и ты в числе его поклонников?

– Какая великолепная голова! – Огюст залюбовался величественным видом писателя, лицо которого, иссеченное временем и трудом, все еще дышало мощью. В этом зале, где, казалось, сам воздух был пропитан лестью, Гюго один был на уровне своей репутации. Огюста покорили эти полные, резко очерченные губы, выразительный рот, полные страсти, глубоко сидящие глаза, готическая массивность всего облика. Вот лицо, которое просится, чтоб его лепить.

Ренуар спросил:

– Ты впервые видишь Гюго?

– Да. Какая модель!

– Я с ним почти не знаком, – сказал Ренуар. – Но Малларме его хорошо знает, и он благоволит к Малларме. – Ренуар подозвал Малларме и сказал ему о желании Огюста.

Малларме ответил своим тихим голосом:

– Я с удовольствием представлю вас, Роден, но предупреждаю – вряд ли Гюго согласится позировать. Гюго считает, что уже достаточно позировал. Все скульпторы добивались этого, и многие лепили.

Ренуар добавил:

– И ему не понравится, что ты сначала беседовал с Золя.

– Но меня только представили, – удивился Огюст.

Ренуар пояснил:

– Они не разговаривают. Золя считает своим учителем Бальзака, а не Гюго. А теперь, когда книги Золя пользуются куда большим успехом, их не так-то просто помирить.

– Зачем же Шарпантье приглашают их одновременно, если они не выносят друг друга?

– Да ты просто наивен, Роден, – сказал Ренуар. – Шарпантье этим страшно довольны. Такие ссоры помогают распродавать книги Золя, которые издает Жорж Шарпантье.

– И он зарабатывает деньги, на которые его жена покупает ваши картины, – прибавил Малларме.

– Господи! – воскликнул Ренуар. – Да я и не жалуюсь. Иди, Роден, познакомься с великим человеком. Может быть, снизойдет, если падешь перед ним на колени.

И Ренуар направился к Мане и Буше, а Малларме подвел Огюста к Гюго. Гюго, который сурово повествовал своим почитателям о падении современной французской поэзии, мягко улыбнулся, увидев Малларме, и сказал:

О, мой дорогой Малларме, рад вас видеть. – Он почти не взглянул на Огюста, не запомнил его имени, и Малларме пришлось повторить:

– Огюст Роден, скульптор.

– Скульптор? Это какой скульптор? – спросил Гюго хмурясь.

«Все напрасно, – сердито подумал Огюст. – Гюго не знает, кто я такой, да и не желает знать».

Малларме объяснил:

– Он автор «Иоанна Крестителя» и «Бронзового века». Помните, мой дорогой мэтр, эту прелестную, поэтическую фигуру юноши.

– А, ту самую, которая делалась со слепков. Огюст твердо решил держать себя в руках, но тут его терпение лопнуло. Он со стуком поставил на стол бокал, который держал в руке. Гюго спросил:

– А чем он еще знаменит?

– Помощник и ученик Каррье-Беллеза, – продолжал Малларме в надежде, что это поможет Родену, поскольку бюсты Каррье-Беллеза были самыми известными во Франции. – Вы ведь знаете бюсты Каррье-Беллеза, мэтр?

– Да, – сказал Гюго. – Мне они не нравятся. Особенно мой, который он делал.

– Я не его ученик, – прорычал Огюст. – Я просто у него работаю.

Гюго не ответил, и Малларме поспешил сказать:

– Роден прекрасный скульптор, мой дорогой мэтр. Он воплотит вас мужественно. Реалистично. Естественно.

– Нет! – решительно произнес Гюго, словно Огюста здесь и не было. – Довольно с меня бюстов. Я уже потерял им счет. А сколько я перенес, Малларме, когда позировал для последнего. Представьте себе, часами сидеть без движения! Господи, в таком положении даже перестаешь себя чувствовать мужчиной! А этот болван скульптор сделал из меня старого сатира.

Малларме позволил себе прервать писателя:

– Я согласен, что бюст Виктора Вилена был удивительно неудачным. Он скульптор римской школы и выполнил ваш бюст в неподвижной, формальной римской манере. Но под руками

Родена вы оживете.

Гюго сказал:

– Нет уж, оживать, так в более ловких руках. Этот ваш друг чуть не разбил бокал. Я предпочитаю, чтобы меня запечатлели для потомков более умелые руки. Да, конечно, тела у него выходят, как живые, но лица недостаточно выразительны и лишены благородства. А его «Иоанн» – это же просто крестьянин!

– А разве настоящий Иоанн не был крестьянином, мосье Гюго? – Огюст протолкнулся вперед и стал лицом к лицу с великим человеком, чтобы тот мог отвечать непосредственно ему.

Гюго ответил устало, не скрывая недовольства всем этим спором:

– Вы очень напористы, Роден, но я все же не стану вам позировать. – Гюго вновь принял безразличный вид, который сохранял на протяжении всего разговора. И вдруг в глазах его вспыхнул интерес – он увидел очень хорошенькую молодую женщину, которая только что вошла в гостиную. Гюго не спускал с нее взгляда и сделал знак мадам Шарпантье, чтобы их познакомили.

Мадам Шарпантье подвела к Гюго мадемуазель Мадлен Бюфе, молодую актрису, и представила.

Огюст не двинулся с места, хотя Гюго больше не обращал на него внимания. Он тоже хотел познакомиться с этой необычайно хорошенькой молодой женщиной. Ее появление вызвало заметное восхищение в зале. Огюста привлекали ее выразительные темные глаза, сверкающая улыбка и прекрасный цвет лица. Ее плечи, грудь были сильно открыты. Белая шея казалась ему ожившим мрамором. Держалась она непринужденно и грациозно.

На мгновение Огюсту показалось, что Мадлен Бюфе предпочла бы познакомиться с ним, но он тут же сказал себе: чепуха. Гюго – величайший человек Франции, поэт, драматург, очеркист, романист, герой политической жизни, вдохновитель борьбы против Второй империи, живой символ неумирающего республиканского духа. Когда бы человечество ни становилось жертвой несправедливости, Гюго протестовал, Гюго писал, Гюго говорил, выступал с речами – Гюго, держащийся как небожитель, Гюго, который многим французам действительно казался настоящим богом!

Мадлен Бюфе видела «Иоанна Крестителя» и «Бронзовый век» и, как только Гюго оторвался от ее обнаженного запястья, немедленно сообщила Огюсту, что считает его работы замечательными.

– Они такие, жизненные, – сказала она.

Гюго испепелял его взглядом, и, прежде чем Огюст успел

поблагодарить ее, Малларме, подчиняясь кивку Гюго, увлек Огюста в сторону. Огюст уперся было, но пришлось уступить: обычно мягкий Малларме был неумолим.

Малларме шептал разозленному Огюсту, подталкивая его в сторону группы в отдаленном углу продолговатой гостиной:

– Я хочу познакомить вас с очень важным человеком.

Но Огюст считал, что его обвели вокруг пальца. Его влекло к этой женщине, и на сегодня с него довольно знаменитостей.

– Этот Гюго настоящий кобель, – сказал он.

– Пожалуй, – ответил Малларме, – но для Гюго нет никаких моральных принципов, они лишь для простых смертных. Идемте же, я представлю вас Гамбетте. Вы будете довольны. И он тоже хочет с вами встретиться.

Огюст не верил Малларме. Он не хотел знакомиться ни с кем больше.

Однако Гамбетта ему сразу понравился. У Гамбетты было открытое, волевое лицо и ясные, дружелюбные глаза. Вся его внешность выражала достоинство, без капли высокомерия. Беспощадный враг роялистов, вождь республиканцев, стоявших у власти в Третьей республике, выглядел моложаво, несмотря на седеющие волосы и бороду. И к тому же он был почти одного возраста с Огюстом – всего на два года старше, – с ним Огюст чувствовал себя свободно.

Гамбетта, казалось, искренне обрадовался знакомству со скульптором и тепло представил его человеку, стоявшему рядом, – Антонену Прусту[67], высокому красивому мужчине, одетому, в отличие от Гамбетты, весьма элегантно. Гамбетта сказал:

– Пруст – наш новый министр изящных искусств, Роден. Мы много слыхали о ваших работах, Мане их очень хвалил, Буше и Малларме тоже. Буше заставил меня познакомиться с ними. Мне нравится ваш «Иоанн» – он больше человек, чем святой.

– Мои религиозные воззрения основываются на поклонении природе, – ответил Огюст.

– И еще я подумал, что «Иоанн» очень похож на француза, – сказал Гамбетта.

– Он не принадлежит ни к какой нации, – сказал Огюст. Его огорчало, что мадемуазель Бюфе и Гюго пропали. Уж не одержал ли Гюго столь быструю победу, подумал он, и ему стало грустно.

– У вас преданные друзья, Роден, – продолжал Гамбетта. – Вам повезло.

– Я услышал о ваших работах от Моне, – сказал Малларме. – Он говорил, что несколько лет назад вы сделали статую вакханки – одно из самых прекрасных произведений, какие он видел, но

она разбилась при весьма печальных обстоятельствах. Он рассказывал, какое это было для вас горе.

Огюст поразился: Моне никогда не высказывал ему своего мнения о «Вакханке».

Буше, заметив, что Гамбетта и Антонен Пруст беседуют с Огюстом, поспешил к ним.

– У него в мастерской отличные работы, которые никогда не выставлялись, – сказал Буше.

– Которые были отвергнуты Салоном, – подчеркнул Огюст.

– Но я хочу предупредить вас, мосье Гамбетта, – продолжал Буше, – что этот скульптор может быть весьма капризным. Если он вобьет себе что-нибудь в голову, его ни за что не переубедишь.

Гамбетта задумчиво смотрел на Огюста, словно принимая какое-то решение.

– А вы и впрямь такой упрямый, Роден? – спросил он. – Я много слышал о вашем упрямстве.

– Я бунтовщик, мосье Гамбетта, но не упрямец.

– Я не имею ничего против бунтовщиков.

Все заулыбались. А Гамбетта сразу перешел к делу:

– Мы с Антоненом Прустом обсуждали возможность предоставления вам заказа, Роден. Мы не сомневаемся в ваших талантах. Но, как политический деятель, я обязан быть практичным. Существуют такие вопросы, как тема, стоимость, срок. Я в этих делах не разбираюсь, а Пруст разбирается так же, как и его помощник Эдмон Турке. Хотите послужить Третьей республике?

Теперь, когда его заветная мечта была близка к осуществлению, Огюст не находил слов. Гамбетта ему нравился. Гамбетта, самый важный человек, перед которым преклонялись левые республиканцы и республиканцы центра, оказался самым простым и самым обходительным из всех, с кем он тут познакомился.

– Мосье, я буду счастлив выполнить ваш заказ, – сказал Огюст.

– Не мой, мэтр, а Франции. У нас ведь теперь, как вы знаете, республика.

– Республика или империя – все равно, главное – это работа.

– Мы имели в виду дверь, – сказал Гамбетта. – Вход в новый Музей декоративного искусства, который предполагается построить на набережной д'Орсэ.

– Очень подходящее место, – сказал Огюст. – Но все зависит от того, что построят.

– Мы хотим, чтобы вы сделали дверь. Дверь, достойную французского искусства. – Гамбетта был теперь совершенно

серьезен.

– Как у Гиберти, – сказал Огюст раздумывая, – ту, что Микеланджело назвал «Вратами рая».

– Можно и такую, – сказал Гамбетта, – хотя я лично предпочел бы нечто более серьезного характера. Наше время – переходное, время поисков целей. У Франции еще много незалеченных ран. Без преувеличения можно сказать, что мы живем на вершине вулкана, и временами мне кажется, что этот вулкан поглотит нас всех. – Воцарилось тяжелое молчание. Гамбетта продолжал более веселым тоном: – Подумайте об этом, Роден. Если, конечно, вас это интересует.

Огюст нервно сглотнул. Интересует? Да он вне себя от радости! Монументальная дверь, бронзовая или из камня, демонстрирующая всю широту человеческих исканий. Его Сикстинская капелла! И к тому же Гамбетта не папа римский, не станет требовать беспрекословного подчинения. Как может он вступать в споры о том, чего он всегда так страстно желал? Он ответил:

– Как я вам уже сказал, мосье Гамбетта, это будет для меня большой честью.

– Но если вы поставите своей основной целью изображение обнаженной фигуры в реалистическом лапе, как было до сих пор, это может вызвать грандиозный скандал, – добавил Гамбетта. Огюст разгорячился:

– Когда скульптор драпирует фигуру, он прячет т глаз самое существенное. Нет ничего прекраснее, ильнее и изящнее человеческого тела. Оно – средоточие всех чувств. Когда его прячут – его подавляют, искажают, уродуют. Все подлинные скульпторы понимали это – Праксителъ, Фидий[68], Донателло, Микеланджело, – даже если им не всегда было дано изображать его обнаженным. Нагота не имеет ничего общего с непристойностью, даже с чувственностью, у нее одна цель-правда жизни. Обычно задрапированная человеческая фигура – это фигура скрытая. И чаще всего она неестественна, нереалистична. А скульптору да и искусству в целом нечего скрывать.

Буше и Малларме ждали ответного взрыва со стороны Гамбетты, но Гамбетта, хотя и покраснел, ответил спокойно:

– Нельзя ли нам с Антоненом Прустом взглянуть на ваши работы? Скажем, в следующее воскресенье?

– Конечно, мосье, – сказал Огюст успокаиваясь. – Но моя мастерская весьма неприглядна – холодная, сырая, тесная.

– Нас интересуют только ваши работы, – сказал Гамбетта. – А потом мы можем продолжить беседу об обнаженной натуре.

– А дверь – надо мне о ней думать? – спросил Огюст.

Гамбетта заколебался, а потом сказал:

– Давайте подождем и посмотрим, до чего мы договоримся в воскресенье.

Гамбетта ушел под руку с мосье Шарпантье и в сопровождении Пруста, Малларме и Буше.

Огюст прошелся по залу, не зная, верить ему или не верить, и вдруг увидел Мадлен Бюфе в оранжерее у входа в гостиную.

Она поманила его и, когда он подошел, улыбнулась и сказала:

– Этот Гюго упрям как баран, еле отделалась.

Огюст рассмеялся:

– Какая дерзость!

– Избавиться от великого человека? Только подумайте, он пытался ущипнуть меня за ногу под столом! Но у меня к вам дело серьезное.

– Какое именно?

Мадлен еще больше понизила голос:

– Вы делаете бюсты?

– Не часто. Не мой жанр. Я не умею льстить.

– А сколько надо времени на бюст?

– Такой, чтобы вы остались довольны? Да, наверное, несколько месяцев.

– А чтобы вы были довольны?

– Тогда год.

– А нельзя поторопиться и сделать за месяц?

– Я не умею торопиться. Это не пьеска Сарду, которую можно поставить за неделю.

– Вы очень злой. Гюго мне во всем подчиняется, а вы отказываете.

– И Гюго согласился написать что-нибудь для вас?

– Сказал, что напишет поэму. Он был очень любезен, очень. И все говорил о себе. Битый час, наверное. А вы о себе – ни слова.

– Никто не дает мне такой возможности. Разве что Гамбетта.

– Он обещал вам заказ?

– Откуда вы знаете?

– А иначе зачем ему с вами говорить?

– Мадемуазель, а вы циник.

– Меня зовут Мадлен. А самый большой циник из всех – вы. Ни от кого не ждете добра, даже от меня.

– И все-таки я бы хотел сделать бюст Гюго. У него необыкновенная голова.

– Так и должно быть. Гюго, без сомнения, сейчас величайший человек во Франции.

– Для меня это не главное. Меня заинтересовала голова.

Мадлен улыбнулась. Она поглядела на суровое лицо Огюста, его упрямый подбородок, вспомнила то свирепое выражение, которое появилось у него, когда он рассердился, и подумала, что с точки зрения скульптора он куда более интересная модель, чем Гюго. И как одержим он своей работой! Она стала серьезной и сказала:

– Я заметила, что до сих пор вы не лепили женщин.

– Нет, лепил, но ни одна не вышла по-настоящему. Но я еще буду их лепить, и не каких-нибудь там святых дев.

– Вам нужна натурщица?

– На одну-то неделю? Нет, благодарю вас.

– Я серьезно, Огюст Роден.

Удивленный, он недоверчиво покачал головой. Ему казалось, что все это во сне. Мысль о мастерской охладила его энтузиазм. Но глаза Мадлен сияли, когда она смотрела на него, и улыбка была полна нежности. Огюст сказал:

– Если бы… Но у меня в мастерской стужа, и я очень требователен, и…

– И у вас есть другая, – докончила она.

– Не в том дело, – коротко ответил он.

Мадлен не могла спрятать улыбку: Это прозвучало у него очень по-мужски, и Гюго сказал ей те же слова. Но она тут же посмотрела на него извиняющимся взглядом, опустила глаза.

Как трогательна была она в это мгновение! Огюста влекло к ней. Мысль об этой женщине возбуждала, чего с ним уже давно не бывало.

Когда она сказала: «Я живу на острове Сен-Луи, как раз за Нотр-Дам. Хотите, подвезу?» – он подумал, что она читает его мысли.

– Нет уж, давайте я отвезу вас домой, – ответил он и возликовал, заметив, что ее прелестное лицо вспыхнуло от удовольствия. Может быть, она только кокетничала, но он чувствовал, что вызывает в ней интерес. Красота – драгоценнейший дар, рассуждал ОН, красота оправдывает все и свершает чудеса. Художник более всего нуждается в красоте. Созерцать и создавать красоту – это и значит жить.

Огюст проводил Мадлен домой и понял, что ему удалось многого добиться, особенно когда они условились, что она будет позировать ему.

– Мы начнем через месяц, – сказал он. – Как только я разрешу все вопросы с Гамбеттой. Вы живете в этом доме? Я сумею вас здесь разыскать?

– Да. – В Огюсте упрямство удивительным образом сочеталось с застенчивостью. Но она знала, что сумеет

преодолеть и то и другое. – Как только вы будете свободны, мэтр Огюст.

Я свободен хоть сейчас, кричало его тело, но прежде всего надо найти мастерскую получше, и как можно скорее. Часто друзья говорили ему, что терпение у него бесконечное, но от него теперь не осталось и следа! Он сказал:

– Я буду лепить вас в полный рост, Евой или Данаидой, хочу, чтобы это было чем-то необыкновенным.

Она выразила свое удовольствие милой улыбкой, он попрощался и оставил ее у двери, зная, что обязательно вернется.

Глава XXV

1

В то воскресенье, когда Огюст обещал поехать с семьей на пикник, Гамбетта и Антонен Пруст пришли смотреть его работы. Он боялся, что на них произведет плохое впечатление бедность обстановки, но ни Антонен Пруст, у которого было много друзей-художников, ни Гамбетта, который сам был когда-то беден, не придали этому значения. Как всегда, элегантный, Антонен Пруст расхаживал по мастерской, разглядывая скульптуры с таким видом, словно находился в галерее Лувра, а Гамбетта уселся на стул – он был слишком толст, чтобы много двигаться, – и сосредоточенно изучал статуи.

Они, кажется, действительно заинтересованы, подумал Роден. Беспокойство понемногу улеглось. Он показал им все свои работы, даже еще не законченные. И сам при этом удивился, как много сделано, гораздо больше, чем он предполагал.

Пруста привел в восторг «Человек со сломанным носом». Ему открылся весь внутренний смысл произведения. Отчаяние, боль, разрушительные следы времени на этом лице. Пруст сказал:

– Непонятно, почему Салон это не принял.

– Они его приняли в 1875 году, а в первый раз отвергли в 1864. Но в 1875 он не произвел никакого впечатления, и я считаю, что вошел в Салон только с «Бронзовым веком».

– Впечатление такое, что вы лепили эту голову и думали о Микеланджело.

– Так и есть.

Антонен Пруст остался доволен. Гамбетте тоже понравился «Человек со сломанным носом», но он был больше взволнован жизненностью и выразительностью «Идущего человека». Огюст сказал:

– Это не закончено.

– В жизни многое остается незавершенным, – ответил Гамбетта. – Фигура исполнена силы. Удивительно, что ваш талант, Роден, до сих пор не получил признания.

Огюст был того же мнения, но что ему похвалы, пока они ничего не сделали для его признания. Он ждал, все еще полный недоверия.

Гамбетта повернулся к «Миньон» и «Беллоне» и спросил:

– Они вылеплены с одной натуры?

– Да.

– Привлекательное лицо, сильное, интересное. Парижанка?

– Нет, не парижанка, мосье Гамбетта. – Ваша жена?

– Нет.

– Извините.

– Какое это имеет значение? – с вызовом спросил Огюст.

Гамбетта улыбнулся.

Конечно, никакого. Просто это такие прекрасные портреты, что любопытно было бы посмотреть на натуру. Огюст пропустил намек мимо ушей. Он промолчал.

– Я ведь тоже парижанин, Роден. И тоже из бедной семьи. Некоторые считают это моим основным достоинством как политического деятеля.

– Но для молодели это не главное, – сказал Огюст, – Я сочту за честь если вы примете от меня бюст в подарок.

– Нет, ни в коем случае, – сказал Гамбетта.

И, заметив огорчение на лице Огюста, вдруг добавил: – Для меня было бы честью, но это невозможно.

– Вам, наверное, просто не нравятся бюсты, – недоверчиво сказал Огюст.

– Нет нравятся. Я мечтал бы иметь что-нибудь из ваших произведений. Ведь я, Роден, из тех честолюбивых молодых провинциалов, которые ежегодно наводняют Париж в погоне за славой и счастьем. Из тех, кого так прекрасно описали Флобер, Золя и Бальзак. Легкомысленный, не всегда вызывающий симпатию, но идеалист-мечтатель, вечно чего-то жаждущий. Я обитал в Латинском квартале и разгуливал по улицам с видом завоевателя. Был адвокатом, но собирался также стать и художником, как большинство моих друзей. А теперь мне вменяется в обязанность нравиться всем, что столь же гибельно для меня, как и для художника, и само по себе явно невозможно. Теперь, когда я пытаюсь быть мэтром в государственных делах, даже моя комплекция становится предметом полемики. Если я еще потолстею, я завоюю симпатии буржуазии, похудею-рабочих. Многие порицают меня за то, что у меня растет живот, – скандал; но особенно меня поносят за это роялисты, а они-то и жрут больше всех. За каждым моим шагом внимательно следят. Прими я от вас подарок– это истолкуют превратно, и вам не видать тех заказов, которые вы могли бы получить с моей помощью.

– Очень жаль, – сказал Огюст.

– Но хуже будет, если это лишит вас заказов, которых вы заслуживаете.

Тем временем Пруст изучал «Иоанна Крестителя» и «Бронзовый век» со всех ракурсов. Он сказал:

– Вы поставили их очень удачно. «Иоанн» выглядит здесь

особенно монументально.

Фигура «Иоанна Крестителя» стояла поодаль на фоне меньших статуй, от чего казалась больше, чем на самом деле, и еще величавее. Пруст восхитился, обращаясь к Гамбетте:

– Посмотрите, Леон, сбоку он прямо великолепен. Идите-ка сюда, вам нужно взглянуть на «Иоанна» отсюда. Отсюда он выглядит совершенным.

Гамбетта с трудом поднялся и присоединился к Прусту. Гипсовая статуя Иоанна Крестителя возвышалась над ними, как непоколебимый утес. И этот его великолепный шаг, энергичный, удивительный и так верно схваченный. Шаг первооткрывателя и освободителя. «Иоанн» будет прекрасной парковой скульптурой», – подумал Гамбетта. И, отрезая себе все пути назад, поспешил сказать:

– Роден, вы получите заказы на «Иоанна» и «Бронзовый век» для Люксембургского сада.

– Я буду вам очень признателен, – обрадовался Огюст.

– Подождите благодарить, посмотрим еще, какую вам предложат цену. Может, и не за что будет благодарить. Никто столь неохотно не тратит деньги на другого, как француз.

– А сколько мне заплатят?

– Помощник Пруста Турке уточнит с вами подробности.

– А как насчет размещения статуй? Вы видите, как это важно.

– Я понимаю, но это уже решит министерство. Огюст с горечью сказал:

– Скульптора редко спрашивают, как разместить его статуи, а его мнение должно быть решающим. А потом его же и обвиняют. Но ведь именно он – самый суровый критик своих произведений.

Гамбетта вздохнул.

– Все это мне известно, но нельзя забывать и о существовании бюрократических преград.

Огюст не сдержал раздражения:

– А я думал, что Школа изящных искусств, Салон и Институт теперь не подвластны Министерству изящных искусств.

– Мы пытаемся выйти из-под его влияния, – сказал Пруст. – Да не так-то просто. Многие люди не хотят лишиться своего влияния, которым дорожат.

– А как Гийом? – спросил Огюст.

Пруст, ожидавший этого вопроса, не задумываясь, ответил:

– Гийом не будет вмешиваться в размещение статуй, так же как и в вопрос о покупке. Относительно размещения советоваться будут с вами.

– Можете в этом не сомневаться, – сказал Гамбетта, впервые за все время показывая раздражение. – У нас было достаточно

трудностей с покупкой ваших статуй, недоставало еще споров, где их ставить.

– А где их поставят? – настаивал Огюст.

– Вероятно, в Люксембургском саду, – сказал Пруст. – Вы ведь не рассчитывали на Лувр?

– Нет, – сказал Огюст. – Но я думал, со мной посоветуются, хотя бы о цене.

– Так оно и будет, – нетерпеливо сказал Гамбетта. – Кто определит истинную цену произведения искусства? Заплатим, сколько сможем.

С минуту казалось, что Огюст отвергает это предложение. Тишина в мастерской становилась гнетущей.

Гамбетта вспыхнул. Стоило ему направиться к двери – и сделке конец. Он был уверен, что Роден, как он ни нуждался и как ни мечтал об этой продаже, не бросится его догонять. Их взгляды встретились: непоколебимый Гамбетты и суровый Родена. А потом сановник слегка улыбнулся, скульптор тоже, словно каждый остался доволен проявленной силой воли.

Гамбетта спросил:

– Роден, вы уже подумали о дверях для нашего нового Музея декоративных искусств?

Огюст с обидой подумал: стоило ли, вы ведь не обещали ничего определенного, но я думал – и на прогулке, и ложась спать, и за работой, и за едой. Я перечитал Данте и Бодлера, Гюго и Бальзака, и взгляды на человечество Данте и Бодлера мне ближе всего. Но об этом пока молчок.

– Ну, – нетерпеливо повторил Гамбетта. – Думали?

– Да. Немного.

– И что же?

– По силе и размаху они не должны уступать тем великолепным дверям, которые Лоренцо Гиберти сделал для флорентийского баптистерия.

Гамбетта нахмурился, он был недоволен. Огюст с чувством добавил:

– Микеланджело сказал: эти двери столь прекрасны, что украсили бы вход в рай.

– Я разделяю всеобщее восхищение Микеланджело, – сказал Гамбетта. – Ведь мои родители были итальянцами. Но мы не хотим останавливаться на религиозном сюжете. Я и так лишился друзей, настаивая на отделении церкви от государства. Выскажись я теперь за монументальную скульптуру на религиозную тему, потеряю и остальных.

– Другими словами, вы не хотите райских врат?

– А кто о них заботится? Разве мы, представители Третьей

республики, действительно отдаем все свои силы на благо человека? Укрепляем братство людей? Защищаем права человека? К чему мы ближе – к аду или к раю, Роден?

– К аду, – мрачно, с расстановкой произнес Роден.

– Но это не библейский ад, – сказал Гамбетта, – это ад нашего собственного изобретения. Мы все еще страдаем от разложения и упадка, унаследованных от Второй империи. Мы, граждане Третьей республики, пребываем в бессилии и не разделаемся с ним, пока не вернем себе Эльзас и Лотарингию. Эту нашу via dolorosa[69].

– Наш позор и наш крест, – добавил Огюст.

– Вот именно, – сказал Гамбетта, взволнованный собственной речью. – Ничего удивительного, что нас одолевают сомнения, мы пережили трагические времена. Они останутся в истории как времена неуверенности и колебаний во всем. Речь идет не о победе добра над злом, а о выборе меньшего из двух зол. Религия ставится под сомнение, политика – удел циников, наука не смогла указать нам средства спасения от всех бед. Неужели человек потерпел поражение?

Пруст помрачнел, и Огюст тоже не знал, что сказать. Неожиданный пессимизм Гамбетты потряс его, однако он не мог отрицать справедливости его слов.

Гамбетта с усмешкой продолжал:

– Республика пятится назад. Мы живем в республике, созданной роялистами, которые негодуют, что мы, республиканцы, пытаемся ею управлять. Это плохая республика, где отдают предпочтение имперским традициям, и теперь, когда они отошли в прошлое, их начинают превозносить. Каждый француз-патриот верит, что Наполеон не потерпел поражения, а что Наполеона предали. Мы греемся в лучах наполеоновских побед и забываем о его поражениях. Мы хотели бы обладать его необъятной империей, но в нашей истории было несколько кровопролитных революций, низвергавших наши собственные империи. Мы провозглашаем все добродетели, а на деле предаемся почти всем грехам.

– И вы хотите создать двери, которые бы отразили эти грехи? – спросил Огюст.

– Которые отразили бы наши собственные грехи, – убежденно сказал Гамбетта. – Нашу похоть, нашу суетность, все семь смертных грехов. Вы читали Бодлера?

– Много раз.

– Думали ли вы когда-нибудь о скульптуре по мотивам Бодлера?

– Да.

– А о Данте?

– Я предпочитаю сюжеты Данте, хотя согласен со многим, что написал Бодлер, – сказал Огюст. – Дантовский ад всегда конкретен, нагляден. Но эти сюжеты использовали многие. Иллюстрации к «Божественной комедии» стали избитой темой в искусстве.

– Но если вы сделаете двери, которые воплотят нашу vallee de la misere[70], – Гамбетта пустил в ход все свое красноречие, – это может стать очень волнующим и очень значительным произведением.

– Двери, напоминающие о дне Страшного суда, – проговорил Огюст. – Огромные двери, изображающие возмездие ада, муки и терзания, человеческое отчаяние и горе. В этом может быть сила и красота, одновременно земная и вселяющая ужас.

Гамбетта задумчиво произнес:

– Вход для проклятых богом.

– Да-да, тут вы правы, мосье Гамбетта, – сказал Огюст, все больше загораясь грандиозностью и мощью замысла. – Мир наш полон смятения и непостоянства.

Многие из нас терзаются беспокойством, бредут ощупью, верят в ад, любой ад – Данте, Бодлера, свой собственный. Поистине в жизни ведь столько отчаяния и боли, и нечистая совесть мучает людей, хотя многие и пытаются это скрыть. Гамбетта сказал:

– У большинства людей есть вторая натура, свой скрытый мир, исполненный злобы, похоти, зависти – пороков, которые не всегда можно в себе подавить. Во времена испытаний эта их вторая натура обнажается. А наш век претерпел много таких испытаний.

Огюст вздохнул:

– Я знаю. Если не политических, то личных.

– Значит, вы согласны, Роден, что этот ад должен быть не библейским, а земным?

– Согласен.

– И если подобный замысел можно осуществить в монументальной скульптуре, это будет потрясать. Скажем, на дверях в новый Музей декоративного искусства?

– Это подойдет. В третьей песне «Ада» Данте рассказывает о том, как он подходит к вратам ада и затем входит в них.

– Отлично, отлично!

– Врата. Врата ада, – повторил Огюст, разъясняя себе идею.

– Врата, в которые мои враги желали бы, чтобы я вошел, – сказал Гамбетта. – Меня могут проклясть за эти врата так же, как проклинали за противодействие пруссакам.

Огюст, целиком захваченный этой идеей, не слушал. Он сказал, обращаясь больше к самому себе:

– Я вылеплю сотни фигур на этих вратах. Все они будут маленькие, чтобы меня не могли обвинить, будто я их сделал со слепков.

Гамбетта спросил погруженного в молчание Пруста:

– А ваше мнение?

– Врата, изображающие ад? Пляску смерти? Это великолепно! Но разве осуществишь такой замысел на дверях? – спросил Пруст.

– Можно, – ответил Огюст. – Микеланджело сделал это и даже больше этого в Сикстинской капелле.

– Это так, – сказал Пруст. – Но то были иные времена. Люди больше верили в реальность ада. – Он скептически покачал головой. – Врата ада в скульптурном изображении. Если удастся осуществить, это будет чудом.

Гамбетта сказал:

– Может, и удастся. Порой мне кажется, что единственное место, где перед человеком можно преклоняться и уважать его, – это мастерская художника. Если художник и не оптимистичен в своем искусстве, то он по крайней мере правдив. Роден, когда вы встретитесь с Турке, чтобы поговорить об «Иоанне» и «Бронзовом веке», поговорите с ним и о дверях на тему дантовской «Божественной комедии». Если сойдетесь в цене, можно будет добиться заказа. Верно, Пруст?

Пруст кивнул, хотя сомнения его не рассеялись.

Но в голове у Огюста уже родился замысел великолепных дверей, отражение его собственного представления об аде, и дантовское, и бодлеровское, а также и Гамбетты, и он знал, что безропотно согласится на любые условия, только бы осуществить идею.

Гамбетта сказал:

– Но прежде всего эти врата должны показать, как глубоко Мы озабочены судьбой французского народа как нации и судьбой человечества в целом.

«Все это верно, – думал Огюст, – но важнее всего, чтобы фигуры на вратах были даны в движении, в неистовстве чувств и страстей, и для этого искусство ваяния обладает наиболее выразительными средствами».

Уже у порога Гамбетта добавил:

– И вы получите государственную мастерскую, она предоставляется каждому, кто получает заказ от республики.

Огюст был потрясен.

– Как вас отблагодарить, мосье Гамбетта? Я мог бы сделать ваш бюст, попозируйте мне, когда вы свободны от заседаний в

Национальном собрании.

– Для меня это большая честь, но я очень занят, – ответил Гамбетта. – И у меня есть мой гравюрный портрет, который мне очень нравится. Сделанный прекрасным художником Легро. Мы вместе учились. Он непревзойденный гравер.

– Легро был бы счастлив это услышать. Он живет в Лондоне и считает, что Франция его забыла.

– Мосье Гамбетта, я не хочу соперничать с моим другом Легро. Но гравюра – одно, бюст – другое. И, за исключением Гюго, я никого больше не просил позировать мне.

– Я слышал о Гюго. Он сглупил. Возможно, когда я буду меньше занят, у меня найдется время. – Гамбетта окинул последним взглядом работы Огюста. – Буше, Малларме и Моне были правы. Ваши скульптуры исполнены силы и революционного духа.

– Революционного? – повторил удивленный Огюст.

– Несомненно, – Гамбетта усмехнулся. – Но держу пари, что вы и не знаете, кто вы – республиканец или роялист.

– Кто угодно, лишь бы это было на пользу Франции.

– Поистине с такими настроениями вы далеко зайдете. Но я рад видеть, что на скульптуру взгляды у вас твердые.

2

Дома все свидетельствовало о приближении бури. Уже одно присутствие тети Терезы означало, что Роза вне себя. Огюст нежно поцеловал тетю Терезу и заявил, что она прекрасно выглядит, хотя про себя подумал, что она страшно состарилась; а Роза, взволнованная и сердитая, тут же выложила ему свои обиды по поводу несостоявшегося пикника, его невнимания к ней, к маленькому Огюсту, к Папе и его постоянного отсутствия.

– Но у меня хорошие новости, – воскликнул он, раздраженный и в то же время ликующий. – Я продал две статуи, я получил заказ. Роза, как ты можешь сердиться? Не понимаю. Теперь будет сколько хочешь времени для воскресных пикников.

– Времени будет еще меньше, – сказала Роза, она это знала. – Теперь тебя не застанешь дома.

– Мне не надо будет так много работать. Я ухожу от Карре-Беллеза. Теперь я становлюсь настоящим скульптором, – Он схватил тетю Терезу и закружил ее в вальсе по комнате. Он танцевал неловко, а она была слишком стара, и они наступали друг другу на ноги, но тетя Тереза была захвачена его подъемом. Она никогда не видела Огюста таким веселым.

Тетя Тереза сказала:

– Роза, теперь дела пойдут лучше.

– Конечно, – сказал Огюст. – Я даже получу бесплатную мастерскую.

– Ну и что? Все, что выгадаешь на этом, пойдет на скульптуру, или снимешь еще одну мастерскую, – печально сказала Роза. – Дома тебя теперь и не увидишь.

– Сейчас я дома, – резко сказал он.

– Да. Но надолго ли?

– По воскресеньям я буду дома. Хватит с меня и будней.

Тетя Тереза одобрительно кивнула. И Роза, лишенная поддержки единственного друга, которому она доверяла, сказала:

– Будем надеяться, – и постаралась исправить положение. – Какие статуи ты продал?

– «Иоанна Крестителя» и «Бронзовый век». – Кому?

– Для Люксембургского сада. Но Гамбетта купил их сам.

– Гамбетта? Этот важный сановник? Которого ты встретил у мадам Шарпантье?

– Роза, я же говорил, что он собирается сегодня ко мне в мастерскую. – Огюст рассердился. Ну что она такая подозрительная?

Не отвечая, она заглянула в спальню и прошептала:

– Потише бы, Папе было плохо, только что уснул.

Огюст огорчился.

– Хотел рассказать ему о продаже. Он ведь затвердил, что я никогда не заработаю на жизнь скульптурой.

– А ты зарабатывал? – Теперь заработаю.

– Сколько тебе заплатят за обе скульптуры?

– Еще не решено, но, наверное, несколько тысяч.

– Им можно верить?

– Роза, что на тебя нашло? Это самый великий день в моей жизни, а ты все ворчишь.

Тетя Тереза сказала:

– Роза устала. Папа капризничал, маленького Огюста не дозовешься обедать, и она никогда не знает, вернешься ли ты домой. – Тетя Тереза с гордостью посмотрела на Огюста. – Значит, сам Гамбетта купил твои скульптуры? Скоро ты станешь знаменитым.

– Уже стал, – сказала Роза, решив вдруг, что тетя Тереза не должна одержать над ней верх. – Он им всегда был. Даже когда мы только встретились. Давно пора его признать. Когда он сделал «Миньон», «Вакханку» и я позировала ему. У него не было лучшей модели. Даже «Беллона» не уступит «Иоанну». Но он никогда не выставлял их. Он боится, стыдится меня.

– Роза! – перебила тетя Тереза. – Огюст не стыдится тебя!

– Он никогда никуда не берет меня с собой. Не выставляет скульптуры, для которых я позировала.

– Я показывал их Гамбетте. Ему очень понравились «Миньон» и «Беллона».

– А тебе не нравится.

– Я хотел подарить ему одну из них. И он бы принял подарок, не выгляди это как взятка за заказ. Я был очень польщен тем, что он обратил внимание на эти бюсты. И обязательно выставлю их при первой же возможности.

Роза была изумлена. Она уже не чувствовала себя такой хорошенькой, как прежде, но бюсты были все так же хороши. Она пробормотала;

– Прости. Я всегда знала, что тебя признают.

– А я благодарен тебе за помощь.

– Может быть, я глупа. Но я люблю тебя. И всегда любила.

– Ты у меня хорошая, и я это ценю.

– Не сердишься на меня, правда, Огюст? Меня так огорчает, когда ты сердишься.

– Сержусь? Милая Роза, это ведь счастливейший день в моей жизни! – Огюст заключил ее в объятия. – Надо устроить вечеринку, – сказал он, – и отпраздновать это счастливое событие. – И когда он засмеялся, она тоже засмеялась, радуясь его радости.

3

Но затем настроение его упало. Помощник Пруста Эдмон Турке предложил всего две тысячи двести франков за «Иоанна Крестителя» и две тысячи за «Бронзовый век». Он столько вложил труда в эти произведения, а эта сумма едва покрывала стоимость отливки их в бронзе. И у него не было уверенности, что с ним будут советоваться относительно установки статуй.

Турке, который был дружелюбен, даже не знал, поместят ли их в самом Люксембургском музее – почетном месте – или в саду.

Но Огюст не мог отказаться. Он согласился, хотя был убит.

– А государственная мастерская, – сообщил Турке, – будет предоставлена в том случае, если одобрят его эскизы дверей. Однако Турке был настроен благосклонно:

– Представьте эскизы как можно скорее, мосье Роден, и если проект обойдется не слишком дорого, то его примут.

– А сколько он будет стоить? – Огюст был смущен тем, что приходится об этом спрашивать.

– Все зависит от ваших эскизов. Но если обе ваши работы были оценены в четыре тысячи франков…

– Четыре тысячи двести, – перебил Огюст.

– Возьмем круглую цифру – четыре тысячи. Значит, десяти тысяч должно хватить.

– Но я собираюсь вылепить по крайней мере сотню фигур, а может, и больше.

– Десять тысяч – это большая сумма для дверей размером десять футов на четыре.

– Они должны быть больше. Если они будут такими, то никакого толка. Это вдвое меньше дверей Гиберти. Высота его двери по крайней мере восемнадцать футов и ширина двенадцать. И это лучшее, что было когда-либо создано.

– Вопрос о размере может быть решен позднее. Ваш замысел не вызывает возражений, мосье Роден. Но в министерстве считают; вы должны ясно дать понять, что сюжет ваших дверей будет основан на «Божественной комедии» целиком.

– Я согласился с тем, что это должен быть Данте, но я имел в виду только «Ад».

– Мы в министерстве не возражаем, но если вы включите также и «Рай», то больше шансов, что проект пройдет.

Огюст колебался.

– Как только получите заказ, можете приступать к работе над «Адом».

Огюст решил, что спорить некогда, надо приниматься за работу. В этом условии может таиться много подводных камней, но если Бальзак в основу своей «Человеческой комедии» положил «Божественную комедию», то почему он, Роден, не может сделать того же?

– Сюжет дверей будет основываться на «Божественной комедии», – сказал он. – Я укажу это при подписании соглашения.

Через несколько дней Огюст это сделал и получил деньги за две свои скульптуры. Такой суммы у него еще никогда не было. Он чувствовал себя богачом. Он немедленно ушел от Каррье-Беллеза и решил никогда больше ни на кого не работать, хотя и понимал, что сменил одного хозяина на другого[71].

И когда Каррье-Беллез спросил: «Не сделаете ли вы мой бюст?» – Огюст был удивлен. В Париже было много куда более известных скульпторов-портретистов, но, когда он о них упомянул, Каррье-Беллез не стал и слушать. И он, сам знаменитый скульптор, сказал:

– Если обо мне и останется память, то только благодаря бюсту, сделанному вами.

– Ведь Каррье-Беллез лепил даже самого Гюго, – напомнил ему Огюст, все еще не простивший Гюго. Но Каррье-Беллез отпарировал:

– Да, выдающееся произведение, на которое больше не смотрят. Я буду приходить к вам в мастерскую, Роден, в любое удобное для вас время.

Огюст понял, что теперь признан безоговорочно. Он сказал, что примется за бюст, как только выкроит время. Сказано было решительно, и на том покончили.

Праздновать свое освобождение было некогда – теперь он был занят больше прежнего. Каждое воскресенье он проводил с семьей; в будни не выходил из мастерской, подготавливая эскизы для министерства.

Прежде всего надо было наметить тему, без этого нельзя приниматься за архитектурные наброски. Целые дни напролет он изучал «Божественную комедию». Он купил дешевое издание поэмы Данте и не расставался с ним. И о чем бы ни думал, мысли его все время возвращались к «Аду». Неизменно тема «Ада» представлялась ему наиболее подходящей и значительной для задуманных дверей. Суд Данте над своим веком стал судом Огюста над своим. И чем больше он раздумывал над словами Гамбетты, тем больше соглашался с этим большим политиком. Смертные грехи реальны в жизни, и надо показать ту боль и то раскаяние, какие они с собой несут.

С печалью думал он о том, что мир не столь упорядочен, как человек себе представляет, не столь совершенен. Не красота и истина главенствуют в жизни человека, а смута, сомнения, грехи. Даже тело человеческое, столь прекрасное и одухотворенное в пору расцвета, разрушается раньше срока от любовных излишеств, честолюбивых стремлений и жадности. Любовь граничит с безумием, изнашивающим тело. А вожделение часто подобно пытке. И чем чувственнее тело, тем скорее оно увядает.

И теперь Огюст знал то, что начал понимать уже тогда, когда Гамбетта развил свою идею ада: он должен создать мир людей, осужденных на вечные муки.

С самого начала, с первых же заготовок слова Данте «Оставь надежду всяк сюда входящий» не давали ему ни минуты покоя. Всем людям, если они честны сами с собой, думал он, знакомо это чувство отчаяния, некоторые испытали его не раз. Не надо забывать об этом. Он должен выразить эту идею с помощью самого совершенного и самого сложного инструмента на свете: обнаженного человеческого тела.

Подгоняемый разыгравшимся воображением, Огюст дни и ночи работал над архитектурным планом дверей. Начал с подражания Гиберти, расчленил двери на восемь панелей, по четыре с каждой стороны, но вскоре понял, что это ошибка. Постепенно отдельные панели слились в одно огромное

скульптурное полотно. Высота двери выросла до двадцати футов, и ширину пришлось удвоить до восьми футов. Это был гигантский замысел, и были минуты, когда Огюст пугался его, но остановиться уже не мог. Дверь стала двустворчатой, а затем превратилась во врата. Название «Врата ада» стало неизбежным, а грандиозность заключенного в нем замысла обостряла работу ума, и теперь, когда рука скользила по бумаге, эскизы, казалось, рождались сами собой. Пока он не гнался за отделкой, вначале надо перенести все идеи на бумагу. Огюст творил со страстью, переходящей порой в экстаз.

Неделя проходила за неделей, и вот он представил эскизы Турке. Но тут его охватил страх. Министерство не одобрит его замысел – никогда ему не сделать «Врата», уложившись в десять тысяч франков и в сроки, которые ему предложены. Замысел слишком грандиозен, снова он взваливает на себя непосильное бремя; чтобы закончить двери, потребуется много лет.

Однако, когда в ближайшие дни Турке ничего не дал ему знать, он стал проклинать министерство. Они должны дать ему этот заказ. Томясь от ожидания, Огюст делал наброски и лепил множество торсов, деталей и голов. Мысль, что ему не придется работать над «Вратами», заставляла его чувствовать себя таким же проклятым, как те люди, которых он задумал лепить. Образы Уголино[72], Паоло и Франчески[73] стояли перед глазами неотступно.

4

История этой трагической любви напомнила ему о Мадлен. Но отправиться к ней было неловко. Он обещал зайти через две-три недели, а прошло уже несколько месяцев, и он был уверен, что она забыла его. Поэтому немало удивился, когда однажды, в солнечный день, Мадлен появилась в дверях его мастерской на улице Фурно, в квартале Вожирар. Огюст начал было оправдываться, но Мадлен прервала его. Она знала, что его отвлекла работа над «Вратами» и что, пока все не было улажено, он не мог думать ни о чем другом. Она все так понимала, что он просто ушам своим не поверил и решил, что это неспроста – верно, ей что-нибудь нужно. Однако это ничуть не уменьшало радости снова видеть ее. Мадлен сказала:

– Вы так и не предложите мне войти?

– Я думал позвать вас, когда получу новую мастерскую, – пробормотал он, все еще стоя у двери.

– Но вы ее не получите, пока не решат вопрос с заказом.

– Откуда вы знаете о заказе?

– Теперь вас все знают, Огюст. И много разговоров о том, как вы будете делать двери.

– Мне еще даже не дали заказа.

– Получите, ведь Гамбетта за вас. Раз Гамбетта вами заинтересовался, значит, все в порядке. Считают, что он прочит себя то ли в Наполеоны, то ли в Робеспьеры, особенно после того, как он увлекся этими «Вратами ада». Звучит изумительно.

– Но не так все просто, – мрачно сказал Огюст. – Не надо было соглашаться.

– Тогда откажитесь. Пока еще не поздно.

Он сердито уставился на нее: что она, дразнит? Или помучить захотела? Хватит с него мытарств и с этими вратами.

Он сказал:

– Когда получу новую мастерскую, я сделаю ваш бюст.

– Работая над вратами? – В глазах Мадлен было недоверие.

– Сделаю. Вот увидите. – Но так и не пригласил ее войти, а условился пообедать с ней в маленьком кафе на улице Риволи.

5

Буше, прослышав от встревоженного Пруста, что размеры «Врат ада» катастрофически растут, тоже посетил Огюста в мастерской. Он не церемонился, а на правах старого друга сразу перешел к делу; он был так же озабочен, как и Пруст, и предупредил:

– Вы становитесь несносным, как Микеланджело, у вас его размах. Вы никогда не завершите этот памятник[74]. Кончится тем, что он станет вашим надгробием.

– Я буду работать как каторжник.

– Но вы замыслили чуть не сотню фигур, – Они будут небольшими.

– Пусть так, но ведь вам потребовалось два года на «Бронзовый век» и «Иоанна».

– Тогда я еще учился.

– Вы сошли с ума. Вам не хватит и ста лет.

– Я обещал сделать «Врата» за три года.

– Невозможно. На одну только архитектурную работу уйдет три года.

– Знаю. Гиберти не хватило жизни, чтобы закончить «Райские двери». Но я справлюсь. И Гамбетта поддержит.

– Кто, Гамбетта?

– Пруст и Турке – тоже.

– Дорогой друг, этих троих объединяет только то, что они французы, а единственное, что объединяет всех французов, – это

то, что они никогда не сходятся во мнении. Иначе они не были бы французами. Сейчас Гамбетта – лев политических джунглей, и он по крайней мере не оглядывается вечно на восемнадцатый век и не поминает имя Наполеона, словно это имя всевышнего. Но через три года Гамбетта может оказаться не у власти, и в правительстве у вас не окажется ни единого друга.

– Меня поддержат, кто бы ни был у власти. «Вратам» будут поклоняться, как святыне.

Буше с сомнением посмотрел на Огюста и переменил тему:

– Сколько вы получите за работу? Хватит хотя бы, чтобы оплатить стоимость материала?

– Не знаю, я просил десять тысяч.

– Значит, дадут пять. Они всегда дают художнику половину того, что он просит, а художник, благодарный за все, что бы ему ни дали, просит половину того, что ему полагается за труды. Сколько бы вам ни дали, все равно будет мало.

Огюст упрямо сжал губы. Буше прав, десяти тысяч мало, и в три года с заказом не справиться. Но он сделает все, что в его силах, и им придется подождать.

– Роден, вы пожалеете, что взяли этот заказ.

– Я пожалею еще больше, если откажусь от него.

6

Однако Буше ошибся. 17 июля 1880 года, спустя три дня после того, как весь Париж впервые отмечал день Бастилии как национальный праздник, Турке сообщил Огюсту, что эскизы приняты и он получит восемь тысяч франков. При этом Турке все время повторял, что заказ этот чисто деловой, но одновременно является и большой честью.

Огюст испытывал неловкость. И все-таки чего было стесняться, почему не потребовать большую сумму, сердито подумал он, но промолчал. И закончил разговор словами:

– Сам господь бог не в состоянии определить стоимость «Врат ада», но я постараюсь сделать все, что смогу.

– Мы уверены в этом. Выдадим вам две тысячи семьсот франков, как только вы подпишете договор, а остальные по мере выполнения работы.

– Кто будет судить о степени выполнения? – Инспектор из Школы изящных искусств. Огюста обуял страх. Мысль оказаться во власти старых врагов привела его в ужас.

– Мосье Роден, вы закончите работу за три года?

– Как сумею. Постараюсь. – Страх вдруг прошел. Огюст злился. Турке беспокоится, что он не хочет назначить точного

срока окончания работы, а в фундамент самого здания музея еще ни кирпича не положено.

– Три года? Не больше? Обещайте!

– Обещаю сделать все от меня зависящее. Господи, чего им еще!

Спустя несколько недель заказ на «Врата ада» был оформлен официально и подписано следующее соглашение:

«Мосье Родену, скульптору, за сумму в восемь тысяч франков поручается выполнить скульптурную композицию дверей, предназначенных для Музея декоративных искусств: барельефные изображения на тему „Божественной комедии“ Данте».

Через два месяца Огюст получил первую выплату, но бесплатную мастерскую на Университетской улице ему предоставили сразу же, просторную, светлую, расположенную в хорошем месте, о такой он всегда и мечтал. Кроме того, он снял вторую мастерскую на бульваре Вожирар, тоже большую и светлую, подальше от первой, чтобы кто не вздумал посетить обе подряд. И под ссуду за «Врата» снял третью мастерскую, неподалеку от улицы Данте, на значительном расстоянии от первых двух, в том районе, который больше всего любил, где вырос, и вблизи острова Сен-Луи.

Без всякого сожаления он покинул старую мастерскую и с треском захлопнул за собой дверь. Сознание, что у него теперь три мастерские, доставляло ему радость. В одной он будет работать над «Вратами ада», в другой – над своими вещами, а о третьей не должен знать никто.

Глава XXVI

1

Теперь Огюст работал в трех мастерских. Большую часть времени он проводил в главной, на Университетской улице, где трудился над «Вратами ада». Во второй мастерской лепил бюсты Каррье-Беллеза, Антонена Пруста и своего старого друга Далу, который, в свою очередь, лепил голову Родена. Розу удивляло его неожиданное увлечение этими бюстами, но он отказывался объяснять причину. В третьей мастерской работал над бюстом Мадлен, который он делал в классической манере.

Они стали любовниками – это было естественно и неизбежно, но Огюст слегка разочаровался. Он ожидал порыва чувств, но, хотя ее тело оказалось именно таким прекрасным, как он думал, страсть ее была довольно рассудочной. И все же когда он приходил домой, Роза казалась ему подурневшей и непривлекательной. Он отстранялся от нее, ссылался на усталость. Тогда Роза взяла привычку заглядывать в обе мастерские, о которых знала, пока он не запретил ей этого, заявив, что она мешает работать. Роза была глубоко обижена, но Огюст остался непреклонен.

Роза сказала, что экономит по-прежнему – ни одного су, ни одного франка не тратит зря. Вот, к примеру, сегодня купила всего одно яйцо в соседней молочной, выбрала самое большое для маленького Огюста, хотя мальчик уже больше не маленький и часто отказывается есть яйца. Только по воскресным дням покупала она яйца для Огюста, Папы и для себя. И хотя они теперь три раза в неделю ели мясо, Роза готова была экономить и на мясе.

– Вот поэтому и нечего ходить в мастерскую, – ответил Огюст. – У тебя и дома дел хватает, милая Роза. – И чем больше он проводил времени с Мадлен, тем внимательней относился к Розе. Он – ее опора, а двойную жизнь, которую он ведет, ей придется принимать как нечто естественное и неизбежное, но нужно помалкивать – зачем ее расстраивать?

2

Чем больше Огюст работал в мастерской на Университетской улице, тем больше она ему нравилась: лучшего местоположения нечего и желать. Мастерская находилась совсем рядом с его

любимой Сеной, поблизости от широких просторов Марсова поля, до нее легко было добраться из любой части Парижа, но что важнее всего – в ней он обрел уединение и покой. Это был один из наименее людных районов города. Позади мастерской находился громадный двор и прекрасный сад с двумя рядами величавых каштанов.

Все тут дышало жизнью, вдохновляло: яркие небеса, тучная земля, камни, окаймляющие сад. Он чувствовал себя как в деревне, где так легко дышится на просторе. Устав, он стремился на лоно природы, чтобы освежиться.

Однако почти все время Огюст проводил в работе. Главная мастерская постепенно заполнялась глиняными, терракотовыми и гипсовыми рабочими моделями «Врат». Сотни деталей и фрагментов наводнили огромную светлую комнату. Тут были и эскизы «Врат» в миниатюре, уменьшенные в три раза, и взятые в натуральную величину; множество отдельных мелких деталей – ног, рук, торсов, голов; небольшие, вчерне сделанные фигуры, бесконечное количество проб, импровизаций, начатых и недоконченных вещей. Он делал и переделывал архитектурную композицию фасада, лепил множество пробных фигур для «Ада», но чувство неудовлетворенности не оставляло его.

Он тратил бесконечно много времени на отдельные фигуры. Пеппино, Сантони и Лиза, подруга Пеппино, итальянка с необыкновенным телом, служили моделями. В особенности его вдохновляла Лиза. Ее фигура была полна соблазна – вызывающая, влекущая. Он взял ее моделью для «Евы», и она позировала естественно и непринужденно.

С Пеппино не так везло. Он хотел, чтобы Пеппино позировал для обнаженной фигуры Адама, которая вместе с «Евой» предназначалась венчать «Врата». Но после «Иоанна Крестителя» Пеппино стал известным натурщиком, на него был большой спрос, и он часто опаздывал или не приходил вовсе. Огюст обнаружил, что итальянец более надежен, если не давать ему денег вперед. А когда Огюст нанял для «Адама» нового натурщика – француза, Пеппино обиделся.

Пеппино счел, что маэстро очень к нему несправедлив. Итальянец стал приходить аккуратно, но Огюст продолжал работать с новым натурщиком – силачом Жубером. Жубер не обладал живостью и грацией Пеппино, но его мощные, чрезмерно развитые мускулы поражали своей грубой силой. Именно то, что Огюсту и нужно было для «Адама».

И только когда Пеппино с Лизой понадобились Огюсту для фигур Паоло и Франчески – Сантони он использовал для второстепенных фигур, – Пеппино перестал на него дуться. В

присутствии Жубера итальянец делался покладистым и послушно позировал вместе с Лизой.

3

Прошли месяцы, и рабочая модель «Врат» постепенно обрела очертания и форму; Огюст мог перейти к деталям. Он с удивлением обнаружил, что о «Вратах» только и говорят. А когда до него дошло, что злые языки распространяют слух, будто он никогда не закончит эту работу, будто она даже не начата, он решил показать сделанное.

Суббота стала традиционным днем для всех, кто желал посмотреть на «Врата». Для знатоков искусства это сделалось своего рода ритуалом, одним из самых популярных времяпрепровождений. Буше видел, как увеличивается число фигур, теперь уже перешагнувшее– Буше подсчитал – за сотню, и сказал:

– Роден не может устоять перед обнаженным телом так же, как не может отказаться от глины. Он никогда не закончит, но «Врата» – это поистине великолепно. Они будут вызывать благоговейный ужас.

Гамбетта считал, что композиция становится все более выразительной и с такой силой показывает распад и разложение, царящие в жизни, что не мог не поздравить Огюста. Пруст теперь был настроен более оптимистично, но все еще беспокоился о сроках. Малларме считал, что «Врата» чересчур «легкомысленны». Ренуара забавляла та тщательность, с какой работал Роден, – разве это когда-нибудь оценится? Даже Дега заглянул в мастерскую в одну из суббот, но не сказал ни слова. Сначала Огюсту показалось, что Дега готов посмеяться, но потом успокоился: хорошо еще, что Дега воздержался от своих язвительных замечаний.

Но больше всего Огюста интересовало мнение Ле-кока. Вот кто будет совершенно искренним. Он пригласил Лекока. Помимо Гамбетты, это был единственный человек, которого он пригласил сам. И вот однажды, в солнечный субботний день, старый учитель, прихрамывая, вошел в мастерскую. Лекок тяжело болел, сильно исхудал, но глаза, как всегда, оживленно блестели. Увидев рабочую модель «Врат», он проворно подошел к ней.

– Как я себя чувствую? – повторил он вопрос Огюста. – Вернулся к преподаванию. Открыл собственную школу. На набережной Августинцев.

– Я думал, вы устали от преподавания.

– Еще больше я устал от скуки. О да, знаю, я слишком стар.

Все мои друзья так говорят, Мне семьдесят восемь, я одного возраста с Гюго.

– Вам столько не дашь.

– Еще как дашь. Вы никогда не умели обманывать, Роден. – Он повернулся к «Вратам» и воскликнул:– Так это и есть «Врата», о которых говорит весь Париж?

Лекок настроен критически, подумал Огюст. Он приготовился к удару, сердце учащенно билось. Он сказал:

– Да. Что вы о них думаете?

– Черт возьми, ответить нелегко.

– Это будет наружная дверь. В виде фрески.

– Знаю. – Лекок внимательно изучал работу. – Композиция хороша.

– Я работаю медленно, слишком медленно.

– Это понятно. Ведь эти фигуры никак не персонажи из комической оперы.

Огюст, чувствуя, что человек, чьим мнением он дорожил больше всего, понимает его, воскликнул:

– Неужели такая работа всегда столь тяжела?

– Чем грандиознее замысел, тем больше требуется усилий для его осуществления. А вы решили вывернуть душу каждого из нас наизнанку.

– Это будет моим провалом, – сказал Огюст, охваченный внезапным неверием.

– Возможно, – более веселым тоном отозвался Лекок. – Но подумайте только о всех тех фигурах, которые вы лепите для этих дверей.

– Я вас не понимаю.

– Роден, ваши двери – это целая скульптурная лаборатория. Посмотрите, сколько они породили у вас идей. Этот «Адам», эта «Ева» и, конечно, Паоло и Франческа уже сами по себе прекрасны как отдельные произведения. Даже если вы не закончите свои двери, у вас будет замечательная галерея портретов, которая оправдает все усилия.

– Спасибо, мэтр, – смиренно сказал Огюст.

– Мне больше нравится, когда вы не так покорны.

– Да нет, я и не собираюсь покоряться!

– Буше говорит, что с людьми вы чаще всего ведете себя, как капризный ребенок.

– Буше преувеличивает. Он слишком придирчив. Он боится, что из-за своего поведения я могу лишиться возможностей, которые он мне предоставляет. Но я так высоко ценю ваше мнение…

Лекок прервал его:

– Если вы когда-нибудь решите сделать «Еву» меньше, чем в человеческий рост, я буду рад ее купить.

– У меня? – Огюст был удивлен.

– Иметь подлинник Родена – великое счастье. – Лекок вздохнул. – Такое событие придется отметить бутылкой шампанского.

– Я не могу брать с вас деньги.

– Вы должны брать деньги с кого угодно. Иначе вы просто идиот. Но я хотел бы купить «Еву», пока мне это по карману.

– Вы ее получите, – сказал Огюст, обретя уверенность. – Я сделаю «Еву» размером в половину человеческого роста, как только выкрою время.

4

Но когда люди с деньгами предлагали Огюсту частные заказы, он отказывался. У него еще кое-что оставалось от двух тысяч семисот франков, и одобрение Лекока подействовало на него вдохновляюще. Даже имея дело с таким ненадежным заказчиком, как государство, он все же верил, что скоро получит следующую ссуду. Каррье-Беллез и Антонен Пруст настойчиво предлагали ему деньги за свои бюсты, но Огюст не знал, какую назначить цену, ведь он сделал их в знак дружбы. В конец концов он принял от Каррье-Беллеза и Антонена Пруста пятьсот франков, чтобы оплатить стоимость материала, так как оба бюста были отлиты в бронзе.

Затем Буше, не скрывая гордости, привел к Огюсту богатого англичанина Скотта Хэллема, который выразил желание купить «Беллону» в бронзе. Огюст начал было отказываться, но Буше сразу обиделся, и Роза, наверное, тоже расстроится, подумал Огюст, и согласился. Нехотя он принялся за патинирование копии.

Когда он закончил, результат не удовлетворил его. Он переделывал работу еще два раза. Буше, который чувствовал себя в ответе, считал, что нет нужды в третьей переделке. Буше сказал:

– Вы всегда недовольны.

И когда Огюст запросил цену выше, чем было условлено вначале, англичанин воскликнул: – Значит, ваше слово ничего не стоит? Огюст резко ответил:

– Дело не в стоимости моего слова, а в стоимости моей скульптуры.

Тысяча двести франков за «Беллону» пошли на покрытие возросшей стоимости «Врат ада». Вдобавок Буше захотел приобрести копию «Человека со сломанным носом». Буше

скрывал, зачем ему понадобился этот бюст, и рассердил Огюста, но Огюст дал своему другу копию, взяв с него лишь стоимость отливки в бронзе.

Куда приятнее было обменяться бюстами с Далу[75].

Работа над бюстом Мадлен беспокоила его больше всего. Он не мог заставить себя закончить бюст, ему казалось, что тут же кончатся и их отношения. И голова его не удовлетворяла. У Мадлен была чарующая улыбка, а в глине получалась какая-то глупая усмешка. Да и с самой Мадлен ему становилось все труднее.

Мадлен вполне серьезно спрашивала его:

– Когда ты выставишь эту работу, Огюст? Она появится в Салоне?

Он коротко ответил:

– Для Салона уже поздно.

– Сара Бернар выставила свою работу.

– А я не собираюсь.

– Ты работаешь уже почти год. – Почти.

– Бернар уходит из «Комеди Франсэз». Это уже официально известно, и портрет твоей работы в Салоне может помочь мне получить главные классические роли.

– Мне казалось, ты предпочитаешь Сарду.

– Это режиссеры предпочитают давать мне такие роли. Но в «Комеди Франсэз» я могла бы играть в пьесах Расина, Корнеля, Гюго.

– Почему бы тебе не поговорить с Гюго? Мадлен с упреком посмотрела на него.

– Ты ведь знаешь, чем это кончится. И Гюго такой старый.

– Я старше тебя почти в два раза.

– Но у тебя ни морщинки. А он просто старый козел.

– Морщины Гюго будут прекрасно выглядеть в бронзе. – Он разочарованно посмотрел на бюст и вдруг уменьшил надбровье.

– Ну вот, – нетерпеливо сказала она. – Ты тратишь часы, меняя детали в моем лице, а потом дни, чтобы снова все переделать.

– Выражение твоего лица все время меняется.

– Огюст, ты сам себе противоречишь.

– Я сделаю тебя в мраморе. Это будет мой первый бюст в мраморе.

– Как те, что ты делал для Каррье-Беллеза? Я слышала, твои лучшие работы сделаны для него.

– И худшие тоже, – пробормотал он.

Через несколько недель он решил, что можно переводить в мрамор. И когда это было сделано, бюст был установлен на

колонне в римском стиле, чего потребовала Мадлен. Ему бюст не нравился, а она осталась довольна. Мадлен сказала:

– Он выглядит таким строго классическим.

– В том-то и беда, – ответил Огюст.

Он начал работать резцом, стараясь передать выражение глаз Мадлен. «Мрамор изменил выражение ее лица, – думал он, – сделал слишком жестким, неестественным, в то время как в жизни оно такое чувственное и прекрасное».

Следующую неделю он работал не покладая рук. А бюст был все так же далек от завершения, с возмущением думала Мадлен, она успеет состариться, пока он закончит. Мрамор был такой гладкий, а теперь он делает его шероховатым и заостряет скулы. Поистине, решила она про себя, Огюст становится невыносимым.

5

Раздражение Мадлен вдруг вызвало у него острое желание повидаться с кем-нибудь из друзей-художников. Он навестил Моне в его доме и студии в Ветейле, в нескольких милях от Парижа, на берегу Сены, и сразу же подумал, что зря. Сильно состарившийся художник был очень растроган и рад встрече, но появление Огюста, казалось, усугубило его мрачное настроение.

– Хотя мои картины завоевали успех, – сказал Моне, – душа рвется на части. Появились покупатели, меня принял Салон, а я убит горем. Ты скажешь, что моя жизнь – в искусстве, как говорят все друзья. И, конечно, это так, но без Камиллы я не нахожу себе места. Я твержу себе, что я отец, и это должно. помочь мне в горе, а не помогает. Я мечтал о домашнем очаге, семье, любви, и Камилла дала мне все. И так просто, никогда не единой жалобы, как бы бедны мы ни были, а мы всегда были бедны. Когда она умерла, я заложил в ломбард все до последнего, чтобы заплатить врачу. Теперь она спит вечным сном, а мне говорят, что мое спасение в том, чтобы писать. Но я даже не знаю, что писать.

Огюст был в растерянности, горе Моне потрясло его.

Когда пришло время прощаться, Моне попросил Огюста еще раз навестить его.

– Я знаю, тебе это нелегко, Роден, со мной невесело, но твой приход помог мне. Излил тебе душу, И стало как-то легче. Я словно ожил. Приходи еще, прошу тебя. Придешь?

– Да.

Моне облегченно вздохнул и сказал:

– Я слышал, ты пошел в гору, от женщин отбоя нет, о тебе говорят.

– Да, это так.

Огюст, которого сначала обидело отсутствие у Моне интереса к его работам, теперь был рад, что сам не заговорил о них.

6

Огюст с новым подъемом вернулся к работе над «Вратами» – несчастье Моне открыло ему еще одну сторону человеческих страданий. Но работа засасывала словно трясина. Вот уже год он трудится на «Вратами», и, казалось, чем больше над ними работаешь, тем дальше они от завершения. Стоило закончить какую-нибудь деталь, как возникала необходимость в другой. Чем больше он создавал фигур, тем больше их требовалось.

Он устал и был рад, когда старый друг Легро, поселившийся в Лондоне, пригласил его к себе. Он тут же принял приглашение.

Легро сообщил, что «Беллона», которую он продал Скотту Хэллему, и «Человек со сломанным носом», подаренный Буше, будут выставлены в галерее Грос-венор в Лондоне и что Роден приглашен на открытие выставки в качестве почетного гостя.

Лондон показался Огюсту мрачным городом, но ему понравились его прочные здания, обилие камня, многочисленные образцы готической архитектуры. Он немедленно отправился в Британский музей, горя желанием увидеть эллинские мраморы.

Его пленили гравюры Легро. Легро, завоевавший репутацию прекрасного гравера, несколько дней знакомил Огюста с искусством гравирования сухой иглой. Огюсту очень понравился этот процесс: в лучших образцах изображение получалось ясным, выразительным и точным. Напоминало резьбу по камню, но рисунок более изощренный, утонченный, нежный, Огюст быстро овладел этим искусством.

Наибольшее внимание на открытии выставки привлекли две скульптуры Родена, хотя экспонировалось еще двадцать произведений других авторов. Огюст узнал, что «Беллона» была продана за две тысячи четыреста франков – вдвое больше, чем он за нее получил. Значит, его работы уже приносят прибыль – эта мысль его поразила, Он понимал, что следует возмутиться, но печальный пример Моне напоминал, как опасно впадать в бесплодную жалость к себе. «Человек со сломанным носом» – его выставил Буше – не был предназначен для продажи. Он понял: Буше выставил скульптуру, чтобы его, Огюста, произведения стали известны в Англии.

По английскому обычаю, выставка закончилась чаем. Огюст был представлен нескольким писателям, желавшим с ним познакомиться. Он почувствовал себя свободнее, робость прошла. Он, правда, предпочел бы выпить вина, и Легро, пригласивший

писателей, извинился перед ним за чай, но теплота, с какой его принимали писатели, искупала все.

Вильям Эрнест Хэнли – живой, энергичный рыжебородый, как Огюст, большеголовый и с резкими чертами лица; Роберт Льюис Стивенсон – очень болезненный и бледный; Роберт Браунинг – пожилой, с утонченными манерами[76]. Они говорили, что им понравились его скульптуры. Но Огюст был не во всем согласен с их суждениями.

Браунинг рассуждал о сходстве его скульптур с классической античностью; Стивенсон был очарован их поэтичностью, но больше всего Огюста тронуло восторженное отношение Хэнли. Хэнли был взволнован жизненностью и выразительностью бюстов.

«В какой-то степени, – подумал Огюст, – это характерно и для произведений самого писателя».

Хэнли, у которого была ампутирована нога, два года пролежавший в больнице с костным туберкулезом, часто смеялся, любил крепкое словцо и все приглашал Огюста прогуляться по Сент-Джеймскому парку – сегодня, в первый ясный день, выдавшийся в Лондоне за много недель, парк благоухал. Легро, выполнив свой долг, расстался с ними у дверей галереи, а Стивенсон и Браунинг последовали за Хэнли и французским гостем.

Хэнли заявил:

– Роден, вы похожи на пирата. Мне это нравится.

– Это верно, – сказал Браунинг.

Стивенсон кивнул в знак согласия. А Хэнли и Огюст понимающе улыбнулись друг другу, словно члены тайной секты. Браунинг хмурился, казалось, он был недоволен тем, что остался в стороне, а мысли Стивенсона витали где-то – он любовался природой. Хэнли, хотя и сильно хромал, упрямо не хотел показывать усталость и тянул их все дальше и дальше. Стивенсон и Браунинг извинились и распрощались, а Хэнли привел Огюста к Парламентской площади, показал ему здание Парламента и Вестминстерское аббатство.

– Палате общин всего около тридцати лет, – объяснял Хэнли, – но аббатство даже старше, чем Нотр-Дам.

Огюст одобрительно кивнул; здания произвели на него глубокое впечатление.

– Я считаю эти здания жемчужинами английского искусства.

Огюст согласился. А когда обнаружилось, что оба они одинаково восхищаются готической архитектурой, то поняли, что их первое впечатление оказалось правильным – вкусы их совпадали. Они подружились и дали слово писать друг другу и повидаться при первой возможности.

Турке пришел посмотреть на «Врата ада». Он был вежлив, но это не предвещало ничего хорошего. Пожимая плечами, помощник министра говорил:

– Меня очень огорчает, мосье Роден, вы так много уже сделали, но Адам и Ева на верхушке – не то, о чем мы договаривались. Это не Данте.

Огюст заспорил было, но Турке учтивым тоном сказал:

– Мы удовлетворены качеством работы. – И уже более твердо напомнил ему, что в их соглашении обусловлено придерживаться темы «Божественной комедии».

– Мой дорогой мэтр, – добавил Турке, – мы полностью полагаемся на ваш вкус, высоко ценим его, но Адам и Ева здесь неуместны.

– Почему?

– Просто мы предпочитаем держаться подальше от религии. Это слишком по-библейски… – Турке замолчал, сообразив, что разумнее не договаривать.

– Вы не узнаете в них нас самих? – Нас самих?

– Мы ведь потомки Адама и Евы.

– Возможно. Но я предпочел бы оставить этот вопрос теологам. Так вот, если вы сможете поставить вверху «Врат» Данте…

Огюст сказал кратко:

– Я сделаю все, как надо.

Турке заговорил о Делакруа и Энгре:

– Оба они большие художники, гордость французского искусства. Взгляды их резко расходились: один выступал за новое в искусстве, другой – за воскрешение старых традиций. Но, в сущности, оба ратовали за одно и то же.

Турке улыбнулся с видом заговорщика, и Огюст понял, что наткнулся на каменную стену и спорить бесполезно. Помощник министра был неумолим, и от вежливости его становилось не по себе.

– «Врата» не должны утратить духа произведения Данте, его силы, поэтичности. Мы в министерстве будем глубоко разочарованы, если вы лишитесь заказа и…

– Возвратите деньги, – добавил Огюст.

– Как раз этого нам хотелось бы избежать. – Взгляд Турке выражал сожаление.

– Когда я получу следующую сумму?

– Вы готовы принять инспектора из Школы изящных искусств?

– А почему бы нет?

– Это не совсем благоразумно. – Турке говорил мягким, вкрадчивым тоном. Он старался быть как можно любезней. – У вас выдающийся талант, мэтр, было бы жаль испортить дело поспешностью. Почему бы вам не сделать «Адама и Еву» отдельным произведением для собственного удовольствия?

«Адам и Ева» были сняты с «Врат». Огюст понял, что так лучше, но Турке не переставал его возмущать.

Он оставил на несколько дней «Врата» и занялся «Евой» в человеческий рост, по которой хотел сделать фигуру поменьше для Лекока. Он заставил Лизу ходить по мастерской и изучал ее тело. Когда каждая деталь запечатлелась у него в памяти – широкие бедра, полные ноги, трепетные груди, – когда убедился, что она держится совсем непринужденно, он начал лепить. Быстро схватил пропорции ее пышной фигуры, но не решил, какую ей придать позу. Он попросил Лизу остановиться, и на лице ее вдруг появилось непонятное беспокойство. Огюст удивился: Лиза не отличалась застенчивостью. Он провел рукой по животу, проверяя, правильно ли передал его округлость, – рукам он доверял больше всего, – и тут она инстинктивно стыдливым жестом прикрыла лицо и грудь.

Огюст не успел даже высказать недовольство. Она сама дала ответ, которого он не находил. Жест был великолепен. Вот эту стыдливую позу он и должен передать.

– В самый раз для Евы, – прошептал он про себя, – Евы, которую только что изгнали из райского сада. – Он приказал ей застыть в этой позе.

– Ужасно холодно, маэстро, – захныкала Лиза.

– Да-да. – Ноги у нее удивительные. Бедра такие округлые. Слегка согнутое колено, именно так, как надо, передает смущение.

– Нам придется работать допоздна. – Он провел пальцами по ее животу. Это была единственная часть тела, которая казалась ему слегка непропорциональной. Снова ощупал живот, и она вздрогнула.

– Больно?

Лиза задвигалась, тяжело вздохнула и сказала:

– Я устала.

– Скоро кончу. – Он поставил ее рядом с глиняным слепком. Обычно он делал много маленьких моделей, но сейчас не до того. – Может, ты голодна, Лиза?

– Нет, благодарю вас.

– У тебя какой-то большой живот. Видно, в последнее время ела слишком много мучного и жирных подливок?

– Уже поздно.

И вдруг он понял: тут что-то не так. Чувство осязания, на которое он почти полностью полагался, подсказывало, что ошибки нет – живот ее увеличился. Не может быть, успокаивал он себя. У Лизы прекрасная фигура, поэтому он ее и нанял. Огюст приказал ей стоять неподвижно, но она снова непроизвольно приняла стыдливую позу. Он коснулся ее руками, и она задрожала. Это его удивило: чего ей стесняться, он проделывал так сотни раз прежде. Выпуклость стала еще заметней. Да ведь так было у Розы, когда… Не может быть… Огюст вдруг нажал на живот, и она вскрикнула.

– О! – Все стало ясно.

– Я ничего не могла поделать, маэстро! – закричала она. – Не могла!

Он сказал с отвращением:

– Ты беременна.

– Но я выйду за него замуж. Обязательно выйду.

– Не в том дело, дурочка. Ты испортила мне Еву.

– Испортила, маэстро? Разве она не была тоже матерью?

Он изучал статую. Скульптура была реалистична, привлекала внимание, и ее поза была необычной.

– Когда ты должна родить?

– Через несколько месяцев.

– Ты скрывала это так долго?

– Вы не замечали. Думали о своей Еве.

– Кто отец? Лиза не отвечала.

– Пеппино. – Он вдруг припомнил, как нежно они позировали для Паоло и Франчески. Его «Иоанн Креститель»! – Это Пеппино, не так ли?

Лиза упорно молчала, но вся залилась краской. Огюст печально покачал головой.

– Ты погубила мою лучшую модель.

– Мы все-таки можем по-прежнему работать у вас, маэстро?

– С ребенком-то? Я больше не могу на вас полагаться.

Глава XXVII

1

На следующий день Пеппино и Лиза не появились. Огюст вручил Лекоку небольшую скульптуру Евы, и восхищение учителя вознаградило его за то огорчение, которое доставили натурщики.

Он отказался от денег. А когда Лекок начал благодарить, он прервал его, как делал всегда сам учитель. Он помог Лекоку поставить «Еву» так, чтобы свет на нее падал наилучшим образом, и поспешно ушел. Но блеск в глазах Лекока согрел и обрадовал его: не зря он так усердно трудился над «Евой».

Раздумывать было некогда. Нужно было искать новые модели для «Врат» – Сантони исчез вслед за другими. Огюст как раз ждал новых натурщиков, когда в мастерскую вошел Малларме.

Худое, утонченное лицо Малларме придавало его облику особую поэтичность. Он сказал:

– Надеюсь, вы не обидитесь, Роден, я к вам насчет Гюго.

Огюст пожал плечами.

– Чего мне обижаться?

– Одна особа хочет, чтобы вы сделали бюст писателя.

– Но не сам Гюго? – Огюст был готов настроиться воинственно.

– Нет, дорогой друг, не Гюго. В том-то и вся трудность. Бюст надо сделать втайне. Гюго не уговоришь позировать. Он твердит, что это слишком утомительно. На самом деле, видимо, просто не хочет оставить потомкам свой портрет в старости. Вы подумаете об этом предложении, Роден?

– Кто же заказчик?

– Жюльетта Друэ. Вы знаете, кто она?

– Конечно. Но что из этого?

– Она так хочет. Я предупреждал, что вы очень упрямы, но она настояла, чтобы я с вами поговорил. Она слышала, что вы единственный скульптор, который может сделать правдивый портрет в таких условиях.

– Кто ей это сказал? Вы, Малларме?

Малларме нахмурился и тихо проговорил:

– Можете винить меня, но вы ведь сами говорили, что согласны лепить Гюго на любых условиях.

– Ну, а Жюльетта Друэ?

Малларме заговорил с горячностью, какой Огюст за ним раньше не замечал:

– Она замечательная женщина, Роден, и я не преувеличиваю. Она была преданна Гюго на протяжении пятидесяти лет, как ей ни доставалось от него, а обращался с ней он действительно плохо, изменял со многими, но, правда, никогда не оставлял. По-видимому, когда прошла любовь, он стал чувствовать себя ее покровителем. А она всегда боготворила его, защищала, боролась за него, с первого дня их знакомства – она была тогда одной из первых красавиц Парижа.

Огюста заинтересовала эта история, но он напустил на себя равнодушный вид, рассматривая незаконченные «Врата». Сегодня они казались еще выше, чем обычно, фигуры застыли в напряженных позах отчаяния. Ничто не должно отвлекать его от них. «Врата» ждали его, он уже вложил в них столько труда. И все же ему хотелось лепить Гюго. Заманчиво, думал он, но надо обдумать. Работа над бюстом может целиком захватить его. Он смотрел на фигуры на «Вратах», а видел только лицо Гюго, которое должен лепить.

– Да, – с чувством продолжал Малларме, – Гюго рассказывал мне, что она была удивительно красива– изящная, молодая, прелестная. Первый ее роман был с Прадьером[77], скульптором, которого теперь никто не помнит, от него она родила, а он ее бросил. Гюго говорил, что она была очаровательна, на редкость очаровательна. Жюльетта Друэ была его первой любовницей. Настоящая Маргарита Готье[78]. Променяла богатство, роскошь на жизнь мученицы. По ее словам, она была для Гюго «всем, кроме жены», и так никогда ею не стала. Любовница превратилась в рабыню, помогавшую в работе, исполнявшую все его прихоти,; она следовала за ним повсюду, превозносила его до небес, всегда была для него опорой, всегда была ему преданна. Мне кажется, друг мой, она заслуживает самого доброго отношения.

– Что же мне, оплакивать ее? Разве она не знала, на что идет? Нет, я не собираюсь читать мораль, но все женщины говорят о любви, когда им нечего больше придумать.

– А мужчины разве нет?

Огюст понимал, что ему следует рассердиться, но невольно рассмеялся. Он уже обошел Гюго в случае с Мадлен; возможно, бюст будет новой победой.

Малларме сказал:

– Скорее всего, другой возможности лепить Гюго вам не представится. Хотя он еще как будто и полон сил, но несколько месяцев назад у него был сердечный приступ, доктора не знают, какого характера, поскольку он отказывается к ним обращаться, говорит, что не нуждается в них, но даже если и будет лечиться, я сомневаюсь, чтобы он надолго пережил Жюльетту Друэ.

– Она так плоха? Я слышал, что она больна, но…

– У нее рак. Вряд ли она протянет больше года. Гюго навещает ее каждый день. Она считает, что вы можете лепить его, поместившись в алькове рядом с ее спальней. Мой дорогой Роден, могу я назначить ей встречу с вами?

Огюст кивнул, хотя сомнения оставались.

– Не пугайтесь, когда ее увидите. Она стара и очень истощена. Ей уже, кажется, семьдесят шесть, хотя она и скрывает свой возраст.

Но Огюст все-таки был потрясен, когда впервые посетил дом Гюго на авеню Эйлау, в день восьмидесятилетия великого писателя переименованном в авеню Виктора Гюго. Гюго на несколько дней уехал из Парижа. Огюста провела в дом преданная прислуга Жюльетты Друэ; дом был обставлен дорогой и элегантной мебелью. Он ожидал увидеть величественную даму, а перед ним на маленькой кушетке лежала старушка, голову ее подпирали подушки, и она с трудом выговаривала слова. На ней было простое бархатное платье с белым кружевным воротником. Ни следа былой красоты не осталось на иссохшем, морщинистом лице, только седые волосы были все еще прекрасны, Когда Огюст поклонился и служанка удалилась, он увидел на камине портрет. Непреодолимая сила потянула его к этому портрету.

– Возьмите в руки, мэтр, – сказала Жюльетта, заметив его интерес.

Огюст осторожно снял портрет с каминной полки.

– Мне было тогда двадцать шесть, – тихо сказала она. – Я только что познакомилась с Гюго.

Он вспомнил описание Гюго: «Она была очаровательна, на редкость очаровательна». Гюго не преувеличивал. Тонкие черты лица, прелестные глаза, кожа цвета слоновой кости, нежная улыбка.

– Мы были так молоды, мосье Роден… – Какое прекрасное лицо…

Она взволнованно сказала:

– Говорят, что я хочу видеть его только в ореоле величия, это неправда, я хочу видеть его таким, какой он есть.

– Теперь он уже стар. Любой его портрет должен это отразить.

– Но не будьте с ним жестоки, мосье Роден.

– Он был жесток ко мне.

– Ему не нравится быть старым.

– Никому не нравится. Мне тоже уже за сорок.

– За сорок. – Она печально улыбнулась. – По сравнению с ним вы молодой человек. А я уже больше никому не говорю, сколько

мне лет. Вы сделаете все, что в ваших силах, обещаете, мэтр?

– Постараюсь.

Она остановила его у двери.

– Помните, он ни в коем случае не должен об этом узнать.

– Ни в коем случае? – Иначе не разрешит.

– Тогда как же вы хотите, чтоб я делал бюст? – Гюго бывает здесь каждый день. Но вечерами я очень одинока. Когда бюст будет готов, мне будет казаться, что это он здесь, со мной. – Устав от напряжения, она откинулась на взбитые подушки. Она полусидела на диване, полная решимости не выказывать слабости, не признавать всей серьезности своего заболевания.

– Мы идем на риск, мосье Роден, но Малларме сказал, что вы хотите лепить Гюго.

– Очень хочу! Мне не нравятся его манеры, но голова его великолепна.

– Если бюст будет удачным, вы не прогадаете.

На какое-то мгновение ему захотелось наотрез отказаться. Он покраснел и нахмурился. Наступила минута тяжелого молчания.

Заметив его раздражение, она поспешила объяснить:

– Я имела в виду не только деньги. Не забывайте о престиже, чести, о вашем собственном удовлетворении. Вы должны извинить меня, мэтр, но у больного человека портится характер. Я постараюсь занять Гюго, как смогу. Пожалуйста! Очень прошу вас! – Она с мольбой протянула к нему руку – Малларме сказал, что вы сделаете прекрасную голову. – Жюльетта была бледна как мрамор, и ему казалось, что она вот-вот потеряет сознание. – Мы не можем откладывать. Времени в обрез.

Назавтра, сам удивляясь своему нетерпению, Огюст обсудил с ней план действий. Было условлено, что скульптора будут проводить в особняк тайком с заднего хода, по винтовой лестнице, через кухню. Гюго всегда поднимался по великолепной парадной лестнице– уменьшенная копия лестницы в Опере, – так что опасность встречи почти исключалась. Затем Огюст устроил мастерскую в алькове, возвышавшемся над спальней. Гюго никогда не заходил туда – альков служил гардеробной. Огюст разместил там глину, каркасы, подставки для нескольких бюстов и рисовальные принадлежности. Гардеробную отгородили тяжелыми драпри, чтобы спрятать Огюста, и, пока он работал, они были плотно задвинуты; лишь когда ему нужно было посмотреть на модель, он приоткрывал их как можно осторожнее.

Огюста раздражали все эти помехи, но, начав, он уже не мог остановиться. Жюльетта Друэ оказалась права. Времени оставалось в обрез. Было очевидно, что больше нескольких месяцев ей не протянуть.

Огюст отложил всю остальную работу. Он запер на время свои мастерские, и это привело к новым осложнениям. Он попросил Мадлен сделать на короткое время перерыв, сославшись на заказ, который нельзя откладывать. Она огорчилась и спросила:

– Сколько времени это займет?

– Несколько недель.

– Такой уж важный заказ? – Очень.

– Ты потратишь на это несколько месяцев, грустно заметила она. – Кто это?

– Секрет, дорогая.

– Секрет, дорогая, – передразнила она. – Должно быть, важная особа, раз ты обо всем позабыл, даже о своих «Вратах».

Лицо его стало одного цвета с бородой, но он промолчал.

– Кто это, Огюст? Он коротко ответил:

– Я сказал тебе – секрет. И не спрашивай. Мадлен смотрела мимо него на свой неоконченный мраморный бюст. Нежное, выразительное лицо, но никак не лицо демонической женщины, как ей хотелось, и чувствовала себя обиженной.

– Ты никогда не закончишь мою голову. Это для тебя не так важно.

– Не в том дело, – сердито ответил он. – Над этим заказом нужно работать сейчас, другой возможности не будет.

Он сделал жест, говорящий, что у него нет выбора, и вдруг Мадлен поняла.

– Это Гюго, – объявила она. Огюст хотел было отрицать, но так побледнел, что она перестала сомневаться. – И не думай меня обмануть.

– При чем тут обман? Я дал слово никому не говорить.

– А Гюго знает?

Огюст молчал, но не мог скрыть раздражения.

– Значит, и от него тоже тайна.

– Ты не скажешь ему, правда? Ты не сделаешь этого, Мадлен?

Она была вне себя от бешенства. Соперничать с Гюго показалось ей особенно обидно, легче примириться с женщиной.

Мадлен сказала:

– Женщина по крайней мере хоть что-то тебе дала бы, а Гюго, как все знаменитости, будет только брать.

– Он даст мне возможность сделать великолепный портрет. Мадлен, я очень тебя люблю.

– Это правда, Огюст? Правда?

– Я закончу твой портрет. Обещаю.

– Когда?

– Скоро. Как только будет время.

– После Гюго? Он пожал плечами.

– По-твоему, я должна ждать, пока ты закончишь бюст великого человека?

Он решительно кивнул.

– Нет! Это превыше моих сил.

Мадлен схватила бюст и понесла к выходу. Бюст был тяжелый, но Огюст не помог и не стал останавливать ее, как она ждала и надеялась. Она чувствовала, что они не понимают друг друга, и растерялась.

– Никогда не думала, что Гюго будет моим соперником, – сказала Мадлен.

– У тебя нет соперника.

– Ты оставишь Гюго? Ради меня? Он в отчаянии протянул к ней руки. – Не могу. Я дал слово.

– Прощай.

– Ты никому не скажешь, никому? – Он молил ее, как безумный.

– Что я потеряла тебя из-за Гюго?

– Мадлен, это неправда. Я люблю тебя, люблю!

– Не сомневаюсь. Любишь, когда я тебе нужна. – Прижимая к себе бюст, словно любимое дитя, Мадлен сказала: – Ты только осложняешь себе жизнь. Лепить Гюго тайком от Гюго! – Она вздохнула. – Будет чудом, если тебе это удастся. – И с решительным видом вышла из мастерской.

Покинутый Мадлен, Огюст вдруг ощутил потребность рассказать о Гюго Розе. Розе можно довериться. Она будет им гордиться. И к тому же, закрыв мастерские, он все равно вызовет у нее подозрения, а этого лучше избежать, иначе жизни не будет.

Роза очень обрадовалась, что Огюст поделился с ней таким секретом. Сын донес, что две мастерские закрыты, и она испугалась: неужели сбылись ее опасения, у Огюста появилась другая? Но теперь, когда ему потребовалось ее участие, Роза словно обрела новые силы. Ей нравилась атмосфера секретности, поскольку она была участницей заговора. Да, кроме того, преданность Гюго Жюльетте Друэ глубоко тронула ее.

– Их дружба продолжалась пятьдесят лет, – сказал Огюст.

– И он так на ней и не женился?

– Женитьба все испортила бы. – Почему?

– Это связало бы его. Он бы ее возненавидел.

– Но ты сказал, что все эти годы они были вместе. Почему же он не женился на ней?

– Он был женат.

– Но теперь его жена умерла.

– Нет ничего прочнее духовной привязанности, а при

законных узах она часто пропадает. В Париже много тому примеров.

Почувствовав раздражение Огюста, Роза переменила тему. Она поцеловала его и сказала:

– Ты становишься знаменитым, дорогой. Бюст Гюго принесет тебе большую славу. Тебя больше не должно заботить мнение Салона.

2

Кроме бюста Гюго, для Огюста теперь ничего не существовало[79]. Расположенная на втором этаже просторная комната Жюльетты Друэ стала не только гостиной, спальней и больничной палатой, но и мастерской художника. Жюльетта поставила по требованию Огюста кушетку так, чтобы ему лучше было видеть Гюго. Она отказалась ложиться в постель – ей не хотелось огорчать Гюго.

Жюльетта сидела, обложенная множеством подушек, всегда безупречно одетая, но силы ее с каждым днем убывали.

Гюго неизменно навещал ее хотя бы раз в день, как бы ни был занят, за исключением тех случаев, когда уезжал из Парижа. Огюст подозревал, что Гюго покидает Париж в связи с любовной интрижкой, а иногда от Жюльетты он отправлялся в «приют любви», но возле Жюльетты Гюго был сама преданность. Обычно на Гюго был сюртук с бархатным воротником и синий шелковый шарф, но, когда они оставались одни, он надевал черный шерстяной пиджак попроще. И иногда приходил без шляпы, щеголяя своими все еще густыми, коротко подстриженными волосами. Чтобы облегчить работу Огюсту, Жюльетта часто приглашала гостей; Гюго плохо слышал, в чем никогда не признавался, и когда вступал в общий громкий разговор, не замечал шума, производимого Огюстом.

Но скульптор предпочитал те дни, когда Гюго бывал наедине с Жюльеттой. При чужих Гюго, разглагольствуя, любил порисоваться или же был мрачен и раздражителен, и это мешало Огюсту, а наедине с Жюльеттой он был нежен, заботлив, как и подобало в такие минуты поэту, и держался непринужденно.

В такие дни Гюго читал ей, надевая очки – чего из тщеславия никогда не делал при посторонних, – давал ей лекарства, восхищался ее мужеством, мерил температуру, ел вместе с ней, чтобы своим здоровым аппетитом возбудить у нее аппетит, или – что она больше всего любила – читал ей рецензии на свои книги, которые не переставали появляться, главным образом за границей.

Но больше всего Огюсту нравилось, когда Гюго рассказывал Жюльетте о событиях в мире. Гюго принимался ходить взад и вперед по комнате, оживленный, энергичный, не останавливаясь ни на минуту; Гюго поносил мелкую буржуазию; Гюго критиковал Гамбетту, не включившего его в свой кабинет, хотя кабинет уже пал; Гюго цитировал изречение Аристотеля о жизни, которая ценна не сама по себе, а лишь облагороженная героизмом. И Огюст делал набросок за наброском. Он радовался своей привычке рисовать модель в движении, потому что именно в движении Гюго становился наиболее выразительным. Лицо Гюго особенно оживлялось, когда он говорил. Огюст не доверял первым впечатлениям, он уловил уже в предварительных набросках волевой подбородок Гюго, суровые линии щек, мощный лоб, чувственный рот, густые, выхоленные бороду и усы, горящие глаза, коротко подстриженные волосы, которыми Гюго так гордился.

Когда эти черты начали обретать индивидуальность, Огюст вчерне набросал очертания головы с помощью сухой иглы, чему его обучил Легро. Он заготовил множество набросков на случай, если не удастся закончить бюст.

Жюльетта таяла на глазах, хотя всячески старалась скрыть это от Гюго, отказывалась ложиться в постель. А Гюго все старался убедить ее, что она выздоровеет. Он не допускал в том и тени сомнения, словно из суеверного страха перед ее болезнью.

Огюст решил не очень поддаваться обаянию Гюго, но незаметно лучшие черты этого человека нашли воплощение в моделях: дух Гюго, не знающий поражений, его вера в благородные устремления человечества, хотя сам Гюго редко признавал благородство за кем-либо определенно. Бюст становился как бы утверждением самих верований Гюго.

Драпри оставались плотно задернутыми. Огюст приоткрывал их лишь на миг, чтобы взглянуть на Гюго. Труднее работы ему еще не приводилось делать, и только изредка удавалось посмотреть на натуру как следует. Да и работать в вечном страхе, как бы не услышали, было тоже очень трудно, но, пожалуй, хуже всего было то, что он не мог прикоснуться к натуре. Он жаждал ощупать лицо Гюго, как ощупывал, все, что лепил, чтобы передать структуру костей и мускулов. Давно он не страдал так от своей близорукости, как теперь.

Огюст работал словно одержимый. Прошел уже месяц, а готов был только один черновой вариант головы Гюго в глине. Почти закончен был второй бюст – Гюго, склонившийся над Жюльеттой. Но он знал, что не закончит бюст в бронзе – Жюльетта слабела с каждым днем – и придется работать по памяти, по гравюрным

наброскам и глиняным маскам.

В эти дни Гюго покачивал Жюльетту в кресле, чтобы успокоить ее, облегчить боль. Она сдерживала слезы, когда Гюго был рядом, и видеть это было очень тягостно.

Но когда однажды в отсутствие Гюго Огюст предложил прекратить работу, Жюльетта не захотела и слышать. Она прошептала:

– Мэтр, в этом нет необходимости. Он не мог спорить; не скажешь же ей, что она умирает.

– Как движется работа? – спросила она.

– Прекрасно, прекрасно, – солгал он. – Получится великолепная, мужественная голова.

Мертвенно-бледное лицо ее слегка окрасилось румянцем, и она с трудом приподнялась.

– Покажите.

Он поднес глиняную модель, которая казалась ему лучше других, хотя теперь он вдруг усомнился, нравится ли она ему, – все на скорую руку и так несовершенно. Только вчера он изменил форму носа, а теперь хотелось уничтожить и вчерашнее. У него руки зудели тут же взяться за дело. Огюст ждал, что она покачает головой или нахмурится, но она лишь улыбнулась.

Он был уже в дверях, когда Жюльетта спросила:

– Вы закончите его, мэтр?

– Конечно. Поставите его возле себя, как хотели.

– Мне бы очень хотелось, дорогой Роден, но факты против меня.

Он подошел поближе, не зная, что сказать.

– Пожалуйста, не надо лекарств. Мне надоели лекарства. – Потом вдруг сказала: «Голова слишком массивна».

– В том-то и сила, – с пылом возразил Огюст. – Размеры, объемность.

– Мне нравится выражение лица. В нем есть нечто героическое, мужественное. Ему бы понравилось.

– Через несколько недель бюст будет готов в бронзе.

– Через несколько недель? – Она устало улыбнулась, словно речь шла о вечности, – Продолжайте, мэтр, прошу вас, сколько успеете.

Огюст обещал.

Спустя несколько недель Огюст, войдя в комнату, нашел Жюльетту на полу, без сознания. Он бережно поднял ее и уложил на любимую кушетку, позвал горничную. Нюхательная соль привела ее в чувство. Она поблагодарила Огюста и отказалась от врача.

Однако на следующий день ей пришлось лечь в кровать.

Кровать находилась в дальнем углу огромной комнаты. Гюго сидел у изголовья и был почти не виден Огюсту.

Гюго был мрачен. Он чувствовал себя преданным – несмотря на все увещевания, Жюльетта отказывалась выздоравливать. Приводила в ужас мысль, что она умрет и оставит его одного.

Кроме того, Гюго стал беспокоиться о себе. Гамбетта, в самом расцвете сил, случайно поранил руку на испытаниях нового огнестрельного оружия для армии и умер от заражения крови 31 декабря 1882 года. Это взволновало Гюго – ведь он был почти вдвое старше Гамбетты, – а Огюст понимал, какого друга и опоры лишился он в лице Гамбетты. Скоропостижная смерть Гамбетты напомнила Огюсту, что он не получил очередной суммы за «Врата», хотя она была ему обещана, и Огюсту стало казаться, что он больше ничего не получит. А тут еще состояние Жюльетты, как ни старалась она скрыть от Гюго свою боль и страдания, стало совсем критическим. Работу в особняке на авеню Виктора Гюго пришлось прекратить. Комната больной заполнилась докторами и сиделками.

Огюст перенес незаконченные скульптуры в мастерскую на улице Данте, где мог потихоньку от всех продолжать работу над бюстами. Он пытался доделать бюст Гюго по памяти; припоминал, как Гюго сидел возле Жюльетты и нежно утешал ее. Но когда до него дошел слух, что и Мане умирает, он не мог сосредоточиться.

Они никогда не были близкими друзьями, размышлял он, но Мане еще слишком молод, чтобы умирать, ему всего пятьдесят один – в самом расцвете лет и творческих сил. Смерть его будет просто нелепостью; Мане только что наградили орденом Почетного легиона, о котором он так мечтал. Мане не успел еще насладиться наградой; рано ему умирать, бессмысленно. И когда через несколько месяцев после смерти Гамбетты за ним последовал Мане, Огюст воспринял это как предательский удар судьбы.

Вся страна была в трауре по случаю похорон Гамбетты, а Мане похоронили без шума, за гробом шли только друзья.

Огюст не выносил похорон и по возможности старался их избегать, но не отдать последней чести Мане было немыслимо.

На похоронах он увидел много старых друзей – Дега, Фантена, Моне, Писсарро, Малларме, Буше, и знакомых – Антонена Пруста, Сезанна, Золя.

Стоя у могилы, Дега воскликнул:

– И зачем я с ним столько спорил! – Дега выглядел совсем больным. – Сколько замыслов он не успел осуществить!

У Огюста еле нашлось сил кивнуть. Он вспоминал теперь дни

в кафе Гербуа и в кафе «Новые Афины» как самую счастливую пору, хотя тогда этого не чувствовал. Никто из них не ходил больше в эти кафе. Он спросил Фантена:

– Как поживаешь, друг мой? – Они давно не виделись. Когда-то такой веселый и общительный, Фантен теперь сильно постарел, стал затворником, потолстел, от былой, бьющей ключом жизнерадостности и изящества не осталось и следа, да и картины его все больше и больше отдавали Лувром, как Дега предвидел еще много лет назад. – Много работаешь, Фантен?

Фантен пожал плечами и печально сказал:

– Нет больше импрессионистов – от нас не осталось и следа.

Неделю спустя умерла Жюльетта. Огюст ждал этого, и все же ее смерть тоже явилась для него ударом. За время работы над бюстом Гюго он проникся к ней самой глубокой нежностью. Он не знал, что делать с незаконченными бюстами писателя, за которые так ничего и не получил. Гюго был занят устройством ее дел, и Огюст не смел к нему обратиться. Он обернул влажными тряпками два бюста, которые ему нравились больше других, чтобы уберечь их от порчи.

3

Прежде чем Огюст решил, за что теперь приниматься, тяжело заболел Папа. Доктор сказал: жить старику осталось всего несколько дней, и единственное, что можно сделать, – это окружить умирающего заботой.

Доктор спросил Огюста:

– Сколько лет Жану Батисту?

Огюст стал вспоминать: Папа родился в 1802 году, как и Лекок с Гюго.

– Восемьдесят один.

– Так я и полагал, – сказал доктор. – Он умирает от старости.

Огюст, который в последние годы уделял Папе совсем мало времени, теперь проводил с ним все дни. Он начал писать маслом портрет Папы, чтобы сохранить о нем память, да, кроме того, это не требовало от старика такого напряжения, как скульптура. Папа почти не приходил в себя, и Огюст рисовал его крупный нос, седую бороду, ясные синие глаза – теперь совсем незрячие, – румяные щеки, таким он помнил Папу с детства, хотя теперь его лицо было восковым. Огюст сосредоточил внимание на выражении, стараясь передать его точно, без налета чувствительности. Он удивился, как хорошо подвигается портрет. Его тянуло погладить холст, как он гладил скульптуры.

Однажды в полдень, как раз в тот момент, когда Огюст думал

о том, что Папа отойдет в небытие без звука и без борьбы, тот пришел в сознание и хриплым, властным голосом потребовал всех к себе. Роза привела тетю Терезу и маленького Огюста, который превратился в невысокого, плотного семнадцатилетнего юнца. Они заговорили с Папой, чтобы он знал, что они тут, и, когда Папа услышал голос внука, лицо его прояснилось.

Папа сказал:

– Слушайся маму.

– Хорошо, – ответил маленький Огюст. Голос его слегка дрогнул.

– Не плачь, – сказал Папа. – Ты уже взрослый.

– Я не плачу, – всхлипнул маленький Огюст, – Я рад, что тебе лучше.

– Боже мой! – воскликнул Папа. – А врать ты горазд, не хуже своего отца. Подойди поближе, дай тебя обнять.

Маленький Огюст подошел, и Папа, руками отыскав его лицо, нежно поцеловал внука в обе щеки. Затем потянулся к тете Терезе.

Тетя Тереза сказала, держа его руки в своих:

– Ты выздоровеешь, Жан, вот увидишь. Папа слабо улыбнулся.

– Ну конечно, Тереза.

– Ты еще кричать на всех нас будешь, как в старые времена.

Но Папа вдруг стал мертвенно-бледным, тяжело закашлялся и прошептал:

– Дай мне поговорить с Розой и Огюстом.

Тетя Тереза увела маленького Огюста из комнаты. Папа сказал, чувствуя, как дрожат обнимающие его руки Розы:

– В чем дело? Он опять тебя забыл?

– Нет-нет, Папа, – Роза старалась подавить слезы. – Огюст очень много работает. Он теперь пишет твой портрет.

– Портрет? – проворчал Папа. – Он ведь скульптор.

– Прекрасный портрет, – гордо сказала Роза.

– Он хорошо зарабатывает? – Былая живость прозвучала в голосе старика. – Ему заплатили следующую сумму за тех чудовищ – за «Врата»?

– Нет еще. Но заплатят, дорогой Папа.

– Он больше ничего не получит, – уверенно сказал Папа, – никогда не получит.

– Вам нельзя разговаривать, – сказала Роза, – доктор наверняка запретил бы.

– Доктор? – Папа сделал удивленное лицо. – Поздно звать доктора, Огюст, я же говорил, что ты никогда не заработаешь на жизнь скульптурой.

– Конечно, ты прав, Папа, – ответил Огюст, чтобы не раздражать старика.

– Послушался бы меня и пошел в префектуру, скоро бы уже и на пенсию.

Никто ему не ответил.

– Можешь не отвечать, – сказал Папа. – Дай руку, Огюст.

Огюст положил свою руку на руку Папы, Папа крепко стиснул ему пальцы и не отпускал. Он стал просить:

– Относись хорошо к Розе. Она была мне за родную дочь.

– Я постараюсь, – сказал Огюст.

– Это не обещание. – Папа сжал пальцы Огюста с такой, силой, что хрустнули суставы. Он метнул грозный взгляд в ту сторону, откуда шел голос Огюста, и заявил:– Твое старание не многого стоит.

– Пожалуйста, Папа, – вмешалась Роза. – Не надо…

– Нет, ты меня не остановишь. – Опершись на руку Огюста, Папа приподнялся и сел на кровати. – Огюст, обещай мне, что женишься на Розе.

– Этого я не могу обещать, – медленно, с трудом проговорил Огюст. – Но обещаю заботиться о ней. – Разве может он забыть о том, что Роза сняла для него его первую мастерскую, дала ему возможность работать самостоятельно, стать самим собой? Все другие только брали, но не давали.

– Этого недостаточно, – настаивал Папа. Громадным усилием воли Папа сохранял сидячее положение, грудь его тяжело вздымалась, дыхание было хриплым, словно он боролся с врагом. – Никаких отговорок. Обещай мне, Огюст, что женишься на ней.

– Я позову доктора, – забеспокоилась Роза, встревоженная его тяжелым дыханием.

– Не надо. Обещай мне, Огюст, обещай.

– Ну… – пробормотал Огюст.

– Я не отстану, пока ты не дашь мне слово. Обещай!

– Я сказал, что буду заботиться о ней.

– Ты забудешь об этом, если не дашь слово. – Ты ничего не понимаешь.

– Обещай, Огюст, – настаивал Папа. – Обещай!

– Когда-нибудь, – со вздохом сказал Огюст. – Когда-нибудь…

Слепые глаза Папы подозрительно уставились на Огюста, и тогда Огюст сказал:

– Я обещаю, когда-нибудь. И Папа медленно улыбнулся.

– Господи, ну и упрямец, это у тебя в крови. – Он еще минуту гордо восседал на кровати, а затем повалился на подушки.

Сильные руки Огюста поддержали его, Роза вскрикнула,

перекрестилась и побежала за священником, но к приходу священника Папа был уже мертв.

4

Похоронив Папу на семейном кладбище– Огюст приобрел участок земли на кладбище, чтобы хватило места для него, Розы и маленького Огюста, – Огюст повел Розу посмотреть дом на улице Августинцев.

После смерти Папы Огюст ни словом не упоминал о женитьбе, но Роза была благодарна, что он не забыл ее и сына, когда покупал участок на кладбище. Она восприняла это как знак внимания, но, когда стала благодарить и сказала, что теперь она спокойна, он рассердился и переменил тему разговора.

Огюст и не думал, что будет так тяжело переживать утрату Папы. Он вспоминал, как Папа бранил его за пристрастие к рисованию, за неаккуратность, рассеянность. И, вспоминая, улыбался, хотя сердце по-прежнему разрывалось от горя. Папа на все случаи жизни имел собственное мнение, рассуждал Огюст. Что-что, а эту черту и он от него унаследовал.

Когда они повернули с набережной Августинцев на улицу того же названия – узкую, короткую, между Новым мостом и мостом Сен-Мишель, – Огюст указал Розе на большой старый дом неподалеку от Сены в благородном старом стиле, выделявшийся среди других.

– Тебе нравится? – спросил он.

– Целый дом? – с неверием в голосе спросила Роза. – Ты хочешь снять его целиком?

– Я купил его. – Солнце играло на черной муаровой повязке, которую он носил в знак траура, – Прекрасный дом, не правда ли?

Роза знала, что лучше не спорить. Целый особняк в том стиле, который ей нравился, но его будет трудно отапливать и прибирать. Она вяло кивнула.

– При нем сад с клумбами и деревьями, есть где вздохнуть. Тебе будет казаться, что ты снова в своей любимой Лотарингии.

– По карману ли нам это, дорогой? Ты ведь не получал больше за «Врата»? И за бюсты Гюго?

– За «Врата» заплатят. Вот все подготовлю, придет инспектор, оценит. И я теперь всегда могу получать заказы. Вошел в моду. За последние месяцы у меня было много предложений. Но я и думать ни о чем не мог, все эти утраты… – Он смолк, не желая поддаваться печали, которая временами овладевала им. – Но скоро я надеюсь приняться за работу, вот только устрою тебя и

маленького Огюста.

– Маленького Огюста? – Лицо ее осветилось.

– Да. Тебе нравится наш новый дом?

– Если тебе нравится, мне тоже, дорогой. Он был разочарован и сказал:

– Я купил его для тебя.

– Не спрашивая меня?

– Хотел сделать тебе сюрприз.

– И верно, сюрприз. – Она осторожно спросила: – Мы будем занимать весь дом?

– Как захотим, – сказал он с гордостью. – Мы не собираемся жить, как Людовик XIV, но теперь дела пойдут в гору.

– А как с мальчиком? Он бросил школу, все время гоняет на улице. Хоть Папу иногда слушался, а теперь не знаю, что с ним и делать.

Лицо Огюста стало торжественным, что бывало с ним редко.

– Я беру мальчика к себе в мастерскую, – объявил он.

Такого сюрприза она не ожидала.

– Уборщиком? – скептически спросила она.

– Нет, – решительно сказал Огюст. – Не буду стараться сделать из него художника, но он может работать натурщиком: проявил некоторые способности, может вести счета, покупать материал…

– Ведать твоими делами? – с радостью спросила она.

– Возможно. Если справится.

– О Огюст! – Роза в порыве признательности обвила его руками впервые за долгое время, и, хотя дело было на улице, он не отстранился. – А я буду экономно вести хозяйство. – Она замолчала, сомневаясь, имеет ли право быть такой счастливой-ведь Папа умер так недавно.

Огюст, видя слезы на ее глазах, сказал:

– Папа был бы доволен. Он любил мальчика.

В порыве радости, глядя на большой старый дом, Роза сказала:

– Вот о чем я всегда мечтала, о настоящем доме, как ты – о настоящей мастерской. Дорогой, ты не должен бросать работу. Я знаю, тебя сильно огорчили все эти утраты – Гамбетты, Мане, Папы.

– И мадемуазель Друэ. Я к ней тоже привязался. И очень сильно.

– И я тоже. – Роза стала серьезной. – Она была такой преданной. Но не печалься, Огюст. – И с непосредственностью, заставившей его улыбнуться, продолжала:– Все смертны, а искусство вечно. Истинное искусство. Такое, как твое.

– Возможно.

– Конечно, оно живет. Ты станешь самым знаменитым скульптором в Париже.

Огюст промолчал. Роза желает ему только добра, но бесполезно обсуждать с ней творческие планы. Хозяйство – вот ее стихия. Он провел Розу в гостиную нового дома и показал, где повесить портрет Папы, написанный им.

Часть пятая. Страсть

Глава XXVIII

1

В то утро Огюст ожидал инспектора из Школы изящных искусств и очень волновался. Прошел год после смерти Папы, и весь год он не разгибаясь работал над «Вратами ада», но до завершения было все так же далеко. Кое-что, правда, было сделано. Решена была окончательная композиция, и подготовлено множество фигур.

Он стоял в дверях просторной мастерской на Университетской – отсюда было удобнее всего обозревать «Врата». Они возвышались пред ним: законченные фигуры Уголино, Паоло и Франчески, Блудного сына и множество других – мятущиеся, сплетенные в муках тела любовников; глядя на них, он думал, что бы ни сказал инспектор, год не прошел зря. В этих обнаженных фигурах он достиг новой выразительности, Обнаженные тела, которые теперь ласкали его глаз художника, – существа потустороннего мира, их терзали жестокие демонические страсти, плоть пожирала плоть.

И вдруг его радость померкла. Вернулись тяжелые предчувствия. Инспектор будет придираться-это ясно. Большая школа была его извечным врагом, и хоть жизнь и ушла вперед, Школа оставалась оплотом классицизма, рядящего наготу в тогу отвлеченной, оторванной от жизни утонченности, а его «Врата» – настоящая оргия чувственности. Он посмотрел на тимпан над «Вратами». Фигура, которую он создал по мотивам Данте и назвал «Поэт», не получилась. В позе сидящего – локтем он опирался о колено, рукой подпер подбородок – не чувствуется напряженности мысли. Человек погружен в задумчивость, но ему чего-то не хватает. И менять что-либо до прихода инспектора уже поздно.

А все из-за того, что он был слишком занят, размышлял Огюст. Они переехали в новый дом, который Роза обставила с простотой и строгостью в соответствии с его указаниями и советами. Маленький Огюст проводил с ним все дни в главной мастерской и выполнял под наблюдением отца важные поручения: покупал глину, гипс и другие материалы. «Иоанн Креститель» стал собственностью Люксембургского музея, а «Бронзовый век» установили в Люксембургском саду, хотя с Огюстом не посоветовались и поставили статую в глухой части сада – там, где он играл когда-то ребенком. Готовы скульптурные

портреты Хэнли и Легро и ряд частных заказов, но, как только он заработал столько, что мог оплатить расходы по «Вратам», от остальных заказов он отказался.

С большой неохотой, по необходимости, Огюсту пришлось взять в помощники учеников: Роберта Браунинга-младшего, сына Роберта и Элизабет Браунинг, избравшего в области искусства скульптуру, а не литературу, поскольку тут его опередили родители; Баден-Поуэлла[80] – живого, не лишенного способностей юношу, сына известного английского ученого; Жюля Дюбуа, которому было уже за тридцать, ставшего первым помощником Родена и добившегося признания-он работал в манере учителя, – и нескольких других учеников, выполнявших всю подсобную работу.

Мастерская на Университетской постепенно заполнилась и натурщиками, которых Огюст подбирал для фигур «Врат». Женщины в большинстве были пышные, а мужчины, напротив, подбирались с мускулистыми, подвижными телами. Огюст не нанимал больше натурщиков-итальянцев, таких, как Лиза, Пеппино или Сантони; он обратился к французам не потому, что считал их более надежными или более красивыми, просто они серьезнее относились к деньгам и больше дорожили хорошо оплачиваемой работой. День начинался с того, что мэтр выстраивал в ряд обнаженных натурщиц и заставлял их прохаживаться перед ним.

Мужчин он тоже выбирал в движении. Все натурщики, и женщины и мужчины, должны были расхаживать по мастерской без всякого стеснения, иначе мэтр не мог их лепить. В мастерской часто бывало нетоплено, негде было присесть отдохнуть, но редко кто отказывался от работы: платили за терпение и послушание на совесть.

С беспокойством думая о приходе инспектора – да и придет ли вообще, – Огюст оглядывал мастерскую и сознавал, что может гордиться: его мастерская теперь одна из самых людных в Париже. Но он не был доволен собой. Бюсты Гюго, обернутые влажными тряпками, стояли на улице Данте все еще незаконченные. Он не знал, сколько потребуется времени, чтобы завершить «Врата». Чем больше он вглядывался, тем больше видел недостатков, требующих доделки.

Он начал было диктовать перечень исправлений маленькому Огюсту, но тот через минуту уже не успевал записывать указания отца. Юноша говорил косноязычно, писал с ошибками и легко отвлекался, особенно когда рядом прохаживалась хорошенькая натурщица. Огюст вздохнул и замолчал. «Придется завести секретаря», – с беспокойством подумал он. Жизнь его все больше

усложняется. Найти бы только человека, на которого можно положиться, такого, который взял бы на себя руководство мастерской.

– Можно мне теперь уйти, мэтр Папа? – спросил маленький Огюст.

Огюст подозрительно посмотрел на него.

– Ты ведь знаешь, сегодня ответственный день. Я жду инспектора. Все должно быть в порядке.

– Все и так в порядке. Я поставил «Врата», как ты указал.

– Зачем тебе надо уйти? Спешишь к девушке?

– Нет, мэтр Папа. – К натурщице?

– Нет-нет! Мама хочет, чтоб я помог ей выбрать мебель для гостиной.

Огюст не поверил, но сказал:

– Я же сказал, что у нас довольно мебели. Не собираюсь я жить, как король.

Маленький Огюст пожал плечами, избегая отцовского взгляда; а через мгновение, когда Огюст отвлекся, передвигая «Врата» на другое, более выгодно освещенное место, юноша исчез из мастерской.

В мастерской от него никакой пользы, с грустью подумал Огюст. Парню было скучно в школе, а в мастерской еще скучнее, только и ждет случая удрать. Все это печально и малоутешительно.

Вот если позировала особенно привлекательная натурщица, маленький Огюст охотно оставался в мастерской. Отец запретил сыну завязывать знакомство со своими натурщицами. Мальчику только восемнадцать – совсем еще ребенок!

Думы Огюста прервал его любимый помощник Жюль Дюбуа:

– Мэтр, инспектор пришел.

Инспектор из Школы изящных искусств, мосье Габриэль Пантен, представился и ждал, что скажет скульптор.

Стройный, темноволосый мужчина, инспектор оказался гораздо моложе, чем ожидал Огюст; ничто не ускользало от внимательного взгляда его карих глаз. Скульптор подвел его к «Вратам».

Наступила длительная пауза: инспектор столь пристально рассматривал «Врата», что Огюст забеспокоился.

– Они еще не закончены, не так ли? – спросил инспектор.

– Нет. Это рабочая модель. – При мысли, что он опять во власти Школы изящных искусств, Огюсту стало не по себе.

– Сколько еще потребуется времени, как вы полагаете?

– Год. Два. Может быть, три.

– Вы говорили то же самое три года назад.

Как объяснишь инспектору, что тогда он и сам в это верил, а вот до сих пор блуждает в темноте, мучается в собственном аду.

– Несколько лет ничего не значат. Музей декоративных искусств ведь не закончен.

– Школа изящных искусств считает, что нужно назначить окончательный срок, раз и навсегда.

– Но я не получал больше денег. Вы тоже не выполняете свои обязательства.

– Вот как? – На лице инспектора появились удивление и даже легкое смущение. – За последние годы у нас было столько смен кабинетов, видимо, отсюда и недосмотр.

– Из-за этой работы я влез в долги.

– Печально, но это не должно вас беспокоить.

Огюст чуть не вспылил, хотелось послать инспектора и всех чиновников ко всем чертям, сказать, что он не пропадет и без них. Но мысль об отказе от работы над «Вратами» была невыносима, а тут без официального одобрения не обойдешься. Во что он только впутался! Надо уметь хитрить, а он слишком прямолинеен. Огюст стоял в угрюмом молчании. Габриэль Пантен осмотрел мастерскую, где кипела работа.

– Вы работаете здесь и над другими вещами?

– Да, – отрезал Огюст. – Но «Врата» – главное.

– Если вы получите следующую сумму, скажем, через месяц, сколько понадобится времени, чтобы закончить?

– Три года. Не больше. Если мне заплатят сполна. Я обещаю.

Инспектор смягчился, улыбнулся и сказал:

– Фигуры прекрасны. Они выгодно отличаются от холодных обнаженных классических скульптур. Ваши «Врата» передают подлинную атмосферу ада. В них таится нечто мрачное, они вызывают ужас, ваш замысел грандиозен. Мне не нравится сидящий наверху поэт, но Уголино с ввалившимися глазами несомненно хорош – в нем есть что-то влекущее и одновременно пугающее.

Огюст проговорил, запинаясь от изумления!

– Но мне казалось, Школа, ее взгляды…

– Меня направил к вам Антонен Пруст. – Вот как!

– Идя к вам, я боялся увидеть огромную фреску, населенную беспорочными Венерами и Аполлонами, угодившими в ад по недоразумению. А вместо этого, как правильно сказал Буше, ваши ню действительно голые. Это не какие-то сонные, безгрешные, академически правильные фигуры, а свободные, в непринужденных позах, чувственные тела. Ничего удивительного, что провинциалы шокированы. Ваш «ад»– это вихрь мучительной, корчащейся от боли похоти. Он будет поражать, но и приковывать

к себе внимание.

– А как насчет оплаты? – пробормотал Огюст.

– Это настоящее произведение искусства. Я внесу предложение о немедленной выплате вам дополнительной суммы.

2

Инспектор Габриэль Пантен сдержал свое слово. Вскоре Огюст получил очередную сумму – три тысячи франков, а когда вслед за ней последовала третья выплата, в четыре тысячи, он уже твердо знал, что будет и еще, хотя к тому времени получил в общей сложности больше, чем было условлено. И он молил про себя: «Господи, дай мне силы оправдать это доверие». Его озадачило такое великодушие, но Буше разъяснил: по Парижу ходят слухи, будто роялисты-клерикалы сговариваются уничтожить «Врата ада», и слухи о заговоре всколыхнули общественное мнение и увеличили число сторонников «Врат».

– Неизвестно, откуда эти слухи, – сказал Буше, но в глазах его зажглись лукавые огоньки, когда он заговорил о том, что у «Врат» теперь куда больше защитников, которые желают их завершения. – Теперь можете не спешить. Я уверен, что вы получите еще деньги и сможете работать над «Вратами» с присущим вам усердием. Хоть всю жизнь, если хочется. Можете хоть четыре раза все переделывать.

Огюст сердито ответил:

– Господи! Думаете, я развлекаюсь? – Широким взмахом руки он указал на «Врата» и груды фигур, заполонивших мастерскую. – Думаете, мне нравится работать до изнеможения?

– Вы действительно совсем угнетены, – заметил Буше.

– Прибавьте-самим собой, дорогой друг. Худший вид угнетения.

– Вы слишком перегружены. Может, снимете часть груза?

– Что вы хотите сказать?

– У меня есть студентка, которая хочет у вас учиться. Молодая женщина, Камилла Клодель, талантливая, честолюбивая, усердная и…

– Я не хочу учениц. Хватит с меня забот с натурщицами. А теперь еще маленький Огюст и другие из учеников, помоложе, пялят на них глаза.

– Не позволяйте им расхаживать по мастерской в голом виде.

– А как тогда добьешься естественности? – Огюст был огорчен. – Нет, Буше, я знаю, вы желаете мне добра, но женщину в ученицы мне не надо.

– Она очень талантлива.

– Почему же она не хочет учиться у вас?

– Говорит, что хочет работать только с Огюстом Роденом, ни с кем другим.

Огюст проворчал:

– Нет времени. У меня и так много учеников.

– Она может и позировать. Девушка очень привлекательная. По-моему, вас заинтересует ее фигура и голова.

– Посмотрим, – нетерпеливо сказал Огюст, не зная, как отделаться от Буше. – Как, вы говорите, ее зовут?

– Камилла Клодель. Она училась у меня, но, увидев ваши работы, считает мои просто безделушками.

– Мне нужен секретарь. Пусть придет завтра. На пять минут. Она образованна?

– Пожалуй, даже слишком для женщины, да еще молодой.

– Хороший секретарь мне необходим.

– Может быть, в этом она вам тоже поможет, в отплату за учение.

– Я не беру на себя никаких обязательств, – резко сказал Огюст, – у меня и так много учеников. – И вдруг его осенило – понял, что не удовлетворяло его во «Вратах». – Времени у меня в обрез. Пусть зайдет завтра на пять минут. Запомните. Это все. – Он повернулся к фигуре поэта на тимпане. Фигура была слишком хрупкой. А для тимпана «Врат» нужны мощные, трагические фигуры, которые станут ключом для всей композиции. – Где маленький Огюст? – крикнул он. Но никто не знал. Ему бы сейчас Пеппино и Сантони. Хорошие модели – вот что ему нужнее всего. Он так ушел в свои думы, что забыл проститься с Буше.

3

Огюст очень удивился, когда назавтра Буше привел Камиллу Клодель, Он совсем забыл о ней, работая над фигурой поэта. Маленький Огюст позировал, но фигура сына была юношески слабой, недоразвитой. Да еще, как на грех, сын опоздал на сеанс и никак не мог сосредоточиться, заглядываясь на новеньких натурщиц. Огюст не любил, когда его прерывали, беспокойства сегодня и так уже больше чем достаточно, но внешность Камиллы поразила его.

Она красива, подумал он, ощутив внезапное волнение. После Мадлен у него было несколько возлюбленных, и все они были привлекательны, но меркли рядом с этой молодой женщиной. Сколько в ней изящества, элегантности. Какая великолепная осанка и голова. В чертах лица столько гармонии. Глаза светлые,

серо-голубые, как на изумительных портретах Боттичелли. Его вдруг охватил страх. Последние месяцы он трудился, как отшельник в пещере, лишь время от времени забываясь с Розой – другие были как лекарство, раз в неделю, чтобы стимулировать кровообращение и восстановить энергию, – а появление этой молодой женщины напоминало ему, что он еще мужчина, полный страстей и желаний.

Когда Буше представил ее, он лишь коротко кивнул и сказал:

– Доброе утро.

– У Родена плохие манеры, Камилла, но он действительно очень занят, – сказал Буше.

Она ответила ясным, решительным голосом:

– Мне нет дела до его поведения. Я хочу у него учиться.

Маленький Огюст смотрел на нее завороженным взглядом; Огюст раздраженно приказал сыну проверить количество мрамора, сложенного во дворе.

– Мадемуазель, откуда вы знаете, что вам нужно учиться? – спросил Огюст.

– Нелепый вопрос, – сказала она. – Разве мосье Буше привел бы меня, если бы считал это пустой тратой времени? Он ведь тоже занятой человек, мосье.

Буше согласно кивнул, и Огюст сказал:

– Возможно, но учеников у меня достаточно. Вы можете работать секретарем?

– Но это же глупо! – воскликнула она.

– Глупо? – Огюст смутился.

– В своей мастерской вы лепите прекрасных, свободных женщин, а когда женщина хочет быть самостоятельной в жизни, вы против, мосье Роден. Я скульптор, а не секретарь. Разве мосье Буше не говорил вам?

– Мне нужен секретарь.

Они молча созерцали друг друга. Она слишком красива, чтобы быть скульптором, решил он, и слишком благородна для натурщицы или даже секретаря.

Перед ней стоял коренастый, энергичный мужчина средних лет в длинной белой рабочей блузе скульптора, напоминавший ей средневекового резчика по камню, изображение которого она видела на одном из больших соборов. Широкие мускулистые плечи, сильные рабочие руки, большие, мощные кисти и гибкие, искусные пальцы с квадратными ногтями. Он смотрел на нее строгим взглядом, а руки его, хотя она и оторвала его от работы, все поглаживали глину. Они ласкали незаконченную фигуру, словно тело любимой. Камилла вспомнила руки микеланджеловского «Моисея» и «Давида» – властные,

наделенные титанической силой. А когда руки Огюста непроизвольно сжались в кулаки, словно он готовился к бою, она представила себе его работающим оголенным по пояс – Вулкан, раздувающий кузнечный горн. Нет, пожалуй, своей густой рыжей бородой он, скорее, напоминает Мефистофеля. Он сжигал ее своим презрительным взглядом, словно решил испепелить.

Негодуя, что мэтр словно вынуждает ее оправдываться, она сказала:

– Я начала работать с глиной в тринадцать лет.

Он ответил:

– Моя мастерская не для дилетантов, это серьезное дело.

Теперь она рассмотрела его высокий покатый лоб, густые рыжие волосы, чуть тронутые сединой, ясные синие глаза и как он близоруко щурится; наклоняя голову вперед. Ей вдруг захотелось лепить его.

– Мосье Роден, – сказала она, – я говорю вполне серьезно. Я бы с удовольствием сделала ваш бюст.

– В скульптуре нет места удовольствию. Ваяние-тяжелый труд.

– Поэтому вы хотите меня унизить? – сердито спросила Камилла. Глаза ее блеснули, нежное лицо стало решительным. – Конечно, мэтр, я могу помогать вам в качестве секретаря, но я должна и лепить.

– И если понадобится, подметать мастерскую, – добавил он.

– Если понадобится, – повторила она.

– И убирать глину, гипс и всякий мусор за другими?

– Да.

– И никогда не жаловаться?

– Никогда.

– Работать по многу часов подряд. Иногда допоздна и по воскресеньям.

– Сколько потребуется.

– Вы хотите сказать, мадемуазель, что вас не интересуют молодые люди?

Она вспыхнула и хотела было сказать: «Не ваше дело», – но Буше перебил ее:

– Дорогой Роден, не слишком ли вы суровы?

– Нет. Я не хочу брать в мастерскую женщину, а потом потерять ее из-за любовной истории, как раз когда она научится мне помогать.

Камилла спокойно сказала:

– Это не должно беспокоить вас, мосье.

Но теперь Огюст испытывал смятение. Чем дольше эта девушка стояла перед ним, тем труднее было оторвать от нее

взгляд. Тонкое лицо Камиллы было именно тем чудом, о котором он всегда мечтал. Ее улыбка наполняла его радостью. Он удивлялся своему волнению. Это просто смешно. Он стар для нее. Семейный человек. Он сказал:

– Помимо всяких прочих обязанностей вам еще придется без конца переделывать свои вещи.

– Я готова делать все, что делают другие, мэтр.

– Очень хорошо. Можете начать на следующей неделе. Скажите маленькому… Нет, приходите прямо ко мне, и я покажу вам, что делать.

– Спасибо, мэтр. Я очень благодарна. Я… Он прервал ее, предупреждая:

– Это только испытательный срок, мадемуазель. По правде, я не верю, что женщина может стать хорошим скульптором. В особенности молодая. – Увидев, как она огорчилась, он добавил: – Ну, во всяком случае, можете попробовать, если вы намерены работать упорно… – Она с готовностью кивнула, и он сказал:– Запомните мои слова: ваяние – труд, тяжкий труд, а не удовольствие. Искать удовольствие в искусстве – удел дилетантов. А для меня нет ничего хуже, мадемуазель, чем видеть у себя в мастерской дилетантов.

Он не потрудился проводить Камиллу и Буше до двери. Было бы лучше, если бы она не оказалась такой красивой. И такой молодой – почти вдвое моложе его. Он стал себя убеждать, что красота тут ни при чем, а волнение, которое он испытывал рядом с ней, лишь от желания ее лепить.

4

Чтобы доказать Огюсту, что он не напрасно взял ее в ученицы, Камилла работала вдвое больше других. Она исполняла все, что требовал Огюст: подметала и убирала мастерскую, успевая делать наброски и лепить, строила каркасы и подмостки. Был только один порог, которого она не решалась перешагнуть: Камилла не позировала. Огюст не просил, и она была благодарна ему; мысль об этом приводила ее в смущение – позировали в мастерской главным образом обнаженными, а к этому она еще не была готова.

Большинство учеников-будущих скульпторов – позировали, чтобы научиться этому, но Камиллу Огюст освободил, оправдываясь тем, что она не профессиональная натурщица, как другие девушки, работающие в мастерской.

Время от времени он давал ей те или иные указания, а в общем почти не обращал на нее внимания, но она чувствовала,

что он непрерывно за ней наблюдает. Часто она очень уставала, рабочий день был длинным, а ей полагалось делать все наравне с мужчинами: перетаскивать бюсты, взбираться по шатким, непрочным подмосткам или подавать мэтру инструменты.

Тяжелее всего было одиночество. Все были с ней очень вежливы и очень официальны. Никого не удивляло, что красивые молодые женщины позируют, но то, что такая хорошо воспитанная барышня всерьез занимается ваянием, казалось странным. По каким-то неуловимым признакам она чувствовала, что стала отверженной. Она работала в неприбранной, загроможденной мастерской, а в душе рос протест. Зачем ей все это? Мастерская Родена, о которой она так мечтала, стала для нее тюремной камерой, где ее никто не понимал. Мастерская стала для нее не центром вселенной, а местом, где она несчастна и одинока.

Однажды в отчаянии от бессмысленности своих занятий Камилла начала лепить Родена, работающего над «Вратами». Вначале у нее не было и в мыслях показывать ему свой опыт – просто надо было лепить что-то, но, по мере того как голова обретала форму, работа поглотила ее, и она стала втайне надеяться на одобрение мэтра. Огюст как раз нашел новое решение для тимпана «Врат» – три мужские фигуры, которые он назвал «Три тени», и решил вынести на передний план; он работал исступленно, и настроение улучшилось.

Как-то утром Камилла, довольная тем, что мэтр, поглощенный работой, забыл о ней, напряженно лепила, спеша закончить портрет, как вдруг за спиной у нее раздался кашель. Она обернулась – Огюст внимательно разглядывал бюст. Она ожидала, что он безжалостно раскритикует ее работу, но он только сказ зал:

– Нос великоват, и рот слишком тонок, а глаза без выражения, но вы еще молоды, еще научитесь передавать правду, не льстя модели. Однако рука у вас верная, да и туше недурно.

Он стал уделять ей особое внимание. Подбадривал ее, поощряя закончить портрет. Те несколько минут, которые он уделял ей ежедневно, стали для нее дороже всего на свете. Но когда после нескольких недель упорного труда – так упорно она еще не трудилась – она решила, что бюст закончен, он сказал:

– Вы допустили ошибки. – Какие?

– Изучите модель внимательнее.

– Я изучила.

– Возможно, мадемуазель. В таком случае вам не удалось передать ее внутреннее содержание.

Камилла совсем пала духом и хотела бросить работу над

бюстом, но Огюст не позволил. А когда сказала, что хочет помогать ему в работе над «Вратами», как другие ученики, он отказал. И посоветовал не посещать классы живой натуры, где ученики рисовали с обнаженных моделей – мужских и женских.

Это огорчило ее, а он сказал:

– У вас развивается способность лепить бюсты. Возможно, это ваше призвание. На этом и нужно сосредоточиться.

– Но вы никогда не удовлетворены моей работой!

– Я и своей никогда не удовлетворен. Камилла не поверила – об этом говорил ее пристальный взгляд.

– Именно так, – сказал он. – Вы видели мои бюсты Гюго?

– Нет. И не слышала ни об одном, мэтр.

– Они в другой мастерской. Это тайна. Они сделаны без согласия Гюго и еще не закончены, потому что я недоволен ими. Хотите посмотреть?

– Очень.

Он усмехнулся с видом заговорщика, дал ей адрес своей третьей мастерской и сказал:

– Никому ни слова. Эта мастерская засекречена, о ней никто не знает.

Страх и волнение охватили Камиллу. Впервые она почувствовала, что мэтр замечает ее и как женщину. Она пообещала:

– Никто не узнает, мосье.

– Вы меня не так поняли. Сколько вам лет, мадемуазель? Честно?

– Двадцать.

– Я гожусь вам в отцы.

«Но вы мне не отец», – подумала она и была рада, что это так.

– Мы будем там работать, мосье Роден?

– Посмотрим.

5

Жалкий вид мастерской неподалеку от острова Сен-Луи удивил и разочаровал Камиллу, Ей понравилось местоположение, но неприятны были грязновато-желтые стены, облупленная краска, выцветшие занавески на окнах, рассохшиеся ставни, беспорядок, кучи материала и пыль повсюду. Никакой романтики, и все, казалось, вот-вот рассыплется в прах.

Огюст улыбнулся, заметив ее разочарование, и сказал:

– Я собираюсь снять еще одну.

– Но у вас уже три.

– Будет четыре. Мне всегда хотелось мастерскую поближе к

площади Италии. Это интересная часть Парижа. И там можно найти уединение.

– Но здесь можно навести порядок. Будет вполне прилично.

– Мне все равно, как выглядит мастерская. Это одно тщеславие.

– А четыре мастерские – не тщеславие?

– Мне нужен простор. В трех тесно.

– Но эта так хорошо расположена, мэтр.

– А я и ее сохраню на всякий случай. Взмахом руки он отмел ее возражения.

– При новой мастерской будет двор. Я всегда любил дворы. Подождите, покажу вам бюсты.

Обиженная его резким тоном, Камилла направилась было к двери, но остановилась – ее привлек стоящий в углу бюст. Это был гипсовый бюст прелестной молодой женщины: любопытство Камиллы было задето.

– Кто это?

– Не ваше дело, мадемуазель.

«Он настоящий тиран», – подумала Камилла вне себя от бешенства. Она чуть не умерла от стыда и унижения, но ей страшно хотелось задать ему этот вопрос.

И теперь, оказавшись в глупом положении, язвительно заметила:

– Он такой классический. Почти римский.

К ее удивлению, он не оскорбился, а просто сказал:

– Вы правы.

– Вам он не нравится? – спросила изумленная Камилла.

– Не очень. Я находился тогда под влиянием Каррье-Беллеза и думал о Марии-Антуанетте[81].

– У нее необычайно красивое лицо.

– Моделей с красивыми лицами сколько угодно. – Он сделал нетерпеливый жест, меняя тему разговора. – Но дело не в том. Вот бюсты Гюго. – И снял влажные тряпки с обоих. – Говорите только правду. Будьте безжалостны, если нужно.

– Конечно. – Она будет так же сурова с ним, как и он с ней. Камилла стояла завороженная. Казалось, на нее смотрит живой Гюго. Папаша Гюго смотрит на свою любимую Францию, богоподобный и такой земной. Она была потрясена. Мэтр говорил, что бюсты не окончены, но она чувствовала, как пульсируют вены на лбу у Гюго. Все черты как живые, выдержанные в гармоничном единстве. Моделировка обоих бюстов была грубой: словно два утеса со множеством расщелин. Отошла в прошлое сентиментальная гладкость, думала она. Округлые полированные поверхности. Ложная искусственность,

веками властвовавшая во французских скульптурных портретах, даже у Гудона. Вся во власти эстетического наслаждения, Камилла готова была броситься к ногам мэтра. Как можно обижаться на такого художника! Но все это надо держать про себя. Спотыкаясь, она подошла к единственному в мастерской стулу и села, стараясь совладать с собой.

– Вам они не нравятся, мадемуазель?

«Что же делать?» – кричала ее душа. Ему небезразлично ее мнение. Она еще не видела мэтра в такой тревоге– он ждал ее приговора.

– Я же говорил, что они не закончены.

– Нет, вы ошибаетесь. Они закончены.

– Но мне все время приходится менять выражение лица.

– Потому что у Гюго нет постоянного выражения, оно все время меняется.

– Меняется? – Он внимательно смотрел на нее. Почему это не пришло ему в голову?

– Да. И, однако, – Камилла осторожно подбирала слова, стараясь не выдать, как бешено бьется ее сердце, – каждый бюст точно передает выражение, характерное для Гюго.

– Вы его знаете? – спросил Огюст, внезапно обеспокоившись.

– Только по книгам. А вы, мэтр?

– Немного. Вам он нравится?

– На мой взгляд, его поэзия слишком романтична, но мне нравятся «Отверженные», это замечательная книга. Вы читали ее?

– Не до конца, – с сожалением признался Огюст. – Нет времени.

– Но я предпочитаю Золя, Доде и этого нового, Мопассана, хотя мне не нравится его взгляд на женщин.

– Если хотите, могу вас познакомить с Золя и Доде.

– Нет, – отказалась она решительно. – Они меня разочаруют, я уверена. Как почти все великие люди.

Он слегка улыбнулся, но она оставила эту тему и спросила:

– А кого предпочитаете вы, мэтр?

– Руссо, Данте, Бальзака, Бодлера…

– Бодлера? Это под его влиянием вы меняете «Врата», не так ли?

– Я держу его книгу у постели, вместе с Данте, но в одном Париже столько моделей, что работы над «Вратами» хватит на всю жизнь. – Он замолчал, словно сожалея, что разговорился. Она тоже молчала и сидела, опустив прекрасные глаза, а он наблюдал за ней.

Как она трогательна в этой задумчивости, которое он раньше у нее не замечал. Он готов был лепить её хоть сейчас, вот так как

она сидит.

Камилла подняла глаза. Взгляды их на минуту встретились.

– Мне бы хотелось… – Он остановился.

– Вы хотите, чтобы я вам позировала?

– Не знаю. Вы еще очень молоды.

– Зрелость – это степень умственного развития.

– Я настояла, чтобы мои родители перебрались из Шампани в Париж. И я буду скульптором, что бы они ни говорили.

– О, я допускаю, что в чем-то вы вполне взрослый человек, мадемуазель, – сказал он. Ему и нравилась эта молодая женщина и чем-то смущала его: она так отличалась от всех, кого он встречал. Ее отзывчивость, понимание с полуслова грели ему душу, но она – еще не распустившийся бутон, а он…господи… Он вдруг почувствовал себя таким стариком!

– Вы придаете слишком большое значение возрасту, – сказала она. – И Гюго тоже?

– Гюго! – Их взгляды снова встретились, на этот раз надолго. И тогда обоим показалось, что темноту прорезали яркие лучи света.

– Спасибо, мадемауазель, вы мне помогли. Мы будем работать в новой мастерской. Как только я ее сниму. Раз в неделю, по субботам.

Глава XXIX

1

Пришла суббота. Огюст, горя от нетерпения и волнуясь, явился в новую мастерскую пораньше, и когда Камилла не опоздала, вздохнул с облегчением.

Новая мастерская, около площади Италии, на пересечении улиц Рубенса и Веронезе, оказалась меньше, чем ожидала Камилла, но была тщательно прибрана, в ней было много света и какой-то особый уют; перед домом – двор, а позади – ухоженный сад. Камиллу, правда, несколько разочаровала чересчур скромная обстановка: из мебели только самое необходимое для работы. Зато ей понравились кованые ворота под высокой сводчатой аркой, мраморный фонтан в центре вымощенного булыжником двора и, огораживающая его, высокая стена.

– Мастерская, – сказал он, – только часть трехэтажного дома. Я снял весь дом, чтобы ничто не мешало.

– Наверху есть жилые комнаты?

– Да. На втором этаже спальня, на случай если вздумается здесь ночевать, а на третьем – кладовая для материалов.

– Все это, должно быть, очень дорого?

– Как все мастерские. Но она того стоит, мадемуазель.

– Вам видней, мэтр. – У нее не хватало смелости возражать ему; а он гордился мастерской, как ребенок новой игрушкой.

– Потратил целый день на поиски. Осмотрел множество, прежде чем остановиться на этой. Вам нравится?

Камилла улыбнулась, довольная, что он все-таки интересуется ее мнением.

– Да-да. Она куда лучше других. Тут спокойно. Тихо.

– Вот и отлично, У меня много планов, которые надо осуществить.

– А что мне делать, мэтр?

– Вы будете просто прогуливаться взад и вперед. Непринужденно, как натурщицы в большой мастерской.

Ей казалось, что она ходит взад и вперед уже много часов, а он еще и не прикоснулся к бумаге. Затем, почти не глядя на нее, сделал десятки набросков. Весь первый день ушел на эскиз головы. И это было все, но, когда он сказал: «До следующей субботы!» – ей вдруг стало весело.

На следующей неделе, хотя она была очень занята в главной мастерской, ей казалось, что время движется чересчур медленно.

Помимо бюста мэтр заставил ее работать над деталями для «Врат», преимущественно женскими фигурами. Подсобной работы у нее теперь убавилось, и большую часть времени она уделяла лепке.

В следующую субботу в новой мастерской он вдруг перешел к лепке рук. «У вас прекрасные руки», – проговорил он и, словно устыдившись, умолк. Но стал лепить их с еще большим усердием.

О следующей неделе не было сказано ни слова. И хотя шел сильный дождь, оба явились точно в урочный час. Он отрывисто сказал:

– Поскольку мы уже достаточно знакомы, пора бы перестать величать друг друга «мэтр» и «мадемуазель», а звать друг друга просто по имени.

– Как хотите, мосье.

– Я буду звать вас Камиллой, а вы меня Огюстом, Но не в главной мастерской. Там это неуместно.

Она кивнула, но они по-прежнему держались друг от друга подальше. Весь день прошел в работе. Он не спрашивал, устала ли она, и, только выбившись из сил, прекратил работу. Затем проводил Камиллу через мощеный двор, окруженный высокими стенами. Раньше она восторгалась мраморным фонтаном посреди двора, теперь ей стало почему-то грустно при виде его. Огюст расстался с ней у кованых ворот, еле бросив на прощание короткое «до свиданья». Ни он, ни она не называли друг друга по имени.

2

В последующие недели работа настолько захватила Огюста, что он, казалось, совсем не замечал окружающих, да и Камилла была лишь частью его работы. Рада она или, наоборот, сожалеет, спрашивал он себя. А ему, твердил он себе, лишь бы двигалось дело, а теперь оно шло успешно. Он лепил ее голову, кисти рук, руки – все порознь. Она вдохновляла его – он работал упорно и держался с ней вежливо, – друзья вечно упрекали его за грубость с натурщицами, но при Камилле он старался быть сдержанным. Его мучило желание увидеть ее тело, но он не мог побороть свою робость, чего раньше с ним не случалось. Он страдал от этого искушения и сознавал свою беспомощность. У нее, должно быть, идеальная фигура натурщицы. Как-то в субботу Огюст машинально начал гладить ее руки, чтобы убедиться, правильно ли уловил их линии, но она вся сжалась. Как объяснить ей, что он ничего не может с собой поделать? Что поступает так со всеми моделями. С минуту он смотрел на нее сердитым, удивленным

взглядом, затем резко бросил:

– У каждого скульптора свои правила и свои привычки.

Она не слушала – вся во власти страха и желания.

Огюст с негодованием сказал:

– Я не соблазнитель. Камилла молчала.

– Вы можете идти, мадемуазель, – сказал он. – Господи, на что мне модель, которая беспокоится, не остыл ли обед на плите, или опасается за свою невинность.

Она не двигалась с места. И вдруг спросила:

– У меня подходящая для натурщицы фигура? – Может быть.

– Вы хотите увидеть мое тело?

Он пожал плечами – еще бы! Тело есть тело.

– Хотите, чтобы я позировала для «Евы»?

– Спасибо, нет! Хватит с меня этих Ев!

– Чего же вы хотите?

– Это зависит от того, что я увижу.

Она с минуту колебалась, потом сказала:

– Вы отвернетесь, пока я разденусь?

Ему вдруг захотелось крикнуть, что это глупо, но при виде ее смущенной улыбки, он понял без слов: она вверяет ему себя, свое будущее, и послушно повернулся к ней спиной.

Через несколько минут Камилла прошептала:

– Я готова, Огюст. Я около станка.

Сложена она была изумительно, как он и предполагал, ее тело было столь же прекрасно, как и лицо. Идеальное тело натурщицы, ликуя, говорил он себе, именно о таком он и мечтал: белоснежные девственные плечи, длинный изящный торс, тонкая талия, красивые бедра, стройные, хорошо развитые ноги, небольшие, но округлые ягодицы и самое волнующее – высокая грудь. Господи, какие великолепные груди! Еще совершенней, чем он воображал, – высокие, совсем как на египетских фресках, полные, упругие. И он был доволен матово-розовым оттенком ее кожи. Такая кожа прекрасно отражает свет. Наконец-то перед ним тело, достойное мрамора!

Камилла не узнавала мэтра, так он преобразился. Его глаза сияли, лицо горело, порывистым шагом он подошел к ней. И вдруг остановился.

– В чем дело? – пробормотала она. – Что-нибудь не так?

Такой бледной он ее никогда не видел. Она вся дрожала, охваченная страхом.

– Вы боитесь? Вам нечего бояться.

– Я не боюсь. – Но она продолжала дрожать. Он набросил ей на плечи одну из своих рабочих блуз, затопил камин. Когда она согрелась и кожа ее порозовела, он приказал ей снять блузу и

походить по мастерской. Сначала она держалась неловко и скованно, и он, теряя терпение, сказал:

– Ну чего вы согнулись, еще будете такой, когда ягодицы опадут и живот обвиснет. – Тут она поборола свою робость и с гордым видом, величественной походкой зашагала по комнате; природный румянец снова заиграл на ее лице.

Огюст сделал с нее десятки набросков. Нарисовал множество фигур в движении, но ни одна его не удовлетворяла. Уже наступили сумерки, когда он наконец велел Камилле остановиться. Она падала от усталости. Но мэтр еще не кончил. Она слишком благородна, говорил он себе. Он внушал себе, что смотрит на нее с профессиональным бесстрастием, но, когда она, повернувшись, улыбнулась ему смущенной улыбкой, он понял, что обманывает себя. Эта девушка необычайно волновала его. Вид ее обнаженного тела разжигал в нем страсть. Он желал ее, как никогда еще не желал ни одну женщину. Его влекла к нему сила, с которой не совладать. Он резко сказал:

– Вы все еще слишком скованно держитесь.

Наступило долгое молчание. Камилла стояла, опустив голову. Ее обидела его резкость, но теперь она не сомневалась, что должна принадлежать этому мужчине. Она чувствовала на себе его неодобрительный взгляд, и это было невыносимо – какой он мужественный, именно такой, каким должен быть мужчина.

– Пройдитесь передо мной, – приказал он.

Она прошлась медленно, нерешительно. Огюст вдруг остановил ее. Надо прикоснуться к телу, чтобы уловить ритм движений. Он провел ладонями по талии, чтобы запомнить точно линию, ощутить пульсирующую плоть, неуловимый аромат ее кожи. Она так отличалась от всех его моделей! Близость этой девушки вызывала в нем непреодолимое желание.

Прикосновение чудесных рук Огюста родило в Камилле бурную волну ответных чувств. Под его руками тело ее трепетало. Он должен взять ее, она возненавидит его, если он этого не сделает. Она любит его, она его не боится. В порыве чувств Камилла судорожно прильнула к Огюсту.

Он повел ее наверх, его робость сменилась уверенностью. Романтическая любовь – самая опасная, он это знал, но ему было уже все равно. Как хорошо, что между ними так много общего, благодаря ей он обрел в себе новые силы и уверенность, стал таким, каким хотел быть, и это, пожалуй, важнее всего.

А потом уже не было ничего важнее объятий.

Камилла была благодарна Огюсту: он не был с ней груб, резок и поспешен в любви; он сумел провести ее сквозь опасности, которые таятся в невинности и неведении, с тактом и

бережностью, чего она не ожидала. Она наслаждалась полнотой переполнявших ее чувств, прижимала его сильные ладони к своим нежным щекам, целовала и ласкала их. И когда он вдруг отстранился, это ее потрясло. Не успела она спросить, в чем дело, как Огюст зажег свечу, набросил на плечи блузу и поспешил вниз, разговаривая на ходу сам с собой.

Ну и глупец же он! Стоя перед последним начатым с нее наброском, он вдруг понял, в чем была ошибка. Он идеализировал, когда надо было индивидуализировать. Он ошибся, подход был неверным.

В дверь постучали. Огюст вздрогнул; кто мог разыскивать его здесь? Оказалось, привратник, которого разбудил свет.

Огюст облегченно вздохнул.

– Я работаю.

– Извините, мосье, – сказал привратник, толстый пожилой мужчина.

– Спокойной ночи, – Огюст захлопнул дверь перед самым его носом.

Он так ушел в работу, что не заметил Камиллу. Она стояла у подножия винтовой лестницы и наблюдала за ним, завернувшись в одеяло – в спешке не нашла ничего другого. Ей пришлось громко кашлянуть несколько раз, прежде чем он заметил ее.

– Я был идиотом, – сердито сказал Огюст.

– Идиотом? – Она вздрогнула. Значит, все, что между ними произошло, ошибка? – А как же я? – спросила она.

– Как же ты? Я был глупцом, но и ты не лучше.

– А что мне еще было делать? – Слезы застилали ей глаза. Он – ее первый мужчина, и она поддалась его обаянию, разве она могла устоять?

– Я старалась. – В этот момент она его ненавидела.

– Да, конечно. Но этого было недостаточно. – Он хмуро смотрел на скульптуру.

– Я не о том. Я про нас, там, наверху.

– А, про нас. – Неожиданно он сказал: – Ты очень мила вот так, с распущенными волосами. Я и не знал, что они у тебя такие длинные. Стань вон там и не снимай одеяла.

– Где? – Она была растеряна.

– Возле станка. Зачем, по-твоему, я спустился вниз?

– Значит, тебе было со мной хорошо?

Он посмотрел на нее так, словно она сошла с ума.

– Милая, неужели надо спрашивать?

– Я думала… – Теперь она не могла сказать, о чем думала.

Он не слушал. Он снова разглядывал фигуру, над переделкой которой трудился, когда его оторвали.

– Я совсем запутался. Допустил ужасную ошибку. Как я мог оказаться таким глупцом? И ты мне не помогла.

– Огюст, это несправедливо. – Он обращался с ней, словно с ребенком.

– Несправедливо? – Он усмехнулся. – В искусстве не существует понятия «справедливость». Я видел в тебе идеал, а не индивидуальность. Когда я лепил тебя, я не был достаточно уверен в себе, достаточно объективен. Мало сделать тебя «Весной» иди «Данаидой», нужно видеть тебя такой, какая ты есть. А я был рабом своих чувств, а не их хозяином.

– Что же мне надо сделать?

– Позируя, быть естественней, самой собой. Чтобы я чувствовал в тебе Камиллу, а не женщину вообще.

Она испугалась. Нет, никогда она не сумеет удовлетворить его ни как натурщица, ни как ученица. Камилла плотнее закуталась в одеяло и стала подниматься по лестнице, но Огюст остановил ее, поцеловал и сказал:

– Камилла, дорогая моя. Что поделаешь, ведь я из крестьян, не умею говорить комплименты, я…

– О! – вдруг перебила она. – Ты пахнешь глиной. – Он отступил, и ей стало его жалко. Как бы он ни делал ей больно, она не хотела ранить его. – Прости, Огюст, я не всегда тебя понимаю.

Он спокойно сказал:

– Недавно ты стояла вот тут, и я говорил себе: бог мой, какая она неприступная, – и все еще не могу поверить в то, что случилось. Но когда я леплю твою фигуру, все обретает для меня реальность. Это мой язык, на нем я могу с тобой разговаривать. Ты можешь сейчас позировать?

– Конечно!

– Недолго, всего несколько минут.

Они работали почти до рассвета.

Глава XXX

1

Теперь Огюст каждый день лепил Камиллу. Он разрешал ей работать над своими незаконченными статуями – чего не разрешал никому, – доверял лепить головы, руки и ноги своих фигур. Он проводил с ней в новой мастерской все среды и субботы.

Присутствие Камиллы было радостью еще не изведанной. Она была для него идеалом красоты, олицетворением всего, что он мечтал встретить в женщине. От одной ее улыбки он молодел, такой чудесной улыбки не было ни у кого. Она как первая любовь, думал он, до нее он не знал настоящего чувства. Когда он бывал с ней, куда бы они ни ходили, Париж становился прекрасным, полным романтики, веселья, жизни. Бродили ли они по площади Оперы, любуясь группой Карпо «Танец», или рассматривали статую Генриха IV на Новом мосту, обменивались ли мнениями о скульптурах в Люксембургском саду, включая и его собственную, он смотрел на прекрасный Париж новыми глазами.

Когда она начала лепить его бюст, он сразу распознал в ней природный талант скульптора, но не ожидал встретить в ней женщину, которую страстно полюбит и с которой сможет делиться всеми помыслами. Ее интеллект был для него загадкой. Камилла была очень начитанна, хорошо образованна, лишена всяких предрассудков, а суждения ее были всегда оригинальны.

Камилла рассказала Огюсту, что с матерью она ладит, а с отцом, который воспитал ее в духе свободомыслия, вечно вступает в споры. И хотя она разделяет скептическое отношение отца к религии, бывают моменты, когда у нее возникает сильное желание пойти в церковь, уверовать в идею первородного греха, хотя она хоть сейчас может заявить, что религия обман. Она была старшей из троих детей в семье. Ее младшая сестра, Луиза, решила стать великой пианисткой, как Камилла – великим скульптором, а брат Поль хочет прославиться как поэт-драматург. Камилла жила на улице Нотр-Дам де Шан с матерью, сестрой и братом; отец государственный служащий, продолжал жить в Рамбуйе. Но, с гордостью заявила она Огюсту, она не слушает никого из них, для нее существует только его мнение. Когда мать стала упрекать, что она не ночует дома, Камилла пригрозила, что уйдет навсегда, и мать умолкла. Камилла догадывалась, что мать в отчаянии молится за спасение ее души, но делала вид, что ее

это не трогает. Однако временами мучилась от угрызений совести, словно в душе все еще не умолкли отзвуки веры, от которой она отреклась. А потом и вовсе перестала видеться с родными, и все время проводила в мастерской Огюс-та, так же как и он, уйдя с головой в работу. В такие дни она работала не менее упорно, чем Огюст. Ради него она готова была пожертвовать всем – это приносило облегчение, словно сознание своего мученичества могло снять грех с ее души.

Так проходили недели, и Камилла уверяла себя, что счастлива – она училась у Огюста, работала с ним, позируя часами, и терпеливо сносила грубые окрики, когда он бывал ею недоволен.

Огюст стал больше уделять внимания своей внешности. Он тщательно подстригал густую рыжую бороду, которой гордился. А когда находил седой волос, тут же выдергивал. Он подрезал ногти, когда она сказала, что они царапают. И стал следить за чистотой своих рабочих блуз.

Его больше не мучил вопрос о том, за какую работу браться. И хотя он продолжал трудиться над «Вратами» и над другими заказами, редкая, изысканная красота Камиллы больше всего вдохновляла его. Она стала его любимой моделью. Профессиональные натурщицы казались теперь простыми мединетками с Монмартра или лоретками из кафе. Камиллу с ее благородной внешностью он считал идеальной для мрамора. Она позировала для бюстов, которые он назвал «Рассвет», «Радуга» и «Мысль» и воспроизвел в мраморе. Особенно его увлекала работа над «Мыслью», – ее голова как бы выступала из глыбы мрамора, словно рождаясь из нее.

Камилла не понимала, что ему еще, – она считала, что «Мысль» прекрасна, полна выразительности и по-настоящему самобытна, а он ответил:

– Жизненности не хватает, жизненность должна передаваться мрамору. Когда я почувствую, что кровь из головы, словно по сосудам, вливается в мрамор, я буду доволен. Но тебе не надо больше позировать. Над мрамором я могу работать и без тебя.

– Но разве и теперь, уже в мраморе, она все еще не закончена?

Он посмотрел на нее, как на малое дитя. И раздраженно объяснил:

– Я не резчик по мрамору, как был в свое время Микеланджело. Теперь это и не требуется. Но мне еще предстоит много потрудиться. Если я не приложу руки к моим мраморам, они останутся просто глыбами камня, слепком с натуры. Камилла, вещь в разном материале звучит по-разному, – Он

посмотрел на ее, мраморный бюст так, словно перед ним божество, и снова приступил к работе.

Но над чем бы Огюст ни трудился, мысль его все время возвращалась к новой теме – скульптуре, которую он называл «Данаида». Вначале, в упоении от тела Камиллы, он жаждал лепить с нее Венеру. Но потом решил, что этот образ уже исчерпал себя. Да и сама идея не вдохновляла. Озарение нашло, когда он вспомнил их первую ночь любви, миг, когда она, склонившись, застыла в стыдливой позе, охваченная страхом, стремясь скрыть от него свое смущение. Он никак не мог простить ей этого страха и в то же время бережно хранил в душе это движение, полное непосредственного чувства и драматизма, чтобы когда-нибудь передать его в скульптуре.

В то утро он неотступно думал об этой теме. Прошла неделя после их спора о «Мысли». Камилла пришла в мастерскую, готовая позировать для новой головы, и он бросил только:

– Раздевайся.

Она не осмеливалась перечить, хотя раздеваться не хотелось.

– Прекрасно, – сказал он, когда она сняла с себя все.

Он провел несколько раз руками по ее спине, и она спросила:

– Как я сегодня позирую?

– Так себе, но лучше, чем прежде. Наклонись больше. Совсем. Коснись пола.

– Коснуться пола? Но он холодный.

– Таким же холодным останется и мрамор, если ты этого не сделаешь. – Он пригнул ее голову вниз, пока она не коснулась пола. Камилла дрожала от холода, и тело все больше напрягалось, а Огюст делал быстрые наброски.

Внимательным, полным любви взглядом он схватывал детали: изящные очертания спины и ягодиц, форму поникших плеч, изгиб бедер, нежную, посиневшую от холода кожу.

Он работал с таким упорством, что она боялась вздохнуть. «Сам господь бог не осмелился бы ему сейчас помешать», – думала Камилла. Она застыла согнутой, и ей казалось, что спина вот-вот переломится и мускулы не выдержат.

– Приподними немного плечи – бедра слишком подняты! Можешь минуту постоять неподвижно? Господи! Перестань же двигаться!

«Как трудно, – подумала Камилла, – быть идеальной натурщицей, но, пожалуй, еще труднее быть идеальной подругой Огюсту». Кровь прилила к голове, и было очень мучительно. Она ждала одобрения, но прошло несколько часов, прежде чем он произнес:

– Можешь разогнуться.

– Ты доволен мною? – У нее затекли все члены, она едва держалась на ногах.

– Ты была терпелива.

– Спасибо, Огюст, ты очень добр.

Он нахмурился. Что ей вздумалось отвлекать его и требовать одобрения, когда он только начал обдумывать ее образ в новой теме любовных объятий.

Но, увидев, как он погружен в свои думы, Камилла решила, что его мысли заняты семьей. Она вдруг спросила:

– Ты скучаешь по семье?

К сожалению, она узнала о Розе, хотя упомянула о ней впервые. «Хотел бы я знать, кто это разболтал в мастерской», – сердито подумал Огюст. Он часто замечал, как маленький Огюст поедает Камиллу глазами, но теперь, бывая в главной мастерской, маленький Огюст держался в стороне. Огюст проворчал:

– Не спрашивай.

– Я должна быть благодарной и принимать тебя таким, какой ты есть?

– Иным я быть не могу.

Он уселся на стул, вид у него был слегка растерянный; она взяла его руки в свои, крепко сжала и сказала:

– Я не хочу разбивать тебе жизнь, Огюст, я хочу вдохновлять тебя.

– Вдохновение – такого понятия не существует, Только труд. Тяжелый труд. – Он порывисто встал, отстранил ее и подошел к «Данаиде»[82].

Он разглядывал скульптуру. Сегодня удачный день. «Данаида» обретала свежесть утренней росы, и хотя в ней вовсю пульсировала жизнь, но сохранился, и затаенный сдержанный пафос. Он был доволен. Может выйти выдающееся произведение.

В этот вечер Огюст пришел к Камилле в приподнятом настроении. И несколько недель они не выясняли больше отношений, а каждую ночь бурно любили друг друга.

2

Роза только и видела Огюста, когда он приходил ночевать, а теперь он часто не являлся и по ночам, и тогда она начала подозревать, что тут замешана другая, но доказательств не было. Когда она спросила, почему его все чаще не бывает дома, он сказал, что уезжал в Шартр и Реймс изучать соборы.

– Старые готические соборы – это лучшие образцы скульптуры, – начал было объяснять он, но замолчал, – все равно

Роза не поймет. А когда она стала надоедать расспросами, он вышел из себя.

Это совсем огорчило Розу. Она так хотела, чтобы он был с ней хотя бы добр, а он все сердится.

В постели она прижалась к нему, но его холодность обескуражила ее. Он отвернулся и уснул. В другой раз ночью, когда она сетовала на это, он проворчал:

– Я устал, очень устал, никак не закончу «Врата», я завален заказами.

Как-то, когда они готовились ко сну, Роза, которая всегда раздевалась в темноте и ложилась в постель в скромной ночной рубашке, оставила гореть газовую лампу, скинула с себя все и предстала перед ним обнаженная, приняв соблазнительную позу, чего раньше не делала.

Огюст сел на постели. Господи! Только этого недоставало! Неужели она не может держать себя в руках? Что на нее нашло? Это просто смешно. Как она постарела! Каждый день он видит такие красивые тела, а ее не пощадило безжалостное время. Двадцать лет не прошли даром. Ее движения все еще грациозны, осанка красива, но ей уже сорок. Он вспомнил, какой молодой и привлекательной была она, когда позировала для «Вакханки», и ему стало грустно.

– Простудишься. Накинь-ка халат, – сказал он. – На, возьми мой. – И протянул ей халат.

– Что-нибудь не так, дорогой? – Роза не взяла халат.

– Сейчас не время говорить об этом.

– Разве я такая уродливая? – Роза, это неприлично.

– Что я люблю тебя?

– Ты ведь не уличная девка.

– А кто я? Твоя экономка? Служанка? Прислуга? Он пожал плечами; он чувствовал к ней полное равнодушие и не знал, что сказать. Ему не хотелось, ее видеть. Он отвернулся, словно стараясь избавиться от наваждения, и проворчал:

– Сегодня у меня был ужасный день, пришлось самому делать всю работу за твоего сына. Когда он мне понадобился, его нигде нельзя было найти. Я страшно устал.

Она стояла ошеломленная, а он потушил ночник и отодвинулся к самому краю широкой двуспальной кровати, подальше, чтобы наказать ее.

3

С этих пор все переменилось. Роза следила за Огюстом, словно охотник из засады, наблюдала, оценивала, толковала по-

своему каждый его шаг, каждое движение и слово. Она почти не видела его, так как он был занят, и это еще больше усиливало ее уверенность в том, что он виноват, но в чем, она еще не могла понять. Не в силах больше сносить эту неопределенность, она отправилась в главную мастерскую.

Роза сделала вид, что пришла случайно, и то, что она там увидела, показалось ей сплошной неразберихой. Никто не обратил на нее внимания, так все были заняты. Она давно не заходила и была поражена, как за это время увеличился объем работ. Куда ни посмотришь– ученики, натурщицы, скульптуры в работе: слепки кистей рук, ног, торсов, голов, фрагменты; статуэтки, маски, целые фигуры, группы, больше в глине и гипсе, а некоторые в терракоте и несколько бронз и мраморов. Но Роза увидела, что «Врата» по-прежнему в центре внимания; огромной глыбой они возвышались над всем, и фигур столько, что и не счесть, Среди натурщиц было много очень привлекательных, и она не знала, на ком остановить взгляд. И тут увидела Огюста: он стоял у подножия «Врат» с двумя помощниками – молодым человеком и молодой женщиной; по его указанию они влезли по лестнице на леса и вносили поправки в фигуру поэта на тимпане «Врат», а он наблюдал.

Роза, затаив обиду – Огюст больше не советовался с ней в отношении работы, – направилась прямо к нему. Опешив, Огюст с минуту смотрел на нее, а потом рассердился.

– Господи, Роза! Пришла шпионить за мной! – Он проводил ее до дверей и приказал больше сюда не показываться. А когда она напомнила, как, бывало, помогала ему в работе – ведь никто так не умел менять влажные тряпки, – он оборвал ее:

– Я в этом больше не нуждаюсь. Если явишься еще хоть раз, я стану запирать двери.

Он унизил ее, но спорить перед посторонними было бы еще унизительней. Оставалось только уйти.

Спустя несколько дней, оказавшись одна с маленьким Огюстом – сын теперь редко бывал дома, говоря, что дома скучно, – она спросила:

– Твой отец интересуется какой-нибудь… другой женщиной? – Тяжело было задавать сыну такой вопрос, но ей нужно знать правду. Неведение – самое ужасное.

Маленький Огюст решил быть деликатным. Он пожал плечами.

– Теперь я точно знаю, что он кем-то увлечен, – сказала Роза с отчаянием, уверившись в своих подозрениях.

– Нет-нет, мама, он стал ценителем красивых женщин, ведь он теперь лепит одни обнаженные модели, но в этой мастерской

он только работает.

– В этой? А есть ведь еще только одна. Разве не так, дорогой?

Маленький Огюст молчал. «Сложное положение, – додумал он. – Не хочется причинять матери боль, но отцу так и нужно – всеми командует, настоящий тиран». Он сказал, делая вид, что уступает ей:

– Мэтр не бывает на Университетской по средам и субботам.

Она повторила, не веря своим ушам:

– Ты хочешь сказать – каждую среду и каждую субботу?

– Каждую. И я заметил, – заявил он уже с гордостью, – что одна из учениц тоже каждый раз отсутствует по этим дням. Некая Камилла Клодель. Очень хорошенькая.

– О! – Лицо ее посерело. – И ты знаешь, куда он уходит?

– Только не в мастерскую на бульваре Вожирар. Но ходят слухи, что у него есть еще несколько мастерских, о которых никто не знает.

– Но это же расточительство!

– Мама, пожалуйста, успокойся. – В конце концов одной женщиной меньше, одной больше время от времени, велика важность! Ведь это единственная привилегия художника.

Но Роза не могла успокоиться. И когда в следующее воскресенье Огюст не пришел домой, словно в отместку за ее поведение, она больше не колебалась, твердо решив, что делать.

В субботу, когда Огюст, позавтракав, вышел из дома, Роза незаметно последовала за ним. Она подождала несколько минут на улице перед мастерской у площади Италии, чтобы поймать его на месте преступления, а затем постучала в дверь, приготовившись к бою. Дверь открыла красивая молодая женщина, голова ее была повязана платком, в руках щетка.

Роза была вне себя от ярости. Разве может кто-нибудь лучше ее заботиться об Огюсте? Женщины смотрели друг на друга. Дверь была лишь слегка приоткрыта, и Роза не видела Огюста, но слышала его голос; погруженный в работу, он говорил на свою любимую тему – о готической архитектуре, не подозревая, что кто-то стоит в дверях.

– Никто не понимает меня так, как ты, Камилла, – бормотал он.

Ярость Розы не знала предела. Она перешагнула порог, оттолкнув побледневшую Камиллу.

– Я пришла к мосье с лучшими намерениями, – первая проговорила Камилла.

– Все так говорят, – ответила Роза.

– Это неправда. – Огюст оторвался от работы, – Я мадам Роден, – объявила Роза.

– Роза, не срамись, – сказал Огюст. – Мы не женаты. «Неужели голос его и Камилле кажется таким же неестественным, как ему самому, – подумал он.

– Странно, что он так перепугался. Нет, надо внушить им обеим, что он сам себе хозяин».

«Она ненавидит меня, – думала Камилла, – и готова убить». Камиллу охватила паника, она хотела бежать, но Огюст повелительным жестом приказал ей продолжать работу. Укрывшись за скульптуры, она в волнении смахивала с них пыль.

Роза последовала было за Камиллой, но Огюст остановил ее.

– Я говорил, не шпионить за мной.

– Разве я неправа? – крикнула Роза– Разве я не мадам Роден?

– Ты мне не законная жена, – повторил он резче. – Почему нам с Камиллой не жить вместе, если захотим?

– А как же я?

– Конечно, мы с Камиллой не помолвлены. Все знают, что ты моя подруга, но мы не женаты. – Розу это не убедило, и Огюст не знал, что еще сказать. С какой стати он должен что-то менять в своей жизни… – Я содержу вас с сыном и в придачу терплю сцены, которые ты мне закатываешь. – Роза побелела, и он сердито сказал: «Смотри, не вздумай броситься в Сену».

Роза уставилась на Камиллу; та пыталась спрятаться в углу мастерской за мраморной фигурой обнаженной женщины, пригнувшейся к земле, для которой она явно сама служила моделью. Роза представила себе великолепное молодое тело Камиллы и своего Огюста рядом с ней. Эта мысль была невыносима. Она сразу почувствовала себя увядшей, хотя вроде была еще привлекательной, полной сил женщиной. Но где ей равняться с этой, которая в два раза моложе. Закрыв лицо руками, она горько расплакалась.

– Перестань, Роза, возьми себя в руки, не надо… – Я не понимаю, в чем моя вина.

Огюст еле сдерживался. Хотелось крикнуть: «Замолчи, идиотка», – но Роза, казалось, вот-вот упадет и обморок. Он протянул ей сто франков. – Купи те стулья, что ты хотела.

– Не прогоняй меня!

– Я не прогоняю. Твое место дома, и… – Он остановился. Разве мог он поведать кому-нибудь, сколько радости доставляла ему Камилла. Роза – женщина, которую надо защищать, а Камиллу надо лелеять. Роза – надежный друг, а Камилла – само солнце, в Камилле есть благородство, грация, изящество. Они такие разные, не может быть и речи о каком-то соперничестве. Просто немыслимо. И вдруг он снова пришел в бешенство. Кто сказал ей о мастерской? Он требовал у нее ответа, он должен

знать, как она о ней проведала.

Роза покраснела, и он догадался.

– Маленький Огюст! – воскликнул он. – Шпион! Предатель!

Роза затрясла головой, но Огюст знал, так и есть – ей никогда не удавалось что-нибудь скрыть от него. Ему вдруг стало очень горько.

– Зря я пустил его в мастерскую, сам виноват.

– Ты ведь не прогонишь его, Огюст? Прошу тебя, – взмолилась Роза.

– А что ело прогонять – он там почти не бывает.

– Он хочет тебе угодить.

– Поэтому он и донес тебе?

– Я бы все равно узнала. Сказал бы кто-нибудь другой.

– Несомненно. Хотя это никого не касается. Никого. Сегодня вечером я приду домой и поговорю с ним.

– Не будь с ним жесток! Он – все, что у меня осталось.

– Глупости. – Но голос его смягчился. Он обнял ее за плечи и подвел к двери. – Милая, ты же знаешь, что я не могу без тебя. Никто не позаботится обо мне так, как ты.

Просто невероятно, с грустью думала Роза, как бы ни доставалось от него, стоит ему обнять ее – и она уступает. Уже в дверях он повторил:

– Помни, я хочу поговорить сегодня с парнем. И она молча кивнула. Она застала-таки его с любовницей, но он все повернул по-своему, и она чувствовала себя виноватой. Он поступил непростительно, а выходило так, что неправа она. Роза решила не прощать ему так скоро эту обиду.

Когда Роза ушла, Камилла, появившись из-за фигур, сказала:

– Я не могу здесь оставаться. Неудобно.

– Нужно остаться, – резко ответил Огюст. – Мы не закончили «Данаиду».

Камилле захотелось ударить его по лицу, но он работал у станка, и она не могла до него дотянуться. Затем он сказал, словно извиняясь:

– Она совсем дикарка, деревенская.

– А я, Огюст?

– Иди сюда, мы теряем время.

– И ты можешь продолжать работу как ни в чем не бывало?

– Я говорю тебе, что ты мало работаешь, а ты не слушаешь.

– А ты хоть раз сказал мне, что любишь? – крикнула она, злясь за эти слова на себя и еще больше на него.

– Я не светский человек. Но пока я леплю тебя как «совершенную женщину», моя дорогая Камилла, тебе не на что жаловаться.

– Какое самомнение, – обрушилась она, но осталась.

Когда он собрался уходить, заявив, что нужно поговорить с маленьким Огюстом, она нахмурилась, но согласилась остаться в мастерской, потому что перевезла сюда все вещи, а он обещал вернуться завтра, хотя это было воскресенье.

Сын ждал его дома с наглой улыбкой. Он начал было выговаривать маленькому Огюсту за предательство, но тот сказал:

– Я ухожу в армию.

– Скажи папе почему, – вставила Роза.

Маленький Огюст не мог этого сделать – Роден не был его отцом, настоящим отцом, что бы ни говорила мама. Он не мог называть его папой, не осмеливался. И боялся, что мэтр догадается, что если он сбегает из мастерской, то вовсе не из стремления к самостоятельности, как он это объяснил матери.

– Ну что ж, пожалуй, это твой первый разумный шаг. Там тебе придется слушаться начальство.

– Ты не благословишь его? – спросила Роза.

– Я дам ему один совет, – ответил Огюст. – Дослужить до какого-нибудь чина и, может, хоть в армии сумеешь сделать карьеру. – И отвернулся, чтобы скрыть свое горькое разочарование.

– Я постараюсь, – сказал маленький Огюст и разразился смехом.

Огюст резко повернулся и уставился на сына.

– Что тебя так забавляет?

– Ты думал, мастерская станет для меня академией. А вот в армии все настоящее – и жизнь и смерть.

– Да, – медленно повторил Огюст, – настоящее. Желаю успеха.

Роза несколько успокоилась. Когда мадемуазель Камилла станет постарше, думала она, разница между ними будет не такой уж заметной. Надо ждать. Да иного выхода и нет.

Пришло время прощаться с сыном, и Роза расплакалась. Огюст долго не мог ее успокоить, и, только когда отец и сын на прощание пожали друг другу руки, это ее немного утешило.

По дороге домой Роза сказала:

– Поверь мне, дорогой, любовь порядочной женщины – драгоценная вещь, на что тебе кокотки?

Огюст резко оборвал ее, решительно заявив:

– Я не желаю больше обсуждать этот вопрос. Роза почувствовала себя плохо, но он не взял у нее свое пальто, которое она несла в руках. Он начал делать набросок маленького Огюста, когда тот махал им на прощание. Нужно было его

закончить.

Глава XXXI

1

В лихорадочной деятельности проходили годы. Камилла и Роза с затаенной враждебностью предъявляли свои права на Огюста, но, казалось, каждая теперь знала свое место, а Огюст тем временем ушел в работу. Его завалили таким множеством заказов, что голова шла кругом, но он ни от чего не отказывался. День за днем чертил планы, делал наброски, лепил, делал отливку и заново ее переделывал. Часть времени он неизменно посвящал «Вратам»: Паоло и Франческе, поэту, сидящему в задумчивой позе наверху, любовникам, сплетенным в мучительных объятиях, и отдельным фигурам и головам. Но мысли его были больше поглощены будущими замыслами и заказами. В постоянных поисках новых путей выражения своего таланта он вылепил припавшего к земле умирающего льва, которым мог бы, думал он, гордиться сам Бари. Он переделывал Уголино, пожирающего своих детей, пока не достиг вершины реализма в изображении этого живого трупа. Нетрудно было представить себе, сколько возмущения вызовут трупы детей; и он с мрачным юмором поместил всю группу рядом с мраморной нимфой, лежащей в объятиях возлюбленного.

Но больше всего ему нравился его любовный этюд в белом мраморе – «Вечная весна». Мраморная глыба, на которой полулежали любовники. Утес стал как бы обрамлением фигур, и, махнув рукой на все предрассудки, он принялся за солнечного Адониса, обнимающего сверкающую нимфу, которая обвилась в животрепещущем изгибе вокруг тела своего любовника. В этих исполненных чувственного томления фигурах он воплотил Камиллу и себя.

Однако все это не шло в сравнение с важными государственными заказами, и прежде всего памятниками. Один за другим следовали памятник чилийскому генералу Линчу – первая конная статуя Огюста, сделанная для республики Чили и предназначенная для установки в Сант-Яго[83]; надгробный памятник французскому художнику-романтику Бастьен-Лепажу, его личному другу, который только что трагически скончался в тридцать шесть лет. Этот памятник был заказан ему городом Дэмвильером, где родился художник, для городского кладбища. Третий – памятник великому французскому пейзажисту семнадцатого века Клоду Лоррену, по заказу города Нанси,

предназначенный для его центральной площади; и еще два заказа, которыми Огюст особенно гордился[84].

Первый – памятник Виктору Гюго, заказанный Министерством изящных искусств для Пантеона. Гюго умер 22 мая 1885 года, через два года после Жюльетты Друэ, и был похоронен в Пантеоне, а не рядом с Жюльеттой, как она мечтала; на его пышных похоронах присутствовало два миллиона французов.

Второй заказ, который он считал самым ответственным из всех, был сделан городом Кале. Огюсту, который вышел победителем на конкурсе[85], было поручено создать памятник в честь героических граждан города Кале, которые в 1347 году добровольно сдались в качестве заложников королю Англии Эдуарду III, решив пожертвовать жизнью, чтобы спасти население осажденного города. Одно из самых драматических событий в истории Франции. После героической защиты города от войск Эдуарда III, длившейся почти год, голод вынудил Кале сдаться. И когда английский король стал угрожать разрушить город до основания и уничтожить всех его жителей, шесть граждан добровольно сдались Эдуарду III; они вышли к нему с веревками на шее и с ключами от города в руках, исполненные решимости пожертвовать собой ради своих сограждан. Эта история потрясла Огюста. «Граждане Кале» стали его любимым детищем. Он принялся за работу с фанатическим рвением.

2

Буше считал, что Огюст сошел с ума, и это не удивляло Огюста, но, когда к Буше присоединилась Камилла, это ему не понравилось.

Он стоял перед рабочей моделью «Граждан Кале», Буше и Камилла – позади него, и ему хотелось прогнать обоих. Но Буше пришел в эту мастерскую на бульваре Вожирар на Монпарнасе, чтобы помочь, да и на Камиллу жаловаться грех – потрудилась немало.

Была уже полночь. Огюст с Камиллой работали с раннего утра, наспех пообедав куском телятины и супом из капусты, запив все это несколькими глотками:«Контро». Камилла падала от усталости, но Огюст еще не кончил. Словно желая доказать, что они неправы, Огюст в домашних туфлях прохаживался вокруг фигур «Граждан», а Камилла в ожидании приказаний ходила за ним по пятам, как во сне.

Буше повторил:

– Вы сошли с ума, и не только потому, что увеличиваете

число фигур, – такой работой вы доведете себя до сердечного приступа.

– Он встает в шесть утра, – прибавила Камилла, – в семь уже в мастерской, и ни одного перерыва, разве что поесть. Работает и при свечах, каждую ночь, как сейчас, а ведь в мастерской так сыро, что если и не будет сердечного приступа, то все равно, того и гляди, простудится насмерть. И руки у него болят. Ревматизм, хотя он и не признается. Вот увидите, заболеет хроническим ревматизмом, как его друг Ренуар, если не будет беречься.

Огюст перестал ходить вокруг скульптуры, их доводы как будто подействовали. Буше продолжал:

– Да и работаете вы как-то странно. Не доводите одну работу до конца и уже принимаетесь за другую. Трудитесь одновременно над многими скульптурами. Неудивительно, что никак не можете закончить монументальные вещи, такие, как «Врата».

– Меня тянет неизведанное, а это отнимает время и силы, – сказал Огюст.

Он чинил стены мастерской, заделывал трещины глиной и тряпьем, чтобы утеплить помещение, но руки все равно коченели.

Буше сказал:

– Камилла, поговорите вы с ним, я не могу. Предполагалась одна фигура, а теперь он хочет лепить шесть. Господи, пока он закончит этот памятник, кто знает, сколько фигур ему еще захочется сделать?

– Шесть, – сказал Огюст. – Окончательно. Ни больше и ни меньше.

– Он сдержит свое слово, – сказала Камилла. – Придется сдержать. На постаменте больше нет места.

– Их должно быть шесть, – сказал Огюст. – Шестеро граждан сдались в качестве заложников.

– Но муниципалитет Кале просил только одного, – настаивал Буше, – Эсташа де Сен-Пьера, вожака и самого знаменитого из всех. Я знаю, что власти Кале недовольны вашим решением лепить шесть фигур. Жители города считают вас ненормальным и называют «сумасшедшим Роденом».

Огюст упрямо повторил:

– Фруассар, величайший историк этого времени, говорит, что героизм проявили шестеро, а не один.

– Но шесть фигур – ведь это так дорого, Огюст, – сказала Камилла.

Огюст процитировал Фруассара: «Шестеро граждан босиком, с обнаженными головами, с веревками на шее и ключами от города и замком в руках, дрожа от страха, холода, терзаемые душевными муками, попрощались со своими родными,

уверенные, что никогда их больше не увидят».

– О! – воскликнул Буше. – Я согласен, что это трогательно. Но неразумно.

Огюст задумчиво проговорил:

– Как я могу пойти на компромисс? Шестеро граждан этого не сделали.

– Но Кале предлагает за шесть фигур те же деньги, что и за одного, – напомнила Камилла.

– Знаю, – мрачно сказал Огюст. – Назначенная муниципалитетом плата за весь проект вряд ли покроет расходы на одну фигуру.

– И еще расходы на материал, литье, архитектора, поездки в Кале, – продолжала Камилла. – Даже на одной фигуре ты ничего не заработаешь. А шесть, Огюст, влетят тебе в несколько тысяч.

– Кале торгуется уже несколько лет, – сказал Буше.

– Вы правы в одном, Буше. Эти бесконечные переговоры сведут меня с ума. Они спорят обо всем– о сроке, о размерах фигур, о том, где установить памятник, об окончательной цене. Сейчас они говорят– да, через минуту – нет. Словно на качелях, с которых вот-вот сорвешься.

– Но ты с каждым днем все упорнее работаешь над этим заказом, – сказала Камилла. – Скажи почему, Огюст?

Огюст, казалось, пропустил это мимо ушей.

– Единственное, чего у меня в избытке, так это обещаний, бесконечных обещаний, – пробормотал он. – Неудивительно, что работа идет так медленно. Какая сложная группа! Групповая скульптура всегда самая сложная.

– Но почему же тогда ты уперся на своем? – настаивала Камилла.

– Скульптор тут может дать волю фантазии. Он может создать ни с чем не сравнимый памятник.

– С «Вратами», во всяком случае, если вы их когда-нибудь закончите, дело обстоит более определенно, – сказал Буше.

– И у нас столько мучений с моделями, – сказала Камилла. – Все ему плохи.

– Даже сын? – спросил Буше.

– Маленький Огюст? Я могу использовать его, лишь когда он приезжает в отпуск из армии, но он позирует только за деньги.

– Он подходит для одного из граждан, – сказала Камилла.

– Может быть, и придется взять его, ничего лучшего я не могу найти. Но только хвалить его не за что. – Огюст все еще не простил сыну его доноса. Парень считал при этом, что совершил благородный поступок, – вот что самое оскорбительное.

– А Пеппино? – спросил Буше. – Я слышал, он вернулся.

Впервые за весь вечер Огюст улыбнулся.

– Да, но без Лизы. Я спросил, что случилось, он выглядел таким постаревшим и усталым. «Нет, отцовские обязанности мне не по силам, маэстро, – сказал он. – Баста, быть отцом – слишком трудная работа». Вид несчастный, что было делать?

– И прожился, верно, до последнего, – сказал Буше. – Он все еще хорошая модель?

– Только когда заинтересован. Но для «Граждан» не годится. Слишком благороден. Вот для Христа подходит. А «Граждане» были простые люди. – Огюста вдруг осенило. – Вельможа! Буше, стойте спокойно, сделайте печальное, удрученное лицо.

Буше сказал:

– Я печален и удручен, когда вижу, как вы растрачиваете свою энергию.

– Примите более удрученный вид. – Огюст поднял свечу, чтобы лучше рассмотреть Буше, попросил Камиллу зажечь еще несколько свечей. Он внимательно изучал Буше, а потом сказал: «Нет, вы слишком возбуждены». Однако, загоревшись, снова принялся за работу.

Он ожидал, что Камилла присоединится к нему. Но она нерешительно произнесла:

– Огюст, я устала. – Не осмеливаясь сказаты «Я измучена».

Огюст промолчал, но его мрачный вид вызвал у нее угрызения совести. Она поспешно схватила свечу и спросила, злясь на него за собственную уступчивость:

– Что я должна делать?

«Камилла обрела бога и еще пожалеет об этом, – печально подумал Буше. – Огюст может быть необыкновенно упрямым». Видя ее замешательство – Огюст был с ней так груб и невнимателен, – Буше почувствовал к ней жалость и поспешил спросить:

– Муниципалитет Кале уже принял какое-то решение?

– У меня есть заказ. Официальный.

– А деньги?

– Когда соберут. По подписке с населения.

– Не видать вам от них ни франка.

– Я все равно не брошу. Камилла, покажи Буше фигуры. И смотрите повнимательней, Буше. Запомните, мне нужна только правда.

Освещая путь свечой, Камилла молча повела Буше вокруг фигур шести граждан. Несмотря на обиду, она старалась показать работу Огюста во всем блеске. Все трое молчали.

Черт возьми, думал молодой скульптор, его старший друг прав. Он воскресил этих граждан Кале и без прикрас передал

выражение ожидания неминуемой смерти, написанное на их лицах. Однако в фигурах было и ощущение величия: ведь выбор был сделан этими людьми добровольно. На них были только траурные рубища, покрывавшие их скорбные тела. Словно изваянное из камня человеческое страдание, подумал Буше. Какая величественная группа! Но не надо ему говорить, иначе он никогда не будет прислушиваться к разумным советам. Буше воскликнул:

– Вот как, значит, вы решили сделать шесть Иисусов, когда и с одним нелегкое дело, и при этом все они такие разные?

– Это не Иисусы. Они такие же люди, как мы с вами.

– Таких людей я еще не видел. И под рубищами они у вас голые.

– Это рубахи. Надо было бы одеть их во власяницы.

– Не знаю. Огюст вздохнул.

– И я не знаю. Я не хочу добиваться чисто внешнего эффекта, а подчас фигуры мне кажутся посредственными.

– Это не так. Гротескны – может быть; и муниципалитет Кале, пожалуй, будет шокирован такой суровой трактовкой человеческого страдания. Прежде всего потому, что от вас, видимо, ждут чего-то сентиментально-красивого. Они уже видели эту группу?

– Нет. Я только что сделал их в окончательном размере.

Камилла сказала:

– Огюст делает пробные эскизы в три раза или вполовину меньше окончательного размера. Вам они нравятся, Альфред? – Она была так же взволнована, как и Огюст.

– Не важно, нравится или не нравится, – сказал Буше. – Дело в том, трогает это или нет.

Огюст, поняв, что Буше уклоняется от прямого ответа, не желая его огорчать, стал резким и отчужденным. Он стоял, словно окаменев, и бормотал:

– Я еще не кончил.

– А когда кончите? – спросил Буше.

– Кто знает! Еще многое надо сделать.

– Ну скажите, Альфред, – взмолилась Камилла. – Ведь фигуры совсем живые, разве не так?

– Не вмешивайся, Камилла! – закричал Огюст. – Не вмешивайся! Что бы я ни лепил, он против, из-за принципа.

– Пусть так, – согласился Буше. – Но как модель для Сен-Пьера я вам не нужен.

– Спасибо за советы.

– Которых вы не принимаете.

– Я ведь позвал вас, Буше.

– Зачем?

– Вы, как Камилла, вечно задаете вопросы. Разно могут родиться глубокие мысли, если говоришь целый день?

– Кстати, о Камилле. Она падает с ног от усталости, Огюст.

– Никто ее не держит.

– Тогда вы скажете, что женщина – настоящий скульптор, пока не родилась на свет.

– А вы знаете хоть одну?

– Камилла вас понимает.

– Изредка. – Огюст вдруг заговорил решительно: – Их подавленный вид вызывает всеобщее недоумение, большинство предпочло бы героическую драму в духе «Марсельезы», а мой замысел – это сама жизнь. – Теперь он был непоколебим. – Я скорей откажусь от заказа, чем соглашусь на изменение.

– Значит, оставите работу над этими фигурами? – спросил Буше.

– Оставлю? – Огюст посмотрел на Буше, как на сумасшедшего. – После всего вложенного труда? Ни за что!

3

Когда муниципалитет Кале задержал выплату гонорара, Огюст переключился на памятник Виктору Гюго[86]. Работа над «Гражданами», «Вратами» и другими скульптурами шла своим чередом, но он с новым рвением принялся за Виктора Гюго, решив показать Кале, что сам Париж с нетерпением ждет его произведений. Его раззадорили вовсю. Он пришел в бешенство, узнав, что семья Гюго заказала посмертную маску поэту Далу, а не ему.

– Далу – предатель, – бесновался он при Малларме, – тот был в курсе событий, знал все «за» и «против». – Я познакомил его с семьей Гюго, и мой лучший друг Далу за моей спиной, не сказав ни слова, перехватывает у меня заказ, заявляя семье, что, мол, Гюго меня не жаловал. А еще друг!

– Гюго действительно не любил вас, – напомнил Малларме.

– А я – Гюго, – резко сказал Огюст. – Но дело не в том. Я знал Гюго лучше, чем Далу. Я видел его по-настоящему. Я сделал бы самую точную маску поэта.

Малларме сказал утешительно:

– Ничего не потеряно. Вы покажете настоящего Гюго в своих памятниках и бюстах.

Еще одна причина для огорчений. Семья Гюго отказалась принять его бюсты. Сказали, что бюсты принадлежат Жюльетте Друэ, а ее уже нет в живых. Но когда Роден пожаловался

Малларме, добавив: «По правде говоря, я все еще недоволен этими бюстами, но Камилла говорит, что они выразительны», – Малларме попробовал успокоить его:

– Семья считает, что вы сделали Гюго слишком старым и к тому же еще раздетым, без воротничка, без галстука. Но их мнение не в счет. Они не разбираются в скульптуре.

– Стефан, скажите все это Далу, который пытается создать второй памятник Гюго.

– Я вас понимаю. Но помните, Далу, хотя он и прекрасный скульптор, хочет получить официальное признание. Я уверен, что когда ваш памятник Гюго будет закончен, на другой и не посмотрят.

– А я не уверен, – проворчал Огюст.

Каково бы ни было отношение Огюста к Гюго лично, он был исполнен решимости показать писателя во всем величии. Он сказал Камилле:

– Мои отношения с Гюго теперь не имеют значения: народ Франции считает Гюго своим величайшим гением, уступающим разве что Бонапарту.

Несколько месяцев Огюст изучал творчество Гюго. По вечерам читал все, что мог найти о писателе, а днем воплощал эти знания. Он трудился напряженно, с Камиллой вместе, часто раздевшись по пояс, чтобы показать, как он еще молод и силен. «Как странно, – думал он, – что злость может породить такую исполненную жизни скульптуру». Человек, которого он не любил, под его руками становился богоподобным. Ему пригодилась одна из голов, сделанных для Жюльетты: Гюго, нежно склонившийся над ней. Мир примет то, от чего отказалась семья! Но фигура была более молодой, полной внутренней силы. Затем он поместил Гюго на скалу у моря, избрав тот эпизод, который считал вершиной жизни писателя, – мятеж против Наполеона III и жизнь изгнанника на острове Гернси, как Наполеон на острове Святой Елены.

Он потерял счет времени. Только работа имела значение. Буше говорил, что Гюго должен быть монументален, героичен, во весь рост – этого все ждали, – а он лепил Гюго у моря, слившимся со скалой, которая веками противостояла морской стихии. Он ничего не выдумывает, говорил он себе, а изображает природу как она есть. Он лепил обнаженного Гюго и чувствовал свободу – ведь Гюго, при всех своих недостатках, был свободным человеком. Он намеренно подчеркивал наготу Гюго. Ведь и море и солнце тоже нагие. Природа не драпирует свои творения, и Роден тоже не будет.

Малларме, которого он пригласил, был потрясен силой

памятника, однако опасался, что публика будет шокирована обнаженным Гюго. Но Камилла стала на сторону Огюста, и, несмотря на опасения Малларме, он отказался менять что-либо, кроме исправлений, которые считал нужными.

Он боялся, что ему не закончить этот памятник. Чем больше он читал о Гюго, чем упорнее работал, тем больше возникало трудностей. Одно изменение влекло за собой другое. Как всегда, чем больше сил он вкладывал в работу, тем меньше она его удовлетворяла.

4

Шел 1888 год, и он трудился над памятником Гюго уже много месяцев подряд, когда Турке пришел в мастерскую на Университетской выяснить, когда наконец будут закончены «Врата ада». Слава Родена росла, а вместе с ней – и гонорары за «Врата»; ему уже было выплачено двадцать пять тысяч семьсот франков. «Такие деньги стоят нескольких „Врат“, думал Турке, – но тут нужно с подходом – Роден очень обидчив».

Увидев сотни деталей, в беспорядке разбросанных по мастерской, Турке удивился. Ему не понравилось, что скульптор работает над памятником Гюго. «Врата» заказаны раньше; если бы не «Врата», возможно, не было бы и других заказов. Роден хмурился – не любил, когда его отрывали от работы.

Турке решил не тратить времени даром:

– Министерство хочет, чтобы «Врата» были закончены в следующем, 1889 году.

– Невозможно.

– Мы выплатили вам, сколько вы требовали. Сколько еще фигур нужно сделать?

– Вопрос не в количестве. «Врата» идут медленно, но качество должно быть высоким.

– Вот мы и хотим показать «Врата» на Всемирной выставке.

Глаза Огюста загорелись. Но он тут же помрачнел.

– Спасибо, дорогой друг, это для меня большая честь, но на «Врата» уйдет еще несколько лет.

– Несколько? – Турке печально вздохнул. – Вы их никогда не закончите.

– Все не то, что надо. Близко, но еще не то.

– После выставки о вас узнает весь мир. Будут тысячи иностранных гостей.

Огюст прекратил работу, повернулся и посмотрел на Турке.

– Да, возможность великолепная. Но если «Врата» будут недоделаны, я никогда себе этого не прощу.

– Всемирная выставка будет одной из самых блестящих в нашей истории. Мы сооружаем в честь ее Эйфелеву башню; празднуется столетняя годовщина революции и штурма Бастилии. «Врата» станут патриотическим памятником.

– Думаете, я сам не понимаю? Думаете, мне просто нравится тянуть время? Терять такую возможность? Но я не могу показать работу, которой сам не удовлетворен.

– Роден, вы слишком критичны, с вами не столкуешься. Будете водить нас за нос – лишитесь всего.

Опост промолчал. Но когда Турке ушел, все валилось из рук.

Он стоял перед гипсовым Гюго и размышлял. При всей своей неприязни к Гюго он уважал в писателе его бескомпромиссность. А он своих заказчиков – муниципалитеты Кале, Нанси, Дэмвильера, Министерство изящных искусств – обманывал как мог, а они – его. Он считал, что пока заказ не готов, он не отработал аванса. У художника нет ни капитала, ни собственности, ни обеспеченного положения в общепринятом смысле. Только талант и силы. Да и существует ли на свете такая вещь, как обеспеченное положение?

5

Он снова потянулся к частным заказам. Тут уж по крайней мере, думал он, никто не посмеет давить на него. Но с Камиллой становилось все труднее.

Была одна из обычных суббот, которые они проводили в уединенной мастерской возле площади Италии. Стояло ясное солнечное утро, идеальное освещение для ее прелестного белокожего тела. Он готовился лепить с нее новую обнаженную фигуру, а она противилась. Камилла соглашалась, что на «Гражданах Кале» не должно быть ничего, «кроме рубах», что Гюго, в качестве французского бога, должен быть совершенно нагим – богам так и положено, что обнаженные фигуры на «Вратах» иначе и не мыслимы, и без колебаний принимала обнаженных Адама и Еву. Но когда он велел ей позировать для романтической группы – женщина на коленях у мужчины, ноги переплетены, тела слились в страстном поцелуе, – группа должна была называться «Поцелуй», – Камилла отказалась позировать. Она сказала:

– Это непристойно, стыдно быть запечатленной в объятиях другого мужчины.

У него и в мыслях не было, чтобы она позировала в паре с обнаженным натурщиком, но сказать об этом, значило бы проявить слабость. И он раздраженно заметил:

– Что за приступ скромности, мадемуазель, для художницы это непростительно.

Камилла вначале обрадовалась: Огюст назвал ее художницей. А затем досада усилилась. По какому праву он так разговаривает с ней? Он упрям как осел, сердито подумала она, и ему нет до нее дела.

Огюсту нравилось ее возбуждение, когда она на него сердилась. Он велел раздеваться и вышел из себя, когда Камилла отказалась. Он и не собирается заставлять ее позировать в паре с мужчиной, просто хочет воплотить в ее прекрасном теле идею любви. Она ведет себя, как жеманница, дурочка. Но ее гордая поза очаровала его. Словно Сара Бернар в «Федре»[87], подумал он, трагическая королева, полная решимости не сдаваться, как бы ее ни оскорбляли.

– Почему ты не заканчиваешь начатую работу? – спросила она.

– Чужие слова! – Его это возмутило. В голосе послышались резкие ноты.

– Да, мосье.

Огюст гневно смотрел на нее. Ужасно, эта женщина его погубит.

– Я тебя не задерживаю, – пробормотал он. Она возмутилась:

– Вы хотите сказать, мэтр, что я для вас просто натурщица, можно нанять и уволить, когда вам заблагорассудится?

Огюст ничего не понимал. С каждым днем Камилла становилась все прекрасней, и он так жаждал лепить ее, а с ней все труднее. У него вошло в привычку лепить то, что он видел перед собой, он любил говорить: «Я ничего не выдумываю, только воссоздаю то, что есть в природе». Но в ее присутствии он испытывал такую полноту чувств, что все окружающее представало в ином свете. Рядом с ней он не был холодным наблюдателем, не мог мыслить трезво.

Огюст промолчал, лицо его было бесстрастно; Камилла надменно заявила:

– Я ведь не кокотка из дорогих, и можешь не повторять, как много я для тебя значу. Мне надоело слышать, как я красива, украшение твоей мастерской. Что ни говори, а это всего лишь «приют любви».

Как ни желанна была она в эту минуту, Огюст не стерпел.

– Я тебя не держу. Возьму другую модель для «Поцелуя». Маргарет.

– Она слишком холодна – англичанка! – Камилла была в ужасе.

– Рени?

– Провинциалка. И такая наглая рожа.

– Иветта?

– Просто экономка. Подожди.

– Чего? Пока ты снизойдешь? Я не могу так работать.

– Прошу тебя, Огюст. – Она должна убедить его. Если он уступит, значит, любит. Это будет с его стороны жертвой во имя любви.

– Сделай что-нибудь другое, бюст, отдельную фигуру. Тогда я буду позировать обнаженной. Ты можешь сделать вакханку вместо той, что разбилась много лет назад.

– Нет. – То была Роза.

– Тогда мадонну.

– Обнаженную? – Это удивило даже Огюста. – Почему бы нет?

– Не годится для мадонны, не годится.

– Но ведь ты хочешь, чтобы я позировала в объятиях другого мужчины.

– Нет-нет-нет. – Она принадлежит ему одному – это так ясно прозвучало в его ответе. Она оживилась:

– О Огюст, почему же ты не сказал?

Говорил! Ему захотелось отшлепать ее, как ребенка, который перечит. Но они так хорошо сработались, она помогла ему в выполнении важных заказов. Замену ей будет трудно найти, это он понимал.

– Мы сделаем новую обнаженную фигуру, – сказал он. – Остальное придет в процессе работы.

– Ты не соединишь меня потом в пару?

– Я сказал «нет»! – Господи, как с ней трудно!

– Ты так поступил с «Вечной весной». Сначала лепил меня одну, как новый вариант «Данаиды», а затем дал мне пару. – Она словно обвиняла его в предательстве. – Огюст, ты не выставишь «Вечную весну»? Нет?

– Я уже послал копии Хэнли и Роберту Люису Стивенсону.

– Они не узнают меня?

– Никто тебя не узнает.

– Все узнают, – печально проговорила она. – Неужели ты не понимаешь, что если будешь так продолжать, то эти обнаженные пары оттолкнут покупателей.

– Я не уговаривал тебя идти ко мне в ученицы. Сочту нужным – выставлю «Вечную весну».

– В ней столько чувственности, я боюсь.

– Отлично. Значит, я на правильном пути. Теперь нам надо готовить ее для выставки.

– Для выставки? – Камилла была в растерянности. – Какой выставки? Ты мне ни слова не говорил.

Он пожал плечами: а почему он должен говорить? Он волен поступать как хочет.

Рассерженная его скрытностью, она выкрикнула:

– В один прекрасный день ты устроишь выставку под самым моим носом, и я не буду знать, пока мне не сообщит привратник!

– Так вот, мы намерены выставиться в Париже.

– Мы? Кто – мы?

– Клод Моне и я. В галерее Жоржа Пти[88].

– В этой прекрасной, просторной галерее у Марсова поля?

– Да. Жорж Пти считает, что хорошо бы открыть нашу выставку в следующем, 1889 году, одновременно со Всемирной.

– Какая великолепная идея! И ты молчал!

Огюст снова пожал плечами. Он не сообщил главного. Если выставка состоится, он не намерен приглашать на открытие ни ее, ни Розу. Зачем оказываться в нелепом положении?

– Ты уже решил, что будешь выставлять? – Решу, когда будет ясно, что готово.

– Решу, – передразнила его Камилла. – Новый Людовик XIV. А Моне?

– Он на все согласен. Мы друг другу не помеха.

– Галерея Жоржа Пти – очень ответственно.

– Посмотрим.

– Ты покажешь «Вечную весну»? Огюст промолчал.

– А если выставка состоится? – настаивала она.

– Да.

– Раз Роден говорит «да», я должна примириться. – Да.

– И «Граждан»? Их тоже?

– Не уверен.

– Они почти уже закончены. Уже и в глине, и в терракоте, и в гипсе. Надо показать непременно.

– Я сказал, еще не уверен. – И уже спокойнее добавил:- Дорогая, у нас совсем мало времени. Мне нужно проверить, что готово, и нужна твоя помощь.

– А как же с обнаженной фигурой, для которой ты хотел, чтобы я сейчас позировала?

– Потом. – Он взял ее руки, нежно их сжал. – Камилла, ты умная и красивая, ты скульптор, наделенный истинным чувством и пониманием. Не будем об этом забывать.

Она стояла в замешательстве и желала одного – чтобы он не выпускал ее из объятий.

– Ну вот, выяснили, что у нас готово к выставке. Теперь ты можешь закончить мой бюст, который начала. Если тебе хочется, я его выставлю. Обещаю.

Полная гордости и стыдясь, что могла усомниться в его

любви, Камилла сказала:

– Я буду работать каждую свободную минуту. И если захочешь его выставить, Огюст, он будет готов.

– Спасибо. – Он все еще колебался, принять ли приглашение экспонировать собрание своих работ. Но теперь он должен согласиться. Энтузиазм Камиллы убедил его в этом.

Глава XXXII

Совместная выставка произведений Родена и картин Клода Моне в галерее Жоржа Пти в 1889 году была, как Огюст сказал Моне, «первой действительно заслуживающей внимания»[89].

Галерея Жоржа Пти к тому времени приобрела громкую известность. Выставленные там произведения продавались по высоким ценам и быстро находили покупателей. И расположена она была очень удачно: рядом с недавно открытой Всемирной выставкой, самой большой в истории Парижа, цель которой была заставить позабыть об унижениях франко-прусской войны и привлечь посетителей со всего мира. Всемирная выставка была рядом с Эйфелевой башней, открытие которой состоялось на несколько недель раньше; оно проходило в патриотическом угаре, в присутствии миллиона французов, гордых сознанием того, что постройка эта стоила стране пятнадцать миллионов франков. На открытие выставки в галерее Жоржа Пти было приглашено много именитых гостей.

И все же в иные моменты Огюсту не верилось, что в его жизни произошло такое событие. Всю жизнь и даже теперь, в сорок восемь, он считал себя всего только трудолюбивым ремесленником, который встает с рассветом и трудится целый день в одной из мастерских. Он сказал об этом Моне – они размещали свои работы в галерее, когда на него вновь нашло сомнение, правильно ли это – устраивать совместную выставку.

– Наши работы столь различны, Клод, что выставка может быть провалом.

Моне ответил:

– Имена наши не умрут. Твое и мое. Давно нам пора занять заслуженное место.

– Семьдесят твоих картин и тридцать шесть моих скульптур. Огромный труд.

– Труд всей жизни. Поистине представительное зрелище. Первая выставка, которой я по-настоящему доволен, к которой мы как следует подготовимся.

– А если провалимся?

– Предпримем новую попытку. Это единственный путь одержать победу над Салоном.

Огюст замолчал, припомнив свои тяжелые битвы с представителями официального французского искусства, и стал наблюдать, как Моне развешивает картины. С годами массивная фигура Моне расплылась, но он все еще выглядел необычайно сильным, этот человек, похожий на медведя, пишущий такие

изящные картины. Живопись Моне отличалась светлым колоритом, передающим прозрачные тона солнца и воздуха, живопись, воспроизводящая бесконечные световые нюансы.

Огюст с грустью отметил про себя, как сильно состарился его друг: широкое красивое лицо художника покрыли морщины, годы оставили следы забот; густые черные волосы и борода поседели, карие глаза, когда-то такие ясные, стали печальными; выражение лица изменилось, прежде добродушное, оно стало резким, агрессивным, особенно когда он имел дело с покупателями. Но именно эта прямота и нравилась Огюсту. Ему казалось, что Моне, который ради искусства претерпел ужасные испытания – нищета свела в могилу любимую жену, сам голодал и прозябал, вынужден был просить о милости, он, которого подвергали осмеянию, клеймили позором, чьи произведения долгое время не признавали, – никогда не падал духом. Ни разу не изменил себе, никогда ни перед кем не унижался и не шел на компромиссы. Моне действительно нравятся его скульптуры, иначе он не предложил бы Огюсту совместную выставку. Теперь Моне без труда продавал свои картины по тысяче франков за каждую и столько, сколько хотел.

Больше всего Огюста забавляло, а Моне придавало уверенность в благополучном исходе выставки то случайное стечение обстоятельств, что они родились на свет почти одновременно – с разницей в сорок восемь часов.

На открытии они стояли рядом у входа в просторную галерею и вместе приветствовали именитых посетителей.

Огюст ничего не понимал, ему казалось, что мир перевернулся, выставка, в конце концов, может и не быть провалом, думал он. Он не поверил глазам своим, увидев, как Сади Карно[90], президент республики, чьи портреты – Карно, открывающий Эйфелеву башню, – были на первых страницах газет всего мира, входит в зал вместе с Эдуардом, принцем Уэльским[91]. В сорок семь лет принц Уэльский, любитель богемы и англичанин до мозга костей, был кумиром республиканской французской буржуазии. Вслед за ними шел доктор Жорж Клемансо [92], ставший влиятельным радикалом и журналистом, исполненный решимости отомстить Германии, пока не потерял еще надежду на свое переизбрание.

К Клемансо присоединился Эжен Гийом, он все еще был директором Школы изящных искусств и главой французского официального искусства. Гийом знал, что в один прекрасный день Клемансо может стать премьером, хотя роялисты и считали его анархистом. Толпа посетителей вызывала у Огюста все больший интерес. Он увидел Дега и Хэнли, ведущих оживленный спор,

Ренуара, слегка прихрамывающего из-за хронического ревматизма, и рядом с ним, как всегда, застенчивого, замкнутого Сезанна; он увидел Доде, Золя и Гонкура[93] – они ходили все вместе, но каждый был сам по себе, – Писсарро, Малларме и Гюисманса[94], внимательно осматривающих выставку; Буше и Каррьера, которые направлялись прямо к нему, чтобы выразить свое восхищение; Эдмона Турке и Антонена Пруста, важных, как послы королевского двора; спокойного, умного Цезаря Франка [95] и его ученика и протеже Венсана Д'Энди [96], которые разговаривали с Жюлем Масснэ; он заметил своего нового друга – величественного Пюви де Шаванна [97], тот внимательно изучал каждую деталь в его скульптурах; и огненно-рыжую Сару Бернар в сопровождении Викториена Сарду, громко болтающую с Мадлен Бюфе и Анатолем Франсом.

Огюст не ожидал ничего подобного. Вначале он был ошеломлен, но постепенно пришел в себя и, вспомнив прошлое, стал приветствовать гостей с лукавой усмешкой. Перед галереей на улице развевался трехцветный флаг в честь президента республики, Всемирной выставки и выставки Родена и Моне.

Из окон виднелась Эйфелева башня.

Париж был заполнен людьми, съехавшимися со всех стран мира, и многие из них были сегодня здесь, в галерее, отметил про себя Огюст. Публика неторопливо прогуливалась по выставке; в зале стоял неумолчный гул голосов. Слышен был стук подъезжающих экипажей по вымощенной булыжником мостовой.

Огюст шепнул Моне:

– Какое внимание, Клод. Я просто поражен. Моне шепнул ему в ответ:

– Это не внимание, Огюст, а любопытство.

Но, несмотря на скептицизм, вид у Моне был очень довольный. Среди гостей было немало и таких, которые действительно с интересом рассматривали картины и скульптуры.

Буше, взволнованный, словно это была его собственная выставка, воскликнул, обращаясь к Огюсту:

– Кого тут только нет!

Камиллы и Розы, печально подумал Огюст, вспомнив о сценах, которые ему устроили и та и другая, когда он сообщил каждой, что не возьмет их на открытие.

Хотя он сказал Розе, что все скульптуры, для которых она позировала, будут выставлены, она все-таки расплакалась, а Камилла пришла в неистовство и слегла в постель, – не помогли и заверения, что его бюст ее работы займет на выставке почетное место. Неужели они не понимают, как много он для них сделал?

Ревность женщины можно сравнить разве что с яростью тигрицы, с горечью думал он. Эта выставка – итог всей его работы, а у них она вызвала потоки слез. Однако ни одна не покинула его, хотя Камилла грозила, что уйдет. Сейчас ей нездоровится, но она уйдет, как только хватит сил собрать вещи, заявила Камилла. Он не поверил, но ее угроза не выходила из головы и портила настроение.

Люди искусства и знаменитости все прибывали, а он раздумывал над тем, сколько трудностей создают эти отношения: напряженные, вызывающие жалость в доме на улице Августинцев и полные страстей и обид в доме на площади Италии.

Он стал рядом с гипсовым отливом «Граждан Кале», словно готовый к защите на первом публичном обозрении. От души у него немного отлегло. Он заметил, что посетители, которых интересовали его работы, больше всего внимания уделяли «Гражданам Кале», фигуре Уголино, обнаженным парам и незаконченному терракотовому памятнику Гюго, равнодушно проходя мимо «Данаиды» и «Мысли», для которых позировала Камилла, и его бюста, стоявшего на видном месте, с ее именем крупными буквами.

Внезапно он вернулся к действительности. Сади Карно, президент республики, с восхищением говорил ему:

– Какое обилие работ!

Огюст отметил, что президент безупречно одет, окладистая борода тщательно подстрижена и они примерно ровесники. Карно, талантливого инженера, избрали президентом потому, что его отец был героем республики, а дед прославился как «организатор победы» революции, и еще, поскольку он был республиканцем и выходцем из средних слоев, – считалось, что он всем сумеет потрафить.

Антонен Пруст, который с возвратом к власти либерального правительства стал специальным представителем Министерства изящных искусств, поспешил объяснить президенту, видя замешательство Огюста:

– Необыкновенная выставка, мосье президент. Тридцать пять скульптур Родена и семьдесят картин Моне.

– Тридцать шесть, – поправил Огюст.

– Обширная выставка, – сказал президент. – И один не уступает другому.

А ведь можно бы и посчитать, – подумал Огюст, – под сколькими работами я мог бы написать: «Отвергнуто Салоном», да и Моне тоже; но Карно, внимательно разглядывая «Граждан», держал Родена под руку – толпа гостей раздвинулась, чтобы президенту было удобней осмотреть памятник.

Огюст не мог сказать, долго ли простоял он так с президентом перед фигурами шести граждан. Вначале он было колебался, ставить ли «Граждан» на самое видное место, в центре галереи, но теперь убедился, что поступил правильно.

Карно думал было бросить беглый взгляд на «Граждан», сказать «весьма интересно», что он часто делал в роли официального лица, и отойти. А сам стоял перед скульптурой, словно к месту прирос, словно во всей Франции не найти лучше зрелища, чем эти шесть фигур французских граждан. Никто из этих граждан не был явным республиканцем или опасным роялистом, раздумывал он, все они, олицетворяя боль и мужество, были обыкновенными французами, всем своим видом выражавшие то, что многие испытали, но не могли выразить. И ему нравилась архитектура памятника, композиция. Он тихо произнес:

– Они трогают до глубины души, Роден, и памятник этот так кстати приурочен к годовщине революции. Жители Кале должны быть довольны.

– Не уверен, мосье президент, – сказал Огюст, но я ценю ваше мнение.

– Великолепный памятник одному из самых славных моментов в нашей истории. И этот дух героической жертвенности. Вы, видимо, ошибаетесь, сомневаясь в энтузиазме жителей Кале.

– Я не ошибаюсь. Муниципалитет Кале заплатил только половину обещанной суммы. Но и вся сумма не покроет расходов.

– Поэтому фигуры и отлиты не в бронзе, а в гипсе?

Интерес, проявленный президентом, ободрил Огюста, и он решил излить свои обиды:

– Да, мосье президент. У Кале не нашлось денег даже на отливку и установку памятника, – его голос стал насмешливым. – Муниципалитет Кале предпочитает фигуру одного гражданина, а не шести. У меня так много другой работы, что памятник мне мешает, и, пока они не придут к какому-нибудь решению, я вынужден был поместить его на время в подвал.

Президент Карно удивился, но Огюст решил высказать свои претензии, – ведь другой такой возможности не представится.

– Мосье президент, я беру частные заказы, чтобы иметь возможность выполнять государственные.

Антонен Пруст пытался отвлечь внимание Карно – вид у президента был сердитый, – но это ему не удалось. Президент спросил:

– А как насчет «Врат ада», Роден? Вам ведь за них заплатили.

– Они не закончены.

– Большинство ваших работ не закончено. «Идущий человек»…

Огюст перебил:

– Он закончен.

– «Граждане Кале», памятник Гюго, «Клод Лоррен» – эти вещи закончены?

– Разве природа не находится в постоянном процессе созидания, мосье президент?

– Я инженер. Я заканчиваю то, за что берусь. Огюст, слегка поклонившись, сказал:

– В этом-то и состоит разница между нами, мосье.

«Сейчас Огюст все испортит, а я положил столько трудов, чтобы предоставить ему эту прекрасную возможность», – с горечью подумал Антонен Пруст. Президент покраснел до корней волос. Но не успел Пруст переменить тему разговора, как к ним присоединился принц Уэльский, который был свидетелем разговора о «Вратах».

– Я слышал, о них говорит весь Париж, – сказал принц. – Каждому хочется посмотреть на жертвы ада, на грешников. И эти «Врата» были любимым детищем моего старого друга Гамбетты, не правда ли?

– Да, Ваше высочество, – сказал Огюст. – Он был великий человек.

– Он просил вас об определенном сроке? – спросил принц Уэльский.

– Вопрос о сроке обсуждался, Ваше высочество. Но разве вы спрашиваете у дерева, сколько лет ему потребуется, чтобы вырасти?

– Можете не сомневаться, что у людей искусства всегда найдется готовый ответ.

– Разве я неправ?

– Я не стану спорить с художником ни о его мастерстве, ни о его вкусе, – поспешил заметить принц Уэльский, желая показать, что тоже не лишен вкуса.

– Значит, вас не возмущают мои, как называют их критики, «незаконченные скульптуры» и «ничего не выражающие картины» Моне?

– Я, как вы, возможно, слышали, не являюсь моралистом.

– Камень этим качеством тоже не отличается.

– О, у меня есть своя мораль, но это уже нечто другое. Чтобы править страной, надо обладать моральными качествами, – люди должны уважать вас за те добродетели, которых они сами лишены.

– Вы говорите совсем как француз, Ваше высочество.

– Я рожден англичанином, но в моих жилах больше немецкой крови. Роден, вам повезло, вы можете заниматься тем, к чему у вас лежит душа.

Президент Карно добавил:

– За государственные деньги.

– Но, мосье президент, разве вам тоже не повезло? – весело сказал принц Уэльский. – Здесь, во Франции, считается не только само собой разумеющимся, но и всячески приветствуется покровительство красоте в любом ее проявлении, ей оказывает поддержку и материальную помощь само правительство. Не то что в моей родной Англии.

Обезоруженный, президент Карно кивнул в знак согласия и присоединился к принцу Уэльскому, который уже раскланивался с несколькими женщинами, достаточно красивыми, подумал Роден, чтобы служить моделями для «Вечной весны».

Префект полиции, стоявший позади президента и принца Уэльского, поздравил Огюста и сказал, что прекрасно помнит отца мосье Родена. Огюст знал, что это неправда, но вежливо поклонился и двинулся дальше, чтобы поговорить с Сарой Бернар. Она хотела услышать мнение мэтра о своей последней скульптуре, и Огюст снова оказался в неудобном положении; ему вдруг захотелось остаться одному. Замешательство Огюста удивило Сару Бернар, но она приписала это его переутомлению.

Он пытался затеряться в толпе, но это было невозможно. Множество голосов шептали: «Граждане» – это полный упадок… Они безобразны… Посмотрите на зад Евы, на ее торчащий живот, она, должно быть, беременна. Как он мог! Да он хуже Золя!» – Огюст пытался укрыться в углу, но повсюду слышалось: «А его обнаженные натуры? Это уж слишком».

Тут Гийом подтолкнул Огюста к незаконченному памятнику Гюго, перед которым стоял Клемансо, и выразил свое удивление по поводу того, что великий поэт представлен совершенно нагим.

– Но мы все нагие, – устало ответил Огюст. – «Нагим пришел я в этот мир и нагим уйду из него».

– Мосье Клемансо, вы согласны, что это святотатство так обращаться с гением? – возмутился Гийом.

Огюст, игнорируя замечание Гийома, повернулся к Клемансо:

– Вы знали Гюго?

– Несколько лет, – сказал Клемансо. – Пока мы с ним не разошлись во взглядах.

– Разве не таким вот его надо было изобразить?

– Таким вот? Не думаю. Гийом сказал:

– Количество обнаженных натур у вас возмутительно велико. Если вы будете продолжать делать эти обнаженные пары, то

Салон никогда не станет у вас ничего покупать.

– Господин Клемансо, а что думаете вы? – спросил Огюст.

– Вас интересует, что я думаю?

По правде говоря, нет, подумал Огюст. Он любил человеческое тело как таковое, не за его чувственность – для него оно было тем же, чем человеческое лицо для Рембрандта, но это его личное мнение. Он сказал:

– Клемансо, вы знали Гюго и с лучшей и с худшей стороны.

– Итак, Роден, преобладание плоти в вашем творчестве непонятно Академии, – сказал Клемансо. – И вы не единственный, кого они не понимают. – И прошествовал дальше. Гийом следовал за ним по пятам.

Огюст совсем решил было скрыться, но Буше уже поздравлял его с успехом «Граждан»; Буше обрадовался, узнав в одной из фигур маленького Огюста.

– В конце концов, вы оказались правы, что сделали шесть фигур. Каждого наделили своим особым характером. Это маленький Огюст, вон тот, у которого нос похож на ваш?

– Какая разница?

– Сегодня решающий день в вашей жизни, Огюст. Посмотрите-ка, Дега и Хэнли спорят о вашей работе, словно о своей собственной. – Буше указал на художника и писателя, которые стояли перед «Идущим человеком». Спор был таким бурным, что, казалось, дойдет до драки.

Огюст знал, что Дега может яростно защищать свою точку зрения, но был удивлен поведением Хэнли, обычно более хладнокровного. Любопытно, что так взбудоражило англичанина.

Он дал Буше отвести себя к Хэнли и Дега, окруженным зеваками, с нетерпением ожидающими новых острот и пререканий. Огюсту стало неловко. Надо положить конец этому спору, решил он, пока его самого не взяли в оборот. Но, обнаружив, что они отвлеклись от темы и говорили совсем не о выставке, огорчился.

Когда-то изящная фигура Дега теперь погрузнела, но голос был все так же резок. Хэнли был еще крепким на вид мужчиной, живость его манер отвлекала внимание от физического недостатка – хромоты. Но Дега решил сбить с писателя спесь, ибо последний осмелился с ним не согласиться. Он перешел в наступление:

– Хэнли, вы говорите ужасные вещи. Разве кто-нибудь, обладающий настоящим вкусом, сможет согласиться с нашими аристократами в искусстве?

– Дега не понимает, что раз в правительство проникли политиканы, то ничего не сдвинется с места, – сказал Хэнли.

– Я протестую против того, что республиканцы якобы начисто лишены человечности. К примеру, Клемансо. – Клемансо только что покинул выставку. – Великолепный оратор, беспощаден к противнику, но, как большинство бунтарей, слушает только себя.

– Как и вы, Дега.

– Но я не политик, я человек искусства.

– Клемансо тоже считает себя человеком искусства.

– Хэнли, вы неисправимы. Вам безразлично, кто стоит у власти, вы совершенно не разбираетесь в политике.

– А вы, Дега, затвердили одно: что каждый республиканец либо протестант, либо еврей, а поэтому в душе еретик.

– А разве не так?

Хэнли пожал плечами, словно желая сказать – разве это имеет какое-нибудь значение? А затем язвительно заметил:

– Вы считаете, что эта выставка носит политический характер?

– Конечно. После выставки Родена будут одинаково принимать и в роялистских салонах и в республиканских, а держаться всюду он будет одинаково нейтрально.

Огюст вмешался, рассерженный, но полный решимости успокоить спорящих.

– Я не согласен с республиканцами, что история Франции началась в 1789 году, но и не считаю, что нам следует возродить век Людовика XIV или даже Бонапарта. Все не так просто. Я не хочу, чтобы меня называли роялистом, если мне дороги Нотр-Дам и Шартр, а на следующий день обвиняли в том, что я революционер, по той причине, что я, видите ли, вылепил простых, не говоря об Эсташе де Сен-Пьере, граждан Кале, а не аристократов. Я не желаю ни поносить, ни восхвалять, я хочу быть только наблюдателем.

Огюст умолк, словно и так сказал уж слишком много. Если работы не говорят сами за себя, то словами делу не поможешь. Да и Дега уже не слушал его.

Дега говорил:

– Всемирная выставка – это утверждение величия республики, которая стала империей. У нас теперь Тунис, Алжир, Тимбукту, Мадагаскар, а скоро и Индокитай станет нашим. Нам не понадобится возвращать Эльзас и Лотарингию.

– Вы хотите сказать, что все это и ощущается в скульптуре Родена?

– Я этого не говорил.

– Знаете, Дега, мнение Родена, что природа всегда права, с художнической точки зрения совершенно правильно.

– Для вас.

– И для Родена. Художник видит реальный мир. Вам ли не знать, Дега. Роден передает его таким, каким видит, так же как реальный мир Моне отличается от реального мира любого другого художника.

– О, мне нравятся картины Моне, – сказал Дега. – Но он умеет только видеть.

– Вы так считаете? Умеет только видеть? Пусть, но зато как!

– Вам нравится «Идущий человек»? – спросил Дега.

– В нем великолепно передано движение, – ответил Хэнли.

– Фигура без головы?

– А разве головой ходят?

Ответ смутил Дега, и Огюст, довольный, что Хэнли защитил его произведение, взял писателя под руку, чтобы обсудить наедине памятник Гюго. Он был разочарован, когда Хэнли разошелся с ним во мнении.

– Если бы вы лепили Шекспира, Коро или Делакруа, – сказал он, – ваш труд был бы оправдан. Но я не разделяю ваше восхищение Гюго как поэтом, он был слишком эгоистичен, аморален и честолюбив. А вот «Граждане» – это поистине величественно. Великолепно, великолепно!

– Вы считаете, что я должен был сделать еще одну Жанну д'Арк или Наполеона, несмотря на то, что к этим темам уже обращались столько раз?

– Извините, Огюст, но вы сами говорили, что всегда хотите слышать только правду.

«Чью правду? – подумал Огюст. – Найдутся ли хоть два человека, которые сошлись бы в оценке произведения искусства?»

Но теперь внимание всей публики было обращено на Золя, Гонкура и Доде, которые направлялись к Родену. Он чувствовал, что этот шаг со стороны трех писателей, когда-то неразлучных, а теперь сохранивших видимость дружеских отношений только на людях, был лишь желанием привлечь к себе как можно больше взоров восхищенной публики. Старший из них, Эдмон де Гонкур, был все еще красивым мужчиной с блестящими карими глазами и прекрасной седой шевелюрой. Но самым привлекательным был Альфонс Доде, сама жизнерадостность, полный обаяния и сознания своей неотразимости. Доде был блестящим собеседником, а Гонкур умел прекрасно слушать. Но общее внимание приковывал к себе Золя. Видимо, поэтому и распалась дружба этих трех людей, подумал Огюст. Золя стал первым писателем Третьей республики; двадцать килограммов веса, которые он спустил из-за любимой женщины, интересовали всех больше, чем кризис правительства.

Гонкур пожал Огюсту руку, и он почти не почувствовал этого

слабого рукопожатия, Золя – энергично, а Доде – рассеянно, мысли его витали в другом месте.

Огюст подумал, что ни одного из них он по-настоящему не знает, хотя и встречался с каждым не раз. Вид у Золя был довольный, он сказал:

– Я слышал, вас называют «Золя в скульптуре» за реализм.

– Может быть, избыточный, – сказал Гонкур. – О, я знаю, у вас есть и поэтическая жилка, – поспешил он добавить, увидев, что Огюст нахмурился, – но вас чрезвычайно занимает тема любовных объятий. Когда бы я ни пришел к вам в мастерские, вы всегда лепите нагие модели.

– Но взгляните на Уголино, – сказал Золя. – Само олицетворение голода и отчаяния. Он прямо сошел со страниц Данте.

– Данте – это литература. Ошибочно переносить литературное произведение в скульптуру, – сказал Огюст.

– Вы реалист, – сказал Золя. – Может быть, похожий на меня, но больше на Флобера. Я вижу это по вашим «Гражданам Кале», «Адаму», реалистичной «Еве».

Другие называют его натуралистом, подобно Золя, подумал Огюст, а некоторые даже романтиком, подобно Гюго, но он ни то, ни другое, он, Огюст Роден, – наблюдатель, труженик, скульптор.

– Зачем сравнивать – разве это так уж важно? Скульптуру можно найти повсюду, только умей смотреть на мир.

– Какое из своих произведений вы больше всего любите? – спросил Гонкур.

Чувствуя, что от него ждут пищи для сплетен, Огюст ответил: – Я люблю все свои детища одинаково.

– Даже уродливые?

– Даже уродливые.

Наступило неловкое молчание, и тут Золя с благожелательностью сказал:

– Академия ненавидит и боится Родена и его скульптуры так же, как ненавидит и боится нас. И мы должны защищать его произведения, как я защищал Моне.

Снова наступила пауза, Золя отошел поговорить с Моне и президентом Карно; Гонкур и Доде последовали за ним. Не как его верные друзья – в этом Огюст теперь уверился еще больше, – а чтобы не уступить пальмы первенства.

Увидев, что его бывший друг Золя отошел, на Огюста налетел Сезанн. Растрепанный и неопрятный, словно пешком отмеривший весь путь от своего дома в Эксе. В каком-то взволнованном порыве он объявил:

– На ваших произведениях по крайней мере нет налета

буржуазности.

К ним подошел Ренуар, один из немногих, в чьем присутствии Сезанн не испытывал робости. После минутного молчания Ренуар усмехнулся и сказал:

– Итак, дорогой друг, вы причислены к сонму великих мира сего. Я надеюсь, это вас не испортит.

– Никогда! – объявил Сезанн. – Он будет продолжать работать. Вот увидите.

– Постараюсь, Поль, – ответил Огюст; неплохо бы сейчас, подумал он, искупать Сезанна в ванне, куда бы стал привлекательней. Старомодный черный сюртук художника и брюки были покрыты пятнами и заляпаны грязью.

Они втроем наблюдали, как президент в сопровождении Золя, Гонкура и Доде продвигался через толпу, и вдруг Огюст вздрогнул. В дверях стоял Лекок. Совсем один, худой, сильно состарившийся, он тяжело опирался на толстую трость, хотя и старался держаться прямо.

Слезы навернулись на глаза Огюста. Ему так хотелось обнять Лекока, прижать к груди, расцеловать в обе щеки. Он извинился перед друзьями и успокоился, когда Сезанн, который даже невинное «до свиданья» мог счесть за объявление войны, на сей раз все понял и не обиделся.

Огюст взял Лекока под руку, но Лекок уклонился. Он резко сказал:

– Я могу ходить сам.

– Но почему вы пришли один, мэтр?

– Буше предложил проводить меня, и Каррьер тоже! Чудаки! Если бы мне нужна была помощь, я бы не пришел. Но, как видите, я здесь.

– Меня это очень радует.

– Где ваши скульптуры? Я пришел посмотреть на ваши скульптуры, а не на кучу бездельников из предместья Сен-Жермен.

Огюст показал Лекоку все, он водил его медленно, неторопливо, не обращая ни на кого внимания. Он понимал, что старому учителю это стоит громадного напряжения воли и сил, но Лекок отказывался присесть. Лекок вспомнил «Идущего человека» и обрадовался, увидев, что Роден ничуть не изменил статую, одобрительно пробормотал что-то по поводу «Адама», но добавил, что предпочитает «Еву», а по поводу «Граждан» сказал:

– Пропорции хороши. Вы должны окончить их, что бы ни решили в Кале.

Дольше всего он задержался у памятника Гюго.

– Вы сделали старика нагим. Отлично, – сказал Лекок. –

Таким он и был в жизни. Вас не одобряют?

Огюст нахмурился.

– Нет.

– Вот и прекрасно. Вы на правильном пути. – Хотите присесть, мэтр?

– Нет, Роден, нет! Скоро мне уж и не придется вставать.

– Не надо шутить.

– Бог мой, я и не собираюсь. Мне уже восемьдесят семь. Вы знаете, что я родился в один год с Гюго?

Огюст удивился.

– Вы думали, что я уже умер.

– Что вы заняты.

– В моем-то возрасте? – Лекок засмеялся. – Но я пережил старика. Гюго вечно хвастался своим кровообращением, своей живучестью, а я вот все еще жив.

– И проживете еще много лет.

– Вы никогда не умели как следует лгать, Роден. Как проходит выставка?

– В списке гостей самые выдающиеся люди, но зависти и кривотолков хоть отбавляй. Каждый мнит себя критиком и считает своим долгом обнаружить изъян.

– Естественно. На вернисаже каждый гость должен доказать, что он принадлежит к избранным, а именно к критикам, и высказаться более решительно, чем простые смертные, показать, что, хотя он и ценит искусство, художника он презирает.

– Я не уверен, что еще буду выставляться.

– Если бы я продолжал выставляться, меня бы уже не было в живых.

– Вы дразните меня, мэтр.

– Нет, серьезно. Не прекрати я выставляться в пятьдесят, я бы так долго не прожил.

– Мне сорок восемь.

– Но у вас больше таланта. И помните: когда критика становится особенно ревнивой и злой, то из всех наших грехов самый непростительный в глазах современников – выдающийся талант.

– Спасибо.

– Кроме того, на этот раз уж никак не провал, – удовлетворенно заметил Лекок.

– Возможно.

– Я в этом уверен. Вас страшно недооценивали, а я знал, что вы с Моне еще тряхнете Салон и Институт изящных искусств, чего не удалось мне. Вот увидите – кончится тем, что вас будут приглашать на охоту к президенту в Рамбуйе, на обеды и приемы

в Елисейском дворце, на бега в Лонгшан – повсюду.

Огюст слушал недоверчиво, но он был слишком рад приходу Лекока, чтобы затевать спор.

«Роден, – подумал Лекок, – воспитал в себе качества, которые достойны похвалы». И тут старик почувствовал, что сильно устал.

Огюст проводил его до дверей и подождал, пока подъехал экипаж; он и не заметил, что президент тоже покидает выставку и Пруст хочет, чтобы Огюст с ним попрощался. Пообещав Лекоку посетить его сразу после закрытия выставки, он стоял у дверей и задумчиво смотрел ему вслед, когда подошел Пруст и упрекнул за невнимание к высокому гостю.

– Невнимание? – Огюст возмутился. – Он первый был невежлив со мной.

– Все это не важно, – перебил его Моне, – ведь Карно, что бы вы ни говорили, Пруст, не собирается ничего у нас покупать. Пойдемте, друзья решили отметить открытие выставки.

«Друзьями» оказались спокойный Ренуар, робкий Сезанн и высокомерный Дега, который намеренно не обращал внимания на Каррьера, – тот молча сидел рядом с Буше и Прустом, видимо, приглашенным уже напоследок.

– Одни художники, – сказал Моне Огюсту. – Кроме Пруста.

– Спасибо, – ехидно произнес Пруст, но не ушел, как, видимо, надеялся Моне.

Когда Огюст пробормотал, что выставка не удалась, пожалуй, даже провалилась – очень немногие из гостей по-настоящему осмотрели ее, – Пруст воскликнул:

– Провалилась? Да ведь выставка привлекла самых именитых людей, чего не было уже многие годы! Вы перещеголяли Салон, о вас с Моне говорит весь Париж. Эта выставка – событие. Манеры мне ваши не нравятся, Роден, но у меня для вас радостная новость.

– Какая? – Огюст приготовился к очередной неприятности.

– Вас собираются наградить орденом Почетного легиона.

Пораженный, Огюст мог только произнести: – Как и Мане.

– Да. Но мы хотим заручиться вашим согласием. Будет неудобно, если вы откажетесь после того, как мы приложили столько усилий. Вы тоже будете представлены, Моне, – сказал Пруст.

– Я отказываюсь, – сказал Моне, – как заметил Мане: уже слишком поздно.

– И все же Мане принял награду, – сказал Пруст.

– Мане умирал. Нет, я откажусь, если мне предложат, – ответил Моне.

Сезанн поспешно проговорил:

– Я бы на вашем месте принял орден, мосье Роден.

Огюст был удивлен, что Сезанн так мечтает получить эту официальную награду; художник считался затворником.

– Это официальное признание – награда за всю ту борьбу, которую вам пришлось вести, – сказал Сезанн. – А как быть с Ренуаром, Пруст? Его кандидатуру тоже надо выдвинуть.

– Он будет выдвинут. Но это придется сделать департаменту коммерции, чтобы избежать придирок Института. Если, конечно, Ренуар согласится.

– Я согласен, – улыбнулся Ренуар. – Я не так горд, как Моне.

– А вы, Роден? – спросил Пруст. – Мы собираемся после закрытия выставки показать ваши произведения и Моне на Всемирной, как лучшие образцы современного французского искусства.

– Итак, я теперь французский скульптор? И не считаюсь непристойным?

– Вы первый скульптор Парижа.

– Конечно, – сказал Дега. – Теперь это признано официально. – Он гневно посмотрел на Пруста. – Я бы не принял красной ленты даже из рук самого папы римского. Что ни говорите, Пруст, а от этого пахнет Салоном. Страсть к официальному признанию – болезнь, которая погубит всех нас, если мы ею заразимся.

– А я бы принял, – мягко сказал Каррьер. – Это большая честь. И самое главное, Огюст, вы ее заслужили.

– Спасибо, друг мой. И вам, Сезанн. Вы тоже удостоитесь этой награды!

Каррьер пожал плечами, а Сезанн выпалил:

– Нет, где уж мне, решат, что это уж слишком. Но хотелось бы, чтобы и меня хоть раз официально признали. Дать им почувствовать, что я еще существую.

Буше спросил Пруста:

– А Дега?

– Он отказывался несколько раз. Дега огрызнулся:

– Я отказался наотрез. Роден, вы предатель.

– Я не напрашивался. Почему вы не вините Пруста?

– Потому что разбогатеете теперь вы, а не кто-нибудь другой.

Огюст покраснел и сказал:

– Пока я по-прежнему беден.

Г лава XXXIII

1

Награждение Огюста обрадовало Камиллу, но мира не принесло, поскольку не она, а Роза пришила красную розетку к лацкану его сюртука.

Роза гордилась этим, жалобы на судьбу на время приутихли; Камилла тоже воспрянула духом, когда Огюст попросил помочь отобрать скульптуры для Всемирной выставки.

Он внимательно прислушивался к ее советам, и Камилла была довольна, что он решил показать на выставке «Бронзовый век», «Иоанна Крестителя», «Граждан Кале» и портреты Пруста, Гюго и Далу – он даже не упомянул об обнаженных парах. Ее забавляло, что он выставил бюст Далу, и она решила, что это в отместку – они даже не разговаривали, поскольку Далу упорно добивался заказа на новый памятник Гюго, и, по слухам, небезуспешно.

Но она досадовала – опять он с головой ушел в работу. Он работал лихорадочно, набирал много частных заказов, лепил их только для себя, ища все новые приемы изображения, и все не относящееся к работе только раздражало его. Многие произведения Родена получили на выставке похвальный отзыв, хотя раздавались и критические голоса. «Граждане Кале» произвели фурор. Пресса назвала эту скульптуру «великолепным изображением нашей героической истории, которое найдет путь к сердцу каждого француза-патриота».

Но были и сложности. У муниципалитета Кале все не было денег на отливку и установку «Граждан», и, пока в Кале обсуждали вопрос о выпуске городской лотереи, скульптура оставалась в подвале. Друзья уверяли, что «Граждане Кале» слишком важный памятник французскому патриотизму, чтобы от него могли отказаться, но ожидание делало Огюста еще более раздражительным и недоверчивым.

Как-то Буше пригласил его на обед и сказал:

– Теперь, после выставки почти всех ваших произведений и шума вокруг «Граждан Кале», вы стали знамениты, к вам пришёл успех. Вы будете постоянно в центре внимания.

Но Огюст сердито воскликнул:

– Не поэтому ли и памятник Гюго стал притчей во языцех? Я поспешил его выставить и поплатился. Только и разговоров, что я изобразил бедного старика Гюго нагим, словно не таким его

создала сама природа. Если это и есть успех, то мне он, пожалуй, ни к чему.

А тут еще Камилла и Роза артачатся. Ему казалось, что отношения с обеими налажены вполне определенно. С тех пор как Камилла вошла в его жизнь, он знал ее одну и гордился своей верностью. Обе женщины должны быть довольны, считал он, но стоило переступить порог дома или мастерской, где жила Камилла, как он попадал в грозную атмосферу. На них не угодишь, и подчас он делался просто больным.

Камилла все чаще проводила вечера в одиночестве. Это ее пугало. Раз я терплю сейчас, – думала она, он, видимо, полагает, что я буду терпеть и дальше. Мысль, что она должна делить его с другой, приводила ее в неистовство. И сколько Огюст ни твердил, что она становится отличным скульптором и он поможет ей устроить выставку, как только у нее наберется работ, она все больше сознавала, что кроме собственной работы для него не существует ничего.

Как-то вечером она бросила ему это обвинение. Огюст был потрясен.

Он сказал:

– Что за мысли, дорогая? Разве твоя работа не стояла на почетном месте? И все ее видели. Ее очень хвалили.

– А «Данаиду»? А «Мысль»?

– Их тоже. «Данаида» произвела сенсацию. Если ты захотела бы стать профессиональной натурщицей, мне бы стоило большого труда удержать тебя.

Она промолчала. Ее ранило еще больнее, когда он хвалил ее как хорошую модель, словно как скульптор она ничего не значила. Но разве это выскажешь?

– Извини, дорогая, что я так занят, но как я могу отказать своей стране?

– Они отвергнут твою работу, если она не будет отвечать их целям. Как делали уже не раз.

– Ты несправедлива. Жестока.

«А ты не жесток?» – подумала она. Сколько горя причинял он ей нежеланием покинуть Розу и тем самым признать ее своей единственной любовью, ей так хотелось высказать ему это. Но она чувствовала, что сейчас, когда дело с памятником не ладится и он раздражен, не время для ультиматумов. Он скорее отпустит ее на все четыре стороны, чем пойдет на уступки.

Что ему эта Роза? Когда она намекнула ему, пусть уйдет от Розы, он промолчал. Нежно прижавшись к нему, она уговаривала, но Огюст был холоден, как мрамор его статуй.

– В чем дело? – Камилла почувствовала, как ее сердце бешено

стучит рядом с его.

– Я не жду от тебя помощи в работе, – сказал он. – Мне никто не может помочь. Но я надеялся, что ты меня поймешь.

– Я тебя понимаю! Понимаю! – Но и он должен ее понять.

– Себя не переделаешь. Какой есть, таким и останусь.

Они провели ночь любви, полную слез и примирений. Когда Огюст ушел, Камилла отправилась в мастерскую к Буше. Буше не удивился ее приходу и, скрывая свое раздражение, – Камилла прервала его работу над важным заказом, – сразу перешел к волнующей ее теме.

– Роза ничего не добьется. Вы гораздо красивее, в два раза моложе.

– Красивее? Я ее видела. Она все еще хороша.

– Нельзя и сравнивать. Возможно, Роза в свое время и была красива и, судя по бюстам, которые он с нее лепил, с прекрасной осанкой, что всегда привлекало Огюста, но теперь, по сравнению с вами, – просто уродина.

– Уродина? Значит, он никогда ее не покинет! Разве вы не знаете, что жалость подчас сильнее любви?

А в большом мрачном доме на улице Августинцев Роза внушала себе, что лучше сохранить хоть какие-то права на Огюста, чем потерять его совсем. Но прошли месяцы с того дня, как он попросил ее нашить ему на лацкан сюртука розетку ордена Почетного легиона, а куда бы он ни надевал его, ее с собой так и не брал. Роза стала опасаться, что Огюст никогда не сдержит слова, данного умирающему отцу. Если господь не сотворит чуда сейчас – будет поздно. Домой он приходил вое реже и часто отсутствовал теперь и по воскресеньям, и дни эти протекали для Розы мучительно и тоскливо. А когда бывал дома, она не спускала с него глаз. Он повторял:

– Роза, есть вещи, которые ты не понимаешь. Но она очень хорошо понимала, что у него есть та, другая. Долго ли еще продлится эта связь? Роза знала – ее любовь выдержит все, но ведь жизнь уходит.

Огюст не забыл о дне ее рождения, пообедал с ней и дал в подарок сто франков на новое платье. Но Роза была печальна. День рождения подтверждал, что она стареет. Не ее вина, что она старше Камиллы.

Но Роза хотела быть хорошей женой и сказала:

– Ты продал довольно много скульптур после выставки?

– Несколько штук.

– И по лучшей, чем раньше, цене?

– Да, немного лучшей. Но эти сто франков не значат, что мы можем сорить деньгами. Как я уже сказал Дега и Прусту, мы

бедны по-прежнему.

– Хотя ты и держишь столько мастерских?

Он печально посмотрел на нее. Бедная Роза, разве может она понять, что ему нужно. Совсем потеряла голову из-за его, как она считает, греховной связи с Камиллой, ревность совсем ослепила ее, даже не видит, насколько это глупо.

– Говорят, что ты мог бы зарабатывать большие деньги, не будь ты таким упрямым.

– Кто это тебе сказал? Маленький Огюст?

– Нет. Маленький Огюст не ходит в мастерскую с тех пор, как ты ему запретил.

– Я не запрещал. Просто сказал, что если приходит, надо работать наравне со всеми. Но твой сын не любит работать. Даже в армии так и застрял в рядовых. А после армии живет на деньги, что ты ему даешь.

– Потому что ты не даешь ничего.

– Да он их пропивает или пытается соблазнить на эти деньги натурщиц. Я бы платил ему жалованье, но пусть работает. Ему не быть художником, хотя рисует он неплохо. А он предпочитает бездельничать, что куда проще. Даже не желает жить дома, должен, видите ли, жить на Монмартре. Ты сама подумай, ведь, работай он в мастерской да живи дома, тебе не пришлось бы платить, чтобы за мной шпионили, обо всем бы тебе сам докладывал.

Тут Роза расплакалась, и это вконец расстроило Огюста – он был бессилен перед ее слезами. И все осталось по-прежнему – Роза боялась донимать его просьбами, понимала, что это бесполезно.

2

Через несколько дней правительственный комиссар общественных работ приказал Министерству изящных искусств установить копию памятника Гюго в Пантеоне, чтобы выяснить, насколько он отвечает своему назначению. Комиссар общественных работ, представляющий город Париж и поэтому, естественно, враг министерства, которое представляло Францию, не сказал, в чем состоит это назначение.

А министерство, вместо того чтобы поставить в Пантеоне гипсовую модель памятника, которая была на выставке в галерее Жоржа Пти, не послушалось совета Огюста и поручило студенту из Школы изящных искусств сделать копию памятника Гюго, сидящего на скале, из папье-маше. Огюст был приглашен в Пантеон вместе с комиссией от министерства и комиссаром

общественных работ.

Огюст стоял у входа в Пантеон и глазам своим не верил. Копия, сделанная студентом Школы изящных искусств, оказалась бесформенной массой из папье-маше и картона. Фигура Гюго на утесе была как манекен в витрине магазина. Памятник установили слишком высоко, без учета перспективы. Сама же манера исполнения, лишь кое-как передающая внешнее сходство, была явным подражанием идолу Школы изящных искусств Бугеро. Огюст подумал, что никогда в жизни не видел ничего более отвратительного. У него потемнело в глазах. Они осквернили и Пантеон и его произведение.

Несколько минут царило полное молчание. Затем председатель комиссии министерства извинился перед комиссаром общественных работ.

– Памятник еще не совсем закончен, в законченном виде он будет выглядеть прекрасно.

Комиссар сказал:

– Могут возникнуть и другие трудности. И тут Огюст не выдержал:

– Это невозможно. – Ему хотелось крикнуть, что это вульгарно, бесстыдно, непристойно, но он боялся напугать их. Он просто сказал:

– Работа студента чересчур примитивна, декоративна, словно гигантский плакат. Для Мулен Руж, может, и сойдет, но для Пантеона – ни в коем случае. И потом памятник установлен слишком высоко.

– Слишком высоко? – повторил комиссар. – Он установлен в соответствии с указом об общественных памятниках. Вот только поймут ли его?

– Конечно, нет, – сказал Огюст. – Скульптура, в отличие от живописи, обозрима со всех сторон, поскольку скульптор вкладывает свое искусство в создание произведения в целом – анфаса, профиля и спины. А это не скульптура, а живопись.

– Я согласен, – сказал комиссар. – Это неуместно. Многие скульптуры мосье Родена я сам желал бы приобрести, но эта никак не подходит для Пантеона.

Огюст ждал: возможно, комиссар все-таки понял его замысел.

Комиссар сказал:

– Мосье Роден, ваше толкование образа Гюго драматично, и когда смотришь на него, взгляд не отдыхает. Гюго у вас слишком напряженный, слишком обнажен. Это не отвечает нашим замыслам. Мы ценим ваши усилия, но хотели бы получить нечто такое, на что наши сограждане смотрели бы без смущения.

Огюст молчал. Он уставился на свои руки, словно это они его

предали. Пантеон дохнул на него могильным холодом. Не дожидаясь дальнейших замечаний, он бросился вон. На улице начинался дождь, но он не мог вернуться в мастерскую и несколько часов бродил по набережным; он промок до нитки, все тело ломило от холода. Ледяной ветер пронизывал насквозь, а он все ходил и ходил. Смотрел на знакомые баржи, укрывшиеся под мостами от ливня. Сегодня даже на Новом мосту ни одного рыбака.

Придется упрятать памятник Гюго в сыром подвале у привратника, где он будет распадаться на части, как труп.

Огюст все шагал и шагал по набережной.

3

Когда через неделю Пруст пришел в мастерскую на Университетской, Огюст был бледен и равнодушен. После надругательства над памятником Гюго он не мог ни на чем сосредоточиться.

Пруст сказал:

– Вы знаете, я вам друг, дорогой мэтр.

«Мягко стелет», – подумал Огюст, а вслух произнес:

– Знаю, Антонен. Вы-то в этом вполне уверены. Пруст пропустил замечание Огюста мимо ушей, помедлил, словно набираясь решимости, и, наконец, спросил:

– Комиссия вам уже написала?

– О чем?

– О памятнике Гюго. Они очень огорчены осмотром на прошлой неделе.

– Огорчены? А я, думаете, нет? Копия, которую они сделали, отвратительна.

– Знаю. Это не ваша вина. Поверьте мне, они вам сочувствуют. Но факт остается фактом, они решили, что помещать обнаженную фигуру Гюго в священном Пантеоне немыслимо. Комиссар, за которым решающее слово, сказал, что он неуместен в Пантеоне.

– Видимо, за всем этим опять стоит Гийом.

– Многие, не только он. Комиссар слышал, что, когда ваш Гюго выставлялся в галерее, было много протестов.

– Гюго не был святым.

– Но люди испытывали смущение, глядя на вашего Гюго.

– И я испытывал, глядя на живого Гюго. Но это не относится к делу. Разве кто-нибудь смущается, глядя на Венеру Милосскую и другие обнаженные античные статуи?

– Мы не знали их как живых людей.

– Но разве обнаженный Гюго – такое постыдное зрелище? – воскликнул Огюст. – Ведь сам Гюго гордился своей мужественностью. Или он занимался любовью в одетом виде?

И прежде чем Пруст успел ответить, Огюст указал на гипсовую модель:

– Взгляните на его торс – гладкий и крепкий, как скала, – это воплощение человеческой силы. Гюго остался бы доволен.

– Не отрицаю, фигура великолепна. Но они хотели бы видеть Гюго более похожим.

– Изображение – это не область скульптуры, а область литературы.

– Дорогой мэтр, вы же сами говорили, что памятник Гюго должен быть предназначен для широкого обозрения.

– Итак, вы отдали меня в руки моих врагов, позволив Школе изящных искусств соорудить копии моей гипсовой фигуры Гюго из картона и папье-маше. Моне был прав, отказавшись от ордена Почетного легиона. Вы дали его мне, чтобы связать по рукам и сделать покладистым.

– Я ваш друг, но Институт все еще возглавляет официальное французское искусство, и мы в министерстве должны быть осторожны.

– Почему мне дали орден? По ошибке, наверное.

– Так и говорят в Институте и Школе изящных искусств. А в Академии утверждают, что ваш памятник Гюго – позор. Мы должны это опровергнуть.

– Опровергнуть? Чепуха. Лекок так и назвал «Гюго» – голым и сказал, что я на правильном пути.

– Лекок был прекрасным учителем, но в официальных кругах к его мнению не прислушиваются.

– Лекок был прав. А этих студентов-скульпторов надо посылать в школы, где учат набивать чучела, там они постигнут иконографию, которой вы поклоняетесь.

– Я не поклоняюсь. Дело в том, что сейчас идет борьба за то, чтобы дать вам возможность оправдаться.

– Оправдаться? – Это оскорбило Огюста.

– В министерстве очень обижены на вас за «Врата ада». Поговаривают о том, чтобы потребовать с вас деньги, если вы их вскоре не закончите.

– Я уже потратил на «Врата» больше, чем получил.

– Они хотят получить «Врата».

– Разве Музей декоративных искусств уже начали строить? Ну хоть заложили фундамент?

– Министерство заявляет, что дело в принципе, надо выполнять условия договора. Но у меня предложение, которое,

как мне кажется, может всех примирить. Оденьте Гюго, поставьте во весь рост, и тогда его примут. Так мне сказали. А если министерству понравится ваш «Гюго», то и с «Вратами» образуется.

– Я прикрою ему бедра. Как Христу. Но не больше.

– Этого недостаточно. Мэтр, как с вами трудно!

– Трудно? А как быть с этим? – Он указал на памятник, к которому не мог притронуться. – Что мне с ним прикажете делать? Господи! Мало я натерпелся с живым Гюго!

– Если вы его задрапируете, памятник будет установлен в Люксембургском саду. Считают, что там он больше подойдет.

– Я не согласен.

– Подумайте. Не спешите.

– Нет. – Гюго не шел на компромиссы, и он на них не пойдет.

– Прошу вас. Идут разговоры о Далу.

– Закажут памятник вместо моего? – Огюста это задело.

– Весьма возможно. Далу знаком с важными официальными лицами, у него есть друзья в Школе – он там учился, как вам известно. Обдумайте все. Я уверен, вы сумеете найти новое решение, подходящее для Пантеона. Я могу уговорить министерство подождать, но не слишком долго. Хватит неприятностей с «Вратами».

«Врата»! Да разве расскажешь кому, что сколько фигур он ни лепит, их требуется все больше и больше? «Ад» занимал немало места, когда он только начинал работу, а теперь, с годами, приобрел чудовищные размеры, и он должен, насколько позволит талант, передать все его многообразие. Но чтобы быть скульптором, выполняющим официальные заказы, нужно стать проституткой, рабом, горько думал Огюст, или буржуа, имеющим родственников в бюрократическом мире. Не надо было соглашаться на государственные заказы. Оставаться бы в безвестности, работать в одиночестве, покое, лепить так, как следует лепить и как он должен лепить, чтобы никто не вмешивался в его работы, никто не указывал ему и не осуждал; ни перед кем ни за что не быть в ответе – только перед самим собой. Он схватил железный прут, чтобы разбить «Гюго», и воскликнул:

– Вы хотите, чтобы я изменил «Гюго», – вот самый быстрый способ!

Но Пруст выхватил прут у него из рук.

– Нет, нет, Огюст. Я хочу, чтобы вы лишь немного изменили его. А ваша несдержанность будет только на руку Далу.

Он не вырвал у Пруста железный прут. Приступ ярости прошел. Проводив Пруста до двери, Огюст сказал:

– Я подумаю о вашем предложении.

4

Вечером Огюст спросил Розу, как быть. Роза сказала, что человек он не богатый и деньги ему нужны, но у нее немного сэкономлено на хозяйстве, и, если это его выручит, пожалуйста, она отдаст их, лишь бы он мог продолжать работу. Огюст рассердился– зачем она все копит. Но в то же время обрадовался, поблагодарил ее и велел хранить сбережения, пока он не решит, что делать.

На следующий день он рассказал Камилле о предложении Пруста. Камилла была возмущена решением министерства, но сказала, что он должен сделать новую статую Гюго.

– С твоим талантом, Огюст, нет невыполнимого. «Это не комплимент, – подумал он, – она права».

И когда она добавила: «Разве мертвым не безразлично, где они похоронены?» – он ответил: «Гюго не безразлично».

– Значит, надо сделать два памятника Гюго, – сказала она, – и тогда Далу потерпит поражение и тут и там.

Огюст признал, что в ее словах много разумного, и снова воспрянул духом. Через несколько дней он сообщил Прусту, что попробует сделать памятник Гюго для Пантеона – фигуру во весь рост, в полном облачении. Пруст был очень обрадован и тепло обнял Родена.

Затем начались переговоры с министерством по поводу двух памятников – нового для Пантеона и старого, частично задрапированного, для Люксембургского сада. Возникла обычная проволочка из-за условий договора, но Огюст принялся за дело.

Однако у него не было желания делать фигуру Гюго во весь рост и полностью одетым, и он вернулся к работе над первоначальным вариантом памятника. Задрапировал фигуру от талии и ниже таким образом, что плавная линия драпировки, словно морская волна, охватывала камень и фигуру поэта. После чего пригласил Пруста взглянуть на памятник.

Пруст сказал:

– Солидно, вполне прилично, для сада должен подойти. А как подвигается новый памятник?

– Никак, – мрачно ответил Роден. Но Пруст настаивал – пусть покажет.

Фигура Гюго в полном облачении стояла на традиционном пьедестале; сходство было полным. Пруст внимательно осмотрел скульптуру и сказал:

– Гюго – это не просто художник, это олицетворение

Франции, Франции непобедимой и героической. – Огюст подумал, разве можно когда-нибудь узнать всю правду о человеке, когда память людей ненадежна и склонна к преувеличениям.

– Это очень плохо, не правда ли? – спросил Огюст.

– Не так уж плохо, – ответил Пруст. – Снова видишь его живого. Продолжайте, и вы найдете нужное решение.

Посещение Клода Моне принесло Огюсту облегчение. Моне пришел по делу.

– Огюст, я собираю деньги на покупку «Олимпии» Мане у его вдовы. Мы хотим передать «Олимпию» Лувру, чтобы она стала достоянием всей Франции.

Огюст пессимистично заметил:

– Лувр не возьмет. Она слишком реалистична.

– Нужно попытаться. Многие уже дали деньги: Дега, Писарро, Фантен, Лотрек, Пруст, Хэнли, Каррьер, Ренуар, Гюисманс, Пюви де Шаванн[98]…

– И Роден, – перебил Огюст, улыбнувшись впервые за долгое время.

– Сколько?

– Двадцать пять франков. Это немного, но я хочу, чтобы мое имя тоже было в списке.

Хотя Моне и сам был знаком с нуждой, он не скрыл удивления.

Огюст объяснил, уж Моне-то его поймет:

– Больше не могу. Заказ на Гюго под угрозой, а я и так уже залез в долги с «Гражданами» и «Вратами». Я буду поистине безумцем, если еще когда-нибудь возьмусь за общественный памятник.

– А что с памятником Клоду Лоррену? Это один из немногих художников, который мне по-настоящему нравился.

– Он почти закончен. Но вот увидишь, заказчик, муниципалитет города Нанси, найдет, к чему придраться, и будет чинить всякие препятствия. Уж это неизбежно.

– Мне нравится твой Клод Лоррен. Настоящий портрет художника за работой, рисующего то, что он любил: солнце, свет и воздух. Он правдив.

5

В том-то все и дело. Лоррен был маленький, приземистый; круглолицый, с несколько выпуклыми глазами, вечно высматривающими что-то вдали, и сам вечно в движении, в поисках новых пейзажей, – таким и изобразил его Огюст, чем и

вызвал недовольство граждан Нанси. Карно, который все еще оставался президентом Франции, торжественно открыл памятник в июне 1892 года на главной площади города при большом стечении народа. Пока он произносил речь о Клоде Лоррене как об «одном из славных самородков Франции и одном из великих сынов города Нанси», толпа внимательно слушала его и громко аплодировала, но как только президент отбыл, принялась издеваться над памятником и бросать в него камни.

Критика памятника продолжалась и после возвращения Огюста в Париж. Его обвиняли в том, что он опорочил французское искусство, изобразив Клода Лоррена слишком обыденным, низкорослым, в то время как Клода Лоррена, как гениального художника Франции – хотя он всю свою жизнь, кроме детства, проведенного в Нанси, прожил в Италии, – нужно лепить в героическом и монументальном плане. Шли разговоры о заказе памятника кому-нибудь еще, если Роден не согласится на переработку. И Огюст пошел на уступки: чтобы памятник не был уничтожен, не попал в чужие руки, он согласился переделать коней[99], более отчетливо выделить их на мраморном пьедестале. Он злился на себя за малодушие, но иного выхода не видел.

Как он и надеялся, это ускорило переговоры о памятнике Гюго. Вскоре после согласия переделать пьедестал памятника Клоду Лоррену Министерство изящных искусств поставило его в известность, что комиссар общественных работ одобрил новый вариант памятника Гюго, предназначенный для Пантеона, и выдает ему тысячу франков в подтверждение своих добрых намерений. Министерство, кроме того, предоставило ему еще одну государственную мастерскую на Университетской улице, более просторную и удобно расположенную, и шли разговоры о награждении его вторым орденом Почетного легиона.

Огюст хотел было отказаться от новой мастерской, ему показалось, что его задабривают, но отказаться было выше его сил.

Он принял ее с легким сердцем, когда Пруст напомнил:

– Мы живем в мире, где люди слабы, неустойчивы в суждениях и противоречивы. Приходится мириться с этими ненадежными учреждениями, руководимыми ненадежными людьми. Нельзя отказываться от хорошего заказа, какие бы сложности ни возникали.

Огюст кивнул и возобновил работу над новым памятником Гюго в новой мастерской. Он работал с таким упорством, что на руках появились мозоли.

Глава XXXIV

1

Было уже довольно поздно, около полуночи, и он все еще напряженно работал в новой мастерской, когда на пороге появилась Камилла. Ее гневный вид поразил Огюста. Правда, он забыл об условленном свидании в мастерской на площади Италии, но стоит ли так злиться? Увлекся работой, и уж она-то должна бы понимать. Огюст стоял перед гипсовой моделью Гюго – он нарядил поэта в развевающуюся накидку и широкополую шляпу – и крепко сжимал в сильных руках инструмент. В колеблющемся свете свечей лицо Огюста казалось неподвижным мрачным пятном с горящими на нем глазами.

Камилла сердито заявила:

– Я ухожу от тебя. И хочу тебе об этом сказать. Он посмотрел на нее – сначала не понимая, потом недоверчиво.

– Я не вернусь в мастерскую. – Почему?

– Ты обманул меня. Ты только обещаешь, но никогда не держишь слово.

Он вдруг презрительно сказал:

– Если ты покидаешь меня, когда корабль идет ко дну, я не смею тебя удерживать.

– Ты уже десять лет держишь меня в оковах. – Восемь. И оковы ты надела по своей воле.

– Пусть так. Но любовь не может жить без надежды.

– Поступай как хочешь. – Он снова повернулся к памятнику.

Камилла ждала, что он остановит ее, станет умолять. Его равнодушие поразило, она растерялась.

– Я предупреждал тебя, что романтическая любовь как порох и такая же ненадежная, – сказал Огюст.

– Если бы ты только…

– Я не давал тебе никаких обещаний. Ты же знаешь, что значит для меня работа. В ней вся моя жизнь, иногда блаженство, а чаще всего отчаяние.

– Потому что ты сумасшедший, считаешь, что всех должен лепить обнаженными.

– «Клод Лоррен», «Бастьен-Лепаж», «Граждане Кале» – разве они обнаженные? – Он смотрел на нее, убеждая, подчиняя ее себе, и она почувствовала невольное волнение. Вдруг он сказал: – Мне предлагают еще один орден Почетного легиона. Принимать?

– Не спрашивай меня. – На этот раз она решила не сдаваться

так просто. – Кроме того, ведь ты все равно поступишь по-своему.

– Тебе нравится этот Гюго?

– Нет. – Она даже не взглянула на фигуру.

– И все из-за проклятого Гюго. Он губит мою жизнь.

Ее поразила жалоба, внезапно прозвучавшая в его голосе. Так непохоже на него – раскрывать душу кому бы то ни было, даже ей. Сразу захотелось утешить его, но потом она подумала, что это очередная ловушка. А может, он действительно нуждается в утешении, и не слишком ли она жестока, объявляя об уходе? Но отступать было поздно, пусть сам сделает первый шаг. Она двинулась к выходу, мучаясь в душе. У двери задержалась.

– Я оставлю ключ у привратника.

Голос ее звучал уже мягче, и ледяная непримиримость Огюста растаяла, он быстро подошел к ней и сказал со всей нежностью, на какую был способен?

– Прости, что я заставил тебя ждать. Я не думал, что так обижу тебя. Признаю свою вину, дорогая.

Все еще в гневе, она повторила: «Я ухожу», хотя его нежность тронула ее; на этот раз она посмотрела на освещенную свечами фигуру Гюго.

– Что ты думаешь об этом Гюго?

– Не приставай ко мне. Тогда он сухо сказал:

– Я думал, ты что-нибудь посоветуешь.

– Ты слишком многого от меня ждешь. Любой узнает в нем Гюго. Разве не этого и хотят от тебя?

– Да. Глупее и не придумаешь. – У него был совсем унылый вид, таким она его еще никогда не видела; потом вдруг с новым подъемом, удивившим ее, он сказал: – Мне предложили сделать статую Бальзака к столетию со дня его рождения.

– Ты говорил, что никогда не возьмешься за государственный заказ.

– Это не государственный – от Общества литераторов Франции. – Бальзак был один из его основателей. – И предложил мне его президент Общества Золя, он рекомендовал меня Обществу, объединяющему самых известных писателей Франции. – Огюст увидел что она нахмурилась, и спросил: «Разве я такой уж изверг, Камилла?»

– Ты единственный человек, которого я…

– Так браться за Бальзака?

– Что меня спрашивать?

– Я не спрашивал больше никого.

– Тебе ведь хочется принять заказ, верно, Огюст?

– Хочется! – Он жаждал этого всей душой. – Ни один писатель не нравится мне так, как Бальзак. Для меня самый великий

писатель он, а не Гюго, не Флобер, Золя, Гонкур или Доде, что бы они о себе ни мнили. Бальзак был первым писателем, у которого я прочитал о мире, близком мне и моим родителям. Никто в моей семье не умел читать, кроме тети Те резы, и когда Бальзак умер, я даже и не знал – мне было тогда всего девять лет, – но потом я от крыл его несколько лет спустя, благодаря Лекоку, уже в Малой школе, и начал понимать, что имел в виду Лекок, когда говорил: «Не сочиняйте, а наблюдайте». Никто не умел наблюдать жизнь лучше Бальзака. «Человеческая комедия» стала моей Библией. – Возбуждение Огюста сменилось грустью. – Но они никогда не позволят мне сделать Бальзака таким, каким он был, – еще обаятельней, интересней и драматичней любого героя его «Человеческой комедии».

Он был тучен, с большим животом и короткими ногами, толстыми обвисшими губами, уродливыми массивными чертами лица. Грубоват и при этом полон здравого смысла, он был роялистом и писал о республиканцах объективнее, чем кто бы то ни было. Натура чрезвычайно сложная и трудная. И столько было всяких хлопот с этим памятником! Дюма через день после смерти Бальзака начал сбор средств на памятник Бальзаку по всей стране; с тех пор прошло больше сорока лет, а памятника все нет. Старания Дюма окончились судебным процессом, и теперь у нас есть памятник Дюма, но все еще нет памятника Бальзаку. А Шапю[100], который несколько лет назад был самым известным скульптором во Франции и одним из авторитетов в Институте, получил заказ и вскоре умер, так и не выполнив его[101]. Теперь все мечтают получить этот заказ: мой друг Далу, даже мой помощник Дюбуа. Если я возьмусь за памятник Бальзаку, все скульпторы во Франции умрут от зависти и возненавидят меня. Браться за него – безумие, и все-таки… – Глаза Огюста оживились.

Не оставалось сомнения: только смерть удержит его.

– Камилла, если я приму этот заказ, придется собрать все силы, всю уверенность. Ты не можешь покинуть меня в такое время. – Он обнял ее, целовал глаза, щеки, губы. – Нам нельзя ссориться. Ты нужна мне: ты мой главный помощник.

Она стояла неподвижно, словно не чувствуя его прикосновения, хотя с трудом проеодолевала желание уступить ему, и сказала с притворной холодностью:

– Ты предпочтешь меня Дюбуа, Бурделю[102], Майолю?[103]

– Если заслужишь.

– Ты считаешь, я лучше?

– У каждого из моих учеников свои достоинства.

– Но мы не ученики. Майоль уже выставлялся и Бурдель, а

Дюбуа – один из самых известных французских скульпторов. Я единственная из твоих ближайших помощников, ничего еще по-настоящему не выставлявшая.

Огюст помрачнел, и Камилле показалось, что ее критика вывела его из себя, но он улыбнулся и сказал:

– Я устрою твою выставку. Пюви де Шаванн, Каррьер, я и еще несколько человек организовали наши собственные Общество и Салон, независимые от официальных, и мы устроим показ твоих работ[104]. Нет-нет, не из личных побуждений, – поспешно добавил он, видя, как щеки ее снова вспыхнули, – твои работы достойны показа. Ты уже созрела.

Оставь его, убеждал ее внутренний голос, все равно он не любит тебя, у него один кумир – ваяние.

И когда он сказал: «Мне не на кого положиться, кроме тебя», она ответила, хотя знала, что не надо бы:

– Ты можешь положиться на Буше.

– И на Пруста?

– Ему ты тоже можешь доверять. Оба твои друзья. Как большинство людей, пытающихся примирить враждующие стороны, они самые уязвимые – всегда меж двух огней.

– Вот-вот! Я не могу без тебя. Без твоего здравого смысла.

Оставь его, повторял ей голос, оставь его, у вашей любви нет будущего, трезвый рассудок подсказывает тебе это, он никогда не покинет Розу, никогда!

– Я переселю Розу в деревню. – Когда?

– Как только подыщу место. Тогда мы сможем всецело посвятить себя работе над Бальзаком.

Огюст стоял перед ней, полный непреодолимого желания лепить, – таким она его еще не видела, и перед этим его нетерпением она была бессильна. Он – сама стихия, подумала она, такой же, как Бальзак, такое же чудо таланта. Она, кажется, наконец поняла его. Он отметал от себя мелочи жизни, отвергал комфорт и покой и метался в поисках красоты, правды и выразительности.

– И если ты не против, дорогая, мы поедем в Тур, место, где родился Бальзак. Мне придется поехать туда, если я примусь за памятник.

– Если? Как ты можешь даже думать об отказе?

– Это будет для нас обоих отдыхом. – Медовым месяцем?

– Может быть. Только мы да Бальзак. Камилла снова обрела уверенность и силу:

– Уедем поскорее. Пока не передумали.

2

Теперь, полагал Огюст, все уладилось. Но в ближайшие несколько недель он не увез Розу из Парижа, поездка в Тур была отложена, и Камилле начало казаться, что все пошло прахом, хотя он взялся за «Бальзака», как она советовала, и получил заказ. За тридцать тысяч франков – десять получено авансом – Огюст должен был закончить «Бальзака» за полтора года; фигура высотой в десять футов, установленная на пьедестале, предназначалась для площади Пале-Рояль. И каждый раз, когда Камилла напоминала ему об обещанном, он уверял, что сдержит слово, только сейчас слишком занят.

Полтора года – слишком короткий срок, думал он. Над всеми самыми важными своими произведениями он работал очень медленно, а это – главное. Чем больше он изучал Бальзака, тем яснее понимал грандиозность своей задачи и тем большей проникался решимостью создать образ писателя, необыкновенного и сложного, равных которому нет.

Он не меньше Камиллы рвался в Тур и намеревался увезти из Парижа Розу, но столько еще нужно было сделать! Бальзак прожил большую часть жизни в Париже – восемь лет на улице Рейнуар, 47, в Пасси, и вначале нужно было внимательно изучить этот район и сделать предварительные наброски. Были и другие причины, удерживающие его в Париже. Комиссар общественных работ снова отверг памятник Гюго для Пантеона, заявив, что новая статуя слишком мрачна, и Огюет принялся за третий вариант. Мэр города Кале одобрил окончательный вариант «Граждан Кале» и заверил Родена, что если общегородская лотерея не соберет достаточной суммы, они изыщут средства иначе, но не будет ли скульптор так любезен кое-что изменить – «Граждане Кале» все еще чересчур трагичны, им не хватает героичности.

И вот Огюст, хотя и потерял веру в то, что его «Граждане» будут когда-нибудь установлены в Кале, взялся за новую задачу – сделать граждан еще трагичней и в то же время еще человечней. Но, как заверил он мэра города Кале, это и «улучшит» их. Бальзак вызвал у него такой прилив сил, что он готов был работать над всеми скульптурами одновременно. Снова принялся за «Врата». Взял несколько частных заказов на скульптурные портреты и бюсты, чтобы покрыть расходы на путешествие в Тур и переезд семьи в деревню. И это заставило его опять вернуться к Клоду Лоррену.

Он отправился в Лувр, чтобы снова изучить пейзажи художника и сделать окончательный вывод, передает ли памятник их настроение.

Он не был в Лувре уже много лет. И посещение напомнило

ему, что все усилия Моне передать «Олимпию» Эдуарда Мане Лувру увенчались успехом лишь наполовину – Лувр отказался выставить картину, но ее приобрел музей Люксембургского дворца. Рассматривая пейзажи Клода Лоррена, Огюст понял, как далеко ушел Клод Моне от этого художника семнадцатого века, хотя сам Моне и восхищался Лорреном.

В какой-то степени, рассуждал Огюст, все это говорило о том, что и для него самого Лувр пройденный этап. То, перед чем он когда-то преклонялся, казалось теперь лишь юношеским увлечением.

Залы скульптуры вновь заинтересовали его, он начал собирать греческую и египетскую скульптуру, насколько ему позволяли средства, но студенты, копирующие классические шедевры, как делал он и его друзья когда-то, казались ему теперь смешными и наивными.

Выйдя из Лувра, он неторопливо направился, к Новому мосту, одному из самых своих любимых, оперся руками о парапет и долго смотрел на Нотр-Дам. В сгущающихся сумерках великолепный западный фасад собора был едва различим. Может быть, в этом и заключалась для него трудность работы над Клодом Лорреном: он слишком отошел уже от тех настроений, которые владели им в начале работы над памятником. Рядом стояла, обнявшись, молодая пара и словно не замечала его присутствия. Вдруг молодой человек и девушка перестали смеяться и заспорили, потом девушка заплакала, а молодой человек повернулся и пошел прочь. Огюст решил, что он не будет больше менять «Клода Лоррена». Ему хотелось, чтобы девушка перестала плакать; он не терпел слез.

3

Прошло несколько месяцев, и Камилла, так и не дождавшись от Огюста выполнения обещаний, в нервном припадке слегла в постель.

Огюст не знал, как быть. Камилла очень помогла ему в подготовительной работе над «Бальзаком», охотно выполняя все, что он просил, а ночи их были полны нежности и любви, Но теперь, когда он отвечал на ее требовательный вопрос: «Когда мы едем в Тур?» – кратким: «Скоро», она высказывала недовольство. Он сидел возле нее, предлагал пригласить врача, но она отказывалась. Она лежала на кровати в мастерской на площади Италии, отвернувшись к стене, словно вот-вот умрет и была на грани нервного расстройства. Огюст показывал ей новые наброски для статуи Бальзака, но она не желала смотреть.

Это его раздражало: он ей не муж, да и за что ему просить у нее прощения? Но он взял ее руки в свои, нежно гладил и говорил:

– Я должен лепить тебя вот такой, выздоравливающей после болезни. – Внезапно его осенила новая идея. – Я вылеплю твои руки. У тебя такие необычные руки, как у героинь Бальзака.

Но она лежала, уткнувшись лицом в подушку, пряча от него руки, отказываясь вступать в разговоры, есть, спать, но и не плакала, а просто лежала в прострации.

Вид у нее был такой болезненный, измученный, что он мягко сказал:

– Тебе нужно отдохнуть. Хочешь в Тур? Она прошептала:

– Да, но мы туда никогда не поедем.

Через несколько дней Огюст сообщил Розе, что едет в Тур изучать город, где родился Бальзак. Он сказал это решительным тоном, сразу после завтрака, уже на выходе, чтобы не выслушивать упреки.

Роза стояла возле уже убранного стола, ошеломленная неожиданным сообщением; у нее даже не было времени почистить ему ботинки или налить чашку кофе; значит, опять некому будет заботиться о его еде. Он поцеловал ее в лоб.

– Я вернусь через неделю-две, – сказал он и ушел, не сомневаясь в том, что она будет ждать его возвращения.

Мастерские остались на попечении помощников. Они тоже не знали, что он едет вдвоем с Камиллой. Огюст сообщил им, что едет на несколько недель в Тур, и до его возвращения просил не брать новых заказов.

4

Камилла проснулась в просторной спальне старой провинциальной гостиницы на окраине Тура. В приподнятом настроении покинув Париж и мечтая о том, чтобы эта комната стала их супружеской спальней, Камилла пришла в уныние от убогой обстановки, выцветших занавесок на окне, железной кровати, которая скрипела при каждом движении. Но Огюста не трогали такие мелочи: широкая кровать и большое окно, пропускавшее много света, – чего же еще? «Комната удобна, нечего огорчаться», – сказал он. И Камилла, не желая портить праздничное настроение, постаралась скрыть свое раздражение.

Они записались в книге для приезжих как мосье и мадам Нерак из Парижа.

– Для соблюдения приличий, – пояснил Огюст. – Все равно поймут, что я из Парижа, по моему акценту. – И при этом заверил

Камиллу: «Нас никто здесь не узнает».

Не успела Камилла снять новую модную шляпку с цветами, купленную специально для поездки, и успокоиться в его объятиях, как Огюст сказал, что им нужно немедленно посетить дом, где родился Бальзак.

Она спустилась вслед за ним по узкой винтовой лестнице во двор, от которого веяло средневековьем. Во дворе Огюст задержался, чтобы осмотреть гостиницу снаружи. Ему нравились готические башенки, каменные балконы и изящные женские статуэтки в нишах над входом.

– Как тут спокойно, – сказал он.

Камилла терзалась одной мыслью: «Неужели он так и не полюбит меня по-настоящему? Что мне до архитектуры этой гостиницы, если мы не поженимся?» Но вслух воскликнула:

– Огюст, тут чудесно!

– Я знал, что тебе понравится. Гостиницу рекомендовал мне Моне. Он приезжает сюда время от времени, чтобы писать.

– Ты сказал ему о нас?

– Я не обсуждаю ни с кем свою личную жизнь. – Дорогой, я вовсе не осуждаю тебя. Где же дом Бальзака?

Он повел ее узкими переулочками и улицами, сохранившимися со времен средневековья, к мосту; на другой стороне реки стоял маленький домик, где родился Бальзак. Они были разочарованы: ничем не примечательное сооружение. Не стали входить внутрь, а поспешили на городскую площадь, где стояли мраморные памятники жившим в Туре Рабле и Декарту, но не было памятника Бальзаку. Огюсту эти памятники не понравились, и он с негодованием сказал:

– Рабле умер бы со смеху, увидев, каким важным и надутым его изобразили, а Декарт наверняка сказал бы: «Как нелогично и смешно!»

Прохожие не обращали внимания на памятники. А когда Огюст спрашивал местных жителей, есть ли в Туре памятник Бальзаку, никто не понимал, о ком речь, здесь и не слыхали о Бальзаке. Наконец старый священник, услышав расспросы Огюста, сказал: «Оноре Бальзака вы найдете в музее» – и пояснил, как туда пройти.

Музей производил мрачное, гнетущее впечатление. Бюст был установлен высоко, и его трудно было рассмотреть. Огюсту он сразу не понравился.

– Он явно посредственный и даже не передает, сходства, – сказал Огюст.

Камилла кивнула. Музей напоминал склеп, и она хотела поскорее уйти отсюда.

Но Тур с окрестностями пленил их. Весь остаток дня они бродили по городу. День был веселый, теплый, солнце яркое, но не палящее. Вокруг – просторы тщательно обработанной земли, изобилие садов и виноградников, ослепительные краски распустившихся цветов и ярко-зеленые поля, расчищенные леса и ухоженные луга. Камилла радостно предложила: «Давай прогуляем весь день», и Огюст улыбнулся в знак согласия.

Упиваясь ласковым солнцем и прозрачным воздухом, они долго стояли перед настоящим замком. Огюст любил эти старинные замки с красивыми средневековыми арками, устремляющимися ввысь башнями, карнизами и фасадами, украшенными тонким искусным скульптурным рельефом. Огюст был очарован мастерством и изяществом неизвестных готических творцов. Ему стало легко и весело.

«Я люблю его, – думала Камилла, – когда он вот такой, как сейчас. Я всегда буду его любить, если он таким останется». Они вернулись в гостиницу в прекрасном, приподнятом настроении.

В этот вечер, ложась в постель, Камилла надела красивую шелковую ночную рубашку, которую берегла для такого случая.

Огюст бросил взгляд на Камиллу, когда она стояла обнаженная в углу комнаты, и вдруг заново увидел красоту ее обнаженной груди и прекрасных длинных ног. Он сидел на краю железной кровати, оголенный по пояс, – чувственный восторг при виде ее тела прервал его раздевание.

– Ты великолепная ню. В особенности вот в таком настроении, как сейчас.

Камилла было рассердилась, но он сказал:

– Когда ты обнаженная, движения твои так грациозны.

И она рассмеялась.

– Неужели ты ни на минуту не можешь перестать быть скульптором?

Но она сделала, как он просил, сбросила рубашку. А затем, вместо того чтобы пройтись по комнате, стремительно подошла и уселась к нему на колени в такой позе, о которой он мечтал для незаконченной группы «Поцелуя». Теперь ему было не до рисунков, тело охватил огонь. Она прижалась к Огюсту и целовала нежно и страстно, и он сдался.

Эта ночь была самой пламенной за всю их совместную жизнь. На рассвете они уснули, не разжимая объятий, словно боясь расстаться даже во сне.

Камилла была счастлива и боялась упоминать о женитьбе, а Огюсту все в Туре казалось прекрасным, потому что Камилла была рядом. Они бродили по окрестностям, с новым интересом разглядывая все вокруг. Ели, пили, смотрели на деревья, скалы,

цветы, скульптуру глазами Бальзака, Рабле, Декарта; радость бытия переполняла их.

Все дрязги остались где-то далеко позади. Париж словно отошел в прошлое. Здесь, в этом благоухающем садами уголке Франции, волнения, связанные с государственными заказами, страх перед новыми заботами исчезли, растворились, уступив место всепоглощающему ощущению счастья.

Огюст, который в Париже чувствовал себя стариком, словно обрел здесь вторую молодость. И это радовало Камиллу.

Любовь их будто родилась заново. Никогда еще им не было так хорошо, и Камилла молила, чтобы эти блаженные дни длились вечно.

Огюст был уверен, что такой подъем принесет свои плоды. Он начал думать о Бальзаке, так как Бальзак думал о «Человеческой комедии», перед тем как начал ее писать. Надо было возвращаться в Париж, и Огюсту не терпелось взяться за «Бальзака». Он теперь лучше понимал писателя. Пора снова приниматься за дело.

Камилла надеялась, что теперь он увезет Розу из Парижа и в конце концов оставит ее. Ее представления о любви куда более практичны, чем его, но ему незачем об этом знать. Он должен заниматься своей работой. Как прекрасно, думала она, что мы так сильно любим друг друга! Я здесь, с ним рядом, и могу ему помочь. Без меня он был бы беспомощным.

Они вернулись в Париж через месяц. Огюст пробыл в Туре вдвое дольше, чем собирался, но не напрасно. И как можно было сомневаться в любви Камиллы! Он оставил ее в мастерской на площади Италии, пообещав вернуться в тот же вечер.

Глава XXXV

1

Но Огюст позабыл о Розе. Роза была дома, на улице Августинцев, и Огюст, зайдя сначала в главную мастерскую на Университетской, узнал, что она побывала там и, возмущенная, в праведном гневе, потребовала, чтобы ей сказали, где он. По дороге домой Огюст весь кипел от злости. Но когда он стал на нее кричать, она не уступила, и ссора разрослась до невиданных размеров. Роза объявила, что уходит, ведь он обещал вернуться через неделю-две, а отсутствовал целый месяц.

Его нервы были напряжены до предела. Первым побуждением было не удерживать, покончить с ней навсегда. Он отошел в другой конец кухни. Нет, не теперь, когда-нибудь он ее отпустит, но не теперь; одна, без него она просто погибнет.

– Зачем ты вернулся, Огюст? – спросила Роза. – Ты не любишь меня. Я тебе безразлична, ты больше не бываешь со мной по-настоящему нежен.

– Неправда, ты мне не безразлична. Но ты просишь слишком многого.

– Вечно ты ищешь чего-то нового. Только нового. Он не знал точно, что именно нужно ему, но что он нужен Розе, был уверен.

– Мы переедем в деревню. Тебе будет хорошо.

– Чтобы никогда тебя там не видеть? Ни за что! Он повернулся к ней спиной, собираясь уйти, а она сердито метнулась вслед и крикнула, позабыв обиду:

– Куда ты?

– Как – куда? Ты же меня прогоняешь, дорогая. У него был такой обиженный вид, что она в недоумении остановилась.

– Ты все ворчишь и ворчишь; неудивительно, что мне не хочется приходить домой.

– Послушай, Огюст… – Роза была в растерянности.

– Я не собираюсь этого больше терпеть. – Он был уже у дверей.

Она знала, его не удержишь, но куда же ей деваться одной? Она представила себя в черном платье, удрученной горем, одинокой и расплакалась.

Огюст подошел к ней, стараясь утешить, обнял. Волна огромной нежности захлестнула Розу, она не могла ему противиться. Одно его прикосновение покоряло, от его силы слабела воля, проходило раздражение.

Огюст уложил ее в постель, приговаривая:

– Роза, ты утомилась, разнервничалась. Тебе нужен покой и свежий воздух.

Она не спорила, наслаждаясь его заботливостью. Он поправил одеяло, убедился, что ей тепло и удобно, и не оставил одну в эту ночь, так как она боялась.

Как можно покинуть ее, такую беспомощную. Камилла поймет и оценит его благородство.

Но та не оценила. Огюст не пришел к вечеру, как обещал, и у нее разболелась голова. Она презирала себя за то, что позволила так обойтись с собой, и успокоилась лишь на следующий день, когда он обещал немедленно перевезти Розу в деревню. Но это уже в последний раз, так она и сказала.

Огюст сдержал слово. Вскоре он нашел дом для Розы в Белльвю, пригороде Парижа, неподалеку от Севра, где когда-то работал на фарфоровом заводе. Был 1893 год, он с удивлением отметил, что прошел почти год, как он пообещал Камилле увезти из Парижа Розу. Но теперь он уверил Камиллу, что будет принадлежать ей безраздельно.

Наступил день переезда. Огюст стоял перед старинным особняком на улице Августинцев с таким чувством, словно кончался какой-то важный этап его жизни. Все годы он прожил в этой части старого Парижа, а теперь чувствовал, как его тянет в разные стороны: любовь к природе – в одну, любовь к Парижу – в другую.

Каррьер, который стал его близким другом, руководил рабочими, нанятыми для переезда; в памяти Огюста всплыл тот день, когда его друзья-художники вот так же помогали ему переезжать: он вспомнил Фантена, его задор, жизнерадостность, желание помочь, Фантена, воображавшего себя новым Вийоном с примесью Делакруа; беспечного Ренуара с его лукавой насмешливостью, серьезно относящегося только к своему искусству; задумчивого Далу с его уже тогда заострившимися чертами лица и стремлением стать официально признанным скульптором Франции; гордого, мрачного, немногословного Легро, на которого всегда можно было положиться; здоровяка Моне, еще менее разговорчивого, чем Легро, но тоже благородного и надежного, и Дега, который, как всегда, помогал меньше всех, но больше всех критиковал, а когда разбилась «Вакханка», несмотря на показной цинизм, был очень расстроен.

Воспоминания эти опечалили Огюста. Как много переменилось с тех пор! Фантен разочаровался в жизни, стал отшельником, заперся в своей мастерской и перестал общаться с людьми; Дега, страдая от все ухудшающегося зрения, сделался

еще большим мизантропом и заявил, что никогда больше не будет выставляться. Моне все меньше удовлетворяли его работы, хотя он мог теперь запрашивать любые цены за свои картины; Ренуар оставался таким же добродушным и сохранил насмешливость, хотя временами эта насмешливость переходила в горечь. В Париже он появлялся только на выставках своих картин, – из-за хронического ревматизма жил на юге Франции. А Легро горевал, что не добился того признания, о котором мечтал, хотя и считался одним из самых лучших граверов, и не только во Франции; Далу же, печально думал Огюст, стал его самым жестоким соперником; они больше не разговаривали.

Неудивительно, что Каррьер для него такое утешение, размышлял Огюст. В этом бессердечном мире Каррьер оставался сердечным, а ведь он очень беден, больная жена, пятеро маленьких детей. Когда Каррьер находил покупателя, он знакомил его и с другими художниками, устраивал у себя в мастерской выставки своих друзей, приводил всех покупателей смотреть скульптуры Родена. Это был человек редкой доброты; у него было квадратное лицо, вьющиеся темно-русые волосы, густые усы и ласковые карие глаза. Над своими картинами он работал с завидным упорством и в живописи всегда придерживался собственных взглядов. Никому – ни Верлену, ни Доде, ни Золя, которые позировали Каррьеру, – не удалось на него повлиять.

И вот теперь, зная, что Огюст слишком непрактичен, чтобы следить за переездом, Каррьер спокойно, без суеты, но твердо давал указания.

Сборы были почти закончены, когда Огюст вдруг заметил Розу. Она стояла в дверях, нежно держа в руках статуэтку, сделанную им много лет назад, боясь доверить ее посторонним. Она улыбалась, заботливость Огюста радовала ее, она верила, что переезд в деревню будет для них обоих обновлением. Роза никогда не любила этот дом, слишком жаркий и душный летом, сырой и неуютный зимой, куда почти не проникало солнце.

Увидев Каррьера, она застыла на месте, словно перед лицом опасности, но Огюст представил ее:

– Мадам Роза.

Каррьер взглянул на статуэтку и мягко сказал:

– Прекрасная работа, мадам Роза. Я люблю рисовать детей. Я всегда рисую своих.

Роза покраснела, она уже давно не выглядела такой молодой, и сказала:

– Ты слышишь, Огюст? Я всегда говорила, что тебе надо лепить детей.

Огюст промолчал. Наступила неловкая пауза. Роза затаила дыхание, неужели он при всех решится сделать ей выговор? И тут Каррьер добавил:

– Огюст отлично умеет лепить детей.

И Огюст улыбнулся, а Роза облегченно вздохнула.

– Уже поздно, дорогая, – сказал Огюст.

– Я готова.

– Тебе понравится Белльвю.

– Я в том не сомневаюсь.

– Чудесное место, мадам Роза, – сказал Каррьер. – Дом стоит на холме, оттуда прекрасный вид на Париж. Прежде чем покупать, Огюст пригласил меня взглянуть на дом. Вам будет там хорошо.

– Спасибо. – Ей уже сейчас лучше. Наконец-то Огюст представил ее своему другу художнику. – Мосье Каррьер, я уверена, что полюблю Белльвю.

2

Огюст сказал Розе, что дом в Белльвю «прямо в стиле Людовика XIII и в то же время обыкновенная пригородная вилла». В таком большом доме они еще никогда не жили – трехэтажный, много комнат, обилие света. Она согласилась, что дом прекрасно расположен, с видом на Париж и Сену, и вокруг луга и сады. Роза любила деревню, ее простоту, свежий воздух, цветы, и Огюст сам так восторгался их новым приобретением, что она верила – теперь он будет чаще бывать дома.

Ее радость была для него лучшим вознаграждением. Кажется, найден идеальный выход из положения.

Но жизнь его только еще больше усложнилась, и Огюст понял, что идеального выхода из создавшегося положения ему не найти. В Париже он целиком принадлежал Камилле, Роза больше не мешала им, а в Белльвю старался не думать о Камилле, брал Розу на прогулки и пытался отвлечься. Но ни та, ни другая не чувствовали себя спокойно. Он гордился тем, что, перебравшись в Белльвю, ублажил обеих, а кончилось тем, что каждая думала: он отдает предпочтение ей, а не мне. Он разрывался между двумя, а они ни в какую не желали считаться с этим. Они не хотели делить Огюста.

Его наградили вторым орденом Почетного легиона – теперь рыцарский крест заменили розеткой, – и хотя Огюст заподозрил, что его просто задабривают, – Гийом стал членом Французской Академии, а он нет, – тем не менее принял эту награду. Но Роза и Камилла проявили к этому событию полное равнодушие.

Когда он сказал Розе, что награжден вторично, она заметила:

– Ты никогда не называешь меня любимой. Так трудно, Огюст?

– Тогда не нашивай розетку.

– Уж не хочешь ли ты сказать, что она умеет держать в руках иголку? Конечно, я пришью. Ты ведь хочешь, чтобы это было сделано как следует. – Он не ответил, а она взглянула на картину, которую он держал в руках, и спросила: «Кого это должно изображать?»

– Мой портрет, написанный Каррьером. Я хотел подарить его тебе, думал, понравится, и ты его здесь повесишь.

– Ты очень похож. Но лицо добрее, чем у тебя. А тот, для которого ты позировал этому американцу, Сарджент?[105]

– Я его повешу в мастерской.

– Для нее?

– Берешь портрет? Я не стану тебя упрашивать.

– Мы прожили тридцать лет, и я должна вымаливать ласковое слово.

– Двадцать девять. И кажется, больше, чем следовало. – Он размахнулся, словно хотел хватить картиной о стену.

Роза, напуганная его неистовством, выхватила портрет, но сказала: пусть вешает сам, а то на него не угодишь.

Когда портрет был водворен в столовой, Роза возненавидела себя за уступку. Она понимала, что ей следует возненавидеть Огюста – делить его с другой такое унижение, – но ведь ее ненависть лишь оттолкнет его. Пришивая орденскую ленточку на сюртук, она несколько раз укололась.

Камилла за последние месяцы много наслышалась о портрете работы Сарджента и, когда он сказал, что портрет предназначен для их мастерской, обрадовалась, хотя решила, пока он совсем не покинет Розу, делать все ему назло. Вешая портрет, она сказала:

– Сарджент схватил главное. – Тон ее был слегка язвительным. – Ты у него похож на Мефистофеля. Эгоистичный. Жестокий.

– Тогда отдай. – Лицо Огюста стало краснее бороды.

– Нет. Мне нравится его правдивость. Хорошо, хоть не все лгут.

– Я увез Розу. Устроил тебе выставку.

– Мне это принесло больше вреда, чем пользы. Скульптуры были очень плохо размещены.

– Это вина Далу. Он ведал организацией, я ничего не мог сказать, меня бы обвинили в пристрастном отношении.

– А завтра ты мне заявишь, что я мало работаю.

– Не заявлю. Некоторые твои работы понравились, кое-какие

были проданы, но…

Она прервала его:

– Пока я работаю с Роденом, меня всегда будут сравнивать с Роденом.

– Не обязательно. У Майоля свой стиль, и у Бурделя тоже. Я никогда не указываю, что делать. Только– как делать, У тебя выдающийся талант, дорогая, ты первая женщина-скульптор, чьи работы мае нравятся, но ты растрачиваешь энергию по пустякам.

– А ты нет?

– Я не позволяю, чтобы это отрывало меня от работы. – И в доказательство тут же занялся эскизами к «Бальзаку» – он сделал их несколько сотен и сказал: – Мне нужны модели. Поможешь найти?

Она понимала, что должна гордиться доверием, но ей не понравилось то, что он подсовывает ей «Бальзака», явно отвлекая ее от разговора.

Помогая разбирать наброски, она была захвачена его замыслами. Он рассматривал их с необычным возбуждением и подъемом и говорил:

– Лучше всего описал его Ламартин[106]. Послушай! – И Огюст процитировал: «У Бальзака было лицо, как сама стихия; огромная голова, волосы, разметавшиеся по воротнику и щекам, как у человека, который никогда не был знаком с ножницами; глаза, полные огня, огромных размеров тело, соединенное с головой массивной шеей, Короткие ноги и короткие руки. Он был широкий в бедрах и плечах, но не тяжелый, в нем было столько энергии, что он не чувствовал своего веса; этот вес, казалось, придавал, а не лишал его силы, он с легкостью жестикулировал своими короткими руками».

Камилла восторженно сказала: – Замечательное описание! Ты сможешь передать все это?

– Я должен, – сказал он, не поднимая головы от набросков. – Постараюсь найти это в натурщиках. Нужны мужчины средних лет. Не красота, а внушительность.

Глава XXXVI

1

И вот разнесся слух, что мэтр Роден ищет модель для «Бальзака». Его первые помощники, включая Камиллу, по всему Парижу искали тучных, приземистых, коротконогих мужчин. Ни один из натурщиков, работавших у Огюста, не подходил. Пеппино был слишком изящен, Жубер высок, а другие либо слишком молоды и красивы, либо слишком мужественны и хорошо сложены.

Ни один из натурщиков, найденных помощниками, не удовлетворял Огюста, но приходилось мириться с тем, что есть, – пора было приступать к работе. Он сделал пробные слепки для «Бальзака» во множестве поз, но постоянно возвращался к одной основной идее: массивная голова, асимметричная и чересчур большая для тела; толстый выпуклый живот, слишком тяжелый для коротких ног, а все вместе – сочетание непропорциональных деталей. Помощники обрыскали весь Париж и не могли найти человека, отвечавшего всем этим требованиям, и тогда Огюст взял у одного натурщика руку, у другого – ногу, у третьего – торс, у четвертого– живот. «Придется, видно, идти вот такими сложными путями», – думал он. После того как он сделал семнадцать глиняных заготовок «Бальзака» – обнаженный, во весь рост, – он пригласил помощников посмотреть.

Они входили медленно, один за другим, почти робко, во главе с энергичным низкорослым Антуаном Бурделем, романтичным юношей из провинциального Монтобана, который любил лепить монументальные фигуры; сладкоречивый, с каталонским акцентом Аристид Майоль, недавно перешедший с живописи на скульптуру и поступивший к мэтру потому, что тот преклонялся перед нагой женской натурой; и Камилла – она бы предпочла, чтобы мэтр ее не приглашал. Помощники осматривали фигуры неторопливо и внимательно. Одного непродуманного слова было достаточно, чтобы привести мэтра в ярость, но откровенно высказанная критика, как бы она ни была сурова, могла вызвать у него быстрый одобрительный кивок головы и даже легкую улыбку.

Семнадцать «Бальзаков» на временных подставках, каждый в двадцать футов высотой. Вопреки своему правилу, Огюст не делал предварительных слепков в треть или половину окончательного размера. Стремясь проверить все до мельчайших

подробностей, он сделал их в полную величину памятника, хотя это потребовало от него огромных усилий, и мастерская была так забита фигурами, что нечем было дышать.

Он сказал, словно извиняясь:

– Я только начинаю. Это первые пробы.

Наступила тишина. Затем Бурдель, обычно высказывавшийся первым, указал на один из слепков – фигура стояла на громадном толстом стволе дерева, словно вырастая из него, руки в бока, живот выступает, толстые, короткие сильные ноги широко расставлены – и сказал:

– Это, пожалуй, самый зрелый вариант, мэтр. Недовольный молчанием остальных, Огюст спросил:

– Ну, а что скажут другие?

Майоль, предпочитавший словам работу, неохотно проговорил:

– Мне нравится сатир. Очень хороша поза. На мой взгляд, в Бальзаке было нечто от сатира.

Огюст повернулся к Камилле.

– А вы, мадемуазель?

– Каждый из них обладает своими достоинствами, – сказала она.

– Все семнадцать? – недоверчиво посмотрел он на нее.

Она кивнула, уверенная, что это замечание его рассердит. Если Огюст равнодушен-значит, мнение ему безразлично, если сердится – значит, дорожит им.

И вдруг он понял, что его не удовлетворяет ни одна из фигур. И помощников – тоже, что бы они там ни говорили. Он же видел, как они переминались с ноги на ногу, смущенно кашляли, прежде чем заговорить, и с каким трудом приходилось вытягивать из них слова. Их вежливость действовала охлаждающе. Он сказал:

– В искусстве нет места любезности, искусство признает только правду. – Но помощники по-прежнему хранили молчание.

Он вдруг отпустил их, бросив короткое:

– Спасибо. До свидания.

Но на этом не кончилось, все только начиналось. Он не мог лгать себе. Борьба с самим собой была еще впереди.

Всю ночь напролет Огюст изучал пробы, и рассвет застал его за работой над семью из них. Но он знал, что решение пока не найдено.

Он призвал Камиллу помочь ему разобраться, на какой из фигур сосредоточить внимание, и был разочарован, что она предпочитает Бальзака одетого. Теперь он понял, почему она уклонялась от ответа.

– Одетого? – повторил он. – Возможно. – Все семь фигур,

которые он отобрал, были обнаженные. – Но сначала нужно было сделать его обнаженным, чтобы правильно вылепить тело. Нельзя приниматься за одежду, не создав тело.

– Зачем тогда спрашивать? – сказала Камилла. – Ты все равно ничего не слушаешь.

– А кто слушает других? Разве кто когда внемлет разуму?

– Но у тебя хватает и своего разума, – язвительно заметила она.

– У меня-то? Да я сумасшедший. Хочу сочетать уродство с величием – вещь почти что невозможная.

– Однако ты пытаешься. Почему, Огюст?

– Плохая ты утешительница. – Все отобранные фигуры теперь казались ему надуманными. Он хотел разрушить их, но Камилла удержала. Она спросила:

– Какая тебе нравится?

– Никакая, я сейчас слишком устал.

– А когда ты не устал?

Он указал на обнаженного Бальзака, отмеченного Бурделем, как бы вырастающего из ствола дерева, словно Геркулес.

– Тогда работай над ним. Ты всегда твердишь, чтобы я следовала только внутреннему голосу.

Огюст так и поступил, но трудности не кончились. Он сосредоточился на фигуре Бальзака, вырастающей из ствола дерева, и стал делать множество вариантов, не останавливаясь ни на одном. Эти фигуры передавали плодовитость Бальзака и живость его натуры, но не величине. Прошло много месяцев в изучении бесчисленных моделей, но все было не то. И поскольку он забросил все дела, заработков не было. Аванс в десять тысяч франков постепенно таял, а Огюст был занят только Бальзаком. Он читал его и перечитывал. Он сам был отцом Горио и Растиньяком и бесчисленным множеством других созданных писателем героев, а их было две тысячи. Он искал Бальзака, как сам Бальзак искал своих героев. Он всегда любил этого писателя; теперь полюбил в нем человека и его ненасытную любознательность. Нужно суметь передать титанизм творческой энергии Бальзака, даже если на это уйдет весь остаток его жизни. Вот в чем секрет-творческая энергия Бальзака! Как только он найдет это в модели и переведет в глину, дело будет сделано[107].

2

Общество литераторов гордилось тем, что, являясь объединением литературным, оно было не лишено деловитости и здравого смысла. Когда через полтора года – срок, на который

согласился Роден, – памятник Бальзаку так и не был готов, Общество довело до сведения скульптора, что это нарушение договора, и либо памятник будет представлен немедленно, либо они расторгают договор и требуют возврата десяти тысяч франков. Пора прекратить проволочку, писалось в добавлении, и не отвлекаться на другое.

Огюст был возмущен. Он написал им, что целиком посвятил себя работе над «Бальзаком», другим не занимается и требует продления срока. Он указывал, что годовщина будет только в 1899 году и что к этому сроку Общество получит памятник, действительно достойный события.

Огюст считал, что логика его неопровержима, и поэтому был удивлен, когда Общество заявило, что, прежде чем продлить договор, они должны увидеть памятник, добавляя: «Мосье Роден, у вас репутация человека, который ничего не заканчивает. Свидетельством тому „Граждане Кале“, „Виктор Гюго“, „Врата ада“ и „Клод Лоррен“.

Это его взбесило: «Граждане Кале» и «Клод Лоррен» закончены. Сгоряча он хотел обрушить на Общество всю свою ярость. Но по совету Малларме, Буше и Пруста ответил в примирительном, как он считал, тоне. Вежливо написал, что понимает их беспокойство и, чтобы быть уверенным, что их удовлетворит памятник, ему требуется еще некоторое время. После этого он будет счастлив показать Обществу свою работу. Письмо заканчивалось словами:

«Искренне, с уважением, Ваш друг Огюст Роден».

Он был доволен, что нашел выход из положения, и твердо уверен, что неприятности кончились.

3

Поэтому Огюст очень рассердился, когда к нему нагрянула комиссия от Общества в составе пяти человек.

Огюст не предложил им присесть и смотрел на них, как на врагов.

Золя, все еще крепкий мужчина в свои пятьдесят три года, представил остальных: Андре Шоле – человека с приятными манерами, процветающего драматурга, пишущего элегантным слогом; Виктора Пизне, известного военного историка, маленького мужчину с лицом хищной птицы; Робера Берара, представителя огромной армии третьесортных писателей, которые и составляли основную массу членов Общества, и Анри Рю, биографа, задавшегося целью перещеголять Гонкура в выискивании скандальных историй.

Огюст догадался, что после истечения срока президентства Золя, Берар и Рю станут поддерживать либо Шоле, либо Пизне, двух самых влиятельных членов Общества. Все они были шокированы скульптурой, даже Золя; ничего подобного они не ожидали. Шоле сказал:

– Мосье Роден, мы пришли к вам с лучшими намерениями.

Огюст насторожился и спросил:

– Вы чем-нибудь недовольны?

– Неужели у него был такой живот? – Шоле был скорее сбит с толку, чем шокирован.

– Он ведь у него не обвислый, – вызывающе заметил Огюст, – и ноги выдержат, крепкие.

– Бальзак выглядит, как жирный сатир на какой-нибудь оргии, – сказал Пизне.

– Скульптура редко удается сразу, – сказал Огюст. Но он чувствовал, что другие члены комиссии согласны с Пизне и недовольны его строптивостью.

– Когда я леплю, я всегда помню Руссо и стараюсь ничего не скрывать. – Его злило, что приходится пускаться в объяснения: когда начинаешь объяснять, все идет насмарку.

– И вы непременно должны сделать его таким тучным? И таким уродливым? – вызывающе спросил Пизне.

– Если он и уродлив, то только потому, что вы его таким видите, – сказал Огюст.

– Чепуха. У вас нездоровый, непристойный взгляд на вещи, – сказал Пизне.

Огюст повернулся к Золя и церемонно обратился к нему, хотя хорошо его знал:

– Мосье, почему показ обнаженного человеческого тела приводит в смущение стольких людей, когда греки считали это вполне естественным?

– Наверное, потому, что они стыдятся своего собственного тела, мэтр, – ответил Золя.

– Все это не имеет отношения к Бальзаку, – сказал Пизне. – Памятник неприемлем. Придется отвергнуть его.

– Но я вложил в него все свои деньги и время! – воскликнул встревоженный Огюст. – Это будет крушением всех моих планов.

– Между нами говоря, вы и так уже потерпели крушение, – сказал Пизне.

– Я признаю, что работаю медленно, – ответил Огюст, – я должен постепенно совершенствовать свое произведение. Бальзак тоже не писал романы в один день.

– Сколько еще времени вам потребуется, мэтр? – спросил Шоле.

– Год или два. Какое это имеет значение? Памятник будет готов к столетней годовщине.

– А если вы заболеете? Умрете? Нет, мы не можем продлевать срок, – сказал Пизне.

– Я не подведу, – твердо ответил Огюст. – Такого случая я ждал всю жизнь. Не могу я вас подвести.

– Неудача может постигнуть каждого, – сказал Пизне, – даже Наполеона.

– Мой уважаемый друг Пизне – военный историк, – сказал Шоле, – и, возможно, он по-своему прав, но искусство – творческий процесс, его нельзя измерять днями и неделями и сравнивать с военными кампаниями.

– Каждому ясно, даже вам, мосье Шоле, что памятник никогда не будет закончен, – вспыхнул Пизне. – Это же фаллический символ. Ствол – просто мужской член. У него весь Бальзак в «Озорных рассказах». Сущий Рабле. Возмутительно.

Теперь вспылил Золя:

– Пизне, я всегда вас уважал за ваш анализ событий у Седана, но сейчас вы говорите глупости, – заявил он.

Пизне отразил удар:

– Неужели, Золя, вы хотите, чтобы такой Бальзак стоял на площади Пале-Рояль? В самом центре Парижа, да еще с именем Общества литераторов на нем?

Огюст настойчиво сказал:

– Это не окончательный вариант. Я могу одеть его, когда отработаю тело. Но это еще нужно решить. И тут потребуется время. – Он повернулся к Золя. – Вы бы пригласили подобную комиссию высказать суждение о вашей незаконченной книге?

– Я хочу предоставить вам свободу действий, но я не долго буду оставаться на посту президента.

– Сколько еще времени?

– Несколько месяцев.

– К этому сроку я постараюсь закончить памятник. Дайте мне еще полгода.

Огюст прочел в глазах Золя: «Я вам не верю», но Золя кивнул в знак согласия и другие тоже, кроме Пизне, который сказал:

– Это ошибка. Он никогда не закончит. Чем скорее мы расторгнем договор, тем лучше. Сомневаюсь, что он вообще может сделать памятник, похожий на Бальзака.

Но другие, согласившись с Золя, хранили молчание. А Золя, считавший Пизне брюзгой, не обращая внимания на его слова, поблагодарил «дорогого мэтра за любезность и за то, что он уделил им время», и вывел всех из мастерской, чтобы не отнимать у Родена времени и дать возможность закончить

скульптуру в условленный срок.

4

На несколько месяцев Огюста оставили в покое. Но это было лишь отсрочкой. Через полгода Золя снова пришел в мастерскую к Родену, на этот раз один, и сказал:

– Срок моего президентства кончается, дорогой друг. Сомневающиеся все громче требуют расторжения договора. Это дело снова всплывет, когда изберут нового президента. Тогда они могут заставить Общество официально и в соответствии с законом потребовать у вас представления памятника или…

– Или что?

– Или вернуть десять тысяч франков.

– Кто же они – литераторы или глупцы?

– Литераторы. Иначе было бы куда проще.

– Статуя еще не готова.

– Но, дорогой друг, вы же просили полгода.

– Я ошибся. Ведь лучше допустить ошибку в сроке, чем в работе, не так ли?

Золя пожал плечами. «У меня репутация человека, с которым нелегко иметь дело, но с Роденом еще труднее». И хотя ему нравилась преданность скульптора своей работе, он не одобрял, что мэтр не желает ни с чем считаться. Теперь Золя был уверен, что бури не миновать.

5

Через несколько недель Пруст, Буше и Малларме с трепетом переступили порог мастерской Родена. Несмотря на изнуряющую жару, нависшую над Парижем, дверь мастерской была заперта. Он не пригласил их войти, как обычно, хотя это были его хорошие друзья, но и не остановил, когда они вошли сами. Глаза его покраснели от недосыпания, рыжая борода поседела, густые волосы были покрыты пылью, словно он работал совсем один, без помощников; Огюст был в странном облачении, напоминающем доминиканскую рясу, в которой писал Бальзак, и лепил «Бальзака». «Новый замысел», – подумал Буше, успев бросить быстрый взгляд на скульптуру, – Огюст ее поспешно закрыл. Буше это обидело: раньше Огюст с ним так не поступал. Пруст сразу приступил к делу и объяснил причину посещения, чтобы Роден их правильно понял. Огюст явно готов был рассердиться.

– Мой дорогой друг, – сказал Пруст, – мы пришли к вам потому, что мы ваши друзья.

«Вежливые, дружелюбные и не скупятся на такие слова, как „дорогой друг“, – с горечью подумал Огюст, – а доверять им нельзя, даже Малларме». Он густо покраснел и посмотрел на них с подозрением, но не произнес ни слова.

– Общество попросило поговорить с вами о «Бальзаке», – сказал Пруст.

– В качестве его представителей? – язвительно спросил Огюст.

– Мы никого не представляем, – подчеркнул Пруст. – Мы только посредники.

Огюст промолчал, вид у него был высокомерный и недоверчивый.

– Золя в Италии. Собирает материал для новой книги, а новым президентом избран Шоле, – объяснил Пруст. – Он настроен благожелательно, но все руководство Обществом теперь в руках Пизне. А Пизне всегда был за расторжение договора.

Огюст принялся катать шарики, мять их своими большими ладонями и в одно мгновение вылепил из глины кулак. Пальцы крепко сжаты. Затем слегка разжал их, и теперь они стали похожи на когти, жестокие и угрожающие. Мягкая глина, казалось, стала крепче камня.

Пруст продолжал, голос его вдруг сделался усталым, он чувствовал, что бьется о гранитную стену:

– Пизне добился решения, чтобы вы представили «Бальзака» немедленно, или они расторгнут договор и взыщут с вас десять тысяч франков вместе с процентами за причиненный ущерб.

– И все Общество согласилось? – недоверчиво спросил Огюст.

– Единогласно. Шоле, как президент, не мог голосовать. Да он и не Золя.

– Да, тяжелую вы взяли на себя обязанность, – насмешливо заметил Огюст.

Малларме мягко сказал:

– Первоначальное решение гласило: дать вам только двадцать четыре часа. Мы уговорили продлить срок на месяц.

– Понятию. – Огюст уважал Малларме. Малларме никогда не шел на компромиссы в своей поэзии, несмотря на яростные нападки, которым подвергались его стихи. И в характере поэта великолепно сочетались доброта и твердость духа.

– Что вы мне советуете, Малларме?

– Попытайтесь представить им рабочую модель.

– Через месяц?

– Да. Они настаивают: только месяц, не больше. – Значит, это не компромисс, а ультиматум.

– Что сделано, то сделано, – сказал Пруст. – Давайте лучше

поговорим о будущем.

Буше поспешил добавить:

– Я уверен, что ваш новый вариант им понравится, если вы оденете Бальзака и…

Огюст перебил:

– И сделаю его героическим, прекрасным – одним словом, сверхчеловеком.

– Не совсем, – сказал Буше. – Но прибавить немного всего этого не помешает.

– Нет, – решительно заявил Огюст, – Бальзак был великим писателем, но он был и очень земным человеком. Я не собираюсь унижать его театральностью, Бальзак первый осудил бы это.

Буше, все еще переживавший отказ Огюста показать последний вариант, стал упрашивать:

– Покажите, над чем вы работаете. Тогда мы сможем сообщить Обществу, что вы стараетесь изо всех сил выполнить заказ.

– Я выполню заказ и представлю лучший вариант «Бальзака», а не сделанный наспех, – ответил Огюст. – Но отныне никто не увидит мою работу незаконченной. Вы знаете, к чему это привело, когда Общество прислало ко мне комиссию.

– Так что же сказать Обществу? – спросил Пруст.

– Что я использую лучший каркас из самого крепкого железа. Что памятник простоит века.

– А когда он будет готов?

Огюст помолчал, окинул взглядом их напряженные лица и сказал с расстановкой:

– Не знаю.

– Но не через месяц? – спросил Пруст.

– Не через месяц, – ответил Огюст.

– А как же обещание закончить статую за полгода?

– Это было ошибкой. Я не должен устанавливать точный срок, никогда.

– И еще они беспокоятся о вашем здоровье, – вмешался Буше.

Огюст улыбнулся:

– Считают, что мне место в больнице?

– Не в этом дело, – сказал Буше, – но ходят слухи, будто вы так устали и больны, что вам не завершить «Бальзака».

– Значит, боятся за десять тысяч, – язвительно заметил Огюст, – а не за меня?

– Да, – сказал Буше со смущенным видом; он был не лишен природного такта.

– Признаться, я часто уставал, доходил до полного изнеможения, – сказал Огюст. – Но им нечего беспокоиться о

своих деньгах.

– Значит, вы согласны вернуть их, если не закончите памятник? – спросил Пруст.

– Нет!

– Но вы же сказали… – Пруст был удивлен.

– Я сказал, что им нечего беспокоиться о деньгах. Я закончу работу непременно.

– Я верю, – сказал Малларме, и Буше кивнул, но Пруст – он еще не забыл о трудностях с «Вратами ада» и «Виктором Гюго» – сказал:

– Я хочу надеяться, но не так уверен, как вы.

– Все дело в замысле! – вскричал Огюст. – Как только я разрешу этот вопрос…

– А если подадут в суд? – спросил Пруст. – Они сказали, что так и сделают, если вы не представите памятник или деньги по истечении месяца.

– В суд, так в суд. – Огюст снова взял себя в руки.

– Вы ведете себя так, словно дело пустячное, – с удивлением сказал Буше.

– Нет, я сознаю всю серьезность положения. Они могут погубить меня, но я не могу сдаваться. Малларме, вы-то хоть понимаете меня?

– Думаю, что да, – тихо произнес Малларме. Огюст горячо заговорил:

– Это не вопрос честности или желания проявить свою независимость. Я часто бываю слабым, подчас даже трусливым. Но неужели они не понимают, что статую я должен сделать по-своему, а все остальное – пустяки!

Наступила мертвая тишина.

– Значит, вы тоже против меня? – вскричал Огюст.

– Тогда мы не пришли бы, – сказал Малларме. Буше и Пруст кивнули. – : Мы будем просить Общество дать по крайней мере еще год, может, два. Верно? – обратился он к Прусту и Буше.

И все сразу улыбнулись. Но улыбки тут же исчезли, и Пруст, который всегда помнил о деле, спросил:

– Что вы будете делать, Огюст, если Общество пойдет на уступки?

– То, чему научился давным-давно: никогда ни на что не возлагать надежд. И не спешить. Природа не знает торопливости, и мы тоже не должны спешить.

6

После их посещения Огюст, хотя и обещал Камилле провести

вечер с ней, направился один в Булонский лес отдышаться на лоне природы и просидел там, пока на небе не загорелись звезды.

Когда от света луны звезды потускнели, он пошел на площадь Звезды, к Триумфальной арке, и стал разглядывать скульптуру, прославляющую победы Наполеона.

Может быть, и ему следовало работать вот так, вопрошал он себя. Куда бы проще. И люди были бы к нему снисходительней.

И вместо того чтобы повернуть с толпой гуляющих на Елисейские поля, пошел на авеню Клебер, в сторону Пасси и улицы Рейнуар, где жил в свое время Бальзак. Он миновал фешенебельный район, но когда стал приближаться к дому, в котором долгие годы прожил писатель, где он прятался от кредиторов и проводил ночи в лихорадочном труде, чтобы расплатиться с этими кредиторами, улицы становились все беднее и запущеннее. Улица Бертон, за домом Бальзака, – старый Париж, тот Париж, который Бальзак знал и о котором писал, – узкий, извилистый переулок, мощенный тяжелым булыжником и обсаженный столетними деревьями.

Огюст осмотрелся вокруг, как, должно быть, делал не раз Бальзак, когда уставал или хотел отвлечься и когда уже не помогали бесчисленные чашки крепкого кофе. Огюст развеселился. Он представил себе грузного Бальзака, ускользающего через черный ход на улицу Бертон в доминиканской рясе, пока кредиторы звонят у парадного подъезда, и улыбнулся. Какое, наверное, странное зрелище являл он для соседей, – грузная фигура в развевающейся рясе, массивная голова. Неудивительно, что ходили целые легенды о том, как одевался Бальзак. И тут Огюст сообразил, что в таком виде никто не видел кривых коренастых ног Бальзака и его выпирающего живота – ряса закрывала их.

Огюст глубоко задумался. Пожалуй, именно это и нужно – длинная доминиканская ряса, прикрывающая фигуру с головы до пят.

Все еще раздумывая о возможности такого решения, он на несколько часов опоздал в мастерскую на площади Италии, где его ждала Камилла. Она попросила привратника развести огонь в камине – дневная жара спала, уступив место ночной прохладе, – а Огюст любил сидеть с ней вместе у камина, поместив за спиной ширму, чтобы сохранить тепло. У его кресла она поставила теплые домашние туфли, хотя никогда не помогала ему надевать их, как это делала Роза, – и он был тронут.

Но не успел он сказать о своем новом замысле, как она ворчливо заметила:

– Они знают Бальзака только по книгам и никогда не будут

довольны твоей работой.

Он сердито вскочил. Мастерская вдруг показалась, несмотря на зажженный камин, холодной и неуютной. Он не сказал ей об ультиматуме: она наверняка посоветует уступить. Но Камилла и сама знала об этом, как он догадывался, от Буше. Ей хотелось узнать, что же произошло, и, когда он рассказал, она заметила:

– Тебе с ними не сладить, Огюст, они слишком сильны.

Однако не продолжила разговора. Словно из желания проверить, что было причиной его опоздания: работа или женщина, ей вдруг захотелось ласки. И хотя Огюст продолжал сердиться, перед ее нежностью он устоять не мог.

7

Назавтра Огюст решил, что только один человек может дать дельный совет. Но Лекок в свои девяносто два года был совсем слаб и прикован к постели; мысли его витали в прошлом. Он живо помнил все, что случалось в молодости, и совсем позабыл о настоящем.

Лекок сказал:

– Тициан, которого я особенно любил, до конца жизни говорил – а он дожил до девяноста девяти, – что только начинает постигать свое ремесло.

Огюст перевел разговор на Бальзака, он хотел знать, как ему поступить, сдаться или продолжать борьбу? Лекок пробормотал:

– Да-да, я современник Бальзака, знаете, я старше его на три года. Гюго… Это хорошо, что вы сделали его обнаженным. – Голос Лекока дрогнул, сиделка прервала их, сказав, что Огюсту пора уходить.

Огюст протянул руку, и Лекок крепко сжал ее, как Папа много лет назад. Но ни совета, ни наставления он так и не добился от учителя. За последние годы Лекок совсем сдал. Старик лежал, закрыв глаза, простыня закрывала его до самой бороды, белой-белой, и выглядел живым трупом. Огюст поразился: он никогда не считал Лекока стариком, даже в последние годы. Когда Огюст подошел к двери, Лекок шевельнулся, открыл глаза и совершенно ясно произнес:

– Им придется считаться с вами. Вы больше не нуждаетесь в советах, Роден. Прощайте.

8

Несколько недель прошло в ожидании, что предпримет Общество, а тут дело с «Гражданами» вдруг сдвинулось с места.

Пруст сказал, что Министерство изящных искусств и Министерство внутренних дел вместе с мэром города Кале будут решать вопрос о «Гражданах», но Огюст не ждал от них ничего путного. Однако сообщение о национальной лотерее, по франку за билет, для сбора сорока пяти тысяч франков на отливку скульптурной группы в бронзе и на ее установку в Кале несколько приободрило Огюста; его теперь не так волновали взаимоотношения с Обществом. Но некоторые подробности, сообщенные Прустом, ему не понравились.

«Граждане» были перенесены из подвала в мастерскую, хотя Огюст продолжал трудиться над «Бальзаком», и Пруст, глядя на «Граждан», сказал:

– В лотерее будут разыгрываться ходовые товары: вина, домашние туфли, сумки, мыло, лампы, фаянсовая посуда и другие пустяки.

Огюст промолчал, он стоял неподвижно перед скульптурой задрапированного Бальзака. Руки еще не просохли от глины, глаза прикованы к статуе; мастерская была погружена в темноту, лишь в камине тлел огонь.

– Вся Франция будет участвовать в лотерее. Ваше имя станет известным всем.

– Оно будет на каждом киоске, на каждом писсуаре?

– Почему бы и нет? – вызывающе спросил Пруст. – Если это поможет воздвигнуть памятник!

– Не знаю, – мрачно заметил Огюст. – Я видел некоторые объявления, расклеенные на писсуарах, рекламирующие лотерею в пользу «Граждан». «Граждане» уподобились эстрадному номеру в «Мулен Руж».

– Зато это поможет вам и в отношениях с Обществом.

Огюст заинтересовался и перестал ругать лотерею.

– Если лотерея пройдет успешно – а похоже на то, один франк никого не разорит, – имя Родена будет у всех на устах. Тогда Общество заклеймят за преследование самого известного скульптора Франции. И можно будет сказать, что если на «Граждан» потребовалось около десяти лет, то над «Бальзаком» необходимо поработать еще год или два. Уже сейчас, при том интересе, который вызвали «Граждане», Обществу придется задуматься, прежде чем возбуждать судебное дело.

– Неужели они собирались возбудить дело в суде? – Огюст был потрясен.

– Грозились, я же вас предупреждал, но теперь колеблются. Одна работа помогает другой. Вот как иногда случается.

Но мысль о лотерее вызывала у Огюста отвращение, и, когда Пруст протянул ему сто лотерейных билетов, сказав, что, если

ему удастся их продать, это поможет делу, он подумал: «Какому делу?» Как только Пруст отошел к «Гражданам», Огюст швырнул билеты в камин.

При тусклом освещении фигуры шести граждан казались серыми и мрачными. Но в полумраке группа представилась Прусту еще более драматичной, и его охватило волнение. От них так и веет самопожертвованием. Эти люди были олицетворением Франции. Он сказал с не свойственной ему горячностью:

– Огюст, надо, чтобы их видели все!

– Да, – согласился Огюст.

– Значит, вы не против лотереи? Поколебавшись, Огюст кивнул; искусство стоило любых жертв.

9

Лотерея оказалась успешной. 3 июня 1895 года, почти через десять лет после того, как город Кале заказал памятник, состоялась церемония открытия, и это событие праздновалось всем французским народом.

Огюст сидел на трибуне для почетных гостей и досадовал, что она загораживает «Граждан» от все увеличивающейся толпы. Он был недоволен местом, отведенным для «Граждан». Он хотел, чтобы скульптуру установили в самом центре старого города, перед старинным зданием городской ратуши на площади Д'Арм, что соответствовало бы настроению мученичества, которым был проникнут памятник. Но городские власти настояли на установке памятника на площади Ришелье, у нового городского сквера. Не удовлетворяла его и высота пьедестала. Он создавал «Граждан» с расчетом, что они будут стоять почти вровень с землей, на плите в фут высотой, чтобы жители города ощущали свое единство с героическими предками. А муниципалитет вознес их на пьедестал высотой в пять футов под предлогом, что иначе никто не сможет рассмотреть скульптуру. Не нравилась ему и узорчатая решетка вокруг группы[108]. И теперь, когда работа была закончена, он понял: Буше был прав,«Граждане» обошлись ему в значительную сумму денег.

Пруст шепнул, возвращая его к действительности:

– Лотерея прошла с огромным успехом. Кале и министерство добавили всего несколько тысяч. И Общество решило продлить срок завершения «Бальзака», возможно, на год.

Власти города окружили Огюста большим почетом. По прибытии в Кале за день до церемонии Родена сделали почетным гражданином города. К этому событию выпустили «Золотую книгу», посвященную истории шести граждан и скульптуре

Огюста Родена. Но Огюст был мрачен. Он не мог понять отношения горожан к памятнику. На торжество пришли целыми семьями, на детей шикали, и они явно скучали, а Огюсту очень хотелось объяснить детям значение подвига «Граждан»; он видел, что представители власти, устроившие торжество, притупили интерес детей к памятнику. По мере того как восторженное славословие пришло к концу, толпа смолкла, словно никто не хотел нарушать покой своих бывших сограждан. Но смешавшись с толпой, Огюст понял, что причина молчания совсем в другом.

Люди смотрели на группу «Граждан», как на самих себя. «Граждане» были простые люди – люди, которых они понимали и знали так же хорошо, как друг друга. И при этом каждый из «Граждан» был своеобразен и неповторим, каждый жил своей особой жизнью и был отличен от других. Зрители все теснее окружали памятник, напряженно всматриваясь в группу, словно «Граждане» стали для них собратьями, покоренными, но не покорившимися, страдающими, но не сломленными; они шли на смерть, но шли по доброй воле.

Какой-то любопытный ребенок протиснулся вперед, чтобы потрогать руками главного героя – Эсташа де Сен-Пьера, не живой ли он, но решетка помешала. Огюсту хотелось обнять ребенка, его злила эта глупая решетка.

Другой мальчик хотел пощупать узловатые мускулы, сжатые кулаки. А когда третий перелез через ограду, вскарабкался на плиту, заглянул в глаза «Гражданам» и заплакал, это совсем растрогало Огюста.

Огюст подошел к памятнику; толпа раздвинулась, уступая ему дорогу. Все молчали. Он стоял, смотрел на простых людей и чувствовал их уважение и любовь. В этот момент все они были французами и гордились этим; они были частью всего человечества.

Мысли Огюста были нарушены пронзительным свистком паровоза. Поезд ждал его, вспомнил он. Они спешили к вокзалу в экипаже мэра, и он был очень тронут, когда Каррьер сказал:

– Нужно было увидеть «Граждан» вот так, на просторе, чтобы понять, чего ты добился. Ты сделал их нашими живыми соотечественниками.

Глава XXXVII

1

В июньский воскресный день Огюст в счастливом настроении после торжественного открытия памятника вернулся к работе над глиняным этюдом головы Бальзака; он работал один в мастерской на Университетской, когда в дверях появилась его сводная сестра Клотильда. Он еле узнал ее – она страшно постарела; от той хорошенькой девушки, которой она была когда-то, не осталось и следа – жалкое, измученное существо. Она держалась развязно, но Огюст почувствовал, что это только маска, скрывающая отчаяние. Толстый слой румян покрывал ее лицо, брови были сильно подведены, прическу украшала накладка из чужих волос; уродливая, узкая, полосатая, как зебра, юбка обтягивала ноги. Огюст вспомнил прежний красивый смуглый цвет лица Клотильды, прекрасные черные волосы, и ему стало грустно.

Он никак не мог прийти в себя от удивления, тщетно пытаясь скрыть, как сильно потрясен. Она сказала:

– Я увидела твое имя на киоске у площади Карусели. Напечатанное вот такими буквами. Вначале не могла поверить, что это ты, на объявлении о лотерее. Но вспомнила, как ты еще мальчиком любил рисовать, и купила пару билетов. Они ведь стоят всего франк. Но мне не понравилось вино, которое я выиграла. Дрянное, одна вода.

Огюст не спросил ее, чем она занималась эти годы. Что бы она ни делала, это не пошло ей на пользу.

И тут Клотильда сказала: – Ты выглядишь куда старше, чем я ожидала.

Огюст никогда не говорил людям, что они стареют. Он молчал, но его лицо по-прежнему выражало удивление.

– О, я понимаю, мой приход для тебя неожиданность. Мне пришлось нелегко. Я побывала в Сен-Лазаре. И не раз. И еще в других местах. У меня отобрали билет.

Итак, Папа оказался прав, печально подумал Огюст.

– Мне очень жаль, – сказал он.

– Не стоит меня жалеть. Папа ведь это предсказывал.

Огюст промолчал.

– Но если бы Гастон не бросил меня, когда я ушла из дому… – Она передернула плечами. – Поздно теперь. Ну а как Мари?

– Она умерла. Много лет назад. Вскоре после твоего ухода. –

И хотя это было в далеком прошлом, на глаза его навернулись слезы.

– Она не хотела терять со мной связь, но из этого ничего не вышло.

– Да. – Перед ним снова предстало овальное, с мелкими чертами лицо Мари, он вспомнил ее рыжеватые волосы, темные, простого фасона платья, – она любила белые воротнички и кружева, но в те времена кружева для них были роскошью. К горлу подкатил комок.

– А как Мама? – Мама была ее мачехой.

– Она умерла, когда я был в Бельгии, двадцать четыре года назад.

– Ты не против, если я навещу ее могилу?

– Могилы нет. У них не было денег на отдельную могилу, а в те дни было столько покойников-это произошло вскоре после Коммуны. Может, хочешь побывать на могиле Папы?

– Нет.

– Ведь он твой отец.

– Какой он мне отец. – Она впервые внимательно оглядела мастерскую и увидела, как много в ней скульптур. – Ты действительно теперь такой знаменитый, Огюст? Мой маленький братец Огюст.

– Да как сказать… Обо мне говорят, я получаю заказы, а вот до сих пор в долгах. Она помолчала, потом спросила:

– У тебя есть семья?

– У меня есть обязанности.

– А дети?

– Не стоит об этом…

– Неужели ты все еще бедный? Ведь лотерея собрала столько денег!

– Я из них ничего не получил. Все ушло на установку и отливку памятника.

– А сколько же у тебя денег? Он спросил в ответ:

– А у тебя?

– Десять сантимов. – Она вдруг сказала: – Ты осуждаешь меня.

– Да нет. – Он протянул ей двадцать франков.

– Мама гордилась бы тобой.

– Не думаю. Она ничего не понимала в скульптуре.

– У тебя много знаменитых друзей?

Он протянул ей еще двадцать франков, все, что оставалось в карманах, и сказал:

– Приходи, если понадобится помощь, – хотя чувствовал, что больше она не придет.

Клотильда с минуту колебалась, потом спросила:– Тетя Тереза жива? Я любила тетю Терезу.

Он вдруг почувствовал себя виноватым, что давно не навещал тетю Терезу.

– Она жива, но болеет.

Клотильду удивило, с какой любовью Огюст смотрел на свои статуи, словно в церкви созерцает богоматерь, и она спросила:

– Это ты все сам?

– Да. – Они окружали его, словно толпа.

– Неужели? – Теперь, получив то, за чем пришла, Клотильда чувствовала себя свободней. Ее потрясло количество фигур и их разнообразие. Их здесь, должно быть, несколько сотен, думала она, головы, торсы, ноги, руки и обнаженные фигуры. Сколько обнаженных фигур! Никогда еще ей не приходилось видеть столько человеческих тел, мужских и женских, несмотря на свое ремесло. Вот до чего дошел ее маленький братец!

– Это ты сделал всех этих голых людей?

Он небрежно кивнул, взял огромную сжатую в кулак гипсовую руку и сказал:

– Хочешь, подарю?

– Но она так уродлива, – вырвалось у нее. – Извини, я не хотела тебя обидеть, но это не в моем вкусе. Хотя, наверное, вещь ценная.

Он вспыхнул, но спокойно ответил: – В скульптуре нет ничего уродливого, все дело в том, как смотреть. Клотильда, что сказать тете Терезе?

– Не говори ей, что ты меня видел. – Увидев его осуждающий взгляд, она поспешила прибавить: – Она захочет помочь мне, а мне не нужно ни су. Я верну тебе долг. Скоро. Вот увидишь. – Она была благодарна, что он не стал отказываться.

Они попрощались. Он смотрел ей вслед, хотя возраст и невзгоды наложили на нее свою тяжелую печать, сестра шла с гордо поднятой головой. Годы разлуки создали между ними слишком глубокую пропасть, подумал он.

Она бросила на него последний взгляд: коренастый, широкоплечий, с густой рыжей бородой и большой шапкой волос, уже подернутой сединой, но руками удивительно живыми, он лепил огромную глиняную голову такими верными и точными движениями, что она была поражена.

2

В следующее воскресенье Огюст отправился к тете Терезе. Он не был у нее много лет, с тех пор как Камилла вошла в его жизнь.

Но знал о ней от ее сына, своего двоюродного брата, с которым дружил; тетя Тереза жила с ним в рабочем районе Парижа.

С опаской переступил он порог небольшого каменного дома, не зная, что там найдет. Тете Терезе должно быть около восьмидесяти, последние годы она часто хворала, и Огюст ожидал увидеть прикованного к постели инвалида. Она словно усохла и стала вдвое меньше. Лицо в глубоких морщинах, волосы белые как лунь, совсем древняя старушка. Едва увидев его, тетя Тереза поднялась навстречу со своей качалки. Она захотела сама подать ему вино, кофе и булочки, гордясь тем, что еще может кое-что делать. Тетя Тереза знала о его работе, на стенах гостиной она наклеила вырезки из газет со статьями, в которых писалось об успехах Огюста, – на самом видном месте красовались статьи о «Гражданах Кале», «Бальзаке» и «Викторе Гюго», – но к чему заводить об этом разговор, ведь это уже дело сделанное.

Ее заботила семья. Она боялась, что столь неожиданный визит связан с появлением в его жизни новой женщины, еще одного ребенка. И когда Огюст уверил, что по-прежнему живет с Розой, тетя Тереза облегченно вздохнула, хотя огорчилась, что Роза ее больше не навещает. Огюст не сказал, что Роза хотела это сделать, да он запретил, боясь разговоров о Камилле.

Тетя Тереза спросила с внезапной нежностью:

– Как поживает Роза? А мальчик? Мне так не хватает Жана! Упрямый был старик! Был бы жив, уж он бы меня навестил.

– С Розой и мальчиком все в порядке, – уверил ее Огюст. – А за могилой отца я присматриваю сам – посадил там цветы. Тетя Тереза, вам не нужна помощь?

Ее это оскорбило, и она строго сказала:

– Мне уже ничего не нужно. – Тут тон ее смягчился. – Надо усыновить мальчика.

Огюст покраснел, но сдержался и не стал возражать, потому что видел, с какой гордостью она носит свое обручальное кольцо, которое надела в старости, когда сыновья уже выросли.

– Ты не покинешь их? Наверное, теперь ты пользуешься успехом у женщин?

– Нет.

– Роза хорошая женщина. Она тебе очень преданна.

– Ей нечего беспокоиться. Я же сказал, что буду о ней заботиться.

– И это все?

Он прикоснулся к ленточке ордена Почетного легиона, которую надел, чтобы порадовать тетю Терезу. Но она ее даже не заметила. Наступила минута молчания, а потом тетя Тереза подошла к Огюсту, как делала, когда он был ребенком, взяла его

руки в свои и поднесла к губам.

Рядом с ним тетя Тереза казалась совсем маленькой; она подняла голову, заглянула в его сине-серые глаза и мягко сказала:

– Я знаю, ты думаешь, что я просто старуха и лезу не в свое дело, но у тебя такие сильные, прекрасные руки, дорогой, они так много работают, иногда мне кажется, что тебе даровал их господь бог. Неужели ты откажешь в моей просьбе?

Она взволнованно обняла его, и он вспомнил, что в их семье тетя Тереза всегда понимала его лучше всех. Он высвободил руки, но не отстранил старушку, а обнял в порыве чувств и сказал:

– Я сделаю все, что смогу, тетя Тереза, как обещал Папе.

В этот вечер он сразу поехал в Белльвю, рассказал Розе, что навестил тетю Терезу, и посоветовал тоже навестить старушку. Роза очень обрадовалась. А когда он попросил у нее адрес маленького Огюста, сказав, что хочет взять сына в мастерскую, ее радости не было предела.

Доброе предзнаменование, думала Роза, хотя знала, что все не обойдется гладко, как хотелось бы, слишком они разные – отец и сын.

– Не будь с ним слишком суров, Огюст, – сказала она, – ему и так пришлось нелегко. – И удивилась, что он не оборвал ее, а только сказал:

– Всем нам пришлось нелегко, дорогая, в особенности тете Терезе. Я бы не говорил ей ничего такого, что может ее расстроить. – И Роза пообещала не грустить у тети Терезы и не жаловаться.

Лишь через неделю он смог наконец навестить сына. «Какой жалкий у него вид, – подумал Огюст, – небрит, одет чуть ли не в лохмотья». Маленький Огюст снимал нищенскую комнату на Монмартре, рядом с недавно построенной церковью святого Сердца.

Они обменялись приветствиями, и сын ждал, что скажет отец, – это вошло у него в привычку. Он не пригласил отца войти, а тот и не проявлял желания.

Огюст сразу перешел к делу:

– Ты хочешь вернуться в мастерскую? Маленький Огюст удивился. Тон отца был необычно мягок. И вид какой-то виноватый. Он сказал:

– Это от многого зависит.

– От чего? – Голос Огюста стал резче.

– Смотря что я там буду делать.

– То же, что все. Работать.

– Ты называешь это работой? Подметать, чистить – словом,

заменять привратника?

– Я все еще не нашел хорошего секретаря. Но тебе придется бриться, причесываться, носить опрятную одежду, расстаться с богемной жизнью.

– Значит, я буду твоим сыном?

Похоже, что сын издевается над ним. Огюст осторожно сказал – они никогда не касались этой темы:

– Ты и есть мой сын. Разве кто в этом сомневается?

– А разве ты это признаешь? Разве ты примирился с этим?

К чему он ведет? Огюст вдруг почувствовал, что зашел слишком далеко. Но отступать было поздно. Он сказал:

– Я не отказывал тебе в работе, когда у тебя было желание работать. Я взял тебя в мастерскую. И прошу вернуться, несмотря на твое безответственное поведение.

– На черную работу? – Никогда еще сын не был так проницателен. «Господи, к чему он клонит», – думал Огюст и решил уступить, чего уже давно не делал:

– Веди себя как следует – и станешь человеком, если сам того захочешь. Все зависит только от тебя.

– Под чьим именем? Под твоим?

Огюста это вывело из себя, кровь бросилась в голову. Он хотел тут же уйти, но дал себе слово довести дело до конца. И все же не мог скрыть раздражения.

– Что ты хочешь сказать, маленький Огюст? Ведь ты носишь мое имя.

– Этого мало. – Сын сам испытывал страх; никогда еще он не позволял себе такой смелости, но это была смелость отчаяния. – Я хочу носить фамилию Роден. Ведь я твой сын.

– Верно. Я никогда этого не отрицал.

– Но моя фамилия Бере, фамилия мамы, а не твоя. Почему ты меня не усыновил? Почему обращаешься со мной, как с незаконнорожденным?

– Ты и есть незаконнорожденный.

Лицо маленького Огюста вспыхнуло, чего не могла скрыть даже небритая щетина, теперь он выглядел старше своих двадцати девяти лет.

Огюст усомнился-может, не стоило так оскорблять сына. Но ведь это правда. Он гордился своим умением смотреть правде в глаза во всех случаях жизни и был уверен, что поступил правильно. Однако смятение и недовольство росло-сын не должен был ставить его в такое затруднительное положение.

Маленький Огюст вновь обрел присутствие духа, почувствовал, что надо высказать отцу все, а то ему уже никогда больше не набраться смелости.

– Поэтому ты не дал мне своего имени? Не усыновил меня?

Огюст молчал. Честно говоря, он просто не знал почему. Оглядываясь на годы, проведенные с Розой, он припомнил, как противился появлению ребенка, – это был подвох с ее стороны, желание поймать его в ловушку. Тем не менее он дал мальчику имя Огюст и признал его своим сыном. Считая себя честным человеком, он спросил теперь себя: может, я стыдился того, что из мальчика не вышло даже умелого ремесленника? Или я просто не хочу сделать последний шаг и жениться на его матери? Сделать его своим наследником? Он ведь мало чем отличается от бродяги. А может, есть и иная причина, непонятная мне самому?

Маленький Огюст сказал голосом, дрожащим от волнения:

– Тебе легко называть меня незаконнорожденным. Но жить с таким клеймом совсем нелегко.

– Я никогда не думал, что это легко.

– А мне приходится.

– Ты мой сын. Все в мастерской знают об этом.

– Только в мастерской. Ты всегда представляешь меня как Огюста Бере.

– Как маленького Огюста.

– Это еще хуже.

Отцу вдруг захотелось крикнуть: «Чего ты пристал?» Но он сдержался. Им нужно помириться, хотя бы ради тети Терезы, и он сказал, тщательно выбирая слова:

– Возвращайся в мастерскую, а там посмотрим. – Я не хочу быть слугой.

– А я и не хочу делать из тебя слугу! – Господи, как с ним тяжело. – Не сможешь быть секретарем, придумаем что-нибудь другое.

– Вопрос не в том, смогу я или нет, – сказал маленький Огюст с неожиданной гордостью. В этот момент он был очень похож на отца – крупный нос, широкий покатый лоб. – А в том, хочу или нет. Ты никогда с этим не считался.

– Только знаешь – я, я, я! – вскричал Огюст. – Будто для тебя на свете не существует ничего другого.

– А для тебя?

Огюст умолк. Знаменитый человек, когда он с тобой рядом, должно быть, выглядит эгоистичным, жестоким, даже мелочным. Ребенка нельзя держать взаперти. Ведь он сам не мог жить так, как хотел Папа много лет назад. Мысль, что он ведет себя сейчас, как Папа, заставила его вздрогнуть. Он тихо сказал:

– Мы постараемся подыскать тебе работу по душе.

– А как быть с моим именем?

– Если ты придаешь ему такое значение, постарайся стать

достойным.

Маленький Огюст заколебался. Отец никогда не обманывал.

– Если ты обещаешь… – сказал он.

– А ты обещаешь хорошо работать?

– Я постараюсь.

– А я постараюсь быть для тебя настоящим отцом. Но и ты должен помочь. Согласен?

– Согласен.

Они пожали друг другу руки. Огюст вдруг поцеловал сына в обе щеки и дал сто франков на новую одежду. Но только после того, как маленький Огюст обещал прибыть на следующее утро в мастерскую.

Глава XXXVIII

1

На другой день сын не явился. «Не сдержал слова», – подумал Огюст и расстроился. Но через несколько дней маленький Огюст пришел.

На нем был новый костюм, и выглядел он опрятно. Ему было поручено ведать закупкой и распределением материалов – это была его собственная идея, и, хотя Огюст не совсем верил в серьезность намерений сына, ему нравилась готовность маленького Огюста возложить на себя такую ответственность.

Огюст, казалось, искренне стремился примириться с сыном, а Роза со своей стороны решила помочь. По его совету она навестила тетю Терезу и сказала ей, что Огюст с тех пор, как повидался с ней, проявляет особое внимание к сыну, и ни словом не упомянула о Камилле.

Камилла обеспокоилась появлением маленького Огюста в главной мастерской, но она была слишком занята, не до него. Огюст работал не разгибаясь и во всем требовал помощи Камиллы. Стоило ей упрекнуть его, как он тут же набрасывался на нее, упрекал, что она хочет его покинуть. Неужели она сделает это в самый критический момент его жизни, когда он работает над «Бальзаком»?

Она еще не пришла в себя от удивления – этого у нее и в мыслях не било, – как он сказал, что устраивает выставку ее работ через Общество, организованное с его помощью. Те заказы, которые он сам не сможет выполнять, он будет передавать ей или Бурделю, кому что больше подойдет. А так как Огюст считал Бурделя лучшим среди молодых скульпторов Франции, Камилла торжествовала. Наконец-то она достигла своего: она больше не ученица, а зрелый мастер.

– Ты мне сейчас особенно нужна, – продолжал он. – У тебя есть необыкновенные качества – преданность делу и энтузиазм. Кто может быть лучшим советчиком? У тебя прекрасное будущее. Я верю в твой талант. – Разве может она не доверять ему и помышлять покинуть его в такое время? – Когда я закончу «Бальзака», мы займемся работой по твоему выбору. – Волна радости захлестнула ее.

С раннего утра Камилла вместе с ним принималась за «Бальзака». «Дело идет к концу, – ликуя, думала она, – нет, не зря

прошли эти долгие трудные годы совместной жизни. Он поймет наконец, что я для него единственная».

Общество дало Родену еще год отсрочки в связи с успехом «Граждан Кале», о которых теперь говорили как о «грандиозной скульптурной группе, знаменующей духовную силу Франции и ее героизм в трагических обстоятельствах», но предупредило, что отсрочка последняя. Общество считало этот лишний год особой милостью.

Но прошел год, а ни «Бальзак», ни «Гюго» не были закончены. Огюст сделал множество новых вариантов, но ни один его не удовлетворял. А для того чтобы завершить эти скульптуры – авансы давно были истрачены, – взялся за новые работы.

Камилла была недовольна посторонними работами, они отвлекали его внимание от «Бальзака». Но ей нравился сильный, исполненный достоинства скульптурный портрет Пюви де Шаванна, лучший из тех, что ей приходилось видеть; Огюст подарил его Шаванну в знак дружбы.

Работа над бюстом Анри де Рошфора[109] не принесла ничего, кроме разочарования. Этот влиятельный журналист радикального толка, заказав Огюсту свой портрет, позировал весьма нетерпеливо, а потом отказался от бюста – не понравился. Вместо того чтобы изобразить Рошфора личностью героической, как хотелось заказчику, Огюст представил его честолюбивым и хитрым, каким он и был на самом деле.

Камилле особенно нравился бюст Бодлера. Несмотря на восхищение, которое Огюст испытывал к Бодлеру как поэту и литературному критику, он изобразил его необычайно реалистично: мрачный, напряженный, подозрительный, с печатью пороков на лице, отмеченным в то же время яркой индивидуальностью; принося в жертву карьеру и жизнь, этот необыкновенный человек продолжал воспевать свои мучительные чувства.

Больше всего Камиллу восхищало творческое горение и целеустремленность Огюста. Упрекая его за то, что он слишком за многое берется, в душе она гордилась им. «Согбенная женщина» и «Старая куртизанка»[110], которых он лепил, вспоминая Клотильду, казались ей трогательными и исполненными драматизма. А в любовных парах Орфея и Эвридики, Адониса и Венеры, Купидона и Психеи было столько лиричности и нежности. И хотя смущала откровенность «Вечного кумира» – обнаженный юноша на коленях перед любимой девушкой страстно целует ее обнаженное тело, – Камилла в этой паре видела себя, и ее трогало благоговение и поклонение, с каким Огюст относился к ней.

А когда он сделал ее портрет– благородная голова в каске, – назвал эту скульптуру «Франция» и сказал, что она его Жанна Д'Арк, она уступила его настойчивым просьбам и согласилась позировать для «Поцелуя». Правда, без особой охоты и только после обещания лепить ее одну, а мужскую фигуру сделать по памяти 506.

«Поцелуй» должен был подчеркнуть всю выразительность и красоту мрамора как материала, и Огюст отложил все остальные работы, кроме этой романтической пары, памятника Гюго и Бальзаку. Он трудился с новым подъемом, охваченный чувственным порывом. Все шло так хорошо, что самому не верилось. Роза, благодарная за интерес, который он проявил к сыну, утихомирилась. Маленький Огюст, по-видимому, был тоже доволен и не заводил больше разговора об усыновлении – Огюст же старался проявлять к молодому человеку снисходительность, да и сын говорил с ним вежливо и лишь изредка не являлся в мастерскую. А любовь Камиллы озаряла все вокруг.

Поэтому он был удивлен и раздосадован, когда Шоле, его лучший друг в Обществе литераторов после ухода Золя, посетил его на Университетской и сказал:

– Мой дорогой мэтр, Общество решило, что «Бальзак» должен быть выставлен в Салоне 1897 года вместе с «Гюго». Они согласны ждать, но, если вы и на этот раз нарушите обещание, беды не миновать.

– Но я не обещал, мосье, – запротестовал Огюст. Как они смеют отвлекать его, когда он так занят!

– Полтора года – вот срок, указанный в договоре. Вы работаете уже три, а у вас нет даже варианта памятника. Имейте в виду, я их сдерживать больше не в силах.

По мрачному выражению лица Шоле Огюст понял всю опасность положения. Он подавленно сказал:

– Правда ваша.

Но Шоле не уступал. На карту был поставлен и его престиж.

– В Обществе говорят, что вы никогда не закончите «Бальзака», так же как «Врата» и «Виктора Гюго».

– Это не так! У меня будет что выставить в 1897 году!

– В 1897-м? Да ведь не осталось времени.

На лице Шоле было написано недоверие, и Огю-сту пришлось поклясться, что уж памятник Гюго он обязательно закончит, хотя и презирал себя за то, что дал это обещание.

– А «Бальзак»? – спросил Шоле.

– Работаю.

– Можно посмотреть?

– Нет. – Заметив огорчение Шоле, Огюст сказал: – Он еще не

готов.

– А к 1897 году будет готов?

– Не знаю.

Шоле в растерянности покачал головой.

– Мой дорогой мэтр, вы ставите нас, ваших добрых друзей, в отчаянное положение. Мы с Прустом, Буше и Малларме отвоевывали одну отсрочку за другой, а вы отказываетесь назначить определенный срок и даже не показываете вашу работу. Поверьте, мы хотим, чтобы «Бальзак» имел успех, но вы так упрямы, что наша вера порой колеблется.

Огюст устало сказал:

– Возможно, вы и правы. Но я не могу давать обещание, если не уверен, что сдержу его. Я обещал, что «Бальзак» будет готов к столетней годовщине в 1899 году. Больше ничего обещать не могу.

– Попытаюсь их уговорить, – ответил Шоле. – Но если в следующем Салоне «Бальзака» не окажется, они начнут судебное дело. Вы их и без того разозлили.

2

Полгода спустя в Салоне, который был создан по инициативе Шаванна, Каррьера и Огюста и куда входило много известных художников, собралась большая толпа. Предполагалось, что будет выставлено много важных работ, но все хотели увидеть «Бальзака».

Однако «Бальзака» в Салоне не оказалось. Огюст решил не выставлять обнаженного «Бальзака» – это еще не был окончательный вариант. Но он смело переступил порог галереи, уверенный, что сдержал слово. Общество может удостовериться, что он немало потрудился над «Гюго». Он приблизился к статуе сидящего задрапированного «Гюго» – разочаровавшись в фигуре во весь рост, он в последний момент изменил ее – и вдруг понял, что это провал. Хотелось бежать прочь, но к нему подошла Камилла. Она была довольна. Огюст поместил ее работы на видном месте, и она поблагодарила. Буше спешил навстречу; он сердечно обнял Огюста и воскликнул:

– Работы Камиллы такие изящные, элегантные! Я не напрасно привел ее тогда к вам в мастерскую! Огюст кивнул, с горечью думая: я пошел на компромисс и утерял ту силу, которая была в первоначальном варианте «Гюго», и не выиграл ничего. Слишком острожничал, этот «Гюго», сидящий в задумчивой позе, не вырастает из скалы, как я того хотел, а сжат со всех сторон гипсом, плотно, неотделимо, и это сразу бросается в глаза.

3

Огюст не огорчился, а обрадовался, когда Министерство изящных искусств сообщило, что этот вариант «Гюго» не подходит ни для Пантеона ни для Люксембургского музея. Но они ценят его усилия и, пока он будет идти им навстречу, отсрочку ему предоставят.

Он слишком устал, чтобы выразить им благодарность, хотя, по мнению Камиллы, должен был сделать это за «предоставление помилования».

Камилле удалось продать несколько бюстов, и ее работы были приняты почти так же хорошо, как работы Бурделя. Огюст был рад за нее.

Общество литераторов молчало, но Огюст не сомневался, что скоро оно даст о себе знать. После его, как он считал, провала с «Гюго» все валилось из рук. По ночам мучила бессонница, днем – ревматические боли. Руки немели, пальцы не сгибались. Это становилось угрожающим. Он думал: «Неужели и Бальзак, который так много писал, тоже был жертвой подобной болезни?»

Камилла словно с каждым днем расцветала, и это еще больше угнетало Огюста; разница в возрасте наводила на самые грустные мысли. Творческий энтузиазм молодил Камиллу, а его старил. Но он не хотел в этом признаться, он должен удержать ее силой, а не слабостью. Когда она спрашивала, почему он не работает – так непохоже на Огюста: день за днем он сидел перед камином и грел руки и тело, – он отвечал, что из-за погоды, беспрерывного дождя и тумана, которые пеленой нависли над Парижем.

«Погода не так уж плоха», – думала она, но не спорила – у него был слишком несчастный вид. Стоило вспомнить об одетом «Гюго» – и он начинал ненавидеть себя. Сумеет ли он когда-нибудь снова лепить? Мысль эта терзала Огюста. Иногда ему хотелось разбить все варианты «Бальзака». Но когда Камилла предложила навестить их старого друга Ренуара, который по-прежнему жил на юге Франции по причине плохого здоровья, он посмотрел на нее так, словно она сошла с ума. И закричал, что никуда не поедет, пока не закончит «Бальзака».

А когда спустя несколько недель он сообщил, что переезжает из Белльвю в Медон, в Валь-Флери, Камилла совсем пала духом.

– Это меня излечит, – сказал он. – Там свежий воздух, много света и солнца, сады, прекрасные деревья – ты ведь знаешь, как я люблю деревья, – и дом расположен на возвышенности, откуда открывается прекрасный вид на Сену.

Она с грустью подумала, что он все больше отдаляется от нее. Но когда она это высказала, Огюст возмутился. Лицо его стало

каменным.

Он решительно заявил:

– Я твердо решил переехать. И уже купил дом. Он называется «Великолепная вилла», хотя до виллы далеко – просто скромный дом с земельным участком.

– Земельный участок? Это целое имение?

– Несколько акров. Совсем не имение. Я должен бежать подальше от министерства, от Общества, от их предсказаний, будто я не кончу памятник, потому что неспособен его кончить. Мне нужно немного отдохнуть.

Он дал ей ясно понять, что обсуждать вопрос о переезде бесполезно, и Камилла ушла. А он не последовал за ней, зная, что она вернется.

Она действительно вернулась, когда ушел он. И в эту ночь, лежа одна в холодной, пустой мастерской, прислушиваясь к шагам привратника во дворе, Камилла раздумывала, что ей делать.

Гнев душил ее, рушились все надежды, и, чем больше она думала, тем беспокойней становилось на душе.

Когда на следующий день он не пришел, Камилла пошла к Буше. Буше знал, зачем она пришла, – он уже видел новый дом в Медоне.

– Медон прекрасное место, да нет, не дом, а сами окрестности. Дом несколько напоминает Белльвю. Огюста привлекла холмистая местность, – сказал Буше.

– Думаете, это навсегда? Буше не ответил.

– Значит, так.

– Видите ли, он потратил на покупку немалые деньги. Удивительно, откуда они у него. Он вечно жалуется на безденежье.

– Наверное, одолжил.

– Это при всем-то шуме, поднятом вокруг «Бальзака»? Ни в коем случае.

Огюсту до нее и дела нет, с грустью подумала Камилла. Неужели он не понимает, что так больше не может продолжаться, что каждый раз, когда он оставляет ее, в их отношениях неизбежно что-то утрачивается? Жить в его мастерской она может, только когда он с ней.

Огюст пришел в мастерскую на следующий день, и Камилла хоть и обрадовалась, но закричала:

– Уходи, уходи отсюда! Так больше не может продолжаться! – Она чувствовала: он пришел только потому, что Буше сообщил ему.

– Ты должна набраться мужества, – сказал Огюст. Он пытался

вытереть ей слезы, ему казалось, что Камилла преувеличивает свои страдания. – И тебе не придется больше волноваться из-за Розы. Она далеко.

– Послушай, скажи, есть ли надежда, хотя бы самая маленькая, что ты с ней когда-нибудь расстанешься?

Он строго посмотрел на нее, но ничего не ответил.

– Нет. Ты никогда ее не оставишь. Значит, наша любовь обречена.

Он резко повернулся и пошел к двери, но походка его не была уверенной, как обычно. Она заметила, что его плечи поникли и весь он как-то состарился. И, несмотря на решение не прощать, пробормотала:

– Ты куда?

– А куда мне? – спросил он печально.

С минуту они стояли и смотрели друг на друга, а затем обнялись в жестоком, напряженном порыве– близость разлуки сделала его еще более отчаянным. Впервые в жизни они любили друг друга при ярком солнечном свете. Камилла взглянула в окно на голубое небо Парижа и почувствовала себя частью этого огромного города.

Он гладил ее, и она шептала:

– Как твои руки, не болят?

– Не болят, – отвечал он.

– Из-за Медона? – Она не могла удержаться от вопроса и тут же пожалела.

Он нахмурился, но голос его был нежным.

– В Медоне спокойно, но пришлось взять в долг. У двух банкиров, под залог будущих работ. Сорок тысяч франков. Больше, чем я получу за «Бальзака». Это риск, не уверен, что мне удастся сохранить Медон.

Камилла не знала, радоваться или печалиться. Но, ощущая силу рук Огюста, понимала, что бог создал его великим человеком, и надо быть благодарным за эти мгновения счастья, не требуя большего.

И когда он сказал: «Медон может оказаться новым провалом», – она ответила: «Какое это имеет значение? Ты должен закончить „Бальзака“, – исполненная гордости, что ее объятия всегда будут для него раем.

4

Огюст хотел повидаться с сыном. Ему нужно было о многом с ним поговорить. Маленький Огюст целую неделю не появлялся на Университетской. А когда наконец появился и Огюст начал

разговор, глаза у сына беспокойно забегали. Отец был возмущен его долгим отсутствием, а еще больше тем, что тот наделал долгов. Маленький Огюст приносил одни огорчения. Сколько ему ни плати – а он платил ему больше, чем кому-либо в мастерской, – тому все не хватает. Эти счета в оплату за кутежи, подписанные «Огюст Роден», которые он держал теперь в руках, были для него полной неожиданностью. И все-таки, если бы сын согласился жить в Медоне, все можно было бы простить.

Огюст сдержанно сказал:

– Мы с матерью переехали в Медон и хотим, чтобы ты жил там с нами.

У маленького Огюста не было ни малейшего желания жить в Медоне. Слишком далеко от Парижа, десять, а то и двадцать миль, добираться трудно, женщин там не сыщешь, и делать нечего. Но он понимал, что это не причина, и сказал:

– Я бы очень хотел, мэтр, но это невозможно – жить там и приезжать сюда вовремя.

– А ты когда-нибудь приходишь вовремя?

– Стараюсь. Последние дни я себя неважно чувствовал.

«Вероятнее всего, просто был пьян», – с презрением подумал Огюст. Потом вспомнил, что сын – опора для Розы, может утешить ее, когда ей особенно одиноко, и сказал:

– Ты сэкономишь деньги. Не надо будет тратиться на комнату и еду. – Он чувствовал себя в высшей степени великодушным; разве Папа мог когда-нибудь предоставить ему такое?

– Мы с матерью живем в самой вилле, а еще есть очень уютный белый домик – чистый, теплый, он будет целиком в твоем распоряжении.

– Спасибо, мэтр, но…

– В чем дело?

– Как насчет моей фамилии?

Огюст колебался. Усынови он его, он тем самым признает Розу законной женой, даже если и не женится на ней, и навсегда потеряет Камиллу. Если уступит сыну, это может плохо кончиться.

– Ты обещал.

– Я сказал, что посмотрю, как ты будешь себя вести. Что скажешь по поводу денег на попойки? Зачем ты подписывал счета моим именем?

Маленький Огюст пожал плечами; это было проще простого. Имя Огюста Родена теперь известно каждому в Париже, поэтому он подписывал счета, заявляя, что он сын Огюста Родена. Надежная рекомендация. Все владельцы лавок и бистро знали, что Огюст Роден его отец. Знаменитый скульптор оплатит долги.

– Я не жду от тебя благодарности за все, что для тебя сделал, – сказал Огюст. – Но в твоем возрасте я носил бумажные воротнички и манжеты, чтобы сберечь деньги. А когда их больше нельзя было носить, рисовал на них, чтобы сэкономить несколько су.

– Ты хочешь, чтобы и я их носил?

– Я хочу быть уверенным, что на тебя можно положиться. Знать, что ты не швыряешь деньги на ветер.

– Пользуясь твоим именем? Огюст ничего не ответил. Сын воскликнул:

– Ты не доверяешь мне своего имени и хочешь, чтобы я доверял тебе! Это несправедливо и противоречит здравому смыслу.

Началась ссора. Огюст требовал, чтобы сын жил с матерью в Медоне, а тот кричал, что не может больше жить с клеймом незаконнорожденного. Спор был бесполезным – они не слушали друг друга. Молодой человек, красный от злости, с вызывающим видом шагал по мастерской, а у отца негодование сменилось полным презрением. Но когда маленький Огюст наотрез отказался переехать в Медон и заплатить долги, отец не приказал ему убираться прочь, как втайне надеялся сын, но и сын не ушел, как того опасался отец. Убедившись, что отец не слушает его, маленький Огюст сменил тему:

– Мне надо тебе кое-что сказать. Приходили из Общества, чтобы предъявить тебе ультиматум.

Огюст насторожился.

– Ультиматум! По поводу чего? – взволнованно переспросил он. – По поводу «Бальзака»?

– Что меня спрашивать? Ты же мне не доверяешь. – Маленький Огюст наслаждался победой. – Они страшно рассержены и недовольны, даже больше, чем сейчас ты.

Глава XXXIX

1

Ультиматум ясно гласил: «Немедленно представьте Обществу законченный памятник Бальзаку либо верните десять тысяч франков и один франк в счет возмещения убытка».

Эту пугающую весть Огюст услышал от Пизне, когда на следующий день поспешил в контору Общества, чтобы разузнать подробности.

Пизне с враждебным и высокомерным видом стоял под дагерротипом Бальзака, а Шоле жался позади Пизне. Ультиматум был принят большинством, и, когда Огюст высказал недоверие, Пизне повторил ему ультиматум, в голосе его слышалось злобное удовлетворение.

– Но это невозможно! – воскликнул Огюст. – Я ведь еще не закончил!

Жестокие нотки в голосе Пизне зазвучали сильнее.

– Все невозможно, Роден, в особенности для нас. Но на этот раз мы больше не будем ждать. Мы уже консультировались с нашими адвокатами. Если вы не представите нам памятник либо не вернете деньги в течение двадцати четырех часов, мы вынуждены будем обратиться к закону.

Огюст спросил:

– А если я дам вам расписку на те десять тысяч, которые мне обещает предоставить правительство в виде задатка?

Лицо Пизне хранило каменное выражение, а Шоле сказал:

– Над этим предложением стоит подумать.

– Опять отсрочка! – возмутился Пизне. – Одна отсрочка за другой! Я уже раз согласился. Но теперь хватит.

– Вам придется согласиться, – сказал Шоле. – Вы не имеете права говорить за всех.

– Прошу не вмешиваться, – отрезал Пизне.

– Я имею право сказать, что думаю. – Шоле повысил голос. – Вы получили больше голосов, чем я, в комитете, но есть ведь еще и газеты, которые напечатают мое мнение.

– Прошу замолчать, – повторил Пизне. Он, казалось, готов был ударить Шоле.

– Нет, Пизне, я напишу в «Фигаро», что вы со зла на Родена даже отказываетесь от десяти тысяч, которые он предлагает в порядке гарантии. Это станет национальным скандалом. Общество окажется под ударом, большинство художников

отвернется от нас.

– Как они узнают? Не все, что вы пишете, «Фигаро» печатает, – презрительно заметил Пизне. – И кроме того, это будет напечатано на последней странице.

– Только не на последней, если я уйду с поста президента из-за вашего недоброжелательного отношения к Родену, нашему величайшему скульптору, – сказал Шоле с упорством, равным упорству Пизне.

– Величайший? – издевался Пизне. – Фальгиер, Далу, Буше – все они лучше.

– Можете думать что угодно, – сказал рассерженный Шоле. – Но Золя, Малларме, Моне да и сам Буше предпочитают Родена. И другие тоже. Если я подам в отставку, вместе со мной уйдут многие. Очень многие, можете мне поверить. – Шоле был взволнован новой идеей. – Во всяком случае, достаточно, чтобы образовать новое Общество.

Оба писателя мерили друг друга взглядом. Огюст сказал:

– Завтра я передам вам расписку на десять тысяч франков. И выставлю законченного «Бальзака» в нашем Салоне на будущий год. Даю слово.

Пизне повернулся к Огюсту спиной и вышел из комнаты, не проронив ни слова. Шоле покраснел а сказал:

– Не обращайте внимания, дорогой друг. Главное – получить отсрочку. Вы должны представить расписку на правительственный задаток. Их больше всего беспокоит, что вы можете заболеть или умереть, так и не закончив памятника, и тогда плакали их деньги.

Огюст не мог говорить; он только кивнул головой я сжал губы, сдерживаясь. Снова он на службе у хозяина, Общество ничуть не лучше правительства; он ненавидел всех хозяев.

– Моя угроза насчет отставки должна приостановить ультиматум, – сказал Шоле.

– А если нет?

– Тогда вы объявите о своей готовности вернуть деньги, если не закончите памятник.

– Но я закончу.

– Я верю. Но публика и Общество не верят.

– Я сдержу слово, – сказал Огюст, вновь обретая уверенность.

– Прекрасно, – Шоле наконец улыбнулся. – Мы собьем с Пизне спесь. Меня это особенно радует.

На следующий день Шоле пришел в мастерскую Огюста и сообщил, что ультиматум будет отсрочен, если он представит залоговую расписку.

Но правительство отказалось пойти навстречу. Родену

заявили, что это внутреннее дело людей искусства, а правительство никогда не вмешивается в их дела. И пока Шоле призывал пойти на компромисс и дать Родену отсрочку, Пизне добился того, что Общество большинством голосов приняло новую резолюцию, требующую передать «дело Бальзака» в руки адвокатов. Шоле ушел с поста президента, и вслед за ним Общество покинули еще шесть членов; Шоле написал красноречивое письмо в «Фигаро», в котором объяснял причину своего ухода. Письмо было напечатано на первой странице газеты, рядом с объявлением о том, что Общество подает на Родена в суд, чтобы взыскать с него аванс за «Бальзака».

«Дело Бальзака» заняло первые страницы всех парижских газет. Золя, Малларме, Пруст, Шаванн, Моне, Каррьер, Буше и Хэнли выступили с протестами против судебного дела, затеянного Обществом, и газеты напечатали их протесты. Не всех протестовавших интересовал памятник, но всех их возмущал заказчик, требовавший, чтобы скульптор ради денег принес в жертву свои убеждения. Многие сознавали, что, если Родена заставят подчиниться буржуазным вкусам и мнению Общества, этот принцип будет узаконен и угроза нависнет над всеми.

Самого Огюста не беспокоила принципиальная сторона дела, его волновала только судьба «Бальзака».

Огюст чувствовал, что момент завершения близится, и все, что отвлекало, злило и раздражало. Он отправился к своему адвокату и потребовал положить конец этому делу. Он хотел выдвинуть встречный иск, но адвокат отсоветовал. Поскольку иск еще не был предъявлен, существовала реальная возможность, что под давлением общественности Общество не решится на крайние меры. И хотя ему не по душе была выжидательная политика, Роден согласился.

Спустя несколько дней, в то время как весь Париж напряженно ждал, кто первый начнет наступление или отступит – Общество или Роден, – Шоле снова появился в мастерской и с ликующим видом объявил:

– Общество попросило меня взять обратно заявление об отставке. – И отказывается от иска? – спросил Огюст.

– Пока нет. Но они это сделают, дорогой мой мэтр. Раз хотят, чтобы я вернулся.

– И вы собираетесь вернуться?

– Нет. Теперь это уже вопрос принципа. Не сдавайтесь, дорогой друг, и я тоже буду держаться.

Огюст промолчал. Он с неудовольствием подумал, что Шоле, видимо, гордится этим их союзом, словно это невесть что. Оставили бы они все его в покое. Если так будет продолжаться, он

никогда не закончит «Бальзака».

Однако, когда через неделю в качестве неофициального посредника явился Малларме, ему показалось, будто его мрачную мастерскую озарил солнечный свет. Шоле, хотя и безупречно честный, представлялся Огюсту человеком скучным, вечно занятым пустяками, думающим лишь о собственном престиже; а Малларме был свой брат-художник. Поэт стремился сокрушить узы синтаксиса, подобно тому как он, Роден, сокрушал камень. Малларме был одним из немногих знакомых ему литераторов, не ставящих собственные интересы превыше всего.

Малларме сказал:

– В Обществе поговаривают, не передать ли «Бальзака» Далу или Фальгиеру. – Он решил не щадить Огюста, пусть знает об истинном положении вещей.

– Но Фальгиер мой друг. – Огюст был удивлен и обижен.

– Выдвинуты даже кандидатуры Буше и Дюбуа. Это был еще больший удар. Огюст побледнел.

– Буше признался, что предложение очень соблазнительное. Дюбуа отказался наотрез.

Огюст снова обрел голос.

– Еще бы. Дюбуа до сих пор работает у меня.

– Но остановит ли это Далу? Памятник Бальзаку– лакомый кусок.

– Значит, если они выиграют дело, заказ передадут другому?

– В том случае, если они начнут дело. – Малларме повеселел. – Они снова голосовали в комитете. Несмотря на протесты Пизне, решили, благодаря усилиям Шоле, воздержаться от предъявления иска до следующего Салона, но не дольше.

– Следующего Салона! Значит, меньше чем через год.

– Немногим больше полугода, если он состоится, как обычно, весной.

Огюст чувствовал озабоченность в тоне Малларме, но не знал, что ответить. Еще несколько дней назад, в критический момент, когда ему грозили судом, лишние полгода показались бы ему спасением, но теперь, когда угроза отпала, он снова колебался.

– Огюст, вас спасло общественное мнение, и это – последняя отсрочка. Если вы ею не воспользуетесь, пеняйте на себя.

– Я это понимаю, – сказал он. Точные сроки – это кошмар, никогда больше не свяжет он себя подобным образом, но «Бальзака» надо кончить, и он был благодарен Малларме за поддержку. – Передайте им, что я покажу в Салоне законченного «Бальзака».

– В следующем Салоне?

– Стефан, неужели и вы будете подгонять меня?

– Эта обязанность отнюдь не из приятных. Но мне приходится думать и об их интересах.

– Значит, полгода?

– Письменного подтверждения не будет. Если вы дадите мне слово, что в 1889 году «Бальзак» будет готов, они воздержатся от иска и заберут ультиматум.

– Чтобы иметь время на размышление, подходит ли памятник? И если нет, впереди будет еще целый год, чтобы заказать другой?

Малларме пожал плечами.

– Возможно. Но у вас нет иного выбора.

– Что их так раззадорило?

– Не знаю наверняка, но ходят слухи, будто члены Общества возмущены вашей покупкой дома в Медоне. Считают, что вы истратили их деньги. А раз вы можете делать такие приобретения, значит, в состоянии вернуть аванс.

– Идиоты!

– Вы же всегда просите говорить вам правду.

– Да. Они получат памятник. Хорошо, Стефан, можете сказать, что я дал слово. Я выставлю «Бальзака» в Салоне 1898 года.

Давая это обещание, Огюст принимал окончательное решение. И внезапно покой снизошел на него.

2

Общество временно забрало иск, с условием, что Роден выставит «Бальзака» в следующем Салоне, но мир установился ненадолго. Прошел месяц, и Огюст был так же далек от завершения памятника, как и раньше. И хотя он жаждал его закончить, разгоревшийся спор плохо повлиял на него – все валилось из рук.

Этот год, 1897-й, был, пожалуй, самым трудным в его жизни.

Огюст решил навестить Лекока, но узнал от Бурделя, что Лекок умер. Он был вне себя от гнева. Поносил Бурделя и всех в мастерской, даже Камиллу, за то, что ему не сказали, он бы хоть на похороны сходил отдать учителю последний долг. Камилла объяснила, что Лекок умер как раз в разгар борьбы за «Бальзака» в прессе, и никто в мастерской не осмелился бы обратиться к мэтру. Огюст глубоко опечалился. Несколько лет назад, на Самоа, скончался Стивенсон, теперь Лекок; Хэнли тяжело болен, свалился и Малларме. «Кто же следующий?» – задумался Огюст. Лекока похоронили на кладбище Пер-Лашез, где был похоронен

Бальзак. В следующую субботу, после того как Огюст узнал о смерти учителя, – его не утешала и мысль о том, что Лекок дожил до девяноста пяти лет, – он настоял, чтобы Камилла пошла с ним на кладбище, расположенное на холме над авеню Республики. Для Камиллы это было тяжкой обязанностью: она не любила кладбищ еще больше, чем Огюст; ей было безразлично, что там похоронены Шопен, Жорж Санд, Мольер и Бальзак.

Но Огюст назвал это трусостью, и она покорно поплелась за ним, ворча и жалуясь, что у нее устали ноги, и поминутно отставая. «Какое огромное кладбище», – говорила она, но Огюст ушел вперед и не слышал; казалось, он искал могилу Бальзака, а не учителя. Камилла тащилась за Огюстом по крутой дороге, солнце почти не проникало сюда, сквозь густые кроны деревьев, и кладбище казалось ей ужасным. На небе собирались тучи, гремели дальние раскаты грома, и Камилла сжалась при мысли, что гроза застанет ее здесь. Хотелось укрыться, но нигде не видно было никакого убежища, только ряды бесконечных склепов и огромные деревья. Но гроза прошла стороной, так и не разразившись. У Камиллы отлегло от сердца. Солнце заиграло на мраморных плитах. Огюст разыскал могилу Бальзака.

– Это преступление, – сказал Огюст. – Бальзаку отвели всего шесть футов земли, и памятник маленький, безобразный, а Наполеон похоронен вон с какой пышностью.

– Бальзак не столь знаменит, – сказала Камилла.

– Но Бальзак – это Франция, а не просто император.

– Большинство так не считает.

– Ты только взгляни на этот бюст! Это же недопустимо, пошлятина, идиотство! Просто смешно!

3

После паломничества на кладбище Огюст с новыми силами принялся за «Бальзака». Он уговорил Шоле одолжить ему дагерротип Бальзака, который висел в конторе Общества. Шоле согласился весьма неохотно – он удивлялся, зачем ему это.

– Я не буду его копировать или вообще как-то использовать, – сказал Огюст. – Не собираюсь я делать «Бальзака» под этого надменного байронического красавца в рубашке с отложным воротничком и мягким галстуком, мне просто нравится его шея: крепкая и мускулистая[111].

Огюст очень обрадовался, когда ему удалось разыскать престарелого портного, который в свое время шил Бальзаку брюки, жилеты и подгонял доминиканскую рясу.

Жан Гере был очень стар. Прошло почти пятьдесят лет с тех

пор, как он обшивал писателя, но портной и по сей день еще с гордостью вспоминал, как хорошо сидели сработанные им костюмы на нескладной фигуре Бальзака – фигуре до того необычной, что ему приходилось точно следовать мерке, чтобы не ошибиться, – а писатель так и не заплатил ему долгов.

Огюст тщательно переписал мерки Бальзака: объем талии, бедер, длину ног, ширину плеч, объем груди и размер воротничка с точностью до дюйма. Хотя все это было ему известно, его вновь поразила непропорциональность тела Бальзака, контраст между крепкой, прекрасно развитой грудной клеткой, плечами и шеей и короткими кривыми ногами. И хотя Бальзак казался крупным мужчиной, он был всего пяти с половиной футов ростом. Огюст подумал, что облачить эту нелепую фигуру в обычный пиджак и брюки – все равно что вылепить писателя обнаженным, ибо ни в том, ни в другом случае не передашь основное в облике писателя – его огромную жизненную силу. Это и побудило Огюста взять точные мерки доминиканской рясы. Затем, тепло поблагодарив старика и щедро заплатив, он поспешно покинул старый дом ушедшего на покой портного. В голове уже зрел новый замысел.

И снова начались поиски модели, но на этот раз Камилла отправилась в тот округ Парижа, где селились обычно жители провинции Турень, откуда Бальзак был родом. Ей нужен был не вельможа, – она внимательно приглядывалась к простым людям на улице и в лавочках и нашла наконец крестьянина из Турени подходящего сложения и чертами лица напоминавшего Бальзака.

Человек недюжинной силы, Пьер Ралль, приехав в Париж, стал мясником. Вначале он принял Камиллу и Огюста, который подоспел немедля, как только та сообщила о своей находке, за сумасшедших – так горячо они уговаривали его позировать. Однако, узнав о плате, пять франков в час, Пьер, хотя и не переставал считать скульптора сумасшедшим – да и Камилла поразилась: цена была неимоверно высокой, и это могло разорить Огюста при его медлительности в работе, – вытер свои здоровенные лапищи – он разделывал лошадиную тушу– и в знак согласия пожал Огюсту руку.

Огюст оценил пожатие мясника, мужественное и сильное. Мысль, что эти руки будут служить ему моделью для бальзаковских, доставила ему огромное удовольствие. Но, поставив мясника на помост высотой в десять футов, как было условлено в договоре, он содрогнулся: несмотря на массивные плечи, могучую грудь и шею, на высоком постаменте Пьер выглядел карликом.

Камилла, заметив колебание Огюста, перестала готовить глину; она была и без того огорчена. Маленький Огюст постоянно

где-то пропадал и не позаботился заказать нужное количество глины.

– Пьедестал высок? – спросила она.

– Да. Непомерно. Как это тяжело! Неужели опять нужно искать! – Он стоял согнувшись, словно под непосильным бременем.

А потом, когда Пьер беспокойно задвигался и сказал: «До чего же высоко, мосье, того и гляди, упадешь», лицо Огюста прояснилось, он вдруг понял, что надо делать. Приказав Пьеру не сходить с пьедестала, сесть, если неудобно стоять, он вручил ему двадцать франков, хотя Пьер позировал всего несколько минут, и добавил: «Вернусь – получишь еще». Огюст поспешил на площадь Пале-Рояль, где предполагалось установить памятник. Туда было рукой подать, и он ни слова не сказал Камилле, не сомневаясь, что она последует за ним. Она так и сделала, недовольно ворча, не в силах противиться этой неукротимой воле.

Первый внимательный осмотр площади Пале-Рояль убедил в том, что опасения его не напрасны. Пьедестал, который предлагало Общество, был слишком высок. Статуя Бальзака потерялась бы на таком пьедестале на фоне огромных, массивных зданий, окружающих площадь, тогда как статуя должна была доминировать надо всем. Теперь Огюст не спешил, нужно было принять самое важное решение. Пале-Рояль, к которому статуя будет стоять спиной, Лувр, на который она должна смотреть, и театр «Комеди Франсэз», расположенный сбоку, все эти здания – гордость Парижа. Это опасно. Бальзак будет окружен историческими памятниками, и, чтобы привлечь к нему внимание, необходимо найти какое-то иное решение. Огюст медленно обошел несколько раз площадь, пока решение не созрело окончательно. Камилла молча следовала за ним.

В мастерскую они вернулись только к вечеру. Пьер все еще ждал. За пять франков в час мясник готов был ждать хоть целую вечность.

Он повел Пьера к лучшему портному, какого знал в Париже, и заказал ему брюки, жилет и доминиканскую рясу, точно такие же и тех же размеров, какие носил Бальзак. Портной был одним из самых дорогих в Париже, но Огюст не захотел и слушать увещеваний Камиллы. Ему нужен самый лучший портной. Огюст стал таким же расточительным, как сам Бальзак, подумала Камилла, все должно быть сшито по моде времен Луи-Филиппа, как это любил Бальзак. Никто не носил такой одежды уже много лет, и повторить эту моду стоило больших денег. Он приказал Пьеру прийти завтра и заплатил за день вперед, хотя тот позировал всего полдня. Камилла напомнила Огюсту, что костюм

будет готов только через месяц и платить мяснику за это время – пустая трата денег, но Огюст ответил:

– Я его займу. Пусть ни на что другое не отвлекается.

Пока ждали портного, Огюст работал над фигурой обнаженного Пьера. Любая помеха выводила его из себя, поэтому все связанное с работой над «Бальзаком» он перевел в мастерскую на улице Данте. А затем, сочтя, что она тесна, снял еще одну на Университетской, уже третью на этой улице и шестую в Париже. Он был доволен. Здесь ближе к площади Пале-Рояль и можно рассчитывать на полное уединение.

Но Камилла пришла в бешенство, когда он запретил ей приходить в новую мастерскую. Он не хотел, чтобы она находилась в «мастерской Бальзака», во время работы над этой обнаженной моделью, – им вдруг овладела застенчивость, но он объяснил иначе: ему нужно полное уединение. И добавил, чтобы успокоить ее:

– Ты можешь заботиться о материале. – Маленький Огюст совсем отбился от рук, и Огюст нуждался в надежном помощнике.

4

Прошло несколько дней, а настроение Камиллы не улучшалось; в новую мастерскую не завезли материала, и Огюст решил проявить строгость. Он не знал, произошла ли задержка по вине Камиллы или по вине маленького Огюста, но рассердился на нее: могла бы и позаботиться.

Огюст отправился в главную мастерскую, но не застал ее там. Его это встревожило – ей велено было работать над одной из ее собственных скульптур, пока он не позовет. Придя в мастерскую на площадь Италии, он облегченно вздохнул: она была там – на какое-то мгновение ему показалось, что Камилла его покинула. Вид ее не понравился Огюсту. Почему она так печальна, когда у него такой творческий подъем? Он объявил:

– Я решил закончить «Поцелуй». Ты снова будешь моделью.

Но, вопреки его ожиданиям, Камилла нахмурилась и сказала:

– Надо продолжать «Бальзака», сейчас это главное.

– Как и «Поцелуй». Я решил сделать окончательный вариант.

– А как быть с мужской фигурой?

– Я лепил ее по памяти. – Он не сказал, что вылепил любовника таким, каким хотел бы быть сам: стройным, высоким, гибким, широкоплечим, с узкой талией и длинными ногами. Он всегда сожалел, что у него ноги короткие, хотя и не такие, как у Бальзака, но все равно до воображаемого идеала далеко.

Но на этом дело не кончилось. Она спросила:

– А как же с Пьером? Будет ждать?

– Конечно. Где ему еще столько заработать? Кроме того, Огюст хотел приостановить работу над «Бальзаком», пока замысел созреет окончательно, и отдохнуть, завершая «Поцелуй», что было куда проще. Он твердо сказал:

– Начнем завтра с утра, в этой мастерской, в нашей мастерской.

5

Пока костюм не был окончательно готов, он продолжал платить Пьеру и лепил Камиллу для «Поцелуя». Он заставлял ее прохаживаться, сидеть и принимать различные позы, изучая игру света и теней на ее прелестном теле. У него было много пробных вариантов, иные еще с тех времен, когда он только полюбил Камиллу, но лишь теперь эта группа удовлетворяла его.

Вначале он закончил фигуру мужчины – тот сидит на скале, изгиб которой подчеркивал пластичность объятий любовников. Затем стал лепить Камиллу с нежностью влюбленного. Его сильные искусные пальцы прикасались к ее телу, и он снова почувствовал себя молодым. Он говорил ей:

– Человеческое тело – это средоточие всех чувств.

Она иного мнения, и пускай, но сейчас он должен заставить ее думать так же. Лица ее будет почти не видно; ее прекрасное тело должно передать всю гамму чувств, говорить само за себя.

Однажды он в отчаянии прекратил работу. Скульптура не передавала его замысла. Огюст придирчивым взглядом посмотрел на Камиллу и вдруг понял: он лепит ее теперешнюю, а не такую, какой она была раньше. Ей уже тридцать четыре, фигура стала тяжелее, хотя тело по-прежнему оставалось стройным и гибким, – для него оно всегда было идеалом. «Но оно уже не так совершенно, как раньше», – с досадой подумал он.

Отныне Камилле пришлось ограничить себя в еде. Она протестовала, сопротивлялась, сама мысль об этом повергла ее в панику, напоминая, сколько лет прошло с тех пор, как они встретились. Но его настойчивость подчинила ее. Он говорил: «Я не могу без тебя, дорогая», и доказывал это, со всей страстью обнимая ее и с не меньшей страстью лепя, и она не могла не уступить. Он ел, спал и работал в их мастерской, а в главную заходил только присмотреть за помощниками и уплатить Пьеру. Вернувшись к «Поцелую», Огюст ни разу не съездил в Медон, и Камилла лелеяла мысль, что наконец-то он решил расстаться с Розой.

Он не говорил Камилле, что до него доходят слухи, как

горько сетует Роза – так долго он еще никогда не отсутствовал, – и что у Розы среди его учеников в главной мастерской есть шпионы, которым она платит. Это не имеет значения, уверял он себя. Главное сейчас – закончить «Поцелуй» и «Бальзака». Роза должна следовать советам, что он ей дал, когда перевез в Медон:

– Дорогая, тебе нечего скучать, когда я в Париже. Тут солнце, свежий воздух, никаких сквозняков и сырости, и спаться будет лучше, тебя ведь всегда тянет на природу.

Огюст уверял себя, что достаточно заботится о Розе, но по мере того как Камилла худела и становилась похожей на ту девушку, которую он встретил много лет назад, он все больше пугался.

Ведь Камилла всего на год старше маленького Огюста! От этой мысли было одно спасение: работа, работа, работа, и Огюст лихорадочно погружался в нее.

Шел ли дождь или светило солнце, завывал ли ветер или стоял тихий погожий день – в эти недели он не замечал ничего, тяжко трудясь с утра до ночи.

Камилла жаловалась, что он никогда не кончит – сегодня что-то меняет, завтра возвращается к прежнему. И Огюст отвечал:

– Выражение твоего лица тоже все время меняется.

– Выражение лица? Ты же лепишь мою грудь!

– Верно. Но и она меняется каждую минуту. – И, не обращая внимания на ее раздражение, он перевязал грудь лентой и воскликнул: «Какой прелестный изгиб!»

– Ты бы придрался и к самой Венере, – сказала она.

– Несомненно, но теперь я леплю тебя.

Огюст охватил ладонями ее груди, чтобы почувствовать их линии, и стал поспешно переводить живую теплоту тела в глину. Затем ощупывал мускулы ног, изгиб шеи. Она пошевельнулась, не в силах сдержать охватившее ее желание, а он рассердился. И пока она удивлялась силе его воли, он прикрыл куском материи ее груди и сказал:

– Я не хочу отвлекаться.

На следующий день, желая убедиться, правильно ли он передает контуры спины, он заставил ее лечь на холодный пол. «Иначе поза будет неестественной», – объяснил он. Зажал ее тело между колен, пригнул голову к полу и так лепил спину, ощупывая большим пальцем, и затем этим же пальцем, который еще хранил тепло ее тела, передавал его изгибы в глине.

– Ты никогда не кончишь, – взмолилась она.

Он резко ответил: «Нет, кончу, если будешь мне помогать».

К изумлению Камиллы, Огюст действительно скоро закончил. Еще несколько дней он трудился над руками любовников, ворча

про себя:

– Ты слишком напряжена, словно стыдишься. Подожди, еще придет время горевать, когда увянут груди и опадут ягодицы. – И вдруг бросил работу и сердито заметил: – Глина как тесто. Жаль.

– Чего жаль? – Ей разрешено было сидеть – уже облегчение.

– Что глина такой материал. Не стоит затраченного на нее труда.

– Тогда, может, попробовать другой материал?

– Я и собираюсь. Я всегда хотел сделать тебя в мраморе. Для женщины лучше мрамор, для мужчин – бронза. – Он рассматривал пару, целующуюся со страстью и нежностью, и сказал: – Подойди сюда!

Она подошла к нему, ее тело было таким же стройным, как в молодости.

– Да, Огюст?

– Хочу знать твое мнение.

– Тебе действительно интересно?

– Конечно, – нетерпеливо сказал он. – Ты же скульптор. И притом хороший. У кого же мне спрашивать совета?

Вид скульптурной группы доставлял ей почти физическое наслаждение, но грубоватый тон Огюста раздражал, и она промолчала.

– Ну? – На лице его мелькнуло сомнение. – Обе фигуры совсем неплохи, верно? Во всяком случае, совсем как живые.

– Да, – насмешливо подтвердила она. – Совсем как живые, в том-то и ужас.

Он понял, что она дразнит его.

– Да, наверное, они будут иметь скандальный успех. Какое сегодня число?

– Не все ли равно? На «Бальзака» осталось меньше полугода.

– Успею, – уверенно сказал Огюст и вновь устремил взгляд на группу.

– Девушка слишком откинулась назад. – И когда Камилла нахмурилась, словно он критиковал ее самое, добавил: – Но ведь это любовь. Ты права, дорогая, в мраморе они будут великолепны.

В этот вечер чувство радости и благодарности друг другу за совместный труд переполняло их. Ночью Огюст никак не мог заснуть, Камилла уже давно спала сном праведницы, а он все бодрствовал. «Поцелуй» – это удача, истинное выражение их любви, но «Бальзак» должен быть значительней. А ему уже скоро пятьдесят семь, он уже старше Бальзака на шесть лет, и этот творческий подъем не может длиться вечно. Но сегодня Огюст чувствовал себя вдвое моложе.

Огюст вернулся к «Бальзаку» и снова стал недоступен для всех. Когда Шоле пришел в мастерскую со словами: «Мой дорогой мэтр, уж мне-то, вашему другу, вы могли бы показать „Бальзака“, – Огюст ответил:

– Нет, вы ничего не поймете. Пока работа не закончена, ее не должен видеть никто. – И захлопнул дверь, не дав Шоле начать пререкания.

Под дверь мастерской подсовывали газеты с недоброжелательными статьями о нем, со злобными выпадами, жирно отчеркнутыми: «Мосье Роден лепит труп… он никогда не кончит, потому что боится кончить… и ничего не получит, ни единого су».

Огюст рвал эти газеты, а потом и вовсе перестал обращать внимание, но газеты все продолжали появляться под дверью.

Дни напряженной работы текли незаметной чередой. Пьер слушался беспрекословно. Огюст поместил его на пьедестал в фут высотой, хотя знал, что высота пьедестала еще будет меняться. Сначала он решил, что высота пьедестала будет соответствовать высоте фигуры, теперь же, делая наброски памятника, понял бесповоротно, что одна только фигура должна быть десяти футов.

Огюст сделал много набросков и глиняных эскизов. Расходы возросли вдвое, затем втрое. Он прервал работу только затем, чтобы вновь взглянуть на Нику Самофракийскую в Лувре, и был потрясен устремленным вперед телом, силой и энергичностью движения. Он смотрел на скалы, на деревья, и Бальзак представлялся ему гигантским дубом на холме, вознесшимся над всем окружающим, только дуб этот слегка отклонился назад, словно отвергая свое господство. «Бальзак» рос. Стал высоким, с мощной грудью и тяжелыми чертами лица, буйной шевелюрой и глубоко сидящими глазами. Живот по-прежнему толст, ноги короткие и коренастые, но это больше не беспокоило Огюста: массивная голова Бальзака заключала огромную внутреннюю силу и ум.

Приближалось открытие Салона. Сторонники Родена начали проявлять такое же нетерпение, как и члены Общества.

– Почему он тянет? – спрашивали они.

Но Роден отмалчивался. Никто не знал, в какой стадии работа над памятником, – к себе он никого не пускал.

И вот за несколько недель до открытия Салона 1898 года Огюст попросил Камиллу посмотреть на результат его трудов. Ее поразили силы и строгость замысла, простота и законченность линий; несмотря на то, что фигура была обнаженной, в ней не

было элемента чувственности, свойственной всем его скульптурам. А голова была просто великолепна.

Она спросила:

– Ты оденешь его?

– Да, – коротко ответил он. Выражение ее лица сказало ему обо всем. – Спасибо. – Больше он ни о чем не спрашивал.

И прежде чем Камилла успела рассердиться, попросил ее прийти через неделю посмотреть на одетого «Бальзака». Камилла удивилась, что он назначил точную дату.

Через неделю «Бальзак» действительно был одет. Брюки и жилет ей понравились, но чего-то не хватало. «Бальзак» словно утратил силу и внушительность.

– Очень достоверно, – неуверенно сказала Камилла.

– Скажи мне правду. – Ему не нравилось ее смущение.

– Ты не обидишься, Огюст?

– Возможно. Но мне будет еще больнее, если все окажется неудачей.

– Этого не случится. Мне нравится моделировка…

– Нравится? – Он прервал ее на полуслове. – Не нужно извинений. Ни к чему. Все дело в одежде, в ней он выглядит так, словно объелся.

– Но он ведь был гурманом?

– По свидетельству некоторых, даже обжорой! Но Бальзак был жаден не только к еде, он так же жадно изучал и окружающую его жизнь, и ничто не было помехой его вдохновению.

– А что с доминиканской рясой? Ты же говорил, что хочешь воспользоваться ею?

– Да, но… – Он колебался.

– Она не ляжет поверх жилета?

– Да.

– А почему бы тогда не убрать жилет? Он удивленно посмотрел на нее.

– Неужели ты думаешь, что Бальзак носил жилет, когда работал в доминиканской рясе или когда бегал от кредиторов? – спросила она.

Огюст хотел было возразить, но не мог удержаться от смеха – Камилла права.

– Труднее всего бывает найти простейшее решение, – признался он.

На следующее утро Огюст попросил Камиллу облачить Пьера в доминиканскую рясу поверх брюк и рубашки, а жилет не надевать.

– В одежде ты разбираешься лучше меня. Ты ведь женщина.

И пока она пригоняла на Пьере ниспадающую мягкими

складками доминиканскую рясу, которая закрывала его от шеи до пят, Огюст разрушал статую, решив лепить ее без жилета. Камилла запротестовала– ведь он проделал такую огромную работу, а теперь ее уничтожает, – но Огюст ответил:

– Моя работа-это айсберг: семь восьмых того, что я делаю, скрыто от глаз.

Пьер, закутанный в роскошную доминиканскую рясу, в которой ему было так тепло, стоял выпрямившись, преисполненный чувства собственного достоинства. Огюст сказал:

– Я доволен. Ряса создает впечатление целостности.

– Мне и самой нравится ряса, жаль только, что она скрывает тело, – сказала Камилла.

– И по-новому раскроет его облик! – воскликнул Огюст. – Кто бы мог подумать, что она сделает фигуру устремленной ввысь!

7

Завершение работы над «Бальзаком» было для Огюста наслаждением. Бесформенная масса под его ловкими и уверенными руками оживала, появлялись ноги, бедра, торс завершался большой головой с пышной шевелюрой. Голова вобрала в себя все мастерство скульптора. Величием и горделивостью она напоминала львиную. Руки Огюста легко и проворно лепили статую и легкими движениями искусно ткали рясу, пока она не составила с фигурой единого целого. Это «одевание» фигуры доставляло ему почти чувственное удовольствие. Смена движений, смена ритмов. Каждая складка – новый каскад движений и достижение новой высоты. Ни малейшая деталь не ускользала от его проворных рук. Он вдохнул в «Бальзака» жизнь. Тело, которое многие подвергали осмеянию, сейчас, облаченное в рясу, производило величественное впечатление.

Настали последние дни работы над руками Бальзака. В них должны были выразиться вся жизненная сила, все мужество и трудолюбие писателя. День проходил за днем; Огюст вылепил сотни рук, пока наконец нашел решение. Чтобы достичь предельной выразительности, он сложил руки Бальзака на животе: Бальзак придерживал рясу. «Это сильные руки, – с гордостью думал Огюст, – сам Бальзак с его уважением к силе оценил бы их по достоинству». Огюст потратил на них больше времени, чем на все остальные детали.

Он сделал окончательную фигуру размером в два человеческих роста. Поместил «Бальзака» на пьедестал высотой в

пять футов и отлил его в белом как снег гипсе. Теперь Огюст был готов показать свою работу.

Он позвал Камиллу, Бурделя и Дюбуа – Майоль больше не работал у него в мастерской – и ждал их суда. Они остановились как вкопанные. Сама по себе огромная статуя в десять футов высотой на пятифутовом пьедестале потрясала мощью, не говоря уже о том драматическом эффекте, который производили одеяние и гордо поднятая голова. И хотя фигура была очень тяжелой, белый гипс создавал впечатление необычайной легкости.

Огюст спросил:

– Какие недостатки? Прошу вас, ваше мнение. Камилла прошептала:

– Это великолепно. – На глазах у нее были слезы радости. Наконец-то после стольких лет он отыскал решение.

Дюбуа был рад, что работа наконец завершена. Теперь мэтр сможет вернуться к выгодным заказам и позволит ему больше уделять внимания своим вещам. «Это выдающееся произведение», – думал Дюбуа, но, вспомнив, что ведь и он мог получить этот заказ, в нерешительности хранил молчание.

– Ну а вы, Дюбуа, ничего не скажете? – спросил Огюст.

– Общество как будто требовало пьедестал высотой в десять футов? – проговорил Дюбуа.

– Это была ошибка. А что вы скажете о самой статуе?

– В ней невероятная сила, – ответил Дюбуа. – Но ее могут не понять.

Бурдель молчал. Бурдель смотрел не на голову, как все остальные, он уставился на руки – плод долгой, напряженной работы.

Огюст, заволновавшись, спросил:

– Вам они не нравятся?

Бурдель был его лучшим учеником и сам уже выдающимся скульптором.

– Нет, они мне нравятся, – сказал Бурдель, – но…

– Я допустил ошибку? – допытывался Огюст. Он знал, что Бурдель будет с ним честен.

– Нет, нет, – сказал Бурдель, в то время как мэтр взял резец. – Голова приковывает внимание, ряса создает свою особую гармонию, руки прекрасны, полны сил, но…

– Они слишком сильны, – сказал Огюст. Бурдель задумался, потом медленно кивнул.

– Пожалуй.

Огюст обошел вокруг статую и снова внимательно посмотрел на нее анфас и в профиль. «Бурдель прав, – печально подумал он, – руки доминируют надо всей фигурой, и тут может быть

только один выход». Он резким ударом отсек обе кисти.

Камилла содрогнулась – в мгновение погублены недели напряженного труда. Дюбуа это тоже ошеломило. Кисти были сделаны мастерски.

Огюст спросил Бурделя:

– Теперь фигура закончена, мосье?

– Закончена, – ответил Бурдель.

– Хорошо, – сказал Огюст. – Будем готовить ее к Салону[112]. Как я обещал.

Глава XL

1

Бальзаковский салон сделался самым модным зрелищем. Казалось, все в Париже стали знатоками искусства, и борьба за билеты на открытие выставки приобрела чудовищные размеры. В Салоне были выставлены и другие волнующие публику произведения – Бенара, Каррьера и Шаванна, вместе с Огюстом они были организаторами Салона. За несколько минут до открытия выставки 26 апреля 1898 года несколько тысяч зрителей – многие без приглашений – заполнили павильон на Марсовом поле и тесным кольцом окружили «Бальзака», «Поцелуй» и самого Родена.

Огюст стоял молча, неподвижно, как скала, с холодным и бесстрастным видом, между двух своих работ. И хотя сердце его целиком принадлежало «Бальзаку» и все внутри кипело, он, казалось, был одинаково равнодушен к обоим произведениям. Глядя на них, он думал: «Поцелуй» – привлекательная и эффектная салонная скульптура, но «Бальзак» – вершина его творчества.

Ожидая столкновения, толпа сомкнулась вокруг Родена и других художников. Каррьер стал рядом с другом, чтобы оказать ему поддержку.

Огюст видел в толпе Дега, Моне, Хэнли и многих других, но в такой давке не мог двинуться с места. Толпа, напирающая на него, духота, жадное любопытство зрителей так раздражали, что он застонал, словно от боли. Все смотрели не на скульптуры, а на него самого, словно на какое-то чудище.

Затем взоры публики устремились на Пизне, Шоле и Золя, которые разглядывали «Бальзака».

Золя отрывисто сказал:

– Шоле, помните, восемь лет назад, выступая в защиту памятника Бальзаку, я сказал, что готов отдать за него тысячу франков. Вот они. – Золя протянул Шоле деньги.

Шоле заметил:

– Я больше не занимаю официального поста, Эмиль, я…

– Примите их неофициально. Я уверен, вы сумеете передать их по назначению.

Шоле растерялся. Он представлял себе «Бальзака» совсем другим. «Бальзак» Родена был подобен столбу из белого гипса, ему больше нравился «Поцелуй», в нем столько лиризма и

жизненности. И притом Золя сейчас самому приходилось туго из-за участия в деле Дрейфуса[113]. Но Шоле так яростно защищал Родена, отступать теперь значило бы признать свое поражение.

– Отвратительно! – вдруг заявил Пизне.

– Я не берусь критиковать ваши литературные произведения, – заметил Огюст.

Пизне возопил:

– Мои произведения хотя бы закончены!

– «Бальзак» – великое произведение, присмотритесь к нему повнимательнее, Пизне, – сказал Каррьер.

– Помолчите, Каррьер, вас не спрашивают, – огрызнулся Пизне.

– Меня тоже никто не спрашивает, – вмешался Золя. – Но Каррьер прав, Пизне, вы должны приглядеться к статуе.

– Рассматривать эту снежную бабу? Этого гипсового тюленя? Эту бесформенную груду? – с презрением говорил Пизне. – Мы не заказывали его в гипсе, белым, и не просили облачать в мешок. И к тому же устанавливать его на низкий пьедестал.

Огюст сказал:

– В гипсе он потому, что вы не дали денег на отливку в бронзе.

– Слава богу! – вскричал Пизне. – Иначе выбросили бы деньги на ветер!

– Вы не имеете права говорить за всех членов Общества, – заметил Шоле.

– Я говорю от лица большинства, – сказал Пизне.

– Это мы еще посмотрим, – ответил Шоле.

– Вот именно, посмотрим, – насмешливо передразнил Пизне. – Если раньше кое у кого еще были сомнения, то теперь, увидев эту снежную бабу, они перестанут сомневаться. – Заметив, что толпа его внимательно слушает, Пизне разошелся вовсю: – Да разве это скульптура? Чудовище! Если смотреть спереди – снежная баба, сбоку – тюлень, а сзади вообще невесть что. А эти толстые губы, жирные щеки, копна волос, да и вся голова в целом, – грубое искажение облика великого писателя! У него даже рук нет! Как же он писал свои книги? Видимо, пальцами ног, единственной частью тела, которую нам дозволено видеть?

– Я не хотел, чтобы Бальзак выглядел как герой-любовник или опереточный тенор, – ответил Огюст. – Я хотел изобразить человека глубокой мысли, исследователя жизни.[114]

Однако последняя издевка Пизне вызвала смех зрителей, и ободренный Пизне снова бросился в атаку, пропустив мимо ушей замечание Огюста.

– Я не вижу в этой фигуре ничего человеческого. Встреть я

такого человека на улице, я бы в ужасе бежал от него прочь. Не удивительно, что он вызывает отвращение. Это оскорбление человеческого достоинства. Фигура сделана ремесленником, который презирает все человечество. – В толпе зрителей раздались свист и шиканье, и Пизне, близкий к истерике, объявил: – Когда газеты перестанут об этом писать, о памятнике никто и не вспомнит. На «Поцелуй» хотя бы смотреть приятно, но произведением искусства тоже не назовешь. – И Пизне с самодовольной улыбкой гордо пошел прочь; кучка сторонников последовала за ним.

Шоле хотел утешить Огюста, но это только усугубило мрачное настроение скульптора. Золя сказал, что у Огюста найдется много сторонников, и Каррьер поддержал его, но в следующее мгновение они уже обсуждали дело Альфреда Дрейфуса.

Огюст прервал их:

– Все только и говорят о Дрейфусе. Разве это такой уж важный вопрос?

Золя помрачнел, но спокойно ответил:

– Говорят также и об Огюсте Родене и его «Бальзаке».

– Лучше бы этого не делали, – сказал Огюст.

– Я, пожалуй, тоже, предпочел бы не ввязываться в дело Альфреда Дрейфуса, – сказал Золя; теперь он выглядел усталым и постаревшим. – Но вот ввязался.

– Это разные вещи, – запальчиво сказал Огюст. – Дрейфуса сочли виновным, а я… я не сделал ничего предосудительного.

– Дрейфус тоже невиновен, – сказал Золя, – каково бы ни было решение суда. Роден, вы подписали петицию в защиту Дрейфуса, которую мы распространяем?

Но прежде чем Огюст успел ответить, все при виде приближающегося Дега отошли прочь, явно предпочитая не встречаться с ним. Господи, подумал Огюст, ни к чему ему это дело Дрейфуса, хватит с него хлопот с «Бальзаком», но он все-таки успел ухватить за локоть Каррьера.

– Не уходи, Эжен. Прошу тебя, – попросил Огюст.

Каррьер сказал:

– Я бы с удовольствием остался, но Дега считает каждого, кто за Дрейфуса, предателем. Из-за этого он больше не разговаривает с Моне, он всегда недолюбливал и Золя, да и меня. Ты ведь знаешь, он терпеть не может мои картины.

– И мои скульптуры тоже.

– Он уважает твое трудолюбие.

– По правде говоря, Золя тоже интересует только это. «Бальзак» как произведение искусства ему безразличен. Просто

для него это еще одно «дело», за которое следует бороться. Такое же, как дело Дрейфуса.

– Ты считаешь, что именно поэтому он и ввязался в столь печальную историю?

– Конечно, – уверенно сказал Огюст.

– Несмотря на то, что Золя за его памфлет «Я обвиняю», возможно и справедливый, обвинили в клевете и приговорили к тюремному заключению на год, оштрафовав на три тысячи франков? И хотя сейчас он вышел из тюрьмы – подал апелляцию, но, по всей вероятности, дело не выйдет, если учесть положение в стране. Даже приход сюда для него опасен. – И, заметив удивленное лицо Огюста, Каррьер воскликнул: – Ты разве не знаешь?

– Я знаю, что его признали виновным и он подал апелляцию. Но я был так занят своей работой, что совершенно не в курсе событий.

– Дело гораздо серьезнее, Огюст. Золя не раз грозили убить за то, что он поставил под сомнение виновность Дрейфуса. Говорили, что тем самым он ставит под сомнение патриотизм армии и правящей верхушки. Если бы Золя не признали виновным, я уверен, какой-нибудь оголтелый лжепатриот убил бы его. А теперь считают, что он потерпел поражение.

Но массовая истерия продолжается, и любая искра может вызвать пожар. Люди склонны подсмеиваться над Золя, над его излишним самомнением, но нельзя отрицать, что он человек большого мужества. Вот теперь он пришел сюда, чтобы поддержать дело, которое во многих кругах также не пользуется популярностью.

– Я благодарен ему.

– А как насчет Дрейфуса? Ты собираешься его поддерживать?

– Господи, мало у меня своих бед?

– Тебе не удастся остаться в стороне, как ни старайся.

– Он наверняка не виноват, но сколько же битв я могу выдержать? Бог наградил меня талантом. Это и так тяжелая ноша.

Каррьер ничего не ответил и отошел как раз в тот момент, когда подошел Дега.

– Уж не собираешься ли ты поддерживать это дело, Роден? – сказал Дега.

– Какое? – Огюст был смущен. – Дрейфуса. Этого еврея.

– Я как-то не думал об этом. Был очень занят. Дега объявил:

– Дрейфус несомненно виновен. Ведь он еврей. – Писсарро наполовину еврей, а ведь вы с ним друзья, – мягко ответил Огюст.

– Писсарро художник, – отрезал Дега.

– Некоторые из моих учеников и подмастерьев тоже евреи.

Многие – весьма достойные люди. Неужели я должен расстаться с ними из-за того, что они евреи?

– Это твое личное дело.

– К счастью, да. Армия против Альфреда Дрейфуса. При поддержке Эдгара Дега. Ты столь раздражен, что это почти убеждает меня в его невиновности.

– Уж не собираешься ли ты остаться нейтральным?

– А разве нельзя? Я скульптор, а не политик.

– Вот увидишь, не удастся.

Огюст смотрел на Дега: к шестидесяти годам тот расплылся и как-то весь сморщился; старик, жалующийся на плохое зрение, на настоящее, которое он презирает, на будущее, которое его возмущает; лишь прошлое он хвалит, теперь, когда оно стало прошлым.

Дега сказал:

– Ты хочешь сказать, что для тебя все одинаковы. Боже праведный, что может быть хуже!

– Это не так. Но ненавидеть человека за то, что он еврей, все равно что быть дубом и презирать березу за то, что береза тоньше. Это противоречит здравому смыслу.

– Беда в том, что у тебя нет религии! Ты даже не протестант.

– Потому что я все еще восхищаюсь Руссо?

– Ты восхищаешься всеми, кто прославляет природу.

– По рождению я католик. И, пожалуй, умру католиком, если эта религия простит мне мои заблуждения.

– Одним словом, ты не хочешь ничем поступиться?

– Разве это не девиз Общества литераторов? Дега, хотя Огюст и раздражал его, не мог удержаться от улыбки. Он сказал:

– Члены Общества в большинстве своем глупцы, но что ты от них хочешь? Все люди искусства, когда пытаются сотрудничать, проявляют худшие стороны своего характера. Они подняли вокруг «Бальзака» такой шум, что о тебе спорят не меньше, чем о Дрейфусе.

– А те, которые были недовольны, что «Гюго» обнажен, теперь жалуются, что «Бальзак» одет.

Дега посмотрел на «Бальзака» и сказал:

– Выглядит весьма безобидно, в духе импрессионистов. И размер больше, чем обычно. Но его вполне можно узнать.

Прежде чем Огюст смог решить, упрек это или одобрение, их разговор был прерван появлением президента республики и его свиты. Президент подошел к Огюсту, и толпа затихла.

Огюст неохотно поклонился президенту. Он считал Феликса Фора[115] политиканом, ложным республиканцем, столь же буржуазным, как самые последние из Бурбонов, римским

католиком, который был рожден протестантом и от которого ждали теперь, что он сумеет легко примирить обе стороны, в столь нелегком деле Дрейфуса, разделившем Францию на два лагеря. Фор стоял за справедливость, за Общество литераторов, за Родена, за армию, за сторонников Дрейфуса – за всех, чьи голоса могли ему пригодиться на выборах.

Взгляды публики были устремлены теперь на них, и, когда президент Фор сказал Огюсту, что «Поцелуй» очаровательное произведение, а затем прошел мимо «Бальзака», словно фигуры вовсе не существовало, явно выражая этим свое неодобрение, в толпе разразилась новая буря. Статуя неодолимо влекла к себе всех ненавистников Родена, она сделалась предметом громких насмешек, люди выкрикивали: «Как вам не стыдно!…», «Ее нужно уничтожить!…», «Это вульгарно!…», «Позор для Франции!»

Огюст готов был бежать. Но отступать он не мог – это значило признать свое поражение.

Репортер из «Фигаро» спросил его:

– Как вы себя чувствуете?

– Мне нечего вам сказать.

– Вы ответите своим критикам из Общества? – Пока мне не на что отвечать.

– Что вы скажете нам об этом произведении?

– Я работал над ним десять лет, это не опишешь несколькими словами.

– Почему у него нет рук?

Огюст прервал разговор и подошел к Камилле, которая рассматривала «Поцелуй».

Камилла смотрела на «Поцелуй» в мраморе. С какой любовью изобразил ее Огюст, думала она. Он использовал полировку и обработал мрамор так, что придал ее фигуре очаровательную естественность. От глаз его не ускользнули малейшие изгибы ее тела. Он вылепил, ничего не приукрашивая, ничего не скрывая, без ложной скромности – оба тела сплелись в откровенном, страстном порыве. Как искусно передана поза: страстное любовное объятие приковывает к себе внимание зрителя.

Камилла шепнула Огюсту:

– Это прекрасно. – Она увидела, что он обрадовался ее приходу.

– Мне очень нравится «Поцелуй».

– Да. – Он хотел сказать, что, в общем, и сам доволен «Поцелуем», но в нем нет ничего нового, а «Бальзак» – открытие. Однако не стал разубеждать ее; Камилла была нужна ему, чтобы оградиться от назойливой толпы. Он сказал:

– Я сделал «Поцелуй» для тебя, дорогая.

Вот оно, признание ее прав на него! Теперь Камилла не сомневалась, что он оставит Розу. Ее огорчило, когда он сказал:

– Я соперничаю с делом Дрейфуса.

– Огюст, не стоит в это ввязываться! – А я и не собираюсь.

– Ведь он виновен.

– Не знаю.

– Конечно, виновен. – Она гордилась своими аристократическими убеждениями. – И ты должен держаться в стороне, ты скульптор, а не политик.

– Тебе все еще нравится «Бальзак»?

– Он мне всегда нравился, – с преданностью сказала Камилла. Она докажет ему, что на нее можно положиться в тяжелую минуту. Что бы ни произошло с «Бальзаком», он создал уже себе имя, чтобы теперь подвергаться гонениям.

– Особенно выразительны глаза. – Глаза в его работе были самым уязвимым местом, и он любил, когда их хвалили.

– Ты прав, ни одно достойное произведение не рождается сразу. Благодаря строгой продуманности моделировка кажется надежной и долговечной.

Моне с Хэнли подошли поздравить Огюста; Хэнли сиял.

– Огюст, вы их определенно расшевелили! Ваш «Бальзак» в центре внимания.

2

Весь Париж говорил только о памятнике Бальзаку. «Бальзак» вытеснил дело Дрейфуса с первых полос газет, В течение многих лет Огюст равнодушно читал прессу, отражавшую разные политические мнения, считая себя человеком далеким от политики. Сегодня он читал левую «Л'этрансижан», завтра правую «Ляпатри», на следующий день газету центра «Фигаро». Но теперь он не мог оставаться равнодушным. Какую бы газету он ни брал, критика его работы была ядовитой, а то и просто бранной. С отвращением он читал: «Общество заказало памятник Бальзаку, а получило мыльный пузырь». «Карикатура на великого писателя». «Как мы и ожидали, это уродство». «Памятник Бальзаку – скандальное явление, он не обладает моральной ценностью». «Принимая во внимание весь вложенный труд, можно прямо сказать: гора родила мышь». «Бальзак»-это гротеск, бесстыдство. Почему его нужно было так облачить? Просто нелепость! Абсурд! Поистине снежная баба!» Больше всего Огюста взбесили следующие строки: «Бедняга! Зачем ему нужно было напоминать нам этой вульгарной работой о своих прежних неудачах: „Клоде Лоррене“, „Вратах ада“, памятнике Виктору Гюго?»

Огюст не мог спать. Не мог работать. Друзья уверяли, что победа будет за ним, они пришли ему на помощь, выступали со статьями, некоторые печатались в тех газетах, что нападали на Огюста особенно яростно; они хвалили «величие головы Бальзака», «мастерство моделировки», «великолепные ниспадающие складки рясы». Это его немного успокоило, но работать он не мог.

В своем интервью Роден сказал:

– Я не ожидал, что мой «Бальзак» найдет отклик в душе каждого, но у самого Бальзака статуя не вызвала бы возмущения.

Его поносили теперь даже на улицах Парижа, и уличные торговцы процветали, продавая карикатуры на статую: маленькие мешочки с мукой, игрушечных тюленей, стоящих на хвостах, и игрушечных снежных баб с издевательским названием: «Бальзак работы Родена»[116].

Тем временем Общество провело ряд заседаний, на которых шли споры и кипели страсти. Драка была ожесточенной, но победу одержал Пизне, на стороне которого было большинство. Общество проголосовало одиннадцатью голосами против четырех и вынесло решение отвергнуть «Бальзака». Гордые своей беспристрастностью, они передали свою резолюцию Родену и прессе одновременно:

«Члены комитета Общества литераторов выражают сожаление по поводу незаконченной работы, выставленной мосье Роденом в Салоне; они не могут считать эту работу памятником Бальзаку».

Несмотря на все издевательства, Огюст не ожидал ничего подобного. В резолюции, однако, не говорилось, что памятник отвергнут окончательно.

Он посоветовался с Шоле, и тот сказал:

– Решение окончательное, мэтр, какова бы ни была, формулировка. Они считают статую незаконченной, а то, что вы поместили ее на низкий пьедестал вместо высокого, признано нарушением договора.

– Незаконченной? – Огюст был не в силах продолжать.

– Они требуют возврата десяти тысяч франков. Огюст обрел дар речи:

– Значит, они знают, чего требуют.

– Им не нужен ваш «Бальзак». Вы собираетесь продолжать борьбу? – Шоле понравилась эта идея; он еще одолеет Пизне. – Если дойдет до суда, дело получит громкую огласку.

– Как дело Альфреда Дрейфуса?

– У вас будет так же много сторонников. Многие из его сторонников поддержат и вас.

– Не знаю. – Он не жаждал венца мученика; он жаждал только

покоя.

– Вы не должны сдаваться.

– Пожалуй, вы правы. – Огюст в нерешительности смотрел на Шоле.

Шоле положил конец колебаниям Огюста, объявив:

– Мы победим. И докажем обывателям, что они не имеют права держать под контролем французское искусство.

Однако Огюсту был нанесен еще один удар; через несколько дней парижский муниципалитет, которому принадлежал решающий голос, объявил, что «Бальзак» – это «уродство», и запретил вообще ставить памятник в Париже, тем более на площади Пале-Рояль.

Огюст услышал эту новость, работая в своей главной мастерской; каждый день сюда приходило все больше людей, чтобы сказать ему, что он должен бороться за «Бальзака». В упрямом молчании он выслушал Шоле, который сообщил решение муниципалитета. Он слишком устал, измучен овладевшим им пугающим бессилием. Если бы придумать средство избавиться от этой изматывающей борьбы! Он хотел одного – работать, а работать не давали.

Шоле говорил о «невероятном оскорблении, нанесенном французскому искусству», когда вошел Кар-рьер с последними новостями. Каррьер сказал:

– Мы составили заявление о несогласии с действиями Общества.

Огюст оборвал его.

– Я не хочу отдавать «Бальзака» Обществу.

– Господи! – воскликнул Шоле; он был поражен, но Каррьер кивнул головой и сказал:

– Мы тоже, Огюст, но мы хотим, чтобы Общество знало, что высказывает только свою точку зрения и ничью больше.

– Эжен, я не в силах больше вести эту борьбу.

– Мы будем ее продолжать. Ты только послушай, кто подписал заявление, осуждающее позицию Общества. – Каррьер с несвойственной ему гордостью прочел: «Золя, Моне, Венсан Д'Энди, Анри Бек, Майоль, Анатоль Франс, Клод Дебюсси, Пьер Луи, Антуан Бурдель, Дюбуа, Тулуз-Лотрек, Мирбо, Жеффруа, Альбер Бенар, Жорж Клемансо, Люсьен Гитри, Ка-тул Мендес, Андре Вертело, Лунье-Пое, Констап Менье, Поль Фор»[117].

Огюст был глубоко тронут, но он только спросил:

– Давно это началось?

– Как только Общество отвергло «Бальзака». И мы предпринимаем дальнейшие шаги.

– Какие?

– Расскажем, когда все будет подготовлено, – сказал Каррьер. – Идем, Шоле, Огюсту надо работать. – И, взяв Шоле под руку, вывел его из мастерской.

Через неделю снова пришел Каррьер и сообщил, что заявление, осуждающее действия Общества, было встречено одобрением, и образован комитет для сбора тридцати тысяч франков на приобретение «Бальзака» и установки его в каком-либо парижском сквере или саду. Когда Огюст выразил сомнение в успехе, Каррьер сказал:

– Мы провели подписку, половина суммы уже собрана. Малларме возглавляет комитет. Мы даже получили деньги от Поля Руа, члена Общества, от Турке, который вел с тобой переговоры по поводу «Врат ада», и от Сислея. Сислей сейчас очень болен, живет в нищете, но дал пять франков. И так все. Даже мадам Карпо подарила нам подлинник Карпо. Деньги, вырученные за него, пойдут в фонд подписки.

Огюста особенно тронули пожертвования Сислея и вдовы Карпо. Он никогда не знал близко Сислея, жизнь Сислея была тяжелой борьбой за существование, а Карпо был одним из его кумиров.

Поэтому когда через месяц многие из тех, кто его защищал, вдруг обвинили его в предательстве, Огюст очень удивился. Клемансо, один из самых рьяных его защитников, попросил Огюста подписать петицию, которая требовала пересмотра дела Дрейфуса. Огюст отказался. Он воскликнул:

– Разве я могу ввязываться в новую борьбу? Мои силы и так истощены борьбой за «Бальзака»! – И обиженный Клемансо, не сказав больше ни слова, покинул мастерскую.

И вместо того чтобы быть в стороне от этой борьбы, Огюст оказался вовлеченным в нее тем сильнее, что большинство его сторонников были также сторонниками Альфреда Дрейфуса. Камилла одобрила его, Дега поздравил с разумным решением, но многие сняли свои имена с подписного листа в пользу Родена. Клемансо попросил вычеркнуть его имя из списка; то же сделал Золя, забрав свой взнос в тысячу франков; другие последовали его примеру; многие дрейфусары, которые раньше защищали Огюста, теперь заявили, что ошиблись в нем, что Роден оказался «трусом и глупцом», а Пизне, рьяный антидрейфусар, публично заявил, что Роден пытался его уговорить изменить свое решение по поводу «Бальзака», но ни он, ни Общество не пошли на уступки.

«Человек может считать, что ему повезло, – думал Огюст, – если дело ограничивается одной ненавистью». На него же со всех сторон сыпалось столько обвинений, что он не знал, как на них

отвечать. Возможно, он был неправ в отношении Дрейфуса, но презирать его за это жестоко и несправедливо.

Лишь один друг остался ему верен. Каррьер, который был убежденным дрейфусаром и социалистом. Он пришел в главную мастерскую Родена с новыми планами относительно «Бальзака». Каррьер не упрекал Огюста, не заводил разговора об отказе подписать петицию в защиту Дрейфуса, а просто сказал:

– Мы должны атаковать их с другой стороны.

– Спасибо, что ты понял меня, – сказал Огюст. – Я человек далекий от политики. Как же меня могут обвинять в антисемитизме, в приверженности роялистам?

– Все позабудется, – сказал Каррьер. – Наше дело – спасти «Бальзака»!

Волнение не давало Огюсту говорить. Каррьер терпеливо ждал, и Огюст наконец воскликнул:

– Да, это была ошибка! Я должен был защищать Дрейфуса, но от меня ждали слишком многого, слишком многого. Эжен, я всего лишь слабый человек и плохо соображал от усталости.

Каррьер сказал:

– Порой мне кажется, что дело Дрейфуса скоро всех сведет с ума. Оно так потрясло всю страну, что, я думаю, Франция уже никогда не будет прежней. Но сейчас перед нами другая задача, – сказал он более веселым тоном. – В нашем фонде уже пятнадцать тысяч. Осталось собрать немного.

– Нет, – твердо заявил Огюст. – Я не хочу, чтобы подписка продолжалась.

– Это необходимо. Вместо каждого забравшего деньги обратно я добуду двух новых подписчиков.

– Даже если они будут против Дрейфуса?

– Не важно. С тобой поступили несправедливо, и нужно это исправить. – Каррьер быстро, уверенно продолжал: – Мы должны доказать, что есть еще людb, способные бороться за настоящее искусство, и доказать делом, а не пустой болтовней.

– Послушай, Эжен. – Вид у Огюста был взволнованный, Каррьер умолк. – Мосье Пеллерин, богатый промышленник, коллекционирующий произведения искусства, предложил мне за «Бальзака» двадцать тысяч.

– Ты заслуживаешь большего.

– А группа лондонских художников во главе с Хэнли хочет, чтобы я выставил «Бальзака» в их Салоне.

– Прекрасно. Ты уже отомщен.

– А Общество художников и скульпторов Бельгии хочет купить «Бальзака» и установить его на площади в Брюсселе.

– Неужели ты позволишь вывезти скульптуру из страны? Это

будет позором.

– Нет.

– Прекрасно. Вот увидишь, у нас будет много новых сторонников. Моне снова подтвердил свое высокое мнение о «Бальзаке» и обо всех твоих работах. Он сам тебе напишет и разрешил мне ссылаться на него. Моне повлияет на многих колеблющихся.

– Моне как будто один из самых рьяных защитников Дрейфуса?

– Какое это имеет значение?

– Кое-кто из тех, кто хочет купить «Бальзака», настроен против Дрейфуса. Да и некоторые из новых подписчиков тоже.

– Ты очень упрям. Тебя не радует поддержка Моне?

– Я ему очень признателен.

– И другие по-прежнему за тебя: Пьер Луи, Тулуз-Лотрек, Лунье-Пое, Констан Менье, Дюбуа, Майоль, Жеффруа, Мирбо, Бурдель, Малларме…

Огюст прервал его:

– Приятно знать, что есть люди, не меняющие своего мнения.

– Найдутся и еще.

– Не сомневаюсь. Но, как я уже сказал, подписку надо прекратить.

– Ты ведь только что сказал, что не собираешься продавать «Бальзака».

– Не собираюсь. Оставлю себе. Каррьер онемел.

– Мой адвокат говорит, что можно принудить Общество выполнить условия договора, но на это уйдет время. Мне надо работать. Я и так уже потерял слишком много времени.

– Я все же думаю, ты можешь выиграть это дело.

– Разве правительство Франции или власти Парижа сказали хотя бы слово в защиту «Бальзака»?

– Нет. Но если мы будем стоять на своем, мы победим муниципалитет.

– И снова потеряем время? – Огюст исполнился еще большей решимости. – Нет, невозможно!

– Ты можешь принять какое-нибудь из предложений продать статую во Франции.

– Чтобы политические страсти разгорелись еще больше? Тоже невозможно!

– А как же с деньгами?

– Я возвращаю деньги. Десять тысяч франков и триста двадцать франков процентов.

Каррьер совсем сник. «Огюста не уговоришь», – в отчаянии подумал он, но вслух сказал: – Мы еще можем выиграть, Огюст.

– Нет, Эжен, нет! Хватит, эта политическая борьба отняла у меня слишком много сил. – Увидев огорченное лицо Каррьера, Огюст обнял его за плечи и сказал: – Прошу тебя только об одном: дай мне список тех, кто пожертвовал деньги на покупку «Бальзака». Их благородство и вера в меня помогут мне продолжать работу. – И в порыве нежных чувств он расцеловал Каррьера в обе щеки.

Глава XLI

1

Огюст перевез «Бальзака» в Медон и установил в саду; статуя стояла там, полная таинственного великолепия. Огюсту это так нравилось, что он решил устроить в Медоне новую мастерскую.

Камилла пришла в уныние, услышав, что Огюст перевез «Бальзака» в Медон и открывает там мастерскую; загородный дом был для нее запретным местом. «Снова его эгоизм и упрямство», – думала она. И когда он не появлялся несколько дней, начала собирать вещи.

Огюст удивился, придя в мастерскую на площади Италии и застав Камиллу за сборами. Он задержался в Медоне, установка памятника оказалась делом нелегким; нужно было наскоро смастерить постамент, и непросто оказалось подыскать подходящее место. А потом Роза стала умолять остаться, и, когда он отказался, впала в такое состояние, что пришлось ее успокаивать, – тоже потребовалось время. Было множество и других дел. Глядя теперь на разгневанную Камиллу, Огюст не мог забыть слов Розы. Пока Камилла лихорадочно складывала вещи, он вспомнил, как Роза зачарованным взглядом смотрела на статую Бальзака.

Огюст впервые заметил, как Роза смотрит на фигуру; его тронул ее жадный интерес, хотя он делал вид, что не обращает внимания. Розе недоступно понимание таких вещей, считал он.

«Боже мой, – думала она. – Какое странное, но какое мужественное крестьянское лицо!» Фигура не произвела на нее особого впечатления, но это – живой человек. Роза отступила на несколько шагов – она давно научилась у Огюста, что парковую скульптуру нужно смотреть на расстоянии. Ее обидело, что Огюст не попросил ее посмотреть, но теперь она чувствовала, что он тронут.

Шум, поднятый вокруг «Бальзака», удивил Розу – она узнала от соседей и от своих друзей в мастерской; все только об этом и говорили. А когда Огюст привез статую в Медон, она подумала – какая радость, он собирается здесь остаться! Но не успела спросить, долго ли он пробудет, как тот уже занялся делами.

А теперь, хотя он и не подает вида, она чувствует, ему смешон ее интерес. Роза сказала:

– Здесь подходящее место. – Но Огюст не ответил. – Ты оставишь статую здесь? – настаивала она; ее сердила его

грубость, она даже покраснела.

– Не знаю. Это от многого зависит.

– От чего, Огюст?

– Не важно. – Он отмахнулся, ему сейчас не до нее.

– Может, дело в деньгах? Ты должен оставить статую. Здесь она на месте. Если нужны деньги, я могу пойти работать.

– Куда? – Он насмешливо посмотрел на нее.

– Я могу шить. Раньше я хорошо шила, думаю, и теперь не разучилась.

Он ничего не сказал, предложение слишком нелепо, чтобы принимать его всерьез.

– Мне здесь нечем заняться, – с удрученным видом сказала Роза. – Только и делаю, что жду тебя. А ты приезжаешь так редко…

Его раздраженный жест остановил ее на полуслове.

– Ты справишься, Огюст? Может, не стоило возвращать деньги Обществу?

– Возможно. Но не возвращать тоже нельзя.

– Я скопила немного. Из тех, что ты давал на хозяйство. Если нужно…

– Сколько?

Лицо ее прояснилось.

– Пятьсот франков.

Он снисходительно улыбнулся.

– Это пустяк по сравнению с тем, что мне надо.

– Но раньше этих денег хватало на несколько месяцев.

– У меня много мастерских, много расходов, много… – Он оборвал себя; что толку, она никогда ничего не понимала и не поймет.

Но Роза считала, что, отклоняя ее великодушный жест, ее заботу и любовь, он ведет себя как эгоист. Не успела она это сказать, как он повернулся уходить.

– Ты куда? – крикнула она.

– Как тебе удалось скопить пятьсот франков? Ведь нужно на хозяйство. – Теперь он тоже проявлял подозрительность.

– Я экономлю. Ты собираешься ехать к ней?

– Я запретил тебе упоминать ее.

Роза побледнела, но не могла остановиться.

– Я слышала, что мадемуазель все еще красива.

– Ты ничего не понимаешь, – сердито сказал он. – Я понимаю, что ты предпочитаешь ее, – печально сказала Роза.

– Ты не понимаешь, что мне надо.

– Ей бывает одиноко?

Огюст промолчал, и Роза сказала:

– Должно быть, да. Ты ведь там тоже не всегда.

Он заговорил о другом:

– Откуда ты знаешь об Обществе?

– Все говорят об этом.

– А о Дрейфусе?

– Он бедняга. Как ты думаешь, Огюст, он виноват?

– Откуда мне знать? Я не политик!

– Не сердись. Я не принимаю ничью сторону.

– Так же, как и я, но в этом-то и есть мое несчастье. Лучше бы я принял чью-нибудь сторону.

– Тебе трудно пришлось, правда?

Он не нуждался в ее сочувствии, он сознавал свою вину, и это было ему неприятно. Огюст решил поднять вопрос, который задевал за живое:

– Все спорили о «Бальзаке», кроме твоего сына. Я не вижу его уже несколько недель. Где он пропадает?

Роза покраснела. Она не знала, куда исчез маленький Огюст; сын перестал появляться в мастерской вскоре после того, как Общество отвергло памятник. Он пришел к ней за деньгами, и она дала ему пятьдесят франков, не больше, чтобы быть уверенной, что он вернется, когда их потратит. Ее встревожил его обтрепанный вид и запах винного перегара, но она не смела упрекать – боялась, что он больше не придет. И все-таки он не вернулся, хотя с тех пор прошел уже целый месяц.

– Я переживаю самое тяжелое время, а тут еще это огорчение. Порой я начинаю думать – лучше бы нам вовсе не иметь сына.

Роза не соглашалась. Она знала недостатки сына, он уже ничем не мог ее удивить, но ведь это ее ребенок, ее и Огюста. Как у Огюста язык поворачивается? Она знала, что сын способен совершать непонятные, подчас ужасные поступки, но ведь и Огюст тоже не святой.

– Он, должно быть, обиделся, что ты не доверяешь ему, – сказала она.

– Обиделся? – Огюст горько рассмеялся. – А меня он не обижает? Как можно доверять человеку, если на него нельзя положиться? Я напрасно просил его вернуться в мастерскую. Во время неприятностей с «Бальзаком» он меня не поддержал. Повторяю, лучше бы у нас не было сына.

Роза молча отвернулась. Не было больше сил спорить с ним. Он вызывал в ней отвращение. Даже работа его показалась ей вдруг отвратительной. Ей все безразлично, хочется только одного – покоя.

Но Огюст не мог видеть Розу такой опечаленной. Она неправа в отношении Камиллы, твердил он себе, а он в отношении сына

прав. И хотя Роза его не понимает, она всегда была ему другом, и он благодарен ей за это. Она направилась по дорожке, прочь от «Бальзака», но Огюст схватил ее за руку и спросил:

– Разве он похож на чудовище?

– Он похож на Родена! – испуганно выпалила Роза.

– Прекрасно! – И зачем она такая ревнивая? Роза открыла калитку, пропуская его вперед.

– Доброй ночи, – сказала она. Он ответил:

– Я вернусь.

Она не спросила когда, а смотрела ему вслед, как он шел по дороге, спустился в долину, подернутую туманом; смотрела и думала: «Какой он самонадеянный и жестокий».

А теперь Камилла, укладывая вещи, всем своим видом выражала упрек. Он стал уговаривать, но она разволновалась.

– Я должна уехать. Я не могу здесь спать. Я провела ужасную ночь – все время ждала тебя.

Он сердито подумал, что порой обе женщины так похожи, а вслух сказал:

– Не понимаю, что случилось, но я не виноват.

– Да, ты всегда прав, – запальчиво сказала Камилла, – я для тебя просто развлечение, ты со мной совсем не считаешься. У нас нет личной жизни, работа у тебя всегда на первом месте, а теперь ты вспомнил и о своей экономке.

– Она не экономка.

– Кто же? Любовница? Он не ответил.

– Если она ваша любовница, мосье, кто же тогда я?

– У меня нет любовницы.

– Может, я жена?

– Ты просто ревнуешь. В этом вся беда.

Ее платья были грудой навалены на чемодане, и она выглядела безнадежно растерянной и несчастной. Сердце бешено билось, и она мучительно раздумывала – не делает ли опрометчивого шага. Она любила эту мастерскую, в которой столько пережито, со всеми ее книгами, горами глины, гипса и терракоты, но здесь ей нет больше покоя. Чаша терпения переполнилась. Она воскликнула:

– Мы живем с тобой в разных мирах. В тебе сочетаются равнодушие буржуа и дьявольский эгоизм. Если я останусь с тобой – это убьет меня!

Он ничего не ответил, и она побелела от гнева. Наступила страшная тишина; Камилла с решительным видом принялась собирать вещи.

– Послушай меня, дорогая, – с неожиданным чувством сказал Огюст, – я всего только человек. Ты слишком многого от меня

ждешь.

– Мне не нужны твои извинения! – закричала она и заторопилась со сборами.

Не обращая внимания, он притянул ее к себе, крепко обнял. Она не могла пошевельнуться.

Он сказал:

– Слушай, поедем на юг. Навестим Ренуара, он живет в Антибах, недалеко от Ниццы. Остановимся в Ницце, Каннах, где захочешь.

– А деньги? – Достану.

– А работа?

– Нужно отдохнуть.

Она помолчала, потом с расстановкой спросила:

– Скажи, ты еще любишь меня?

Он закрыл на засов дверь и начал ее целовать. Он сказал:

– Сегодня я представил себе, что ты можешь меня покинуть, и думал, что не выдержу.

Камилла бросилась в его объятия. Она жаждала, чтобы он подчинил ее себе, поработил. Она заставила его почувствовать, что он единственный мужчина, с которым она может быть счастлива. Огюст надеялся, что теперь всем разногласиям конец.

2

Огюст оставил мастерские на попечение Дюбуа и Бурделя и не заехал в Медон попрощаться с Розой и сказать, когда вернется. Целый месяц он путешествовал с Камиллой. Но поездка не принесла ей радости, раздражение не проходило. Она смотрела на эту поездку как на медовый месяц, а для него это был просто отдых. Огюст пришел в восторг от средневековой скульптуры, которую они увидели на юге Франции. Но мысли Камиллы были заняты только одним: стать наконец его женой. Он был счастлив, вырвавшись из Парижа, дождливого и тоскливого в это время года. Такая погода действует ему на нервы, говорил он, но менять свои отношения с ней, как ей того хотелось, видимо, не собирался.

Они навестили Ренуара. Несмотря на жестокий ревматизм, из-за которого художник почти не мог писать, он встретил их приветливо. Камилла вела себя странно, и это удивило и опечалило Огюста.

Ренуар показывал им своих птиц – предмет его гордости, – как вдруг Камилла отворила дверцу клетки и крикнула:

– Пусть летят на свободу!

Она открыла бы все клетки, если бы Огюст не удержал ее.

Ренуара это только позабавило, а когда, вернувшись в Ниццу, Огюст стал выговаривать Камилле, она принялась кричать, что он причиняет ей одни мучения.

– Да, это все, что дала мне твоя любовь – одни мучения и больше ничего.

На обратном пути она снова устроила ему сцену, на этот раз из-за Золя. Золя, когда его апелляция об освобождении была отклонена, бежал из Парижа в Лондон, чтобы избегнуть тюремного заключения. Его сторонники утверждали, что Золя принесет больше пользы делу Дрейфуса на свободе.

Но Камилла была возмущена.

– Видишь, – заявила она, – значит, Дрейфус виновен.

А Огюст думал, как часто он хотел бежать, избавиться от «дела Бальзака», и сколько самообладания потребовалось, чтобы скрыть это от всех, и в особенности от Камиллы. Он ответил как можно спокойнее:

– Это только доказывает, что Золя не доверяет французскому правосудию.

Камилла с презрением сказала:

– Огюст, как ты можешь защищать Золя, ведь он перестал с тобой разговаривать из-за дела Дрейфуса? – И окинула его гневным взглядом, словно усомнившись в его уме.

«Почему она стала такой злой и обидчивой?» – с недоумением думал Огюст. Это испортило ему всю поездку.

3

Огюсту казалось, что в Париже все изменится к лучшему. Он хорошо отдохнул; здоровье Камиллы поправилось. Теперь, говорил он себе, они снова будут работать по шестнадцати часов в день, и это отвлечет Камиллу от мрачных мыслей.

Из-за «дела Бальзака» известность его столь возросла, что от покупателей не было отбоя. Он набрал множество новых заказов, главным образом от частных коллекционеров, и при усердной работе и строгой экономии мог теперь возместить свои потери и даже расплатиться с долгами.

Он понимал, что следует быть довольным, но он разрывался на части: «Врата» и памятник Гюго оставались незаконченными, а обвинения Общества все время напоминали ему о невыполненных обещаниях.

Работа – единственное спасение, решил Огюст, единственное, что может вернуть их былое счастье. Он попросил Дюбуа и Бурделя продать часть его скульптур за ту цену, которую можно было за них выручить, сказал, чтобы они пока не брали новых

заказов, и сразу приступил к работе над мрамором. Он начал работать в мастерской на площади Италии. Если Камилла хочет получить подтверждение его любви, она его получит.

Камилле не хотелось приступать к работе над новым замыслом, а когда Огюст заявил, что они будут трудиться на равных началах, согласилась. Но вскоре она снова превратилась в помощницу – запасала материал, инструменты, помогала ему, не получая самостоятельности. Ее обида и негодование пробудились с новой силой.

Недели упорного труда принесли плоды: из огромной глыбы мрамора выросла большая рука. Казалось, сам мрамор явился материей, породившей эту руку и то, что в ней было. Из огромной ладони и пальцев вырастали переплетенные тела Адама и Евы. И теперь уже казалось, что гигантская поднятая рука вместе с мрамором породили обе фигуры.

Огюст, довольный своим замыслом, назвал ее «Рука бога».

Скульптура казалась Камилле законченной, но Огюст был недоволен моделировкой. Он считал, что работа сделана наспех. Не удовлетворяли и контуры тел. Нужно было на неделю отложить скульптуру, отдохнуть и вернуться к «Руке бога» с новыми силами. Замысел увлек его, и он решил, что Камилла не будет возражать, если он на время уедет.

Но когда он сказал, что ему нужно поехать в деревню, чтобы видеть природу в процессе созидания, видеть, как рождаются из земли камни, растут деревья, наблюдать за удивительной жизнью птиц и насекомых, Камилла не поверила.

Он не взял ее с собой, значит, решила она, он возвращается к Розе в Медон. Ее уверенность укрепилась, когда вместо одной недели, как обещал, Огюст отсутствовал несколько. Она поняла, ей надо уезжать, остаться можно только при одном условии – если он женится на ней; а теперь он, видимо, уже никогда этого не сделает. Договорившись с привратником о переезде, Камилла начала собирать вещи.

4

Огюст побывал в Версале и Аржантейле, навестил Моне и Дега, которые все еще не разговаривали друг с другом из-за дела Дрейфуса. Он наслаждался обществом Моне, который, как и прежде, разделял его любовь к природе. Но Дега сделался еще большим мизантропом. Дега жаловался, что солнце светит слишком ярко, и никак не мог простить Моне защиты Дрейфуса и того, что Моне пережил большинство своих современников, даже Мане, которого Дега так превозносил после его смерти.

Но главной причиной, задержавшей Огюста, было письмо, полученное от Хэнли. Его порадовало сообщение английского друга, нашедшего покупателей для нескольких его бронз. Но опечалило известие о недавней смерти пятилетней дочери Хэнли и о том, как тяжело обычно такой жизнерадостный Хэнли переживает свою утрату.

Огюст решил ответить немедленно, хотя не любил писать письма и часто не отвечал по месяцам. Целая неделя ушла у него на то, чтобы подыскать слова, способные утешить друга. Он написал теплое письмо, в котором говорил, что понимает его страдания, ему самому в последнее время немало пришлось пережить, что он ценит его как друга и как писателя и поздравляет с недавно опубликованной книгой – может, это в какой-то степени утешит его в горе. Деловые подробности о согласии продать бронзы он оставил для постскриптума.

Излив свои чувства другу, Огюст почувствовал себя лучше. Поэтому известие, что Камилла уходит, переданное привратником, застало его врасплох.

5

Камилла не удивилась, увидев в дверях разгневанного Родена. Она нарочно прибегла к помощи привратника, чтобы тот предупредил Огюста и дал ему последнюю возможность остановить ее. Но она не выдержала и сказала:

– Итак, мосье вернулся из Медона.

– Я не ездил в Медон. Я был в Версале и Аржантейле. Повидался с Дега и Моне. И надо было ответить на письмо Хэнли.

– Это заняло несколько недель? – Она явно не верила.

Камилла была одета во все черное и на фоне белого мрамора «Руки бога» выглядела траурным барельефом. Он не знал, что сказать. За окном жизнь текла, как обычно: доносился крик разносчика овощей, посвистывание точильщика, привратники в синих блузах подметали улицы, полицейские в накидках следили за порядком.

Она сказала:

– Теперь, когда у тебя собственный дом в Медоне, ты стал настоящим буржуа. Не удивительно, что ты никогда меня туда не приглашаешь.

– Я очень хотел бы, но…

– Там Роза.

– Как я тебе обещал. – Он двинулся к ней, но она отстранилась. – Прокатимся в экипаже и спокойно обсудим все дела.

– Ты женишься на мне? Оставишь Розу?

Он что-то невнятно пробормотал и умолк. Он не хотел выбора. Не мог выбирать.

Выражение его лица, усталое, смущенное, сказало ей обо всем, но она все-таки спросила:

– Почему ты не оставишь ее? Ты ведь, кажется, ее не любишь?

– Не люблю. Не так, как тебя. – И все же не можешь оставить? Он пожал плечами и искренне сказал:

– Я не был в Медоне с тех пор, как мы вернулись из нашей поездки. Поверь мне, Камилла, не был!

– Верю. – И она действительно верила, он не мог лгать в такие минуты.

– Так чем же ты расстроена?

Он так просто пропустил мимо ушей вопрос, который она вынуждена была задать, – это возмутило ее до глубины души. Голосом, который заставил его похолодеть, она сказала:

– В последний раз говорю тебе, Огюст: если ты не оставишь ее и не женишься на мне, мы расстаемся!

– Это шантаж. – Он был непреклонен.

– Называй как хочешь, не имеет значения!

– Но я не могу ее бросить, она прожила со мной всю жизнь, она была моей…

– Служанкой! – вспыльчиво перебила Камилла. – Знаю. Я для тебя тоже только служанка. Да, служанка. Я всегда должна терпеливо ждать тебя, подчиняться твоим желаниям. Я так больше не могу.

Камилла снова принялась лихорадочно собирать чемодан, все распаковывать и перекладывать. Отвернувшись от него, она выкрикивала:

– Разве это жизнь? Разве можно такое терпеть?

– Терпеть? – повторил Огюст. – Ты говоришь чепуху.

– Нет, не чепуху. Почему ты вечно заставляешь меня ждать?

– Это неправда.

– Нет, правда. Пусть у нас нет денег, но я хочу, чтобы меня считали порядочной женщиной.

– Я всегда был с тобой честным.

– И эгоистичным.

– Ты просто устала. У тебя расшатаны нервы.

– Еще бы, ведь я пожертвовала своей карьерой ради твоей.

– Ты была здесь счастлива.

Камилла словно впервые увидела Огюста по-настоящему: глаза его под тяжелыми, нависшими веками казались очень суровыми.

– Но ты не хочешь связывать себя.

Он промолчал, и она почувствовала безысходную тоску. Боль сжала ей горло. Он поглаживал фигуру Евы в «Руке бога», для которой она была моделью, и Камилла с горечью подумала: «Никогда я не владела его помыслами так, как вот эта, да и любая из его статуй». Огюст продолжал медленными, нежными движениями гладить незаконченную мраморную скульптуру. «Чувственное желание владело им, всепоглощающая страсть, – промелькнуло у нее в мозгу, – и я всегда уступала этой страсти». А теперь, видя, как он гладит обнаженную «Еву», она испытывала странное чувство унижения. «Никогда он не проявлял ко мне подобной нежности, такой искренней преданности, – твердила она себе, – а разве я не заслужила? Я наказана за то, что любила его больше, чем он меня». Он сказал:

– Ты должна подождать. Я что-нибудь придумаю.

– Не могу. Так дальше нельзя, Огюст. Или ты женишься на мне, или… – Все расплылось у нее перед глазами. Она не могла сдержать слезы. «Я не существую для него больше, – думала она, – ничто не существует для него, кроме работы».

– Ты знаешь, что я люблю тебя. Никого в жизни так не любил.

– Но я тебе не жена.

– Не говори так.

«Даже сейчас, – с болью подумала Камилла, – он не слушает меня по-настоящему». Отчаяние захлестнуло ее. Она повернулась к двери.

– Я ухожу.

Он не мог умолять ее, но загородил путь.

– Дай мне пройти.

Она надеялась, что он не пустит, но он отошел, медленно, неохотно.

Боль и тоска охватили ее – неужели вот так все и кончится? Но ее терпение иссякло. Она заставила себя распахнуть входную дверь и сказала:

– Я пришлю за вещами. Завтра. Он не пошел за ней.

Его лицо показалось ей белее смерти. Он готов был разрыдаться; страх и уныние сломили его, он чувствовал свое бессилие. Но иначе не мог. Не мог давать обещания, которых не в силах был выполнить. Он с трудом выговорил: – Ты пожалеешь, Камилла.

– А ты?

Он не ответил; вид у него был печальный, голова поникла.

В эту минуту она вдруг вспомнила, что ему уже почти шестьдесят, хотя он выглядел очень крепким, – все тот же могучий утес. Она воскликнула:

– Ты как Людовик XIV, хочешь все по-своему. Чтобы Роза

ждала в Медоне, а я в Париже, и порой мне кажется, что ты предпочитаешь Розу.

– У нее была трудная жизнь.

– А у меня нет? – Камилла сама удивилась ярости, обуявшей ее. – Значит, ты не женишься на мне? Никогда? И никогда не собирался жениться?

Он беспомощно развел руками.

Камилла повернулась и стремглав выбежала из мастерской.

Огюст стоял потрясенный. Он было моляще протянул к ней руки, но она уже исчезла за дверью. Его била яростная дрожь, кружилась голова, но он словно прирос к месту. Он не побежит за ней. Ни за что. Она сделала глупость. Он молил бога, чтобы она вернулась.

Назавтра привратник пришел за вещами, но Огюст не остановил его, не спросил, где она, – гордость не позволила. С беспощадной ясностью он подвел итог всему. Он никогда не обещал жениться на ней – не обманывал ее. Она сама обманывала себя – брак с ним был бы величайшей глупостью. Она хотела соперничать с его работой, а это преступление, предательство.

И все же в ближайшие дни, заслышав на улице шаги, он каждый раз поспешно подходил к двери, надеясь, что это Камилла, вспоминал, какая она красивая, какая желанная. Но это была не Камилла, и он с отчаянием думал: за что мне такое несчастье? Разве я плохо к ней относился? Но уступить не мог, не мог поддаться слабости.

Он прождал неделю, она не вернулась, и он запер мастерскую.

6

Приехав в Медон, Огюст застал Розу в саду. Она сразу поняла, что он вернулся навсегда, хотя прошло уже три месяца с тех пор, как они виделись. Огюст сгорбился, сильно постарел.

– Ну, как наш сад? – спросил он.

– Приносит плоды. Земля здесь хорошая, плодородная, деревенская земля. – Роза взяла его бессильно опущенную руку; рука была холодна как лед. Догадка мелькнула в ее глазах.

– Она ушла, – сказала Роза. Он помедлил, затем промолвил:

– Теперь моя мастерская будет здесь. Главная мастерская.

Роза хотела сказать что-то еще, но, поняв его состояние, промолчала. Огюст повернул к дому, и она пошла следом. Ей казалось, он рад, что она рядом.

– Я проголодался. Что у тебя есть? – вдруг спросил он.

– Рыба, вареное мясо, капуста. Твое любимое.

В эту минуту он чувствовал, что Камилла – ускользающая мечта, от которой остались только боль, разлука и тоска.

– Вот это мне в тебе и нравится, Роза, – сказал он почти резко. – Блюда, возможно, и неизысканные, но что еще надо рабочему человеку? А ты, дорогая, очень хорошо умеешь готовить. Бедная моя Роза!

Она убежала, чтобы не выдать слез. А он пробормотал:

– Люблю послушных женщин, это качество ничем не заменишь.

Осталась только работа. Он еще многого может достичь. Но грусть не проходила. «Доведется ли еще пережить такой душевный взлет», – думал он. Чтобы отогнать мучительные мысли о Камилле, он поспешил к «Бальзаку». Одинокий, возвышался он посреди сада. Как правильно он сделал, что отсек ему руки. В этом по крайней мере он не допустил ошибки.

Солнечные лучи освещали голову «Бальзака». Создаст ли он что-либо равное? Неужели с ее уходом для него все кончилось?

Вернулась Роза и позвала к столу.

– Насмотришься еще. Куда он денется, – сказала она.

– Это-то и грустно.

– Но когда-нибудь он еще переберется в Париж[118].

– Откуда ты знаешь? – Он не любил пустых разговоров, и что она в этом смыслит?

– Я помню время, когда никто не давал и двух су за твои произведения. Сколько Каррьер собрал денег на эту скульптуру?

Он почувствовал нежность. Роза не будет вмешиваться в его работу. Любовь и работа – разные вещи. Он обнял ее и сказал:

– Дорогая, ты веришь в меня, даже когда не можешь понять.

– Я знаю только одно: ты вернулся домой, – сказала Роза, улыбаясь впервые за много месяцев. Он не ответил и молча повел ее в дом.

Часть шестая. „Мыслитель"

Глава XLII

1

Огюст был взволнован, услышав, что Париж собирается отпраздновать наступление двадцатого столетия открытием грандиозной выставки – Всемирной выставки 1900 года. Ему сказали, что выставка привлечет в Париж весь цивилизованный мир. Он решил бросить противникам вызов, выставив для всеобщего обозрения лучшие свои произведения. Такая смелость удивила его самого. Но организаторы выставки отказались предоставить ему место под предлогом, что его работы не отвечают теме выставки – теме прогресса. А затем и парижский муниципалитет не разрешил постройку павильона для его скульптур на собственный счет, заявив, что он не привлечет зрителей.

Но наконец, после долгих переговоров, с помощью влиятельных друзей и ссуд банкиров, благодаря которым он купил Медон, Огюсту удалось получить от городских властей разрешение на постройку павильона. Однако павильон должен находиться за территорией выставки. В качестве уступки ему позволили воздвигнуть павильон на площади Альма.

Огюст был доволен расположением павильона. Рядом с Сеной, в самом центре Парижа, поблизости от площади Звезды и площади Согласия, и недалеко от выставки. Он построил простое белое здание со строгими греческими колоннами и разместил в нем свои лучшие произведения – сто семьдесят одну скульптуру.

Накануне открытия выставки Огюст стоял перед павильоном, раздумывая, придет ли кто-нибудь смотреть на скульптуры. Его Храм скульптуры – Общество литераторов окрестило его Забытым храмом – имел скромный вид и представлял разительный контраст с роскошными павильонами Науки и Промышленности. Огюст смотрел на расположенный рядом Дворец электричества, сказочное сооружение, сиявшее ослепительными огнями, которое возвещало наступление века прогресса, и невольно сомневался в целесообразности своего поступка.

Где ему тягаться с этой башней света. Но отступать было поздно. На строительство павильона ушло восемьдесят тысяч, шестьдесят тысяч он занял у банкиров. Он был связан по рукам. Его будущее зависело теперь от числа посетителей по франку за билет. Плата небольшая, но сомнения его продолжали расти. Павильон стоял отдельно от павильонов Всемирной выставки, и

он страшился, что сюда никто не придет; враждебное отношение к нему Школы изящных искусств, Института, Академии – одна из причин нетерпимости, проявленной к нему обществом, – одержит верх. Боль от разлуки с Камиллой еще не утихла, хотя миновало уже два года. Внезапная кончина Малларме и Шаванна, двух лучших и самых преданных друзей, еще более омрачили его. Сегодня, с грустью думая о них и о Камилле, Огюст остро ощущал эти утраты и свое одиночество.

2

Почти никто не заходил в павильон скульптуры Родена, пока министр просвещения не нанес официального визита по поводу его открытия и не выразил своего одобрения, заявив, что произведения мосье Родена, в особенности «Врата ада», – это произведения француза-патриота. Величайшая похвала, на какую был только способен министр.

Патриотизм был снова в моде. Национальную разобщенность сменило всеобщее примирение.

Благодаря выступлениям Золя Дрейфуса привезли обратно во Францию, и, хотя при новом судебном разбирательстве его вновь признали виновным, он был помилован – в связи со «смягчающими обстоятельствами», как заявил суд.

Для Франции это считалось идеальным решением: с одной стороны, подразумевалось, что Дрейфус невиновен, с другой – честь армии тоже не пострадала. Обвинения против Золя потеряли силу, и сам Золя вернулся на родину героем. После тяжелых лет распрей дело Дрейфуса понемногу затихло. И хотя страсти еще не улеглись, пресса больше не уделяла внимания делу. Теперь родилась потребность не поносить, а восхвалять.

Постепенно павильон Родена привлек внимание, словно скульптор, тоже подвергавшийся преследованиям, заслуживал теперь всяческого одобрения[119].

В течение нескольких месяцев тысячи зрителей осмотрели незаконченные «Врата ада», чтобы самим решить, действительно ли они вызывают такой ужас, как о них говорят. Пресловутая известность «Бальзака» также привлекала множество зрителей. Но самый большой интерес вызывали любовные пары, в особенности «Поцелуй». «Поцелуй» возбуждал скандальное внимание, Огюста это возмущало.

Публика проявляла большой интерес и к портретам Камиллы, Гюго, Бодлера, Фальгиера и Далу. Всем, видимо, было известно, что Огюст и Далу, некогда близкие друзья, стали злейшими врагами, и все любопытствовали, каким Огюст изобразил своего

скульптора-соперника. Но, пожалуй, еще большим успехом пользовался бюст Фальгиера, ибо Фальгиеру – хорошему другу Огюста – Общество литераторов заказало памятник Бальзаку.

Несмотря на это, Роден и Фальгиер оставались друзьями. И Огюст в знак дружбы сделал портрет Фальгиера, как раз когда тот заканчивал своего «Бальзака»[120].

«Бальзак» Фальгиера, огромный тучный мужчина, сидящий на скамье в парке, закутанный в доминиканскую рясу, выглядел процветающим, заурядным буржуа и не вызывал интереса. Все стремились посмотреть живой, наделенный силой скульптурный портрет Фальгиера, выполненный Роденом, в нем Фальгиер предстал таким, каким был, – упрямым бычком.

Бюст Бодлера поразил зрителей выражением глубокой тоски, словно поэт предвидел свою близкую смерть. Бюсты Гюго вызвали восхищение. Но особое внимание привлекла голова Камиллы. Слух об их связи облетел весь Париж, падкий до подобных историй.

И хотя находились еще люди, во всеуслышание заявлявшие, что произведения Родена позорят Францию, за пределами Франции имя Родена стало одним из прославленных имен Третьей республики. Русский царь Николай II, приехавший в Париж на открытие моста Александра III, названного в честь его отца, посетил павильон Родена. Принц Уэльский, все еще не потерявший интереса к «Вратам ада», провел в павильоне полдня. И, наконец, Лубе[121]*568, новый президент республики, не желая, чтобы его перещеголяли иностранные гости, посетил выставку Родена, выразив тем самым одобрение французского правительства.

Фор, его предшественник на посту президента, скончался неожиданно – ходили слухи, что он был невоздержан в любви, но Лубе не был лицемером. Президенту понравились роденовские любовные пары, он смотрел на них снисходительно и доброжелательно.

Поистине Париж изменчив, думал Огюст. То, что он бичует в этом году, в следующем возносит до небес. По Парижу шли разговоры: «Работы Родена – вот что надо смотреть. Роден – наш новый Гюго». Огюста немало коробило от этого. Ему нравились похвалы, он чувствовал, что заслужил их, что они даже несколько запоздали, и все же сомневался, достоин ли он подобного поклонения. Да и какое у него сходство с Гюго? Теперь даже буржуа восхваляли его обнаженные фигуры. А когда музеи всех стран, кроме Франции, начали соперничать, стремясь приобрести работы Родена, он стал предметом национальной гордости.

Копенгаген купил его скульптуры на сумму в восемьдесят

тысяч франков и отвел ему целый зал в своем музее, назвав его «Залом Родена». Музей в Филадельфии приобрел «Мысль», для которой позировала Камилла; чикагский музей купил «Поцелуй», а затем, чтобы утихомирить шокированную публику, задрапировал группу. Многие работы приобрели музеи в Будапеште, Дрездене, Праге и Лондоне.

Число частных коллекционеров, стремящихся приобрести его произведения, росло не по дням, а по часам. Огюсту предлагали больше заказов, чем он способен был выполнить. Огюст терялся, какие назначать цены, боялся, что, повысив цену, потеряет многие заказы, но, как только он их повысил, чтобы отпугнуть некоторых нежелательных заказчиков, посыпались заказы от богатых людей. Они готовы были платить любые деньги, боролись за это право. Чем больше он запрашивал, тем большим уважением проникались к нему коллекционеры. Иметь скульптуру Родена считалось модным.

К тому времени, как выставка закрылась и Огюст перевез оставшиеся работы с площади Альма в Медон, он продал скульптур на сумму более двухсот тысяч франков. После расплаты с долгами осталось шестьдесят тысяч. О деньгах можно было больше не беспокоиться. Теперь он мог продать любое свое произведение и работать, ни от кого не завися. Но он никого не посвящал в свое материальное положение. Когда лучший друг Каррьер спросил, имела ли выставка успех и окупились ли расходы, Огюст ответил: «Более или менее, дорогой друг». Он знал, что из всех людей Каррьеру можно доверять, но следовало быть осторожным.

– Тебе нужна помощь, Эжен? – Художник до сих пор не мог вырваться из тисков бедности.

– Нет-нет! – воскликнул Каррьер и, видя, что Огюст чувствует себя неловко, обнял его и добавил:

– Я просто надеялся, что успех поможет тебе обрести наконец душевный покой.

3

Но Огюст мечтал не о покое. Больше всего он нуждался во времени и силах, чтобы взяться за то, к чему у него лежала душа. Ему только что исполнилось шестьдесят, и это напомнило, что старость не за горами, что время и силы надо беречь. Но, узнав, что Камилла живет в Париже, он попросил Каррьера навестить ее в надежде на примирение. Художник был деликатнейшим человеком и подходил для такой роли, как никто.

Камилла холодно встретила Каррьера. Ее возмущало, что

художник был дрейфусаром, хотя дело Дрейфуса давно потеряло остроту. Да и как художник он ей не нравился; она считала его картины маловыразительными, туманными. Она не могла захлопнуть перед ним дверь, но и не предложила войти.

Каррьер стоял в дверях мастерской, служившей ей одновременно и спальней, стараясь скрыть свое смущение. Он заметил, что Камилла живет одна. Увидел фигуры из глины, гипсовые слепки, несколько бронз; единственную мебель в комнате составляли кровать и стул, словно этим она хотела подчеркнуть, что живет отшельницей и преданна работе не меньше Огю-ста. Лицо ее было бледным, худым, аскетическим. «Постарела», – печально подумал Каррьер. В волосах седина, черты лица заострились – от прежней красоты почти не осталось следа.

Камилла оставила без внимания протянутую руку Каррьера и сказала усталым, раздраженным голосом:

– Итак, мосье, вы разыскали меня. – Он хотел было заговорить, но она прервала: – Я не нуждаюсь в помощи, мосье. Я вовсе не желала причинить кому-то зло, а действовала в соответствии со своими принципами. – Она отказалась говорить об Огюсте.

Каррьер очутился за дверью; он так и не вошел в комнату. На прощание Камилла пробормотала:

– Бурделю отдано предпочтение, вечно этот Бурдель. Его акварели замечательны, ну а что до скульптуры, моя гораздо реалистичней.

Но Огюст, узнав, что ей живется трудно, что ее работы, о которых он всегда был высокого мнения, плохо покупаются, добился через министра изящных искусств, чтобы у нее купили некоторые вещи для провинциальных музеев, – министр отказался приобрести их для Лувра или для музея Люксембургского дворца, хотя Огюст настаивал. И на выставке своих работ в Брюсселе и Праге он поместил на почетном месте свой бюст, выполненный Камиллой, но она не оценила этой чести, заявив: «Это всего-навсего студенческая работа. Он мог бы добиться, чтобы мои работы были в Люксембургском музее»;

Не оставляя надежды, Огюст снова послал к ней Каррьера с предложением помощи, но Камилла сердито отвергла ее. Она сказала, что это навязчивое стремление помочь свидетельствует не о заботе, а скорее о недобром к ней отношении. У нее сделалась истерика, и она держала себя с такой враждебностью, что Каррьер испугался, в здравом ли она уме. Камилла то всхлипывала, то смеялась.

– Это убийство, моя карьера загублена, я должна вырваться

из-под его власти, стать самостоятельной. И я добьюсь своего, как бы меня ни преследовали. Мосье, ведь я еще на многое способна, я гораздо лучше Бурделя, а эти выставки меня замучили.

Огюст очень опечалился, узнав об этой сцене. Он был совсем убит горем, когда через месяц ему сообщили, что у Камиллы нервное расстройство и ее забрали в приют для умалишенных. При мысли, что она в сумасшедшем доме, пусть даже его и называют приютом, у него кровь стыла в жилах. Но он твердил себе, что не виноват, она всегда была неуравновешенной. Бедная Камилла!

Огюст навестил ее, но она смотрела на него, как на чужого, словно впервые видела этого бородатого, усталого мужчину. Камилла была вся в черном и такая худая, что он ужаснулся. От красивой девушки, в которую он когда-то влюбился, остался только мелодичный голос; не обращаясь ни к кому в отдельности – ей просто надо было, высказаться, – она вдруг разразилась тирадой:

– Дрейфусары, грязные животные, это они посадили меня сюда. Моя работа «Бабушка» получила третью премию, это они лишили меня первой, а теперь хотят упрятать в тюрьму Сен-Лазар, куда сажают больных проституток.

Лицо Огюста стало серым. Он пытался объяснить:

– Дорогая, брак – это ужасное, длительное испытание, мы бы возненавидели друг друга. Я знаю, как женщина, ты стремишься к замужеству, но это неблагоразумно. Мы бы никогда не простили друг друга. Поверь, может, я говорю резко, но это правда.

Она посмотрела на него, как на сумасшедшего, и поманила санитара. Кто этот мужчина? Почему он здесь? Ей надо работать.

Только известность Огюста помогла ему проникнуть в приют. Во время его визита Камилле стало хуже, позвали доктора, и он посоветовал Огюсту никогда больше не навещать больную.

Она бормотала: – Дрейфусары, скульпторы, – и закричала ему вслед: – Я их ненавижу… ненавижу… ненавижу!

Огюст был безутешен. Он потерял сон. Но месяц спустя, когда до него дошли слухи, что Камиллу выпустили из приюта и она вернулась в свою комнату-мастерскую и работает с диким ожесточением, словно стремясь воплотить в глине, гипсе и мраморе свои отчаянные, навязчивые идеи, он подумал, что она воспользовалась болезнью, чтобы досадить ему. Потом до него дошли слухи, что Камилла твердит всем, будто он ее преследует и хочет запереть в Сен-Лазар – из-за этого ей приходится держать свою дверь постоянно на запоре, и уверенность его поколебалась.

4

Роза думала, что после разрыва с Камиллой Огюст будет принадлежать ей безраздельно, и была так рада, когда он устроил в Медоне мастерскую. Множество людей навещали Огюста, и почти каждую ночь он ночевал дома. Но ей по-прежнему почти не уделял внимания. Погруженный в глубокую задумчивость, либо всецело в работу, он вовсе не замечал ее; она бранила его, а он смотрел печальным взором Иова. Она обижалась, что Огюст, как и прежде, проводит много времени в своих парижских мастерских.

Он отказался обсуждать с ней поведение сына, который жил на ее подачки. После исчезновения маленького Огюста в самый разгар «дела Бальзака» отец изгнал его из своих мыслей.

Огюст обращал внимание на других женщин, что огорчало Розу больше всего. Она узнавала об этом от его помощников в мастерских. Не раз Роза решала устроить ему сцену, но мысль, что он все равно вернется к ней-он ведь всегда возвращался, – в последний момент удерживала ее.

Для Огюста каждая новая связь была попыткой забыть Камиллу. Но время шло, и хотя рана, причиненная разрывом, не заживала, связи со многими жадно преследовавшими его женщинами заглушали боль одиночества и позволяли на время забыть о приближении старости. Он был теперь всемирно известным, и знакомства с ним искали люди знаменитые, люди полузнаменитые и те, кто мечтал к ним приблизиться.

Любая женщина с готовностью соглашалась служить ему натурщицей, стоило только пожелать: молодые женщины, красивые женщины, женщины из общества. Изображение плоти – страсть Родена, это знали все, и многие женщины искали его внимания. Теперь, когда с помощью своего таланта мэтр Роден доказал, что для художника женское тело неотразимо, каждая считала, что перед ней он не сможет устоять.

Огюст поддавался соблазну, если любовная связь не задевала его серьезно. Но ни одна из этих женщин не захватывала его целиком. Ходили слухи о том, что он сексуальный маньяк, развратник и превратил свои мастерские в гаремы, но он не обращал внимания. Он считал любовь хитрой ловушкой; ни один любовник никогда не бывает счастлив до конца…

Достаточно того, говорил он себе, что эти любовные приключения доставляют ему удовольствие, рассеивают одиночество и подчас даже тешат иллюзией, будто он еще не так стар.

Тем не менее Огюст пришел в ярость, случайно обнаружив, что Бурдель лепит фигуру Пана, внешне похожего на него. Смущенный Бурдель стал извиняться, а Огюст раскричался, что это несправедливо, неверно[122], обвинил Бурделя в

неблагодарности, назвал его каменотесом и в гневе приказал убираться из мастерской. Потом он пожалел о своей несдержанности. Большая голова, сделанная Бурделем, была непропорционально велика по сравнению с телом сатира, рога слишком длинны, но лицо удивительно походило на лицо Огюста, хотя и напоминало старого козла. Огюст не мог сдержать улыбки. Через несколько дней он попросил Бурделя вернуться столь же горячо, как выгонял.

Бурдель согласился два дня в неделю преподавать в Роденовской академии, которую открывал мэтр, но отказался работать в мастерских и играть роль бессловесного подмастерья. Ученик не собирался соперничать с учителем, но Бурдель очень увлекся работой над бюстами Бетховена и хотел целиком посвятить себя этому делу. Бурдель научился у Родена ценному качеству – умению сосредоточиться на чем-то одном.

Огюсту нечего было возразить, ведь он сам был точно таким. Но ему стало грустно. Бывали моменты, когда он думал, что Бурдель продолжит его дело. Это желание появилось у него с возрастом и в связи с разочарованием в маленьком Огюсте. Но теперь он понимал, что это тщетные надежды. Помимо воли они с Бурделем стали соперниками[123].

5

Вскоре у Огюста произошла неожиданная встреча, напомнившая о том, как стремительно приближается старость. Он вернулся к работе над памятником Гюго, надеясь отыскать новое, лучшее решение, и приказал всем покинуть мастерскую, чтобы работать в полном уединении. Неожиданно к нему пришла молодая, очень привлекательная девушка. Ничего удивительного в этом не было. В мастерскую приходили много красивых девушек, но ее манера держаться поразила Огюста. Она объявила:

– Я Айседора Дункан, танцовщица.

Огюст не мог ничего понять. Что за танцовщица? Он никогда не слыхал такого имени. Но девушка была необычайно хорошенькой и совсем юной, просто девочкой, видимо, не старше двадцати лет: свежий цвет лица, прекрасная кожа. Айседора стала говорить, что ей страшно нравятся скульптуры мэтра, которые она видела на площади Альма; движения ее были полны изящества. Огюст тут же принялся делать с нее наброски.

– Я сама придумываю свои танцы, – говорила она. – Сама себе балетмейстер. Я американка, но предпочитаю греческие танцы. – Она сбросила с себя платье.

Ее балетная туника несколько смутила Огюста. Но

понравилось, что она не носит этот панцирь добродетели – корсет. Девушка, видимо, считает, что он будет очарован ее танцами. Может, бродячая танцовщица?

Недоверчивая улыбка Родена рассердила Айседору, страх и колебания исчезли, и она танцевала в чувственном экстазе. Она еще не оправилась от волнения, но в движениях было своеобразие совершенно неповторимое, завораживающее его. Кончив танец, Айседора сказала:

– В своем искусстве я также следую природе. Огюст приблизился к ней, глаза его сияли.

Он потерял голову, подумала девушка. Она была благодарна Каррьеру, с которым недавно познакомилась за то, что тот дал ей адрес великого скульптора, но страх парализовал Айседору, как только она поняла, что мэтр хочет снять с нее тунику, – он был гораздо старше, чем она ожидала. Его скульптуры такие живые, прекрасные, а сам скульптор оказался сердитым стариком с густой длинной седеющей бородой, невысокий, приземистый, с лицом патриарха. И хотя Айседора уверяла себя, что он гений – а она благоговела перед гениальными людьми, гениям нужно прощать все, – трудно было подавить страх. Она прошептала:

– Прошу вас, я девственница. – Лишь бы это не произошло слишком быстро. Разве он не слышал, что она сказала? Смилуйся надо мной, молила она в душе.

Это его забавляло – и без слов ясно! – но он продолжал хранить бесстрастный вид. К его услугам были все профессиональные натурщицы, лучшие во Франции, но, глядя на эту девушку, он думал: ну и груди – округлые и такие крепкие, что не вздрагивают даже при танце. А тело столь же восхитительно, как и движения, – создано для мрамора. Он подошел к ней вплотную, чтобы ощупать ее тело, прикоснуться пальцами и воссоздать в глине. Но когда он стал гладить ее руки, плечи и груди, она схватила его руку и прижала к своей щеке. Он будет лепить потом, решил Огюст и обнял девушку, но она вырвалась.

Он не стал настаивать. Расставшись с Камиллой, он утратил былую настойчивость.

Айседора глубоко вздохнула; в любви нужно самоотречение, думала она, он должен принять ее любовь как драгоценный дар, иначе она себе и не мыслила. Но мэтр снова занялся лепкой, и ей стало неловко и обидно. Она чувствовала обаяние его мужской силы, но совсем не ожидала, что он окажется так стар.

– Мне так жаль, – пробормотала она. Глаза ее были полны слез.

– Не жалейте ни о чем. Вы молоды и красивы, чего не

скажешь про меня. Я давно разучился ухаживать за женщинами.

– Мне жаль себя, а не вас.

– Вы еще встретите мужчину по себе, моя красавица.

С минуту она смотрела на него, а потом поспешно стала одеваться.

– Как, вы сказали, ваше имя? – спросил Огюст.

– Айседора Дункан. – Она готова была возненавидеть его за то, что он не запомнил ее имя, но не могла: одержимость Родена покоряла.

– Мне нравится, как вы танцуете, Надеюсь, вы когда-нибудь будете мне позировать. – Огюст вздохнул и вернулся к работе, показывая, что разговор окончен.

Когда Айседора ушла, Огюст почувствовал себя очень старым. Он годился ей в отцы. Но его скульптуры вызвали у нее искренний восторг. Эта мысль утешала. Он начал по памяти рисовать Айседору в танце; получится несколько прекрасных набросков, решил он.

Глава XLIII

1

Прошло два года, и за это время Огюст не сделал ни одной важной работы; наброски его больше не удовлетворяли, так же как бюсты и любовные пары, которые делались по заказам частных лиц. Но никогда он не был столь плодовит. Спрос на произведения Родена продолжал расти. Огюст разбогател. Его внимания искали люди знаменитые и влиятельные. Число преследующих его очаровательных женщин все увеличивалось. Но чувство неудовлетворенности не давало покоя. Какие бы блага ни приносили слава и успех, он понимал, что еще многого не достиг. Истинную радость доставляла ему по-прежнему работа, только в ней он обретал себя. Но теперь приходилось тратить больше времени и сил на то, чтобы избегать помех в работе, чем на саму работу. Однако всех помех не избежишь, да он и не хотел. Обед, устроенный в его честь в Лондоне, доставил Огюсту большое удовольствие; группа подписчиков принесла в дар Музею Виктории и Альберта бронзовую отливку «Иоанна Крестителя», по этому случаю и устроили банкет… Банкет состоялся теплым майским вечером. Огюст радовался погоде и тому, что в этот 1902 год в мире было спокойно. Он сидел на почетном месте, принимал поздравления. Какой огромный успех, говорили собравшиеся, похвалы сыпались со всех сторон. По одну сторону от него сидел Хэнли, по другую – Сард-жент, друзья, которых Огюст любил и которым доверял, но он вдруг почувствовал себя одиноким. Обед понравился – из уважения к нему был приглашен французский повар, – но Огюст почти не замечал, что ест. Шел несвязный разговор, смесь французского с английским, и он все твердил Хэнли по-французски, потому что совсем не знал английского: «Я счастлив, только когда работаю».

Огюст остался доволен речью французского посла – он понял в ней каждое слово. Однако, когда председатель банкета, остроумный и красивый Джордж Уинтхэм, министр по делам Ирландии, стал превозносить Родена по-английски, Огюсту сделалось неловко. Он чувствовал, что в речи Уинтхэма похвал достаточно, потому что присутствующие аплодировали каждый раз, когда Уинтхэм произносил имя Родена, а аплодировали часто.

Француз, он не мог дать англичанину перещеголять себя в вежливости и каждый раз при упоминании своего имени

кланялся. О сидел и размышлял о суетности всего на свете. Ему пришлось читать свою ответную речь, но листки из блокнота все время рассыпались, и он совсем растерялся. Бормотал что-то под нос, уверенный, что большинство собравшихся не понимают по-французски, но заключительные аплодисменты были громкими и продолжительными. Огюст совсем смутился.

После ему говорили, что он произнес отличную речь.

Когда наконец в сопровождении Сарджента и Хэнли Огюст покинул обед и английские студенты из художественных школ Слейда и Южного Кенсингтона выпрягли лошадей из его экипажа и сами повезли экипаж, это доставило ему истинную радость.

Роден все еще находился под впечатлением этих событий, когда новый чиновник из Министерства изящных искусств сообщил, что представление «Врат ада» больше откладывать невозможно. Прошло уже двадцать два года с тех пор, как работа была заказана, сказал Ральф Баль.

– У нас в министерстве теперь новые порядки, мэтр. Работы должны представляться в срок.

– Но строительство Музея декоративных искусств не начато, – сказал Огюст. – Как закончишь двери музея, который еще не существует?

Уверенный в своей правоте, молодой человек с жаром ответил:

– Дело не в этом. Вы обещали завершить «Врата» много лет назад. Мы больше не можем ждать.

– Они почти закончены. Я сделал сто семьдесят шесть фигур.

– Нам это известно. Как и то, что вам уже выплачено больше тридцати тысяч франков.

– Двадцать пять тысяч семьсот. И я истратил все до франка.

– Дело не в этом. Палата депутатов получает много жалоб, особенно из провинций, где говорится, что министерство попусту тратит деньги.

Не мог же он признаться, что устал, что ему надоела работа над «Вратами», что для того, чтобы отвлечься, он начал «Башню труда», а работа над «Вратами» не продвинулась ни на шаг. Огюст сказал:

– Мне нужно еще два года. Только два.

– Значит, в 1904 году закончите? – Инспектор недоверчиво посмотрел на него.

– Да. – Огюст не был уверен, что закончит через два года, но он попытается.

Баль кивнул и вдруг улыбнулся, словно одержал победу.

Огюст отрывисто спросил:

– Сколько вам лет, мосье?

– Двадцать шесть, мэтр.

– Значит, вам было четыре года, когда я начал над ними работать.

– Я слышу о «Вратах» всю жизнь. Вы действительно считаете, что на этот раз закончите? Если не сдержите обещание, они потребуют деньги. Вы потеряете очень большую сумму, мэтр.

Огюст вспомнил, как выгодно и много работ он продал со времени Всемирной выставки, и коротко ответил:

– Это будет потерей для Франции, а не для меня.

2

Огюст вернулся к «Вратам», полный решимости закончить их, это было для него делом чести. Он приказал привратнику никого к нему не пускать. Шли недели, а работа не двигалась. Как-то пасмурным днем он стоял перед «Вратами», раздумывая над темой «Ада», как вдруг увидел перед собой молодого человека.

Он начал было выпроваживать его со словами:

– Как вас пропустили? Сколько вы заплатили привратнику? Пятьдесят франков? – Этим способом пользовались многие незваные посетители.

– Я сказал ему правду. Я пишу о вас книгу, мэтр.

– Книгу? – Этого Огюст не ожидал.

– Она будет опубликована в Германии. Я поэт Райнер Мария Рильке[124].

Имя ничего не говорило Огюсту.

В юном иностранце – сильный акцент сразу выдавал его – не было ничего необычного, разве только восторженный взгляд, которым он смотрел на Огюста. Впрочем, и к этому Огюст за последнее время привык. Но Рильке был привлекателен: стройный, небольшого роста, темноволосый, с выразительными голубыми глазами и тонкими черными усиками. Огюст больше не отчитывал его, но и не знал, как поступить.

Рильке заявил:

– Мэтр, «Врата» – такое лиричное произведение. Как, впрочем, и все ваши работы.

И не успел Огюст остановить его, как поэт сообщил, что его жена, фрау Клара Вестгоф, учится у мэтра. Огюст вспомнил серьезную, хорошенькую молодую женщину, упорную и довольно способную. Рильке говорил о скульптурах мэтра с такой проникновенностью и пониманием, что на Огюста это произвело впечатление, хотя чрезмерная восторженность поэта смущала.

Он вдруг сказал:

– Я ведь еще не памятник.

– Вы им будете, – уверенно произнес Рильке. – Уже сами «Врата» принадлежат истории.

Огюст не хотел поддаваться на лесть поэта, но ему нравилось, что Рильке – человек, по-видимому, воспитанный и с тонким вкусом, – такого высокого мнения о его скульптурах. Рильке пробуждал в нем отеческое чувство, и это было приятно.

Он и сам не заметил, как пригласил Рильке в Медон и разрешил бывать у себя в мастерских. Огюст считал себя человеком малообщительным, но с Рильке он разговаривал, как учитель с учеником, и оба наслаждались этими беседами. Он был очень тронут, когда поэт посвятил ему несколько стихотворений по-французски.

Как-то они обсуждали «Врата», и Рильке сказал:

– Мэтр, почему бы вам не сделать обнаженного мужчину, который сидит на верху врат отдельно? Может получиться сильная, исполненная драматизма скульптура.

– Вы говорите о поэте? О Данте? – Огюст сомневался.

– Это не поэт. – Рильке был уверен. – У него грубоватые черты лица и сильное, мускулистое тело. Какой это поэт…

Огюсту не очень понравились эти замечания, хотя, возможно, Рильке и прав.

– Он погружен в думы, – сказал Огюст, – и это вполне соответствует характеру Данте.

– Только не делайте его в человеческий рост. Иначе никто не признает в нем поэта.

Огюст колебался. Сел и задумался, по привычке подпер подбородок рукой. Кажется, Рильке прав. И нечего больше обманывать себя, что он закончит «Врата»; но если использовать эту фигуру, то труд не пропадет даром.

– Мэтр, вы сейчас так похожи на него! – воскликнул Рильке. – Особенно когда вот так задумались. Задумались глубоко. Задумались о своих делах. Вы мыслите…

Огюст знаком попросил поэта помолчать. Мысль – вот главное. Мысль рождается в тяжких муках. И этот человек именно мыслит, напрягая все свои силы.

Так Поэт стал Мыслителем, и Огюст начал лепить его в человеческий рост. Но сомнения все одолевали, и жизнь часто вторгалась в работу.

Золя умер, отравившись угаром в комнате с плотно закрытыми окнами и трубой. Ходили слухи, что это чей-то злой умысел, месть за вмешательство в дело Дрейфуса, и одни радовались, другие были очень опечалены, и Огюст тоже. И хотя Огюст не выносил похорон, он присоединился к длинной процессии, следующей за катафалком с гробом Золя; рядом с ним

шли Каррьер и Моне. Нужно отдать Золя последний долг, думал Огюст. После его отказа подписать петицию по делу Дрейфуса Золя с ним не разговаривал, но в свое время писатель защищал его. Огюст надеялся остаться незамеченным в толпе, следующей за гробом, но его увидел Клемансо. Они заговорили, хотя Клемансо тоже был обижен на Родена из-за петиции. И расставаясь, сердечно пожали друг другу руки.

3

На следующий день Огюст посетил Фантена. Хотя они не виделись много лет, но некогда были добрыми друзьями, и Огюсту захотелось возобновить дружбу. Фантен, казалось, ничуть не удивился, увидев Родена. Спокойно пригласил его войти и сказал:

– Ты хорошо выглядишь, Огюст.

– Пока работается, чувствую себя хорошо.

– Да, работа всегда на пользу. Я живу в этой мастерской с 1868 года, больше тридцати лет. Она выходит в небольшой дворик, как у Делакруа. Помнишь тот день, когда мы наблюдали его за работой и были удивлены, что он заставляет свои модели двигаться? Я слышал, ты теперь славишься этим?

– Если мне кого-нибудь следует благодарить, то только Лекока.

– А для меня такой школой был Лувр.

– Значит, по-прежнему Лувр?

– Да. Я по-прежнему восхищаюсь Гудоном, Рюдом, Карпо.

– Мне тоже нравится Карпо. Но ты-то сам как поживаешь, Фантен?

– Фантен теперь рисует только цветы и фрукты. Не то что великий Роден, которому покровительствует само правительство.

Столь неожиданная горечь больно отозвалась в душе Огюста. В молодости Фантен был одним из его самых любимых художников. Огюст сказал, делая вид, что не замечает зависти друга:

– Правительство очень ненадежный покровитель.

– Ты имеешь в виду «Врата ада»? Какой тебе дали последний срок?

– 1904 год. Но что об этом говорить! Скажи лучше, как твои дела? Вижу, ты работаешь все так же много. – Повсюду были развешаны и расставлены холсты. Фантен, удалившись от людей и света, не забыл своего искусства. – Больше не пишешь портретов?

– Иногда пишу. – Фантен вдруг стал вспоминать прошлое,

заговорил о своей встрече с Бодлером.

– Впервые увидев его, я заметил его холеные руки, коротко подстриженные волосы и шею, тщательно закутанную старым шелковым шарфом фиолетового цвета. Думаешь, кто-нибудь теперь заботится о деталях? Чтобы заработать на жизнь, я, бывало, копировал в Лувре мастеров, которых особенно любил, – Рубенса, Рембрандта, Делакруа, и мне говорили, что я не слишком опытен по этой части, но у меня есть старание. В Лувре и теперь полно копиистов, разница та, что теперь делают копии и с моих картин. В те времена я бы многое отдал, чтобы мои картины висели в Лувре, а теперь, когда они там, я… Нет-нет, я, конечно, доволен, но, видимо, уже слишком поздно.

Светло-рыжая борода Фантена сильно поседела, густые волосы были не причесаны, тонкий нос огрубел. В мешковатых брюках, с зелеными мешками под глазами, тучный, Фантен выглядел стариком. «Неужели и я такой же?» – подумал Огюст. Вслух он сказал:

– Я слышал, твои картины взял Лувр. Дега говорил, что в этом есть и его заслуга.

– Я познакомился с Дега и Моне году в пятьдесят седьмом, когда копировал в Лувре, в молодости. А теперь вот мне приходится изображать Бодлера старым, с запавшим подбородком, седыми волосами и скорбным лицом.

Огюст пожал плечами и усомнился, уж не напрасно ли нанес Фантену этот нежданный визит.

– Я слышал, что ты сам теперь стал покровителем художников.

– Я купил кое-что – Ренуара, Ван-Гога, Моне. Мне приятно иметь их дома.

– Не оправдывайся.

Огюст действительно оправдывался, стараясь не обидеть Фантена, не хвастать своими успехами.

В комнату вошел пожилой мужчина; вначале он заглянул в дверь, чтобы убедиться, нет ли кого постороннего, но Огюст увидел его, и прятаться было поздно. Огюст не сразу узнал незнакомца. Барнувен. На нем было бархатное пальто и поношенная широкополая шляпа. «Наверное, все так же просиживает дни в кафе на набережных, – подумал Огюст, – наблюдает за жизнью, которая уже течет стороной».

– Вы знакомы? – спросил Фантен.

Барнувен покраснел, а Огюст поспешил ответить:

– Конечно. – И продолжал: – Вы не рисуете больше прекрасных женщин?

– Нет. – Барнувен вдруг почувствовал потребность

оправдаться. – Я зарабатываю, копируя картины с религиозными и патриотическими сюжетами, а когда нахожу, что покупатель сентиментален, предлагаю семейный сюжетец. Прекрасно получается. Могу копировать с закрытыми глазами и безошибочно.

Наступило неловкое молчание, а затем Огюст сказал:

– С тех пор прошло много лет.

– Сорок? – спросил Барнувен.

– Около того. Но порой мне кажется, что все было вчера. – Огюст вдруг увидел перед собой Мари, родителей. – Знаете, Барнувен, я ведь почти год провел в монастыре.

– Да. Мне кажется, мы виделись как-то после этого.

Снова наступило молчание, никто не знал, что сказать. По напряженному виду Барнувена Огюст догадывался, что тот пришел по делу.

– Я слышал, вы нажили много врагов из-за дела Дрейфуса? – сказал Барнувен.

– Да. Меня заклеймили за то, что я остался в стороне.

– Ты счастлив, Огюст? – спросил Фантен.

– В моей жизни было и кое-что приятное…

– Сын?

– О нем я предпочитаю не говорить.

– Я помню, – вставил Барнувен, – вы любили девушек в белых платьях.

– Они мне и сейчас нравятся.

– А теперь вас приглашают в президентский дворец.

– Это не способствует развитию моего таланта, – ответил Огюст.

Фантен улыбнулся, но Огюст видел, что художник утомлен. Прощаясь, он пожал Фантену руку с чувством, что больше им не суждено встретиться, да и зачем?

Барнувен тоже распрощался.

– Я в том же направлении, – прибавил он, хотя Огюст не сказал, куда ему. Задыхаясь на ходу, Барнувен стал горячо доказывать Огюсту, что растущее признание Моне, Ренуара и Дега – чистая случайность, им просто повезло, и добавил:

– Но вы, дорогой друг, заработали это тяжким трудом.

Огюсту хотелось одного – закончить разговор как можно скорее. Он спросил:

– Пятидесяти франков достаточно?

– Если только в долг, – ответил Барнувен. Огюст сказал:

– Конечно. – «Лучше отдать их совсем, чем взаймы», – подумал он.

Огюст прибавил еще пятьдесят.

– Я никогда этого не забуду, дорогой друг, – сказал Барнувен.

И они расстались. Каждый испытывал облегчение оттого, что не выразил желания увидеться снова.

4

Год спустя Огюст получил третью награду: орден Почетного легиона, на сей раз самой высокой степени. И хотя это не помогло ему закончить фигуру Мыслителя, он был благодарен за новое признание, в особенности когда друзья устроили по этому случаю пикник в его честь. Организаторами были Бурдель и Каррьер.

После обеда в лесу Велизи, неподалеку от Версаля, танцевала Айседора Дункан. Для Огюста это явилось приятным сюрпризом. Они давно стали друзьями, она позировала ему, но роман не состоялся. Он находил ее танцы прелестными, они отдавали Древней Грецией.

Роза, сидя рядом с Огюстом, не помнила себя от счастья. Впервые в жизни он пригласил ее в компанию своих друзей; наконец-то и она признана. Тем, с кем она не встречалась раньше, он представил ее как «мадам Розу», без дальнейших объяснений. Роза была поражена, каким он сделался знаменитым. Айседора показалась ей удивительно красивой, но танцы ее не произвели впечатления, и она успокоилась, видя, что Огюст относится к танцовщице по-отечески.

Роза слышала о болезни Камиллы и теперь чувствовала себя почти в безопасности. Она надеялась, что бог не заставит ее больше страдать в одиночестве.

5

Вскоре скончался Хэнли, а за ним Фантен и тетя Тереза. Смерть тети Терезы и смерть Фантена потрясли Огюста, но эти два человека были связаны с далеким прошлым. А смерть Хэнли, друга, с которым юн был до конца откровенен, явилась ударом.

Эта смерть напомнила, что их поколение сходит со сцены, и сам он с каждым годом приближается к могиле.

Как обычно, скорбя об ушедшем друге, Огюст погрузился в работу. Он решил сосредоточить все внимание на «Мыслителе», словно это могло отпугнуть призрак смерти. И дал себе клятву, пока не закончит, не браться ни за что другое.

Но его ожидала новая неприятность. Уже давно он ощущал упадок сил. Часто, когда замысел, казалось, готов был осуществиться, немощь одолевала Огюста и приходилось прекращать работу. Работа над «Мыслителем» превратилась в

своего рода состязание со временем. Он еще легко мог делать бюсты, фрагменты, мелкие фигуры, но крупные вещи быстро истощали его силы[125].

Но Огюст продолжал трудиться. Если «Мыслителю» суждено стать последней в его жизни эпической фигурой, то это должно быть выдающееся произведение. Однако он считал, что в натуральную величину «Мыслитель» будет проигрывать, хотя и не потеряет интереса. И у него не было желания символизировать в нем благородство, изящество или красоту, он хотел изобразить просто человека. Греки и Микеланджело создали тела необыкновенной красоты и совершенства форм, а он должен создать другое, нечто большее. Мысль, размышлял Огюст, далась человеку ценой титанических усилий – ведь и теперь процесс этот был одновременно мучительным и сложным. Мыслить – значит страдать. Значит, спрашивать себя: кто я? Откуда пришел? Куда я иду? Какая у меня цель?

Огюст переделал первоначальный эскиз. Он сделал его больше человеческого роста, и ему стало ясно: человек – не прекрасное творение, борющееся против развращенного мира, а всего-навсего животное, пытающееся восстать из своего животного состояния, что ему не всегда удается.

Он сам был тому примером. Огюст полагал, что усилие вырваться из животного состояния и стать мыслящим – тяжкий процесс, и Огюст вылепил окончательную фигуру в два раза больше человеческого роста, чтобы передать всю грандиозность этой борьбы. Лепил по памяти, как его учил Лекок.

Он вспоминал бесчисленные эпизоды борьбы с самим собой, усилия заставить себя мыслить. Раздумывал над тем, правильно ли положение правой руки, опирающейся на левое колено, – оно казалось ему неестественным, – и тут его вдруг осенило: именно этот напряженный жест и передает стремление животного превратиться в разумное существо. Он сделал тело массивным, плечи – могучими, ноги и руки – огромными.

Огюст проработал много дней, усталость одолела его, он впал в мрачную меланхолию; казалось, смерть уже на пороге. Но не работать он не мог. В последнее время он слишком много внимания уделял вещам, не представлявшим интереса, а эта фигура воплощала его представление о жизни. Снова, несмотря на усталость, Огюст погрузился в работу. «Мыслитель» стал выражением трагедии, хотя фигура дышала жизнью, силой и покоряла. Он подчеркнул в ней грубую, упрямую силу, характерную для жизни, которая так трагически устроена. Огромная голова и невероятно могучая кисть, как бы поддерживающая эту непомерную тяжесть, сразу приковывали

внимание. И по мере того как «Мыслитель» оживал, силы самого Огюста иссякали. Когда статуя была закончена, скульптор еле держался на ногах. Никогда еще он не чувствовал себя таким измученным.

Он попросил Каррьера посмотреть законченную в гипсе статую. Каррьер был первым, увидевшим его работу, потому что Рильке в это время не было в Париже. Каррьер долго молча разглядывал «Мыслителя», и Огюст уже был уверен, что потерпел неудачу. Он начал оправдываться: «Я так устал, работая над ним», но Каррьер остановил его.

Прошло еще несколько минут молчания; Огюст волновался. И тут Каррьер сказал:

– Я воспринимаю его как первого человека, способного мыслить, и в этом стремлении к мышлению он начинает постигать ту трагическую судьбу, которая ожидает ему подобных. – Огюст был удивлен – друг лишь в редких случаях высказывал пессимистические мысли. Каррьер добавил: – Это такое усилие – думать, быть разумным, столь титаническая борьба, ведь плоть более могущественна, чем мозг, но мозг уже ищет пути вырваться из тех оков, из которых вырвалось тело.

– Значит, тебе нравится, Эжен?

– Нравится? Нет. Как может нравиться такое живое изображение нашей собственной борьбы? Он – это я, мои поиски, мои тяготы, мои страдания. Это – мое личное. «Мыслитель» – это любой из нас.

Огюст вздохнул.

– Я тоже так.думал, но настолько устал, что утратил способность смотреть на него объективно. Боюсь, он никому не понравится. Не уверен, нравится ли мне самому.

Глава XLIV

1

«Мыслитель» был выставлен в Салоне 1904 года, и снова Огюст подвергся жестокой критике. Сторонники Школы изящных искусств, Институт и Академия называли его новую работу «чудовищем, обезьяно-человеком». Критики писали: «Посмотрите на эти ужасные руки, это не руки разумного существа, а отвратительная пародия на человека». Одна крупная парижская газета напечатала на первой странице статью, в которой говорилось: «Мосье Роден намеренно сделал человека уродливым и неуклюжим, намеренно огромным и грубым; к сожалению, скульптор не признает традиций и неспособен измениться, поскольку он слишком стар».

Однако друзья Огюста готовились отразить нападение. Они собрали по подписке пятнадцать тысяч, купили статую и преподнесли в дар городу Парижу.

Огюст был уверен, что муниципальный совет, все еще не простивший ему «дела Бальзака» и памятника Гюго, не позволит установить «Мыслителя» в Париже, а тем более в Пантеоне, о чем хлопотали друзья. Но Ральф Баль от имени Министерства изящных искусств предложил Родену компромиссное решение при условии, что он вернет деньги, полученные за «Врата ада». Когда Огюст согласился вернуть двадцать семь тысяч пятьсот франков вместе с процентами, министерство уговорило муниципалитет принять «Мыслителя», а Огюст, со своей стороны, обещал закончить фигуру в бронзе к 1906 году. Он гордился тем, что статуя будет установлена перед Пантеоном, – первое его произведение на площади Парижа. Мысль об этом помогла забыть о неудаче с «Вратами». И испытал еще большее удовлетворение, когда Министерство изящных искусств купило копию с гипсового оригинала «Мыслителя» и передало ее музею Метрополитен в Нью-Йорке и народу Америки в дар от народа Франции. «Мыслителя» едва ли можно сравнить со статуей Свободы, другим скульптурным подарком, который сделала Франция Соединенным Штатам, но на некоторых американцев, возможно, «Мыслитель» и произведет впечатление, хотя Огюст не был уверен, поймут ли его.

Огюст с радостью согласился председательствовать на банкете в честь Каррьера по случаю двадцать пятой годовщины со дня открытия первой выставки художника. Список гостей

всключал знаменитостей. Среди них были: Клемансо, Бриан[126], Моне, Ренуар, мосье и мадам Кюри[127], Пьер Лоти[128], Клод Дебюсси и Анатоль Франс. Огюст был особенно рад Ренуару – от ревматизма тот стал совсем инвалидом, и выйти из дома стоило ему героических усилий. Однако Огюст сильно обеспокоился, когда обычно пунктуальный Каррьер опоздал на торжество. А когда художник наконец пришел, вид у него был измученный и мрачный. Огюст заметил, что в ответ на поздравления гостей Каррьер с трудом заставляет себя улыбаться. Почему он столь угрюм и озабочен? – удивлялся Огюст.

Он заказал экипаж, чтобы отвезти Каррьера домой, зная, что художник, все еще пребывающий в бедности, не может позволить себе такую роскошь. В молчании они ехали к Монмартру, где Каррьер в течение многих лет жил с женой и пятью детьми. У дверей дома Каррьер сказал:

– Не знаю, что мне делать, Огюст.

– Делать? Как – что делать? Продолжать работу. После такого торжества ты сможешь писать еще больше, чем раньше. Теперь твои картины наверняка будут покупать, дорогой друг.

– Конечно, конечно. Меня теперь будут покупать, как Ренуара. Очень приятно, что он пришел сегодня. Удивляюсь, как он справляется со своей болезнью.

– А как мы все справляемся? Разумеется, только благодаря работе.

– Да, если можно работать. У меня рак, Огюст. Эта новость потрясла Родена, он не знал, что сказать.

– Мне было так плохо всю неделю, думал, не смогу прийти на банкет. Сегодня пошел к врачу и потребовал сказать правду. И он сказал.

Огюст пытался утешить друга, который всегда утешал его в беде:

– Доктор мог ошибиться.

– Он не ошибся.

У Каррьера был вид приговоренного к смерти. – А если сделать операцию?

– Врач, возможно, решит сделать операцию, но не стал меня обнадеживать. А пока велел мне продолжать работу, если смогу.

– Ты сможешь, сможешь!

– Не будем обманывать друг друга. Огюсту хотелось помочь другу, но как? Каррьер понял его чувства.

– Спасибо, дорогой мой, мне легче, когда ты рядом. И может быть, ты прав. Может, это еще и не так серьезно.

Несколько месяцев можно было думать, что Огюст действительно прав. Каррьер работал, хотя боль не оставляла его,

и внимание, которым окружил его Огюст, помогало художнику с достоинством и смирением смотреть в будущее.

2

Огюст обрадовался, получив в сентябре восторженное письмо от Рильке. Поэт вновь высказывал свое глубокое уважение к Родену, его работе и таланту и спрашивал, сможет ли он увидеться с мэтром, вернувшись в скором времени в Париж.

Огюст немедленно послал Рильке теплое письмо. Он не только рад будет увидеться, писал Роден, но будет счастлив принять его у себя в Медоне. И когда Рильке высказал опасение помешать мэтру. Огюст попросил секретаря, третьего за последний год, послать Рильке телеграмму с приглашением. Роден проникался к Рильке все большей симпатией.

Книга Рильке о Родене вышла через год после их знакомства, но Огюст еще не держал ее в руках, да и что толку – она была на немецком. Когда Рильке уехал в Италию, а потом в Германию, посещал там замки и переезжал из города в город, словно не находя себе места, где осесть, Огюст почувствовал себя одиноким, хотя старался не признаваться в этом даже самому себе. Ни один человек не вызывал в нем такие чувства, как Рильке; он относился к нему по-отечески, как учитель к ученику и как герой к своему почитателю.

Первые дни пребывания Рильке в Медоне были счастливыми для обоих. Они наслаждались красотами осени на лоне природы и скульптурой – в Медоне у Огюста были собраны копии всех его работ. Огюста еще больше, чем в прежние встречи, восхищало глубокое понимание поэтом его произведений. Он добрел от горячих похвал и поклонения Рильке. Иногда чувствовал себя Людовиком XIV, но чаще – скульптором, философом и мыслителем.

Но как было играть все эти роли, когда в жизнь вторгался внешний мир? Огюста осаждали частные заказчики, и большинству он отказывал. Люди хотели познакомиться с ним; приходили торговцы антикварными вещами, которых он сам приглашал, – при случае он покупал античную скульптуру. Письма шли из разных стран, Огюст не мог справиться со всей корреспонденцией; ни один секретарь не мог разобраться в его делах.

Поэтому, когда он снова остался без секретаря и мысль о новых поисках привела его в уныние, Рильке предложил:

– Мэтр, может быть, я смогу вам помочь. Огюст просиял, а затем нахмурился.

– Спасибо, вы ведь поэт, а не секретарь.

– Вам и нужен поэт. Человек, который будет вас понимать.

Огюст колебался.

– Не на весь день, мэтр, но по мере надобности.

– Несколько часов в день?

– Да. И тогда я не буду злоупотреблять вашим гостеприимством.

– Хорошо. – Значит Рильке останется у него. – И у вас будет время для творчества.

Вначале Рильке помогал Огюсту по два часа ежедневно, главным образом с перепиской; Огюст не знал языков, а Рильке, хотя и понимал по-французски, не полагался на свое умение правильно на нем изъясняться и писать, в особенности в важной деловой переписке. Однако постепенно, хотя поэт продолжал работать над своей «Книгой символов», заново перерабатывая стихи, и считал, что его дружба с великим скульптором во многом плодотворна, два часа удлинились до четырех, затем до шести, а потом, случалось, секретарская работа отнимала и весь день. Рильке старался не жаловаться и мужественно сохранял оптимизм и преданность делу, ибо, писал он друзьям, чувствовал, «что „великий старец“ очень нуждается в нем».

В ноябре Каррьеру сделали операцию. Художник уже не вставал с постели, и Огюст, опечаленный состоянием умирающего друга, стал очень раздражительным.

Рильке приписывал это состояние мэтра бремени славы и возрасту и старался не замечать его придирок. Но обиделся, когда мэтр резко предупредил, чтобы он не заводил романов с натурщицами, не то он его уволит; а сам мэтр был далеко не безгрешен.

Огюст отчитал поэта за то, что тот отдавал предпочтение женщинам старше себя.

– Это противоестественно, – заявил Огюст. – Даже я предпочитаю молодых женщин. И помните, не приближайтесь к моим натурщицам. Из-за этих романов я потерял много хороших моделей.

Состояние Каррьера все ухудшалось, и Роден совсем помрачнел. Обширная корреспонденция росла, и он не успевал отвечать. Рильке недостаточно хорошо понимал его французский язык, часто переспрашивал, и Огюста это выводило из себя. Огюсту было трудно сдерживаться при мысли, что дни Каррьера сочтены.

Больше всего Рильке огорчало, что мэтр стал обращаться с ним, как со своим служащим, все реже делился своими мыслями, спорил об искусстве. Он стал резок и придирчив, словно это он,

Рильке, виновен был во всех бедах. И у поэта больше не оставалось времени на творчество, некогда было писать, читать да и просто размышлять.

Рильке подружился с мадам Розой. Сначала потому, что нуждался в человеке, с которым мог бы просто поговорить, а под конец был тронут ее материнским отношением. Розе нравился хорошо воспитанный молодой человек, и ей доставляло удовольствие готовить для Рильке вкусные блюда. Она не знала, нравятся ли ему эти блюда, в особенности суп из капусты, но кормить его надо получше: у него такой болезненный вид.

Постепенно между ними возникло своего рода понимание. Их огорчало одно и то же: часто мэтр покидал Медон и уезжал в Париж, не предупреждая ни Рильке, ни мадам Розу. Обед, приготовленный Розой с такой любовью, остывал, а встреча, назначенная кому-то по распоряжению мэтра, откладывалась на неопределенное время – никто не знал, когда мэтр вернется.

Однажды Рильке застал Розу, когда она тихонько беседовала с плохо одетым мужчиной. Увидев Рильке, Роза побледнела, поспешно сунула незнакомцу несколько франков и сделала знак уходить. Рильке не стал расспрашивать, хотя его любопытство было задето. Роза призналась сама:

– Райнер, не говорите мосье, хорошо? Он его не любит. Это наш сын.

– Сын? – Рильке удивился. Он слышал, что у Родена есть сын, но не ожидал его здесь увидеть.

– Они никогда не ладили. Огюст хотел, чтобы сын помогал ему в мастерской, но мальчик не такой, как вы. Вы понимаете и искусство и мэтра.

– Разве у него нет никакого таланта? Не унаследовал от отца?

– Талант есть. Он хороший гравер. Но ведь вы знаете, что такое скульптура, сколько она требует труда, а у него не хватает сил – неважное здоровье, и отец всегда так строг к нему. – Она поспешила добавить: – Да и ко мне тоже.

Но Рильке заметил, что, хотя в иные дни мэтр бывал поглощен работой и не замечал присутствия мадам Розы, однако когда она как-то поранила ногу, стараясь защитить свой «звериец» – собак, уток и кур – от нападения ястреба-мародера, мэтр проявил к ней неожиданную нежность. Подхватил на руки, словно ребенка, и, невзирая на возраст – ему было уже шестьдесят пять, – бережно отнес в дом. У него были назначены встречи, но он оставался возле нее, пока не пришел врач и не заверил, что ранение пустячное и причин для беспокойства нет.

3

Огюсту потребовалось много сил и душевной стойкости, чтобы пережить утрату друга. Он работал над гипсовым слепком «Мыслителя», который должны были временно установить перед Пантеном, пока не будет сделан окончательный вариант в бронзе. Но когда умер Каррьер, работать стало невмоготу.

Последние недели он каждую свободную минуту проводил у постели больного. Каррьер все время бормотал: «Надо трудиться», и Огюст страдал от бессилия, видя, как друг тает у него на глазах.

У могилы Каррьера он говорил о доброте покойного, о его таланте и думал при этом, что бывали времена, когда художник терпел горькие обиды. Он заплатил за похороны и вручил вдове крупную сумму денег, а потом нужно было, как говорил Каррьер, снова «трудиться».

Известный торговец картинами, который раньше заявлял, что произведения Каррьера невозможно продать, дал вдове семь тысяч франков за одну картину. Теперь, когда художник умер, заявил он, его произведения вздорожают. Огюста насторожила неожиданная щедрость торговца, он пришел к нему и потребовал:

– Мы хотим узнать продажную стоимость картины. Я душеприказчик Каррьера.

Торговец выразил удивление:

– Я дал за нее семь тысяч франков.

– И получили семьдесят тысяч, – объявил Огюст. Уж он-то изучил все уловки торговцев, с тех пор как его произведения поднялись в цене.

Торговец покраснел и растерялся. Огюст в бешенстве сказал:

– Так я и думал. Вы пытались обмануть вдову. Если вы не отдадите семье разницу, я устрою публичный скандал.

– Откуда вы узнали, мосье Роден, что я продал ее за семьдесят тысяч? – пробормотал торговец.

Огюст сказал это наобум. Без лишних слов он принял деньги, написал расписку и передал деньги мадам Каррьер.

Вскоре временный гипсовый слепок «Мыслителя» был установлен перед зданием Пантеона. Огюст одобрил место и подумал, что в бронзе «Мыслитель» будет выглядеть даже лучше, естественнее. На следующую ночь его старые враги, студенты из Школы изящных искусств, разбили «Мыслителя» вдребезги. Варвары были опознаны; полиция арестовала нескольких. Утешало одно: первоначальный слепок сохранился. Уничтожить «Мыслителя» не удалось.

Глава XLV

1

Огюст был не в настроении брать новые заказы, когда Рильке принес письмо от миссис Шарлотты Шоу. Она обращалась к мэтру с просьбой сделать бюст ее мужа, Бернарда Шоу, писателя. Огюст наотрез отказался. Он не слышал о Бернарде Шоу, да у него и без того достаточно неприятностей с бюстами писателей. Он велел Рильке ответить отказом. Хватит с него, ворчал он, и бюстов миллионеров – те по крайней мере хоть хорошо платят.

Рильке поразился. Это уж слишком! Он слышал о произведениях Шоу, считал его восходящей звездой и очень хотел с ним познакомиться. Рильке написал миссис Шоу, что мэтр берет восемьсот фунтов за бронзовый бюст и тысячу за мраморный, и, если она переведет деньги в парижский банк на имя мэтра и не отступится, скульптор, возможно, согласится.

Через несколько дней Огюст получил письмо от Шарлотты Шоу, которое поколебало его решение. Она писала, что перевела тысячу фунтов за портрет ее мужа в бронзе или в мраморе, как мэтр сочтет нужным.

На Огюста это произвело впечатление. Ему нравилась такая решительность.

Далее миссис Шоу сообщала, что ее муж, известный писатель, поклоняется искусству ваяния. Он не позволит никому, кроме Огюста Родена, лепить Свой бюст, его сочтут просто идиотом, говорит он, если, живя в одно время с Роденом, он не добьется, чтобы его портрет сделал величайший скульптор мира.

Огюст повернулся к Рильке, переводившему письмо, и спросил:

– Этот Шоу действительно такой хороший писатель?

– Да, – сказал Рильке, полагая, что не уклонился от истины: по всей очевидности, писатель сам от имени миссис Шоу сочинил столь убедительное послание. – У него необычное лицо.

– Вот как? – Огюст вдруг заметил, что Рильке чем-то опечален. – В чем дело?

– Мой отец умер месяц назад.

– Почему же вы мне не сказали?

– Я хотел, но в это время умирал Каррьер, и вам было не до того.

– Вы любили отца?

Рильке удивил такой прямой вопрос. После минутного

колебания он постарался ответить искренне:

– Нельзя сказать, чтобы мое чувство к нему было очень глубоким. Отец никогда не понимал меня так, как вы, но нас связывали узы родства.

– Прежде чем умираем мы сами, умирают наши корни, – сказал Огюст.

Огюст было направился к выходу, когда Рильке напомнил:

– А как быть с Шоу?

– Напишите, чтобы приехал в Париж, тогда посмотрим.

Огюст ожидал, что на этом все кончится, но в скором времени Шоу вместе с женой приехал в Париж и попросил о встрече.

Огюст не мог понять, нравится ли ему Шоу, но лицо этого человека пленило его. Он обнаружил в чертах Шоу нечто необыкновенное; и миссис Шоу сразу понравилась ему. Так трогательно хлопочет о муже, все время опекает его.

Он предложил:

– Нам будет удобнее работать в Медоне, в пригороде Парижа.

– Сколько это займет времени? – спросил Шоу.

– По меньшей мере месяц. – Огюст ожидал, что это их испугает, хотя теперь, увидев писателя, уже горел желанием лепить это интересное лицо.

– Вы не торопитесь, – одобрил Шоу. – Когда мы должны прийти?

Огюст задумался. Обычно он не разрешал никому, кроме модели, находиться в мастерской во время работы, но Шарлотта Шоу могла служить переводчицей, и, кроме того, она была ему симпатична. Он сказал:

– В десять утра.

– Мы приедем, – ответил Шоу.

Они прибыли точно в назначенное время, и Огюст сразу принялся за работу. Рильке был разочарован – его не пригласили в мастерскую. Он думал быть связующим звеном между писателем и мэтром, но мэтр даже не познакомил их, а просто сказал: «Мосье Рильке, мой секретарь». Они даже не знают, что он широко известный и любимый в Германии поэт, подумал Рильке. Шоу гордился знакомством с Рихардом Вагнером. Видимо, Шоу не поклонник поэзии, несмотря на свою любовь к музыке.

Это мало утешало Рильке, тем более что отношение к нему мэтра все ухудшалось. Рильке очень хотел ближе познакомиться с Шоу. Он и секретарем-то стал затем, чтобы расширить круг знакомств с известными писателями и художниками. Секретарские обязанности, напротив, лишали его этой возможности. Мэтр лепил Шоу каждый день с утра до вечера, и секретарской работы у Рильке значительно прибавилось. Мэтр

сказал, что ему не до корреспонденции и приемов, пока он не закончит бюста, и свалил все дела на Рильке. А дел накопилось столько, что Рильке работал по шестнадцать часов в день, отвечая на письма, отказывая посетителям, откладывая встречи. И чувствовал себя все несчастнее.

Розе очень хотелось узнать, что за почтенная супружеская пара приезжает каждый день. Она заглянула в мастерскую. Но Огюст приказал ей уйти и даже не представил чете Шоу. Заметив вопрошающий взгляд миссис Шоу, он пробормотал:

– Она необразованна.

Шарлотта смутилась, а Шоу, посмеиваясь, сказал:

– Вот как надо обращаться с женщинами. А то от них спасенья нет.

– Да, – согласился Огюст.

Шоу был приятным человеком. И у него такие благородные черты. Огюст так и сказал Шарлотте: «У него голова Христа». Его удивило, почему она как-то странно улыбнулась в ответ, но он продолжал работу, пока их снова не прервали.

Толстая крестьянка-француженка стояла в дверях с хорошенькой дочкой. Женщина сказала:

– Мэтр, я слышала, вам нужны натурщицы. Можете не сомневаться, мосье, – моя дочка хорошего поведения.

Огюст резко ответил:

– Меня не интересует ее поведение. Скажите лучше – груди у нее крепкие?

И пока мать стояла как громом пораженная, мэтр, попрощавшись, поспешно вернулся к бюсту. Шоу спросил:

– Мэтр, вы не любите женщин?

– Люблю, – ответил Огюст, – но они должны знать свое место.

В тот вечер он заявил Рильке, что если ему опять будут мешать, то такой секретарь ему не нужен.

Рильке был в растерянности. Художник-скульптор Анри Матисс ждал встречи с Роденом – Роден обещал посмотреть его работы. Матисс отказывался уходить. Прошло уже много часов, а он все ждал.

И Рильке, несмотря на угрозу мэтра, сказал ему о Матиссе.

Огюст не рассердился, как опасался поэт. Он прошел к Матиссу и спросил:

– Где ваши рисунки?

Матисс, волнуясь, извлек их. Роден быстро взглянул.

– Слишком поспешно, слишком небрежно. Поработайте над ними еще. Когда переделаете их раз десять, приходите снова.

И ушел, оставив смущенного, сбитого с толку Матисса, который начал сомневаться, стоило ли обращаться к великому

человеку.

На следующее утро Огюст начал работать над десятым вариантом бюста Шоу. Шоу был поражен. Большинство глиняных слепков казались ему вполне приемлемыми и похожими. Он начал было иронизировать в душе, но, увидев, что мэтр уничтожил бюст, который его не удовлетворял, даже несколько испугался.

Теряя терпение, он спросил:

– Мэтр, правда, что вы делаете десятки голов, прежде чем остановитесь на одном варианте?

– Чаще даже больше. Сначала я леплю черновые эскизы. Бюст – не просто портрет, это и портрет и скульптура. Но если вы устали, можем на сегодня кончить.

– Нет-нет! – воскликнул Шоу, меняя положение, чтобы немного отдохнуть. – Мне просто хотелось узнать, когда вы думаете закончить бюст?

– Это мое дело, а не ваше, – отрезал Огюст. – Разве вы слушаете советов, когда вам закончить работу?

Шоу улыбнулся, это начало его развлекать, и сказал:

– Конечно, нет. Но если вы тратите столько времени на каждую вещь, то вряд ли что-нибудь заработаете.

– Всегда находятся заказчики-миллионеры.

– Вы берете и больше, чем тысячу фунтов? – А вы, мосье?

– Я так послушно вам позирую, что вам следовало бы платить мне за это.

– Что ж, вы будете вознаграждены. Как вы сами изволили заметить, у вас будет бюст работы Огюста Родена.

– Это сказала моя жена.

– Она повторяла ваши слова, мосье.

Они легко понимали друг друга, и их обоюдное уважение заметно возросло. Огюсту очень нравился этот бюст, а Шоу с огромным интересом следил, как работает скульптор. Кронциркулями, с точностью до миллиметра, он измерил черты лица Шоу. Заставил лечь лицом вниз, осмотрел и ощупал затылок, шею, уши. Попросил Шоу лечь на спину и столь же внимательно изучил его лицо, ощупал своими чувствительными пальцами. Затем посадил Шоу так, что лицо писателя оказалось на уровне его глаз, и продолжал изучение и измерение головы. После чего он обрел уверенность и сделал десяток глиняных слепков, соблюдая точно выверенные размеры. Шоу умолк, пораженный такой точностью, а Огюст с минуту задумчиво смотрел на него и наконец сказал:

– Это пластика, а теперь надо передать выражение. А оно у вас без конца меняется.

Шоу спросил:

– Вы считаете, что ни один бюст не может передать изменчивости модели?

– Да, – ответил Огюст. – Все зависит от позирующего. Если позирующий хочет, чтобы ему польстили, как предпочитает большинство, бюст в таком случае получается фальшивым. А если он дает свободу скульптору, позволяет лепить то, что тот видит, полагаясь на свою наблюдательность и мастерство, заказчик, возможно, останется недоволен портретом, но портрет получится правдивым.

Огюст провел пальцами по коже Шоу, а затем по глине, чтобы ощутить тепло модели и убедиться, что линии лица переданы точно. Шоу сидел, погруженный в задумчивость.

Теперь Огюст лепил в лихорадочном темпе, уловив выражение, которое искал. День шел на убыль, тени удлинились. Шоу сидел, сосредоточенно следя за пальцами мэтра. Наконец скульптор произнес:

– Спасибо, мосье, спокойной ночи, – Шоу был уверен, что теперь бюст закончен.

Но на другой день Огюст возобновил работу; он стал делать новые варианты и не прикасался к бюсту, над которым трудился накануне. Шоу казалось, что эти новые бюсты он делает в стиле Кановы, Бернини, Донателло, Фидия, и он сказал:

– Я предпочитаю бюст, который вы сделали вчера. Он в стиле Родена.

Огюст приостановился.

– Согласен. Но надо попробовать еще несколько стилей, чтобы быть полностью уверенным.

– Теперь вы закончили?

Огюст удивленно посмотрел на Шоу. Как можно быть таким бестолковым, говорил его взгляд.

Для Огюста Родена, пока жива сама модель, бюст никогда не может быть закончен, подумал Шоу. Он спросил:

– Я хочу сказать, можно мне взять его с собой?

– Да, мэтр, можно ли взять его? – вставила Шарлотта.

– Вам нравится, мадам? – спросил Огюст, сам удивляясь своему вопросу. Его мало интересовало теперь чужое мнение.

– Да. Вы передали новое, совсем не известное мне выражение. Я не поверила, когда вы сказали, что у мужа есть что-то от Христа, но теперь понимаю, он может быть и таким, какую бы маску ни носил.

Шоу молчал. Он был смущен, скульптор обнаружил ту сторону его натуры, которую он скрывал, чтобы быть менее уязвимым.

Шарлотта спросила:

– Мэтр, можно взять бюст?

– Вы хотите иметь его в бронзе или в мраморе?

– А как, по-вашему, лучше?

– Я сделаю и в мраморе и в бронзе, – внезапно сказал он. – Нет-нет, доплачивать не придется. Это доставит мне удовольствие.

Шоу не мог удержаться от шутки:

– Бюст величайшего писателя, выполненный величайшим скульптором.

Огюст пожал плечами.

– Это решит время, которое порой бывает справедливым.

2

На следующий день Огюст спросил Рильке, не искал ли кто-нибудь из важных людей встречи с ним в последнее время.

– Нет, я отвечал всем, что вам необходимо закончить важный заказ, – сказал Рильке. – Только один посетитель был весьма настойчив – нервный пожилой мужчина, Андре Шоле. Он, видимо, обиделся, когда я сказал, что вы заняты.

– Как так? – взорвался Огюст. – Шоле защищал меня во время «дела Бальзака», он подвергал себя огромному риску!

– Откуда мне знать? – Рильке был сбит с толку, он никогда не слышал о Шоле.

Смерив его гневным взглядом, Огюст сказал:

– Вам бы надлежало знать, это ваша обязанность. Шоле мой большой друг и талантливый писатель. Имя его достаточно известно. Когда он обещал зайти?

– Он не сказал, мэтр.

– Какая нелепость!

Рильке почувствовал себя ужасно. Не может он выдерживать такое напряжение. С каждым днем его обязанности становились все запутаннее и сложнее. Люди осаждали Медон, добиваясь свидания с мэтром, а тот запрещал пускать к нему кого бы то ни было; корреспонденция накапливалась, и вся вина валилась на секретаря. «Мэтр, видимо, просто болен», – решил Рильке.

Обнаружив как-то письмо, которое Рильке не показал ему вовремя, Огюст вышел из себя. Рильке пытался объяснить, что письмо лишь накануне получено и не такое уж важное, но Огюст не желал слушать.

Родену попалось на глаза письмо от молодого английского художника Ротенштейна[129], с которым он был в дружеских отношениях, адресованное Рильке. Это показалось мэтру

предательством – секретарь отнимает у него друзей.

– Да это настоящий грабеж! – закричал он.

– Я вовсе не хотел вас обидеть, мэтр.

– Но вы обидели.

– Я не собирался быть секретарем.

– То-то и видно.

– Что вы хотите сказать? – Лицо Рильке стало мертвенно-бледным, он выглядел совсем больным.

Огюст помедлил, не уверенный, стоит ли продолжать, но решил, что стоит; он – «мэтр», и никто не должен забывать об этом.

– Я хочу сказать, что вы обманули меня.

– В чем? – Рильке совсем растерялся.

– Вы воруете у меня друзей, теряете письма, на вас нельзя положиться.

Рильке постарался взять себя в руки, сдержался, ожидая, что последует дальше. Он чувствовал себя вконец уничтоженным.

– Я хочу, чтобы вы немедленно покинули мой дом. Как только соберете вещи.

Все еще кипя гневом, но торжествуя и чувствуя себя отомщенным, Огюст удалился.

Через два дня он получил от Рильке письмо. Письмо было очень сдержанным и без всяких встречных обвинений. Напротив, Рильке прочувствованно писал о том, что дружба с великим скульптором будет и впредь для него неиссякаемым источником вдохновения, и, несмотря ни на какие ссоры, Роден навсегда останется для него любимым мэтром. Лишь в самом конце была приписка, что обвинения возведены на него напрасно. Мэтр, как истинный великий художник, писал Рильке, обязан устранять со своего пути все мешающее работе и по этой причине избавился от него, Рильке.

«Так оно и есть», – подумал Огюст. Похвалы, расточаемые Рильке, утомили, стали чрезмерными. Относиться к Рильке, как к сыну, он не мог, из этого все равно ничего бы не вышло.

Огюст знал, что не может ответить на письмо Рильке, во всяком случае, сейчас: литейщики просили его посмотреть бронзовую отливку «Мыслителя».

Спустя некоторое время пришло теплое послание от Шоу. Не сможет ли мэтр сообщить ему подробности легенды о Пигмалионе, спрашивал Шоу – он пишет пьесу на эту тему. И в знак благодарности Шоу послал мэтру великолепное издание Келмскотта Чосера[130] с надписью: «Я наблюдал двух мастеров за работой: Морриса[131], который издал эту книгу, и Родена Великого, который создал мой скульптурный портрет. Я дарю эту

книгу Родену, смиренно написав на ней свое имя. Так я приближусь к бессмертию, потому что их произведения останутся в веках, а мои обратятся в прах».

В ответ Огюст послал чете Шоу два карандашных наброска Шарлотты, сделанные во время работы над бюстом, и написал на них: «Мадам Шарлотте Шоу в знак уважения».

Бронзовый отлив «Мыслителя» был установлен перед зданием Пантеона. На открытии произносились речи, читались стихи Виктора Гюго, чей памятник, выполненный Роденом, так и не был установлен; множество полицейских охраняло статую. Приказано было охранять «Мыслителя», пока страсти не улягутся.

Но Огюст чувствовал себя потерянным и опустошенным. С тех самых пор, как двадцать шесть лет назад он начал работать над «Вратами ада», он не расставался с «Мыслителем». И теперь, казалось, чего-то лишился. Ему хотелось, чтобы Каррьер был сейчас с ним рядом. Он бросил последний взгляд на «Мыслителя»[132]. Приходится сказать ему последнее «прости». Нужно приниматься за новую работу, если хватит сил. Бронза оказалась правильным решением. Огюст сумел передать свою идею. Теперь «Мыслитель» сильнее, чем прежде, в гипсе, выражал идею упорной борьбы первобытного человека с оковами животного состояния, его стремление к разуму.

Огюста окликнул знакомый голос, которого он не слышал много лет. Старый друг Буше! Он выглядел прекрасно – такой же вельможа, как всегда. Буше сказал:

– У вашего «Мыслителя» вид человека, который, начав мыслить, недоволен тем, что видит вокруг себя.

– Вы правы, – согласился Огюст. – Видимо, я сказал больше, чем хотел. Я все больше убеждаюсь, что человек начал мыслить слишком рано, еще не будучи к этому подготовленным.

Глава XLVI

12 июля 1906 года Альфред Дрейфус был полностью оправдан. Все приговоры были отменены, и его официально признали невиновным. Огюст воспринял эту новость как отголосок далекого прошлого. Трудно было поверить, что всего несколько лет назад история эта потрясла Францию и так жестоко ранила его самого. Казалось, с тех пор прошла вечность.

На портретные бюсты Родена был теперь такой спрос, что, даже когда он повысил плату до тридцати и сорока тысяч франков, чтобы отделаться от заказов, и запрашивал сумму большую, чем вся стоимость «Врат ада», ему охотно платили. Высокая цена, которую он назначал, вызывала у заказчиков еще большее желание иметь свой портрет в мраморе или бронзе, выполненный руками мэтра, словно только работа Родена могла завоевать им уважение потомства. Огюст был рад полному оправданию Дрейфуса. Он уже давно пришел к убеждению, что офицер невиновен. Но опечалился, вспомнив, что многие принимавшие участие в «деле Дрейфуса» и «деле Бальзака» уже сошли в могилу.

Желая исправить ошибку секретаря, он пустился на розыски Шоле. Он нашел его в убогом номере маленькой гостиницы на улице Жакоби. Шоле выглядел постаревшим и усталым, но обрадовался встрече. И когда Огюст стал извиняться за ошибку Рильке, прибавив: – Я его уволил, – Шоле сказал:

– Мне очень жаль. Ваш секретарь тут ни при чем, я был очень расстроен, я в то время нуждался в деньгах.

Огюст никогда не видел его таким приниженным.

– Сколько вам нужно, Андре?

– Теперь ничего не нужно.

– Это правда?

– Я написал новую пьесу, обещают поставить. Знаете, когда-то я был неплохим драматургом. Не думаю, чтобы подошла для Сары Бернар, для нее она слишком реалистична, но мне дали аванс.

– Если вам понадобится помощь, дайте знать. – И Огюст вынул из кармана и отдал Шоле, не считая, все имевшиеся деньги.

В пачке было несколько сот франков. Шоле растрогался.

– На вас, видимо, теперь большой спрос.

– Слишком большой, – проворчал Огюст. – Со мной хотят встретиться шведский король и король Англии. Как я могу им отказать?

– Кажется, Микеланджело отказал нескольким папам.

Огюст пробормотал:

– Короли, миллионеры… Я становлюсь придворным скульптором. По существу, я теперь только и занят их заказами. Надеюсь, вы не отвернетесь от меня за это?

Шоле взял руку Огюста и с благодарностью пожал.

– Пользуйтесь, дорогой друг, пользуйтесь. Бедность – это очень плохо, поверьте.

Вскоре король Греции посетил Медон, чтобы купить несколько произведений Родена для своей страны. Он подарил Огюсту торс из Акрополя и пригласил его в Афины. Огюсту понравился подарок – он любил греческую скульптуру, – но не снизил своих цен. Огюст пообещал посетить Афины, если сумеет освободиться от дел. Он пригласил короля к обеду, и тот принял Приглашение. Они сидели за столом, когда в столовую вошла Роза в кухонном фартуке подать блюдо королю – она сама готовила обед и боялась, что иначе ей не удастся увидеть Его величество. Огюст страшно рассердился: у них ведь есть слуги, но королю, видимо, было известно, кто она такая, и отступать было поздно. Огюст представил Розу королю, неловко пробормотав:

– Мадам Роза. Король сказал:

– Я польщен, – галантно поднялся, чтобы поцеловать ей руку. В растерянности Роза отпрянула назад, прошептала:

– Я простая экономка, – и выбежала из комнаты.

– Господи! – кричал на нее потом Огюст. – Неужели ты совсем не умеешь себя держать?

Роза была напугана, но молчала, вспоминая, как любезен с ней был греческий король.

Огюста посетил японский посол, который приехал посмотреть его прекрасные японские гравюры. Некоторые считали эти гравюры непристойными, их детали слишком недвусмысленными, но посол согласился с мэтром, что гравюры прелестны и не нужно их дурно толковать. Посол хотел отблагодарить хозяйку дома за гостеприимство, он не покинет Медона, пока этого не сделает. Пришлось позвать Розу. На этот раз Роза была в другом фартуке, под цвет глаз, руки в мыльной пене – она полоскала белье.

Вслед за тем Медон посетил король Англии Эдуард VII, и Роза так и не поняла, почему Огюст не разрешил ей познакомиться с королем. Огюст запретил ей даже выходить из комнаты, а на короля позволил посмотреть только из-за занавески.

Бывший принц Уэльский, еще больше растолстевший, по-прежнему интересовался «Вратами ада».

– С ними покончено! – объявил Огюст. – Да, я все еще работаю над фигурами, Ваше величество. Но только для себя. Не для публики.

– Очень жаль, – сказал Эдуард VII, разглядывая «Врата». Когда король Англии возымел желание забраться на лестницу, чтобы посмотреть на оригиналы «Мыслителя», Огюст не разрешил. На верхушке портала находилось птичье гнездо, и он не хотел беспокоить его обитателей. Эдуард VII пришел в недоумение, когда в ответ на его просьбу сделать бюст одной его близкой знакомой, мэтр заколебался. Эдуард VII сделал нетерпеливый жест, – о цене можно не беспокоиться. Гонорар, предложенный высоким гостем, был более чем щедрый, и Огюст не смог отказаться. Во время работы над бюстом дамы, которая оказалась необыкновенной красавицей, Огюст запретил королю находиться в мастерской. Эдуард VII так разгневался, что готов был отказаться от заказа, но Огюст остался непреклонным. Великодушно и умно поступил сам Эдуард VII: он сдался. Впоследствии Его величество не пожалел: законченный мраморный бюст он счел великолепным.

Затем Огюст вылепил бюсты трех американских миллионеров, и двое из этих заказчиков ему понравились. Джозеф Пулитцер был слеп, – Огюст впервые лепил слепого; а Томас Раян купил у него несколько произведений для музея Метрополитен в Нью-Йорке.

Огюст сомневался, стоит ли делать портрет Гарримана по фотографиям; фотографии, считал он, не передают характера модели. Он переделывал этот портрет много раз.

Когда Роза пожаловалась ему, почему он не представил ее королю Англии, он ответил:

– Ты не умеешь одеваться. И необразованна.

– Почему же ты не дал мне образования? – воскликнула она.

– Тогда я потерял бы тебя. – Он вздохнул. – Мне не следовало лепить портрет по фотографии. Получилась лишь еще одна фотография.

Роза посмотрела на портрет Гарримана и сказала:

– Это неплохо.

– Но и хорошего мало. На фотографиях он приукрашен. Эти богачи никогда не узнают, чего стоят мне их деньги.

– Так зачем ты берешь заказы?

– Довольно нам бедствовать. Я не вылезал из долгов до шестидесяти лет.

– И в этом причина?

Он смотрел на нее, как на безумную, а она думала: какое счастливое было время. Но она не успела ничего сказать – Огюст

просил ее заняться обедом.

Радостная от сознания, что может услужить ему, Роза поспешила на кухню. Через час, когда она пришла звать к столу, он уже уехал в Париж. Роза, расстроенная, вернулась на кухню и нашла там маленького Огюста – он ел приготовленный ею обед. Она разразилась гневной тирадой против его отца, но сын равнодушно пожал плечами и сказал:

– А чего ты ожидала? – Покончив с мясом и вином, он попросил денег.

Неужели он никогда не станет взрослым?

– Но ведь я совсем недавно давала тебе, – сказала Роза.

– Это было две недели назад. Мне нужно купить одежду.

– Ты получил кое-что из отцовских вещей, – Старье.

– Когда ты наконец пойдешь работать?

– Чего твердить одно и то же. – Маленький Огюст встал из-за стола. – Если хочешь, чтобы я больше не приходил, не приду. – Он сунул мокрый пакет с пудингом в карман. – Бедная Роза, отец тебя все время обманывает.

– Нет, не обманывает, – сердито возразила Роза. – У меня есть друзья в мастерских, мне рассказывают, кто у него бывает. Он меня не обманывает.

– Значит, тебе известно, что он зарабатывает кучу денег. Должен же он давать тебе что-нибудь.

– Он дает только на хозяйство.

– Я знаю, ты припрятала несколько тысяч. Где они?

Она посмотрела на его седые волосы, лицо пропойцы, грязные ногти и подумала, что Огюста, когда он в хорошем расположении духа, можно назвать даже красивым, а мальчик наследовал от отца все самое худшее. Несчастная, бродячая собака, меняет все время женщин и называет себя художником, наверное, потому, что его отец скульптор, а между тем зарабатывает на жизнь только перепродажей старой отцовской одежды. Но когда он был таким вот печальным и усталым, ее материнское сердце не выдерживало. Разве можно ему отказать? Она дала ему пятьдесят франков и обиделась, когда он сказал: «Только и всего?» Ей показалось, что про себя он ругает ее последними словами. Наверное, какая-нибудь пьянчужка уже поджидает его. Но Роза промолчала, она не могла заставить себя даже попрекнуть сына. И он ушел, сделав вид, что не замечает мольбы в ее глазах. Надо было дать ему еще. Но деньги могут понадобиться и ей самой, с тревогой думала Роза.

Огюст вернулся из Парижа через неделю и не счел даже нужным объяснить причину отсутствия или извиниться за внезапный отъезд, и Роза заключила:

– У тебя новая женщина.

– Во всяком случае, не Камилла, – ответил он. Это не успокоило Розу. – Она красивая, – добавил он, думая, что Роза вспылит. Ему стало жаль ее. – Но тебя я любил больше всех – мы ведь до сих пор вместе.

– Я родилась, чтобы прислуживать тебе, – с горечью заметила она.

– Ну хорошо, хорошо… – Он повернулся, чтобы уйти, ему надоела эта сцена.

А у нее внутри все болело, хотелось крикнуть: «Когда же придет этому конец?» Как устала она от бесконечных обязанностей, где предел ее горю и нечеловеческому терпению, ради чего? Но слова не шли с языка, она страдала молча; по щекам текли слезы.

Тронутый ее болью, он остановился.

– Ты ведь знаешь, дорогая, я хочу, чтобы ты была счастлива тут, в Медоне.

– Можешь не беспокоиться, как-нибудь обойдусь, – ответила она.

Он взял ее руки, которые давно огрубели, и нежно прижал к губам, словно в них заключена была вся красота мира; щеки Розы вспыхнули от такой неожиданной ласки.

– Камилла была очень красива, Роза, и в то время я был безрассуден. Теперь же мне нужен только покой.

Можно ли верить ему? Она не знала. Он все еще мужчина, полный сил.

– А если ты опять станешь безрассудным? Ты всегда был безрассудным, – пробормотала она.

– Я ведь не каменный. А с чувством порой невозможно совладать. Но я-то знаю, кто мне дороже всех. Можно пообедать, дорогая?

«Нет!» – хотела крикнуть она, но вслух сказала:

– Приготовить мясо, Огюст?

– Что хочешь, моя милая.

Глава XLVII

1

В следующем году Роден был удостоен почетного звания докторе Оксфордского университета. Он сидел рядом с Марком Твеном, Камилом Сен-Сансом и генералом Бутом[133] из Армии Спасения и удивлялся. Вспомнил, как плохо учился в школе – до сих пор не усвоил правил арифметики и правописания. Он так и не попал в Школу изящных искусств, а Папа и Мама были и вовсе неграмотны. И вот теперь его нарядили в великолепную мантию из красного шелка и черную четырехугольную шляпу, награждают званием доктора «honoris causa», пишут как о скульпторе-ученом.

Через час после приезда в Париж он зашел в мастерскую на Университетской улице посмотреть, как литейщики сделали отливку памятника Гюго. Ему вручили письмо от Рильке. Огюст поправил ошибки, допущенные литейщиками, и принялся за письмо. Читал медленно, недоверчиво, ожидая просьб, но письмо оказалось дружеским: поэт поздравлял Родена по случаю Оксфордской церемонии и писал: «Вы более, чем кто-либо другой, заслуживаете этого почетного звания». Если ему вновь представится возможность увидеться с мэтром, писал Рильке, он сочтет это за счастье.

Огюст ответил Рильке, что охотно повидается с ним в ближайшие дни.

Через неделю они встретились в Люксембургском саду, где аллеи были усыпаны спелыми каштанами. Это был один из любимых парков Огюста, и здесь стояли некоторые его статуи. Мэтр был в хорошем настроении. День был ясный, осенний, они гуляли по дорожкам; густая зеленая листва кое-где уже начала желтеть, кругом – обилие цветов всех оттенков и каких-то новых, невиданных прежде сортов.

Роден знал, что Рильке немного зарабатывает стихами и гостит у богатых покровителей, главным образом у пожилых женщин. Но он не касался этой темы, они условились не говорить о прошлом, а только о настоящем.

Рильке – все такой же темноволосый, стройный, с живым взглядом голубых глаз и тонкими усиками – был по-прежнему экспансивен; он восхвалял Майоля, работы которого только что видел.

– Его торсы очень хороши, – согласился Огюст. – Будь я помоложе, мне бы следовало у него поучиться.

– Но вы ведь были его учителем, мэтр.

– Скорее, советчиком. У таких людей, как Майоль, и своего таланта хватит. Обо мне говорили, будто я окружил себя покорными учениками, такими, как Майоль, Дюбуа, Камилла, Клодель, Бурдель, а по всей Франции не сыскать более самобытных и непохожих людей, чем они. У них только и было общего, что все они пришли ко мне учиться самостоятельности, независимости.

– Вам нравится Мане? О нем сейчас много говорят.

– Да, он мне всегда нравился. Я рад, что его работы теперь в Лувре.

– А Ван-Гог? Сезанн?

– У меня есть несколько картин Ван-Гога. Я встречал его несколько раз, случайно. Это был очень тихий человек, вечно погруженный в себя, в этом он немного схож с Сезанном.

– Вы были хорошо знакомы с Сезанном? – После смерти Сезанн стал для Рильке открытием, поэт питал к нему страсть.

– Не очень. Думаю, никто не знал его по-настоящему.

Огюст погрустнел, вспомнив о Моне, который уже давно утратил былую красоту, молодость и энергичность, и скорбел о том, что успех пришел к нему слишком поздно; он подумал о Дега – какие тот метал когда-то громы, устрашавшие великих мира сего. Теперь Дега бессильный старец, измученный годами и болезнями, бесцельно скитающийся по Парижу, полуослепший, неспособный больше писать; а Ренуар, хотя и стал знаменитостью, работает только сидя в коляске. Безжалостное время не пощадило его друзей-современников, мрачная осень пришла к ним.

Они подошли к отелю Бирон. Рильке жил в мастерской жены, которой в это время не было в Париже. С женой он виделся весьма редко. Печальное настроение Огюста развеялось. Он с первого взгляда влюбился в этот дворец восемнадцатого века, превращенный в девятнадцатом в квартиры. Отель Бирон стоял очень удачно, на тихой улице Варенн, как раз там, где она выходила на широкий бульвар Инвалидов, рядом с Домом инвалидов и могилой Наполеона[134]. Огюсту понравилась обширная территория, которую занимал дворец и прекрасный сад. Какой чудесный уголок, Медон в самом центре Парижа! А когда Рильке показал ему комнаты, Огюст понял, что именно здесь ему следует разместить свою мастерскую.

Комнаты были просторные, с высокими потолками и красивыми большими окнами во двор, расположенный перед дворцом, а с противоположной стороны окна выходили в сад. Огюст был пленен. Повсюду изящество линий и гармония.

– Это загородный дворец в самом сердце Парижа, – сказал он Рильке.

– Мэтр, в свое время его называли самым великолепным зданием Парижа. Кто только не жил здесь: Пейранк, парикмахер-авантюрист, Бомарше, герцог Бирон, знаменитый вельможа, папский нунций, посол русского императора. И, наконец, в течение многих лет монахини Ордена святого сердца.

– А кто живет теперь?

– Айседора Дункан, де Макс, Матисс. У них тут мастерские. И моя жена.

Огюсту нравилась Айседора. Она сильно изменилась после их первой встречи, стала женственней и безрассудней. Ходили слухи, что у нее столько же любовников, как у него любовниц. Огюст чувствовал, что она все еще мечтает о нем, и не только из-за его славы, и сожалеет о первой неудачной встрече. Но теперь он слишком стар. После Камиллы у него больше не было молодых любовниц.

Рильке сказал:

– Нижний этаж сдается, но за дорогую цену. – Я сниму. Узнайте, когда я могу переехать. Рильке это немного обидело, хотелось возразить:

«Я вам больше не секретарь, не слуга», но у мэтра был такой властный вид, что поэт сказал:

– Будет чудесно, если вы поселитесь здесь, неподалеку от могилы Наполеона. Наполеон и Роден, – добавил Рильке, раздумывая над этим сравнением. – Наполеон пытался разрушить мир и переделать его своими сильными руками, а вы из мягкой глины создали целую вселенную, населенную реальными людьми. И для меня, мэтр, ваши руки обладают большей силой.

– Спасибо, Райнер, вы очень любезны, но имя Наполеона будет жить в веках.

– Сомневаюсь. Мы уже никогда не почувствуем силу его рук, а плодами ваших рук люди будут наслаждаться всегда.

Огюст скептически улыбнулся.

– Сейчас мне хочется только одного, – сказал он, – поселиться в отеле Бирон и снова приняться за работу.

2

Однако переселиться в отель Бирон удалось только в 1908 году. И хотя он надеялся прожить тут до конца жизни, его друг и соседка Айседора Дункан не разделяла этих надежд. Они стояли в ротонде, выходящей окнами в сад, на первом этаже, который Огюст снял за пять тысяч девятьсот франков в год. Отсюда

открывался красивый вид. Огюст спросил о причине ее сомнений.

Айседора ответила:

– С тех пор как республика отобрала дворец у Ордена святого сердца, многие требуют, чтобы он был продан. Я слышу об этом все время, когда у меня собираются гости. Говорят, будто на моих вечерах совершаются кощунства.

– Я хочу работать. Я слишком стар, чтобы принимать гостей.

Айседора действительно устраивала оргии, подчас слишком шумные и буйные.

– Конечно, Огюст, мы не будем вам мешать. Пожалуй, подумал он. Айседора была вечно в разъездах: Германия, Греция, Россия, Америка, Англия, – одному богу известно, куда отправится в следующий раз!

Огюст начал работать и скоро обжился в отеле. Айседора и де Макс заглядывали к нему время от времени, но не мешали, когда он работал, а Матисс держался обособленно – он организовал в отеле Бирон Академию Матисса. Огюст развесил в своей новой мастерской картины любимых художников: Каррьера, Ван-Гога, Моне и Ренуара. Он перевез сюда торс, подаренный ему греческим королем, и много своих мраморов; отель Бирон стал его главным местожительством в Париже.

Розу огорчил этот переезд. Огюст с гордостью водил ее по отелю Бирон, а она думала, что он возвращается к прошлому. Кто его новая любовь? Ничто здесь не говорило о присутствии женщины. Вопрос этот так волновал Розу, что она вдруг спросила:

– Ты собираешься здесь только работать, Огюст? Он нахмурился. Пора бы ей отучиться задавать вопросы, на которые не будет ответа.

– Меня беспокоит маленький Огюст. Он стал настоящим бродягой, старьевщиком, – сказала Роза.

– Это его дело.

– Если ты попросишь его жить с нами в Медоне, он еще может стать человеком.

– Он никогда не станет человеком.

Огюст оставил ее просьбу без внимания, но отвез Розу в Медон в кабриолете. Это было дорогим удовольствием, и Роза ужаснулась, когда услышала цену.

3

Президент Фальер[135] принял Родена в Елисейском дворце. В приглашении говорилось: «…чтобы выразить уважение мосье Родену за его вклад в искусство Франции». Президент республики рассказывал ему о письмах, адресованных просто: «Огюсту

Родену, Франция», когда женщина средних лет настойчиво попросила познакомить ее со скульптором. Она представилась Огюсту как герцогиня де Шуазель. Герцогиня была американкой, замужем за французом, из старинной знатной семьи. Огюст стоял посреди роскошного ярко освещенного зала. Герцогиня оживленно болтала о его «выдающихся произведениях», а он думал, что этот светский салон мало отличается от тех, которые существовали при старом режиме. Тут было столько грудей, украшенных орденами, столько увешанных драгоценностями женщин, столько титулованной знати – куда больше, чем республиканцев, – и так много условностей и помпы, что даже неглупые люди в этой обстановке казались напыщенными и пустыми. Но Огюст не мог уйти. Герцогиня одолевала его вниманием. Видимо, ей искренне нравились его скульптуры.

– Мэтр, это счастливейший день в моей жизни! – воскликнула она. – Я так давно мечтала познакомиться с вами, поэтому и пришла на прием.

Вначале он был недоверчив, но она все твердила, что Огюст Роден – единственная причина, заставившая ее прийти сюда, и он почти поверил. Ему нравился такой интерес к его особе. Герцогиня де Шуазель проникновенно говорила о его скульптурах, казалось, она наизусть знает их перечень. Он стал внимательно присматриваться к ней. Это была довольно стройная женщина средних лет с острыми чертами лица, тонким, несколько вздернутым носом, крашеными волосами, нарумяненная и напудренная. Герцогиня ничем не отличалась от других знатных особ, которые дарили его своим вниманием в последние годы.

Ее интерес к нему был неисчерпаем. Герцогиня, не умолкая, говорила о его работе. Она не отходила от него весь вечер и вела себя так, словно это место принадлежало ей по праву.

Когда подошло время разъезда гостей, герцогиня предложила подвезти Огюста до отеля Бирон в своем автомобиле.

– Мэтр, – сказала она, – в такой поздний час вы, конечно, не поедете в Медон, ведь уже за полночь. – У него кружилась голова от бурно проведенного вечера, от разговоров, которые вела главным образом герцогиня, и, не успев опомниться, он принял ее приглашение.

Несмотря на поздний час, герцогиня не сочла неудобным зайти в отель.

Он, собственно, и не приглашал ее, да и она не настаивала на приглашении, все это выглядело естественным и само собой разумеющимся.

С кокетливым видом герцогиня удобно устроилась в его

любимом кресле. Сердце ее бешено билось, и она думала, не слишком ли опрометчиво поступает. Увидев скульптурные любовные пары, она загорелась желанием стать его «величайшей страстью». Подобная связь могла прославить ее. К тому же Роден, должно быть, настоящий мужчина. Да и мужа ее эта интрижка только развлечет.

Огюст в растерянности застыл посреди комнаты, и герцогиня поняла, что она должна взять инициативу в свои руки. Она жеманно проговорила:

– Огюст, мы должны быть честными. Я никогда еще не встречала человека, чей талант меня бы так трогал. В вас огромная жизненная сила. – Она обвила его тонкими руками и прижалась к нему.

Не успел он опомниться, как они стали любовниками. Его поразила ее дикая, трепетная сила. Он не ожидал, что в этом хрупком теле таится столько страсти. Герцогиня была столь опытна в любви, что заставила его забыть обо всем на свете. Он чувствовал себя совсем молодым и простил ей все.

В Огюсте боролись два начала. Бывали моменты, когда ему претила явная лесть герцогини, ее чрезмерно накрашенное лицо, безграничная экспансивность, но он привязался к ней как к женщине, словно это могло отсрочить наступление старости. Когда друзья вслух удивлялись его связи, Огюст лишь пожимал плечами. Он не мог признаться, что ему нужны эти встречи.

Рильке намекнул, что герцогиня просто искательница приключений, но Огюста это рассердило, и он несколько дней не разговаривал с поэтом. Затем пригласил Рильке в мастерскую и потребовал объяснения.

Рильке ответил своим мягким голосом:

– Мэтр, она так напориста.

– А разве вы сами не уступаете вот таким напористым особам?

Это правда, подумал Рильке, но мэтр – другое дело. Он нуждается в таких женщинах, а Роден нет. Мэтр ни от кого не зависит. Огюст напомнил:

– У вас очень близкие отношения с принцессой Марией Гогенлоэ, а она лет на двадцать старше.

– Это другое дело, – печально сказал Рильке. Мэтр был несправедлив к нему.

Огюст, чувствуя, что положение Рильке гораздо более щекотливо, чем его, – принцесса была старше герцогини, – сразу повеселел и забыл об обиде.

Огюст пропускал мимо ушей, когда литейщики, работающие в мастерских, смеялись над герцогиней и в шутку называли ее

«музой». Но он пришел в ярость, услыхав, как Бурдель назвал ее «герцогиней инфлюэнцей». Это уже предательство. И приказал Бурделю убираться. «Навсегда!» – кричал Огюст, чтобы показать, насколько зол, хотя в душе надеялся, что у Бурделя хватит ума не принимать его слова всерьез. Чтобы подавить угрызения совести, он уверял себя, что герцогиня помогает в его светских обязанностях, отлично заботится о всех делах, разбирается в скульптуре, да к тому же их интимные отношения разумны – никакой романтической чепухи, присущей молодости.

4

Герцогиня уговорила Огюста дать согласие установить памятник Виктору Гюго в просторном саду Пале-Рояль, хотя он по-прежнему был недоволен статуей и отведенным ей местом. Фигура поэта во весь рост, в полном одеянии – не тот Гюго, каким он его себе мыслил. Он пошел на компромисс, и ему казалось, что место, выбранное для памятника, слишком парадно. Но возможно, герцогиня права – иначе статуя так и погибнет в мастерской.

На открытии памятника Огюст стоял в окружении важных городских и правительственных чинов. Все восхищались упорством Родена, тем, что он не прекращал работы над памятником.

Герцогиня воскликнула:

– Сколько в нем вдохновения! Его можно сравнить лишь с бетховенской симфонией!

Какие глупости, подумал Огюст, это не лучшая его работа. Он чувствовал себя неловко в своей одежде– герцогиня настояла на шелковом цилиндре и сюртуке. Вырядился, словно Гюго, подумал он.

5

Герцогиня все еще спорила, доказывая, что была права, и это его священный долг перед Францией – установить памятник Гюго в Пале-Рояль, когда Огюст вдруг решил сделать ее бюст. Сначала это было отговоркой, чтобы не появляться с ней на скачках в Лонгшан, не сопровождать на бесконечные светские обеды, но, по мере того как черты ее лица рождались под его руками, все остальное перестало существовать. Ему казалось, что он победил все свои недуги, дурное настроение, усталость. Он снова лепил, и это обновляло, ничто не способно было оторвать его от работы. Герцогиня уставала позировать, и он резко одергивал ее. Она

жаловалась, что он слишком заострил черты ее лица, а он отвечал:

– Такие они и есть.

– Но в жизни я лучше.

Он придал ее лицу грубую угловатость и не тратил времени на споры с ней, работая молча.

– Огюст, ты не слушаешь меня. Ты сделал меня старой каргой.

Он заставил ее лечь на пол; зажав голову между колен, ощупывал лицо и тут же лепил. Результат удовлетворил его. Она расстроилась, Огюст даже не спросил, нравится ли ей бюст. Он позвал Бурделя посмотреть работу.

Бурдель знал, что не должен потворствовать мэтру – мэтр ни словом не обмолвился о ссоре; но молодой скульптор никогда не мог отказать своему учителю.

– Я рад, что вы не дали ей ввести себя в заблуждение, – сказал Бурдель.

– Неужели вы думаете, что я могу льстить в работе! – возмутился Огюст.

6

Роден снова вернулся к той жизни, которую предпочитала герцогиня де Шуазель. В Медоне Роза еще острее ощущала свое одиночество. Огюст отсутствовал по неделям. Она узнала о герцогине, но понимала, что бессильна. Она жаловалась ему так часто, что это стало для него пустым звуком. В последний раз, когда Роза умоляла его остаться в Медоне, он счел это вмешательством в свои дела и сказал:

– Из Медона тебе виден Париж, Сена рядом, и, пожалуйста, не пытайся исправлять мой характер, – и вернулся в Париж, даже не переночевав.

Роза была уверена, что скоро потеряет его навсегда. Покинутая, несчастная, бродила она по дому и саду и экономила каждый франк, чувствуя приближение черных дней; она отказывала в деньгах даже сыну.

7

Но и Огюст тоже был обеспокоен. Он нашел наконец мастерскую, где намеревался прожить до конца своих дней, и вдруг ему сообщили, что он должен уехать. Правительство решило продать отель Бирон. Продажа должна была состояться через несколько недель, после чего всем предложено было

выехать из дворца. И это случилось как раз тогда, когда Огюст согласился иллюстрировать новое издание «Цветов зла» Бодлера; одновременно он лепил кисти рук, изыскивая более выразительные формы. Потрясенный неприятной новостью, Роден отправился к Клемансо, который с 1906 года стал премьером, и попросил его предотвратить продажу, заявив:

– Мосье, если это случится, произойдет несчастье.

– Несчастье? Для кого? Из-за чего? – спросил Клемансо в своей быстрой отрывистой манере.

– Мосье, я уже не так молод. Разве не жестоко заставлять меня переезжать? Неужели вы не можете попросить правительство не продавать отель Бирон?

– Дорогой друг, вы наивны. Потребуйте от меня новый памятник Бонапарту – и мне не откажут в средствах, но тут меня просто на смех подымут. Почему вы обратились ко мне?

– Вы всегда поддерживали людей искусства. Вы добились, чтобы «Олимпию» Мане выставили в Лувре. Студенты художественных заведений боготворят вас.

– И будут поддерживать Бриана или Пуанкаре[136]. – Может быть, мне обратиться к ним? Я не выеду из дворца. Вам придется меня выселять силой, – вдруг решительно заявил Огюст. – Это вызовет скандал.

Клемансо чуть не расхохотался, но Роден выглядел непреклонным, и трудно было сказать, чем все это кончится. Граждане – элемент ненадежный – могли стать на сторону Родена. Клемансо пообещал сделать все от него зависящее, но не был уверен, удастся ли ему помочь да и вообще стоит ли браться.

Но когда Моне, близкий друг Клемансо, замолвил слово за Огюста, когда влиятельные люди отправились к Бриану, который готовился стать преемником Клемансо на посту премьера, а затем постарались убедить и Пуанкаре, лидера третьей влиятельной политической партии и возможного претендента на пост премьера, то вопрос о сохранении дворца Бирона стал вопросом сохранения чести Франции, вопросом о том, какая из трех партий лучше всего проявит свой патриотизм. За четыре дня до продажи дворца Сенат проголосовал за то, чтобы отложить сделку, и предложил правительству подумать, не приобрести ли эту собственность навечно.

Решение вопроса затянулось на два года, и, когда наконец правительство купило отель Бирон за шесть миллионов франков, Огюст был уверен, что выиграл битву. За это время он закончил иллюстрации к «Цветам зла», сделал множество отдельных кистей и несколько бюстов. Герцогиня, казалось, стала постоянной спутницей его жизни, и он редко появлялся в Медоне

– стоило увидеть Розу, как начинались слезы и обвинения.

Через три месяца после того, как правительство купило дворец, Огюсту неожиданно предложили выехать. Для него это было ударом. Страшно обеспокоенный, он снова посетил Клемансо.

Клемансо сказал:

– Я ничем не могу помочь. Я больше не премьер.

– Но в чем причина?

– Буржуа кричат, что всех нужно выселить из дворца, там якобы происходят дикие оргии. Это кощунство, заявляют они, что подобное происходит в отеле Бирон, который в свое время был монастырской школой.

– Чепуха! – не выдержал Огюст. – Я не устраиваю никаких оргий!

– Их устраивают де Макс с Айседорой Дункан. Но правительство отнеслось к вам с уважением. Вам дают три месяца, а им предложено оставить дворец немедленно[137].

Заметив насмешливую улыбку на лице Клемансо, Огюст понял, что все уговоры бесполезны, нужно искать иной выход. Но мысль о том, что придется затевать борьбу заново, заставила его призадуматься. Через месяц ему стукнет семьдесят один. У него едва хватает сил на работу, даже герцогиня утомляет его. А эта тяжба еще на несколько лет. Его уже не будет в живых, когда она разрешится. Но тяготы переезда не для него. Надо добиться поддержки правительства. И тут ему пришел на ум план – столь простой и легкий, что сначала он не поверил в его успех. Однако выхода не было, и Огюст предложил:

– Мосье Клемансо, а что если я завещаю все свои произведения Франции? Как вы думаете, позволят мне взамен дожить во дворце до конца жизни?

– Чтобы затем открыть в нем музей? – Клемансо задумался. Предложение не лишено смысла. – Нет, это слишком сложно.

– Музей Родена, если это звучит не очень тщеславно.

– За шесть миллионов франков? Довольно высокая цена за искусство.

– Я завещаю все, что сделал, государству. Мои произведения не останутся без покупателей, так что вы на этом ничего не потеряете[138].

– И взамен вы просите только разрешить вам жить там? – Клемансо был удивлен таким великодушием.

– Да. С тем чтобы после моей смерти дворец стал Музеем Родена.

– Неужели для вас так важно остаться в этом дворце, дорогой друг? – спросил Клемансо уже более доброжелательно.

– Мне хочется собрать свои работы в одном месте, насколько это возможно.

– Идея неплохая.

– Вы думаете, ее поддержат?

– Не знаю. – Однако Клемансо готов был действовать. – Но попытаться стоит, мэтр. Нужно подготовить петицию на тех условиях, что мы сейчас с вами обсудили; нет-нет, вы должны держаться в стороне, этим пусть займутся ваши влиятельные друзья. А затем обратитесь ко мне, Бриану и Пуанкаре. К тому времени один из нас станет премьером, и можно будет что-то предпринять.

Огюст последовал совету Клемансо, и снова имя его появилось на первых страницах французских газет. Его предложение стало предметом всеобщего обсуждения. Сторонники его доказывали, что через несколько лет произведения Родена будут стоить куда больше шести миллионов – цена на них все время растет – и что это для государства большая выгода[139].

Правительство начало с Огюстом переговоры о возможных условиях соглашения, но решение затянулось. Прошло три месяца, а Огюст и не собирался выезжать, хотя оставался теперь единственным обитателем отеля; правительство дало ему отсрочку еще на полтора года и намекнуло, что не исключены и последующие отсрочки.

Огюст в благодарность сделал бюст Клемансо, который, видимо, навсегда отошел от власти, хотя еще пользовался авторитетом во Франции.

Огюст считал бюст своей лучшей работой; ему удалось передать энергичность и решительность, присущие этому человеку, с оттенком цинизма. Но Клемансо отказался принять бюст, заявив:

– Вы меня сделали коварным восточным властелином.

– Вы ведь наполовину Тамерлан, наполовину Чингисхан, не правда ли? – спросил Огюст.

Клемансо все-таки отказался от бюста, а когда Огюст спросил, принято ли какое-нибудь решение в связи с его предложением, Клемансо холодно заметил:

– Ваши друзья ведут себя так воинственно, будто у правительства нет иных забот. На днях я говорил с Пуанкаре, и премьер сказал: «Знаете, Клемансо, что волнует нас сейчас больше всего? Не отношения с Германией, Россией и Турцией или наше участие в Антанте, а мосье Роден».

– Значит, мои условия могут быть приняты?

– Это значит, что Пуанкаре раздражен. Я сомневаюсь, чтобы

вам продлили срок аренды. Когда он истекает, Роден?

– Кажется, в начале 1913 года. Неужели столько препятствий?

– Тут действует оппозиция. Существует много вопросов, по которым Пуанкаре, Бриан и я не согласны, но в одном мы сходимся – отель Бирон всем страшно надоел.

– Вы все против меня.

– Мэтр, вы ничего не понимаете. Франция разделена в этом вопросе. – Клемансо вздохнул. – Если мы примем ваши условия, половина Франции воспримет это как обиду. Если мы не примем, другая половина сочтет оскорблением. И Пуанкаре и мне приходится действовать осторожно.

Огюст понял. В политике самым ценным было мнение избирателей.

Герцогиня ожидала результатов встречи с Клемансо, и, когда Огюст коротко сказал:

– Кажется, мы можем надеяться, – и не добавил больше ничего, она огорчилась – если предложение Огюста будет принято, все ее планы рухнут. Рильке застал герцогиню перед полупустым графином.

– Он что, женат на этой женщине, на Розе? Чем-нибудь ей обязан? – спросила она.

С тех пор как начался роман с герцогиней, мэтр редко видел Розу, но Рильке не мог себе представить, чтобы Роден совсем оставил ее. Герцогиня продолжала:

– Как вы думаете, могут деньги старика достаться его сыну? – И, заметив удивление на лице поэта, взяла себя в руки и пояснила: – Мне это нужно знать в интересах мэтра, чтобы не было никаких затруднений с созданием музея. Я не хочу новых препятствий.

Она вышла в сад, и Рильке, выбрав удобный момент, попытался предупредить мэтра о намерениях герцогини, но Огюст не стал слушать. Он твердил одно:

– Рильке, мы должны добиться своего. – Он все больше увлекался идеей создания Музея Родена.

Герцогиня вошла в мастерскую, лицо ее было возбужденным, но она уже отрезвела и, когда Рильке удалился, спросила:

– Теперь ты счастлив, Огюст? Правда?

Он коротко ответил:

– Насколько может быть счастлив мыслящий человек. – Внезапно он переменил тему разговора и попросил ее позаботиться о билетах на русский балет, который вновь приезжал в Париж на гастроли. – Я хочу ложу поближе к сцене.

Огюсту позировали Айседора Дункан и Павлова, Лои Фуллер и Ханако, а теперь он хотел как можно лучше рассмотреть

Нижинского[140].

– Ты собираешься лепить Нижинского?

– Меня еще не просили. Закажи билеты, самые лучшие.

Ее возмутил его повелительный тон, и она начала было возражать, но он оборвал ее. Рассерженная герцогиня заявила, что ходят слухи, будто русский балет привез новый спектакль – «Послеполуденный отдых фавна», непристойный и возмутительный. Огюст смерил ее строгим взглядом и сказал:

– Я уверен, что это лживые слухи. Нижинский – выдающийся танцовщик.

Глава XLVIII

Огюст приехал на премьеру нового балета вместе с герцогиней. Он был доволен билетами – первая ложа от сцены, и не успел сесть на место, как был встречен овацией публики. Обрадованный, он слегка поклонился и прошептал, обращаясь к герцогине:

– Никогда не думал, что я такой знаменитый.

Огюст с нетерпением ждал главного номера программы, балета «Послеполуденный отдых фавна», сюжетом которому послужила поэма Малларме. Как бы удивился Малларме, – подумал он, – если бы знал. Огюст не ждал многого от музыки, ему редко нравился Дебюсси, несмотря на то, что они были друзья, его привлекал талант Нижинского и вся труппа.

В соседней ложе Огюст увидел Клемансо и спросил:

– Что слышно о музее?

– Ничего. Абсолютно ничего.

– Этот вопрос никогда не решится.

– Терпение, мэтр, терпение. Мы пришли посмотреть на Нижинского.

Свет потух, и зал замер. Огюст увидел Нижинского– фавна; он казался ему получеловеком, полуживотным. Прочувствованное, смелое искусство танцора очаровывало.

Нижинский закончил в полнейшей тишине. Занавес опустился, публика разделилась на две части: половина зала неистово аплодировала, другая свистела и шикала. Огюст не вытерпел, вскочил на ноги и стал громко аплодировать.

Балет был повторен на «бис». Огюст поспешил за кулисы и, восторженно обняв Нижинского, воскликнул:

– Мы с вами собратья, дорогой друг, собратья. Ваши танцы – это скульптура в движении.

Придя домой, он уснул и во сне видел танцующего фавна, представляя его себе в мраморе.

На следующий день газета «Фигаро» поместила разгромную статью о «Фавне», которой разразился сам владелец газеты и ее редактор Кальметт. Огюст с негодованием читал:

«Те, кто говорит об искусстве и поэзии применительно к „Фавну“, просто издеваются над нами. Это нельзя назвать ни изящной миниатюрой, ни осмысленным спектаклем. Перед нами фавн невоздержанный, с отвратительными движениями, полными грубой чувственности, и жестами в высшей степени бесстыдными. Больше ничего. Недвусмысленная пантомима, которую разыграло это неприглядное животное, уродливое спереди и еще более

уродливое в профиль, была встречена по заслугам неодобрительными возгласами публики».

Такого Огюст не мог стерпеть, он воспринял это как нападки на него самого. И когда по Парижу распространились слухи, что полиция запретит «Фавна», потому что газета «Фигаро» заклеймила его как непристойный спектакль, он еще больше возмутился. С помощью друзей Роден написал взволнованный ответ «Фигаро», в котором горячо защищал спектакль. Его статья появилась на следующий день на первой странице «Матэн», главной соперницы «Фигаро». Огюста особенно радовала та часть статьи, где говорилось:

«…сегодня мы увидели Нижинского, обладающего одновременно талантом и настоящей школой. Его искусство так богато и разнообразно, что граничит с гениальностью… Великолепна гармония его мимики и пластики. Все тело его выражает то, что диктует ум. Нижинский обладает красотой античных фресок и статуй, он тот идеальный натурщик, о котором мечтает каждый художник и скульптор. Когда поднимается занавес и Нижинский лежит на скале, вытянувшись во весь рост, поджав под себя одну ногу, и играет на флейте, кажется, что перед вами статуя. Движения его волнующе выразительны, когда в конце он бросается на землю и страстно целует брошенную вуаль. Каждый артист или художник, по-настоящему любящий свое искусство, должен обязательно посмотреть этот спектакль – великолепное олицетворение идеалов красоты Древней Греции».

В тот же день Нижинский посетил Родена, чтобы выразить благодарность за горячую защиту, и скульптор был поражен наружностью танцовщика. Неужели этот маленький, хрупкий, незаметный человек в будничной одежде и есть тот самый фавн, который так очаровал его? Нижинский выразил желание позировать, и Огюст согласился. Позируя, Нижинский, возможно, окажется совсем иным, и удастся создать неплохую, скульптуру. Огюст несколько успокоился.

Но на следующий день его ожидал новый удар: он сделался мишенью яростных нападок. Кальметт, воспринявший его защиту Нижинского как личное оскорбление, написал в своей газете:

«Я глубоко восхищаюсь Роденом как одним из наших самых прославленных и талантливых скульпторов, но я не согласен с его суждениями по вопросу о театральной этике. Достаточно вспомнить, что, вопреки общественному мнению, он выставил в бывшей церкви святого Сердца и в залах отеля Бирон, этого бывшего монастыря, целую серию предосудительных рисунков и непристойных набросков, которые своей откровенностью и

бесстыдством превосходят фавна, справедливо освистанного в театре Шатле. Я могу прямо сказать, что патологическое кривляние танцовщика на сцене в тот вечер возмущает меня меньше, чем спектакль в старом монастыре святого Сердца с участием целого полка истерических поклонниц Родена и самовлюбленных снобов. Кажется невероятным, что правительство, другими словами, французские налогоплательщики, приобрело отель Бирон за шесть миллионов франков только затем, чтобы разрешить богатейшему из наших скульпторов жить в нем. Это действительно скандально, и долг правительства – положить этому предел».

Удар был ужасный. Огюст чувствовал, что окончательно лишился прав на отель. Он не сомневался, что теперь его выселят и что судьба музея висит на волоске, если только не удастся уговорить «Фигаро» изменить свой враждебный тон.

Париж захлестнула волна благочестия. Многие, в том числе и официальные чины, смотрели на Родена как на сластолюбивого старого сатира. Его работы высмеивались, и карикатуры на них появлялись в газетах; началась кампания за немедленное выселение его из отеля Бирон. Герцогиня считала, что существует лишь один способ спасти положение.

– Огюст, ты должен извиниться и отречься от написанного в «Матэн».

Он не стал с ней спорить-слишком он был утомлен, болен и отягощен годами, чтобы вступать в борьбу, – и герцогиня сама сочинила письмо в «Матэн», в котором Огюст отказывался от защиты Нижинского; письмо она подписала его именем.

Рильке испугался.

– Мэтр, вы не пошлете это письмо!

Огюст сидел, не произнося ни слова, подавленный сознанием тщеты людских усилий. Герцогиня торжествующе посмотрела на Рильке и отослала письмо.

«Матэн», которая уже заняла определенную позицию, не опубликовала опровержение Родена. Огюст, поняв, что это к лучшему, потребовал вернуть письмо и уничтожил его. Но когда Рильке обвинил во всем герцогиню, Огюст прервал его:

– Я сам продиктовал письмо, Райнер, и разрешил подписать моим именем. Вы слышали какие-нибудь новости о музее? Как вы думаете, они меня выселят?

– Думаю, что не выселят. У вас еще есть влиятельные защитники. Большинство никогда не узнает о письме герцогини.

– О моем письме. Я разрешил послать его. – Он печально подумал, что допустил две ошибки в своей жизни, о которых всегда будет сожалеть: послал это письмо и отказался выступить в

защиту Дрейфуса.

– Как бы там ни было, – сказал Рильке, желая ободрить мэтра, – многие за создание Музея Родена. Такие влиятельные люди, как Клемансо, Пуанкаре, Бриан…

Огюст горько улыбнулся и сказал:

– Райнер, я давно уже научился не полагаться на политических деятелей.

Он сочинил заявление, которое появилось в газетах на следующий день:

«У меня нет времени отвечать на все нападки мосье Кальметта. Я восхищаюсь искусством Нижинского и считаю его идеалом гармонии. Он выдающийся танцовщик. Надеюсь, что такой шедевр, как балет „Послеполуденный отдых фавна“, будет понят и оценен по достоинству и что для всех без исключения людей искусства это зрелище станет образцом истинной красоты».

Герцогиня заявила, что это безумие, предательство по отношению к ней, но он не стал ее слушать. Рильке поздравил мэтра.

В его возрасте остается только работа, думал Огюст. Он готовился лепить Нижинского и не допускал никого к себе в мастерскую. Его не выселили из отеля, как он ожидал, но он был уверен, что, когда срок аренды истечет, ее больше не продлят. Он не пускал в мастерскую и герцогиню, сказав, что должен работать в одиночестве, но окончательно с ней не порвал, хотя и собирался.

Нижинский пришел на первый сеанс в сопровождении Дягилева[141], которого забавляло огорчение скульптора по поводу разгоревшихся разногласий. Импресарио рассмеялся и сказал:

– Профавнисты, пророденисты, антифавнисты, антироденисты пусть себе кричат, мэтр. Слава наша от этого только растет.

Нижинский согласился позировать три вечера в неделю, пока Роден не закончит скульптуру. Хотя Нижинского и предупреждали, как медленно работает Роден, он был ему так благодарен за поддержку, что готов был на все.

И все же Нижинский растерялся, когда Огюст попросил его позировать обнаженным. Он смущенно спросил:

– Это ваше обычное условие, мэтр?

– Конечно. – Оно было известно всем.

Тело Нижинского показалось Огюсту маловыразительным, но, когда он двигался или позировал лежа, вытянувшись, как в начале балета, его тело оживало.

К концу первой недели они стали друзьями. Огюст заметил, что Нижинский робеет, когда говорит, неуверенно подбирает слова, но загорается внутренним огнем, когда позирует или двигается. Для Огюста работа была пробуждением, он снова обрел себя. Статуя фавна была для него воплощением его пластического искусства, как сам Нижинский – воплощением движения.

Теперь его дни были наполнены только ваянием и успокоительной тишиной. Они понимали друг друга без слов. В мастерской царило лето, сияло яркое солнце, и фавн, нежась, возлежал на скале. Огюст наслаждался работой, природой, преклонением Нижинского. Они так увлеклись работой, что Нижинский согласился увеличить число сеансов до пяти в неделю.

Глава XLIX

1

– Отдых – неплохая идея, – сказала герцогиня. – Ты слишком долго занимался этим танцовщиком, слишком много уделял ему времени и переутомился.

Огюст не ответил. Он схватился за стул, ища опоры. Тошнота усилилась. Ему казалось, что он сейчас упадет в обморок, голова кружилась, тело охватил озноб. Никогда еще он не ощущал такой слабости. Опустившись на стул, он вздохнул с облегчением.

Герцогиня не встревожилась. Она предупреждала Огюста, что так и случится, если он будет столько работать. И оказалась права. Теперь ей придется ухаживать за ним, окружить заботой.

– Я позову доктора, – сказала она.

Огюст хотел было возразить, но не мог. В последние годы он часто страдал от болей в костях; бывали дни, когда руки ныли так сильно, что приходилось работать с огромным напряжением, но никогда он не чувствовал себя таким беспомощным, как сейчас. Он не мог держаться на ногах, это было ужасно.

Доктор сказал, что у мэтра бронхит, нужен отдых и покой.

Огюст не соглашался. Пока он лежал в кровати и врач осматривал его, озноб, боли и тошнота прошли, но непонятная тяжесть давила, как он ни поворачивался. Он считал истинной причиной своего недуга сильное переутомление.

Доктор требовал, чтобы Огюст неделю не вставал с постели, и герцогиня энергично кивала в знак согласия. Она переехала в отель «в качестве его сиделки и преданного друга, согласно предписанию врача», – так было заявлено всем знакомым. Герцогиня запретила ему видеть кого бы то ни было, и в особенности Розу, посещения которой, заявила она, только ухудшат состояние Огюста.

Он хотел избавиться от ее «материнской заботы», но не хватало сил. Чем больше она говорила о его слабом здоровье, тем больше он пугался и боль в руках усиливалась. Сможет ли он снова лепить, с тревогой думал Огюст.

Герцогиня не проявляла особого беспокойства. Она сидела возле постели Огюста, пока прислуга, которую она наняла, кормила его, и успокаивающе говорила:

– Ты создал достаточно, чтобы обеспечить себя до конца жизни, даже если ты доживешь до восьмидесяти девяти лет, как Микеланджело.

Огюст вздрогнул, как от удара. Еще неизвестно, захочет ли он дожить до таких лет, если придется терпеть ее присутствие. Но он был так слаб, что без посторонней помощи ему не обойтись.

– Что слышно о музее? – спросил он. – Ничего нового? Срок аренды скоро кончается.

– Не волнуйся, Огюст. Мои влиятельные друзья позаботятся. Мой муж, герцог, – личный друг почти всех коронованных особ Европы, с некоторыми из них он даже в родстве. Они не позволят мучить такого больного человека.

– Я не так уж болен. – Его злила ее опека.

– Достаточно болен, мосье, – сказала она уверенным, довольным тоном.

– А как с Нижинским и Кальметтом?

– О, этот спор давно прекратился. Как только Нижинский уехал в Лондон.

– Значит, отель Бирон перестал быть яблоком раздора?

– Не совсем. Кальметт до сих пор настаивает на твоем выселении и говорит, что идея открытия музея – абсурд, но я обо всем позабочусь.

Однако прошел месяц, а герцогиня все требовала, чтобы Огюст оставался в постели, хотя силы его частично восстановились и он мог ходить, не испытывая головокружений и тошноты, он почувствовал себя, как в тюрьме. Его беспокоило, что с Розой.

– Как живет Роза? – спросил он герцогиню.

– Как крестьянка, – равнодушным и снисходительным тоном заметила она.

– Я не о том, – возразил Огюст. – Розе на жизнь нужны деньги. Кто оплачивает ее домашние расходы?

– Сама. За много лет накопила достаточно.

– Мадам, у нее нет и пятидесяти франков, она все получала от меня.

– Это она так тебе говорила. Всем известно, что у этой женщины припрятана не одна тысяча франков.

– «Всем известно». – Он смерил ее взглядом. – Ты имеешь в виду герцогиню де Шуазель?

Она покачала головой, осуждая его непрактичность в денежных вопросах, и сказала:

– Все знают, что после твоей выставки на площади Альма ты получал по меньшей мере двести тысяч франков ежегодно от продажи скульптур.

Он молчал. Если уж быть точным, то он и сам не мог сказать, сколько зарабатывал. Когда он получал крупную сумму, он всякий раз клал деньги в разные банки, чтобы не чувствовать себя

связанным с каким-то одним. Но если он сам не знал, сколько зарабатывал, то откуда знать ей?

Заметив, что он помрачнел, она поспешила добавить:

– Надеюсь, ты не обиделся, Огюст. Меня очень волнуют твои денежные дела. Не нужно позволять себя обманывать – и не будешь нуждаться. Ты очень небрежен в этих делах.

– Ты слишком завышаешь мои доходы.

– Но разве ты сам не сказал Клемансо, что твои скульптуры стоят больше шести миллионов?

Этот разговор был неприятен Огюсту. Ни одна из близких ему женщин не интересовалась его заработками. Даже Роза никогда не осмеливалась спрашивать, а Камилла считала это ниже своего достоинства. Камилла выбивалась из сил, чтобы заработать на жизнь и обеспечить себе творческую свободу, а прими она от него помощь, она была бы сейчас богатой. И Роза никак не шла из головы.

Он спросил:

– Почему она не приехала меня навестить?

– Не хочет. Она знает, что ее тут не ждут.

– Даже когда я болел? Не верю.

– А разве она приезжала? – торжествующе спросила герцогиня. – Разве приезжала, Огюст?

– Нет.

– Как ты думаешь, могла бы я не приехать, знай я, что ты болен? Конечно нет!

Огюст опустился на кровать, снова почувствовав ужасную слабость. Трудно было понять, где кончалась физическая боль и начиналась душевная. Его покорный и беспомощный вид радовал герцогиню.

Через несколько дней она решила нанести удар. В своей узкой юбке и боа из меха и перьев она чувствовала себя неотразимой. У Огюста улучшилось настроение: солнце заливало комнату, согревая и успокаивая его своим теплом, и он мог теперь без боли двигать руками. Герцогиня с чарующей улыбкой разрешила сесть на постели и дала немного его любимого бургундского. Когда, по ее расчетам, оно начало оказывать воздействие и Огюст стал нежным, гладил ее руки и говорил:-Ты меня так понимаешь, – она сказала:

– Да, я могла бы творить чудеса, если бы ты мне позволил.

– Что ты хочешь сказать? – Он вдруг сделался подозрительным, перестал ласкать ее руки.

– Ну, например, тот бюст, что ты сделал… – Она снова вложила свои руки в его.

– По-моему, он тебе не нравился.

– Я обожаю его. Всегда буду боготворить. Но если я его продам, после того как ты сделаешь копию, ты сможешь заработать по меньшей мере еще десять или двадцать тысяч франков.

– Если ты продашь? Но я тебе его не дарил. Тебе он не нравился.

Она посмотрела на него невинными глазами.

– Огюст, как ты можешь так говорить? Ты сказал, когда я захочу, а теперь я хочу.

Он не отвечал, но и не выражал неудовольствия, как она того боялась.

– Ты уже передал государству права и на копии твоих работ?

– Нет. Еще нет. – Прекрасно.

– Почему?

Герцогиня колебалась, но он казался не сердитым, а просто заинтересованным, и она продолжала:

– Ты знаешь, что эти права имеют большую ценность. У тебя огромное количество работ, и почти со всех можно сделать копии. Таким образом ты без труда можешь нажить целое состояние.

– Каким образом? – Голос его оставался все таким же мягким, но лицо покраснело.

Эта идея увлекла его, ликующе подумала герцогиня. Я поступаю правильно, он может стать еще богаче, и для этого не нужно будет трудиться над новыми скульптурами, он уже слишком стар, чтобы работать.

– Тебе нужен человек, который мог бы вести твои дела.

– И это ты?

– Кто-то должен этим заняться. Мне больно видеть, как ты теряешь одну возможность за другой. Я составила документ, согласно которому ты сможешь получать самые высокие цены за свои копии. Пока ты болел, было очень много заказов на твои старые работы, и я могла бы не отказывать, будь тут твоя подпись. Я подготовила этот документ, чтобы уберечь тебя от всех сложностей.

– Вроде того письма в «Матэн»? – Он принялся читать.

– Ты мне не доверяешь, Огюст?

– Доверяю, как и ты мне. – Он прочел соглашение, в котором говорилось что Огюст Роден передает все права по продаже копий своих скульптур герцогине де Шуазель при условии, что она получает треть суммы от всего проданного ею. С минуту Огюст подумал, затем спокойно сказал: – Очень хорошо. Где ты хочешь, чтобы я поставил подпись?

Герцогиня с трудом сдерживала радость, и голос ее дрожал, когда она указала место в конце соглашения.

Огюст взял перо, которое она ему протянула, быстро попробовал его на своем белом шелковом халате– герцогиня едва верила глазам, – а затем вручил ей перо обратно, прибавив:

– Оно не пригодно даже для рисования.

– Я дала тебе не затем, чтобы рисовать. – Он хочет ее помучить!

– Где моя одежда?

– Разве ты не подпишешь соглашение? Ты же обещал!

Он надел брюки, сам удивляясь, откуда берутся силы. Голосом, на этот раз холодным и резким, сказал:

– Я уже столько времени не работал. Обиженная, она жаловалась, следуя за ним, пока он одевался:

– Ты преуменьшаешь все, что я для тебя делаю. Я отдаю тебе все свое время, а взамен не получаю ничего.

– Даже денег.

– Огюст, права на копии – целое состояние. Ты ведь не собираешься передать их государству? Все, к чему прикасаются твои руки, стоит тысячи. А тебе ведь еще жить да жить.

Он пробормотал:

– Ты, видно, считаешь меня идиотом. Наверное, я им и был.

– Что ты говоришь, дорогой?

– Ты говорила, что я болен.

– Ты был болен. И сейчас еще болен.

Он уже был одет и направился к двери; она в ужасе воскликнула: – Куда ты?

– Я сомневался, передавать ли права на копии государству, но ты меня убедила. Кто теперь премьер? Пуанкаре? Я поговорю с ним сейчас же. Тогда они наверняка не откажут мне в музее.

– Не надейся. У тебя много других врагов, кроме Кальметта.

Огюст внимательно посмотрел на нее. Лицо ее, освещенное ярким солнцем и искаженное злобой, было отталкивающим. Удивительно, думал он, как ему могли нравиться эти резкие черты, размалеванная кожа. И тем не менее нравились. Видимо, он действительно был тяжело болен.

– Когда ты вернешься? – спросила герцогиня. К ней постепенно возвращалось самообладание.

– Когда вас здесь не будет, мадам, только тогда.

2

Условившись о встрече с Пуанкаре, Огюст попросил Бурделя:

– Очень прошу вас, съездите в Медон и предупредите мадам Розу, что я приеду сегодня вечером, после встречи с премьером. – Он был рад, что Бурдель не задал никаких вопросов, а просто

сказал: «Конечно, мэтр».

Пуанкаре обрадовался встрече с Роденом. Премьер слышал, что мэтр тяжело болен. Предложение скульптора передать права на копии его произведений народу Франции он счел поступком великодушным, но по-прежнему оставался неразрешенным вопрос с религиозно настроенными людьми: только было страсти улеглись, как выступление Кальметта их снова разбудило.

Но когда Огюст упомянул, что сам когда-то был послушником, братом Августином, и провел несколько месяцев в монастыре, премьер сказал:

– Это уже лучше. Вот если вы сделаете бюст папы, это разрешит все проблемы.

3

Каждый день Роза трудилась не покладая рук – убирала, шила, стряпала, не оставляя свободной минуты, только это и спасало ее от мрачных мыслей. Огюст никогда еще так долго не отсутствовал даже во времена романа с Камиллой.

Роза была в своей комнате, когда Бурдель привез весть от Огюста. Если он не появится в ближайшие дни, думала она, значит, она его больше не увидит. Не погуби его эта слава, все было бы иначе.

От неожиданности Роза чуть не уронила статуэтку, которую держала в руках, смущенно засуетилась. Ехать сюда из Парижа далеко, уже поздно, и Антуан, должно быть, проголодался.

– Антуан, вы должны перекусить, – предложила она.

– Спасибо, Роза, но вам лучше подготовиться к встрече мэтра.

И когда она забегала, не зная, за что приняться, он спросил:

– Вы знали, что он болел?

– Болел? – Роза побледнела. – Нет. Я не могла к нему попасть. Что с ним было?

– Доктор говорил, бронхит, но мне кажется, он просто переболел «герцогиней инфлюэнцей».

Роза поджидала Огюста у ворот. Она не сказала ни слова, просто подошла и взяла его протянутую руку. Постаревшим и усталым выглядел он, но слава богу, не больным.

Он сказал:

– Здравствуй, милая. Она ответила:

– Здравствуй, дорогой.

Вместе они направились в мастерскую. Она воскликнула:

– Огюст, я понятия не имела, что ты болел, я бы сразу приехала!

– Знаю, знаю, – ответил он.

Огюст обошел мастерскую, проверяя, все ли на месте, не отпуская Розу от себя.

– Я должен сделать Христа, – вдруг сказал он. И она подхватила:

– О, это будет шедевр, я уверена.

4

Последующие месяцы Огюст работал то в Медоне, то в отеле Бирон, но ночевал всегда в Медоне.

После посещения Пуанкаре никто его больше не беспокоил, но в начале 1913 года, когда кончался срок аренды, Огюст снова забеспокоился. А когда Министерство изящных искусств потребовало от него опись всех работ, его мрачные предчувствия возросли.

Огюст потратил на опись несколько недель и с удивлением узнал, что его произведения оценены в шесть миллионов франков. Он был миллионером, хотя по-прежнему наличных денег было мало. Он предоставил опись министерству, уверенный, что они не поверят этим цифрам, – он и сам не верил. И стал ждать. Шли месяцы, но ни об отеле Бирон, ни о музее ничего не было слышно. Начался 1913 год, срок аренды истек, но никто не предлагал ему выехать. Не грозили выселением, но и не обещали продлить аренду или создать музей.

Как-то в ветреный мартовский день, когда Огюсту казалось, что терпению приходит конец, его посетил Буше.

Это вторжение было Огюсту не по душе. По мере того как известность Родена росла, Буше к нему все больше охладевал. Казалось, со славой Родена росла и зависть молодого скульптора. Огюст все еще вынашивал замысел создания фигуры Христа. На этот раз Буше не был, как обычно, беспечен и жизнерадостен, он выглядел бледным и осунувшимся.

– Вам известно что-нибудь о Камилле? – мрачно спросил он.

– Нет.

– Но вы ведь знаете, что у нее было несколько припадков?

– Да.

– И вы ничего не предприняли? – осуждающе спросил Буше.

– Господи! – воскликнул Огюст. – Что я мог сделать? Я пытался ей помочь, но она отказалась. И тогда я оставил ее в покое.

– Но она была больна, душевно больна. И вы не чувствовали угрызений совести?

Огюст растерянно спросил:

– Чем я мог ей помочь?

– Устроить выставку ее работ.

– Я устроил. Когда она узнала, то забрала работы обратно.

– И вы больше ничего не могли сделать?

– Что случилось, Альфред?

– Вчера… – Голос Буше сорвался, и несколько минут он не мог продолжать. А затем взволнованно заговорил: – Это было ужасно. Она много дней не выходила из своей мастерской, ничего не ела, сидела с закрытыми ставнями. При свете свечи на коленях молилась перед гипсовой статуей святой девы, которую, видимо, сделала сама, ласкала ее и шептала: «Моя дорогая». Никого не узнавала, даже брата Поля. Словно ребенок, который впервые исповедуется в своих грехах. Когда ее брат попытался открыть окно, проветрить комнату, она села в угол и стала биться в припадке. Брат вынес ее из мастерской. Камилла сопротивлялась, царапалась, кусалась.

– И он отвез ее в другой дом для умалишенных? – тихо спросил Огюст.

– Он тоже называется приютом, уход там лучше. Только ничто уже не поможет. Слишком поздно. – На глазах у Буше были слезы. – Огюст, это полный распад личности. Она безумна. Неизлечима, Когда я привел ее к вам, не думал я, что все так печально кончится.

Огюсту хотелось сказать многое, но он лишь промолвил:

– Франция потеряла прекрасного скульптора.

ГЛАВА L

1

Огюст твердил себе, что поступил в отношении Камиллы так, как поступил бы на его месте любой здравомыслящий, разумный мужчина. Он пытался забыться в работе, но теперь это было ему не по силам. Самообман не подействовал, весть об ухудшении состояния Камиллы не прошла даром. Частые приступы тошноты и головокружения не оставляли его. Он научился не обращать внимания на боль в суставах и онемение, хотя работать приходилось все труднее. Но не мог относиться философски терпеливо к острым головным болям, они мучили его слишком часто, и после таких приступов он чувствовал себя совсем немощным. Болезни застали Огюста врасплох, прежде он никогда не жаловался на здоровье. Угрызения совести и тоска, одолевавшие его, усугублялись физическим недомоганием. Может быть, думал он, ему, как Камилле, грозит нервное расстройство. О своих недугах он не говорил никому, даже Розе, и старался держать себя в руках.

Он продолжал ждать решения судьбы отеля Вирой и музея; душа его жаждала покоя, но покоя не было. Летом 1914 года разразилась война. Через несколько недель немцы достигли Марны, подошли к Медону. Правительство приказало Родену покинуть Медон, чтобы не оказаться пленником. Этого нельзя допустить, поскольку он представляет собой национальную ценность. Он стал собственностью Франции – эта мысль забавляла Огюста.

Сознание своей нужности людям поддерживало его силы. Но хотя он страстно любил Францию и с возрастом это чувство все росло, он не считал, что война с Германией прибавляет ей славы. Большинство людей, в том числе и его друзья, восхваляли храбрость пуалю[142] и кричали о «боевой славе» французов, словно вернулись времена Наполеона, а он мрачно думал о том, скольких жертв будет стоить эта война. Но когда он слышал, как дети распевают «Марсельезу», его наполняла гордость за свою страну, героически сопротивлявшуюся немецкому вторжению.

Готовясь покинуть с Розой Медон, он в последний раз навестил «Бальзака»; статуя была слишком велика, чтобы перевозить ее в такой спешке, он надеялся, что не все немцы окажутся варварами и памятник уцелеет. Единственным спасением было бы повесить на доме красный крест, чтобы спасти

скульптуры, но говорили, что и это не поможет.

Роза звала:

– Скорей, скорей, Огюст. Слышишь, уже стреляют пушки. Говорят, немцы вот-вот будут здесь.

Но он не мог двинуться с места. Как можно покинуть то, чему отдана вся жизнь. Роза схватила его за руку.

– Немцы очень сердиты на тебя. В прошлом году ты отказался делать бюст их кайзера.

– У меня были веские оправдания. Я сказал, что нездоров.

– Они поняли, что это только отговорка. Сам кайзер просил тебя, немцы восприняли это как национальное оскорбление.

Огюст пожал плечами. Недовольство кайзера его мало трогало, а вот когда Рильке обиделся на него за отказ позировать его жене Кларе – это Огюста огорчило. В свое оправдание он привел те же доводы– он нездоров. Рильке в течение многих лет жил раздельно с женой: поэт не признавал помех в своей работе. Но недавно он вернулся в Берлин, стал заядлым патриотом и, не прощая больше обид, кончил переписку с Роденом.

– Тебе хватит наличных денег? – спросила Роза и вручила ему тяжелый мешок, полный десятифранковых монет.

– Нет-нет, это не то, – сказал он, возвращаясь к действительности. Неужели они оставят немцам все накопленные деньги? – Нам нужны только банкноты, – сказал он, – Принеси все, что ты скопила, Роза. Все!

Роза принесла большой пакет банкнот – грязных, затрепанных. Огюст, не торопясь, пересчитал, что ей удалось скопить. Сумма превысила десять тысяч франков. Огюст вытащил деньги, которые сам сберег, – тоже больше десяти тысяч – и с усмешкой сказал:

– Как видно, мы с тобой оба не доверяем банкам?

– У меня есть немного и в банке, – сказала она. – Тебя так подолгу не бывало.

– От крестьянской закваски так просто не избавишься, – сказал он. – Банки. – Он засмеялся. – Я знаю, что это такое, деньги всегда лучше иметь под рукой. – Он сгреб банкноты и засунул их во внутренний карман пальто.

2

Париж тоже не был спасением. Ходили слухи, что немцы прорвали фронт у Марны и скоро захватят город. Огюст не мог допустить такой мысли, он не хотел покидать Париж, но правительство ради его безопасности советовало уехать в Англию. Опасаясь, что это может подействовать на решение

вопроса о музее, он не стал возражать. Но выяснить, как обстоят дела с отелем Бирон и музеем, не удавалось.

Он бродил по Парижу с таким чувством, словно видит его в последний раз, и вдруг встретил Дега. Художник стоял около Лувра, под аркой на площади Карусели. Говорили, что Дега почти совсем ослеп, но художник заметил Огюста.

– Ты постарел, Огюст, у тебя совсем седая борода, – сказал Дега.

– Я думал, ты ничего не видишь.

– Я и не вижу. На днях делал наброски, и меня чуть не сшиб один из этих проклятых автомобилей.

Огюст молчал. Неужели Дега действительно решил забыть об их ссоре?

– Старость-это мучение, – проворчал Дега. – Как дела с твоим музеем?

– Никто ничего не знает. Хотят, чтобы я уехал в Лондон.

– А я никуда не поеду, но и здесь мне негде жить. Ты слышал, что они разрушили мой дом на улице Массе? Я ведь прожил там двадцать семь лет. Они называют это прогрессом. Чудовищно!

Огюст кивнул. Он слышал, что Дега скитается по Парижу, словно бездомный бродяга, хотя ему уже восемьдесят, и по-прежнему грозит всем, хотя стал беспомощным, жалким стариком.

– Ты, должно быть, немало накопил. Подумать, сколько ты продал скульптур, – позавидовал Дега.

– Я ведь не имел постоянного источника дохода, как ты.

– Все басни.

– Так же как и разговоры о моих продажах. Я собираюсь завещать все свои работы Франции. А кому ты завещаешь свои картины? – Огюст знал, что у Дега не было определенных планов на этот счет; рассказывали, будто он со злости безжалостно уничтожал все свои картины, когда они попадали ему под руки.

– Зачем оставлять кому-то? – пробормотал Дега. – Я рисовал их для собственного удовольствия, а не для глупой публики и завистливых друзей.

– Это верно, – сказал Огюст. – Спаси нас бог от друзей.

Дега кивнул и спросил:

– Ты ведь шел в Лувр, Огюст?

– Хотел зайти на несколько минут. Как думаешь, немцы не пощадят его?

– Кто знает! Ты слышал, что мои картины теперь в Лувре, хотя я и не просил?

– Конечно. Поздравляю.

– Чего поздравлять? Люди теперь перепродают мои картины

и получают в десять раз больше, чем платили мне. И когда Кайботт[143] завещал свое собрание государству, шуму было, как с твоим «Бальзаком». Правительство не знало, как поступить. А теперь мои картины запихнули в маленькую комнату, в самый угол, рядом с уборной.

– Но ты хочешь, чтобы я посмотрел их?

– Это невозможно – комната слишком темная. – В голосе Дега зазвучала мольба. – Знаешь, я никогда не придавал значения тому, что думают люди о моих картинах, но у тебя хороший глаз, ты можешь описать мне мою палитру.

3

Посетив Лувр, Огюст вместе с Розой уехал в Лондон. Он хотел увидеть своих «Граждан Кале», которые были установлены английским правительством рядом со зданием Парламента; это несколько смягчало боль расставания с Францией в такое тяжелое время.

Роза, в черном платье с белым кружевным воротничком, радовалась, что Огюст с ней, и не отходила от него ни на шаг.

Хотя вид «Граждан», удачно поставленных у Парламента, здание которого Огюсту особенно нравилось, доставил ему удовольствие, в Лондоне он скучал по Парижу. Он жил в отеле Рембрандт-этот отель он выбрал за его название-и все беспокоился за судьбу своих скульптур. А когда наступление немцев было приостановлено у Марны, появилась новая причина для волнения: что, если литейщики небрежно обойдутся с его работами?

Известие о том, что немцы нанесли повреждения Реймскому собору, его очень взволновало. Немцы стали для него ненавистными варварами, грозящими уничтожить всю красоту и цивилизацию. Да и Лондон, где не осталось никого из старых друзей – а молодые были слишком для него молоды, напоминая, что и сам он смертен, – тоже не мог его ничем порадовать. Когда Огюста попросили сделать скульптурный портрет папы римского, он обрадовался. Это позволит ему уехать из Лондона. Он пойдет по стопам Микеланджело. И, что важнее всего, попробует воздействовать на папу Бенедикта XV, до сих пор державшего нейтралитет; надо убедить папу, что справедливость в этой войне на стороне Франции.

Роден приехал в Рим в феврале 1915 года и, увидев папу, удивился: папа оказался очень маленького роста. Огюсту понравилась его голова, широкоскулое лицо с тонким решительным ртом и волевым подбородком. Он разложил свои

инструменты и материал. Папа спросил:

– Это не займет много времени?

– В таком деле нельзя спешить, Ваше святейшество.

– Я могу себе позволить лишь несколько сеансов. Я очень занят. Вы ведь знаете, идет война.

– Да, и это тоже важный вопрос, война…

– Нет! – прервал папа. – Не будем касаться этого вопроса. Торопитесь.

– Но это портрет, не фотография.

Но папа не слушал. Он захотел сидеть на высоком постаменте.

Огюст был в растерянности. Папа сидел неподвижно, в неестественной, напряженной позе, и мысли его витали где-то далеко. Огюст знал, что не может ощупать лицо папы, как привык это делать с другими моделями. Нужно хотя бы рассмотреть его поближе; он попросил папу походить по комнате, но тот возмутился.

– Папа внизу, скульптор наверху, – резко ответил Бенедикт, – нарушение правил. Поторопитесь. У меня мало времени.

Во время второго сеанса Огюст сделал несколько вариантов головы и, возмущенный тем, что приходится лепить так быстро и небрежно, хотел уничтожить их.

Когда он начал поправлять лучший из бюстов, папа сказал:

– Не надо, он очень похож.

Огюст хотел было поспорить, но вспомнил, как важно для него сделать бюст папы.

– Вы правы, Ваше святейшество. Он вам нравится? – спросил Огюст, презирая себя за то, что интересуется мнением модели.

Папа пожал плечами, словно хотел сказать: какое это имеет значение? Самое главное, что есть сходство. Скульптор последовал его совету, и папа удовлетворенно улыбнулся.

Ободренный Огюст прервал работу, чтобы заговорить о войне. Само собой разумеется, сказал он, такой мудрый человек, как Его святейшество, знает, что немцы варвары и что Франция является колыбелью цивилизации. От папы многое зависит. Огюст не обращал внимания на попытки папы прервать его.

Огюст говорил, не замечая времени. По тому, с каким задумчивым, почти отсутствующим видом папа покинул мастерскую, он понял, что разговор произвел должное впечатление.

Третий сеанс Огюст начал с вопроса:

– Ваше святейшество, почему бы вам не осудить варварское нападение Германии на Бельгию?

Папа резко ответил:

– Лучше заканчивайте бюст. Я не смогу больше позировать.

Огюст испугался.

– Я только начал! – воскликнул он. Папа критически уставился на бюст, который одобрил в прошлый раз. Скульптор, должно быть, не в своем уме. Бюст, обладавший сходством, превратился в бесформенную глиняную массу.

– Что это такое?

– Правда, Ваше святейшество. Вы тоже скажете правду о войне?

Папа смерил его насмешливым взглядом и холодно произнес:

– Мосье Роден, вы наивный человек. Заканчивайте бюст сегодня либо пользуйтесь фотографией. – Увидев на лице скульптора выражение ужаса, он прибавил: – Если это трудно, можете скопировать мой бюст, сделанный графом Липан.

Продолжать работу не имело смысла, Огюст остановился, но папа не обиделся, а, напротив, удовлетворенный, сказал:

– Вам заплатят за материал, мосье, – и вышел, не добавив ни слова.

Огюст решил закончить бюст по памяти, в Медоне, если у него это получится.

4

Но закончить его было не так легко. Все теперь для Огюста стало трудным. Он работал одновременно над бюстом папы, над бюстом Камиллы, какой ее помнил, когда они впервые встретились, и над статуей Христа; но прошло несколько месяцев, а работы так и не были закончены. Когда его спрашивали о папе, он возмущенно отвечал:

– Ему следовало оставаться приходским священником.

Но незаконченный бюст папы был еще не самым худшим огорчением. Часто приходилось ложиться в кровать, чтобы восстанавливать иссякающие силы, бороться с усталостью, которая грозила сломить его.

Он пытался восстановить в памяти удивительные серо-голубые глаза Камиллы, ее прекрасные брови, изящную линию рта, но прошлое оставалось прошлым, а бюст не получался. К тому же мучила бессонница, терзали нестерпимые боли.

Он старался не жаловаться Розе, не хотел ее волновать. Она и сама чувствовала себя неважно. И когда она попросила у него разрешения поселить в Медоне маленького Огюста и женщину, с которой тот жил, – толстую неряху, очень, однако, преданную их сыну, – Огюст согласился.

Хотя выносить их присутствие было трудно, но, может быть,

они в какой-то степени облегчат заботы Розы. Война зашла в тупик, найти прислугу было невозможно, на кого же еще положиться, как не на родных.

Когда Роза сказала маленькому Огюсту, что мэтр, возможно, женится на ней и он станет законным сыном, тот обрадовался. Огюст обещал сыну поселить его у себя, кормить и давать двести франков в месяц, но по возможности избегал с ним встреч. И все же, когда сын переехал к ним, он почувствовал себя лучше – Роза теперь будет не одна, ей не придется так много работать. Огюст вернулся к бюсту Камиллы. Работа двигалась плохо, но он знал, что она необходима.

В Париже он отыскал огромный средневековый дубовый крест и купил его за несколько сот франков. Роза была удивлена, увидев эту покупку, – Огюст никогда не был религиозным, да и где его поставить?

– В спальне, – ответил Огюст.

– Но он туда не войдет, – воспротивилась Роза.

– Знаю, высота его восемнадцать футов, а высота спальни двенадцать футов, но я все устрою. Вот увидишь.

Вскоре под наблюдением Огюста работали несколько стариков литейщиков, соседи и сын. Роза предупреждала Огюста, что ему нельзя напрягаться, но он с энтузиазмом взялся за дело вместе с другими, желая во что бы то ни стало установить дубовый крест в спальне. Стоило огромных усилий доставить это массивное средневековое произведение в Медон, но еще больше труда стоило поднять его по лестнице. Все отговаривали Огюста, но он настоял на своем. Огромный крест наконец втащили в спальню. Огюст не разрешил подрезать концы, он кричал, что это нарушит пропорции. С молодым пылом помогал он внести в спальню этот шедевр средневекового искусства. И гордился, что его руки не потеряли силы.

Стены дома сильно пострадали – в них было пробито много дыр, но Огюста это не заботило. Он приказал прорубить отверстия в полу и потолке спальни. Помощники считали, что мэтр сошел с ума, но он добился своего – крест установили у стены, против его кровати, вершина его выходила на чердак, подножие в расположенную в нижнем этаже столовую, а лицо Христа оказалось как раз на уровне глаз Огюста.

Оставшись с Огюстом вдвоем, Роза спросила:

– Ты стал верующим?

Он пожал плечами, словно давая понять, что в жизни нужно испытать все, улыбнулся, довольный, как мальчишка, и сказал:

– Мне нравится мастерство и вся композиция. Это прекрасная скульптура. – Подошел к кресту и вдруг, почувствовав резкую

боль в голове, схватился за крест, чтобы не упасть.

Заметив, как он побледнел, Роза испуганно спросила:

– В чем дело?

– Все в порядке. Я чувствую себя прекрасно. Просто немного устал. – Огюст сел на стул.

– Это правда?

Он кивнул – говорить было трудно. Но через минуту боль прошла, а с ней и головокружение, и он сказал:

– Нужно прибрать тут.

– Чтобы привести все в порядок, потребуется целый месяц.

– Мы не собираемся уезжать. Я все время буду дома, дорогая.

– Тебе лучше? – Роза не хотела волновать его своей озабоченностью, но ведь он теперь все в ее жизни, больше, чем раньше.

– Да. – Он заставил себя улыбнуться, чтобы успокоить Розу. – Когда я смотрю на Христа и думаю, как много он страдал, мне становится легче.

Огюст вернулся к работе над бюстом Камиллы, но через несколько дней, когда он лихорадочно подгонял себя, чтобы закончить бюст, пока совсем не иссякли силы, темная волна захлестнула его, и он потерял сознание. Придя в себя, он увидел валяющийся у ног резец. Огюст попытался поднять резец и не смог. Неужели у него окончательно отнялась рука? Он позвал Розу и попросил подать резец.

Роза сильно напугалась.

– Ты болен, Огюст!

– Нет, это все рука. Я, видимо, повредил ее. – Он попытался снова приняться за работу и обнаружил, что не может держать инструмент.

Роза хотела позвать врача, но Огюст сказал, что нет необходимости, он просто переутомился.

Силы не возвращались. Огюст не владел рукой и не мог больше лепить. С тоской он обнаружил, что онемение в руке не проходит, но не смел никому говорить, словно это было позором.

Роза сделалась слабой и болезненной; часами сидела и смотрела на расстилавшийся пейзаж, и, если Огюст был рядом, она была вполне счастлива, но он не хотел сдаваться, без борьбы смириться со своим состоянием.

Все дни Огюст проводил в мастерской, рассматривая свои скульптуры. Глядя на «Бронзовый век», он думал, что, будь у него сейчас тот бельгийский натурщик, он сделал бы другой вариант, более строгие линии– он и сейчас еще тщательно изучал анатомию. Прикасался рукой к статуям, словно пытаясь ощутить их тепло, благодарный им и за эту милость. Все говорили, что вид

у него хороший, но он чувствовал себя таким усталым.

Огюсту хотелось установить дружеские отношения с сыном, но это было нелегко. Маленький Огюст был позором его жизни. Он сильно пил. Огюст попрекнул его этим, но маленький Огюст встретил отцовские упреки в штыки, он знал, что старик сейчас в нем нуждается, и сказал:

– А что мне делать? Ты ведь поневоле терпишь меня здесь, я это знаю.

Его ли вина, что сын до такого дошел, думал Огюст. Единственное, что удерживало маленького Огюста, – это наследство, которое он надеялся получить. А можно ли завещать деньги опустившемуся пропойце?

Но больше всего Огюста мучила невозможность работать. Он не мыслил жизни без работы. Бесцельное существование – не для него. Много дней он потратил на то, чтобы оживить больную руку, но ничто не помогало, она по-прежнему была вялой и беспомощной. Как-то раз в полном отчаянии он схватил онемевшую руку здоровой рукой и вдавил ее в глину. Нужно вдохнуть в нее жизнь, ведь сумел же он вдохнуть жизнь во множество скульптур. Огюст делал отчаянные усилия, в висках бешено пульсировала кровь, но он решил добиться своего – рука должна ожить. Он будет ее массировать о глину, и это ее пробудит. Он нажимал все сильнее и сильнее; боль в голове все усиливалась, но Огюст не обращал внимания. Все закружилось перед глазами. Падая, он думал об одном-только бы не задеть фигуру, она еще не закончена…

Огюст пришел в себя и увидел, что лежит в постели, взгляд его был устремлен на Христа на стене; доктор говорил кому-то:

– У него был удар, это спазм мозговых сосудов, вызвавший кровоизлияние. Нам придется объявить его неправоспособным.

Нет, он правоспособен, с возмущением подумал Огюст. Он не мог подняться, трудно было говорить и шевелиться, но он мог видеть Розу, и Камиллу, и «Бальзака», и «Виктора Гюго». Гюго работал до восьмидесяти лет, а ему всего семьдесят пять или, может, уже семьдесят шесть? Он точно не знает. Ему говорили, что он болен уже много недель, но он не помнил, ему казалось, что это произошло только вчера. И «Бальзак» стоял на своем месте, он видел его в окно спальни.

А теперь ему представляют какого-то Жана Грита, чиновника из Министерства изящных искусств, он хочет обсудить с ним вопрос о музее.

– Вопрос наконец решен? – с тревогой спросил Огюст.

– О нет, – сказал Жан Грит. – Мы просто хотим составить предварительное соглашение.

– Предварительное? Что вы хотите сказать? – Огюст сел на постели, когда доктор кивнул, что можно. «Гюго» и «Бальзак» теперь были не видны, а перед ним был человек, так похожий на всех других, которых он встречал в официальных кругах, вежливый, но холодный, все понимающий и осторожный. Огюст подумал: сколько я таких встречал, и все вы на один лад, я не верю ни единому вашему слову.

– Это будет временный контракт, пока мы не выработаем окончательные условия.

– Но мне казалось, существует много возражений. – В голове у него прояснилось, и теперь он видел чиновника вполне ясно. Жан Грит был полный мужчина средних лет.

– Верующие удовлетворены. Вы сделали бюст папы.

– Я его не закончил.

– Достаточно, что вы его начали.

– Видимо, это не единственная причина, – подозрительно проговорил Огюст.

– Кроме того, вы были больны, мэтр. – Знаю.

– И пока вы болели, многие ваши работы украли. Мы хотим охранять ваши работы, но не можем это сделать, пока у нас нет соглашения о том, что они принадлежат нам или, по крайней мере, когда-нибудь будут принадлежать.

– Ах, вот в чем дело. – Огюст внезапно понял причину такой поспешности. – Я серьезно болел, и вы полагаете, что смерть моя не за горами.

На лице Жана Грита выразилось смущение, он молчал.

– Обманывать меня ни к чему, я не боюсь смерти. Есть вещи похуже.

– Все мы смертны, мэтр, и с этим делом надо спешить.

– В особенности, если я умственно неправоспособный.

– Мы этого не говорили.

– Юридически или умственно – не все ли равно? И вы хотите иметь мое одобрение и мою подпись, пока я еще в здравом уме и рассудке. – У него перехватило дыхание. Они, видимо, считают, что он страдает той же болезнью, что и Камилла. Огромным усилием воли Огюст поднялся с постели. Ноги еще способны носить его, только рука парализована. Отказываясь от посторонней помощи, он оделся сам и сказал:

– А как насчет мадам Розы? Она будет обеспечена? Я не могу оставить ее без гроша.

– Мэтр, вы еще переживете всех нас.

– Поэтому вы так и спешите? А как с завещанием?

– Оно составляется.

– Без моего одобрения? Я еще не умер и не сошел с ума!

– Ну что вы, мэтр. Контракт, который мы просим вас подписать, предварительный. Министерство предложит свои условия, а затем вы предложите свои. Мы не собираемся оставлять вас на произвол судьбы, после того как вы преподнесете нам столь щедрый дар.

– Кому я обязан этим? Клемансо?

– Нет. Он не у власти, хотя может снова стать премьером, если немцы будут одерживать победы. Он настроен к ним непримиримо.

– А Пуанкаре?

– Он сейчас президент и тоже занят только войной, мэтр.

– Теперь я все припоминаю.

– Его дружба вам пригодится, когда вопрос о музее будет поставлен на голосование в Сенате.

– Какая дружба? Он просто один из моих знакомых, политический деятель. Я надеюсь, у вас есть более сильная поддержка. Могу я прочесть соглашение, мосье?

Огюст подписывал соглашение, когда в спальню вошла Роза. Видя, что Огюст улыбается, она вскрикнула от радости, нежно взяла его за руки. Жан Грит сердечно поблагодарил Родена и откланялся. Огюст сказал Розе:

– Я передаю государству все свои работы.

– Знаю, дорогой. Как ты себя чувствуешь? У тебя такие холодные руки.

– Я был очень болен. – Он снова поднялся, держась за кровать, чтобы не упасть.

– Но теперь тебе лучше, я вижу. Давай пройдемся по комнате.

– Сначала нужно поговорить о завещании.

– Не теперь, Огюст.

– Нельзя откладывать.

– Нам некуда торопиться.

– Как быть с маленьким Огюстом?

Роза покраснела от волнения – она была обеспокоена судьбой сына, и Огюст это знал.

– Ты оставишь что-нибудь мальчику? – спросила она.

– А ты разве не оставила, Роза?

– Этого не хватит, Огюст.

– Я завещаю ему три тысячи франков в год, – с прежней решительностью сказал он. – Если оставить ему больше, он все равно промотает. – И, увидев ее обиженное лицо, добавил:

– А остальное тебе – Медон, все мое имущество. Роза воскликнула:

– Что я буду делать с ним без тебя?

Огюст не ответил. Он медленно побрел в мастерскую

посмотреть на статуи, пока и глаза еще не отказали.

5

Переговоры между чиновниками Министерства изящных искусств и поверенными Родена продолжались несколько месяцев. Хотя сознание покидало его теперь лишь изредка, он с каждым днем все больше слабел и едва находил силы заниматься делами.

Наконец 13 сентября 1916 года он завещал все свои скульптуры Франции и получил взамен разрешение открыть в отеле Бирон Музей Родена.

Огюст сам был поражен количеством созданных им произведений. Пятьдесят шесть скульптур в мраморе, пятьдесят шесть в бронзе, сто девяносто три в гипсе, сто терракот, более двух тысяч рисунков и набросков и сотни ценных античных скульптур: греческая и римская скульптура и древнее египетское искусство. Он надеялся, что в ответ на его щедрость Франция не останется перед ним в долгу. Розе был завещан Медон и гарантирован пожизненно приличный доход, но соглашение должно было пройти палату депутатов и Сенат, и ходили слухи, что оно встретит значительную оппозицию. Через день после подписания соглашения, несмотря на то, что дела на фронте шли все хуже и хуже, палата депутатов триста девяноста одним голосом против пятидесяти двух одобрила законопроект, согласно которому государство принимало дар Родена и учреждало Музей Родена.

Огюст выслушал это сообщение молча – он был слишком слаб, чтобы радоваться. Теперь дело было за Сенатом, а Сенат всегда отличался большой консервативностью.

Несколько недель спустя, когда Огюст слег в постель с новым приступом бронхита, ему сообщили, что Пуанкаре, президент Франции, высказался против. Пуанкаре удивился, почему соглашение предусматривает пожизненную ренту мадемуазель Розе Бере, в то время как мосье Роден не женат. Это не соответствует моральному кодексу, заявил президент.

Огорченный Жан Грит, приложивший много усилий к тому, чтобы соглашение было принято – ведь это в значительной степени поднимало его собственный престиж, – сообщил больному, что существует лишь один выход: мэтр должен жениться на мадемуазель Розе.

Огюст еле кивнул головой, он был так слаб, что не мог спорить – у него едва хватало сил бороться за жизнь.

– Вы согласны? – Жан Грит взволнованно ждал ответа.

– Да-да. – Папа был бы доволен. В конце концов он сдержал свое слово.

Пуанкаре, узнав об этом, снял возражение. Сенат одобрил соглашение двумястами двенадцатью голосами против двадцати семи. Решение было окончательным.

Бракосочетание пришлось отложить до того времени, пока Огюст не оправится после нового приступа бронхита. Он не хотел, чтобы церемония состоялась, когда он лежит в постели, и Роза тоже настаивала– церемония должна быть по всем правилам, она считала, что заслужила хотя бы это.

И вот 29 января 1917 года, через пятьдесят лет после рождения маленького Огюста, состоялась их бракосочетание. Уголь кончился, нечем было отапливать дом, накануне лопнули водопроводные трубы – на улице стоял мороз, – немцы снова перешли в наступление, и в этот день мэр Медона объявил Огюста и Розу мужем и женой.

Мэр спросил:

– Вы клянетесь любить, почитать и лелеять друг друга?

И Огюст слабо улыбнулся и сказал несколько насмешливо, но торжественно:

– Само собой разумеется, ваша честь.

Роза, не дождавшись вопроса, взволнованно проговорила:

– Да, всем сердцем.

Маленький Огюст, который стоял позади родителей в качестве одного из свидетелей, не испытывал радости: Роден все-таки отказался его усыновить.

Через день после свадьбы Роза, как полагается каждой жене, решила, что у них должен быть медовый месяц, хотя маленький Огюст ядовито заметил, что вместо медового месяца им следует отпраздновать золотую свадьбу. Но Огюст мучился от кашля, в доме было страшно холодно, и они, чтобы согреться, лежали в постели.

Огюст, чувствуя, что Роза слабее его, пытался заставить ее накрыться одеялами, но она отказалась, говоря, что он в них нуждается больше, хотя сама промерзла до костей. Огюст просил Жана Грита достать им немного угля и починить водопроводные трубы. Чиновник пообещал сделать все, что будет в его силах, но сказал, что солдаты на фронте под Верденом тоже мерзнут и нуждаются в каждом куске угля.

Через две недели после разговора о медовом месяце Роза умерла от простуды.

Огюст принял известие о ее смерти по виду равнодушно. У него не было больше слез. Чтобы плакать, нужны силы, а он все силы отдал работе. Однако его напускное спокойствие исчезло,

когда Жан Грит, ставший одним из его душеприказчиков, спросил, где похоронить Розу. Вопрос был лишний.

– Здесь! – твердо заявил Огюст. – В Медоне, рядом со мной!

– Какую надпись вы хотите сделать на плите, мэтр?

– Наши имена и даты рождения и смерти. И все.

– Никаких эпитафий?

– Слова ни к чему, потомки составят обо мне свое собственное мнение. Но я бы хотел одного: чтобы на нашей могиле был установлен «Мыслитель».

– Хорошо, мэтр.

– Спасибо. Ведь я пролежу там много лет, миллионы лет.

Всю ночь накануне похорон Розы Огюст неподвижно просидел у ее гроба, сжимая холодные руки покойной. И когда подошло время закрывать гроб, он нежно поцеловал ее в губы и прошептал: – Какая прекрасная статуя!

Спустя несколько дней после похорон, неожиданно войдя в спальню, он обнаружил там маленького Огюста: тот вынимал деньги из чулок, ваз и других потайных мест, где мать имела обыкновение прятать свои сбережения. Сын виновато взглянул на отца – он до сих пор боялся мэтра, был уверен, что старик придет в ярость и отнимет у него деньги. Но Огюст спокойно произнес:

– Теперь это твои деньги. Она завещала их тебе.

– Двенадцать тысяч серебряных и золотых франков! – воскликнул маленький Огюст.

– И еще кое-что в банке. Тебе хватит, чтобы прожить.

Маленький Огюст стал было извиняться за свою поспешность, он хотел удостовериться, что на этот раз его не обманут, и вдруг умолк – отец не слушал его. Огюст печально глядел на вещи Розы, чувствуя себя как никогда покинутым и одиноким.

6

С приходом весны и тепла Огюст стал поправляться. Каждую минуту, как только позволяли силы, он проводил в мастерской. Он не мог работать, не мог даже делать наброски, но ему так хотелось работать – он видел теперь, сколько у него недоделок.

Будь впереди еще десять лет, думал он, или хотя бы пять, пусть год, целиком отданный работе, он бы сумел сделать так много, так много – раньше он этого не понимал. Когда человек наконец начинает постигать смысл вещей, у него иссякают силы и он уходит в небытие. Огюст много размышлял о войне, его огорчало, что Франция все еще терпит поражения, хотя слышал, что в войну вступила Америка и скоро должен наступить

перелом, но о настоящем думалось с трудом. У него редко бывали посетители. Почти все, кого он знал, были далеко либо давно сошли в могилу.

12 ноября 1917 года, в день, когда ему исполнилось семьдесят семь лет, он опять заболел бронхитом и слег. Он смотрел на Христа на стене и, впадая в беспамятство, думал о том, встретятся ли они когда-нибудь снова.

В следующие дни лихорадка усилилась, появились хрипы в легких. Огюст не приходил в себя. Перед ним мелькало множество лиц: Мари, Папы, Мамы, отца Эймара, Биби, Пеппино, Лекока. Но где были Камилла и Роза? Сколько ни искал, он не мог их найти. Неужели они в конце концов его покинули? Затем он услышал шепот Розы: «Что он без меня будет делать?» – слова, которые она шептала перед смертью, но все вокруг снова заволокло серым туманом, и он не мог ее отыскать. Он видел себя спорящим с Папой о поступлении в Малую школу – как они много спорили из-за этого, – увидел свою первую обнаженную натурщицу, вспомнил, как он мечтал быть похожим на Барнувена и понимал, что это недостижимая мечта, вспомнил, как Мари защищала Барнувена, несмотря на его предательство, и вдруг он увидел Розу такой, какой встретил впервые на улице-хорошенькую, с гордой осанкой, он видел упоенную счастьем Камиллу, какой она была в Туре. Прожита целая жизнь, а ему мало…

И снова перед глазами его стояли «Бальзак», и «Гюго», и «Граждане Кале», и «Врата ада» – неужели они открываются, чтобы впустить его? Всю жизнь он старался работать честно, не измышлять, а наблюдать, следовать природе. Будь то женщина, мужчина, камни, деревья – все они были едины в своем происхождении. Как много в жизни прекрасного, надо только уметь видеть.

А потом он увидел Христа, Христос смотрел на него, и множество людей обступили его кровать. Он не узнавал никого, они были слишком далеко, но ему показалось, что он слышит чей-то плач. «Не плачьте, – хотелось сказать, – не надо слез, не надо». Это, должно быть, Роза. Кто еще мог так плакать?

Он чувствовал, как неведомая сила увлекает его куда-то, но не мог сопротивляться, не мог говорить. Потом увидел руки, руки помощи, протянутые к нему: Каррьер, Малларме, Лекок, Папа, Бальзак, даже Гюго. Он улыбнулся. А потом увидел скульптуры, множество скульптур: «Грусть», «Искушение святого Антония», «Женщина, сидящая на корточках», «Психея», «Минотавр», «Гюстав Малер», «Моцарт», «Собор», «Страдание», «Последнее видение»; он и забыл, как много их создал. Он лежал и изумлялся

миру, созданному им, и вдруг с гордостью воскликнул:

– Разве ваяние не самое прекрасное из искусств!

Теперь плач прекратился, и это обрадовало его. Должно быть, они понимали, что он чувствует. В этом не было ничего ужасного. Просто он возвращался туда, откуда пришел, – в землю, которая дала ему жизнь.

Огюст закрыл глаза и погрузился в сон, лишенный сновидений. В этот момент он был похож на одну из своих статуй.

Эпилог

На следующий день Германия, несмотря на то, что находилась в состоянии войны с Францией, объявила; «Хотя Огюст Роден, величайший из французских скульпторов, и родился во Франции, он, как Шекспир и Микеланджело, принадлежит также и Германии».

Через шесть дней после смерти Родена его вечный враг, Французская Академия, приобщила его к сонму бессмертных.

Маленький Огюст умер через девятнадцать лет от алкоголизма, не оставив после себя наследника.

Камилла дожила до 1943 года; рассудок так больше и не возвращался к ней.

В 1962 году отец Пьер Жюльен Эймар, который много лет назад, когда Роден был братом Августином, мудро вернул его к скульптуре, был причислен к лику святых консисторией во главе с папой Иоанном XXIII.

В 1963 году «Мыслитель» стал одной из самых известных в мире скульптур. Знай об этом Огюст, он, наверное, улыбнулся бы столь редкой для него улыбкой.

Завещание

Молодые люди, желающие стать служителями красоты, вы будете, возможно, рады найти здесь резюме длительного опыта.

Благоговейно любите мастеров, которые предшествовали вам.

Преклоняйтесь перед Фидием и Микеланджело.

Восхищайтесь божественной ясностью одного и суровым страданием другого. Восхищение-это хорошее вино для благородных умов.

Остерегайтесь, однако, подражать вашим предшественникам. Уважая традицию, умейте распознавать то вечно плодотворное, что она таит в себе; любовь к природе и искренность – то, к чему страстно звали все гении. Все они обожали природу и никогда не допускали лжи. Таким образом, традиция вручает здесь ключ, который поможет вам избежать рутины. Она предлагает вам всегда вопрошать действительность, но запрещает слепо следовать какому-либо мастеру.

Пусть единственной вашей богиней будет природа.

Имейте к ней неограниченное доверие. Знайте, что она никогда не бывает безобразной; сохраните верность ей, не боясь поступиться своим честолюбием.

Для художника все прекрасно, потому что в каждом существе, в каждой вещи проницательный взор его открывает характер, то есть ту внутреннюю правду, которая просвечивает сквозь внешнюю форму. И эта правда есть сама красота. Благоговейно изучайте ее, и в этих поисках вы непременно найдете ее, обретете истину.

Работайте, отдавая работе всего себя.

Вы, скульпторы, развивайте в себе понимание глубины. Ведь наш разум лишь с трудом воспринимает ее. Он представляет себе явственно только поверхности. Вообразить себе формы в их объемности он не в состоянии. Но именно в этом и заключается ваша задача.

Прежде всего наметьте себе основные планы фигур, которые вы ваяете. В особенности акцентируйте направление, какое вы хотите придать каждой части тела – голове, плечам, тазу, ногам. Искусство требует смелости. Хорошо подчеркнутым бегом линий вы погружаетесь в пространство и овладеваете глубиной. Когда ваши планы определены, все найдено. Ваша статуя уже живет. Детали рождаются и размещаются затем уже сами собой. Когда вы лепите, никогда не мыслите в поверхности, а только в глубину.

Пусть ваш рассудок воспринимает каждую поверхность как

оболочку объема, выталкивающего ее изнутри. Представляйте себе все формы как бы обращенными к вам. Всякая жизнь возникает внутри себя, но затем развивается, раскрывается изнутри вовне. Равным образом и в хорошей скульптуре всегда угадываешь сильный внутренний импульс. В этом секрет античного искусства.

Вы, живописцы, также наблюдайте действительность во всей ее глубине. Взгляните, например, на портрет, написанный Рафаэлем. Когда этот мастер изображает человека в фас, он несколько скашивает его грудь: таким образом, он создает иллюзию третьего измерения.

Все великие мастера изучают пространство. Именно в знании объема и заключается их сила.

Помните об одном: нет линий, есть только объемы.

И когда вы рисуете, никогда не думайте о контурах, а заботьтесь только о рельефе. Ведь именно рельеф, и правит контуром.

Упражняйтесь беспрерывно: нужно набивать себе руку в ремесле.

Искусство – не что иное, как чувство. Но без знания объемов, пропорций, цвета и без искусной кисти всякое живое чувство будет парализовано. Чего может ждать даже величайший поэт в чужой стране, язык которой ему незнаком? К несчастью, в новом поколении художников много таких поэтов, которые не хотят учиться выражать свои мысли. Потому-то мы и слышим от них одно бормотание.

Больше терпения! Не надейтесь на вдохновение. Вдохновение вообще не существует. Единственные добродетели художника – мудрость, внимательность, искренность, воля. Выполняйте вашу работу, как честные труженики.

Будьте правдивы, молодые люди. Это не значит – будьте банально точными. Скрупулезная точность – это точность фотографии и муляжа. Но искусство возникает лишь там, где есть внутренняя правда… Пусть все ваши краски, все ваши формы служат выражению чувств.

Художник, который довольствуется точным изображением действительности и рабски воспроизводит даже самые незначительные детали, никогда не станет настоящим мастером. Если вы бывали на каком либо итальянском кладбище, вы, несомненно, заметили, с какой наивностью стремятся создатели надгробных памятников скопировать в своих статуях вышивки, кружева или волосы, уложенные в косы. Художники, может быть, точны, но они не искренни, потому что их души здесь не затронуты.

Почти все наши скульпторы напоминают этих итальянских ваятелей. В памятниках, стоящих в общественных местах, ничего не увидишь, кроме сюртуков, столов, тумбочек, стульев, машин, баллонов и телеграфных столбов. В них нет внутренней правды, а значит, нет и искусства. Бойтесь подобного хлама.

Будьте глубоко и непримиримо правдивы. Никогда не бойтесь выразить то, что вы чувствуете, даже если ваши мысли противоречат общепринятым. Быть может, вы не сразу будете поняты. Но ваше одиночество будет очень непродолжительным. Скоро появятся у вас друзья, ибо то, что глубоко, истинно и для всех.

Никаких кривляний, никакого притворства для привлечения публики! Больше простоты и естественности!

Самыми лучшими сюжетами являются те, которые нам знакомы лучше всего.

Дорогой для меня великий Эжен Каррьер – он ушел от нас очень рано – проявил свой гений, изображая жену и детей. Он достиг вершин творчества, прославляя материнскую любовь. Настоящий мастер– тот, кто своими глазами смотрит на окружающее и кто умеет находить красоту даже в обычных, не останавливающих внимание явлениях.

А плохие художники всегда смотрят сквозь чужие очки.

Самое главное для художника – быть взволнованным, любить, надеяться, трепетать, жить. Быть прежде всего человеком и только потом – художником. «Истинное красноречие смеется над красноречием», – сказал Паскаль. Истинное искусство смеется над искусством. Здесь я вновь возвращаюсь к Эжену Каррьеру. На выставках большая часть картин – не что иное, как живопись: на этом фоне картины Каррьера – это окна, открытые в жизнь!

Принимайте справедливую критику. Вы легко ее распознаете. Справедлива та критика, которая подтверждает одолевающие вас сомнения. Но не поддавайтесь критике, которой противится ваше сознание.

Не бойтесь несправедливой критики. Она вызовет негодование у ваших друзей, заставит их задуматься над сочувствием, какое они питают к вам, и они еще решительнее будут выражать это сочувствие, когда глубже осознают мотивы его.

Если ваш талант нов, не рассчитывайте вначале на большое число сторонников; наоборот, у вас будет множество врагов. Но не падайте духом. Восторжествуют первые, ибо они знают, почему они любят вас, вторые же не думают над тем, почему вы им ненавистны; первые – страстные поборники правды и неустанно вербуют новых приверженцев, вторые не проявляют ни малейшего

усилия, чтобы отстоять свое ложное мнение; первые твердо стоят на своем, вторые держат нос по ветру. Победа правды несомненна. Не теряйте времени на завязывание светских или политических связей. Вы знаете, что многие из ваших собратьев путем интриг достигают славы и богатства; но это не истинные художники. Однако некоторые из них очень умны, и если вы вздумаете бороться с ними в их сфере, то, как и они, вы потратите на это массу времени, иными словами, всю вашу жизнь; у вас не останется ни одной свободной минуты на то, чтобы стать художником.

Страстно любите свое призвание. Нет ничего прекраснее его. Оно гораздо возвышеннее, чем думает обыватель.

Художник подает великий пример.

Он страстно любит свою профессию: самая высокая награда для него – радость творчества. К сожалению, в наше время многие презирают, ненавидят свою работу. Но мир будет счастлив только тогда, когда у каждого человека будет душа художника, иначе говоря, когда каждый будет находить радость в своем труде.

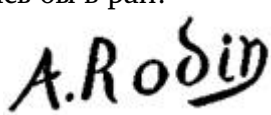
Искусство-прекрасный урок искренности.

Подлинный художник всегда выражает то, что думает, не боясь растоптать существующие нормы.

Тем самым он учит искренности себе подобных.

Представьте себе, какого огромного прогресса мы могли бы добиться, если бы люди были до конца правдивы!

Как быстро общество увидело и осудило бы свои ошибки, свои заблуждения, безобразные дела, и в какой короткий срок наша земля превратилась бы в рай!



notes

Примечания

1

Луи-Филипп (1773—1850)-французский король с 1830 по 1848 год. Был свергнут с престола революцией 1848 года.

2

Луи Наполеон – имеется в виду Шарль-Луи Наполеон Бонапарт (1808—1873). С 1852 по 1870 год французский император Наполеон III. Был низложен Национальным собранием после того, как сдался в плен пруссакам во главе французской армии при Седане.

3

Большая школа изящных искусств – высшее художественное учебное заведение Парижа.

4

Жан Роден имеет в виду Жозефину Богарне, первую жену Наполеона I.

5

. Малая школа – Школа рисования и математики. Называлась Малой школой в отличие от Школы изящных искусств – так называемой Большой школы. Позже была переименована в Школу декоративных искусств.

6

Лекок де Буабодран, Гораций (1805—1902) – французский художник и выдающийся педагог. Автор ряда брошюр, посвященных вопросам художественного воспитания. Учитель многих крупных французских художников. Роден, высоко ценивший Лекока, незадолго перед смертью рекомендовал переиздать его работы, что и было осуществлено в 1919 году.

7

Фантен-Латур, Анри (1836—1904)-французский живописец и график. Ученик Лекока де Буабодрана и Курбе.

8

Легро, Альфонс (1837—1899)-французский гравер, живописец и скульптор. С начала 1860-х годов жил в Лондоне.

9

Далу, Жюль (1838—1902)-французский скульптор, автор многих монументальных работ и портретов. Активный участник Парижской коммуны. «Моим первым другом был Далу, – вспоминал впоследствии Роден. – Большой художник, работавший в манере мастеров XVIII века. Он родился декоратором. Мы познакомились в ранней молодости у одного скульптора-декоратора, который так часто забывал нам платить, что мы с Далу вынуждены были уйти от него…Какой говорун был этот Далу! Но при всем этом он всегда уступал мне… Заказ на памятник Виктору Гюго, который был мне сделан, отдалил от меня друга молодости, о чем я очень сожалею». (Эти слова Родена приводит Гюстав Кокио в монографии «Rodin a l'Hotel de Biron et a Men-don», Paris, 1917.)

10

Венера Милосская – статуя работы греческого мастера Александра (Агесандра) (III-II вв. до н. э.). Найдена на острове Милос. Хранится в Лувре. Всю свою жизнь Роден не уставал восхищаться этой скульптурой, называя ее «чудом из чудес».

11

Автор ошибается. Картина Делакруа «Данте и Вергилий», написанная в 1822 году, поступила в Лувр лишь в 1874 году. До этого года она хранилась в Люксембургском музее.

12

. Ника Самофракийская – статуя богини победы Ники работы неизвестного греческого скульптора (около 200 г. до н. э.). Хранится в Лувре. Роден впоследствии посвятил ей, как и Венере Милосской, восторженный очерк, опубликованный лишь после его смерти, в 1945 году.

13

Очевидно, автор имеет в виду статую Давида работы Микеланджело (Флоренция, Академия художеств).

Особенно сильное впечатление на юного Родена произвел «Умирающий раб». Позже это впечатление нашло выражение в одной из его ранних скульптур – «Бронзовый век». Так называемый автопортрет Микеланджело (Лувр, в настоящее время считается работой неизвестного итальянского скульптора круга Микеланджело), по-видимому, вдохновил Родена на создание «Человека со сломанным носом».

15

Бари, Антуан-Луи (1796—1875) – французский живописец и скульптор-анималист, представитель романтизма.

16

Осман, Жорж (1809—1891) – префект департамента Сены в период Второй империи. Инициатор работ по коренной перепланировке центра Парижа.

17

Гудон, Жан-Антуан (1741—1828)-французский скульптор, крупнейший портретист XVIII века. Роден высоко ценил его работы и называл Гудона божественным художником.

18

Франклин, Бенджамин (1706—1790)-американский государственный деятель, физик, философ и публицист.

19

Мендрон, Этьен-Ипполит (1801—1884)-французский скульптор академического направления.

20

Карпо, Жан-Батист (1827—1875)-французский скульптор и живописец. Автор монументально-декоративных скульптур и портретов. Поскольку описываемые события относятся к 1860 году (год окончания портрета отца Родена), автор допускает неточность, ибо в то время Карпо был только начинаю* щим скульптором. Впоследствии Роден испытал значительное влияние этого крупного мастера.

21

Автор неточен. Работы Дега не отвергались Салоном в начале 1860-х годов, к которым относятся описываемые события. Фантен-Латур был отвергнут Салоном в 1859 году. Но с 1861 года и до конца жизни он был постоянным участником официальных выставок.

Эта работа несомненно сыграла свою роль в формировании профессионального мастерства Родена. «Необходимость заработка заставила меня изучить все стороны моего ремесла, – говорил он позже. – Я переводил работы в другой материал, обтесывал мрамор, камень, работал по орнаменту и в ювелирном деле. Для меня все это послужило своего рода обучением… я изучил таким образом всестороннее мастерство скульптора».

Роден посещал курсы, где преподавал Бари в 1864 году. Впоследствии он вспоминал: «Великий Бари приходил навещать нас. Он осматривал наши работы и удалялся, большей частью не произнося ни слова. И тем не менее именно у него научился я больше, чем где-либо».

23

Кафе Гербуа было расположено на Гранрю де Батиньоль (впоследствии авеню де Клиши). Точная дата, когда художники стали регулярно собираться здесь, не установлена, однако вряд ли это могло быть раньше 1866 года. Автор допускает в этой главе некоторый хронологический сдвиг, ибо описываемые события относятся к 1863 году. Столь же вольно он называет и посетителей кафе. Известно, что почти ежедневно в кафе Гербуа бывали Мане, Золя, Дюранти, Бракмон и Базиль. Часто его посещали Фантен-Латур, Дега и Ренуар, реже – Сезанн, Моне и Писсарро. Нет никаких указаний на то, что в кафе бывали Далу, Легро (в то время он уже уехал в Англию) и Роден.

Как вспоминал позже Моне, «не могло быть ничего более интересного, чем эти беседы и непрерывное столкновение мнений. Они обостряли наш ум, стимулировали наши бескорыстные и искренние стремления, давали нам запас энтузиазма, поддерживавший нас в течение многих недель, пока окончательно не оформлялась идея».

24

Эдуар Мане во второй половине 1860-х годов был идейным вождем группы молодых художников, собиравшихся в кафе Гербуа. Позже эта группа оформилась в течение импрессионистов.

25

Жюри Салона 1863 года оказалось действительно особенно суровым к работам молодых художников, не соответствующим академическим требованиям. Было отвергнуто более четырех тысяч картин. Впрочем, автор не совсем точен: Ренуар и не Пытался представить что-либо в Салон. Легро был принят в Салон, однако участвовал и в «Салоне отверженных».

Есть основание предполагать, что выбор натуры диктовался в данном случае не только необходимостью. При всей точности портретной характеристики в «Человеке со сломанным носом» нетрудно увидеть сходство с так называемым автопортретом Микеланджело в Лувре.

27

«Салон отверженных» открылся 15 мая 1863 года в том же Дворце промышленности, что и официальный Салон.

28

. Кабанель, Александр (1823—1889) – французский живописец, характерный представитель салонно-академического искусства.

29

Институт, или французский Институт – высшее культурное, научное и художественное учреждение Франции, объединяющее пять французских академий.

30

Жанна д'Арк – Орлеанская дева (1412—1431), народная героиня Франции; крестьянская девушка, возглавившая в период Столетней войны борьбу французов против английского нашествия. Преданная феодалами, Жанна д'Арк попала в плен к англичанам, была приговорена к смерти и сожжена на костре.

31

Мария Медичи – французская королева, жена Генриха IV. Фонтан Медичи был выполнен в стиле итальянского барокко французским архитектором Соломоном де Броссом (1624).

32

Школа Фонтенбло – художественная школа, основанная в XVI веке итальянскими художниками (Россо, Приматиччо), приглашенными королем Франциском 1 для украшения дворца Фонтенбло.

33

Помпадур – Антуанетт Пауссон, маркиза Помпадур (1721—1764) – фаворитка французского короля Людовика XV.

34

Бугеро, Вильян (1825—1905) – французский живописец, один из самых популярных представителей салонно-академического искусства.

Кутюр, Тома (1815—1870) – французский живописец салонно-академического направления. Учитель Мане.

Жером, Жан-Леон (1824—1904) – французский живописец и рисовальщик. Представитель салонно-академического искусства.

Шассерио, Теодор (1819—1856) – французский живописец, ученик Энгра, связанный с романтической школой.

35

«Венера Медичи»-статуя работы греческих скульпторов Кефисодота Младшего и Тимарха, (конец V в, до н. э., римская копия во Флоренции, Уффици).

36

Очевидно, имеется в виду Александр Дюма-сын (1824—1895)-французский писатель, автор романа «Дама с камелиями».

37

…в связи с неудачами в Мексике… – имеется в виду провал политической авантюры Наполеона III, стремившегося завладеть Мексикой и превратить ее во французскую колонию.

38

Каррье-Беллез, Альбер-Эрнест (1824—1887) – французский скульптор. Приобрел большую известность в период Второй империи многочисленными декоративными работами. В мастерской Каррье-Беллеза в Париже Роден работал с 1864 по 1870 год.

39

Ренан, Эрнест (1823—1892) – французский писатель и историк.

Эти годы бесспорно были очень трудным периодом в жизни Родена. И все же скульптор был далек от того, чтобы разувериться в своих силах. Ценой нечеловеческого напряжения Роден много работал и «для себя». Правда, большинство его ранних самостоятельных произведений погибло, не будучи отлитыми в бронзе. Много лет спустя Роден вспоминал: «Да, я всегда жестоко любил труд. Когда я начинал, я был хилым, необычайно бледным, бледным, как моя бедность. Однако нервное сверхнапряжение, полное страсти, заставляло меня работать без отдыха. Я никогда не курил, чтобы не отвлекаться от работы ни на минуту. Я работал по четырнадцати часов ежедневно, я отдыхал лишь по воскресеньям. Тогда мы с женой отправлялись в какую-нибудь харчевню, где получали знатный обед за три франка на двоих, и этот обед был единственной наградой за всю неделю».

41

Ван Расбург, Антуан-Жозеф (1831—1902) – бельгийский скульптор, ученик, а затем помощник Каррье-Беллеза. После возвращения последнего в Париж становится во главе крупных работ по декорированию Биржи в Брюсселе.

Это было повторение в мраморе более ранней работы, выполненное в 1872 году.

43

Писсарро, Камилл (1831—1903) – французский живописец, преимущественно пейзажист, крупный представитель импрессионизма.

44

Картина «Кружка пива», или портрет гравера Белло, была написана в 1873 году и выставлена в Салоне того же года. Это была первая картина Мане, единодушно одобренная публикой и критикой. Однако в дальнейшем многие работы Мане, как и прежде, отвергались Салоном и подвергались нападкам официальной критики.

45

Поездка в Италию в 1875 году (Вейс неточен. Роден пробыл там не один, а два месяца) и особенно непосредственное изучение работ Микеланджело сыграли важнейшую роль в творческом развитии скульптора. Позже Роден говорил; «Я начал с антиков, но в Италии я вдруг увлекся великим флорентийским мастером, и эта страсть, без сомнения, отразилась на моем творчестве». А в одном из писем к Бурделю Роден подчеркивает, что именно Микеланджело помог ему преодолеть академизм. Пребывание в Италии завершило художественное формирование Родена и несомненно ускорило его решение покончить с работой декоратора и отдать все силы осуществлению своих собственных творческих замыслов.

Один из первых биографов Родена (Бенедит) приводит в своей монографии рассказ самого скульптора о создании этой статуи. Роден в поисках модели обратился к командиру казармы, расположенной около его мастерской. Тот прислал ему девять солдат, из которых Роден выбрал Нейта – солдата телеграфной службы. Он работал над статуей в течение нескольких месяцев по вечерам, при искусственном освещении.

46

Рюд, Франсуа (1784—1855) – самый крупный французский скульптор первой половины XIX века, представитель романтизма. Роден высоко ценил его работы, особенно горельеф, известный под названием «Марсельеза», украшающий Триумфальную арку на площади Звезды в Париже, и памятник маршалу Нею. Позже в своих беседах об искусстве, записанных П. Гзеллем, он дал интересные анализы этих произведений Рюда.

Автор ошибается. При всей своей жизненности и индивидуальной характерности эта статуя Родена как раз свидетельствует о его близости к Микеланджело. Связь ее с луврским «Умирающим рабом» несомненна.

48

Вандомская колонна была воздвигнута в центре Вандомской площади в начале XIX века по приказу Наполеона I. Она была разрушена во время Коммуны как памятник, увековечивающий империалистические идеалы, враждебные духу братства, и не имеющий художественной ценности. После падения Коммуны ответственность за разрушение колонны была без достаточных оснований возложена на художника Курбе. Он был арестован и судим. В 1873 году Национальное собрание постановило восстановить Вандомскую колонну за счет Курбе. Ему был предъявлен огромный иск, что и вынудило художника бежать за границу.

49

Кафе «Новые Афины» стало местом встреч Мане и близких к нему художников примерно в 1876—1877 годах. Наиболее регулярными посетителями этого кафе были Мане, Дега и Дебутен. Более или менее часто приходил туда Ренуар, реже бывали Писсарро, Форен, Рафаэлли. Часто посещали кафе некоторые критики и писатели, прежде всего Дюранти, Арман Сильвестр и Бюрти. Моне и Сезанн, прежде посещавшие кафе Гербуа, появлялись в «Новых Афинах» очень редко. Не бывал там и Фантен-Латур.

50

Гамбетта, Леон-Мишель (1838—1882) – французский политический деятель. Принадлежал к партии буржуазных республиканцев. После падения Второй империи стал министром внутренних дел в правительстве Национальной обороны. В Третьей республике был лидером умеренных республиканцев. В 1881 году – председатель Палаты депутатов и премьер-министр.

51

Первая выставка «Анонимного общества художников-живописцев, скульпторов и графиков» состоялась в апреле 1874 года в Париже в ателье фотографа и художника На дара. Ее организаторами были Дега, Ренуар, Моне, Писсарро, Сислей и некоторые другие художники, близкие Мане. Однако сам Мане отказался участвовать в этой, как и во Всех последующих, выставке Общества, считая, что следует добиваться признания новой французской живописи в Салоне. В связи с выставкой Общества 1874 года критик Леруа впервые употребил иронический термин – «импрессионизм» (производное от названия пейзажа Клода Моне «Восход солнца. Впечатление» – по-французски «Impression»). В дальнейшем этим термином стали обозначать новое течение во французском искусстве, оппозиционное салонно-академическому направлению. Однако некоторые члены группы, прежде всего Дега, не принимали это название. Вторая выставка группы состоялась в 1876 году, третья – в апреле 1877 года. Последняя, восьмая по счету, выставка импрессионистов была организована в 1886 году.

52

Сара Бернар (1844—1923)-знаменитая французская актриса.

53

Подобно некоторым другим работам Родена, эта статуя имела несколько названий. До удаления копья она называлась «Побежденный», или «Раненый солдат». После того как копье было удалено, – «Бронзовый век», «Железный век», «Каменный век», а иногда «Пробуждение человечества». То, что многие работы Родена допускают различные смысловые толкования, обусловлено их внутренней сложностью и многозначностью. В данном случае удаление копья раскрыло новый аспект содержания образа, а движение всей фигуры приобрело совершенно иной смысл. По меткому и точному определению Гзелля, сюжетом этой статуи стал «…переход от дремоты к жизненной силе, готовой претвориться в движение. Медленный жест пробуждения… должен передать – и самое название статуи на это указывает – первый трепет сознания в молодом человечестве, первую победу разума над животными инстинктами в „доисторические времена“. „Бронзовый век“ – первое крупное произведение Родена и до наших дней одна из самых популярных его работ.

54

Мейссонье, Эрнест-Жан Луи (1815—1891) – французский жанрист и исторический живописец, один из самых модных салонных художников второй половины XIX века

55

Гийом, Эжен (1822—1905) – французский скульптор, один из лидеров академизма.

Сарду, Викторьен (1831—1908)-известный французский драматург.

. Малларме, Стефан (1842—1898)-французский поэт, крупнейший представитель символизма.

Каррьер, Эжен (1849—1906)-французский живописец и график. В дальнейшем один из близких друзей Родена.

Буше, Альфред (1850—1934)-французский скульптор академического направления.

Теннисон, Альфред (1809—1892)-английский поэт.

Дизраэли, Бенджамин (1804—1881)-английский писатель и политический деятель. Лидер консервативной партии.

Арнольд, Мэтью (1822—1898) – английский поэт и критик.

59

Эта работа Родена имела разные наименования: «Гений войны», «Защита», «Побежденная родина». Однако чаще всего она называется «Призыв к оружию». Композиция состоит из двух фигур: раненого воина и женской фигуры, олицетворяющей родину, страстно зовущей к отмщению.

На Севрской мануфактуре Роден работал с 1879 по 1882 год

развлечение (ит.).

ясно (ит.).

63

Гарибальди, Джузеппс (1807—1882)-народный герой Италии, вождь национально-освободительного движения, боровшийся за объединение Италии.

64

Статуя Иоанна Крестителя была выполнена в гипсе еще в 1878 году. «Идущий человек», по-видимому, послужил для нее этюдом. Кто был моделью этой статуи, до сих пор в точности не установлено. По одним сведениям для головы Ион-на позировал писатель и художник-любитель Даниелли. По другим– моделью Родена был итальянец Пиньятелли, и в дальнейшем не раз позировавший скульптору. По-видимому, именно его имеет в виду Вейс.

65

Автор неточен. Жюри Салона 1880 года присудило третью медаль «Бронзовому веку». В том же году статую приобрело государство, и она была поставлена в одной из аллей Люксембургского сада. В 1889 году ее перенесли в Люксембургский музей. Бронзовый отлив «Иоанна Крестителя» был приобретен с выставки в 1881 году и помещен в Люксембургском музее. В 1883 году статуя была показана в Вене на Международной выставке.

Успех в Салоне 1880 года «Бронзового века» и «Иоанна Крестителя» положил начало широкой известности Родена. Правда, и в дальнейшем его работы еще не раз вызывали жестокие дискуссии и яростные нападки приверженцев салонно-академического искусства.

66

Шарпантье, Жорж – парижский издатель (в частности, издатель Золя и Доде) и коллекционер. Одним из первых начал покупать картины импрессионистов. Его жена покровительствовала Ренуару, который написал в 1878 году ее портрет с двумя дочерьми.

67

Пруст, Антонен (род. 1832) – французский журналист и общественный деятель. Друг Мане, вместе с которым он учился у Кутюра. В 1881 году стал министром искусств в правительстве Гамбетты.

Пракситель – крупнейший греческий скульптор IV века до н. э.

Фидий – великий греческий скульптор V века до н. э. Роден неизменно восхищался его работами. «Всю жизнь я колебался между Фидием и Микеланджело», – говорил он впоследствии. «Под именем Фидия я разумею всю греческую скульптуру: его гений – только ее высшее выражение».

дорога скорби (лат.).

Юдоль плача (фр.).

71

Автор неточен. Заказ на «Врата ада» был поручен Родену в 1880 году. Однако работу на Севрской мануфактуре он оставил лишь в 1882 году.

72

Уголино делла Герардеска – тиран Пизы XIII века. Принадлежал к партии гибеллинов. Потерпев поражение в политической борьбе, был заключен своими противниками в «Башню голода» вместе с детьми. Данте воспел Уголино в одном из самых трагических эпизодов «Божественной комедии». В XIX веке этот сюжет вдохновил Карпо, а затем и Родена.

73

Паоло и Франческа – герои «Божественной комедии» Данте. Их имена стали символами вечной и несчастной любви.

74

«Вы никогда не завершите этот памятник» – Буше имеет в виду надгробие папы Юлия II, работы Микеланджело, Скульптор задумал грандиозную композицию, над которой работал много лет и которую так и не смог полностью осуществить.

75

В действительности бюст Далу, исполненный в 1883 году, никогда не был им взят, ибо отношения двух друзей прекратились вскоре после того, как Роден познакомил Далу с Виктором Гюго. Далу не мог примириться с тем, что не ему, а Родену был заказан памятник писателю.

Хэнли, Уильям-Эрнест (1840—1903) – английский поэт, драматург и эссеист.

Стивенсон, Роберт Льюис (1850—1894)-английский писатель и поэт.

Браунинг, Роберт (1812—1889) – » английский поэт.

Прадье, Джемс (1792—1852) – французский скульптор академического направления.

78

Маргарита Готье – героиня романа А. Дюма-сына «Дама с камелиями».

79

Первый бюст Виктора Гюго был выполнен Роденом в 1883 году. Известны два варианта рассказа скульптора о его работе. Согласно первому, записанному Гзеллем, его познакомил с Гюго его друг-журналист Базир. «На мое несчасте, Виктор Гюго только что вынес жестокую пытку: чтобы сделать плохой бюст, посредственный скульптор Виллен обрек поэта на тридцать восемь сеансов позирования, и когда я робко выразил желание в свою очередь изобразить черты автора „Размышлений“, он грозно насупил свои олимпийские брови. „Я не могу помешать вам работать, – сказал он, – но я вас предупреждаю: позировать я не буду и ничего не изменю в своей жизни для вас; устраивайтесь, как хотите“. Я начал ходить к нему и сначала сделал массу быстрых набросков карандашом, для облегчения дальнейшее работы. Потом я принес свой штатив и глину. Но, конечно, я не мог расположиться с этой пачкотней в гостиной, где он обыкновенно принимал своих друзей, и должен был удовольствоваться верандой. Вы можете себе представить трудность моей задачи. Я внимательно всматривался в великого поэта, стараясь врезать в памяти его облик, потом бегом бросался на веранду, чтобы запечатлеть в глине воспоминание того, что видел. Но за эти две-три минуты впечатление стушевывалось, и я стоял перед своей глиной, боясь тронуть начатое. Приходилось опять возвращаться к модели».

В передаче Гюстава Кокио этот рассказ звучит несколько иначе: «Вспоминаю, что когда мне приходилось приближаться к великому человеку, к Виктору Гюго, к Эжену Делакруа, я выпивал для храбрости хороший бокал шампанского. Ах, этот бюст Виктора Гюго! В каких плохих условиях я его выполнял. Мне думается, без помощи подруги поэта Жюльетты Друэ я никогда не смог бы получить от Виктора Гюго и того получаса позирования, который он мне предоставил один раз навсегда. Он примирился с моим присутствием на террасе его дома единственно при условии, что я ничего не буду просить, что буду довольствоваться беглым взглядом на него и фиксацией нескольких существенных, черт. По счастью, я был способен работать по памяти; мой учитель Лекок де Буабодран дал мне в этом смысле крепкое воспитание; и я могу утверждать, что этот бюст я смог выполнить по памяти, сопоставляя подобным образом большое количество набросков профилей, зачерченных мною. Бюст этот, – я должен об этом заявить, – нисколько не понравился ни поэту, ни его окружающим».

Баден-Поуэлл, Фрэнк-Смит (род. 1850)-английский живописец и скульптор, ученик Каролюса-Дюрана и Родена.

81

Мария-Антуанетта (1755—1793)-французская королева, жена Людовика XVI, обезглавленная в 1793 году.

82

Данаиды – в греческой мифологии дочери Дана-оса. За исключением одной – Гипермнестры – все они убили своих мужей в первую брачную ночь и были осуждены в аду вечно наполнять водой бочку без дна. «Данаида», законченная Роденом в 1886 году, была связана с его работой над «Вратами ада».

83

Макет конной статуи генерала Линча Роден выполнил в 1886 году. Дальнейшая судьба этой работы неизвестна. По-видимому, выполнению памятника помешали политические беспорядки в Чили.

Бастьен-Лепаж, Жюль (1848—1884)-французский живописец-реалист. Фигуру для памятника Бастьен-Лепажу Роден создал в 1887 году. Памятник был отлит в бронзе и установлен на родине художника в 1889 году.

Клод Лоррен, собственно Клод Желле, прозванный Лоррен (1600—1682) – французский живописец и график, крупнейший мастер классицистического пейзажа. Конкурс на его памятник был объявлен городом Нанси в 1883 году. На этом конкурсе был принят макет Родена. Выполненный в гипсе в 1889 году, памятник был поставлен и открыт в 1892 году. В памятниках Клоду Лоррену и Бастьен-Лепажу Роден смело ломает академические нормы. Его решения отличаются большой жизненностью и непосредственностью выражения.

84

Автор неточен. Мысль о постановке памятника Эсташу де Сен Пьеру – первому из граждан Кале, решившемуся отдать жизнь ради спасения родного города, возникла в 1884 году. Один из друзей Родена, живший в Кале, Альфонс Исаак, сообщил об этом Родену и, по-видимому, являлся посредником между ним и мэром города Кале. Роден получил заказ на памятник Эсташу де Сен-Пьеру без всякого конкурса. Он сразу же с увлечением приступил к работе и, перечитав хронику Фруассара, пришел к убеждению, что памятник должен включать фигура всех шести граждан, упомянутых автором хроники. Проект памятника был готов уже в 1885 году и после ряда споров с муниципалитетом Кале в конце концов принят. В 1886 году группа была полностью закончена в гипсе и в 1889 году впервые показана на совместной выставке Родена и Моне в галерее Жоржа Пети. Работа по отливке в бронзе и установке памятника растянулась на много лет. Памятник был открыт лишь в 1895 году.

85

Когда было решено воздвигнуть в Пантеоне монументы великим людям Франции, Роден одним из первых получил заказ на памятник Гюго (похороненного в Пантеоне). Он начал работу в 1889 году и после некоторых поисков пришел к мысли изобразить его на острове Гернси. Работа над памятником затянулась на многие годы, и в ходе ее возник ряд различных решений. В первых проектах Гюго то одетый, то обнаженный был изображен сидящим на скале и властным жестом усмиряющим морскую стихию. Величавый образ поэта, мыслителя, творца в некоторых вариантах дополнялся аллегорическими женскими фигурами – «Трагическая муза», «Внутренний голос», которым внимает поэт. Этот первый вариант, признанный не соответствующим предполагаемому окружению (интерьеру Пантеона), без дополнительных аллегорических фигур был много времени спустя, в 1909 году, установлен в Париже в саду «Пале-Рояля» (ныне в Музее Родена). Еще позже группа, включающая фигуры Гюго, «Трагической музы» и «Внутреннего голоса», была отлита в бронзе по инициативе Парижского муниципалитета и установлена на углу авеню Виктора Гюго и Анри Мартена.

Для Пантеона Родену в 1891 году был заказан новый памятник – фигура стоящего Гюго, венчаемого Славой. Однако, хотя заказ несколько раз возобновлялся вплоть до 1914 года, этот вариант памятника так и не был осуществлен.

86

Для Пантеона Родену в 1891 году был заказан новый памятник – фигура стоящего Гюго, венчаемого Славой. Однако, хотя заказ несколько раз возобновлялся вплоть до 1914 года, этот вариант памятника так и не был осуществлен.

87

В данном случае имеется в виду трагедия крупнейшего французского писателя Расина «Федра» (1677).

88

Жорж Пети – торговец картинами, в 1880-е годы стал покупать работы импрессионистов. В его галерее на улице Сез в Париже регулярно устраивались художественные выставки, в которых принимали участие Моне, Ренуар и другие.

На этой выставке было представлено тридцать шесть работ Родена, в том числе «Граждане Кале», фигура Бастьен-Лепажа, «Беллова», бюст Розы Бере, «Мыслитель», «Уголино» и ряд других работ, многие из которых были связаны с «Вратами ада». К открытию был издан общий каталог выставки со статьями Октава Мирбо о Моне и Гюстава Жеффруа – о Родене.

Жеффруа – известный французский писатель и художественный критик, в своей статье впервые приводит биографические сведения о Родене, дает выразительный творческий портрет скульптора, анализирует важнейшие его произведения. Сравнивая Родена с Микеланджело, Жеффруа говорит о широком признании, которое уже получило его искусство, и предсказывает ему мировую славу. В заключение он пишет о Родене: «Как все великие художники, он может быть определен: личность в борении с природой».

90

Карно, Сади (1837—1894) – французский инженер и политический деятель. В 1887 году был избран президентом Франции.

91

Эдуард, принц Уэльский (1841—1910)-наследник английского престола, с 1901 года – английский король Эдуард VII.

92

Клемансо, Жорж (1841—1929)-французский политический деятель, лидер партии радикалов, был дружен с К. Моне, выступал в защиту его искусства.

93

Гонкур – имеется в виду Эдмон де Гонкур (1822—1896)-французский писатель и художественный критик. Большинство произведений создал вместе со своим младшим братом Жюлем, умершим в 1870 году.

Гюисманс, Жорж-Карл (1848—1907)-французский писатель и художественный критик.

95

Франк, Цезарь (1822—1890) – французский композитор и органист.

Д'Энди, Поль-Мари-Теодор-Венсан (1851—1931)-французский композитор.

97

Пюви де Шаванн, Пьер (1824—1898)-французский живописец. По словам Гзелля, Роден из всех современных художников более всего ценил и уважал Пюви де Шаванна. В 1891 году Роден выполнил его портрет. «Мой бюст не понравился Пюви де Шаванну, он нашел его карикатурой, и это одно из самых горьких воспоминаний моей творческой работы, – вспоминал позже Роден: „А я убежден, что передал в его бюсте энтузиазм и глубокое благоговение, которое испытывал к нему“.

Подписка, объявленная по инициативе К, Моне летом 1889 года, закончилась через несколько месяцев. Было собрано свыше девятнадцати тысяч франков, на которые «Олимпия» была приобретена у вдовы Мане и преподнесена от имени подписчиков в дар государству. Однако Моне пришлось выдержать длительную борьбу с властями, которые вовсе не желали принять этот дар. В конце концов «Олимпия» была принята государством, но помещена вопреки пожеланию подписчиков не в Лувре, а в Люксембургском музее. Лишь в 1907 году по распоряжению президента Клемансо картину перевезли в Лувр.

99

В пьедестал памятника Роден ввел изображение Аполлона – бога солнца, которое прославил в своих пейзажах Клод Лоррен. Мотив бурного полета коней, запряженных в колесницу Аполлона, сообщает всему памятнику особую динамику и выразительность.

100

Шапю, Анри-Мишель-Антуан (1833—1891) – французский скульптор.

101

Подписка на сооружение статуи Бальзака была открыта Обществом литераторов в 1888 году. Шапю приступил к работе над памятником, но умер в 1891 году, по-видимому, успев выполнить лишь первоначальный вариант. Вскоре Общество литераторов по инициативе его председателя Золя передало заказ Родену. Последний дал неосторожное обещание выполнить статую к 1894 году.

102

Бурдель, Эмиль-Антуан (1861—1929)-крупнейший французский скульптор XX века. По-видимому, представленный Родену Далу, Бурдель был приглашен в его мастерскую в качестве помощника в начале 1890-х годов. Бурдель занимал ведущее положение в мастерской Родена и в течение многих лет сотрудничал с мастером, переводя в материал многие его работы или контролируя работу других помощников. В 1900 году Роден и Бурдель основали школу для обучения скульпторов. Правда, Роден довольно скоро прекратил регулярные занятия с учениками.

Сотрудничая с Роденом, Бурдель много работал и самостоятельно, причем Роден дружески поддерживал молодого скульптора в его творчестве. Отношения между двумя мастерами были очень близкими, и, хотя в своих самостоятельных произведениях Бурдель все больше отходит от творческих принципов Родена, он продолжает относиться к нему с неизменным почтением. Работам Родена Бурдель посвятил ряд интересных статей.

103

Майоль, Аристид (1861—1944)-крупнейший французский скульптор двадцатого века, работавший также в декоративно-прикладном искусстве и в живописи. Имя Майоля возникло на страницах романа Вейса случайно. Майоль начал свою творческую деятельность как живописец, затем занимался ковроткачеством и лишь к сорока годам, то есть к 1900 году, обратился к скульптуре, которую он изучал в молодости. Майоль не был помощником Родена и не работал в его мастерской, тем более в годы, к которым относятся описываемые события. Общение между скульпторами начинается в 1900 году. Майоль относился к Родену с искренним восхищением, хотя в своем собственном творчестве шел самостоятельным, независимым от него путем.

104

В 1890 году произошел раскол официального Салона. Многие, наиболее прогрессивные художники образовали «Национальное общество искусств». Роден был избран вице-председателем Нового Салона, а в дальнейшем был председателем скульптурной секции.

105

Сарджент, Джон-Сингер (1856—1925) – американский художник, живший и работавший в Англии. Прославился своими блестящими, виртуозно написанными портретами.

106

Ламартин, Альфонс де (1790—1869)-французский поэт, историк и политический деятель. Представитель романтической школы.

107

Позже, вспоминая работу над «Бальзаком», Роден говорил: «… ни одна статуя не доставляла мне так много забот и труда, не была таким испытанием моего терпения. Сколько раз путешествовал я в Турень, чтобы понять великого романиста! С каким рвением добивался я текстов, рисунков и других нужных мне материалов! В Азей ле Ридо я, желая приблизиться к своей модели, дошел до того, что сделал бюст извозчика – он напомнил мне молодого Бальзака таким, каким я представлял его себе по рисункам и литографиям…».

108

Родена всегда огорчало, что памятник был водружен на высоком постаменте. Лишь после смерти скульптора постамент был заменен и «Граждане Кале» установлены почти на земле, так, как он задумал.

109

Рошфор, Виктор Анри де (1830—1913) – французский журналист и политический деятель. Основал в 60-е годы журнал-памфлет «Фонарь», резко критиковавший режим Второй империи. Во время Коммуны поддерживал коммунаров, за что после разгрома Коммуны был арестован и сослан. Вернулся во Францию после амнистии 1880 года. В дальнейшем изменил своим радикальным взглядам и стал сторонникам «буланжизма». Над бюстом Рошфора Роден работал в 1897 году. Заказчик действительно остался недоволен портретом, однако, как вспоминал позже в беседе с Гзеллем Роден, «когда впоследствии этот бюст заслужил одобрительную оценку знатоков, он, безусловно, присоединился к общему голосу, но не хотел верить, что я не переделал его. „Вы его значительно подправили, не правда ли?“ – повторял он. На самом же деле я даже ногтем не сделал на нем ни одного штриха»

110

«Старая куртизанка» – скорее всего, имеется в виду повторение в круглой скульптуре фигуры старой женщины на одном из пилястров «Врат ада», выполненное в 1884 или в 1885 году. Эта скульптура более известна под названием «Та, которая была прекрасной Омиер», так как трагический образ старости, оплакивающей ушедшую юность, по-видимому, был создан Роденом под впечатлением знаменитой баллады Франсуа Вийона.

Автор допускает хронологическую неточность. Работа Родена над «Поцелуем» относится к более раннему времени. Как и многие другие произведения мастера, эта группа первоначально предназначалась для «Врат ада», а затем приобрела самостоятельное значение. Ее увеличенный вариант был впервые осуществлен в бронзе и в мраморе в 1886 году. В дальнейшем Роден много раз возвращался к этому сюжету. Скульптурная группа «Вечный идол», которую также упоминает автор, была выполнена в 1889 году.

111

Известно, что иконографический материал, которым Роден мог пользоваться, работая над памятником, был весьма скудным, С Бальзака даже не была снята посмертная маска, и, таким образом, отсутствовали необходимые точные размеры и пропорции его лица. Между тем творческий метод Родена неизменно требовал непосредственного контакта с натурой. Приступая к работе над статуей, Роден располагал лишь маловыразительным бюстом Бальзака работы Давида д'Анже, портретом маслом Луи Буланже и несколькими литографиями и набросками с натуры. Не удовлетворенный этими материалами, Роден настойчиво ищет на родине писателя модели, близкие по своему облику к Бальзаку. Найдя в Туре несколько человек, похожих на писателя, он лепит с них маски, а с одного из них выполняет большой бюст. Обнаружив в Турском музее интересный пастельный портрет Бальзака художника де Кура, Родей заказывает с него фотографию. И, наконец, последней и, очевидно, самой удачной находкой была репродукция с дагерротипа, принадлежащего Надару, которую предоставил в распоряжение скульптора в 1893 году один из его друзей. Это был портрет Бальзака в последние годы его жизни, «страдающего и сурового», как писал в «Фигаро» Гюстав Жеффруа. Только изучив весь этот материал, Роден приступил к долгим и настойчивым поискам пластического решения статуи.

112

«Бальзак» был выставлен в Салоне Национального общества изящных искусств.

113

Дрейфус, Альфред (1859—1935)-французский офицер еврейского происхождения, привлеченный к суду по ложному обвинению в шпионаже и приговоренный в 1894 году к пожизненной каторге. «Дело Дрейфуса», инсценированное реакционными военными кругами, всколыхнуло общественное мнение Франции, расколовшейся на два лагеря – противников Дрейфуса и его сторонников. Последние развернули широкую кампанию за пересмотр «дела Дрейфуса» (1897—1899). В конце концов под давлением прогрессивных общественных кругов (в числе сторонников Дрейфуса были Э. Золя, А. Франс и другие) Дрейфус был помилован в 1899 году, а затем полностью реабилитирован в 1906 году.

Эти слова не совсем точно выражают замысел скульптора. Сам Роден говорил: «Никто не хотел понять моего желания – уподобить эту статую колоссу Мемнона».

115

Фор, Феликс (1841—1899)-французский политический деятель. Президент республики с 1895 по 1899 год.

116

Ожесточенная полемика, которую вызвал «Бальзак», побудила Родена выступить в прессе со следующим заявлением: «Я больше не сражаюсь за свою скульптуру. Уже давно она умеет сама себя защищать. Утверждение, что я небрежно выполнил своего Бальзака из-за озорства, – оскорбление, которое прежде заставило бы меня вскочить от негодования. Сегодня я оставляю дела идти своим чередом, и я работаю… Если истина должна умереть – последующие поколения разломают на куски моего Бальзака. Если истина не подлежит гибели – я вам предсказываю, что моя статуя совершит свой путь…

…Это произведение, над которым издевались, которое постарались осмеять, так как не могли его разрушить, оно – результат всей моей жизни, основной стержень моей эстетики. С момента, когда я его задумал, я стал иным человеком. Моя эволюция была решительной: я вновь связал между забытыми великими традициями и современностью узы, становящиеся с каждым днем все более тесными.

Против Бальзака – доктора эстетических норм – громадное большинство публики и большая часть прессы. Что до того! Силой или убеждением он найдет свою дорогу к умам. Молодые скульпторы приходят сюда, в мастерскую, посмотреть на него; они думают о нем, идя по тропинкам, куда их зовет их идеал.

Есть даже простые люди из народа, которые его поняли, рабочие из числа тех, кто одиноко в толпе продолжает старую ремесленную традицию, когда каждый создавал свою работу согласно собственной совести, не изучая искусство в официальных катехизисах. Что касается публики, ее нечего осуждать. Вина падает на ее воспитателей. Смысл красоты и чувство разума утрачены. У нас нет больше ни места, ни уважения для людей, которые в полном одиночестве овеществляют в пластике свою душу. И затем громадное большинство не интересуется больше искусством, смотрит на искусство только глазами нескольких присяжных арбитров. Я, знающий, что жизнь коротка и задача громадна, я оставляю вещи идти своим чередом и продолжаю свою работу, стоя выше полемики».

Бек, Анри (1837—1899) – французский драматург.

Жеффруа, Гюстав (1855—1926)-французский писатель, художественный критик и историк искусств.

Гитри, Люсьен (1860—1925) – французский актер.

Мендес, Катул (1841—1909) – французский поэт, представитель «парнасской школы».

Вертело, Андре(?), может быть, Марселей (1827—1907) – французский химик и политический деятель.

Фор, Поль(?), может быть, Жан-Батист – певец или Эли Фор, историк искусств.

118

Предсказание Розы Бере сбылось много времени спустя. Лишь после смерти Родена, в «Осеннем салоне» 1919 года, а затем в 1929 году вновь была выставлена гипсовая модель Бальзака. Она произвела огромное впечатление на молодых художников, прежде ее не видевших. Однако прошло еще много лет, прежде чем памятник Бальзаку, отлитый в бронзе, был наконец в 1939 году установлен в Париже на перекрестке бульваров Распай и Монпарнас.

В действительности выставка на площади Альма, на которой было представлено сто шестьдесят восемь работ Родена, не только привлекла, как пишет Вейс, внимание публики, а явилось подлинным триумфом скульптора. К ее открытию был выпущен каталог со вступительной статьей Арсена Александра и четырьмя приветствиями художников Каррьера, Лоранса, Клода Моне и Бенара. В прессе появился ряд восторженных отзывов. Выставка получила большой резонанс и за пределами Франции:. Всемирной и теперь уже безусловной славе Родена способствовало также появление в эти годы многих статей и монографий, посвященных его творчеству. Друг скульптора и крупный историк искусств Арсен Александр, вспоминая это время, писал в 1924 году: «После индивидуальной выставки 1900 года в павильоне у моста Альма, которую Роден составил из всего, что он выполнил и намеревался выполнить, успех обрушился на него подобно циклону». Модель памятника Бальзаку работы Фальгиера была впервые показана в Салоне 1899 года. Портрет Фальгиера, выполненный в 1897 году, был единственной работой, которую Роден выставил в том же Салоне.

Памятник Бальзаку работы Фальгиера был установлен в Париже на пересечении улицы Бальзака и авеню Фридланд в 1902 году, уже после смерти скульптора. Роден присутствовал на открытии памятника, ибо до конца сохранил с Фальгиером дружеские отношения. Жюдит Кладель рассказывает в своей книге, что во время церемонии открытия, когда один из ораторов упомянул имя Родена и его «Бальзака», толпа поднялась и устроила скульптору овацию.

120

Модель памятника Бальзаку работы Фальгиера была впервые показана в Салоне 1899 года. Портрет Фальгиера, выполненный в 1897 году, был единственной работой, которую Роден выставил в том же Салоне.

Памятник Бальзаку работы Фальгиера был установлен в Париже на пересечении улицы Бальзака и авеню Фридланд в 1902 году, уже после смерти скульптора. Роден присутствовал на открытии памятника, ибо до конца сохранил с Фальгиером дружеские отношения. Жюдит Кладель рассказывает в своей книге, что во время церемонии открытия, когда один из ораторов упомянул имя Родена и его «Бальзака», толпа поднялась и устроила скульптору овацию.

121

Лубе, Эмиль (1838—1929) – французский политический деятель, президент Республики с 1899-го по 1906 год.

122

В действительности Роден, по свидетельству Гзелля, вовсе не рассердился на Бурделя и на его извинения ответил: «Так и нужно было сделать, ведь вы же изобразили Пана. Между прочим, и Микеланджело снабдил подобными рогами своего Моисея. Это эмблема всемогущества и мудрости, и я, право, очень польщен таким вниманием с вашей стороны». Этот разговор произошел накануне Вернисажа в Салоне Национального общества искусств. После осмотра выставки Роден, как рассказывает далее Гзелль пригласил его, Бурделя и другого своего ученика, Деспио, к тому времени также уже известного скульптора, в ресторан. Во время завтрака завязалась беседа, которую почти дословно приводит Гзелль и в которой Роден с присущим ему в подобных случаях блеском и красноречием говорил о значении искусства, труде художника, о пользе, приносимой им людям. «Искусство указывает людям цель их существования. Оно раскрывает им смысл бытия, освещает их судьбу и последовательно руководит ими на жизненном пути» и т. д.

Это не совсем верно. Отношения между Роденом и Бурделем по-прежнему оставались очень близкими. Бурдель продолжал сотрудничать с Роденом в качестве помощника по переводу скульптуры в материал и в дальнейшем (примерно до середины 1910-х гг.). В этот же период он посвятил искусству учителя ряд интересных статей. Однако в своем творчестве Бурдель, который уже стал признанным мастером, все более и более отходит от художественных принципов Родена. «Все мои обобщения восстают против законов, управляющих его искусством», – говорил Бурдель.

124

Рильке, Райнер-Мариа (1875—1926)-крупный австрийский поэт. Долгое время жил во Франции, будучи секретарем Родена, имел возможность близко наблюдать его за работой. Книга Рильке о Родене, написанная проникновенно, образно и живо, содержит интересный анализ творчества мастера.

125

Автор допускает неточность. Фигура «Мыслителя», первоначально называвшаяся «Поэтом» и помещенная в центре архитрава «Врат ада», была создана Роденом в небольшом размере еще в 1880 году. В этом варианте «Мыслитель» был показан на выставке в Копенгагене в конце 1880-х годов и в 1900 году «а на персональной выставке Родена. Дальнейшая работа над статуей сводилась в основном к увеличению до двух метров (первоначальный размер 69 см.).

126

Бриан, Аристид (1862—1932)-французский политический деятель.

127

Кюри, Пьер (1859—1906) и его жена Склодовская-Кюри, Мари (1867—1934)-выдающиеся физики, открывшие радий и полоний и изучавшие явления радиоактивности.

128

Лоти, Пьер, собственно Жюльен Вио (1850—1923) – французский писатель и морской офицер.

129

По-видимому, имеется в виду Ротенштейн, Уильям (1872—1945)-английский живописец, график, коллекционер и историк искусства.

130

Чосер, Джефри (1340—1400)-крупнейший английский поэт, один из основоположников национальной английской литературы.

131

Моррис, Уильям (1834—1896)-английский художник, писатель, общественный деятель, связанный с социалистическим движением. Сыграл большую роль в возрождении художественных ремесел. В 1890—1891 годах создал Кельмскоттское издательство, которое выпускало книги, отличающиеся высокой культурой и художественной цельностью оформления.

132

В настоящее время «Мыслитель» находится в парке Музея Родена в Париже. Он был передан туда в 1922 году под тем предлогом, что статуя якобы мешает официальным церемониям, проводимым в Пантеоне. Решение о переносе «Мыслителя» было, очевидно, инсценировано реакционными академическими кругами, которые сохранили свое враждебное отношение к Родену и после его смерти.

133

Бут, Уильям (1829—1912) – основатель и руководитель Армии Спасения.

134

Прах Наполеона был в 1840 году перенесен в собор Инвалидов.

135

Фарьер, Арман (1841—1931) французский политический деятель, президент республики с 1906 по 1913 год.

136

Пуанкаре, Раймон (1860—1934) – французский политический деятель. Премьер-министр в 1912—1913 годах, президент в 1913—1920 годах. В 1920-х годах снова дважды занимал пост премьер-министра.

137

Роден занимал часть отеля Бирон с 1907 года. Лишь четыре года спустя, в 1911 году, он становится его единственным обитателем. Вопреки тому, что пишет Вейс, Роден и в это время жил главным образом в Медоне, но все дни проводил в отеле Бирон, где он работал, принимал многочисленных посетителей, где он постепенно собрал многие свои произведения и богатые коллекции. Гюстав Кокио в своей книге «Роден в отделе Бирон и в Медоне» приводит красноречивое описание отеля в ту пору, когда Роден был его обладателем. «В Родене был развит культ прошлого. Он вошел в отель Бирон с чувством глубокого уважении к нему и всегда относился к этой мастерской, которую ему дал случай, как к святыне. Поэтому все, что говорят о непочтении Родена к самому зданию, просто глупо. Ни газ, ни электричество даже по вечерам не освещали залы, и только колеблющееся пламя свечей кое-где озаряло слабым светом сумерки. Особенную радость доставляло Родену коллекционирование. Он собрал здесь статуи, бюсты, статуэтки, слепки капителей колонн, изящные фигурки. Роден приезжал в отель Бирон из Медона рано и сразу же запирался со своей моделью в зале, где работал крайне напряженно. Во время этих сеансов он с большим удовольствием и так же живо, как и раньше, делал наброски на бумаге, лепил из глины или отливал некоторые вещи в гипсе. Нужно было видеть этого волшебника, создателя формы в моменты высшего творческого напряжения, чтобы понять, какую радость давала ему жизнь в труде… Сколько незабываемых часов провели мы в отеле Бирон, в одной из больших комнат, при свете свечей, – вспоминает далее Кокио. – …Когда спускались сумерки, мы часто слушали здесь Родена. Во время этих бесед он ни разу не обмолвился словом о мерзостях жизни; с восторгом рассказывая о произведениях искусства, виденных им во время путешествий и запечатленных им на фотографиях, он заставлял нас забыть о всяких глупцах и мошенниках. Он говорил так образно, точно и убедительно, что мы ловили каждое слово. Сколько неизвестных шедевров открыл он нам тогда, комментируя их по-своему. В зимние сумерки, когда не было случайных посетителей и уютно потрескивала фаянсовая печь, мы слушали проникновенные размышления Родена о мировом искусстве. Ни один ученый Сорбонны не обладал таким образным, богатым эпитетами языком, раскрывающим со всей полнотой смысл произведения».

138

Роден предлагал завещать государству не только свои собственные произведения, но и свои богатейшие коллекции, сосредоточенные в отеле Бирон.

139

Вопрос о превращении отеля Бирон в Музей Родена был впервые поднят в прессе Гюставом Кокио в 1911 году. Вслед за ним от имени художника выступила Жюдит Кладель, автор ряда работ о Родене (первая из которых вышла в свет в 1900 г.). Многие прогрессивные художники, писатели и музыканты решительно поддержали это предложение, встретившее, однако, энергичные протесты со стороны реакционных художников и общественных деятелей. Решение этого вопроса затянулось на несколько лет, и лишь в 1916 году после бурных дебатов в Палате депутатов и Сенате проект превращения отеля Бирон в Музей Родена был утвержден.

140

Павлова Анна Павловна (1885—1931) – крупнейшая русская балерина Фуллер, Лои (1862—1928) – известная американская танцовщица, выступавшая во многих странах Европы. Ханако, Сада – известная японская балерина Нижинский, Вацлав Фомич (1890—1950) – выдающийся русский танцовщик, один из ведущих артистов антерпризы Дягилева.

141

Дягилев, Сергей Павлович (1872—1929)-русский художественный и театральный деятель, критик и импресарио. Один из организаторов общества «Мир искусства» и одноименного художественного журнала. С так называемыми русскими сезонами, организованными Дягилевыми за границей (концерты, оперные и балетные спектакли), были связаны многие выдающиеся русские артисты, художники, музыканты.

142

Прозвище французского солдата.

143

Кайботт, Гюстав (1848—1894) – французский инженер-кораблестроитель, художник-дилетант и коллекционер. Участвовал в выставках импрессионистов, одним из первых стал собирать их картины и завещал свою коллекцию Лувру.